Орхан Памук
Музей невинности

Посвящается Рюйе

Они были столь чисты, что считали бедность грехом, который им простят, стоит только заработать денег.
Из записной книжки Джеляля Салика

Если бы некто, во время сна, побывал в Раю и дали б ему цветок в доказательство, что воистину душа его там очутилась, что молвил бы он, пробудившись и узрев цветок в руке своей?
Из черновиков Самуюэла Тэйлора Колриджа

Я рассматривал ее вещицы на туалетном столике: украшения, баночки, безделушки. Прикасался к ним, брал, подносил к глазам. Подержал в руке ее крохотные часики. Заглянул в платяной шкаф. Ее одежда, ее платья... Вещи, дополняющие каждую женщину, навеяли мне чувство невероятного одиночества и боли, и мне захотелось, чтобы она оказалась рядом.
Из черновиков Ахмета Хамди Танпынара

1 Счастливейший миг моей жизни

Если бы знать, что тот день окажется счастливейшим в моей жизни. А если бы даже я и осознал это, смог ли бы удержать свое счастье, чтобы потом все обернулось иначе? Думаю, да. Скажи мне кто-нибудь, что никогда больше оно не повторится, не упустил его. Мгновения счастья, исполненные золотым сиянием света, подарили всему моему существу чувство глубокого покоя. Вероятно, они длились несколько секунд, но тогда мне думалось, что нет им числа.

Это случилось в воскресный день 12 мая 1975 года. Часы отмерили без четверти три. На какой-то миг показалось, что земля избавилась от времени и силы притяжения, а мы стряхнули угрызения совести, освободились от раскаяния, боязни возмездия и сознания греха.

Плечо Фюсун было влажным от жары и страсти. Я поцеловал его, и, обняв ее сзади, нежно проник в нее, легонько кусая ей мочку левого уха. Вдруг сережка Фюсун, в виде заглавной буквы ее имени, выскользнула из мочки, на миг будто воспарила в воздухе и упала на голубую простыню. Но нас так захватило счастье страсти, что мы совершенно не заметили ту сережку и продолжили целоваться.

За окном сияло солнце, какое бывает в Стамбуле только весной. На улице день ото дня становилось все теплее, хотя в домах и в тени деревьев еще чувствовалась зимняя прохлада. Такая же прохлада исходила и от пропахшего старьем матраса, на котором мы нежились, беспечно позабыв обо всем на свете. Из открытой балконной двери подул весенний ветер, принесший в комнату ароматы моря и липы. Он поднял тюлевую занавеску и медленно опустил ее на нас, от чего мы оба вздрогнули.

Из окон крохотной комнаты на втором этаже, в которой стояла кровать, нам было видно мальчишек, гонявших мяч во дворе, согретом первым весенним солнцем. Они яростно бранились, и мы, заметив, что сами повторяем те же бесстыдные слова, на мгновение остановились и, посмотрев друг на друга, рассмеялись. Но наше счастье было таким огромным, таким безмерным, что мы тут же забыли о забавной шутке, которую принесла нам с улицы жизнь, как забыли и об этой сережке.

На следующий день Фюсун сообщила мне, что не может найти свою именную сережку. Признаться, я заметил ее в складках голубых простыней, но, вместо того чтобы положить на видное место, повинуясь какому-то внутреннему голосу, опустил ее в правый карман пиджака. Когда Фюсун сказала о пропаже, я засунул руку в карман висевшего на стуле пиджака: «Дорогая моя, вот она!» Однако сережка исчезла. Неожиданно меня сковало предчувствие надвигающейся беды, но память поспешила на помощь: с утра было жарко и я надел другой пиджак. «Она, наверное, осталась в нем».

— Пожалуйста, принеси завтра обязательно, только не забудь, эта сережка очень дорога мне, — серьезно сказала Фюсун, чьи бездонные глаза стали еще темнее.

— Хорошо.

Фюсун недавно исполнилось восемнадцать лет. Она была моей дальней и бедной родственницей, троюродной сестрой, о существовании которой еще две недели назад я даже не вспоминал. Мне же стукнуло тридцать. У меня вскоре намечалась свадьба с Си-бель, с которой, по единодушному мнению стамбульского света, мы составляли прекрасную пару.

2 Бутик «Шанзелизе»

Случайные события, которым предстояло повлиять на мою жизнь, начались с того, что за две недели до описанного майского дня мы с Сибель увидели в витрине одного дорогого магазина сумку известной тогда марки «Женни Колон». Обнявшись, мы шли с моей невестой по проспекту Валиконак, наслаждаясь прохладой теплого весеннего вечера, немного хмельные и совершенно счастливые. За ужином в дорогом ресторане «Фойе», недавно открывшемся в нашем районе, самом фешенебельном в Стамбуле, Нишанташи, мы подробно рассказывали моим родителям о том, как идет подготовка к нашей помолвке. Ее назначили на середину июня, специально ради Нурджихан, подруги Сибель по стамбульскому лицею «Нотр Дам де Сион», с которой они вместе учились в Париже. У самой дорогой и модной портнихи Стамбула, Ипек Исмет, Сибель давно сшила себе платье к помолвке. Тем вечером они с моей матерью обсуждали, как прикрепить к платью жемчуг, который мать собиралась подарить невестке. Мой будущий тесть часто говорил, что помолвка его единственной дочери должна по пышности не уступать настоящей свадьбе, и такие слова очень нравились моей матери. Отец тоже радовался, что женой его сына станет такая умница, как Сибель, ведь она училась в Сорбонне. В те времена во всех богатых и знатных стамбульских семьях было принято говорить, что дочь училась в Сорбонне, если она что-то когда-то изучала в Париже.

После ужина я повел Сибель домой. Нежно обнимая ее за крепкие плечи, с гордостью думал о том, как же мне повезло и как я счастлив. И вдруг Сибель воскликнула: «Ах, какая сумка!» Хотя от вина немного плыло в глазах, я сразу запомнил и сумку на витрине, и магазин, а на следующий день отправился ее покупать. Я никогда не охотился за женщинами, никогда не стремилcя понравиться им во что бы то ни стало, осыпая избранниц изящными подарками и при каждом удобном случае посылая букеты. Хотя в глубине души, наверное, и мечтал стать столь утонченным ухажером.

Надо сказать, что в те годы богатые и европеизированные стамбульские домохозяйки, скучавшие от безделья в роскошных особняках Шишли, Нишанташи или Бебека, открывали не картинные галереи, как сейчас, а магазины модной одежды для таких же богатых и скучающих домохозяек, как сами. Там торговали до смешного дорогими вещами, сшитыми турецкими портнихами по картинкам из французских журналов вроде «ELLE» и «Vogue», а также безделушками и аксессуарами, часто

поддельными, которые скупались по дешевке в Париже или Милане и в огромных чемоданах привозились в Турцию. Много лет спустя я разыскал владелицу модного магазина, в витрине которого Сибель заметила в тот вечер сумку. Шенай-ханым[1] напомнила мне, что она, оказывается, тоже, как и Фюсун, наша дальняя родственница по материнской линии. Без лишних вопросов о причинах столь чрезмерного интереса ко всем старым вещам, связанным с «Шанзелизе» и Фюсун, она отдала мне все предметы, которые сохранились у нее от магазина, вплоть до вывески, и мне подумалось, что многие минуты пережитого бьшают запечатлены в памяти гораздо большего числа людей, чем мы можем себе представить.

Около полудня следующего дня я открыл дверь «Шанзелизе», и маленький бронзовый колокольчик, в форме верблюда, двумя молоточками возвестил о моем приходе, издав тихий звон, от которого сердце у меня колотится быстрее до сих пор. Стоял жаркий весенний полдень, а в магазине царил прохладный полумрак. Сначала я решил, что здесь никого нет. Только потом заметил Фюсун. Глаза еще привыкали к темноте, когда меня вдруг будто жаром обдало.

— Здравствуйте, — сказал я. —Хочу купить сумку с витрины, — и подумал: «Какая красивая девушка! Невероятно красивая!»

— Кремового цвета, «Женни Колон»? Наши взгляды встретились.

— Ту, что на манекене, — пробормотал я как во сне.

— Понятно, — улыбнулась она и направилась к витрине. Одним движением сняла с левой ноги желтую туфельку на высоком каблуке и, шагнув босой ногой с ярко-красными ногтями в витрину, потянулась к манекену. Я посмотрел на брошенную туфельку, а потом на длинные, стройные ноги Фюсун. Было только начало мая, но ее длинные и стройные ноги уже покрывал легкий загар. Коротенькая желтая кружевная юбка на молнии, в мелкий цветочек, казалась от этого еще короче.

Она взяла сумку, слезла с витрины, надела туфельку, подошла к прилавку и, расстегнув длинными ловкими пальцами молнию основного отделения (внутри лежала калька кремового цвета), с весьма серьезным и даже таинственным видом продемонстрировала еще два отделения поменьше (там было пусто) и скрытый карман, из которого показались листок бумаги с надписью «Женни Колон» и инструкция по уходу. Мы опять посмотрели друг на друга.

— Здравствуй, Фюсун. Ты меня не узнала? Как ты выросла!

— Нет, Кемаль-бей, я узнала вас сразу, но подумала, что вы меня не помните, и решила не беспокоить вас напоминанием.

Воцарилось молчание. Я опять заглянул в сумку, которую она только что так тщательно мне показывала. Что-то в этой девушке взволновало меня: то ли ее красота, то ли слишком короткая по тем временам юбка, и я чувствовал неловкость.

— Э-э-э... чем ты занимаешься?

— Готовлюсь к поступлению в университет. Сюда вот хожу каждый день. Знакомлюсь здесь с разными интересными людьми.

— Понятно. Сколько за сумку?

Насупившись, она посмотрела на небольшую этикетку, на которой от руки было выведено: «Тысяча пятьсот лир». (В те времена это равнялось полугодовой зарплате любого молодого специалиста.)

— Я уверена, Шенай-ханым с радостью сделает вам скидку. Но сейчас она ушла домой на обед. После обеда она ложится поспать, и звонить нельзя. А вот если вы зайдете вечером...

— Не важно, — перебил я и величественным движением, которое впоследствии Фюсун часто будет комично изображать во время наших тайных встреч, вытащил из

---

[1] Ханым — госпожа, вежливое обращение к женщине.

заднего кармана брюк бумажник и пересчитал влажные купюры.

Фюсун старательно, но неумело завернула сумку в бумагу и положила в пакет. Пока она упаковывала, мы оба молчали, однако ей доставляло удовольствие, что я любуюсь ее длинными руками, ее золотистой кожей, ловкими, изящными движениями. Она вежливо протянула мне пакет, и я поблагодарил ее. «Передавай привет тете Несибе и своему отцу». (На мгновение имя Тарык-бея вылетело у меня из головы.) Потом я еще больше смутился, потому что вдруг представил, как обнимаю Фюсун и целую ее в губы, и быстро направился к двери. Фантазия показалась мне дурацкой, да и Фюсун вовсе не такой уж и красавицей.

Колокольчик на двери звякнул опять, и я услышал, как где-то внутри магазина отозвалась трелью канарейка. На улице мне стало спокойнее. Я был доволен, что купил подарок своей любимой Сибель, и решил раз и навсегда забыть про Фюсун и ее магазин.

3 Дальние родственники

Но сохранить встречу с Фюсун в тайне мне не удалось. За ужином я рассказал матери о сумке, внезапно добавив, что встретил нашу дальнюю родственницу.

— Ах да, Фюсун, дочь Несибе?! Она работает тут не-подалку, в магазине у Шенай. Вот бедная девочка! — вздохнула мать. — Они теперь уж и на праздники к нам носу не кажут. Все конкурс красоты! Всегда говорила: дурное тем же и оборачивается! Когда хожу мимо ее магазина, даже здороваться не хочется с бедняжкой! А ведь ребенком я так ее любила! Раньше ведь Несибе шила мне платья, вот дочку с собой и брала. Пока примерка, то да се, Фюсун с вашими игрушками возилась. Подумать только... И ведь какой строгой была мать Несибе, ваша покойная тетя Михривер!

— Кем они нам приходятся?

Отец смотрел телевизор и не слушал нас, так что мама (ее зовут Веджихе), не скрывая гордости, в деталях поведала о родственных хитросплетениях. Когда ее отцу (то есть моему дедушке Этхему Кемалю), родившемуся в один год с Ататюрком (основателем Республики) и ходившему с ним в одну и ту же начальную школу, мектеб Шемси-эфенди[2](что подтверждала одна старинная фотография, найденная мною много лет спустя), исполнилось всего-навсего двадцать два года (а происходило это за много лет до свадьбы с бабушкой), он поспешно женился. Избранница его—юное создание, родом из Боснии,—и приходилась прабабушкой Фюсун. Она погибла во время Балканской войны, при эвакуации гражданского населения из Эдирне. У несчастной не было детей от Этхема Кема-ля, но до него она уже побывала замужем за одним нищим шейхом, за которого ее отдали совсем ребенком, «чуть ли не в младенческом возрасте», как выразилась мама, и от этого брака у нее родилась дочь Михривер. Тетю Михривер (бабушку Фюсун) воспитывали какие-то посторонние люди, но она и ее дочь Несибе (мать Фюсун) почему-то считались нашими дальними родственницами. Мать требовала, чтобы мы называли их «тетями». Жили они неподалеку от мечети Тешвикие, в одном маленьком переулке.

Но внезапно отношения между нашими семьями испортились, мать держалась подчеркнуто холодно во время их ежегодных праздничных визитов, и они перестали у нас появляться. Причиной отчуждения оказалась именно Фюсун. Два года назад — тогда ей только-только исполнилось шестнадцать лет и она была ученицей женского лицея Нишанташи — Фюсун приняла участие в городском конкурсе красоты. Тетя

---

[2] Эфенди — господин, сударь, вежливое обращение к мужчине.

Несибе не только не воспротивилась столь смелому шагу дочери, но и. как впоследствии нам рассказали, якобы даже поощряла ее. Мать почувствовала себя глубоко оскорбленной, что тетя Несибе. которую она некогда любила точно младшую сестру (разница в возрасте составляла у них двадцать лет) и которой покровительствовала, нисколько не смущается и даже гордится таким позором.

Но и тетя Несибе очень любила и уважала мать. В молодости, не имея богатых клиенток, она, заручившись рекомендациями моей матери, начала обшивать многих состоятельных дам.

— Они были невероятно бедны, когда Несибе занялась шитьем, — вспомнила мать. И тут же добавила: — Но разве только они? Все, все без исключения...

В те годы мать советовала тетю Несибе своим подругам как «очень хорошего человека и отменную портниху» и раз в год (а то и два) приглашала ее к нам сшить платье к чьей-нибудь свадьбе.

У нас я встречал ее редко, так как почти все время проводил в школе. Однажды, в конце лета 1957 года, мать пригласила Несибе к нам на дачу в Суадие: ей срочно понадобилось сшить платье к свадьбе друзей. До глубокой ночи мать и Несибе, смеясь и подшучивая друг над другом, точно нежно любящие сестры, колдовали над швейной машинкой «Зингер», уединившись в маленькую дальнюю комнатку на втором этаже. Оттуда из окон, через просвет листьев пальм, виднелись море, лодки, катера и мальчишки, нырявшие с пристани. И я помню, как обе они, обложившись ножницами, булавками, сантиметрами, наперстками, обрезками ткани и кружев из швейной коробки Несибе с классическими видами Стамбула, жаловались на жару, на комаров и сетовали, что не успевают закончить к сроку. Помню, как повар Бекри постоянно носил в ту маленькую душную комнату стаканы с лимонадом, потому что двадцатилетней Несибе, ждавшей ребенка, постоянно хотелось кислинки, а мама за обедом всегда говорила повару — наполовину в шутку, наполовину всерьез: «Беременной женщине нужно давать все, что ей хочется, иначе ребенок получится некрасивый!»—и я с интересом смотрел на распухший живот тети Несибе.

— Несибе все скрыла от мужа и отправила дочку на конкурс, прибавив ей лет, — раздраженно сказала мать, еще больше сердясь. —Хвала Аллаху, девочка не победила, и это спасло их семью от позора. Узнали бы в школе, точно выгнали бы... А теперь она уже закончила лицей, хотя вряд ли толком чему-то научилась. Все знают, что за девушки участвуют в такого рода конкурсах и как потом складывается их жизнь. Она хотя бы с тобой прилично себя вела?

Мама намекала на то, что Фюсун наверняка встречается с мужчинами. Похожую сплетню я впервые услышал от помешанных на девчонках приятелей по Нишанташи, когда фотография Фюсун появилась в газете «Миллийет» среди фотографий победительниц конкурса. Но столь постыдная тема была мне и тогда совершенно не интересна.

Воцарилось молчание, и мама вдруг, подняв указательный палец, назидательно произнесла:

— Будь осторожен! У тебя скоро помолвка с замечательной и очень красивой девушкой! Лучше покажи мне сумку, которую ты ей купил. Мюмтаз! [Гак зовут моего отца.) Смотри, Кемаль купил Сибель сумку!

— В самом деле? — с интересом в голосе спросил отец. На его лице проявилось выражение искренней радости, будто он хорошенько разглядел подарок и рад, что его сын с любимой невестой счастливы. Но так и не оторвал глаз от телевизора.

4 Любовь в директорском кабинете

В телевизоре, от которого не мог оторвать глаз отец, мелкала реклама «первого турецкого лимонада „Мель-тем" с соком спелых фруктов». Его вся Турция получала с

фабрики моего приятеля Заима. Я пригляделся, ролик получился что надо. Отец Заима тоже был фабрикантом, которому, как и моему отцу, удалось приумножить свое состояние за последние десять лет, поэтому Заим с легкостью затевал новые, смелые дела. Я радовался, что моему другу везет в том, над чем и мне приходилось поломать голову.

Я некоторое время жил в Америке. Изучал там в университете азы управления предприятием, потом вернулся обратно. Отслужил в армии, и отец пожелал, чтобы я, как и старший брат, занялся делами фабрики и создававшихся вновь предприятий. Так вьшшо, что я стал генеральным директором одной из созданных нами фирм, «Сат-Сат», занимавшейся продажей и экспортом текстиля. Контора находилась недалеко от дома, в Хар-бие. Бюджеты ее постоянно разрастались, как и увеличивались доходы, но не благодаря моим директорским усилиям, а в результате ловких бухгалтерских комбинаций, позволявших переводить прибыль фабрики и иных предприятий в «Сат-Сат». Днями напролет я общался с моими опытными трудолюбивыми подчиненными — сотрудниками, бывшими на лет двадцать-тридцать старше меня, и сотрудницами, обладавшими внушительным бюстом и годившимися мне в матери. Поскольку директорское кресло мне досталось по настоянию отца, основная моя обязанность заключалась в том, чтобы учиться у подчиненных всем тонкостям дела.

Сибель, с которой мы собирались обручиться, приходила ко мне по вечерам на работу, и, после того как старое здание конторы, дрожавшее от каждого проскользнувшего мимо утомленного автобуса или троллейбуса — а их проезжало немало, — покидал последний человек, мы занимались любовью в моем—директорском — кабинете. Хотя Сибель считала себя «современной» девушкой, набравшись в Европе феминистских идей о правах женщин, иногда она говорила: «Давай перестанем встречаться здесь, я чувствую себя секретаршей!» Видимо, ее мнение о секретаршах не очень отличалось от расхожего, какого придерживалась, например, моя мать. Когда на кожаном диване у меня в кабинете мы с ней предавались любви, я ощущал некоторую ее сдержанность, но чувствовал, что причина этой сдержанности крылась в типичной боязни турецких девушек начинать интимную жизнь до замужества.

В те годы молодые представительницы богатых европеизированных семейств, поучившись в Европе, изредка нарушали запрет, связанный с девственностью, и отдавались своим возлюбленным. Сибель гордилась, что она из таких «передовых» и «смелых» девушек, поскольку сблизилась со мной одиннадцать месяцев назад. (Мы встречались уже порядочно времени, и явно пришла пора пожениться!)

Признаться, сейчас, по прошествии стольких лет, мне не хотелось бы преувеличивать смелость моей невесты, как и умалять силу общественных устоев, давивших на женщин. Ведь Сибель отдалась страсти только тогда, когда поняла, что «может мне доверять», то есть убедившись сполна в серьезности моих намерений — в том, что я на ней женюсь. А так как я считал себя человеком ответственным и честным, я действительно собирался взять в жены Сибель, чего мне и правда очень хотелось. Но даже если б вдруг у меня появилось желание дать деру, общество не позволило бы мне бросить ее, потому что девушка «подарила мне свою невинность». Бремя ответственности несколько омрачало другое чувство, связывавшее нас: обманчивую иллюзию, что мы — «свободны и современны», поскольку занимаемся любовью до свадьбы.

Неловкость я испытывал, когда замечал тревожные намеки Сибель на то, что нам давно пора пожениться. Но бывали и минуты безоглядного, беспечного счастья. Помню, как однажды, обняв ее в полумраке кабинета и слушая доносившийся снаружи шум автобусов и машин с проспекта Халаскяр-гази, я думал, что мне повезло и теперь до конца дней моих будет только это чувство.

5 Ресторан «Фойе»

Иллюстрированное меню, рекламку, фирменные спички и салфетку ресторана «Фойе», которые составили дорогие моему сердцу предметы музея любви, я раздобыл спустя много лет. Ресторан этот, устроенный на французский манер, едва открывшись, вскоре превратился в излюбленное место встречи состоятельных людей из богатых районов Стамбула: Бейоглу, Шишли и Нишанташи. (Их газетчики в колонках светских сплетен насмешливо именовали «сосьетэ».) Владельцы роскошных, в европейском духе, ресторанов не стремились давать им громкие и торжественые названия, вроде «Амбассадор», «Мажестик» или «Роял», а скромно нарекали «Кулисами», «Лестницами» или «Фойе». Эти названия, навевавшие нечто европейское, в то же время напоминали, что находимся мы лишь на окраине Запада, в Стамбуле. Прошло время, и новое поколение богачей снова предпочло домашнюю еду, какую готовили их матери. И сразу повсюду появились «Караван-сараи», «Султаны», «Паши» и «Визири», где традиционная еда соединялась с типично восточной помпезностью, а все «Фойе» и «Кулисы» забылись и быстро исчезли.

Вечером того дня, когда я купил сумку, за ужином в «Фойе» я предложил Сибель:

— Давай встречаться в маминой старой квартире, в «Доме милосердия»? Может, так будет лучше? Там вид из окон на красивый сад.

— Ты что. торопишься, боишься до свадьбы не успеть, пока мы не переедем в наш собственный дом? — улыбнулась Сибель.

— Нет, дорогая, не тороплюсь.

— Не хочу больше встречаться с тобой тайком, будто я твоя любовница и в чем-то виновата.

— Ты права...

— Откуда тебе вдруг пришло в голову такое?

— Забудь. — я поспешил сменить тему.

Вокруг гудела веселая толпа посетителей «Фойе». Я вытащил пакет с подарком.

— Что это? — удивилась Сибель.

— Сюрприз! Открой, посмотри.

— Ой, подарок! —Детская радость, засиявшая на ее лице, когда она брала у меня пакет, сменилась выражением недоумения, когда Сибель вытащила сумку, а потом уступила место разочарованию, которое она попыталась скрыть.

— Помнишь, — поспешно объяснил я, — вчера ты увидела ее в витрине.

— Спасибо. Ты очень внимателен.

— Рад, что тебе понравилось. Эта сумка к помолвке.

— К сожалению, я давно решила, что возьму на помолвку, — ответила Сибель. — Не обижайся! Ты такой заботливый, и подарок чудесный... Только вот... Я все равно не взяла бы эту сумку, потому что она—подделка!

— Как это?

— Это не настоящая «Женни Колон», милый мой Кемаль...

— Откуда ты знаешь?

— По всему видно, милый. Смотри, как пришит лейбл. А теперь посмотри на настоящую сумку «Женни Колон», которую я купила в Париже, — видишь, какая строчка! «Женни Колон» не напрасно считается самой дорогой маркой во всем мире, а не только во Франции. У подлинной никогда не будет таких дешевых ниток...

Глядя на швы настоящей сумки, я начал раздражаться, оттого что моя будущая жена выговаривала мне все это с видом торжествующего победителя. Иногда Сибель ощущала неловкость, что она — дочь потомственного дипломата, который спустил до нитки все состояние и земли, доставшиеся в наследство от дедушки-паши.

Поддаваясь подобным чувствам, она принималась рассказывать, что ее бабушка по отцу играет на пианино, а дедушка выступал соратником Ата-тюрка во время Освободительной войны или что ее дед по матери был приближенным Абдул-Хамида[3]. Мне она очень нравилась в эти мгновения, и я привязывался к ней еще больше. Что касается нашего семейства — Басмаджи, то мы разбогатели в начале 1970-х годов, когда возросли объемы производства и экспорта турецкого текстиля, население Стамбула увеличилось в три раза, а цены на землю в городе и особенно в нашем районе поднялись в несколько раз. Хотя, как явствовало из самой фамилии Басмаджи[4], уже три поколения в нашей семье занимались текстилем. Однако, несмотря на результаты славного труда предков, меня раздосадовала допущенная оплошность: дорогая сумка оказалась явной подделкой.

Сибель погладила меня по руке и спросила:

— Сколько ты заплатил за нее?

— Полторы тысячи лир, — я не смог соврать. — Если тебе она не подходит, завтра поменяю.

— Не надо, дорогой мой, лучше попроси вернуть деньги. Ведь тебя здорово надули.

— Хозяйка магазина — Шенай-ханым, наша дальняя родственница! — возмущенно сказал я, изображая негодование, и принялся опять рассматривать сумку изнутри.

Сибель взяла ее у меня из рук. «Милый, ты такой грамотный, такой умный, такой образованный, но совершенно не знаешь, на какой обман способны женщины», — умиленно улыбнулась она.

6 Слезы Фюсун

На следующий день я вновь направился в бутик «Шанзелизе» с тем же пакетом в руках. Опять зазвенел колокольчик и передо мной открылся прохладный полумрак магазина. Внутри царила таинственная тишина, и я подумал, что тут нет ни души, как вдруг раздались канареечные трели. На ширме, стоявшей за огромным цикламеном, показалась тень Фюсун, помогавшей какой-то полной клиентке выбирать наряды. Теперь на ней была прелестная блузка в цветочек — гиацинты, васильки и мелкие листики, — которая очень ей шла. Завидев меня, она мило улыбнулась.

— Ты, наверное, занята, — показал я взглядом в сторону примерочной.

— Подождите минуточку, — загадочно улыбнулась она, словно собираясь поведать старому клиенту все секреты магазина.

Канарейка прыгала по клетке, я засмотрелся на модные журналы и всякие европейские вещицы, но ничто не увлекало меня. Смятение чувств не давало покоя: мне казалось, будто я знаю эту девушку очень давно и так же хорошо, как себя. Я вдруг вспомнил, что в детстве у нас обоих были темные вьющиеся волосы, а когда мы подросли, они и у меня, и Фюсун распрямились. На миг мне даже почудилось, что я мог бы вполне заменить ее. Шелковая блузка прекрасно подчеркивала нежный тон кожи Фюсун и светлые пряди ее крашеных волос. Сердце зацарапало от боли, когда я вспомнил, как мои приятели называли ее «штучка из Плейбоя». Неужели она встречалась с кем-то из них? «Отдай сумку, забери деньги и уходи. У тебя скоро помолвка», — велел я себе. И посмотрел из окна на улицу, в сторону площади

---

[3] Султан Абдул-Хамид II (1842-1918) — предпоследний, 34-й султан Османской империи, правивший с 1876 по 1909 год.

[4] Басмаджи — в переводе с турецкого «печатник», «набивщик ситца».

Нишанташи, но вскоре на стекле появилось, словно призрак, отражение Фюсун.

Когда полная дама, долго мерявшая платья, ушла, тяжко вздыхая, так ничего и не купив, Фюсун принялась раскладывать наряды по местам. «Вчера вечером я видела вас обоих на улице», — сказала она, нежно улыбаясь. Тут я разглядел, что ее соблазнительные губы оттенены светлой розовой помадой. Явно простой, дешевой, но смотревшейся превосходно.

— Когда же это ты нас видела? — спросил я.

— Под вечер. Вы были с Сибель-ханым, а я шла по противоположной стороне. Вы собирались ужинать?

— Да.

— Вы такая красивая пара! — опять улыбнулась она с видом старушки, устроившей счастье молодых.

Я не спросил, откуда она знает Сибель. «Тогда у нас к тебе маленькая просьба, — и вытащил сумку. — Я хочу ее вернуть». Но тут же ощутил стыд и волнение.

— Конечно, давайте поменяем. Я подберу вам какие-нибудь перчатки или хотите эту шляпку? Ее только что привезли из Парижа. Что, Сибель-ханым сумка не понравилась?

— Не надо менять, — произнес я смущенно. — Мне хотелось бы получить деньги обратно.

— Почему? — спросила она.

— Потому что эта сумка — не настоящая «Женни Колон», а подделка, — прошептал я.

На ее лице появилась растерянность, даже страх.

— Как это?

— Я в этом не разбираюсь, — отчаянно выдавил я из себя.

— Не может быть! Мы порядочные люди! — резко произнесла она. — Вам деньги вернуть прямо сейчас?

— Да!

Ее лицо исказилось от боли и стыда. «Господи, — подумал я, — почему мне в голову не пришло просто выкинуть эту сумку, а Сибель сказать, что деньги возвращены?»

— Послушайте, — попытался я исправить ситуацию. — вы или Шенай-ханым тут вовсе ни при чем. Просто мы, турки, слишком быстро учимся копировать модные европейские штучки. Мне лично важно только, чтобы сумка была удобной и красивой. А какой она марки, кто ее сделал — без разницы.

Однако мои слова прозвучали неубедительно.

— Подождите, сейчас я верну вам ваши деньги, — сухо сказала Фюсун.

Стыдясь своей грубости и смущенно уставившись перед собой, я замолчал. Но тут, несмотря на всю тяжесть моего постыдного положения, заметил, что Фюсун не может выполнить обещанное. Она растерянно смотрела на кассу, точно на лампу с джинном, и не подходила к ней. Потом лицо ее внезапно покраснело и из глаз покатились слезы. Я приблизился к ней.

Она тихонько плакала. Не могу вспомнить, как вышло, что я обнял ее. А она стояла, прижавшись головой к моей груди, и всхлипывала. «Извини, Фюсун, — шептал я, гладя ее мягкие волосы, ее лоб. — Пожалуйста, забудь обо всем. Это же всего-навсего сумка».

Она глубоко вздохнула, как ребенок, и заплакала еще сильней. У меня закружилась голова от того, что я касаюсь ее длинных изящных рук, ощущаю упругую грудь, что стою и обнимаю Фюсун. Меня снова окатило такое чувство, будто мы всегда были близки. Наверное, я сам усиливал его, потому что хотел не замечать желание, поднимавшееся во мне при каждом прикосновении к ней. В тот момент она оставалась милой сестричкой, грустной и красивой, которую нужно утешить. В

какой-то миг мне почудилось, что наши тела словно отражения друг друга: эти длинные руки, стройные ноги, хрупкие плечи... Если бы я был девушкой, да еще и моложе на двенадцать лет, мое тело оказалось бы точь-в-точь таким же. «Не из-за чего расстраиваться», — приговаривал я, гладя длинные светлые волосы.

— Я не могу сейчас открыть кассу и отдать вам деньги, — сумела наконец проговорить она. — Ше-най-ханым, уходя на обед, закрывает кассу на ключ, а ключ уносит с собой. Это всегда меня задевало. — Она опять заплакала, прижавшись головой к моей груди. Я продолжал медленно, нежно гладить ее прекрасные волосы. — Я работаю здесь, чтобы знакомиться с людьми, чтобы интересно проводить время, а не ради денег, — продолжала всхлипывать Фюсун.

— Люди и из-за денег работают, — не подумав, подправил я.

— Да уж, — вздохнула она с видом обиженного ребенка. — У меня отец на пенсии, бывший учитель... Две недели назад мне исполнилось восемнадцать лет, и я решила перестать быть для родителей обузой.

Змей страсти все выше поднимал во мне коварную голову, и я, испугавшись, убрал руку от ее волос. Она сразу это почувствовала, сделала над собой усилие успокоиться, и мы отошли друг от друга.

— Пожалуйста, не говорите никому, что я плакала, — попросила она, промакивая платком глаза.

— Обещаю, Фюсун, — улыбнулся я. — Клянусь, это будет нашей общей тайной!

Она посмотрела на меня, будто удостоверяясь в истинности моих слов.

— Пусть сумка останется здесь, — предложил я. — А за деньгами приду потом.

— Конечно, оставляйте, только сами за деньгами не приходите, — умоляюще сказала Фюсун. — Ше-най-ханым замучает вас, будет твердить, что сумка не поддельная.

— Тогда давай на что-нибудь поменяем, — меня устроил бы теперь любой вариант.

— Нет, я не согласна, — она, как обидчивая школьница, упрямо отвергла мое предложение.

— Да ладно тебе, это не важно...

— Для меня важно, — гордо возразила Фюсун.—Когда Шенай-ханым вернется, я сама заберу у нее деньги.

— Не хочу, чтобы тебе попало от нее, — я не сдавался.

— Ничего. Справлюсь, — улыбка озарила ее розовым светом. — Скажу, что у Сибель-ханым уже есть точно такая сумка, поэтому вы ее и вернули. Идет?

— Хорошая мысль, — согласился я. — Тоже скажу это Шенай-ханым.

— Нет, вы ей, пожалуйста, ничего не говорите. Она сразу начнет вас расспрашивать. И в магазин больше не приходите. Я оставлю эти деньги тете Веджихе.

— Ой, ради бога, давай не будем вмешивать мою маму. Она слишком любопытная.

— А где мне тогда оставить вам деньги? — спросила Фюсун, выказав удивление одним взмахом ресниц.

— В «Доме милосердия», проспект Тешвикие, сто тридцать один, у мамы есть квартира, — объяснил я. — Перед тем как уехать в Америку, я часто уединялся там, читал, слушал музыку. Там очень хорошо, из окон виден красивый сад... Да и сейчас каждый день, с двух до четырех, я хожу туда после обеда.

— Хорошо. Я и принесу туда ваши деньги. Какая квартира?

— Четыре, — тихо сказал я. Еще тише прозвучали следующие слова: — Второй этаж. До свидания.

Ведь мое сердце сразу разобралось в том, что происходит, и теперь колотилось как сумасшедшее. Прежде, чем броситься на улицу, я, собрав все силы, в последний

раз постарался взглянуть на нее как ни в чем не бывало. Но, стоило мне сбежать из магазина, стыд и раскаяние смешались с моими радужными фантазиями, и от чувства едкой радости тротуары Нишанташи на чрезмерной майской полуденной жаре загадочным образом начали казаться мне ярко-желтыми. Ноги вели меня далеко от тени, от плотных козырьков и тентов в сине-белую полоску, прикрывавших витрины, и вдруг в одной из них я увидел ярко-желтый графин, и какой-то внутренний голос подсказал мне купить его. В отличие от других вещей, приобретенных беспричинно, этот желтый графин простоял на нашем обеденном столе — сначала на столе родителей, а потом у нас с матерью — без малого двадцать лет. Всякий раз, прикасаясь к его ручке за ужином, я вспоминал дни, когда страдания, которые преподнесла мне жизнь, из-за которых в каждом грустном и немного сердитом взгляде матери сквозил немой укор, только начинались.

Заметив, что я пришел домой сразу после обеда, мать удивленно посмотрела на меня. Я поцеловал ее и рассказал, как шел по улице и мне взбрело в голову купить кувшин. А потом попросил: «Мам, дай мне ключ от твоей квартиры. Иногда у меня в кабинете собирается столько людей, что невозможно работать. Наверное, в уединении будет лучше. Во всяком случае, раньше там было очень хорошо».

Мать предупредила: «Там все в пыли», но сразу же принесла ключи и от квартиры, и от уличной двери, связанные красной лентой. «Помнишь вазу из Кютахьи в красный цветочек? — спросила она, отдавая ключи. — Никак не могу найти ее дома. Посмотри, может, я туда ее отнесла? И не сиди за столом слишком долго. Ваш отец всю жизнь положил, чтобы вы, дети, жили в свое удовольствие. Гуляйте с Сибель, наслаждайтесь весной, веселитесь, будьте счастливы. — Она вложила мне ключ в ладонь, загадочно посмотрела на меня и добавила: — Будь осторожен». Когда она смотрела на нас с братом подобным образом в детстве, ее взгляд намекал на гораздо более серьезные скрытые опасности, которыми так щедра жизнь, нежели опасность потерять ключ.

7 «Дом милосердия»

Мать купила ту квартиру в «Доме милосердия» двадцать лет назад — и в качестве вложения капитала, и чтобы было место, где она оставалась бы одна и могла отдохнуть. Однако квартира вскоре превратилась в склад для старых, ненужных, немодных или надоевших ей вещей, которые жалко выбросить. Имя этого дома, стоявшего в тени высоких деревьев сада, расположившегося во дворе соседнего полуразрушенного особняка Хайреттина-паши, где постоянно гоняли в футбол мальчишки, с детства казалось мне забавным, а мать любила повторять его историю.

После того как в 1934 году Ататюрк ввел для всех турок обязательно, помимо имени, указывать и фамилии, в Стамбуле множество вновь построенных домов стали называться по фамилиям владевших ими семейств. Это оказалось весьма уместным, так как во времена Османской империи ни названий улиц, ни нумерации зданий в Стамбуле не существовало и знаменитые рода отождествлялись у людей с особняками, где они жили все вместе. Кроме того, появилась мода нарекать семейные гнезда по величайшим нравственным ценностям. Правда, мама говорила, что те, кто называл построенные ими особняки «Свободой», «Милостью» или «Добродетелью», в жизни ничем таким не отличались.

Строительство «Дома милосердия» начал в Первую мировую войну один старый толстосум, всю жизнь торговавший сахаром и игравший на черной бирже, но в конце дней своих ощутивший угрызения совести. Оба его сьша (дочь одного из них училась вместе со мной в начальной школе), поняв, что отец решил заняться благотворительностью, а потому доход от дома собирается раздавать беднякам,

уговорили некоего лекаря объявить отца сумасшедшим и упрятали его в лечебницу для душевнобольных, присвоив себе «Милосердие». Только вот благое название так и не сменили.

В среду, 30 апреля 1975 года, на следующий день после нашего с Фюсун разговора, с двух до четырех часов дня я ждал ее в условленном месте, но она не пришла. Мысли путались и вводили в уныние, обида не давала дышать; возвращаясь к себе в контору, я очень нервничал. На следующий день снова пошел туда, будто квартира могла придать мне спокойствия. Фюсун опять не появилась. В душных комнатах, среди старой одежды и пыльных ваз, брошенных здесь матерью, я находил предметы, оживлявшие в моей памяти мновения детства и юности, которые настолько стерлись, что нельзя было даже припомнить, когда они потеряли свои очертания; я рассматривал старые любительские фотографии, сделанные отцом, и сила предметов понемногу обуздывала мое смятение.

На следующий день, сидя за обедом в Бейоглу, в ресторане «Хаджи Ариф», со своим бывшим армейским сослуживцем, Абдулькеримом, которому мы давно поручили представлять интересы фирмы в Кайсери, я со стыдом подумал, что уже два дня подряд жду Фюсун в пустой квартире. Мне захотелось поскорее забыть обо всем — и о Фюсун, и об истории с поддельной сумкой. Но через двадцать минут я посмотрел на часы и представил, что Фюсун, может быть, именно сейчас идет к «Дому милосердия», чтобы вернуть мне деньги. Наврав Абдулькериму про какое-то внезапное срочное дело, я быстро доел обед и побежал туда.

Фюсун позвонила в дверь ровно через двадцать минут после моего прихода. По крайней мере, я надеялся, что это она, когда шел откръгаать. Накануне мне приснилось, как я распахиваю дверь и вижу ее.

В руках она держала зонтик, а с волос стекала вода. На ней было желтое платье в горошек.

— Я думал, ты меня уже забыла. Ну, входи.

— Не хочу вас беспокоить. Только отдам деньги. — Фюсун протянула мне помятый конверт, на котором значилось «Высшие подготовительные курсы», но я его не взял. Притянув за плечо, завел ее в квартиру и закрыл дверь.

— Дождь очень сильный, — пробормотал я первое, что пришло на ум, хотя в окно ничего не заметил. — Посиди немного, не надо мокнуть. Я как раз ставлю чай, согреешься.

Вернувшись с кухни, я увидел, как Фюсун рассматривает старые мамины вещи, одежду, чашки, трубки, покрытые пылью часы, коробки для шляп и прочий хлам. Чтобы она почувствовала себя увереннее, я попытался развеселить ее, поведав в красках, с какой страстью мама скупала эти вещи в самых модных магазинах Нишан-таши и Бейоглу, на распродажах имущества из особняков османских пашей или из полусгоревших летних вилл и даже из расформированных дервишских обителей-текке, а также во всевозможных магазинах, магазинчиках и антикварных лавках по всей Европе. И как, едва попользовавшись ими, тут же отвозила сюда, чтобы забыть о них навсегда. Рассказывая, я открывал шкафы, откуда пахло нафталином и пылью. Потом показал старый ночной горшок, кютахийскую вазу с красными цветочками (ту самую, что мать просила меня поискать) и маленький трехколесный велосипед, на котором мы оба с Фюсун катались в детстве (старые детские велосипеды мама всегда отдавала бедным родственникам).

Хрустальная конфетница напомнила мне о былых праздничных застольях. Когда маленькая Фюсун приходила к нам по праздникам в гости с родителями, то леденцы, засахаренный миндаль, марципаны, грецкие орехи в меду и лукум подавались именно в этой конфетнице.

— Помните, однажды на Курбан-байрам мы пошли с вами гулять, а потом катались на машине. — Фюсун оживилась, и глаза ее засияли.

Картина той прогулки предстала перед глазами, словно все происходило вчера.

— Ты тогда была еще совсем ребенком. А сейчас превратилась в красивую молодую женщину.

— Спасибо, — смутилась она. — Мне пора идти.

— Ты еще не выпила чаю. И дождь еще не кончился. Я подвел ее к балконной двери и слегка раздвинул

тюлевую занавеску. Фюсун с любопытством посмотрела на улицу, как дети, которые, впервые попав в новый дом, удивленно рассматривают все вокруг, или как совсем юные люди, в которых еще не угас интерес ко всему и есть открытость, потому что они не знают страданий. Мгновение я с желанием смотрел на ее затылок, шею, ее кожу, на бархатистые щеки, на крохотные родинки, незаметные издалека (а ведь у моей бабушки тоже была на шее выпуклая родинка!). Моя рука потянулась сама собой и погладила ее заколку в волосах. На заколке было четыре цветка вербены.

— У тебя волосы совсем мокрые.

— Вы кому-нибудь говорили, что я тогда... в магазине... не сдержала слез?

— Нет. Но мне любопытно, отчего ты плакала.

— Любопытно? Вам?

— Я очень много думал о тебе, — мой тон сделался еще нежнее. —Ты очень красивая, не такая, как все. Я хорошо помню тебя маленькой, хорошенькой, смуглой девочкой. Но и представить себе не мог, какой красавицей будешь.

Сдержанно улыбнувшись, как все красивые и хорошо воспитанные девушки, привыкшие к комплиментам, она в то же время недоверчиво подняла брови. Воцарилось молчание. Фюсун отступила от меня на шаг.

— Что сказала Шенай-ханым? — перевел я разговор на другую тему. — Она согласилась с тем, что сумка поддельная?

— Сначала возмутилась. Но, поняв, что вы решили не раздувать историю, а просто вернули сумку и просите назад деньги, нашла разумным обо всем забыть. Меня она тоже попросила об этом. Думаю, она знает, что сумка поддельная. А о том, что я пошла сюда, нет.

Я сказала ей, что вы сами заходили в тот день после обеда и забрали деньги. Извините, но мне пора.

— Без чая не годится!

Я принес из кухни чай. Смотрел, как она легонько дует на него, чтобы остудить, а потом осторожно пьет, по глотку. Я смотрел на нее со смешанным чувством—чем-то средним между смущением и восхищением, радостью и нежностью... Моя рука опять потянулась, словно сама собой, и погладила ее по волосам. Я приблизил голову к ее лицу, но она не отодвинулась, и тогда я поцеловал ее в уголок рта. Фюсун густо покраснела. Так как обе руки у нее были заняты горячей чашкой, она не могла отстранить меня. Я чувствовал, что она и сердится, и совершенно растеряна.

— Вообще-то я очень люблю целоваться, — смело сказала она затем. — Но сейчас, с вами, это совершенно невозможно.

— Ты много целовалась? — спросил я неуклюже, пытаясь казаться беспечным.

— Конечно. Но и только.

Она в последний раз окинула комнату, все вещи и кровать с синей простыней, нарочно оставленную мной неубранной, таким взглядом, в котором читалась убежденность, что все мужчины одинаковы. Видно было, что она сразу сделала обо мне соответствующие выводы, но мне в голову, возможно от стыда, не пришло ничего, что позволило бы продолжить эту игру.

Сувенирная феска, лежащая сейчас в моем хранилище воспоминаний, попалась мне как-то на глаза в одном из шкафов, и я украсил ею журнальный столик. Фюсун прислонила к феске полный конверт денег. Она видела, что я краем глаза

уловил движение, однако все равно сопроводила его словами: «Я конверт вон туда положила...»

— Ты не можешь уйти, не допив чай.

— Я опаздываю, — сказала она, не поднимаясь с места.

За чаем мы вспоминали наше детство, родственников. Ее семья всегда побаивалась мою мать, однако по иронии судьбы та больше всех уделяла внимания маленькой Фюсун. Всякий раз, когда тетя Несибе приходила к нам на примерку и приводила дочку с собой, мать давала ей наши игрушки—заводных курицу с собачкой, которых Фюсун очень любила и боялась сломать, а каждый год, пока она не поучаствовала в том конкурсе красоты, посылала ей с водителем Четином-эфенди подарки ко дню рождения: один из подарков, калейдоскоп, хранится у нее до сих пор... Если мать посылала одежду, то покупала ее на несколько размеров больше—на вырост. Как-то раз она прислала шотландскую юбку в крупную клетку, на булавке, которую Фюсун смогла надеть только год спустя: но она так ее полюбила, что, когда выросла из нее, носила как мини-юбку, хотя та совсем вышла из моды. Я сказал, что видел ее однажды в этой юбке в Нишанташи. Но мы тут же заговорили о другом, словно боясь, что речь зайдет о ее тонкой талии и стройных ножках. Мы вспомнили дядю Сюрейю. Он жил в Германии и отличался некоторыми странностями, но, приезжая в Стамбул, непременно навещал всю родню; благодаря ему все ветви большого рода, давно порвавшие отношения, получали друг о друге известия.

— Утром в тот день, когда был Курбан-байрам и мы поехали кататься на машине, дядя Сюрейя тоже был у вас дома, — припомнила Фюсун. Потом быстро встала, надела плащ и начала безуспешно искать зонтик. Поиски ни к чему не привели, потому что, готовя чай, я незаметно спрятал его в прихожей за вешалку.

— Ты что, не помнишь, куда его положила? — стараясь не выдать себя, недоумевал я, разыскивая зонтик вместе с ней.

— Я оставила его здесь, — растерянно показала Фюсун на вешалку.

Пока мы обыскивали вдвоем всю квартиру, заглянув даже в самые необычные места, я, выражаясь излюбленными фразами глянцевых журналов, поинтересовался, как она проводит свое свободное время. В прошлом году она не сумела поступить в университет, так как не набрала нужное количество баллов для того отделения, куда ей хотелось. А сейчас, в свободное от бутика «Шанзелизе» время, ходит на Высшие подготовительные курсы. Сейчас она много занимается, потому что до вступительных экзаменов осталось сорок пять дней.

— Куда ты хочешь поступить?

— Не знаю, — ответила она, слегка смутившись. — Вообще-то мне хотелось поступить в консерваторию и стать актрисой.

— На этих курсах только время впустую потратишь, там все ради денег, — мой тон напоминал наставления учителя. — Если у тебя трудности по каким-либо предметам, особенно по математике, приходи сюда. Я каждый день бьшаю здесь после обеда, чтобы поработать в одиночестве. И быстро тебе все объясню.

— Ты и с другими девушками здесь математикой занимаешься? — Казалось, она прочитала мои мысли, выдав себя лишь насмешливым движением бровей.

— Других девушек нет.

— Сибель-ханым бывает у нас в магазине. Она очень красивая, очень приятная девушка. Когда у вас свадьба?

— У нас помолвка через полтора месяца. Этот зонтик тебе подойдет?

Я предложил ей летний зонтик, купленный матерью в Ницце. Она сказала, что не может появиться в магазине с ним. К тому же теперь ей хотелось непременно уйти, и зонтик был уже не так и важен: «Дождь, кажется, закончился». Когда она стояла в дверях, я с тревогой почувствовал, что больше никогда не увижу ее.

— Пожалуйста, приходи еще, и просто попьем чаю, — попросил я.

— Не обижайтесь, Кемаль-бей, но я не хочу приходить. Вы сами знаете, я больше не приду. Не беспокойтесь, я никому не скажу, что вы меня целовали.

— А что с зонтиком?

— Зонтик Шенай-ханым, да бог с ним, — ответила она и, торопливо запечатлев у меня на щеке не лишенный чувственности поцелуй, ушла.

8 Первый турецкий фруктовый лимонад

Не могу упустить из виду газетные страницы с рекламными фотографиями первого турецкого фруктового лимонада «Мельтем» и сам этот лимонад с клубничным, персиковым, апельсиновым и вишневым вкусом, потому что он напоминает мне о радостной и спокойной атмосфере тех счастливых дней.

В честь сладкого начинания Заим устроил торжественный прием у себя в квартире в районе Айяспаша, из окон которой открывался роскошный вид на Босфор. Должны были присутствовать все наши друзья. Сибель очень любила бывать в кругу моих друзей, молодых и состоятельных, и всегда радовалась, когда мы катались на катерах по Босфору, вместе отмечали дни рождения или гоняли на машинах по ночному Стамбулу после веселых посиделок в ресторанах допоздна. Ей нравилась компания, однако Заима она не любила. Считала, что тот слишком любит красоваться, постоянно увивается за женщинами, что он крайне зауряден, и всегда посмеивалась, когда на его вечеринках в конце празднества в качестве подарка для гостей приглашенная танцовщица исполняла танец живота и когда он зажигалкой с эмблемой «Плейбоя» помогал девушкам прикуривать сигареты. Ей ужасно не нравилось, что у Заима не счесть мелких интрижек с малоизвестными актрисками или манекенщицами (новая сомнительная профессия, только-только появившаяся в те дни в Турции), на которых он никогда бы не женился. Она считала столь же безответственными и его отношения с порядочными девушками, поскольку они тоже ни к чему не приводили. Вот поэтому я удивился, услышав нотки разочарования в голосе Сибель, когда сказал ей по телефону, что вечером не смогу пойти в гости к Заиму, так как неважно себя чувствую.

— Там же будет та немецкая манекенщица, которая снялась в рекламе «Мельтема»! — разочарованно вздохнула Сибель.

— Ты же всегда говоришь, что Заим — плохой пример для меня...

— Если ты не идешь в гости к Заиму, значит, ты действительно болен. Хочешь, я приду к тебе?

— Не надо. За мной ухаживают мама и Фатьма-ха-ным. Скоро все будет нормально.

Я лег на кровать прямо в одежде, подумал о Фюсун и решил, что ее нужно забыть и больше никогда не встречаться с ней до конца дней моих.

9 ф

На следующий день, 3 мая 1975 года, в половине третьего, Фюсун пришла ко мне в «Дом милосердия», чтобы впервые в своей жизни «сделать это». Я отправился туда, даже не мечтая, что опять встречусь с ней. Хотя нет, втайне меня не покидала надежда снова увидеть Фюсун там... Я прокручивал мысленно наш с ней разговор, вспоминал о старинных маминых вещицах, часах, трехколесном велосипеде, сохранивших наше общее, на двоих детство в странном сумарке полутемной квартиры. И так остро почувствовал запах пыли и старости, что мне захотелось побыть одному и долго-долго смотреть в окно на сад... Вероятно, это желание и привело меня в «Дом милосердия» в тот день. Здесь я мог пережить посекундно нашу встречу еще раз, подержать в руках чашку, из которой пила Фюсун, затем

собрать мамины вещи и постараться забыть о своих постыдных мыслях. Раскладывая все по местам, я нашел фотографии, сделанные много лет назад отцом из дальней комнаты, на которых запечатлелись кровать и вид из окна на сад—в комнате уже много лет ничего не менялось... Помню, когда раздался звонок в дверь, я подумал: «Мама!»

— Я пришла за зонтиком, — сказала Фюсун.

Но войти не решалась. «Входи!» — пригласил я. Она колебалась, однако почувствовав, что стоять в дверях невежливо, вошла. Я закрыл за ней дверь. На ней было темно-розовое платье с белыми пуговицами и белый пояс с широкой пряжкой, делавший ее талию еще тоньше. Они особенные экспонаты моего музея.

В молодости я страдал странной слабостью — с красивыми и таинственными девушками чувствовал себя уверенно, только когда был искренним. Потом почему-то решил, что к тридцати годам избавился от этой робости и простодушия, — оказалось, ошибался.

— Твой зонтик здесь, — внезапно признался я. И вытащил его из укромного тайника. Я даже не задавался вопросом, почему раньше этого не сделал.

— Как же он туда попал? Упал с вешалки?

— Никуда он не падал. Я вчера спрятал его, чтобы ты сразу не ушла.

Мгновения она раздумывала, сердиться ей или смеяться. Взяв Фюсун за руку, я повел ее на кухню под предлогом угостить чаем. На кухне царил полумрак, пахло влагой и пылью. Там все развивалось стремительно. Не сдержав себя, мы начали целоваться. Целовались мы долго и страстно. Она так отдавалась поцелуям, так крепко обнимала меня за шею и так крепко закрывала глаза, что я почувствовал: она готова «пойти до конца».

Однако это было невозможно — ведь Фюсун наверняка девственница. Хотя, пока мы целовались, я в какой-то момент почувствовал, что она давно приняла столь важное в своей жизни решение и открыла дверь «Дома милосердия», чтобы пойти со мной «до конца», происходившее напоминало европейское кино. Вообразить, что турецкая девушка вдруг, ни с того ни с сего, решилась совершить подобный поступок... Это выглядело странным. Хотя, может, она и девственницей уже не была...

Целуясь, мы вышли из кухни, сели на кровать и, не особо смущаясь, но и не глядя друг на друга, сбросили с себя почти всю одежду, тут же забравшись под одеяло. Оно было слишком толстым, да к тому же душило своей тяжестью, так что вскоре я его скинул, и мы предстали друг перед другом полуголыми. Пот разъедал глаза, все тело покрылось каплями, и лишь близость Фюсун почему-то умиротворяла. Из-за раздвинутых занавесок в комнату падал желтоватый луч золотистого света, от которого ее влажное тело тоже казалось золотистым. Фюсун, не отводя глаз, смотрела на меня — так же как я на нее — с задумчивой, но неосознанной, как желание, нежностью, смотрела на мое тело, часть которого на ее глазах меняла размер и форму, и ее спокойствие пробудило во мне ревнивую уверенность, что она уже видела мужчин, бывала в их постелях, на диванах, на задних сиденьях автомобилей.

Мы отдались тягучей мелодии наслаждения и желания, без чего невозможна ни одна любовная история. Однако по взволнованным взглядам стало заметно, что нас тревожит мысль о сложном испытании, через какое нам предстоит пройти. Фюсун медленно сняла сережки, одной из которых предстояло стать первым экспонатом моего музея, и аккуратно положила их на тумбочку у кровати. То, как вдумчиво она сделала это, напомнив мне близорукую девочку, осторожно снимающую очки, прежде чем ступить в воды моря, заставило меня поверить, что она и в самом деле решила впервые «пойти до конца». Тогда молодые люди носили разного рода медальоны, колье и браслеты в виде заглавных букв своего имени—такой уж была мода; но сережек подобной формы я никогда ни у кого не видел. С той же решимостью Фюсун

сняла с себя и трусики — это окончательно убедило меня. Если бы она не хотела идти до конца, то, как диктовали негласные правила того времени, так и осталась в них.

Я поцеловал ее плечи, пахнувшие миндалем, коснулся языком влажной бархатной шеи и слегка удивился, заметив, что кожа на груди у нее немного светлее — ведь загорать еще было рано. Фюсун смотрела на меня грустными и полными страха глазами. Но я решился сделать это прежде всего ради нее самой и только потом ради нас двоих и вовсе не для одного лишь удовольствия. Жизнь поставила нас перед испытанием, и мы пытались преодолеть его, веря в себя. Поэтому, когда наступило время, всем телом навалившись на нее, причинить ей боль и среди множества нежных слов, какие шептали мои губы, я спросил: «Тебе больно, милая моя?»—она ничего не ответила, я не удивился, но замолчал. Ведь оттуда, где было ближе всего к ней, я чувствовал, точно собственную боль, легкую дрожь, поднимавшуюся из глубин ее тела (и вдруг подумал, что так же дрожат подсолнухи на легком летнем ветерке).

По ее взгляду, который она отвела от меня и, будто дотошный доктор, направила к своему лону, я понял, что она прислушивается к себе и хочет пережить в одиночестве то, что ей дано испытать впервые и только раз в жизни. А мне, чтобы завершить начатое и вернуться из трудного путешествия, следовало теперь эгоистично позаботиться о собственном удовольствии. Так мы оба поняли, что ощутить максимум наслаждения, которое привязывало нас друг к другу, можно, лишь оставшись наедине с собой. С силой, даже яростно, сжимая друг друга, мы безжалостно начали пользоваться телами друг друга ради корыстной, безудержной радости свершения. В том, как Фюсун пальцами впилась мне в спину, что-то напомнило мне испуганную маленькую девочку, которая не умеет плавать и, войдя в море, вдруг начинает бояться, что сейчас утонет, а потом изо всех сил прижимается к подоспевшему отцу. Десять дней спустя, когда она лежала с закрытыми глазами, обняв меня, я спросил, что она увидела в тот, первый, раз, и она ответила: «Я видела поле с подсолнухами».

Мальчишки, которые и в последующие дни будут сопровождать наши любовные игры смехом, веселыми криками и отборной бранью, играли в футбол в старом саду соседнего особняка. Когда их гомон на мгновение стих, комната погрузилась в сверхъестественную тишину, если не считать нескольких робких стонов Фюсун и одного-двух счастливых вскриков, которые, забываясь, издал я. Где-то вне нашего пространства, издалека, с площади Нишанташи, доносились вой полицейских сирен, гудки автомобилей, удары молотка. Какой-то мальчишка гонял по улице консервную банку, заплакала чайка, разбилась чашка, зашелестели листья платана от легкого ветерка.

Мы лежали, обнявшись, и нам обоим хотелось забыть о примитивных общественных штампах, вроде окровавленной простыни, разбросанной одежды и наших обнаженных тел, забыть постыдные подробности, которые так стремятся изучить и классифицировать ученые всех мастей. Фюсун тихонько плакала. Она не особо прислушивалась к моим утешительным словам. Сказала, что никогда всего этого не забудет, и потом затихла.

Так как много лет спустя жизнь сделает исследователем собственной жизни меня самого, мне не хотелось бы пренебрежительно отзываться о тех увлеченных людях, которые собирают различные предметы со всех концов света, пытаясь придать своей и нашей жизни особое значение. Однако я опасаюсь, что чрезмерное внимание к предметам и свидетельствам «первого любовного опыта» помешает посетителям моего музея разглядеть огромное чувство нежности и благодарности, возникшее между мной и Фюсун. Поэтому пусть хлопчатобумажный носовой платок в цветочек, который в тот день не показывался из сумки Фюсун, а лежал там,

тщательно сложенный, и станет знаком этой нежности, с которой моя восемнадцатилетняя возлюбленная целовала мое тридцатилетнее тело, когда мы, обнявшись, молча лежали в кровати. А мамина хрустальная чернильница и письменный прибор, которые взяла со стола посмотреть Фюсун, закуривая сигарету, будут знаком хрупкости и уязвимости этого чувства. Когда мы одевались, я подержал в руках ее большую, увесистую заколку, и меня охватил прилив мужской гордости. Поэтому пусть модный в те дни широкий мужской пояс, застегивая который я почувствовал себя виноватым из-за этой гордости, расскажет посетителям моего музея, как нам обоим было трудно покидать рай, одеваться, теряя наготу, и как тяжело было просто смотреть на старый, грязный мир.

Перед выходом я сказал Фюсун, что, если она хочет поступить в университет, последние полтора месяца ей нужно много заниматься.

— Ты что, боишься, что я до конца жизни останусь продавщицей?—улыбнулась она.

— Нет, конечно... Но я хочу подготовить тебя к экзамену. Будем заниматься здесь. По каким вы книгам учитесь? Классическая математика или современная?

— В лицее у нас была классическая. Но на курсах преподают обе. Вопросы будут и по той, и по другой. И мне все это трудно дается.

Мы договорились начать занятия завтра же. Как только она ушла, я пошел в книжный магазин Нишан-таши, нашел учебники, по которым их учили в лицее и на курсах, и, немного полистав их у себя в кабинете за сигаретой, понял, что действительно способен ей помочь. Мне сразу стало легче на душе, и я почувствовал огромное счастье и странную, смешанную с радостью, гордость. Счастье, острое, как кинжал, отдавалось болью в шее, на носу и даже в груди. Где-то в уголках сознания все время трепетала мысль, что у нас с Фюсун впереди еще немало любовных свиданий в «Доме милосердия». Но я сразу понял, что смогу встречаться с ней, только если не буду воспринимать ее как нечто особенное.

10 Огни города и счастье

Тем вечером Йешим, лицейская подруга Сибель, праздновала помолвку в гостинице «Пера Палас». Все наши друзья должны были присутствовать там, и я тоже пошел. Сибель в тот вечер сияла от счастья. На ней были блестящее серебристое платье и вязаная шаль. Она полагала, что помолвка подруги будет репетицией нашей, и потому обращала внимание на все детали, подходила ко всем гостям и все время улыбалась.

К тому моменту, когда сын нашего с Фюсун дяди Сюрейи, имя которого я никогда не помнил, представил меня немецкой манекенщице, снявшейся у Заима в рекламе его лимонада, я уже выпил два стаканчика ракы и наконец расслабился.

— Как вам Турция? — поинтересовался я у нее по-английски.

— Я видела только Стамбул, — ответила Инге. — Удивительный город, ничего подобного себе не представляла.

— А что вы представляли? — Неожиданно для себя самого я раздражился.

Мгновение мы молча смотрели друг на друга. Видимо, эта умная женщина давно поняла, как легко обидеть турка. Она быстро улыбнулась и произнесла по-турецки с очень сильным акцентом рекламный девиз лимонада «Мельтем»: «Вы достойны всего!»

— За неделю вас узнала вся Турция, как вы себя чувствуете после этого?

— Да, теперь на улице меня все узнают. Полицейские, водители такси, все, — мой вопрос обрадовал ее, как ребенка. — Как-то даже продавец воздушных шаров остановил меня, подарил шарик и сказал: «Вы достойны всего!» Легко стать известным, когда в стране только один телевизионный канал.

Интересно, заметила ли она сама презрение в своих словах? А ведь ей хотелось проявить почтение.

— А сколько каналов в Германии? — поинтересовался я. Она поняла, что сказала не то, и смутилась. Мой вопрос также был неудачен, и я поспешно произнес: — Каждый день по пути на работу вижу вашу фотографию на стене. Очень красивая.

— Да. Вы, турки, намного опережаете Европу во всем, что касается рекламы.

Эти слова почему-то порадовали меня, хотя не следовало забывать, что говорят их из вежливости.

Я поискал глазами Заима в шумной толпе веселых гостей. Он разговаривал с Сибель. Приятно было думать, что они смогут подружиться. Даже сейчас, спустя много лет, помню, как обрадовался тогда. Между нами Сибель придумала Заиму прозвище под стать рекламному девизу его лимонада: «Заим, достойный всего». Эти слова казались ей глупыми и вульгарными. Сибель считала, что в такой бедной и проблемной стране, как Турция, где убийства происходили только лишь за принадлежность к правым либо левым политическим организациям, эти рекламные лозунги совершенно неуместны.

Через большую балконную дверь внутрь проникал аромат цветущей липы. Внизу, в водах Золотого Рога, отражались огни города. Даже трущобы и бедные кварталы Касым-Паша казались прекрасными. Я чувствовал, что меня ожидают полная гармонии и радости жизнь и что все происходящее сейчас — только подготовка к настоящему счастью, которое предстоит пережить в дальнейшем. Напоминание о случившемся между мной и Фюсун выбивало меня из равновесия, но, впрочем, ведь у каждого бывают тайны. Кто знает, какие заботы или душевные раны снедали этих блестящих гостей? Однако стоило только выпить в компании друзей, сразу становилось понятно, как не важны и ничтожны все беды и горести.

— Видишь того раздражительного человека? — Си-бель показала мне взглядом на него. — Это знаменитый Супхи; собирает спичечные коробки. У него их целая комната. Говорят, он начал их коллекционировать, когда его бросила жена. Да, скажи, у нас на помолвке официанты не будут так забавно одеты? И почему ты пьешь сегодня так много? Вот еще что...

— Что?

— Мехмеду нравится немка-манекенщица, он от нее не отходит, а Заим ревнует. А вот тот человек, видишь? Сын твоего дяди Сюрейи... Оказалось, он племянник Йешим!.. У тебя сегодня плохое настроение? Ты что-то от меня скрываешь?

— Нет, ничего. Мне очень даже весело.

Сейчас, через много лет, прекрасно помню, как нежна в тот вечер была Сибель. Веселая, умная и ласковая, и я не сомневался, что буду счастлив рядом с ней — не только в молодости, всю жизнь счастлив. Но, проводив ее поздно вечером домой, мне не хотелось уходить к себе; я долго бродил по пустым и темным улицам, размышляя о Фюсун. Больше всего меня беспокоило не столько то, что Фюсун отдалась мне первому, сколько ее решимость, это никак не укладывалось в нарисованную мною картину. Ведь Фюсун совершенно не ломалась, даже раздеваясь, она не колебалась ни минуты...

Дома родители спали, гостиная была пуста. Бывало, отцу не спалось, иногда по ночам он приходил в гостиную в пижаме, и мы подолгу беседовали. Но сейчас из их спальни доносился мерный мамин храп и шелест папиного дыхания. Прежде чем лечь, я выпил еще пару рюмок ракы и выкурил сигарету. Сцены наших с Фюсун объятий, смешавшись со сценами помолвки, проплывали перед глазами.

11 Курбан-байрам

Между сном и явью я почему-то вспомнил о сыне нашего с Фюсун дальнего

родственника, дяди Сюрейи, который оказался племянником Иешим и имя которого я все время забывал. Дядя Сюрейя ведь тоже приходил к нам домой в тот далекий праздничный день, когда в гостях была Фюсун и мы поехали кататься на машине. Я лежал в кровати и пытался заснуть. Сознание восстанавливало картины холодного, свинцового праздничного утра. Известные в деталях, они почему-то казались замысловатыми, неправдоподобными: так бывает, когда во сне видишь привычное, обыкновенное. Я заметил наш с Фюсун старый трехколесный велосипед, потом мы вышли с ней на улицу и смотрели, как режут барана, затем поехали кататься на машине. На следующий день, когда мы встретились в «Доме милосердия», я спросил ее, помнит ли она об этом.

— Велосипед мы с мамой принесли из дома, чтобы вам вернуть, — сказала Фюсун. Она помнила все лучше меня. — За несколько лет до этого твоя мама отдала его мне, после того как на нем катался ты с братом. Но я тоже выросла. И в тот день мама принесла его обратно.

— А потом, наверное, моя мама принесла его сюда, — задумчиво произнес я. — Я почему-то вспомнил, что дядя Сюрейя был у нас дома...

— Потому что именно он захотел ликера, — подсказала фрагмент прошлого Фюсун.

Ту неожиданную автомобильную прогулку Фюсун тоже запомнила лучше, чем я. Фюсун тогда было двенадцать, мне—двадцать четыре года. 27 февраля 1969 года шел первый день Курбан-байрама, Праздника жертвоприношения. Как всегда, праздничным утром у нас дома в Нишанташи собралась в ожидании застолья толпа веселых, нарядных родственников—близких и далеких; женщины надели свои лучшие платья, а все мужчины — пиджаки и галстуки. Часто раздавался звонок в дверь, прибывали новые гости. Собравшиеся вставали, чтобы пожать руку или расцеловать в щеки вновь пришедших, пододвигали им стулья. Мы с братом и Фатьмой-ханым стояли и держали сладости для большой компании, как вдруг отец отвел нас обоих в сторонку.

— Мальчики, дядя Сюрейя опять требует ликера, — сказал он. — Пусть кто-то из вас сходит в лавку Алааддина и купит ликер — мятный и клубничный.

Раньше в нашем доме существовала традиция на праздники угощать мятным и клубничным ликером, который подавали в хрустальных стаканах на серебряном подносе, но в те годы мама запретила это делать, потому что отцу пить было вредно, а он иногда перебирал лишнего. Помню даже, как двумя годами ранее, таким же праздничным утром, когда дядя Сюрейя не менее настойчиво требовал налить ему ликера, мать, чтобы не допустить скандала, заявила: «Разве мусульманам можно пить алкоголь во время религиозных праздников?» И тогда наш чрезмерно светский дядя, ярый сторонник Ататюрка, вступил с ней в нескончаемый спор об исламе и цивилизованности, Европе и Республике.

— Так кто из вас пойдет? — Из пачки новеньких, хрустящих десятилировых купюр, специально взятой в банке к празднику, чтобы раздавать подходившим почтительно поцеловать ему руку детям, привратникам и сторожам, отец вытащил одну бумажку.

— Пусть Кемаль идет! — предложил брат.

— Пусть Осман идет! — отозвался я.

— Давай иди-ка ты, — посмотрел на меня отец. — Да, и не говори матери, куда отправляешься!

Выходя из дома, я заметил двенадцатилетнюю Фюсун с тонкими, как тростинки, ножками, в аккуратном платьице.

— Пойдем со мной в магазин.

Ничто в ней не привлекало внимания, кроме бантов из белоснежной капроновой ленты, похожих на бабочек, в ее блестящих косичках. Обычные вопросы, заданные

мной той маленькой девочке в лифте, Фюсун воспроизвела через шесть лет: в каком ты классе? («в шестом!»); в какую школу ходишь? («в женский лицей Нишанташи!»); кем хочешь стать? (Молчание.)

Мы прошли несколько шагов по холоду, как вдруг я заметил, что на соседнем с нашим домом пустыре, под маленькой липой, будут резать барана и уже собралась толпа зрителей. Сейчас я, конечно, никогда бы не повел маленькую девочку смотреть на это. Но тогда... Тогда, ни о чем не задумываясь, направился прямиком туда.

На земле лежал принесенный нашим привратником Саимом-эфенди и поваром Бекри-эфенди баран со связанными ногами, выкрашенными хной. Рядом, в переднике и с огромным ножом, стоял мясник. Баран все время вырывался, и мяснику никак не удавалось выполнить свою миссию. Наконец у привратника с поваром получилось крепко прижать бедное животное к земле. Тогда мясник, грубо взяв барана за добродушную мордочку, повернул его голову в сторону и резко вонзил ему в горло длинный нож. Воцарилась тишина. «Аилах велик! Аллах всемогущ!» — громко провозгласил мясник. Быстро двигая ножом, он разрезал белое горло барана. Едва он вынул нож, как хлынула густая, ярко-красная кровь. Баран бился в предсмертной судороге. Все застыли. Внезапно в голых ветках липы завыл жуткий ветер. Наконец мясник отрезал баранью голову, а кровь вылил в заранее вырытую яму.

Я увидел скрившихся в сторонке любопытных мальчишек, нашего водителя Четина-эфенди, какого-то старика, возносившего молитву. Фюсун, затаив дыхание, вцепилась мне в рукав пиджака. Баран еще бился, но то была уже агония. Вытиравшего о фартук нож мясника звали Казымом, лавка его располагалась неподалеку от полицейского участка, но я его не узнал. Когда мы встретились взглядами с поваром Бекри, стало понятно, что зарезали нашего барана, которого купили накануне праздника и неделю держали на привязи в саду.

— Пойдем отсюда, — сказал я Фюсун.

Ни слова не говоря, мы зашагали прочь по улице. От чего мне стало не по себе — от того ли, что по моей вине маленькая девочка оказалась свидетелем такой сцены? Я ощущал вину, но причину ее понять не мог.

Мои родители не были религиозны. Не припомню, чтобы кто-то из них когда-либо совершал намаз или постился. Как многие люди, взрослевшие в первые годы Республики, они не пренебрегали религией, просто не придавали ей особого значения, объясняя это безразличие любовью к реформам Ататюрка и стремлением к светскому образу жизни. Несмотря на это, в семьях многих обитателей Нишанташи, подобно нашей, на Праздник жервоприношения резали барана, а мясо раздавали беднякам, как того требовала традиция. Родители сами, конечно, никогда этим не занимались, да и раздачу мяса с требухой поручали прислуге. Я тоже всегда держался в стороне от церемонии заклания, множество лет утром праздничного дня совершавшейся на пустыре рядом с домом.

Мы молча шли с Фюсун к лавке Алааддина. Перед мечетью Тешвикие задул пронизывающий ветер, и мое беспокойство почему-то переросло в страх.

— Ты очень испугалась? — Я внимательно посмотрел на нее. — Не надо было нам останавливаться, чтобы не видеть...

— Бедный барашек... —только и проговорила она.

— А ты знаешь, зачем режут барана?

— Когда-нибудь, когда мы будем на пути к раю, этот барашек проведет нас по мосту Сырат

Так объясняли причину мусульманского жертвоприношения дети либо неграмотные.

— Начинается эта история не так, — сказал я, словно учитель детям в школе. — Знаешь начало?

— Нет.

— У пророка Ибрагима не было детей. Он долго молился Аллаху: «О великий Творец, ниспошли мне сына, и я сделаю все, что ты повелишь мне». В конце концов Аллах принял его молитвы, и однажды у Ибрагима родился сын Измаил. Ибрагим был несказанно счастлив. Он очень любил сына, не мог наглядеться на него и каждый день возносил хвалы Аллаху. А однажды ночью Аллах явился ему во сне и сказал: «Повелеваю тебе принести своего сына мне в жертву».

— Зачем он это сказал?

— Сначала дослушай... Пророк Ибрагим повиновался Аллаху. Он вытащил острый нож и собирался уже вонзить его сыну в горло... Как вдруг на месте сына появился баран.

— Почему?

— Аллах пожалел пророка Ибрагима и послал ему барана, чтобы он зарезал его вместо любимого сына. Потому что Аллах увидел, что Ибрагим послушен ему.

— Если бы Аллах не послал барана, Ибрагим бы и в самом деле зарезал сына?

— Зарезал бы, — голос мой внезапно ослаб. —Аллах был уверен, что Ибрагим зарезал бы сына, и, чтобы не расстраивать его, послал ему барана.

Я волновался, потому что видел — мои попытки толково рассказать двенадцатилетней девочке об отце, попытавшемся убить собственного сына, успехом не увенчались. Волнение мое постепенно перерастало в отчаяние.

Лавка Алааддина оказалась заперта.

— Пойдем в магазин на площади! — предложил я. Мы дошли до Нишанташи. Там на перекрестке

имелась табачная лавка «У Нуреттина», но и она была закрыта. Пришлось повернуть обратно. Пока мы возвращались, я придумал толкование истории о пророке Ибрагиме, которое бы устроило Фюсун.

— Послушай. Сначала пророк Ибрагим, конечно, не знал, что на месте сына появится баран. — начал я. — Но он так сильно верил в Аллаха и так сильно его любил, что увереннее сомневался: Аллах не причинит ему зла. Когда мы сильно любим кого-то и отдаем ему самое дорогое, что у нас есть, мы ведь знаем, что от этого человека нам не будет никакого зла. Это и есть жертва. Ты кого больше всего любишь на свете?

— Маму и папу...

Рядом с домом мы встретили водителя Четина.

— Четин-эфенди, отец попросил купить ликер, — сказал я. — В Нишанташи магазины закрыты, отвези нас на Таксим. А потом, как знать, еще немного покатаемся.

— Мне тоже можно, да? — обрадовалась Фюсун.

Мы сели с ней на заднее сиденье отцовского вишневого «шевроле» 56-й модели. Четин-эфенди повел машину по ухабистым стамбульским улицам, вымощенным плиткой. Фюсун смотрела в окно. Проехав через район Мачка, мы спустились к Долмабахче. Улицы были пустынны, не считая нескольких одиноких празднично одетых пешеходов. Проехав мимо стадиона Долмабахче, мы опять увидели людей, наблюдавших, как режут барана.

— Четин-эфенеди, ради Аллаха, объясни ребенку, зачем мусульмане приносят в жертву барана. У меня не получается.

— Что вы, что вы, Кемаль-бей!—смущенно улыбнулся шофер. Но, не устояв перед удовольствием похвастаться, что он набожнее нас, все же заговорил: — Мы жертвуем Всемогущему барана, чтобы показать, что мы любим его так же, как пророк Ибрагим... Жертва означает, что мы готовы пожертвовать Аллаху самое дорогое. Мы, маленькая ханым, так любим Аллаха, что отдаем ему самое-самое любимое. И не ждем ничего в ответ.

— То есть за жертву попасть в рай не получится? — схитрил я.

— Как сказал великий Аллах... Кто попадет в рай, станет известно только в судный день. Но мы приносим жертву не для того, чтобы оказаться в раю. Мы приносим ее, не ожидая никакой награды, лишь потому, что любим Аллаха.

— А ты, оказывается, хорошо разбираешься в религиозных вопросах, Четин-эфенди.

— Ну что вы, Кемаль-бей, куда мне до вас! Вы такой ученый, лучше меня все знаете! Да и чтобы разбираться в этом, не надо ни веры, ни мечети. Мы всегда отдаем тому, кого любим, самое дорогое, то, над чем трясемся, и отдаем лишь потому, что крепко любим, ничего не ожидая взамен.

— Но ведь человеку, которому приносят такую жертву, делается не по себе, — заметил я. — Он думает, что от него чего-то хотят.

— Аллах велик, — проговорил Четин-эфенди. —Аллах все видит и все знает... Он понимает, что мы любим его и не ждем награды. Никому не обмануть Аллаха.

— Вон открытый магазин, — прервал я нашу религиозную беседу. — Четин-эфенди, останови машину. Я знаю, что здесь продают ликер.

Мы с Фюсун за пять минут купили по бутылке мятного и клубничного ликера «Текель» и быстро вернулись обратно.

— Четин-эфенди, у нас еще есть время. Покатай нас немного! — попросил я.

Почти обо всем, что мы обсуждали во время той долгой автомобильной прогулки, годы спустя мне напомнила Фюсун. Мне же с того морозного праздничного утра запомнилось только одно: тем утром Стамбул был похож на скотобойню. С рассвета в городе были зарезаны десятки тысяч баранов, при том не только на окраинах, на пустырях и пожарищах в бедных кварталах, но и в самых богатых районах города и даже в центре. Местами мостовую заливали красные лужи крови. Пока наш автомобиль перебирался с холма на холм, переезжал мосты и колесил по извилистым переулкам, мы повсюду видели мертвых баранов. С тех, которых зарезали недавно, сдирали шкуру, а которых давно — резали на части.

Через мост Ататюрка мы переехали Золотой Рог. Несмотря на всеобщее ликование, на флаги и разнаряженную толпу на улицах, нам было грустно, и мы чувствовали усталость. Проехав акведук Бождоган, повернули к Фатиху. На одном пустыре продавали вымазанных хной баранов.

— Их тоже зарежут? — робко спросила Фюсун.

— Может быть, этих и не зарежут, маленькая ханым, — отозвался Четин-эфенди. — Время к полудню, а покупателей на них нет... Возможно, до конца праздника не будет, так что бедные животные спасутся... Но поставщики все равно продадут их мясникам, маленькая ханым.

— А давайте до мясников купим их и спасем, — предложила Фюсун. Она сидела в красивом красном пальто. Улыбнувшись, она смело подмигнула мне. — Надо украсть барана у человека, который хочет зарезать своего ребенка, правда?

— Надо, — согласился я.

— Как сообразительна юная госпожа, — улыбнулся Четин-эфенди. — Но ведь пророк Ибрагим не хотел убивать своего сына. Просто так повелел Аллах. Если мы не будем выполнять все, что велит Аллах, в мире наступит неразбериха, будет конец света... Основа всего мира — любовь. А основа любви — любовь к Аллаху.

— Но как это понять ребенку, которого хочет зарезать собственный отец? — не выдержал я.

На мгновение наши с Четином-эфенди взгляды встретились в зеркале.

— Кемаль-бей, вы ведь это спрашиваете лишь для того, чтобы, как ваш батюшка, поболтать со мной, пошутить, — сказал он. — Ваш отец жалует нас. Мы тоже почитаем и любим его и никогда не обижаемся на его шутки. И на ваши шутки тоже обижаться не станем. Но отвечу я вам примером. Вы видели фильм «Пророк

Ибрагим»?

— Нет.

— Конечно, вы на такие фильмы не ходите. Но возьмите как-нибудь с собой маленькую ханым и обязательно посмотрите его. Ни минуты не заскучаете... Пророка Ибрагима играет Экрем Гючлю. Мы ходили всей семьей, с женой да ребятишками. Все прослезились. Особенно тогда, когда пророк Ибрагим, взяв нож, смотрит на сына... И когда сын, Измаил, говорит, как записано в Великом Коране: «Отец, выполняй волю Аллаха во что бы то ни стало!» А когда на месте сына появился баран, весь зал рыдал от счастья. Если мы отдаем кому-то, кого больше всех любим, самое дорогое, не ожидая ничего в ответ, тогда мир вокруг становится прекрасным. Вот почему все плакали.

Мы ехали тогда из Фатиха в Эдирнекапы, а там, повернув вправо, спустились по окраинным кварталам мимо старых, полуразрушенных крепостных стен к Золотому Рогу. Когда мы проезжали мимо крепостных стен, долгое время ничто не нарушало тишину в машине. В промежутках между стенами виднелись мусорные кучи от фабрик и всевозможных мастерских, земля была завалена пустыми бутылками, тряпьем, бумагой. Повсюду валялись останки зарезанных баранов, содранная кожа, кишки, рога. Однако казалось, в этих бедных кварталах, среди домов с облупившейся краской, люди больше радовались самому празднику, а не принесенным жертвам. Помню, как мы с Фюсун внимательно посмотрели на какую-то площадь, где было в разгаре народное гуляние с каруселями и качелями; на детей, покупавших на выданные к празднику деньги сласти; на маленькие турецкие флаги, как рога, торчавшие впереди на автобусах; на все эти сцены счастья, фотографии и открытки с видами которых я буду страстно собирать через много лет.

Поднимаясь на холм Шишхане, мы оказались посреди дороги в толпе. Проехать было трудно. Сначала я решил, что это — очередное гулянье. Машина медленно ехала между людей. Вдруг все расступились, и мы увидели прямо перед собой два столкнувшихся автомобиля, а рядом—умиравших людей. У съезжавшего с холма грузовика лопнул тормозной ремень, он вылетел на встречную полосу и тут же подмял под себя легковой автомобиль.

— Аллах велик! — пробормотал Четин-эфенди. — Маленькая ханым, не надо смотреть туда.

У машины был полностью смят перед, и внутри кто-то, умирая, кажется, слегка шевелил головой. Никогда не забуду треск осколков под колесами нашего автомобиля и наше молчание потом. Поднявшись на холм по пустынным улицам, мы домчались от Такси-ма до Нишанташи, будто за нами гнались.

— Куда вы запропастились? — удивленно спросил отец. — Мы уже волноваться стали. Ликер нашли?

— Конечно! — ответил я. В гостиной пахло духами, одеколоном и начищенным ковром. Оказавшись среди радостных родственников, я тут же позабыл о маленькой Фюсун.

12 Поцелуи в губы

О той праздничной прогулке шестилетней давности мы вспоминали с Фюсун на следующий день, когда встретились вновь после обеда. Потом, позабыв обо всем, долго предавались поцелуям и любви. От весеннего ветра, пахшего липовым цветом, задувавшего из-за штор и тюлевых занавесок в комнату, она слегка дрогла, а ее медово-солнечная кожа покрывалась мурашками. Она так крепко закрывала глаза и так сильно прижималась ко мне — как утопающий держится за спасательный круг, — что я был ошеломлен и не мог осознать: смысл происходящего куда глубже. Я лишь решил, что мне необходимо поскорее побывать в мужской компании, чтобы не

погружаться с головой в опасные чувства, в раскаяние и сомнения — в общем, в ту благодатную почву, на которой взрастает и зреет любовь.

Мы встретились с Фюсун еще три раза, а в субботу утром позвонил мой брат Осман и позвал меня на футбольный матч между «Гиресунспорт» и «Фенербахче», на котором, в чем он был убежден, «Фенербахче» отстоит звание чемпиона. Я пошел с ним. Мне нравилось сидеть на стадионе «Долмабахче», где я часто бывал в детстве, который за двадцать лет совсем не изменился, если не считать, что его переименовали в «Стадион Инёню». Единственное различие заключалось в том, что теперь на поле попытались вырастить траву, как в Европе. Но трава проросла только по краям, и поэтому поле напоминало лысого, у которого осталось немного волос на висках и на затылке. Когда обливавшиеся потом на солнце футболисты и особенно малоизвестные защитники приближались с мячом к краю поля, зрители с платных трибун по-прежнему яростно ругались и выкрикивали игрокам оскорбительные слова, словно римские патриции, наблюдавшие за гладиаторскими боями, а бушующая толпа из безработных, бедняков и студентов с бесплатных трибун скандировала те же ругательства нараспев, явно получая удовольствие от того, что футболисты их слышат. Как напишут в спортивных рубриках газет на следующий день, матч для «Фенербахче» был легким, и всякий раз, когда забивали гол, я замечал, что встаю вместе со всеми и кричу на пределе голосовых связок.

В той атмосфере праздника и всобщего единения на поле и на трибунах, среди обнимавшихся и поздравлявших друг друга с победой мужчин было что-то такое, что скрадывало мои угрызения совести, а страхи превращало в гордость. Но, когда толпа стихала и удар по мячу слышали одновременно сорок тысяч человек, я поворачивал голову, смотрел на Босфор, видневшийся из-за старых открытых трибун, на русский корабль, проплывавший мимо дворца Долмабахче, и думал о Фюсун. Толком не зная, каков я на самом деле, она выбрала именно меня и с решимостью отдала себя именно мне. Это задевало меня за живое. Ее длинная шея, ямочка пупка, какая имелась только у нее, сомнение и открытость, иногда читавшиеся в ее глазах одновременно, грустная искренность в ее взгляде, обращенном на меня, когда мы лежали рядом, и наши поцелуи не выходили у меня из головы.

— Ты сегодня что-то задумчивый. Наверное, волнуешься из-за предстоящей помолвки, — заметил Осман.

-Да.

— Очень любишь?

— Конечно.

Брат улыбнулся — с нежностью и пониманием — и посмотрел на мяч, который, покрутившись, замер посреди поля. Со стороны Девичьей башни подул легкий ветер, нежно заколыхавший полотнища флагов команд и маленькие красные флажки по углам поля. Ветер настойчиво задувал мне в глаза табачный дым от сигареты, которую курил брат, так что глаза у меня начали слезиться. Я вспомнил, как в детстве у меня тоже текли слезы, когда отец курил рядом со мной на стадионе.

— Женитьба пойдет тебе на пользу, — убежденно произнес Осман, неотрывно следя за игрой. — Сразу заведете детей. Только смотри, от нас не прячьтесь, будут дружить с нашими. Сибель — практичная женщина, крепко стоит на земле. А ты слегка витаешь в облаках. Вот вы друг друга и дополните. Надеюсь, ты ей не надоешь, как надоел другим своим подружкам. Черт, да это же штрафной! Судья ослеп, что ли?!

Когда «Фенербахче» забили второй гол, мы все вскочили, заорали: «Го-о-о-л!» — и стали обнимать друг друга. После окончания матча к нам подошли армейский приятель отца Кова Кадри, несколько знакомых предпринимателей-болельщиков и один адвокат. В шумной толпе мы спускались с трибун и, пройдя вверх по улице от стадиона, дошли до гостиницы «Диван», где решили выпить за разговорами о

футболе и политике. Я все время думал о Фюсун.

— Ты, Кемаль, все витаешь где-то, — заметил Кадри-бей. — Наверное, не любишь футбол, как твой брат.

— Вообще-то люблю. Но в последние годы...

— Кемаль очень любит футбол. Кадри-бей. Просто хороших пасов сейчас нет,—насмешливо сказал Осман.

— Между прочим, в пятьдесят девятом году я мог перечислить по памяти весь состав «Фенербахче», — обиделся я. — Озджан, Недим, Басри, Акпон, Наджи. Авни, Микро Мустфа, Джан, Юксель, Лефтер, Эргюн.

— Ты забыл Сераджеттина. Он тогда тоже в команде играл, — добавил Кова Кадри.

— Нет, он тогда не играл.

Спор затянулся—как всегда, каждый стоял на своем. Мы с Кова Кадри решили поспорить, играл ли в 1959 году Сераджеттин в «Фенербахче». Проигравший обязался угостить всю компанию выпивкой.

На обратном пути по Нишанташи я отстал от других. В квартире «Дома милосердия», куда мать отправляла все наши старые вещи и игрушки, хранилась жестяная коробка, где мы с братом в детстве хранили вкладыши от жвачки «Замбо» с фотографиями футболистов и актеров. Я знал, что если найду ту коробку, то выиграю спор.

Но стоило мне переступить порог квартиры, я понял, зачем на самом деле пришел. Мне хотелось вспомнить мгновения, проведенные с Фюсун. Некоторое время я смотрел на незастеленную кровать, на которой мы любили друг друга, на пепельницу, оставленную на тумбочке у изголовья, на чашки из-под чая. Старые вещи, чей запах усиливался от влажности и пыли, образовали одно целое с тенями по углам, составив образ обители счастья. За окном опускалась тьма, но с улицы продолжали доноситься крики и брань мальчишек, гонявших без устали мяч.

В тот день, десятого мая 1975 года, в квартире «Дома милосердия» я нашел ту коробку, но она оказалась пустой. Вкладыши с фотографиями, которые выложены в моем музее, я купил позже, у коллекционера Хыфзы-бея, когда подружился со стамбульскими собирателями редкостей. Впоследствии, разглядывая свою коллекцию портретов, я вспомнил, что в те дни мне еще только предстояло познакомиться со многими стамбульскими актерами, вроде Экрема Гючлю (сыгравшего пророка Ибрагима в фильме, о котором рассказывал нам с Фюсун Четин-эфенди), и как мы ходили с ними по злачным барам, где собирались все, кто был близок к миру кино. А в тот день в «Доме милосердия» я впервые смутно ощутил, что старые вещи и темная квартира, где царило волшебство наших поцелуев с Фюсун, а мое дыхание прерывало трепетное чувство счастья, займут очень важное место в моей жизни.

Как и многие люди на земле, я впервые увидел целующихся влюбленных в кино. Помню, зрелище потрясло меня. После этого поцелуи долго казались чем-то невероятным, тревожа мое воображение. Кроме нескольких эпизодов в Америке, за тридцать лет жизни я нигде, кроме кино, ни разу не видел целующуюся пару. Поэтому даже в тридцать лет пребывал в наивной уверенности, что в кино ходят специально для того, чтобы смотреть, как целуются другие. А сюжет фильма лишь был поводом. И когда Фюсун целовалась со мной, я чувствовал, что она подражает виденному на экране.

Не считая нескольких первых раз, мы с Фюсун целовались не для того, чтобы возбудить или испытать притяжение друг друга. Поцелуи оказались для нас ощутимым подтверждением собственного удовольствия. Пока мы медленно и с наслаждением целовались, с изумлением открывая для себя суть взаимной радости, неожиданно выяснялось, что каждый долгий поцелуй — это не только наши мокрые

рты и языки, благодаря которым мы умудрялись вселить смелость друг в друга, но и воспоминания. Сначала я целовал ее саму, потом ее же — из воспоминаний, затем открывал на мгновение глаза и, тут же сомкнув их, целовал ее вновь — ту, которую только что видел и которую только что вспоминал. Через некоторое время к этим воспоминаниям добавлялись другие образы, похожие на нее, я целовал и их, ощущая такой прилив мужской силы, что, не отрываясь от губ Фюсун, чувствовал, будто наслаждение испытывает кто-то еще. Удовольствие, которое я получал от ее детского рта, пахнущего клубникой, полных, широких губ и движений ее жадного, игривого язычка, вызывало полную сумятицу в моих мыслях, которые как бы переговаривались одна с другой: «Боже мой, она же совсем ребенок», — восклицала одна. «Да, но очень женственный ребенок», — возражала ей другая. Поток мыслей нарастал, унося за собой всех тех новых мужчин, которыми я становился, целуя ее, и всех тех Фюсун, которые жили в моем сознании. Те первые, долгие поцелуи, тот любовный обряд, медленно свершавшийся между нами, и его детали приоткрывали мне тайну доселе неведомого знания о счастье и о том, что в нашем мире иногда приоткрываются врата в рай. Нам казалось, что наши поцелуи расстилают перед нами не только дорогу в благодатный мир телесных удовольствий и усиливавшегося физического желания, но и уносят прочь из весеннего полудня, в котором мы жили, в широкое, безграничное и безбрежное Время.

Мог ли я полюбить ее? Тогда я испытывал бесконечное счастье и волнение. По тому, как наскакивали друг на друга мои мысли, было ясно, что душа моя, возможно, вскоре попадет в жернова между пошлостью ситуации — если я с легкостью отнесусь к своему нежданному счастью, — и опасностями, которые сулит мне случившееся, если восприму его серьезно. Тем вечером к нам в гости на ужин, навестить родителей, пришел Осман с женой Беррин и детьми. За едой я думал только о Фюсун и наших поцелуях.

На следующий день после полудня мне захотелось побывать в кино. Я вовсе не собирался ничего смотреть, но не смог бы, как обычно в обеденный перерыв, поесть в закусочной для рабочих в Пангалты вместе с пожилыми сотрудниками «Сат-Сата» и заботливой толстухой-секретаршей, любившей напоминать мне, каким в детстве хорошим мальчиком я был. Для меня несносной показалась сама возможность веселой и беззаботной болтовни с коллегами, перед которыми я старался играть роль «скромного директора» и друга, все время думая только о Фюсун и мечтая, чтобы поскорей наступило два часа. Мне надо было побыть одному.

Я задумчиво брел по району Османбей, разглядывая витрины, и вдруг увидел афишу, из которой явствовало, что в городе идет ретроспектива фильмов Хичкока. Я выбрал картину с Грейс Келли, где точно была сцена поцелуя. Много лет спустя я нашел и поместил в своем музее карманный матовый фонарик контролера, марки «Аляска-Фриго», чтобы он напоминал о выкуренных мной во время того сеанса сигаретах, о домохозяйках, коротавших время на утреннем показе, ленивых школьниках, прогуливавших уроки, и чтобы он всегда светил в темные уголки памяти, ведь именно тогда я осознал как жажду поцелуев, так и потребность одиночества.

После весенней жары на улице в прохладном кинотеатре было хорошо: мне нравился тяжелый воздух зала, шепот взволнованных зрителей, тени по краям толстого бархатного занавеса и в темных углах, казавшиеся мне сказочными чудовищами, и я чувствовал, как при мысли о том, что скоро увижу Фюсун, во мне волнами растекается счастье. Помню, выйдя из кино и направляясь по кривым, извилистым переулкам Османбей к месту нашей встречи на проспект Тешвикие мимо мануфактурных магазинчиков, кофеен, скобяных лавок, гладилен, где утюжили мужские рубашки, я решил, что это свидание должно стать последним.

Сначала я всерьез полагал заниматься с ней математикой. Но терял голову от ее волос, спадавших на тетрадь, от ее руки, с легкой дрожью выводившей цифры, от

того, что резинка на кончике карандаша, который она имела привычку держать во рту, внезапно оказывалась зажатой ее розоватыми, такими же как кожа на соске, губами; я терял голову от легких прикосновений. И старался сдержать себя. Когда Фюсун начинала решать уравнение, у нее на лице появлялось самоуверенное выражение, и, в спешке забыв о приличиях, она, если курила, резко выдыхала сигаретный дым, от которого у меня навертывались слезы. Поглядывая краешком глаза, чтобы понять, заметил ли я, как быстро она разобралась со сложной задачей, Фюсун в это время случайно совершала ошибку в сложении, чем портила все дело, и, увидев, что ее результат не совпадает ни с одним из ответов в пунктах a, b, c или d, поначалу расстраивалась, потом начинала волноваться, а затем пыталась оправдаться, говоря, что это у нее «не от незнания, а от невнимательности». Я с умным видом советовал ей быть собраннее и больше не допускать глупых ошибок. Говорил, что внимание — часть сообразительности, и засматривался на кончик ее деловитого карандаша, прыгавшего над новой задачей, словно голодный воробей над зернами, на то, как она, теребя волосы, умело упрощала неравенство, с тревогой замечая, что во мне опять растет нетерпение и беспокойство.

Затем мы принимались целоваться, целовались долго и забирались в постель. Когда мы любили друг друга, в наших движениях иногда проскальзывало сознание тяжести позора, ответственности и угрызений совести за утраченную невинность, и мы оба сразу замечали это. Но я видел по глазам Фюсун, что она получает физическое удовольствие и очарована состоявшимся наконец волнительным открытием мира наслаждений, которые, должно быть, будоражили ее воображение многие годы. Этот неизведанный мир Фюсун открывала для себя подобно путешественнику, любителю приключений, который, преодолев бушующие моря и океаны, добрался-таки до далекой страны, легенды о которой слышал многие годы, а теперь с восторгом и упоением разглядывает каждое дерево и каждый камень новой земли и с трепетом, но все же очень осторожно касается каждого листика и цветка.

Если не считать главного мужского инструмента удовольствия, Фюсун в основном интересовало не мое тело и не мужское тело как таковое. Ее переживания были направлены на себя саму, на ее собственные ощущения. А мои руки, мои пальцы, мой рот служили тому, чтобы выявлять все новые точки и возможности наслаждения на ее бархатной коже и где-то глубоко внутри. Всякий раз, когда она познавала неизведанные удовольствия, путь к которым мне часто приходилось показывать ей, Фюсун изумлялась. Ее глаза закатывались в томной задумчивости, и она с восхищением наблюдала, как новое наслаждение, рождавшееся в ней самой, вдруг окатывает со всей силой, а затем с удивлением, иногда вскрикнув, следила за его отраженными толчками в венах, в голове, в ногах, будто нарастающий озноб, и, замерев, вновь ждала моей помощи. «Сделай так еще раз! Пожалуйста, сделай так еще!» — шептала она.

Я был несказанно счастлив. Но понимал это не разумом, я чувствовал кожей, что счастье во мне, и пытался поймать его в повседневной жизни, например отвечая на телефонный звонок, торопливо поднимаясь по лестнице, стоя в очереди или выбирая с Си-бель, с которой я намеревался обручиться через четыре недели, закуски в ресторане на Таксиме. Иногда я даже забывал, что чувством, которое пропитало меня, словно драгоценный аромат, обязан Фюсун. И когда мы с Сибель торопливо, пока никого нет, занимались любовью у меня в кабинете — что бывало нередко, — испытывал большое, единое и неделимое счастье.

13 Любовь, смелость, современность

Однажды вечером, когда мы ужинали с Сибель в «Фойе», она подарила мне туалетную воду марки «Сплин», которую купила в Париже и флакон которой

представлен в моем музее. Я совершенно не люблю духи, но следующим утром, лишь из любопытства, побрызгал немного на шею, и Фюсун в моих объятиях почувствовала этот запах.

— Тебе Сибель-ханым их подарила ?

— Нет. Я сам купил.

— Чтобы нравиться Сибель-ханым?

— Нет, дорогая моя, чтобы нравиться тебе.

— Вы занимаетесь любовью с Сибель-ханым?

— Нет.

— Пожалуйста, не ври. — Влажное от пота лицо Фюсун погрустнело. — Я отнесусь к этому нормально. Ты ведь занимаешься с ней любовью, да? — Она пристально посмотрела мне в глаза, как мать, которая убеждает ребенка сказать правду.

— Нет.

— Поверь, ложью ты обидишь меня гораздо сильнее. Пожалуйста, признайся. Хорошо, а почему тогда между вами ничего нет?

— Мы с Сибель познакомились прошлым летом в Суадие, — начал рассказывать я, крепче обняв Фюсун. — Летом наш зимний дом в городе стоял пустой, и мы приезжали в Нишанташи. А осенью она уехала в Париж. Зимой я несколько раз наведывался к ней.

— На самолете?

— Да. В декабре Сибель окончила университет и вернулась из Франции, чтобы выйти за меня замуж, — продолжал я. — На этот раз мы встречались у нас на даче, в Суадие. Но зимой в доме бьтало так холодно, что никакого удовольствия мы не испытывали.

— В общем, вы решили сделать перерыв, пока не появится теплый дом.

— В начале марта, два месяца назад, мы опять поехали в Суадие. В доме было все так же холодно. Мы разожгли камин, и за несколько минут дом наполнился едким дымом, а мы поссорились. После этого Сибель еще простудилась и заболела. У нее поднялась температура, она неделю провела в постели. И мы решили больше не ездить туда.

— Кто из вас не захотел там бывать? — спросила Фюсун. — Она или ты? — Вместо нежного выражения — «пожалуйста, скажи правду» — в ее глазах появилось мольба: «Пожалуйста, соври и не расстраивай меня», словно собственное любопытство причиняло ей боль.

— Думаю, что Сибель считает, что если до свадьбы мы будем реже заниматься любовью, то я стану больше ценить помолвку, свадьбу и даже ее саму, — сказал я.

— Но ты говоришь, что у вас и раньше все было.

— Ты не понимаешь. Дело же не в первой близости.

— Да, не в первой, — согласилась Фюсун.

— Сибель показала, как она меня любит и как мне доверяет, — я вспомнил ее слова: — Но мысль о том, чтобы заниматься любовью до замужества, ей неприятна. .. Я ее понимаю. Она долго училась в Европе, но не такая смелая и современная, как ты...

Воцарилось долгое молчание. Так как я много лет размышлял над значением этой немоты, то теперь, надеюсь, понимаю ее причины: я попытался сделать Фюсун комплимент, но у сказанного оказался и другой смысл. Получалось, что близость с Сибель до свадьбы я объяснял тем, что она любит меня и доверяет мне, а такой же поступок Фюсун — лишь ее смелостью и современностью. А из этого следовал вывод, что слова о том, какая она «смелая и современная», в которых я буду раскаиваться потом многие годы, означали, что я не испытываю перед Фюсун особой ответственности за произошедшее, да и привязанности тоже. Раз уж она такая

современная, сближение с мужчиной до свадьбы или отсутствие девственности в первую брачную ночь для нее не составляет проблемы... Совсем как у европейских женщин или у тех легендарных дам, что прогуливаются в одиночестве по улицам Стамбула... А ведь я просто хотел сказать ей приятное.

Размышляя над причиной молчания, хотя, конечно, ничего сразу тогда не осознав, я засмотрелся на медленно качавшиеся от ветра ветви деревьев в саду. Мы часто лежали, обнявшись, в кровати, разговаривали и смотрели в окно, на деревья, на соседние дома и на ворон, летавших с крыши на крышу.

— На самом деле никакая я не смелая и не современная, — тихо сказала Фюсун, нарушив безмолвие.

Я объяснил себе ее слова тем, что слишком уж тяжела для нее тема и что ей просто неловко, поэтому и не придал им значения.

— Женщина может безумно любить мужчину много лет, но совершенно не быть близка с ним... — осторожно прибавила Фюсун.

— Конечно, — поспешно согласился я. Опять наступило молчание.

— То есть сейчас между вами ничего нет? А почему ты не приводил Сибель-ханым сюда?

— Нам в голову это не приходило, — я и сам удивился, почему мы с Сибель не догадались встречаться в квартире матери. — Раньше я здесь занимался, читал, общался с друзьями, слушал музыку. Почему-то вспомнил об этой квартире из-за тебя.

— Верю, что тебе и в самом деле такое раньше не приходило на ум, — заметила внимательная Фюсун, которую трудно было провести. — Но в остальном, что ты рассказываешь, чувствуется ложь. Это так? Я хочу, чтобы ты никогда мне не врал. Я даже не верю в то, что у вас сейчас ничего нет. Раз нет, поклянись в этом. Пожалуйста.

— Клянусь, что мы с Сибель сейчас не занимаемся любовью, —улыбнулся я, обнимая Фюсун.

— Ну, а когда вы собирались возобновить отношения? Летом, как только твои родители уедут в Суадие? Когда они уезжают? Скажи мне правду, и я больше никогда не буду ни о чем тебя спрашивать.

— Они уедут в Суадие после нашей помолвки, — пробормотал я смущенно.

— Ты мне сейчас хоть раз соврал?

— Нет.

— Подумай хорошенько.

Я сделал вид, что задумался. В это время Фюсун достала у меня из кармана водительские права и с любопытством вертела их в руках.

— Этхем-бей, — прочитала она. — У меня тоже есть молочное имя. Ладно. Ты подумал?

— Да, подумал. Я тебе ни разу не врал.

— Именно сейчас или в эти дни?

— Никогда... — сказал я. — Мы пока на той стадии, когда ложь не требуется.

— То есть?

Я пояснил, что наши отношения — не ради выгоды или общего дела, и, пусть мы скрываем их ото всех, друг к другу у нас искренние, чистые чувства и нам не нужно менять их на ложь.

— Уверена, ты мне соврал, — призналась Фюсун.

— Быстро же иссякло твое уважение ко мне!

— Признаться, я бы хотела, чтобы ты мне врал... Ведь обычно врут ради того, что больше всего на свете боятся потерять.

— Конечно, я вру ради тебя... Но тебе я не вру. Если хочешь, начну... Давай завтра опять встретимся. Хорошо?

— Хорошо! — согласилась Фюсун.

Я обнял ее изо всех сил и вдохнул запах ее кожи на шее. Всякий раз, когда я вдыхал этот запах — смесь ароматов морского воздуха и водорослей, жженого сахара и ванильного печенья, — меня наполняло чувство надежды и счастья, но часы, проведенные с Фюсун, ничего не меняли в ходе моей жизни. Наверное, так было потому, что это счастье и радость я воспринимал словно само собой разумеющееся.

И все же именно в те дни я впервые почувствовал появление в своей душе тех трещин и ран, от которых многие мужчины на всю жизнь обрекают себя на безнадежное, глубокое, черное одиночество. Отныне я каждый вечер перед сном доставал из холодильника бутылку ракы, наливал себе стаканчик и, глядя из окна на улицу, пил один. Окна моей спальни в квартире на верхнем этаже напротив мечети Тешвикие выходили на дома таких же семей, как наша, и с самого детства я любил сидеть у себя в темной комнате, смотреть на огни и испытывать от этого абсолютный покой.

Теми ночами, окунаясь в свечение ночного Нишан-таши, я то и дело возвращался к мысли, что, если мне хочется вести ту прекрасную и счастливую жизнь со всеми привычными ее радостями, которая у меня была, не нужно влюбляться в Фюсун. Я смутно понимал, что для этого должен не придавать большого значения ее проблемам и историям, ее миру. После уроков математики и любовных утех на разговоры у нас оставалось совсем немного времени, так что добиться задуманного не составило бы труда. Торопливо одевшись после очередного нежного любовного соития и выходя из квартиры, я иногда уверял себя, что Фюсун тоже проявляет усилие, чтобы не придавать большого значения отношениям со мной.

Мне кажется, чтобы понять происходившее со мной, надо учитывать, какое громадное удовольствие получали мы в те слишком счастливые, невероятно сладостные мгновения, осознать, какое счастье переживали мы оба. Конечно, движущей силой моей истории было стремление растянуть любовные минуты, а также зависимость от наслаждения. Всякий раз, когда я, пытаясь понять причину моей многолетней привязанности к Фюсун, вспоминал те бесподобные мгновения, уходившие шлейфом в вечность, вместо логических мыслей оживали прекрасные сцены проведенных вместе часов. Красавица Фюсун сидит у меня на коленях, и я ласкаю языком ее большую левую грудь... Или же капли пота стекают с моего лба и подбородка на красивый затылок Фюсун, и я любуюсь ее прекрасной спиной и ягодицами. .. Или то, как она, вскрикнув от сладостной истомы, на мгновение открывает глаза... Или выражение, которое появляется на ее лице в самый приятный момент нашего соития...

Позднее я понял, что эти сцены не были причиной удовольствия и счастья, которое я испытывал, а лишь возбуждали мое сознание. Размышляя над тем, почему моя любовь к Фюсун столь сильна, я пытался воссоздать в воображении не только наши ласки, но и все, что нас окружало. Помню, как за окном на дерево взгромоздились две вороны, одна из них внезапно села на железную решетку балкона и уставилась на нас. Когда я был маленьким, к нам на перила усаживалась точно такая же ворона, и мама говорила мне: «Ну-ка, давай спи! А то ворона прилетела проверить, спишь ты или нет!»—и я испуганно прятался под оделяло. Фюсун рассказывала, что и к ней в детстве тоже прилетала ворона.

Иногда сама обстановка холодной и пыльной комнаты, иногда старые простыни и непритязательный вид наших бледных тел на них, иногда звуки извне — шум машин, грохот бесконечных стамбульских строек, крики уличных торговцев — возвращали нас к реальности, показывая, что наше любовное действо происходит не в мире грез. Бывало, мы слышали гудки парохода, доносившиеся до нас из Долмабахче или Бешикташа, и пытались угадать, что это за корабль. Но при каждой

новой встрече мы предавались ласкам все искреннее и свободнее, и я понимал, что мое счастье вызвано не только таинством фантазий и весьма притягательным физическим процессом, но и любованием складочками, прыщиками, волосками, многочисленными родинками и всякими пятнышками на теле Фюсун.

Что меня привязывало к ней, кроме нашего безграничного и простодушного удовольствия от занятий любовью? И почему я мог быть таким искренним во время близости с ней? Родилась ли наша любовь из наслаждения и из постоянного к нему стремления или из чего-то другого, что подпитывало взаимное желание? В те счастливые дни, когда мы с Фюсун тайно встречались и предавались любви, я совершенно не задавался такими вопросами, а вел себя точно ребенок в кондитерской, который жадно ест купленные матерью сладости.

14 Улицы, скверы, мосты и площади Стамбула

Однажды Фюсун, упомянув некоего школьного учителя, который ей в юности нравился, заметила: «Он был не такой, как все мужчины». Я спросил ее, что она имеет в виду, но ответа не получил. Два дня спустя я еще раз поинтересовался, какой смысл она вкладывает в выражение «быть не таким, как все мужчины».

— Я знаю, ты спрашиваешь потому, что для тебя это важно, — произнесла Фюсун, вставая с кровати. — И хочу сказать без обиняков. Хочешь?

— Конечно... Почему ты встаешь?

— Не хочу быть раздетой, когда буду говорить то, о чем хочу рассказать.

— Мне тоже одеться? — спросил я. Она не ответила, и я натянул штаны.

Пачку сигарет, пепельницу из Кютахьи, стакан и чашку (из нее пила Фюсун), морскую раковину, которую она вертела в руках, пока рассказьшала одну за другой свои истории, а также напоминавшие детские ее заколки я поместил в свой музей, чтобы никто никогда не забыл, что происходившее касалось маленькой девочки, совсем еще ребенка, и чтобы сами предметы поведали посетителям моего музея, какая тяжелая и гнетущая атмосфера воцарилась тогда в комнате.

Фюсун начала рассказ с хозяина маленькой лавки на улице Куйулу Бостан, где продавались табак, дешевые игрушки и газеты. Этот дядюшка Сефиль (назовем его именем нарицательным)[5] был приятелем ее отца; иногда они встречались поиграть в нарды. Всякий раз, когда отец посылал Фюсун, которой тогда не исполнилось десяти, к нему в лавку за лимонадом, сигаретами или пивом, дядюшка Сефиль старался задержать ее под каким-нибудь предлогом, вроде такого: «Сдачи нет, подожди, я тебе лимонада дам», а летом, когда рядом никого не бьшо, говорил: «Да ты вся вспотела!» — и ощупывал ее.

Когда ей исполнилось двенадцать, у них появился сосед, которого она прозвала Усатое Дерьмо. Раз или два в неделю он со своей толстухой-женой приходил к ним в гости. Пока все слушали радио, беседовали, пили чай и лакомились сладостями, этот рослый человек, которого так любил ее отец, осторожно, чтобы никто не заметил (сама Фюсун не понимала, что происходит), клал ей руку то на талию, то на плечо, то на бедро, то на коленку и делал вид, будто забыл ее убрать. Иногда его рука «ненароком» так метко падала Фюсун на коленку, как созревшая груша—в корзину; и пока, слегка дрожа и потея, рука оставалась недвижимой, сама Фюсун боялась пошевелиться, словно на ноге у нее поселился страшный краб, а сосед как ни в чем не бывало, держа другой рукой чашку с чаем, продолжал мирную беседу.

Однажды десятилетняя Фюсун захотела сесть к отцу, который играл с друзьями в карты. Но он не разрешил: «Подожди, дочка; видишь, я занят». Тогда некто

---

[5] Сефиль — дословно «жалкий, убогий».

Сакиль-бей[6], партнер отца по игре, позвал ее: «Иди ко мне, пускай мне повезет», и гладил ее так, что эти ласки не казались ей потом невинными.

Улицы, скверы, мосты, кинотеатры, автобусы, многолюдные площади, безлюдные переулки и спуски Стамбула кишели мрачными фигурами этих добродушных дядюшек, оживавших в ее воспоминаниях, словно призраки зла, ни одного из которых она, правда, не смогла возненавидеть («Возможно, потому, что ни один из них по-настоящему не сделал мне ничего плохого»). Единственное, что поражало Фюсун, — упорное нежелание отца замечать, как каждый второй из его гостей очень быстро превращался в этого добродушного дядюшку и, зажав ее на кухне или в коридоре, принимался тискать бедную девочку. В тринадцать она поняла, что ее сочтут порядочной девушкой, если она не станет жаловаться на коварные домогательства всех этих соседей, приятелей и знакомых.

В те годы в нее влюбился лицеист (единственный воздыхатель, от которого у Фюсун не осталось плохих воспоминаний), и когда он в один прекрасный день написал на тротуаре под ее окном «Я тебя люблю», отец за ухо подвел неудачливого влюбленного к окну Фюсун и, показав на надпись, у нее на глазах отвесил ему затрещину. А она со временем, как и любая приличная стамбульская девушка, научилась не ходить в одиночестве по безлюдным паркам, заброшенным пустырям и глухим переулкам — в общем, по таким местам, где в любой момент мог появиться какой-нибудь дядюшка и с удовольствием продемонстрировать ей свой причиндал.

Эти домогательства не омрачили ее оптимистичного отношения к жизни потому, что мужчины, подчиняясь скрытому ритму мрачной мелодии страсти, невольно выдали ей и свое слабое место. За ней по пятам ходило целое полчище зевак, большинство которых видели ее до этого только раз — где-нибудь на улице или у школы, перед кинотеатром или в автобусе. Некоторые потом преследовали ее месяцами, но она делала вид, что не замечает их, и не жалела никого (о жалости спросил ее я). Ходившие следом не всегда бывали терпеливы, нежно влюблены или вежливы. Многие не выдерживали и пытались заговорить с ней («Вы очень красивая!», «Можно пойти с вами?» «Я хочу кое о чем вас спросить!» и т. д.), а когда она не отвечала, злились и разражались непристойной бранью в ее адрес. Были и такие, кто приводил друзей, чтобы показать девушку — предмет их неотступной слежки — и узнать мнение приятелей, или те, кто, не отставая от Фюсун ни на шаг, скабрезно хихикали, кто-то еще пытался посылать письма и подарки, а иные просто плакали. Одно время она смело подходила к ним. но однажды настырный воздыхатель толкнул ее и попытался насильно поцеловать, и впредь она так не делала.

С четырнадцати лет, с тех пор как она узнала все мужские приемы и поняла намерения «других мужчин», она, конечно, больше не позволяла себя незаметно трогать, больше не попадалась на их уловки, но на улицах города всегда находились такие, кто находил способ нагло прикоснуться, прижаться к ней или ущипнуть ее сзади. Теперь она уже не удивлялась, когда кто-нибудь, высунув руку из окна автомобиля, пытался на ходу прикоснуться к ней, или, сделав вид, что подвернул на лестнице ногу, хотел за нее ухватиться, или когда в лифте приставал с поцелуями; ее не удивляло, как продавец, отдавая сдачу, делал все, чтобы погладить ее пальцы.

Каждый мужчина, который тайно встречается с красивой женщиной, вынужден слушать—иногда с ревностью, в основном со смехом, а порой с жалостью и презрением — подобные истории о разных субъектах, которые пытаются познакомиться или пристают к его возлюбленной. Так, директором вступительных курсов был молчаливый, нервный человек лет тридцати с извечно налаченными

---

[6] Сакиль — дословно «некрасивый, безобразный».

волосами. Под различными поводами он зазывал Фюсун к себе в кабинет: «У тебя не сданы документ!», «Твоя контрольная потерялась!» — заводя долгие речи о смысле жизни, о красотах Стамбула, о недавно изданных стихах, но, не получив поощрения к дальнейшим действиям, разворачивался к ней спиной и, глядя в окно, глухим голосом шипел, как ругательство: «Можешь идти...»

Ей не хотелось рассказывать обо всех, кто приходил за покупками в бутик «Шанзелизе», только чтобы взглянуть на нее, — среди таких была даже одна дама, а Шенай-ханым, пользуясь этим, продавала им все подряд. По моему настоянию Фюсун упомянула о самом смешном из клиентов: низкорослый пятидесятилетний толстяк с торчащими, как щетина, усами, был похож на кувшин и очень богат. Он подолгу разговаривал с Шенай-ханым, то и дело вставляя в речь длинные фразы по-французски, которые неловко выговаривал маленьким ротиком; кенар Фюсун, Лимон, не выносил запаха его одеколона, которым потом благоухал весь магазин.

Среди нескольких кандидатов в женихи, которых ее мать приводила, так сказать, на смотрины, но чтобы дочь не догадалась, ей понравился один, мысли которого были заняты, скорее, не женитьбой, а ею самой, и она даже несколько раз встречалась и целовалась с ним. В прошлом году в нее без памяти влюбился один парень из Роберт-колледжа, с которым они познакомились на музыкальном конкурсе лицеев, проходившем в стамбульском спортивно-концертном комплексе. Он встречал ее у школы, и они каждый день ходили вместе гулять, несколько раз целовались. Ведущий конкурса красоты, певец Хакан Серинкан, ей понравился не потому, что он известный, а потому, что проявлял к ней нежность и заботу во время конкурса, в то время как за кулисами все только и делали, что плели интриги и откровенно старались друг друга подставить. Он даже заранее прошептал ей на ухо ее вопросы по культуре и искусству (и ответы на них), которых смертельно боялись все девушки, но потом, когда сей старомодный деятель эстрады с большими восточными усами начал обрывать ей телефон, она не стала подходить — правда, мама тоже была против него. Выражение моего лица при этих словах Фюсун совершенно справедливо и не без удовольствия истолковала как проявление ревности и с нежностью поспешила успокоить: с шестнадцати лет она ни в кого не влюблялась. Ей не нравилось, что во всех журналах, по телевидению и в песнях бесконечно судачили о любви — по ее мнению, об этом чувстве не всегда говорят честно, и она полагала, что многие, кто не влюблен по-настоящему, преувеличивают свои чувства, чтобы понравиться. Любовь для нее означала то, когда ради другого можно пожертвовать жизнью и быть готовым на все. Но такое у каждого человека бывает только раз в жизни.

— Ты хотя бы однажды чувствовала что-то подобное? — поинтересовался я, ложась рядом с ней.

— Всего несколько раз, — ответила она и на некоторое время задумалась, как осмотрительный человек, который старается говорить правду. А потом рассказала об одном человеке.

Тот приятный, богатый и «конечно, женатый» коммерсант влюбился в нее столь страстно, что его любовь начинала напоминать навязчивую идею, и поэтому Фюсун почувствовала, что тоже сможет полюбить его. По вечерам, когда она выходила из магазина, он забирал ее на своем «мустанге» с угла улицы Аккавак, и они ездили на смотровую площадку к Часовой башне в Долмабахче, откуда был виден Босфор, где они пили чай, сидя в машине, либо подолгу, иногда под дождем, целовались в машине, и охваченный страстью тридцатипятилетний мужчина, забыв, что женат, предлагал Фюсун стать его женой. Наверное, я бы смог заглушить поднимавшуюся во мне ревность, понимающе посмеиваясь над мучениями коммерсанта, как того хотелось Фюсун, но, когда она назвала марку его машины, дело, которым он занимался, а потом, добавив, что у него большие зеленые глаза, внезапно сообщила

и его имя, меня охватил приступ жгучей ревности. Человек, которого назвала Фюсун, Тургай-бей, был богатым текстильным фабрикантом, другом нашей семьи и деловым партнером, с которым все мы — отец, брат и я — часто встречались. Я много раз видел этого высокого, красивого и непомерно здорового человека у нас на улице в Нишанташи, счастливым, в кругу семьи, с женой и детьми. Неужели я почувствовал столь сильную ревность от того, что всегда уважал Тур-гай-бея за привязанность к своей семье, за его трудолюбие, честность и порядочность? Фюсун сказала, что сначала он, чтобы добиться благосклонности, несколько месяцев подряд почти каждый день приходил в бутик «Шанзелизе» и, чтобы задобрить Шенай-ханым, подметившую, к чему все клонится, скупал все подряд.

Она принимала его подарки, так как Шенай-ханым велела ей «не обижать любезного клиента». Убедившись же, что он ее любит, начала встречаться с ним, но «лишь из любопытства» и даже испытывала к нему «странное влечение». Как-то раз, снежным зимним днем, они поехали на его машине, опять же по настоянию Шенай-ханым, в Бебек «помогать» ее приятельнице, открывшей там модный магазин. На обратном пути поужинали в Ортакёе, и чересчур осмелевший от изрядного количества ракы Тургай-бей стал уговаривать ее «попить кофе» в номерах на окраинах Шишли. Когда Фюсун отказалась, «чуткий и изящный человек» потерял голову и кинулся к ней с уверениями, что купит ей все, чего Фюсун ни пожелает, лишь бы она поехала с ним. Остановив машину на каком-то пустыре, он начал целовать ее, как обычно, но Фюсун в тот день целоваться не хотелось, и тогда он попытался насильно овладеть ею. «Одновременно он говорил, что даст мне за это много денег, — продолжала Фюсун. — На следующий день, когда магазин закрылся, на свидание я не пошла. Через день он сам пришел, как ни в чем не бывало. Просил и умолял встретиться, а чтобы я запомнила проведенные вместе счастливые дни, подарил мне игрушечный „мустанг" и оставил у Шенай-ханым. Больше к нему в машину я не села. Конечно, мне нужно было сделать так, чтобы он больше не приходил. Но меня так подкупило, что он влюбился в меня, точно подросток, и забыл обо всем, и я не смогла этого сказать. Может быть, пожалела его, не знаю. Он приходил каждый день, делал покупки на большие суммы, от чего очень радовалась Шенай-ханым, заказывал что-нибудь для жены, но, стоило ему увидеть где-нибудь в углу меня, взгляд его зеленых глаз туманился, и он принимался умолять: „Давай встречаться как раньше! Хорошо! Каждый вечер! Давай будем опять кататься по городу, больше я ни о чем не прошу". После того как появился ты, я, когда приходит он, ухожу в служебную комнату. Теперь, правда, он бывает в магазине реже».

— Почему зимой, целуясь с ним в машине, ты не пошла до конца?

— Тогда мне еще не было восемнадцати, — с серьезным видом, насупив брови, объяснила Фюсун.— Восемнадцать лет мне исполнилось 12 апреля, за две недели до того, как мы с тобой встретились у нас в магазине.

Если важнейшим признаком любви являются неотступные мысли о партнере или о кандидате в партнеры, я, видимо, был на грани того, чтобы влюбиться в Фюсун. Но благоразумный и хладнокровный человек во мне останавливал, подсказывая: причина того, что мой разум постоянно занят мыслями о Фюсун, кроется в существовании других ее мужчин, о которых мне известно. Тут, конечно, можно возразить, что ревность — также весьма важный признак любви, но на это голос рассудка встревоженно спешил убедить в скоротечности моего отношения: я привыкну к списку «других мужчин», с которыми целовалась Фюсун, и, наверное, даже стану презирать их за то, что они не сумели пойти дальше поцелуев. Однако в тот день, занимаясь с ней любовью, я удивился, заметив, что, помимо обычного искреннего стремления к физическому счастью, всегда состоявшего из сочетания игры, любопытства и страсти, веду себя так, будто стремлюсь, выражаясь книжным языком, «обладать ею» и потому демонстрирую ей свои желания грубо и в

повелительной форме.

15 Некоторые неблагопристойные антропологические детали

Раз уж я упомянул здесь слово «обладать», то мне хочется затронуть тему, составляющую фундамент нашей истории и без того хорошо знакомую некоторым моим читателям и посетителям моего музея. Однако будущим поколениям не так-то просто понять суть данного предмета, а посему думаю, что мне надлежит сообщить читателю некоторые «особые» — в наши времена говорили «неблагопристойные» — сведения касательно культуры нашего общества.

Через 1975 лет после пришествия пророка Исы (Иисуса Христа), на землях Балканского полуострова, Ближнего Востока, северного, южного и восточного Средиземноморья «невинность» девушек продолжала считаться драгоценным сокровищем, которое следовало беречь до свадьбы. В некоторых районах Стамбула его ценность несколько понизилась, на что повлияли условия городской жизни, а также европеизация нравов, приведшая к тому, что часто девушки выходили замуж не такими юными. Но, если в те годы девушка решалась до свадьбы «пойти с мужчиной до конца», это имело большое значение и оказывалось чревато самыми серьезными последствиями — даже в европеизированных и состоятельных кругах Стабмула.

В лучшем случае это означало, как в моей ситуации, что молодые люди давно решили пожениться. В кругу состоятельных людей, не чуждых западной культуре, сближение помолвленных или решивших обручиться молодых людей воспринималось весьма снисходительно, хотя и считалось редкостью. Молодые женщины из высшего общества, получившие прекрасное образование в Европе, доверившись будущим мужьям до свадьбы, предпочитали объяснять свой поступок раскрепо-щенносью, освобождающей их от уз традиции.

Если же случалось такое, что девушка теряла девственность в результате изнасилования, в компании, по глупости или чрезмерной смелости, когда речь не шла о доверии хорошо знакомому человеку, а союза сердец никто и не ждал и не одобрял, мужчина (если он, конечно, обладал понятием чести в традиционном смысле) должен был жениться на девушке, дабы спасти ее честь. Ахмед, брат моего друга и героя нашего повествования Мехмеда, женился на своей супруге, Севде, с которой нынче весьма счастлив, именно в результате такого вот недоразумения, под давлением угрызений совести.

Если мужчина пытался дать деру или когда совращенной им красавице не исполнилось восемнадцати, ее разгневанный папаша мог подать в суд и заставить развратника жениться на обесчещенной дочери. Подобные дела нередко освещались в прессе, и тогда глаза «соблазненной», как тогда писали, барышни на фотографии закрывали черной полоской, чтобы никто не узнал о ее позоре. Так как подобные же полоски использовались в полицейских сводках на фотографиях задержанных проституток и развратниц, в те годы чтение турецких газет напоминало поход на маскарад, где лица женщин скрывали маски. Правда, тогда лица турчанок без подобной полоски на глазах вообще были редкостью, если не считать представительниц «легких профессий», вроде певиц, актрис и участниц конкурсов красоты, а в рекламе предпочитали снимать иностранок, не исповедовавших ислам.

О том, чтобы разумная, не имевшая связей с мужчинами девушка попала в подобное положение и отдалась ловеласу, не намеревавшемуся на ней жениться, речи представить было невозможно. Поэтому любой поступок такого рода считался непозволительной глупостью. В популярных тогда турецких мелодрамах излюбленным сюжетом были грустные истории, когда, например, девушке на «невинной» вечеринке незаметно подсыпали в лимонад снотворное и,

воспользовавшись ее беспамятством, бесчестили бедняжку, лишив ее «самого драгоценного сокровища». В конце таких фильмов добропорядочные героини обычно умирали, а подлые и грязные становились проститутками.

Конечно, обществом допускалось, что девушка могла поступить неразумно в результате физического желания. Однако та, кто настолько страстно и откровенно любила физические удовольствия, что могла забыть ради них о традиции и приличиях, отпугивала кандидатов в мужья, поскольку слишком отличалась от других, да и такое поведение воспринималось недопустимым для порядочной девушки; кроме того, вполне вероятно потом она ради собственного удовольствия обманула бы супруга. Один мой чрезмерно консервативный армейский приятель, смущаясь, признался (правда, в его словах звучало и раскаяние), что расстался со своей подругой только потому, что «они до свадьбы слишком часто занимались любовью» (хотя, естественно, друг другу не изменяли).

Несмотря на строгие правила и ужас положения несчастных, презревших их,—от изгнания из общества до смерти, среди молодых мужчин поразительным образом бытовала вера, что легкомысленных барышень пруд пруди. «Городское предание», как назвали бы это социологи, особенно нравилось богатым провинциалам, переехавшим в Стамбул, беднякам и дельцам среднего пошиба: доступность женщин не вызывала ни у кого ни малейшего сомнения. Обитатели относительно богатых районов Стамбула—Таксима, Бейоглу, Шишли, Нишан-таши и Бебека—также наивно искали воплощения этой легенды, особенно когда страдали от физического голода. Складывалось такое впечатление, будто, по общему убеждению, женщины, способные «пойти до конца» до свадьбы только ради удовольствия, «совсем как в Европе», живут исключительно в европеизированных районах города, как Нишанташи, где никогда не покрывают головы и носят мини-юбки. Многие мои друзья, вроде Хильми, дети богатых фабрикантов, воображали, что легендарные девушки готовы на все, лишь бы сесть к ним в «мерседес». По субботам, когда у разогретых пивом юношей начинало изрядно шуметь в голове, они яро и методично прочесывали на машине Стамбул, улицу за улицей, площадь за площадью, чтобы встретить наконец такую девушку. Десять лет назад я даже провел как-то вечер вместе с Хильми, разъезжая на «мерседесе» его отца в поисках вожделенной незнакомки, но мы так и не встретили ни одной подобной женщины—ни в длинной юбке, ни в короткой, зато потом заплатили сутенерам в дорогом отеле в Бебеке большие деньги, чтобы уединиться в номере с двумя танцовщицами, исполнявшими танец живота для туристов и гуляк. Пусть читатели будущих счастливых эпох сейчас осудят меня, скажу пару слов в защиту моего приятеля Хильми: несмотря на неуемность своего характера, он вовсе не был уверен, что любая девушка в мини-юбке готова отдаться первому встречному, а, наоборот, защищал на улице крашеных блондинок от обидчиков, преследовавших их, и даже, если требовалось, влезал в драки с нищими безработными и традиционно усатыми молодыми оборванцами, чтобы «научить их культурно обращаться с женщинами». Я заговорил о женщинах, дабы несколько отдалиться от темы ревности, которую пробудили во мне истории Фюсун. Больше всего мне не давал покоя Тургай-бей. Я полагал, что причина кроется в том, что он знаком мне и живет в Нашанташи, а потому считал свою ревность вполне естественной и временной.

16 Ревность

Вечером того дня, когда Фюсун в красках рассказала о Тургай-бее, мы ужинали семейным кругом в старом летнем доме родителей Сибель на Босфоре, неподалеку от Азиатской крепости, где они проводили каждое лето. После ужина я подсел к Сибель.

— Дорогой, ты сегодня много выпил, — тихо заметила она. — Тебе не нравится, как идет подготовка?

— Да нет. Я рад, что помолвка будет в отеле «Хилтон», — попытался я развеять сомнения своей невесты. —Ты же знаешь, что моей матери хотелось видеть на помолвке как можно больше гостей. Вот и она будет довольна...

— Тогда что тебя беспокоит?

— Ничего... Дай-ка мне список приглашенных.

— Он у мамы, ей твоя мама отдала, — Сибель показала головой в сторону моей будущей тещи.

Я встал, сделал несколько шагов, от которых старинное, прогнившее до основания, ветхое строение, каждая доска в котором пела на свой лад, сотрясалось до основания, и сел рядом с ее матерью: «Простите, я могу взглянуть на список приглашенных?»

— Конечно, сынок.

Хотя перед глазами у меня все плыло от ракы, я тотчас нашел имя Тургай-бея и вычеркнул его, и в тот же миг, подчиняясь какому-то сладостному внутреннему голосу, вписал вместо него имена Фюсун и ее родителей, а также их адрес на улице Куйулу Бостан, потом вернул ей список и прошептал:

— Сударыня, человек, имя которого я сейчас зачеркнул, долгое время был близким другом нашей семьи, но некоторое время назад, при совершении одной крупной сделки по производству пряжи, его, увы, обуяла жадность, и он сознательно причинил нам много неприятностей. Моя мать об этом не знает.

— Мало кто в наше время ценит старых друзей, хорошие человеческие отношения, как раньше, Кемаль-бей,—понимающе закивала она.—Надеюсь, люди, которых вы вписали вместо него, вас не огорчат. Сколько их?

— Это наши дальние родственники по материнской линии. Учитель истории, его супруга, много лет работавшая портнихой, и их восемнадцатилетняя красавица-дочка.

— Вот хорошо, — обрадовалась будущая теща. — Среди приглашенных много молодых людей, и мы беспокоились, что им не с кем будет танцевать.

На обратном пути, засыпая в отцовском «шевроле» 56-й модели, который вел Четин-эфенди, я смотрел на лабиринты всегда темных по ночам главных улиц города, на красоту многовековых стен, которые, поверх трещин, плесени и водорослей, покрывали политические надписи, на причалы, освещенные прожекторами пароходов «Городских пассажирских линий», на высокие ветви столетних чинар. Отец, заснувший от легкой тряски автомобиля по брусчатке, тихонько похрапывал на заднем сиденье.

Мать была довольна, что все выходит так, как ей хотелось. Обычно, когда мы вместе возвращались из гостей, она прямо в машине излагала свое мнение о тех, у которых мы только что были.

«Прекрасные люди. Сразу видно—порядочные. И такие скромные, благовоспитанные, ничего не скажешь. Но что ж у них такой красивый дом — ив таком состоянии! Как же так можно? Вот жалость-то. Неужели нет возможности в порядок его привести? Не верю. Но ты, сынок, не слушай меня! Красивее, образованнее и умнее Сибель тебе во всем Стамбуле девушки не найти».

Когда мы с родителями доехали до дверей нашего дома, мне вдруг захотелось пройтись. Я решил прогуляться до лавки Алааддина, где нам с братом мама покупала в детстве дешевые турецкие игрушки, шоколадки, мячи, ружья, шарики, карты, жвачки с вкладышами, комиксы и многое другое. Лавка еще не закрылась. Алаад-дин уже снял развешенные на каштане перед входом газеты и гасил свет, но, к моему удивлению, пригласил меня войти, так что я успел купить, порывшись среди мешков, дешевую куклу (теперь она в моем музее на своем месте). До момента, когда я

подарю ее Фюсун и забуду в объятиях о ревности, оставалось еще пятнадцать часов, и я впервые ощутил боль от того, что не могу ей позвонить.

Боль исходила из глубины души, оттуда же, где обычно возникало раскаяние. Интересно, что Фюсун сейчас делает? Ноги сами вели меня все дальше от дома. Дойдя до улицы Куйулу Бостан, я миновал кофейню, где мы с приятелями слушали радио и играли в карты, прошел мимо школьного двора, на котором мы играли мальчишками в футбол. И вот вдали показался их дом и освещенные окна квартиры на втором этаже. Чем дольше я смотрел на эти окна, под которыми рос каштан, тем сильнее билось мое сердце. Голос рассудка, как ни боролся с ним алкоголь, не замолчал и твердил еще назойливее, что сейчас дверь откроет отец Фюсун и не оберешься позора.

Годами позже я заказал для своего музея картину. На ней довольно хорошо видны светящиеся окна дома Фюсун, ветви каштана, на которые падал желтоватый свет от окон, и глубина темно-синего ночного неба над Нишанташи, точно изображенного художником со всеми трубами и крышами. Не знаю только, видна ли по-стетителям музея на этой картине ревность, которую испытывал я, глядя на тот пейзаж?

Пока я не мог оторвать глаз от светлых окон на втором этаже, мой пьяный разум откровенно сообщил мне, что пришел я сюда этой лунной ночью увидеть, поцеловать Фюсун и поговорить с нею лишь для того, чтобы увериться: сегодняшний вечер она не проводит с кем-то другим. Ведь раз уж она смогла «пойти до конца» со мной, вдруг любопытство заставит ее испытать, каково сделать это с другими поклонниками, которых она перечислила мне тогда. Своей восторженной и искренней радостью от физических удовольствий Фюсун напоминала мне ребенка, получившего новую игрушку. Такую привязанность к наслаждениям, такую способность отдаваться всем существом я встречал лишь у немногих женщин, и это постепенно усиливало мою ревность.

Не помню, сколько я смотрел на ее окна. Вернувшись домой с купленной в подарок куклой, я лег спать.

Утром, по пути на работу, мне не давали покоя размышления о ночном поступке — избавиться от яда ревности так и не удалось. Мысль о том, что я влюблен, показалась мне ужасной. Манекенщица Инге, рекламирующая лимонад «Мельтем», кокетливо подмигивала с бокового фасада какого-то здания и взглядом советовала быть поосторожнее. Я решил было в шутливой форме рассказать о своей тайне приятелям — Заиму, Мехмеду и Хильми: ирония мешает страсти достичь серьезных размеров. Но потом передумал, так как не был уверен, смогут ли самые близкие мои друзья—я подозревал, что им нравилась Сибель, ведь недаром они говорили, как мне повезло, — помочь и выслушать без зависти рассказ о Фюсун, которая тоже нравилась им. К тому же, едва заговорив об этом, обнажу свои чувства и вскоре захочу говорить о Фюсун искренне и честно, без насмешек, как того требует ее открытость и искренность, и друзья сразу поймут, что я влюбился не на шутку. Так что, пока мимо окна моего кабинета с грохотом проносились автобусы в Мачку и Левент, на которых мы в детстве ездили с мамой и братом домой с площади Тю-нель, я пришел к выводу, что сейчас не стану предпринимать ничего, чтобы волнение, вызываемое во мне Фюсун, не пошатнуло счастливый брак, который приближался день ото дня. Я решил, что лучше оставить все как есть и спокойно наслаждаться удовольствием и счастьем, которыми меня щедро одарила жизнь.

17 Теперь моя жизнь связана с твоей

Обо всех принятых решениях было тут же мною забыто, когда Фюсун опоздала на десять минут. Бросая взгляды на наручные часы, подарок Сибель, и настенные

часы марки «Nacar» (Фюсун нравилось раскачивать их гири и слушать бой), я то и дело выглядывал из-за занавесок на улицу, на проспект Тешвикие. мерял шагами певший на все лады старый паркет, а одержимый страстью Тургай-бей все не давал мне покоя. Через некоторое время, не усидев, я выбежал на улицу. Направляясь по проспекту Тешвикие в сторону бутика «Шанзелизе», я внимательно посматривал по обеим сторонам, чтобы не разминуться с Фюсун, если она спешит ко мне. Но ее не было ни на улице, ни в магазине.

— Здравствуйте, Кемаль-бей, — приветливо улыбнулась Шенай-ханым.

— Мы все-таки решили с Сибель-ханым купить ту сумку.

— Значит, передумали? — В уголках рта Шенай-ханым показалась насмешливая улыбка, но тут же исчезла.

Если у меня и есть повод стыдиться из-за Фюсун, ей тоже есть чего стесняться — сознательно продает подделки. Мы оба молчали. Невероятно медленно, что показалось мне пыткой, она сняла с манекена на витрине поддельную сумку и аккуратно, с видом опытной продавщицы, для которой продавать товар с витрины — особая честь, сдула с нее пыль. А я смотрел на кенара Фюсун, который в тот день что-то приуныл.

Шенай-ханым вручила мне пакет, я отдал ей деньги и уже собирался выходить, как вдруг она сказала, явно не без удовольствия от двусмысленности фразы: «Вы, значит, теперь нам доверяете и отныне будете чаще оказывать честь нашему магазину».

— Конечно.

Неужели она что-то скажет Сибель, заходившей в этот магазин, если я не начну здесь покупать? Меня, правда, не беспокоило, что я постепенно запутываюсь в сетях хитрой женщины, зато огорчало, что обращаю внимание на подобные мелочи. И вдруг я представил, как Фюсун поднимается в квартиру «Дома милосердия», не застает меня и уходит...

День был погожий, поистине весенний. Оживленно туда-сюда сновали люди: домохозяйки, отправившиеся за ежедневными покупками; девушки, неловко шагавшие на первом солнце в только что вошедших в моду туфлях на высокой платформе с широким каблуком и в мини-юбках; школьники, прогуливавшие последние занятия в первые летние деньки. Разыскивая глазами в толпе Фюсун, я видел цыганок, торговавших цветами, продавца контрабандных американских сигарет (его все считали тайным агентом полиции) — в общем, всех, кто создавал привычную уличную жизнь Нишанташи.

Мимо проехал грузовик с цистерной воды, сбоку красовалась надпись «Чистая вода „Жизнь"». Затем показалась Фюсун.

— Ты где? — одновременно спросили мы друг у друга. И тут же одновременно рассмеялись.

— Старая карга осталась в магазине на обед, а меня отправила помочь одной своей подруге. Я опоздала, а тебя уже не было.

— А я волновался, ходил к тебе в магазин. Купил ту сумку на память.

В тот день на Фюсун были сережки, одна из которых ныне выставлена на входе в мой музей. Мы вместе шли по улице. С проспекта Валиконак повернули на менее оживленный Эмляк. Прошли мимо домов, где располагались кабинеты врачей, куда мама водила меня в детстве — зубного и педиатра, всегда засовывавшего мне в рот твердую холодную ложку, чего я никогда не забуду, и вдруг увидели, что внизу улицы, у подножия холма, собралась толпа, несколько человек бегут в ту сторону, а другие, наоборот, идут нам навстречу с очень странными выражениями лиц.

Оказалось, произошла автомобильная авария, движение остановилось. У недавно проезжавшего мимо меня вниз по улице грузовика с цистерной лопнул тормоз, и машина выехала на встречную полосу, врезавшись в такси марки «плимут»,

какие сохранились в Стамбуле с 1940-х годов и курсировали между Тешви-кие и Таксимом. Водитель грузовика стоял с дрожащими руками неподалеку и курил. Вся передняя часть легкового автомобиля была смята. Целым остался только таксометр посреди салона. Из-за спин прибывавшей толпы я разглядел окровавленное тело женщины, зажатой на переднем сиденье между разбитым лобовым стеклом и металлическими частями машины, и тут же узнал смуглую посетительницу бутика «Шанзелизе», выходившую оттуда. Мостовую усыпали бесчисленные осколки. Я взял Фюсун за руку и тихо сказал: «Пойдем». Но она не услышала меня. Застыв, не отрывая взгляда, она смотрела на мертвую.

Когда людей собралось слишком много, мы наконец ушли, так как меня беспокоила не столько погибшая (она, видимо, умерла сразу да и полиция уже приехала), сколько вероятность нарваться на кого-то из знакомых. Молча мы поднимались по улице от полицейского участка к «Дому милосердия», быстро приближаясь к тому мгновению, которое в начале своей книги я назвал «счастливейшим мигом моей жизни».

В прохладной парадной я обнял Фюсун и поцеловал в губы. Еще раз поцеловал, когда мы вошли в квартиру. Но на ее скульптурных губах читалась неловкость, а в ней самой чувствовалась какая-то зажатость.

— Я хочу тебе кое-что сказать, — проговорила она. — Да.

— Я боюсь, ты не воспримешь всерьез то, что я тебе скажу, или совершенно неправильно отреагируешь.

— Доверься мне.

— Вот именно в этом я и не уверена, но все равно скажу, — решительно произнесла она. Я почувствовал, что стрела выпущена из лука, и теперь она не сумеет удержать слова в себе: — Если ты неправильно поймешь меня, я умру, — добавила Фюсун.

— Милая, если ты переживаешь из-за аварии, то забудь ее и говори, что ты хочешь мне сказать.

Она вдруг тихонько заплакала, совсем как тогда в бутике «Шанзелизе», когда не могла вернуть мне деньги за сумку. Ее плач стал похож на капризные всхлипывания обиженного ребенка.

— Я в тебя влюбилась. Я жутко в тебя влюбилась! — В ее голосе звучал укор, но и неожиданная нежность. — Целыми днями думаю только о тебе. С утра до вечера думаю о тебе.

Закрыв руками лицо, она разрыдалась.

Должен признаться, первой моей реакцией было глупо рассмеяться. Но я не поддался порыву. Только с серьезным видом нахмурил брови, пытаясь скрыть огромную радость. Я чувствовал в себе какую-то фальшь, хотя, думаю, то был один из самых искренних и насыщенных моментов моей жизни.

— Я тоже очень тебя люблю.

И хотя эти слова были сказаны мною искренне, они не получились такими сильными и настоящими, как ее. Это ведь она первой призналась. А так как я лишь ответил ей, то в моем уверении, несмотря на правду, звучала нотка утешения и вежливости и улавливалось стремление к подражанию. Если бы я даже и в самом деле любил ее крепче, чем она меня (так, весьма вероятно, и было), Фюсун все равно уже проиграла мне, потому что первой признала пугающие размеры нашей любви. «Знаток чувств» во мне (неприятно было вспоминать, откуда и как он во мне появился) радостно возвещал, что неопытная Фюсун сдала «игру», поскольку повела себя откровеннее. Теперь моим мукам ревности и навязчивым мыслям пришел конец.

Она продолжала всхлипывать и вытащила из кармана по-детски скомканный платок. Я обнял ее и, целуя невероятно нежную, бархатистую кожу шеи и плеч Фюсун,

сказал, что глупо плакать из-за любви такой красавице, как она, от которой теряет голову столько мужчин.

В слезах она упрекнула: «По-твоему, красивые девушки не влюбляются? — и добавила: — Раз уж ты такой знаток, то скажи...Что будет потом?»

Ее глаза умоляли, чтобы я открыла ей правду, и никакие слова о любви и красоте не отвлекли бы от переживаний. Но сказать мне было нечего.

Это я понимаю только сейчас, вспоминая о тех событиях десятилетия спустя. А тогда я испугался вопроса, который рассорил бы нас, про себя осудил за него Фюсун и принялся ее целовать.

Она отвечала на мои поцелуи и страстно, и беспомощно. Уточнила, это ли мой ответ. «Да», — уверил я. «Разве мы не собирались заняться математикой?»—она понемногу успокаивалась. Оставив реплику без внимания, я принялся жарче целовать Фюсун. В нашем безысходном положении обниматься и целоваться было гораздо естественней, чтобы ощутить неотвратимую мощь настоящего мгновения. По мере того как Фюсун снимала с себя одежду, вместо заплаканной, страдающей от любви девочки появлялась счастливая и полная жизни женщина, жаждущая физических наслаждений. Так мы очутились во власти мига, который я назвал самым счастливым моментом моей жизни.

На самом деле, проживая подобное, никто этого не осознает. В глубине души мы все равно верим, что когда-нибудь переживем нечто более прекрасное и счастливое, чем сейчас. Ведь в молодости — особенно пока ты молод—трудно жить, сознавая, что потом все будет только хуже, и если кто-то счастлив настолько, что способен поверить, будто переживает самый счастливый миг своей жизни, то обычно ему хватает оптимизма полагать, что будущее тоже окажется прекрасным.

Но, когда наша жизнь, подобно роману, приобретает завершенную форму, мы можем выбирать и решать, какой же момент стал самым счастливым, что я и делаю сейчас. Конечно, чтобы объяснить, почему из всего пережитого выбран именно этот момент, придется поведать историю жизни от начала до конца, довести роман до финала. Выбрав то мгновение счастья, мы испытываем боль, потому что знаем, оно осталось где-то очень далеко и больше не случится никогда. Единственное, что помогает вытерпеть эту муку, — вещи, сохранившиеся от того драгоценного мига. Они хранят счастливые воспоминания, их краски, тепло, удовольствие осязать и видеть вернее, нежели люди, благодаря которым мы познали самую суть счастья.

Во время продолжительных любовных ласк, когда мы, с трудом переводя дыхание, позабыли об окружающем мире, а я, поцеловав влажное плечо Фюсун, проник в нее сзади, покусывая ей шею и мочку левого уха, то есть в счастливейший миг моей жизни, сережка в виде заглавной буквы ее имени, на форму которой в тот день я не обратил никакого внимания, выскользнула из прекрасного уха Фюсун на голубую простыню.

Тому, кто имеет о смысле культуры хоть какое-либо представление, известно: за всеми знаниями западной цивилизации, властвующей над миром, стоят музеи, и их создатели, истинные коллекционеры, собирая памятные раритеты, никогда не задумываются, чего тех ожидает. Как правило, даже не замечают главных и важнейших вещей будущих собраний, когда они впервые попадают в руки, хотя позднее классифицируют, описывают в каталогах (а ведь первые музейные каталоги — это первые энциклопедии) и выставляют для зрителей напоказ.

Когда миг, который я впоследствии назвал счастливейшим в своей жизни, закончился и настало время расставаться, пока одна из ее сережек пряталась рядом с нами в складках влажной простыни, Фюсун посмотрела мне в глаза и тихо проговорила:

— Теперь моя жизнь связана с твоей.

Ее слова мне понравились, но и напугали меня.

На следующий день было опять очень тепло. Когда мы встретились, Фюсун выглядела чем-то встревоженной.

— Я вчера потеряла сережку, — произнесла она, поцеловав меня.

— Твоя сережка здесь, дорогая моя. — Я засунул руку в правый карман пиджака, висевшего на спинке стула, но ее там не оказалось. — Странно, ничего нет.

У меня быстрее забилось сердце, будто над нами нависло какое-то неотвратимое несчастье, какое-то горе. Потом я вспомнил, что сегодня с утра очень жарко и я надел пиджак потоньше.

— Она осталась в другом кармане.

— Пожалуйста, принеси завтра, не забудь, — попросила Фюсун. В ее глазах можно было утонуть. — Эта сережка очень важна для меня.

18 История Белькыс

Сообщение об аварии занимало первую полосу всех газет. Фюсун их, конечно, не читала, но так как Шенай-ханым все утро только и говорила что о погибшей, она решила, что некоторые обитательницы Нишанташи заходили в тот день в бутик «Шанзелизе», лишь чтобы поговорить об аварии.

— Завтра Шенай-ханым закроет магазин после обеда, чтобы я тоже пошла на похороны, — сообщила мне Фюсун. — Она ведет себя так, будто все любили ту женщину. Но это не так.

— А как?

— Она часто приходила в наш магазин. Покупала самые дорогие платья, только что привезенные из Италии и Парижа, а потом, надев куда-нибудь на прием, возвращала обратно, будто оно ей не подошло. Шенай-ханым очень сердилась, так как платье, которое все уже видели, продать нелегко. Да и вела она себя довольно грубо, постоянно торговалась за каждый процент. Но отказать ей Шенай-ханым не могла, потому что у той женщины имелись связи. Ты ее знал?

— Нет. Правда, одно время она была любовницей моего приятеля, — начал было я, решив рассказать Фюсун историю погибшей женщины, сократив и изменив кое-какие детали. И вдруг осекся, поняв, что не смогу. Мне подумалось, что лучше обсудить историю погибшей с Сибель. Я сразу почувствовал себя двуличным, потому что от обсуждения жизни несчастной с Сибель я получил бы больше удовольствия, нежели с Фюсун. А ведь еще неделю назад я запросто мог что-то утаить от Фюсун, с легким сердцем обмануть ее; тогда мне еще казалось, что ложь — забавная и неизбежная составляющая такого рода интрижек. По глазам Фюсун видно было, она понимает, что я не хочу делиться подробностями. И поэтому неожиданно для себя быстро сказал:

— У той женщины была очень грустная жизнь. Она много страдала и видела много унижения от того, что легко отдавалась мужчинам.

Конечно, я имел в виду не это. Просто вырвалось бездумно. Воцарилось долгое молчание.

— Не беспокойся, — прошептала, покраснев, Фюсун. — У меня до конца жизни не будет никого, кроме тебя.

Спокойный и веселый, я вернулся на работу, яро принялся за дело и с энтузиазмом проработал довольно долго — будто пришел зарабатывать деньги впервые в жизни. Некоторое время назад в «Сат-Сат» поступил один молодой (намного моложе меня), но амбициозный сотрудник по имени Кенан. С ним мы обменялись шутками в адрес должников нашей компании, подробно разобрали список их имен, каких получилось примерно около сотни.

Вечером я шел в тени платанов Нишанташи, уже основательно обросших листвой, вдыхая аромат лип из садов старинных, еще не сгоревших от рук

строителей османских особняков. Глядя на водителей, запертых внутри автомобилей в пробке и в ярости то и дело жавших на гудок, я понимал, что доволен жизнью, что недавние муки любви и ревности позади и все наладилось. Дома я, не торопясь, принял душ. Доставая из шкафа свежую рубашку, вспомнил о сережке Фюсун, но в кармане того пиджака, где я, как мне представлялось, ее оставил, ничего не оказалось тоже. Я обыскал все ящики, заглянул даже в кувшин, куда Фатьма-ханым складывала найденные оторвавшиеся пуговицы, косточки от воротников, выпавшие из карманов монетки и зажигалки, но сережки не было нигде.

— Фатьма-ханым, ты здесь где-нибудь не находила сережку? — тихо спросил я.

В светлой и просторной комнате, соседней с моей, которая принадлежала брату, пока он не женился, Фатьма-ханым раскладывала в шкафу чистые носовые платки, полотенца и наши с отцом рубашки, которые она нагладила после обеда. Пахло лавандой и чистым бельем. Фатьма-ханым сказала, что «никаких таких сережек она не встречала». Потом из корзины с бельем вытащила, как нашкодившего котенка, один мой носок:

— Слушай меня, Железный Коготь! — это имя она придумала мне, когда я был маленьким. — Если ты не будешь стричь ногти, у тебя не останется целых носков. И штопать я тебе больше не буду.

— Хорошо.

В углу гостиной, окна которой выходили на мечеть Тешвикие, парикмахер Басри стриг отца, восседавшего на табуретке в белой накидке, а мама, как всегда, расположилась перед ними, закинув нога ногу, и что-то им говорила.

— Иди сюда, я последние сплетни рассказываю, — позвала она, увидев меня.

Басри, только что изображавший, с отсутствующим видом, что не слушает ее, после этих слов на мгновение бросил стричь отца и принялся со смехом, демонстрируя всем свои огромные белоснежные зубы, перечислять услышанные новости.

— Так о чем же говорят, мама?

— Младший сын Лерзанов мечтает стать гонщиком, а так как отец не разрешает...

— Знаю. Он вдребезги разбил отцовский «мерседес». А потом позвонил в полицию, что машину украли.

— А ты слышал, что сделал Шазимент, чтобы выдать свою дочку замуж за сына Карахана? Постой, ты куда?

— Я не буду ужинать, заберу Сибель, мы с ней идем в гости.

— Тогда поди скажи Бекри, пусть рыбу не жарит. Он ради тебя сегодня ходил в такую даль — на Рыбный рынок в Бейоглу. Хотя бы пообещай, что завтра обедать дома будешь!

— Обещаю!

Ковер перед приходом парикмахера загнули, чтобы не испачкать, и тонкие седые волосы отца падали на паркет.

Я забрал машину из гаража, включил музыку погромче и поехал по вымощенным плиткой улицам. Постукивая по рулю в такт песням, переехал Босфорский мост и за час добрался до Анатолийской крепости. Сибель. услышав сигнал автомобиля, выбежала из дома. По пути я начал рассказывать ей ту самую историю, которую не смог передать Фюсун — историю женщины, погибшей три дня назад в аварии на проспекте Эмляк. Прежде всего, я сообщил, что она — бывшая любовница Заима («Заима, достойного всего?» — с улыбкой спросила Сибель).

— Ее звали Белькыс, она старше меня на несколько лет. Ей, должно быть, где-то тридцать два — тридцать три года, — продолжал я. — Она из бедной семьи. С тех пор как ее начали принимать в высшем свете, злые языки, дабы унизить ее, поговаривали, что ее мать носила платок. В конце пятидесятых годов Белькыс, тогда

еще студентка лицея, на Дне молодежи и спорта познакомилась со своим ровесником, и они страстно влюбились друг в друга. Парня звали Фарис, он был из семьи судовладельца Каптаноглу — одной из самых богатых тогда в Стамбуле, младший сын судовладельца. Любовь богатого парня к девушке из бедной семьи продолжалась много лет, как в турецких мелодрамах. Их чувства оказались так сильны, что молодые люди совсем потеряли голову, не сумев скрыть этого от окружающих. Конечно, лучше всего им было пожениться, но семья парня воспротивилась, потому что девушка из бедной семьи «пошла до конца», чтобы заполучить их сына, и об этом, мол, всем известно. Ну а у парня, видимо, не хватило ума, силы воли, да и собственных денег, чтобы бросить вызов семье, взять девчонку и жениться на ней. Чтобы положить конец этой истории, родные Фа-риса отправили его в Европу. Три года спустя он от чего-то умер в Париже — то ли от наркотиков, то ли с горя. А Белькыс, вместо того чтобы, как обычно поступают в подобных случаях, уехать с каким-нибудь французом и забыть о Турции, вернулась в Стамбул и зажила разгульной жизнью, встречаясь с разными богатыми мужчинами, от чего ее возненавидели все женщины большого света. Ее вторым любовником стал еще один богатый парень... Расставшись с ним, она завела любовную интрижку со старшим сыном Демирбагов, который страдал от неразделенной любви к какой-то другой женщине. А так как ее следующий любовник, Рыфки, тоже мучился от неразделенной любви, то вскоре все мужчины высшего общества прозвали ее «ангел для утешения» и все до одного мечтали провести с ней ночь. А их жены, беззаботные и богатые, которые в жизни не знали ни одного мужчины, кроме собственного мужа, и самое большее, что могли себе позволить, так это, тайком и сгорая от стыда, завести ненадолго любовника, но от страха не получить никакого удовольствия и с ним, из зависти мечтали придушить эту Белькыс, которая, не скрываясь, открыто встречалась с самыми завидными холостяками Стамбула и у которой, полагаю, было еще очень много тайных женатых любовников. Но в последнее время красота Белькыс стала вянуть, и недалек был тот день, когда ей не на что стало бы жить. Так что гибель в аварии для нее спасение.

— Поражаюсь тому, как это никто из всех ее мужчин на ней не женился, — проговорила Сибель. — Значит, никто из них не любил ее по-настоящему.

— На самом деле мужчины как раз и влюбляются в таких женщин, как она. Но женитьба — другое дело. Сумей она выйти замуж за Фариса Каптаноглу, не сближаясь с ним до свадьбы, о бедности ее семьи быстро бы все забыли. Будь она из богатой семьи, потеря девственности до свадьбы тоже бы роли не играла. А так как Белькыс не смогла сделать то, что умеют провернуть все, и вела разгульную жизнь, женщины из высшего света много лет называли ее «шлюха для утешения». Хотя, может быть, ее стоит уважать за то, что она, очертя голову, поверила в первую любовь и смело отдалась своему возлюбленному.

— Ты уважаешь ее?

— Нет, она казалась мне отвратительной.

Мы приехали с Сибель на какой-то торжественный ужин — я забыл, по какому поводу и кем он был устроен. На длинной бетонной террасе перед большим особняком, прямо над водой, примерно шестьдесят или семьдесят человек с бокалами в руках негромко переговаривались и рассматривали, кто пришел. Большинство женщин, конечно, было недовольно своей короткой либо длинной юбкой, а те, нарядившиеся в мини-юбки, чувствовали себя неуютно из-за слишком коротких либо же длинных, слишком толстых или худых ног. Поэтому все женщины напоминали неумелых натурщиц. Почти у самой террасы располагался причал, а рядом с ним — сток для нечистот, стекавших прямо в море, и на террасе, где торжественно вышагивали официанты в белых перчатках, ощущался резкий запах.

Едва смешавшись с толпой гостей, я познакомился с каким-то психологом, сразу

всучившим мне визитку. Психолог недавно вернулся из Америки и открыл практику. Немолодая, но весьма бойкая дама спросила его, что такое любовь, и он немедля выдал присутствующим сентенцию. «Любовью, — сказал он, — именуется чувство, дарующее счастье, которое выражается в постоянном желании быть рядом с определенным человеком, несмотря на наличие других возможностей общения».

После разговора о любви я пообщался с матерью красивой восемнадцатилетней девушки, стоявшей тут же, на тему того, куда, помимо турецких университетов, где постоянно проводятся разные политические акции протеста, можно устроить учиться дочь. Разговор об университетах начался с газетных сообщений о введении дополнительных санкций, вплоть до лишения свободы на длительный срок, против рабочих типографий, где печатают брошюры с вопросами к единому государственному вступительному экзамену в университет, чтобы никто не воровал.

Вскоре на террасе появились Заим — высокий, стройный, с выразительными глазами и изящным лицом — и худая, высокая, под стать ему, немецкая манекенщица Инге. Некоторую грусть вселяла не столько всеобщая зависть к этой паре, сколько то, что голубоглазая немка своей белоснежной кожей, натуральными светлыми волосами и длинными стройными ногами безжалостно напоминала стамбульским дамам, изо всех сил старавшимся походить на европейских женщин и ради этого осветлявшим волосы, выщипывавшим брови и скупавшим втридорога горы европейской одежды, что, к сожалению, природный цвет кожи и южную фигуру просто так не исправить. А мне она нравилась не столько из-за своей северной красоты, сколько потому, что ее улыбка и черты лица были знакомы мне, словно лицо старого друга. Мне нравилось встречать ее каждое утро сначала в ежедневной газете, потом по пути на работу, в Харбие, на боковом фасаде большого здания. Вокруг Инге быстро собралась толпа.

На обратном пути, в машине, Сибель вдруг сказала в тишине:

— Видно, наш Заим, достойный всего, все-таки неплохой человек. Но как тебе кажется, правильно ли он поступает, демонстрируя всем, что третьеразрядная немецкая актриса, готовая, кажется, спать за деньги даже с арабскими шейхами, — его любовница, будто не достаточно уже того, что она снялась в рекламе его лимонада?

— Скорее всего, эта третьеразрядная немецкая актриса преисполнена такой же симпатии к нам, как ты к ней, и считает нас не лучше арабских шейхов. Лимонад продается отлично. Заим говорил, что туркам будет приятнее его покупать, если они узнают, что современный турецкий продукт нравится и европейцам.

— Я в парикмахерской читала интервью с Заимом в «Выходном». Там напечатали их большую фотографию вдвоем, а еще другую ее фотографию — весьма заурядную, почти без одежды.

Мы оба долго молчали. Потом, улыбнувшись, я сказал:

— Помнишь того человека, который на плохом немецком все пытался ей сказать, как она очаровательна, и старался смотреть ей на волосы, чтобы случайно взгляд не соскользнул на декольте, на грудь... Вот он и есть второй любовник погибшей Белькыс.

Но Сибель уже спала, пока машина в легком тумане мчалась по мосту через Босфор.

19 Похороны

На следующий день в обеденный перерыв я, как и обещал, ушел из конторы и направился домой, где пообедал с матерью чудесной жареной рыбой. С ловкостью опытного хирурга мать отделяла на тарелке тонкую розоватую рыбью шкурку от

полупрозрачных косточек, параллельно обсуждая со мной приготовления к помолвке и «последние известия». Она сообщила, что список приглашенных теперь составляет 230 человек, включая тех, кто так жаждет отметиться у нас, что прямо намекает попасть в число гостей, и тех, кого «ни в коем случае нельзя обидеть». Поэтому, чтобы пришедшие на праздник внезапно не остались без выпивки, метрдотель «Хилтона» уже начал вести переговоры с коллегами из других больших отелей насчет «импортного алкоголя» (в те годы «алкоголь оттуда» превратился в культовую принадлежность светских сборищ). Ателье известных стамбульских портних, вроде Ипек Исмет. Шазие, Левша Шермин и Мадам Муалла (некогда подруг и конкуренток матери Фюсун), полностью загружены работой по пошиву вечерних платьев для наших гостей и работали вплоть до помолвки с утра до вечера и с вечера до утра.

Отец неважно себя чувствовал и дремал в соседней комнате, но мать решила, что у него просто плохое настроение, и гадала, отчего оно испортилось именно тогда, когда сыну предстоит обручиться, а у меня пыталась выпытать, не знаю ли я причины. Повар Бекри принес к столу плов из лапши, который обязательно следовало есть после рыбы, чтобы заглушить ее вкус, — эта традиция оставалась неизменной со времен моего детства. Внезапно мама приняла траурный вид.

— Так жалко ту бедную женщину, — вздохнула она с искренней грустью. — Она много страдала. Столько пережила, ей все завидовали. А ведь она была очень хорошим человеком, очень.

Мама рассказала, как много лет назад, на отдыхе в Улудаге, они с отцом общались с Белькыс и ее тогдашним другом Демиром, старшим сыном Демирбагов, и. пока отец играл с Демиром в карты, они с покойной Белькыс допоздна пили чай в простеньком гостиничном баре, вязали и разговаривали.

— Она очень много перенесла, бедняжка. Сначала от бедности, потом от мужчин, — горестно качала головой мать. Потом повернулась к Фатьме-ханым: — Отнесите мой кофе на балкон. Мы будем смотреть на похороны.

Во дворе мечети Тешвикие каждый день проходило несколько похорон, и поэтому наблюдение за ними для меня и брата *было* с детства интересным и притягательным развлечением, которое, однако, посвящало нас в пугающую тайну смерти. В мечети с похоронным намазом начинался «последний путь» не только для представителей влиятельных семейств Стамбула, но и для известных политиков, генералов, журналистов, певцов или актеров, и члены общины медленно несли на плечах гроб до площади Нишанташи в сопровождении военного или муниципального (исходя из ранга покойного) оркестра, игравшего траурный марш Шопена. Мы с братом любили играть в похороны: клали на плечи тяжелую длинную подушку, выстраивали за собой повара Бекри-эфенди, Фатьму-ханым, водителя Четина и других и, распевая похоронный марш, медленно, слегка покачиваясь, ходили по комнатам. Перед похоронами премьер-министров, известных финансистов или певцов, о смерти которых знала вся страна, к нам домой то и дело заезжали незваные гости посмотреть на процессию, которые оправдывались, что «просто проезжали мимо и решили зайти», но мама всех всегда пускала, хотя и ворчала за их спиной: «Им не мы нужны, а похороны», а мы с братом считали, что церемония устроена не для того, чтобы отдать дань уважения покойному либо чтобы смерть послужила назиданием, а только ради интересного зрелища.

Мы уселись на балконе за маленьким столиком, и мать даже предложила мне свое место: «Если хочешь, иди сюда, отсюда лучше видно!» «Знаешь, я не пошла на похороны, хотя очень жалею эту женщину, не из-за плохого самочувствия твоего отца. Я подумала, что мне трудно будет перенести то, что ее дружки, вроде Рыфкы или Самима. надели темные очки, чтобы скрыть, что не могут выдавить из себя ни слезинки и разыгрывают траур. И потом, отсюда лучше видно. Что с тобой?» Она увидела, что я внезапно побледнел, а выражение моего лица совершенно не

отражает интереса к похоронной процессии.

— Ничего. Все хорошо.

На ступеньках у больших ворот, выходивших на проспект Тешвикие, в тени, где столпились богатые женщины в дорогих модных разноцветных платках, я увидел Фюсун. Сердце мое заколотилось с неимоверной скоростью. На ней был оранжевый платок. Нас разделяло по воздуху примерно семьдесят метров. Но я не только видел, как она дышит, как нахмурила брови, как ее нежная кожа покрывается испариной на полуденной жаре (был последний день мая), как она чуть прикусила слева верхнюю губу, когда среди женщин стало совсем тесно, а ей самой — совсем скучно, и как она переминается с одной ноги на другую, — кажется, ощущал все это физически. Мне хотелось крикнуть ей с балкона и позвать ее, но я не мог издать ни звука, точно во сне, только сердце продолжало бешено колотиться.

— Мама, я ухожу.

— Что с тобой? Ты так побледнел.

Я спустился вниз и начал смотреть на Фюсун издалека. Она стояла рядом с Шенай-ханым. Та болтала с хорошо одетой, некрасивой, коротконогой женщиной, а Фюсун слушала их беседу и задумчиво наматывала на палец кончик неумело завязанного под подбородком платка. Платок придал ей надменную и мистическую красоту. Началась пятничная проповедь, транслировавшаяся по громкоговорителям во двор, но, кроме нескольких слов имама о том, что смерть — последнее пристанище, и чрезмерно частых, чтобы всех напугать, упоминаний имени Аллаха, из-за плохого качества звука разобрать было почти ничего невозможно. То и дело торопливо, будто опоздывая в гости, подходили новые люди. Все головы сразу поворачивались к ним, и им тут же прикалывали на грудь маленькую черно-белую фотографию покойной Белькыс. Фюсун внимательно наблюдала за всеобщим обменом приветствиями, рукопожатиями, поцелуями, утешительными объятиями и обычными вежливыми вопросами.

У нее на груди, как у всех, тоже виднелась фотография Белькыс. В те дни обычай прикалывать на грудь изображения умерших, появившийся из-за часто совершавшихся тогда политических убийств, вошел в привычку сначала среди простых людей и студентов, но вскоре был перенят и в состоятельных кругах Стамбула. Эти фотографии (небольшую коллекцию которых мне удалось собрать в последующие годы) на лацканах шагавших в траурной процессии богачей в темных очках, с виду печальных, а на деле довольно веселых, всегда придавали похоронам любого известного предпринимателя, обычно напоминавшим званый прием, атмосферу торжественного политического шествия, будто бы существовал некий идеал, за который эти люди, похожие из-за маленьких фотографий на оппозиционных политических активистов, согласились умереть. В газетах за тот день был опубликован некролог с фотографией Белькыс в толстой черной рамке—на европейский манер, от чего траурное сообщение напоминало серьезную статью об очередном политическом убийстве.

Не оборачиваясь, я пошел в нашу квартиру, где принялся ждать Фюсун, время от времени поглядывая на часы. Прошло немало времени, и внезапно что-то подтолкнуло меня к окну. Когда я раздвинул пыльные, всегда задернутые занавески, мимо дома медленно проехала машина с гробом Белькыс.

В голове неспешно, как катафалк, проплыла мысль, что некоторые люди проводят всю жизнь в страданиях, потому что имеют несчастье быть бедными, либо не способны вести себя разумно, либо готовы терпеть унижения. Лично у меня лет с двадцати существовала убежденность, что на мне надеты особые невидимые доспехи, которые защищают от всех бед и невзгод. И я считал, что, если буду слишком много думать о чужих бедах, сам начну страдать, а мои невидимые доспехи поржавеют и прохудятся.

20 Два условия Фюсун

Фюсун опоздала. Я уже начал беспокоиться, но, когда она пришла, видно было, что ее тоже что-то беспокоит. От нее густым шлейфом тянулись тяжелые духи. Оказалось, она встретила свою подругу Джейду, с которой познакомилась на конкурсе красоты. С Джейдой тогда обошлись несправедливо, ей досталось только третье место. Но теперь она была счастлива, встречаясь с сьшом фабриканта Седирджи, и у парня были серьезные намерения. Фюсун произнесла это как-то странно, будто хотела в чем-то меня обвинить. «Вот здорово, правда?» — скорее утверждала, чем спрашивала она, глядя прямо мне в глаза. Я кивнул в знак согласия, но тут она добавила, что у Джейды есть проблема. Так как сын фабриканта настроен жениться, он против того, чтобы она работала манекенщицей.

— Скоро будут снимать для лета рекламу двухместных гамаков с тентом. Фирма-производитель согласна на турецкую модель, но парень и слышать не желает, он — строгий традиционалист. Не разрешает ей не то что сниматься в рекламе, даже выходить на улицу в мини-юбке или в платье. А ведь Джейда закончила специальные курсы. Ее фотографии в газетах печатают.

— Передай ей, чтоб поостереглась, а то скоро совсем в заперта жить будет.

— Джейда давно мечтает выйти замуж и стать домохозяйкой, — отрезала Фюсун, будто я не понимал, о чем речь. — Она беспокоится о другом: вдруг он ее обманет? Мы с ней решили встретиться и поговорить. Как, по-твоему, понять, что мужчина настроен серьезно?

— Не знаю.

— Тебе же известно, что думают такие мужчины.

— Никогда не интересовался, что думают традиционалисты-провинциалы, —уточнил я, чтобы изменить течение разговора. — Давай-ка лучше твое задание.

— Не сделала я никакого задания, ясно? — разозлилась она. — Сережку мою нашел?

Я чуть было машинально не полез в карман, подобно подвыпившему автомобилисту, остановленному дорожной полицией, который роется за пазухой, в бардачке и сумке, делая вид, будто ищет права, хотя прекрасно знает, что их нет. Но я сдержался.

— Нет, дорогая. Дома у меня твоей сережки нет. Но когда-нибудь она найдется, не беспокойся.

— Все, с меня хватит. Я ухожу и больше не приду сюда никогда.

По боли, исказившей ее лицо, пока она собирала вещи, по тому, как неловко совершали движения ее руки, стало понятно: Фюсун настроена решительно. Я встал перед дверью и начал упрашивать, чтобы она не уходила. Будто охранник в казино, не отпускал, твердил, что люблю (это было правдой), и по ее постепенно расплывавшейся от краешков рта довольной улыбке и по тому, как ее брови с нежностью, которую она пыталась скрыть, слегка приподнялись, понял, что мои слова постепенно смягчают Фюсун.

— Ладно, остаюсь, — наконец согласилась она. — Хотя ты должен выполнить два моих условия. Но прежде скажи мне, кого ты любишь больше всего на свете.

И тут же поняла, что я растерялся, потому что не могу назвать ни Сибель, ни Фюсун.

— Назови мужчину, — подсказала она.

— Отца.

— Прекрасно. Вот мое первое условие. Поклянись жизнью отца, что больше никогда не будешь мне врать.

— Клянусь.

— Не так. Повтори все предложение.

— Я больше никогда не буду тебе врать, клянусь жизнью отца.

— Надо же. повторил, даже глазом не моргнув.

— А второе условие какое?

Но прежде чем оно было произнесено, мы начали целоваться и, счастливые, занялись любовью. Страстно отдаваясь друг другу, опьяненные нежностью и страстью, мы чувствовали, что оказались в какой-то волшебной стране. В моих фантазиях этот дивный край, где мы были с Фюсун только вдвоем как на другой планете, напоминал странные фотографии далеких звезд или поверхности Луны, пейзажи скалистых необитаемых островов. Потом мы рассказывали друг другу, что видели и чувствовали в той волшебной стране, и Фюсун сказала, что смотрела из окна на полутемный, полный деревьев сад, на ярко-желтый луг за садом, на котором от ветра покачивались подсолнухи, и на синее море вдали. Такие сцены оживали перед глазами у нас обоих, когда мы были ближе всего друг к другу (как в ту минуту) — например, когда ее грудь с острым соском наполняла мой рот или когда Фюсун прижималась ко мне изо всех сил. уткнувшись носом в мою шею. Потрясающая близость позволяла нам чувствовать и познавать то, что раньше оставалось неведомым, и мы читали это по глазам друг друга.

— А теперь мое второе условие, — произнесла счастливая и довольная Фюсун. — Однажды ты возьмешь наш с тобой детский велосипед, мою сережку и придешь к нам в гости на ужин.

— Конечно, приду, — тут же, с легким от близости сердцем, согласился я. — Но что мы скажем твоим родителям?

— Ты что, не мог встретить на улице родственницу и спросить ее о здоровье родителей? А она тебя не могла пригласить в гости? Или ты не мог случайно зайти в магазин и, увидев меня, захотеть навестить и моих родителей? Или не мог бы с родственницей заниматься каждый день математикой перед вступительным экзаменом в университет?

— Однажды я обязательно приду к вам в гости с твоей сережкой. Даю слово. Но давай не будем никому говорить о занятиях математикой.

— Почему?

— Ты очень красивая. Все сразу поймут, что мы — любовники.

— Значит, в Турции парень с девушкой не могут быть долго вдвоем в одной комнате, как в Европе, чтобы не заняться любовью?

— Могут, конечно... Но так как мы в Турции, все решат, что парень с девушкой занимались не математикой, а кое-чем другим. Да они и сами начнут думать об этом, потому что знают: о них все именно так и подумают. Девушка попросит, например, оставить дверь открытой, чтобы никто потом не сказал ничего про ее честь. А парень решит, что девушка, согласившаяся долго пробыть с ним в одной комнате, завлекает его, и если он с ней ничего не сделает, пойдут нехорошие разговоры про его мужскую силу, вот он и начнет приставать к девушке уже только поэтому. Скоро мысли обоих будут основательно замараны тем, что думают об их пребывании в комнате другие, и им захочется пойти дальше. А если между ними ничего не произойдет они все равно начнут испытывать чувство вины, так как почувствуют, что не могут спокойно находиться в одной комнате вдвоем.

Наступила тишина. Наши головы лежали рядом на одной подушке, мы смотрели на отверстие для трубы в стене, на карниз, занавеску на нем, на растрескавшуюся и отколовшуюся краску и пыль на стенах и в углах под потолком. Много лет спустя я воссоздал эту картину во всех подробностях, чтобы посетители моего музея услышали ту тишину.

21 История отца: жемчужные сережки

Однажды в начале июня отец сказал: «Давай как-нибудь пообедаем вдвоем, хочу дать тебе несколько советов перед обручением». За девять дней до помолвки, солнечным днем, в четверг, мы поехали с ним обедать в Эмирган, в ресторан Абдуллаха-эфенди. Еще в тот момент я понял, что никогда не забуду наш с ним долгий разговор. Пока мы ехали в ресторан на «шевроле» 56-й модели, за рулем которого, как всегда, был верный Четин-эфенди, работавший у нас еще со времен моего детства, я слушал отцовские наставления на все случаи жизни (например, друзей по работе не следует считать друзьями в жизни). Слушать их мне было приятно, потому что они казались мне частью предсвадебного ритуала. Одновременно я любовался из окна автомобиля морскими видами, старыми пароходами «Городских пассажирских линий» — сильное течение Босфора относило их в сторону, древними темными садами деревянных османских особняков, от которых даже на жаре веяло прохладой. Однако отец, вместо того чтобы, как в детстве, приняться читать мне нотации, предостерегая от лени, неумеренности и мечтательности, и напоминать о долге и обязанностях, сейчас, когда в открытое окно машины задувал ветерок, напоенный морскими и древесными ароматами, вдруг сказал мне, что жизнь коротка. Я потому и поместил в музее искренности гипсовый бюст отца, выполненный одним профессором Академии изящных искусств, скульптором Сомташем Йонтунчем (поговаривали, что фамилию ему придумал сам Ататюрк), которому отец позировал по рекомендации одного приятеля десять лет назад, когда наша семья внезапно быстро разбогатела на экспорте текстиля. Я немного сержусь на скульптора: он изобразил отцовские усы меньше, чем они были на самом деле, чтобы отец выглядел более по-европейски. А я. между прочим, в детстве очень любил смотреть, как шевелятся отцовские усы, когда он бранил меня за шалости. Поэтому я приклеил бюсту усы погуще и подлиннее.

Отец сказал, что жизнь — лишь небольшой отрезок времени, дарованный нам милостью Аллаха, которым необходимо успеть насладиться, а я из-за своего чрезмерного трудолюбия рискую упустить ее радости, но мне показалось, он говорит это потому, что доволен нововведениями, которые я устроил в «Сат-Сате» и других компаниях. По мнению отца, теперь мне следовало взять на себя часть дел, которыми многие годы занимался брат. Я ответил, что примусь за работу с удовольствием и что брат, будучи подчас робким или неинициативным, приносит нам убытки, и на этих словах улыбнулся уже не только отец, но и Четин-эфенди, а мне стало радостно.

Ресторан Абдуллаха-эфенди раньше находился на главной улице Бейоглу — проспекте Истикляль, рядом с мечетью Хусейн-Ага, туда ходили обедать все знаменитости и богачи, смотревшие кино в Бейоглу. Несколько лет назад, когда большинство из них завели автомобили, ресторан перебрался за город, в небольшое поместье у парка Эмирган, обращенное к Босфору. Войдя в заведение, отец изобразил благодушное выражение лица и поздоровался с каждым официантом — почти всех он знал много лет. Потом посмотрел, нет ли в зале людей, которые ему знакомы. Пока метрдотель вел нас к нашему столику, отец поздоровался с теми, кто сидел неподалеку, знакомым за столом подальше он слегка кивнул и еще немного пококетничал с какой-то пожилой дамой и ее красивой дочерью. Дама сказала, какой я хорошенький, как быстро вырос и похож на отца. У метрдотеля, который все детство называл меня «маленький господин», а потом постепенно перешел на «господин Ке-маль», отец заказал нам слоеный пирог и ракы с острой закуской — кусками соленого тунца.

— Кури, если хочешь, — разрешил он. Можно подумать, вопрос о том, курить мне при нем или нет, не решился сам собой, когда я вернулся из Америки, к обоюдному спокойствию: — Принесите Кемалю-бею пепельницу, — попросил он

одного из официантов.

Пока отец быстро пил ракы, занюхивая маленькими помидорами, выращиваемыми в собственной теплице ресторана, я почувствовал, что он хочет о чем-то рассказать мне, но не знает, как начать. Мгновение мы оба смотрели в окно на Четина-эфенди, стоявшего и беседовавшего с другими водителями, ожидавшими хозяев.

— Четина цени, — сказал отец.

— Знаю.

— Пойми... Никогда не смейся над притчами, которые он все время рассказывает. Он очень порядочный, наш Четин. Благородный, настоящий человек. И не меняется уже двадцать лет. Если однажды со мной что-то случится, смотри не прогоняй его, — продолжал отец таким тоном, будто решил мне сообщить последнюю волю. —Да, и не меняй все время машины, как всякие нувориши. «Шевроле» еще очень хороший... Когда запретили ввоз новых автомобилей, весь Стамбул стал похож на музей старых американских машин. Но это ерунда, потому что мы живем в Турции. Самые лучшие в мире автомеханики—у нас.

— Я же вырос в этом автомобиле, отец. Так что не беспокойся, —успокоил я его.

— Молодец, — ответил отец. Я чувствовал, что сейчас он перейдет к главному. — Сибель замечательная девушка, — продолжил он. Но, нет, речь пойдет не о Сибель. —Ты ведь знаешь, что такую, как она, найти непросто? Женщину, а особенно столь редкий цветок нельзя обижать. Ее нужно носить на руках. — Внезапно его лицо приобрело странное, смущенное выражение. И он заговорил нервно, будто что-то причиняло ему боль: — Помнишь ту красивую девушку?.. Помнишь, ты видел нас как-то раз вдвоем в Бешикташе? О чем ты подумал, когда ее увидел?

— Какую девушку, отец? Он раздраженно сказал:

— Сынок, ну, помнишь, десять лет назад ты видел меня в Бешикташе, в парке Барбаросс, с одной красивой девушкой.

— Нет, отец, не помню.

— Ну, как же ты не помнило.? Мы даже в глаза друг другу посмотрели. Рядом со мной была очень красивая девушка.

— А потом что произошло?

— Потом ты вежливо отвел глаза, чтобы не смущать отца. Вспомнил?

— Нет.

— Ну ты же нас видел!..

Я не помнил той случайной встречи, но доказать это отцу было трудно. После долгого и весьма неприятного мне спора мы оба пришли к заключению, что я их все-таки заметил, но решил забыть. Вероятно, я не обратил на них внимания, но они от неожиданности и волнения решили, будто я смотрю в упор. Так мы перешли к главному.

— Десять лет назад та красавица была моей любовницей, — расставил все по местам отец, сразу обозначив в одном предложении ответы на два главных вопроса, которые могли возникнуть у меня в связи с предметом разговора.

Он немного расстроился, что мне не довелось стать свидетелем такой красоты, о которой он, как я понял, мечтал рассказать уже давно, или, что я, может быть, просто забыл о ней, что еще хуже. Быстрым движением руки он достал из кармана маленькую черно-белую фотографию. На фотографии была изображена смуглая молодая женщина, очень грустная, — в Каракёе, на палубе парохода «Городских линий».

— Вот она, — гордо показал он. — Снято в тот год, когда мы познакомились. Жаль, что у нее здесь такой грустный вид, не очень заметно, какая она красивая. Теперь ты вспомнил?

Я молчал. Мне было неприятно, что отец доверил мне свою тайну, как бы

«давно» это ни происходило. Но я никак не мог понять, отчего именно раздражаюсь.

— Послушай, сынок. Ни в коем случае не говори никому то, что я тебе сейчас расскажу, — попросил он, пряча фотографию в карман. — Особенно твоему брату. Он у нас строгих нравов, не поймет. А ты жил в Америке, и здесь нет ничего такого, что могло бы задеть тебя. Договорились?

— Конечно, отец.

— Тогда слушай, — отец выдохнул и, мелкими глотками отхлебывая ракы, начал свой рассказ.

Он познакомился со своей возлюбленной семнадцать с половиной лет назад, снежным январским днем 1958 года. Ее простая, строгая и чистая красота вскружила ему голову. Девушка работала в «Сат-Сате», тогда еще недавно созданной отцом фирме. Сначала они просто дружили, были коллегами, но, несмотря на разницу в возрасте в двадцать семь лет, их отношения вскоре переросли в нечто более серьезное и глубокое. Через год после того, как они начали встречаться (я сразу сосчитал, что отцу тогда исполнилось сорок семь лет), девушка по его настоянию уволилась из «Сат-Сата». И опять же по его требованию не пошла никуда работать, а, мечтая, что они когда-нибудь поженятся, поселилась в Бешикташе, где отец купил ей квартиру.

— Она была замечательным человеком. Невероятно доброй, невероятно нежной, очень умной, — говорил отец. — Совершенно не такая, как другие женщины. Я несколько раз пытался расстаться с ней, но ни кого не любил столь сильно. Постоянно думал о том, чтобы жениться на ней, сынок... Но что тогда случилось бы с вашей мамой, с вами?

Он немного помолчал.

— Не пойми меня неправильно, сынок. Я не хочу сказать, что пожертвовал собой ради вашего счастья. На самом деле, она, конечно, хотела свадьбы больше, чем я. Ведь я много лет морочил ее обещаниями. Но не мыслил жизни без нее. Страдал, когда не мог видеть. Хуже, что о своих страданиях и рассказать-то никому не мог. А однажды она потребовала: «Решай!» Поставила ультиматум: или я бросаю жену и женюсь на ней, или мы расстаемся. Налей себе ракы, сынок.

— А что произошло потом? Помолчав опять, отец продолжал:

— Я не смог расстаться с вами, и она бросила меня. — Видно было, что ему больно говорить, но он взял себя в руки. Потом посмотрел на меня и по моему взгляду увидел, что может продолжать, и явно от этого успокоился. — Я очень, очень страдал. Твой брат женился, ты был в Америке. Я, конечно, пытался скрыть мучения от твоей матери. А когда прячешь свое горе, как вор, переживаешь его украдкой, еще тяжелей. Мать, естественно, чувствовала, что дело серьезно, и поэтому была тише воды. Мы жили с ней будто в гостинице, изображая семью. Боль моя не утихала, и я понимал, что, если так пойдет и дальше, сойду с ума, однако все равно никак не решался выбрать. Она тоже очень страдала в те дни. Как-то сказала мне, что один инженер сделал ей предложение и, если я ничего не предприму, она выйдет за него замуж. Тогда ее слова меня не тронули... Ведь я у нее первый. Думал, что ей не нужен никто другой, что она просто блефует. Но даже если у меня и закрадывались какие-то сомнения, все равно изменить ничего не хотел. Поэтому и старался просто не думать об этом. Помнишь, однажды летом всей семьей мы ездили на выставку в Измир, машину вел Четин. Вернувшись обратно, я узнал, что она вышла замуж, но не поверил. Подумал, специально распространила этот слух, чтобы сделать мне больно, чтобы заставить меня развестись. Она отказывалась от всех предложений встретиться, поговорить, не подходила к телефону. Продала квартиру, которую я ей купил, переехала куда-то в неизвестное мне место. Четыре года я не мог разузнать, действительно ли она вышла замуж, кто ее муж, есть ли у них дети, чем она занимается. Боялся, если узнаю, мне будет еще больней. Но оставаться в неведении

тоже было ужасно. Меня мучила мысль, что она живет где-то в Стамбуле, читает те же газеты, что и я, смотрит по телевизору те же программы... Жизнь показалась мне пустой. Только не пойми меня неправильно, сынок. Конечно, я гордился вами, вашей матерью. Радовался, что дела идут успешно. Просто, та боль была иной.

Так как отец рассказывал в прошедшем времени, я понимал, что история чем-то все же завершилась, но мне почему-то не нравилось, что он ведет рассказ таким образом.

— В конце концов в один прекрасный день я все же решился позвонить ее матери. Та, конечно, обо мне была наслышана, но по голосу не узнала. Я соврал, что звонит муж одноклассницы ее дочери. Надеялся, что, когда скажу: «Моя жена больна и просит вашу дочь прийти к ней в больницу», она позовет ее к телефону. А мать заплакала: «Моя дочь умерла». Оказывается, она умерла от рака! Я тут же повесил трубку, чтобы не зарыдать. Ведь даже предположить такого не мог. Не вышла она замуж ни за какого инженера... Какая ужасная штука жизнь! Как бессмысленно в ней все...

Увидев в глазах отца слезы, я вдруг почувствовал себя беспомощным. Я понимал его и злился на него одновременно, но, пытаясь осмыслить услышанное, почему-то подумал о первобытных людях, не ведавших принципов. Мне самому было больно.

— Ладно, — проговорил отец, стараясь успокоиться. — Я тебя позвал сегодня не для того, чтобы расстраивать. У тебя помолвка, ты скоро обзаведешься семьей. Мне захотелось, чтобы ты знал мою печальную историю и лучше понимал своего отца. Но я хотел сообщить тебе еще кое-что важное. Ты еще не понял, что именно?

— Что?

— Я сейчас очень жалею о том, — ответил отец, — что не успел сказать ей главного. Не твердил, какая она замечательная и как нужна мне. Я так жалею, что не произносил эти слова тысячи раз. У той девушки было золотое сердце, она была кроткой, умной и очень красивой... У нее совершенно отсуствовала привычка, свойственная всем нашим женщинам, — надменно хвалиться своей красотой, будто это их заслуга. Не было в ней ни кокетства, ни постоянного желания лести... Сейчас, когда прошло много лет, мне до сих пор больно не только от того, что я ее потерял, но и от того, что не обращался с ней так хорошо, как она заслуживала. Любимую женщину нужно ценить вовремя, сынок, пока не стало слишком поздно.

На последних словах, которые отец произнес почти торжественно, он вытащил из кармана старую, потертую бархатную коробочку. «Когда мы всей семьей ездили на выставку в Измир, я купил это ей на обратном пути, чтобы она не сердилась и простила меня. Но отдать их ей мне было не суждено». Отец открыл коробочку. «Я много лет прятал эти серьги. Ей бы они очень подошли. Я не хочу, чтобы мать их нашла после меня. Возьми их себе. Я долго думал. Знаешь, эти серьги очень пойдут Сибель».

— Отец, Сибель мне любовница, она скоро станет моей женой! — воскликнул я, но все же взглянул на коробочку, которую протягивал отец.

— Не говори ничего, — остановил меня отец. — Достаточно, что ты не станешь рассказывать Сибель историю этих сережек. Когда она будет их надевать, вспоминай меня. И то, что я тебе сегодня сказал. Цени свою красивую девушку. Многие мужчины плохо обращаются с любимыми, а потом локти кусают. Смотри, не повторяй их ошибки. И заруби мои слова себе на носу!

Он закрыл коробочку и величаво вложил мне ее в ладонь, словно османский султан, вручающий награду паше. Потом позвал официанта: «Сынок, принеси-ка нам еще ракы со льдом!» Повернулся ко мне: «Чудесный сегодня день, правда? И какой прекрасный здесь сад! Как пахнет липой и весной!»

Следующий час я провел за объяснениями, что за важная встреча, которую

невозможно отменить, мне предстоит и что будет большой ошибкой, если отец, как старший, позвонит в «Сат-Сат» и сам перенесет ее.

— Значит, вот чему ты научился в Америке, — укоризненно качал он головой. — Молодец!

Чтобы не обижать отца, я выпил еще стакан ракы. хотя все время смотрел на часы. В тот день мне особенно хотелось видеть Фюсун.

— Подожди, сынок! Давай еще немного посидим! — упрашивал отец. — Смотри, как душевно мы разговариваем! Ты скоро женишься, нас забудешь!

— Отец, я понимаю, что ты пережил, и никогда не забуду твоих советов, — сказал я вставая.

С возрастом, в минуты особых душевных потрясений. у отца начинали дрожать уголки рта. Он взял меня за руку и сжал ее изо всех сил. Я тоже крепко сжал ему руку. У него внезапно хлынули из глаз слезы, словно я нажал на губку, спрятанную у него глубоко внутри. Но он почти сразу овладел собой, крикнул официанту принести счет и на обратном пути всю дорогу дремал в машине.

В «Милосердии» я не колебался ни секунды. Когда Фюсун пришла, я рассказал ей, что мы обедали с отцом и поэтому от меня пахнет ракы. После долгого поцелуя, я вытащил коробочку из кармана.

— Открой.

Фюсун осторожно приподняла крышку.

— Это не мои сережки, — она не выказала даже любопытства. — Они с жемчугом, очень дорогие.

— Тебе нравится?

— А где моя сережка?

— Твоя сережка таинственным образом исчезла. Потом как-то утром — смотрю — стоит перед моей кроватью, да еще и подруг с собой привела! Я положил их всех в бархатную коробочку и принес хозяйке!

— Я не ребенок, — упрямо сказала Фюсун. — Это не мои сережки.

— Богом клянусь, уверен, что твои.

— Мне нужна только моя сережка.

— Это подарок... — вздохнул я.

— Я их даже надеть не смогу... Все будут спрашивать, откуда они у меня.

— Тогда не надевай. Но не отказывайся от моего подарка.

— Но ты подарил их мне вместо моей сережки! Если бы ты нашел ее, ты бы их не принес. Ты что, в самом деле потерял? Что ты сделал с ней?

— Однажды где-нибудь обязательно найдется.

— Однажды... — проворчала Фюсун. — Как ты просто об этом говоришь! Какой ты все-таки безответственный. Когда? Сколько мне еще ждать?

— Недолго, — пообещал я. —Тогда возьму твою сережку, наш велосипед и приду навестить твоих родителей.

— Жду, — смягчилась Фюсун. Потом мы поцеловались. — Фу, как противно у тебя пахнет изо рта!

Но я продолжал ее целовать, а когда мы занялись любовью, все ссоры и раздоры забылись. Сережки, которые отец купил для своей возлюбленной (он так и не назвал ее имени), я оставил в старом доме.

22 Рука Рахми-эфенди

По мере того как приближался день помолвки, меня отвлекало множество не терпящих отлагательства проблем, и времени не оставалось даже на размышления о любовных страданиях. Помню, как долго обсуждал с друзьями, которых знал с детства и семьи которых дружили с нашей, где найти шампанское и другие

«европейские» напитки для приема в «Хилтоне». Тем, кто побывает в моем музее много лет спустя, я должен пояснить, что в те годы импорт иностранных алкогольных напитков жестко и ревностно контролировался государством, и так как легально получить валюту для его ввоза было почти невозможно, то законным путем в страну попадало очень мало напитков. Однако в продовольственных магазинах и закусочных богатых кварталов, в лавках, где торговали привозным нелегальным товаром, в барах дорогих отелей и просто на улицах, в тысячах киосках лотерейных билетов шампанское, виски и контрабандные американские сигареты никогда не переводились. Главные сомелье отелей почти все прекрасно знали друг друга и всегда выручали в таких ситуациях, посылая запасные бутылки, чем спасли немало приемов. А после светские обозреватели писали в газетах, какие напитки на том или ином приеме были настоящими, а какие — местного, турецкого розлива. Одна такая статья могла испортить реноме хозяев, поэтому мне следовало проявить внимание.

Часто я уставал от суеты, но тогда мне звонила Си-бель, и мы ездили в Бебек, на склоны Арнавуткёя или в Этилер — районы, которые в те времена только начали развивать, чтобы посмотреть какой-нибудь строящийся дом с хорошим видом. Мне все больше нравилось представлять, как мы с Сибель будем жить в таком доме, пахнущем цементом и известкой, нравилось решать, где будет стоять кровать, а где разместится столовая и куда мы поставим большой диван из модного мебельного магазина Нишанташи, чтобы лучше видеть Босфор. По вечерам мы ходили в гости, и Сибель любила рассказывать о наших поездках знакомым, обсуждать, как строят сейчас новые дома, вид из их окон, делиться нашими планами на жизнь, я же, с непонятным мне самому смущением, пытался сменить тему разговора, выбирая ничего не значащие замечания о «Мель-теме», о футболе и о новых барах, открывшихся к лету. Тайное счастье с Фюсун сделало меня не очень разговорчивым, теперь на вечеринках мне все больше нравилось наблюдать за происходящим со стороны. Грусть тогда уже постепенно захватывала мою душу, но я только сейчас понимаю, что в те дни не ощущал ее так явно, как потом. Самое большее, что я замечал тогда, — нежелание поддерживать беседу.

— Ты в последние дни как-то задумчив и неразговорчив, — заметила Сибель, когда я ночью вез ее домой.

— В самом деле?

— Мы молчим уже полчаса.

— Знаешь, я на днях с отцом встречался... До сих пор не могу забыть. Словно он к смерти готовится.

В пятницу, 6 июня, за восемь дней по помолвки и за девять до вступительного экзамена Фюсун, мы с отцом, братом и Четином поехали куда-то в Чукурджуму — район между Бейоглу и Топхане, где находятся знаменитые Бани, — на поминки в дом пожилого рабочего родом из Малатьи, который всю жизнь проработал у отца, с тех самых пор как тот открыл свое дело. Я хорошо помню огромного добряка, ставшего частью отцовской фирмы с того дня, когда он поступил на работу мелким посыльным. На фабрике произошел несчастный случай и ему отрезало руку, поэтому он носил протез. После травмы отец перевел его в контору, и мы хорошо знали его. В первые годы его протез пугал нас с братом, но потом мы попривыкли и часто играли с ним, когда приходили к отцу, потому что Рахми-эфенди всегда был веселым и много шутил. Однажды мы с братом видели, как он, расстелив молитвенный коврик, отстегнул протез и совершает намаз в пустом кабинете.

Нас встретили два сына Рахми-эфенди, такие же веселые и улыбчивые, великаны. Оба поцеловали руку отцу. Усталая, худая и измотанная жена покойного, едва увидев нас, заплакала, вытирая слезы краешком платка. Отец с нежностью, на которою не был способен ни я, ни брат, утешил ее, обнял и расцеловал сыновей Рахми-эфенди и неожиданно быстро был принят всеми, точно родной. А мы с братом

томились от неловкости.

В таких ситуациях важны не слова, не поведение, не искренность или даже не степень сопереживания, а способность подстраиваться под окружающих. Старший сын покойного протянул нам пачку «Мальтепе», отец, брат и я взяли по сигарете, прикурили от спички, протянутой им, и все трое, по странному совпадению, одновременно закинув ногу на ногу, закурили с таким видом, будто заняты самым важным делом на свете. Иногда мне кажется, что причина популярности сигарет не в воздействии никотина, а в том, что, когда куришь, создается ощущение, что делаешь нечто крайне важное.

Видимо, от непривычного вкуса «Мальтепе» я вдруг почувствовал, что вот-вот поддамся заблуждению, — так мне в тот момент показалось, будто стою на пороге постижения какой-то важной тайны бытия. Счастье — главная проблема в жизни. Кто-то счастлив, а кто-то не может быть счастливым. Большинство людей, конечно, пребывает где-то посредине. В те дни я купался в море счастья и не хотел этого замечать. Сейчас, по прошествии лет, мне кажется, нет лучше способа его сохранить. Но тогда я не замечал счастье не потому, что хотел сберечь, а потому, что боялся утратить, к чему неизбежно шел, потому, что боялся потерять Фюсун. Неужели оттого я стал более молчалив и более восприимчив в те дни?

Глядя на предметы маленькой, бедной, но чисто убранной квартиры (на стене висело два самых модных в 1950-е годы предмета домашнего интерьера: барометр и фигурно выписанная басмала[7] в рамке), я в какой-то момент почувствовал, что сам готов заплакать вместе с женой Рахми-эфенди. На телевизоре лежала вязаная салфетка, а на салфетке стояла фарфоровая статуэтка собачки. У собачки был жалобный вид: казалось, она вот-вот тоже заплачет. Помню, от чего-то почувствовал себя лучше, глядя на эту фарфоровую собачку, а потом подумал о Фюсун.

23 Молчание

По мере того как приближался день помолвки, мы с Фюсун все меньше разговаривали, паузы с каждым днем все увеличивались, а наши ежедневные встречи, продолжавшиеся, самое меньшее, два часа, и любовные ласки, страсть которых с каждым днем возрастала, были отравлены этим молчанием.

Однажды Фюсун прервала его:

— Маме пришло приглашение на помолвку. Она очень обрадовалась, отец говорит, что мы обязательно должны пойти. Родители хотят, чтобы и я пошла. Слава богу, на следующий день у меня экзамен, так что не придется изображать болезнь.

— Это мать послала приглашение, — сказал я. — Лучше не приходи. Мне, по правде, тоже идти не хочется.

Я ждал, что Фюсун в ответ выкрикнет: «Ну и не ходи!» — но она промолчала. Чем ближе становилась помолвка, тем яростней мы отдавались друг другу, тем сильнее и привычнее сжимали друг друга руками, ногами, телами, будто мы давние любовники и много лет живем вместе. Иногда просто лежали, не обмолвившись и словом, и смотрели на тюлевые занавески, слегка покачивавшиеся от легкого ветра, проникавшего через открытую балконную дверь.

Мы встречались в «Доме милосердия» ежедневно, в условленный час. И ни разу не заговорили о нашем положении, о моей грядущей помолвке, о том, что с нами будет потом, — мы старались избегать всего, что напомнило бы об этом, и страстно занимались любовью. Невозможность говорить о том, что постепенно надвигалось на

---

[7] Басмала — изречение «Во имя Аллаха. Милостивого. Милосердного». Произносят перед началом любого богоугодного дела.

нас, приводила к молчанию. Снаружи доносились крики игравших в футбол мальчишек. В первые наши встречи нам было хорошо и весело, мы не задумывались о том, что будет, болтали обо всем на свете, смеялись и шутили, сплетничали о родственниках, об общих знакомых из Нишанташи. И вот теперь веселье быстро источалось. Предстоящая потеря навевала томящую грусть. Но та не отдаляла нас друг от друга, а, наоборот, странным образом сближала.

Я постоянно ловил себя на мысли, что мечтаю по-прежнему встречаться с Фюсун после помолвки. Мечта о рае (может быть, следовало сказать «иллюзия»?), где события сменяют друг друга своим чередом, постепенно превратилась в четкое и ясное намерение. Я убеждал себя, что Фюсун не бросит меня, ведь мы сильно и искренне привязаны друг к другу. Не могу сказать, что до конца сознавал свои мысли — скорее, нащупывал их в залежах подсознания. И не признавался в них даже себе самому. По словам же и поступкам Фюсун пытался догадаться, что думает она. Фюсун все это замечала, но ничего не говорила, и паузы становились длиннее. В то же время она смотрела на мое поведение и явно делала какие-то безнадежные выводы. Иногда мы оба подолгу пристально разглядывали друг друга, чтобы высмотреть важное для себя. Вот и сейчас о прежнем напоминают белые трусики, какие носила Фюсун, ее белые ребяческие носки и грязные белые спортивные тапочки, немые свидетели нашего молчания.

День помолвки, против всех чаяний, наступил внезапно. С утра я занимался тем, что решал проблему с виски и шампанским (один из поставщиков не хотел привозить бутылки, пока не получит все деньги). Потом отправился на Таксим, где выпил айран и съел гамбургер в кафе «Атлантик», существовавшем со времен моего детства, и сходил к парикмахеру, которого тоже знал еще ребенком. Болтливому Джевату. До конца 1960-х годов его мастерская располагалась в Ни-шанташи, затем он переехал в Бейоглу, где открыл парикмахерскую неподалеку от мечети Хусейн-Ага. Мы нашли себе в Нишанташи нового мастера, Басри, но если я бывал в Бейоглу, то иногда заходил к нему побриться, когда хотелось послушать его веселые шутки и посмеяться. Джеват обрадовался, узнав, что у меня помолвка, и побрил меня особенно тщательно, как полагается жениху, помазал мне щеки импортной пеной для бритья, а затем увлажняющим, без запаха, по его словам, кремом, и тщательно сбрил каждый волосок на моем лице. Пешком я дошел до Нишанташи, до «Дома милосердия».

Фюсун, по своему обыкновению, пришла вовремя. Несколько дней назад я как-то обмолвился, что в субботу нам не стоит встречаться, потому что у нее впереди экзамен; но Фюсун возразила, что после насыщенной подготовки накануне испытания ей хотелось бы отдохнуть. Под предлогом сдачи экзамена она и так уже два дня не ходила на работу.

Не успела она войти, как села за стол и закурила.

— От мыслей о тебе у меня теперь никакая математика в голову не лезет, — насмешливо сказала она. Потом расхохоталась, будто это что-то ненастоящее, будто это слова из кино, и вдруг густо покраснела.

Увидев, как она смущена и расстроена, я попытался перевести все в шутку. Мы оба делали вид, будто не вспоминаем о том, что у меня сегодня помолвка. Но ничего не получалось. Мы оба испытывали тяжкую, невыносимую боль. От нее не избавишься шутками, ее не облегчишь разговорами и не разделишь друг с другом. От нее можно было только сбежать, не размыкая объятий. Но грусть охладила и отравила наш любовный пыл. Фюсун лежала на кровати как безнадежный больной, который прислушивается к собственному телу, и, казалось, рассматривала облака печали, сгустившиеся у нее над головой, а я был рядом и смотрел вместе с ней в потолок. Мальчишки-футболисты сегодня не ругались и не кричали, мы слышали только удары мяча о землю. Затем замолчали даже птицы, и наступила полная

тишина. Откуда-то издалека донесся гудок парохода, ему ответил еще один.

Потом мы выпили виски из одного стакана. Он когда-то принадлежал Этхему Кемалю — моему дедушке и второму мужу ее прабабки. Потом начали целоваться. Мы с Фюсун пытались, как всегда, отвлечься разбросанными повсюду безделушками, старыми мамиными платьями и шляпками. И покрывали тела поцелуями. Ведь теперь мы оба хорошо умели это делать. Губы Фюсун таяли, захваченные мною. Наши рты составляли огромный грот, наполненный теплой и сладкой, как мед, жидкостью, которая иногда стекала из краешков губ к подбородкам, а у нас перед глазами оживала волшебная страна, какая бывает только в сказках или снах и какую видят лишь те, кто чист сердцем. Мы всматривались в этот яркий, разноцветный, напоминающий стеклышки калейдоскопа, мир, ища далекий и призрачный рай. Иногда один из нас, подобно волшебной птице, которая осторожно берет в клюв сладкий инжир, закусывал нижнюю или верхнюю губу второго и, зажав ее зубами, будто говорил: «Теперь ты у меня в плену!» — а другой, терпеливо наслаждаясь приключениями своей губы, переживал остро-сладкое блаженство сдаться на милость любимого и впервые сознавал, какое это счастье — отдаться ему всем телом, целиком, и что именно здесь, между нежностью и покорностью, и спрятано самое тайное и глубокое место любви. И тогда плененный делал со вторым то же самое, и именно в эту минуту наши трепещущие языки стремительно находили друг друга, чтобы напомнить о сладкой стороне любви, что связана с нежностью и прикосновениями.

После мы ненадолго заснули. Сладкий, пахнущий липой ветерок, дувший из открытой балконной двери, приподнял на мгновение тюлевую занавеску и бросил нам ее на лица, укрыв шелковым покрывалом, от чего мы вздрогнули и проснулись.

— Мне снилось, что я иду по огромному полю подсолнухов, — пробормотала Фюсун. — Они так странно покачивались на ветру. Почему-то было страшно, хотелось кричать, но я не смогла.

— Не бойся. — успокаивал я. — Я здесь.

Не хочу рассказывать, как мы встали с кровати, как оделись и подошли к двери. Я сказал ей, чтобы она была на экзамене повнимательней, чтобы не забыла регистрационную карту, что все пройдет хорошо, а потом добавил, стараясь произносить будто само собой разумеющееся фразу, которую повторял про себя за эти дни тысячи раз:

— Завтра встретимся здесь в это же время, хорошо?

— Хорошо! — кивнула Фюсун, отводя глаза.

Я с любовью проводил ее и сразу понял, что помолвка состоится.

24 Помолвка

Открытки с изображением стамбульского отеля «Хилтон» я добыл через двадцать с лишним лет после событий, о которых веду рассказ. Мне пришлось, прежде чем создать Музей Невинности, познакомиться с главными коллекционерами Стамбула и обследовать многие блошиные рынки. Знаменитый собиратель Хаста Халит-бей после долгих препирательств позволил прикоснуться к одной из этих открыток, и знакомый фасад отеля, отстроенный в современном, международном стиле, сразу же восстановил в памяти не только вечер помолвки, но и события моего детства.

Когда мне было десять лет, родители ходили на торжественный прием по случаю открытия отеля с участием совершенно забытой ныне американской кинозвезды Терри Мур. В последующие годы все быстро привыкли к новому зданию, хотя оно было чуждым старому и усталому силуэту Стамбула, и начали заскакивать в отель по любому поводу. Представители европейских компаний, закупавших товары

отца, останавливались в «Хилтоне» ради того, чтобы посмотреть восточные танцы. Мы всей семьей ездили туда на выходных ужинать, чтобы отведать чудного блюда под названием «гамбургер», тогда еще не подававшегося ни в одной турецкой закусочной, а нас с братом очаровывала ярко-красная, отделанная золотой лентой, униформа усача-швейцара, с блестящими пуговицами на эполетах. В те годы большинство западных новинок появлялось прежде всего в «Хилтоне», и все главные газеты держали в отеле специальных корреспондентов. Кроме того, с открытия «Хилтон» превратился в островок смелых новшеств. Респектабельным господам и смелым дамам номера в нем предоставляли, не спрашивая свидетельство о браке. Если на каком-нибудь любимом мамином костюме появлялось пятно, она отсылала его в химчистку «Хилтона». В вестибюле же гостиницы была кондитерская, где она любила пить чай с подругами. Многие мои родственники и друзья праздновали свадьбы в большом бальном зале отеля на первом этаже. Когда стало понятно, что полуразвалившийся летний особняк моей будущей тещи в азиатской части Стамбула для помолвки не очень подходит, мы вместе выбрали «Хилтон».

Четин-эфенеди рано высадил нас (маму, отца и меня) перед огромной вращающейся дверью, козырек над которой напоминал ковер-самолет.

— У нас еще полчаса,—сказал отец, входя в отель. — Пойдемте посидим, выпьем что-нибудь.

Мы сели в углу, за большим цикламеном в кадке, откуда отлично просматривался вестибюль, и заказали у пожилого официанта, знавшего отца и осведомившегося о его здоровье, по стаканчику ракы, а матери — чай. Нас закрывали широкие листья цветка, и поэтому проходившие мимо нас знакомые и родственники не могли нас увидеть.

— Ой, смотрите, как дочка Резана выросла, какая милая стала, — восклицала мама. — Мини-юбку надо запретить носить тем, у кого ноги для такой длины не годятся, — неодобрительно оглядывала она другую гостью. — Семейство Памуков мы не собирались сажать в углу, просто так получилось, — отвечала она на какой-то вопрос отца, а потом указывала на других гостей: — В кого превратилась Фазыла-ханым! Как жаль! Ее бесподобная красота исчезла, и ничего-то не осталось... Сидели бы дома, чтобы никто не видел бедняжку в таком виде... А эти, в платках, кажется, родственницы матери Сибель... Хиджаби-бея для меня теперь не существует. Бросил свою умницу жену, детей, женился на заурядной девице... Нет, ты посмотри, парикмахер Не-взат, мне назло, конечно же, сделал Зюмрют такую же прическу! А эти муж с женой кто? Ну надо же! У них и лицо, и носы, и походка, и даже одежда как у лисиц... У тебя есть деньги, сынок?

— Почему ты спрашиваешь? — удивился отец.

— Он домой в последний момент прибежал, быстро переоделся, будто не на помолвку, а в клуб идет. Ты взял с собой деньги, Кемаль, сынок?

— Взял.

— Вот и хорошо. Смотри, не сутулься, все же на вас смотреть будут... Ну что, пора вставать.

Отец сделал знак официанту, заказав еще стакан ракы, сначала себе, затем, внимательно посмотрев на меня, и мне, опять на пальцах показав количество.

— Ты вроде уже перестал грустить, — заметила мать. — Что опять стряслось?

— Я что, не могу на помолвке собственного сына пить и веселиться? — возмутился отец.

— Ах, какая она у нас красавица! — воскликнула мать, завидев Сибель. — Какое платье прекрасное, и жемчуг подошел. Правда, она такая красивая, что ей все подойдет... И это платье! Как она изящно в нем смотрится, правда, сынок? Ну такая милая! Кемаль, тебе очень-очень повезло!

Сибель обнялась с двумя красивыми подругами, которые недавно прошли перед нами. Девушки осторожно держали тонкие сигареты, аккуратно поцеловались, не касаясь друг друга губами, накрашенными ярко-красной помадой, чтобы не задеть и не испортить друг другу макияж и прическу. Разглядывая наряды, они весело демонстрировали ожерелья и браслеты.

— Каждый разумный человек знает, что жизнь прекрасна и что главная цель — быть счастливым, — задумчиво произнес отец, глядя на них. — Но счастливыми, в конце концов, становятся только дураки. Как это объяснить?

— Сегодня у твоего сына один из самых счастливых дней в жизни. К чему ты все это говоришь, Мюмтаз? — рассердилась мать. Потом повернулась ко мне: — Давай, сынок, иди к Сибель! Чего ты сидишь? Не отходи от нее, веселитесь, будьте счастливы!

Я отставил стакан, сделал шаг, выбравшись из листьев цветка, и направился к девушкам; на лице у Сибель засияла счастливая улыбка. «Где ты задержалась?» — спросил я, целуя невесту.

Сибель представила меня подругам, а после этого мы с ней следили за вращающейся дверью.

— Ты сегодня очень красивая, дорогая моя, — прошептал я ей на ухо. — Самая красивая!

— Ты тоже сегодня очень красивый. Может, не будем здесь стоять?

Мы остались у входа. Не потому, что я не хотел уходить, а потому, что Сибель нравилось ловить на себе восхищенные взгляды знакомых и незнакомых гостей и богатых туристов, входивших в гостиницу.

Сейчас, когда прошло так много лет, я понимаю, что в годы нашей молодости круг состоятельных и европеизированных людей Стамбула был весьма узким. Все друг друга знали, все сплетничали друг о друге. Вон идет семья оливкового и мыльного фабриканта Халиса из Айвалыка, мама с ними дружила, когда водила нас с братом, совсем маленьких, в парк Мачка играть в песочнице. Вон их невестка с невероятно длинным, как у всего семейства, подбородком (тут виновато смешение линий внутри рода!) и их сыновья, у которых подбородки еще длиннее... Вот и Кова Кадри с дочерьми — отец служил с ним в армии, а мы с братом ходим с ним на футбол. Он бывший вратарь, теперь импортер автомобилей. На дочерях сверкают и переливаются серьги, браслеты, ожерелья, кольца... Следом прошли толстошеий сын бывшего президента Республики и его стройная супруга. Он как-то попал в темную историю, когда занялся торговлей. Доктор Барбут в свое время вырезал миндалины всему высшему свету Стамбула и мне в том числе, так как двадцать лет назад эта операция считалась очень модной. Тогда один вид его сумки и светло-коричневое пальто доктора приводили в ужас и меня, и сотни других стамбульских ребятишек...

— У Сибелъ с миндалинами все в порядке, — улыбнулся я нежно обнявшему меня врачу.

— Теперь у медицины другие методы, чтобы пугать девушек и наставлять их на путь истинный, — хохотнул доктор, отвечая шуткой, которую часто повторял всем.

За ним появился красавец Харун-бей — директор турецкого представительства компании «Сименс». Мать не любила этого сдержанного и волевого на вид человека за то, что он женился в третий раз на дочери своей второй жены (то есть на своей падчерице), не обращая никакого внимания на возмущение и негодование общества. Своим уверенным, хладнокровным видом и приятной улыбкой он за короткое время заставил всех примириться с его решением. С Альптекином, старшим сыном Джунейт-бея, имя которого отец произносил, исполнившись праведного гнева, хотя и дорожил его дружбой, поскольку тот разбогател в мгновение ока (он приобрел за бесценок фабрики и дома евреев и греков, отправленных во время Второй мировой войны в трудовые лагеря в связи с неуплатой специально введенных в Турции для

национальных меньшинств крайне высоких налогов, и перешел от ростовщичества к фабричному производству), и его супругой Фейзан я учился в одном классе в начальной школе, а Сибель — с их младшей дочерью Асеной. Мы оба обрадовались, что впервые узнали об этом именно в такой день, и даже решили вместе встретиться в ближайшее время.

— Пойдем наконец в зал, — предложил я.

— Ты очень красивый, но не сутулься. — повторила, сама того не зная, мамины слова Сибель.

Повар Бекри-эфенди, Фатьма-ханым, привратник Саим-эфенди с женой и детьми, все празднично одетые, смущаясь, неловко, по очереди подошли к нам и поздоровались с Сибель за руку. Фатьма-ханым и супруга привратника, Маджиде, надели подаренные матерью парижские шелковые платки, по-своему повязав их на голову. Их прыщавые отпрыски в пиджаках и галстуках исподтишка, но с восхищением разглядывали Сибель. Потом нас поприветствовали приятель отца, масон Фасих Фахир, с женой Зарифе. Отец очень любил его, но ему не нравилось, что тот член ложи. Дома отец ругал масонов на чем свет стоит, говорил, что в деловом мире у них существует своя тайная организация, в которой все только своим и по знакомству, с возмущением внимательно читал издаваемые антисемитскими организациями списки масонов в Турции, хотя перед приходом Фасиха все это прятал.

Сразу вслед за ним вошла единственная в Стамбуле (и. наверное, во всем исламском мире!) сводница, которую знал весь высший свет, — Красотка Шермин, с одной из своих девиц, и направилась в кондитерскую. Завидев ее лицо, я сначала было решил, что она тоже приглашена.

Следом в странных очках показался Крыса Фарук. Его мать — подруга моей матери, и мы с ним в далеком детстве даже одно время дружили и поздравляли друг друга с днем рождения. Потом вошли сыновья табачного магната Маруфа. С ними мы тоже знакомы с детства, так как наши няньки дружили, Сибель же хорошо знала их по Большому клубу на острове Бюйюкада[8], где собирался весь цвет Стамбула.

Бывший министр иностранных дел, которому предстояло надеть нам кольца, пожилой и полный Мелик-хан-бей, важно вплыл в вестибюль под руку с моим будущим тестем, обнял и расцеловал Сибель. Меня он смерил взглядом.

— Слава богу, симпатичный, — произнес он, обращаясь к моей невесте. — Очень рад знакомству, молодой человек, — пожал Меликхан-бей мне руку.

К нам подошли, смеясь, подруги Сибель. Бывший министр величаво, как бывалый дамский угодник, похвалил девушек за прекрасный вид, крепко расцеловал каждую в щеки и удалился в зал, весьма довольный собой.

— Терпеть не могу этого негодяя, — проворчал отец, спускаясь по лестнице.

— Перестань, ради бога! — рассердилась мама. — Смотри лучше под ноги.

— Смотрю! Не слепой, хвала Аллаху, — отозвался отец.

Из огромных окон бального зала открывался прекрасный вид на дворец Долмабахче и далее — на Босфор, Ускюдар и Девичью башню. В зале уже собралась толпа гостей. Отец заметно оживился, и мы с ним, за руку, пошли здороваться, обнимать и подолгу расспрашивать о делах по очереди каждого присутствующего, обходя официантов с подносами, предлагавших гостям разноцветные канапе.

— Мюмтаз-бей! Ваш сын — копия вы в молодости! Я будто вас молодым увидела.

— Я все еще молод, сударыня! — На этих словах отец повернулся ко мне и

---

[8] Принцевы острова, в число которых входит, помимо Бюйюкада, Хеибелиада, Седефада и прочие, являются излюбленным местом отдыха стамбульцев.

прошептал: — Не держи меня так крепко под руку, будто я сам идти не могу.

Я незаметно удалился в сад, полный красивых женщин, он сверкал и переливался. Многие дамы надели туфли на высоком каблуке с открытым носом, и поэтому у них на ногах виднелись тщательно и явно с удовольствием выкрашенные в пожарный красный цвет ногти. На некоторых были длинные платья с открытым верхом, представлявшие на всеобщее обозрение плечи и верх груди, что еще более подчеркивало их желание спрятать ноги. Молодые женщины держали в руках маленькие блестящие сумочки с металлическим замочком. Такая же сумочка была у Сибель.

Сибель скоро подошла ко мне, взяла меня за руку и начала представлять своим родственникам, друзьям детства или по школе и близким подругам, которых я видел впервые.

— Кемаль, я тебя сейчас познакомлю со своим давним другом, который тебе очень понравится, — представляла она всякий раз того или иного человека, и, когда, несмотря на всю искреннюю радость и воодушевление, официальным тоном произносила его имя, на лице у нее появлялось счастливое волнение. Счастлива она была от того, что жизнь ее шла именно так, какой она хотела и планировала ее видеть. Подобно тому как безупречно нашли свое место на ее платье каждая жемчужинка, каждый бантик, как безупречно каждая его складка повторила после многодневных усилий каждый изгиб ее тела, так и тот вечер, задуманный и до мелочей спланированный ею много месяцев назад, оказался именно таким, каким он ей представлялся, что свидетельствовало —счастливая жизнь, которую она для себя предусмотрела, осуществится во всех подробностях. Поэтому Сибель встречала каждую минуту этого вечера, каждое новое лицо, каждого, кто подходил обнять и приветствовать ее, так, будто это—причина нового счастья. Иногда она с покровительственным видом, осторожно, словно пинцетом, снимала ногтями у меня с плеч какой-нибудь призрачный волосок или пылинку.

Когда я отвлекался от людей, с которыми мы обнимались, пожимали руки и обменивались любезностями, и оглядывался вокруг, то замечал, что гости, между которых продолжали ходить официанты с канапе на подносах, давно расслабились, алкоголь постепенно действовал на всех, голоса и смех постепенно становились громче. Все женщины были слишком ярко накрашены и разнаряжены в пух и прах. Поскольку большинство надели узкие и довольно легкие платья с сильно открытым верхом, почему-то казалось, будто все они мерзнут. Мужчины в светлых двойках и при галстуках, которые для Турции казались ярковаты, зато считались модными, будучи отголоском разноцветных, с крупным орнаментом галстуков в стиле «хиппи», появившихся в Европе три-четыре года назад, напоминали мальчишек, одетых ради праздника в неудобный, тесный и наглухо застегнутый родителями костюм. Было видно, что многие богатые турки среднего возраста либо не слышали, либо не придали тому значения, что мировая мода на бакенбарды, высокие каблуки и длинные волосы прошла несколько лет назад. От этих бакенбардов, слишком длинных и слишком широких, которые добавляли густые черные усы и длинные волосы, лица мужчин, особенно молодых, казались невероятно мрачными. К тому же они постарались вылить изрядно брильянтина. В какой-то момент его аромат, смешанный с тяжелыми испарениями духов, едкий сигарный дым, запах жареного масла, долетавший до нас с кухни, разбавил легкий летний ветер, и мне вспомнились званые ужины, которые в детстве устраивали дома родители, а спокойная, тихая музыка, какая обычно играет в лифтах (оркестр «Серебряные листья» репетировал перед основной программой), шептала мне, что я счастлив.

Наконец гостям надоело стоять, пожилые явно устали. Те, кто проголодался, начали рассаживаться за столы, не без помощи своих детей, носившихся по залу. «Папа, я нашел наш стол!» — «Где? Не бегай, упадешь!» Бывший министр

иностранных дел, недаром, что заправский дипломат, взял меня под руку, отвел в сторонку и начал долго рассказывать, как изящна, высоко образована Сибель, благородную семью которой он знает с давних пор, примешивая к похвалам ностальгические воспоминания.

— Таких старинных аристократических семейств уже почти не осталось, Кемаль-бей, — вкрадчиво толковал он. — Вы из делового мира и знаете лучше меня: все места заняты разными нуворишами—без культуры, без образования, — деревенщинами с замотанными в платки женами и дочерьми. На днях видел человека в Бейоглу. Идет как араб, а сзади него две жены в черных хиджабах. Вот он вывел их в Бейоглу покормить мороженым. .. Ну-ка скажи мне, всерьез ли ты решил жениться на этой девушке и быть с ней счастливым до конца дней?

— Всерьез, сударь.

Бывшего министра несколько разочаровало, что я не украсил ответ изящной шуткой, что не укрылось от меня.

— Помолвка означает, что имя этой девушки навсегда будет связано с твоим. Помолвку расторгать нельзя. Ты хорошо подумал?

Вокруг нас начали собираться гости.

— Хорошо.

— Тогда предлагаю обручить вас прямо сейчас, и приступим к еде.

Я чувствовал, что не нравлюсь ему, но это совершенно не огорчало меня. Собравшимся вокруг гостям министр привел один эпизод, связанный с его службой в армии, из которого следовало, что и Турция, и он сам сорок лет назад были очень бедны, однако потом многого добились. После этого он трогательно поведал о том, как в это же время сорок лет назад у него состоялась скромная и тихая помолвка с его покойной женой. Затем вознес всяческие похвалы Сибель и ее семье. В его словах не было юмора, но почему-то все, включая смотревших издалека официантов с подносами, слушали его с улыбкой, будто он рассказывал что-то очень смешное. Кольца, которые сейчас лежат в моем музее, принесла на серебряном подносе десятилетняя девочка Хюлья с зубами как у зайца, восхищавшаяся Сибель, которая ее очень любила. Воцарилась тишина. Мы с Сибель—от волнения, а министр—от смущения, перепутали руки, на которые следовало надеть кольца, и не могли придумать, как выпутаться из этого неловкого положения. Кто-то из гостей, уже готовый рассмеяться, закричал: «Не тот палец, другая рука!» Потом наконец весело загомонила вся толпа, будто мы стояли среди студентов, и кольца попали туда, куда и нужно. Министр разрезал связывавшую их ленточку, и мгновенно раздался гром аплодисментов, напомнивший мне шум крыльев взлетающей голубиной стаи. Хотя я именно так себе все и представлял, мне вдруг стало невероятно хорошо от того, что все люди, которых я знал, сейчас стояли вокруг, счастливо смотрели на нас и хлопали. И вдруг сердце мое заколотилось.

Позади толпы я увидел Фюсун с родителями. Меня охватила огромная радость. Целуя Сибель в щеки, обнимая мать, отца и брата, сразу подошедших поздравить нас, я уже знал причину своего восторга, хотя и надеялся не только скрыть ее от собравшихся, но провести самого себя. Наш стол располагался у танцевальной площадки. Прежде чем сесть, я посмотрел, что Фюсун уже заняла с родителями места за самым дальним столом, рядом с тем, где сидели сотрудники «Сат-Сата».

— Вы оба так счастливы, — заметила Беррин, жена моего брата.

— Мы очень устали... — вздохнула Сибель. — Если помолвка так утомительна, что на свадьбе будет?

— Вы ничего не заметите, потому что тоже и в тот день будете счастливы, — улыбнулась Беррин.

— Что такое, по-твоему, счастье, Беррин? — я схватился за соломинку.

— О-о-о, какие ты вопросы задаешь! — опять улыбнулась Беррин и на

мгновение сделала вид, будто размышляет над ответом, но тут же смущенно рассмеялась, так как шутки в подобный торжественный момент ей казались неуместными.

Среди гула оживленных голосов приступивших к еде гостей, звона вилок с ножами и музыки оркестра мы оба одновременно услышали, как мой брат что-то громко рассказывает соседу.

— Семья, дети, люди вокруг тебя, — проговорила Беррин. —Даже если ты не счастлив, даже самый плохой день, — тут она указала глазами на брата, — проживаешь так, будто счастлив. В кругу семьи исчезают все невзгоды. Сразу обзаводитесь детьми. Пусть их будет много, как в деревне.

— Это еще что такое? — вмешался брат. — О чем это вы тут сплетничаете?

— Я говорю им, чтоб детей поскорее заводили, — сказала Беррин. — Сколько им нарожать?

Никто на меня не смотрел, и я украдкой выпил залпом полстакана ракы.

Беррин наклонилась к моему уху:

— Кто тот человек и симпатичная девушка в конце стола?

— Лучшая подруга Сибель из Франции. Нурджи-хан. Сибель специально посадила ее рядом с моим другом Мехмедом. Хочет их познакомить.

— Пока без особых успехов! — заметила Беррин.

Я сказал, что Сибель очень любит Нурджихан и отчасти восхищается ею. Когда обе вместе учились в Париже, Нурджихан постоянно крутила романы с французами, жила с этими мужчинами, скрывая все от своей состоятельной семьи в Стамбуле (недавние истории Сибель обычно пересказывала с отвращением). Но ни один из романов ничем не закончился, и, ужасно расстроенная, Нурджихан под влиянием Сибель решила вернуться в Стамбул. «Но чтобы жить здесь ей, конечно, нужно познакомиться и полюбить кого-то из нашего круга, кто оценить ее саму, ее французское образование и кому будет не важно, что в прошлом у нее кто-то был», — добавил я.

— Ну, там, кажется, до такой любви еще далеко, — со смехом прошептала Беррин, указав головой на Нурджихан и Мехмеда. — А его семья чем занимается?

— Богачи. Отец — известный строительный подрядчик.

Левая бровь Беррин с сомнением поползла вверх, но я подтвердил, что Мехмед — мой давний проверенный друг по Роберт-колледжу, порядочный человек, и что, хотя его семья весьма набожна и традиционна, родные много лет не решаются женить его с помощью свахи; а его мать, которая носит платок, против того, чтобы он завел себе пассию, пусть даже та будет из образованной, состоятельной стамбульской семьи; сам же он хочет познакомиться и подружиться с какой-нибудь порядочной девушкой, наконец, выбрать себе невесту. «Но пока у него не получилось ничего хорошего ни с одной из девушек, с которыми он знакомился».

— Конечно, не получится, — протянула Беррин многозначительно.

— Почему это?

— Ты только посмотри на него... — ответила она. — За провинциалов из анатолийской глубинки... девушка выйдет только через сваху. Потому что таких боятся. Он долго будет ходить вокруг да около, а если вдруг решится на что-то, не исключено, станет считать ее проституткой.

— Ну, Мехмед не такой.

— Однако его внешность, да и окружение, его семья свидетельствуют именно об этом. Разумная девушка обычно не верит словам мужчины, она смотрит на его круг—друзей, семью, на его привычки, образ жизни. Разве нет?

— Ты права, — сдался я. — Разумные девушки, не буду сейчас их называть, которые боятся Мехмеда и не хотят дружить с ним, несмотря на его серьезные намерения, чувствуют себя гораздо спокойнее с мужчинами другого сорта и могут

зайти довольно далеко, даже если не уверены в их серьезных намерениях.

— Ну вот, разве я тебе не говорила! — гордо произнесла Беррин. —А сколько мужчин в этой стране через много лет попрекает, унижает жену за то, что она отдалась до свадьбы! Я тебе еще вот что скажу: твой друг Мехмед на самом деле еще не влюбился ни в одну из девушек, с которыми хотел встречаться. Когда мужчина влюблен, это сразу чувствуется, и женщина сразу поведет себя по-другому. Конечно, я не говорю, что она немедля готова на все, но может сблизиться с ним настолько, чтобы выйти за него замуж.

— Мехмед и не мог влюбиться, потому что ни одна из девушек не доверяла ему, они все обычно боялись его. Вот и поди разберись, что раньше—яйцо или курица.

— Это неверно, — не соглашалась Беррин. — Чтобы влюбиться, постель и физиология не нужна. Любовь — это как у Лейлы и Меджнуна.

В ответ я лишь вздохнул.

— Что там у вас такое, расскажите-ка и нам, — обратился с другого конца стола брат. — Кто с кем в постели?

Беррин укоризненно посмотрела на мужа — рядом были дети, и прошептала мне на ухо: «Вот поэтому главное, что от тебя требуется, это понять, почему скромный, как ягненочек, Мехмед до сих пор ни в кого не влюбился, ни в одну из своих девушек, относительно которых у него были серьезные намерения».

Я чуть было не признался Беррин, которую глубоко уважал за ум, что Мехмед — неисправимый завсегдатай домов свиданий. С одной стороны, он регулярно посещал обитательниц приватных домов в Сырасельвилер, Джихангире, Бебеке и Нишанташи. С другой, пытался создать серьезные отношения с порядочными двадцатилетними девочками, с которыми знакомился в приличных местах, например на работе, но с ними у него ничего не получалось. Почти каждую ночь Мехмед проводил в страстных объятиях фальшивых кинозвезд. Иногда, напившись, он пробалтывался, что ему давно не хватает денег на девиц или что от усталости он не может собраться. Однако, когда мы с друзьями поздно ночью выходили откуда-нибудь из гостей, вместо того чтобы отправиться на покой домой, к своему отцу с четками и обмотанными платками матери и сестре, вместе с которыми он исправно постился во время Рамадана, Мехмед прощался с нами и шел ночевать в какой-нибудь дом свиданий, в Джихангир или Бебек.

— Ты слишком много пьешь сегодня, — заметила Беррин. — Не надо. Столько народу, все на вас смотрят...

— Хорошо, — с улыбкой согласился я и поднял стакан.

— Погляди-ка, Осман чем-то озабочен, — сказала Беррин, — а ты совсем расслабился... Как вы, два брата, можете быть такими разными?

— Вовсе мы не разные, — обиделся я. — Мы очень похожи. Я теперь стану гораздо ответственней и серьезнее Османа.

— Признаться, не люблю я серьезных, — улыбнулась Беррин. — Ты меня совсем не слушаешь, — донеслось до меня через некоторое время.

— Что? Слушаю, еще как слушаю...

— Ну, о чем я только что говорила?

— Ты сказала, что любовь должна быть как в сказках. Как у Лейлы и Меджнуна, — это я запомнил.

— Нет, не слушаешь, — засмеялась Беррин. Но на ее лице промелькнуло беспокойство за меня. Она повернулась к Сйбель, чтобы понять, заметила ли та, в каком я состоянии. Но Сибель оживленно рассказывала о чем-то Мехмеду и Нурджихан.

Все это время я пытался не признаваться себе, что часть моего сознания была занята Фюсун. Разговаривая с Беррин, я спиной чувствовал, что она сидит где-то там, позади. И всю помолвку думал только о ней... Но довольно! И так видно: ничего у

меня не получилось.

Под каким-то предлогом я встал из-за стола. Мне хотелось посмотреть на Фюсун. Я обернулся, но ее не увидел. Было очень много людей, все они разговаривали, пытаясь перекричать друг друга. Шума добавляли еще и бегавшие меж столами дети. На это накладывались звуки музыки, звон вилок, ножей и тарелок, и все сливалось в общий плотный гул. А я пробирался сквозь толпу, туда, в конец зала, где была Фюсун.

— Кемаль, дорогой, поздравляю! — крикнул чей-то голос. — Когда танец живота?

Голос принадлежал Задавале Селиму, сидевшему за одним столом с семейством Заима, и я улыбнулся в ответ, будто меня рассмешила его шутка.

— Прекрасный выбор, Кемаль-бей, — похвалила меня какая-то добродушная с виду тетушка. — Вы меня, наверное, не помните. Я довожусь вашей матушке...

Не успела она договорить, кем она доводится моей матушке, как прошел официант с подносом и слегка задел меня. Когда я опять посмотрел на тетушку, она была уже далеко.

— Дай посмотреть кольцо! — Какой-то мальчишка вцепился мне в руку.

— Перестань сейчас же, как не стыдно! — резко одернула его дородная мать. Она замахнулась, будто собираясь его ударить, но мальчишке явно было не впервой, и, хитро хихикнув, он моментально увернулся. — Иди сюда, сядь! — прикрикнула она на него. — Извините, Кемаль-бей... Поздравляем!

Совершенно незнакомая мне женщина средних лет хохотала до упаду, лицо ее от смеха раскраснелось, однако, перехватив мой взгляд, она посерьезнела. Ее муж познакомил нас: оказалось, это родственница Сибель, живущая в Амасье. Не буду ли я так любезен посидеть с ними? Надеясь, Что увижу Фюсун, я пристально всматривался вдаль, ее не было видно, будто сквозь землю Провалилась. Мне стало больно. Незнакомая мне прежде горечь растекалась по моему телу.

— Вы кого-то ищете?

— Меня ждет невеста, но я все-таки выпью с вами рюмочку...

Они обрадовались, сразу сдвинули стулья, чтобы я сел. Нет, тарелку мне не нужно, еще немного ракы.

— Кемаль, дорогой, ты знаком с генералом Эрче-тином?

— Ага, — буркнул я. На самом деле никакого генерала не знал.

— Я муж двоюродной сестры отца Сибель, молодой человек! — скромно представился этот генерал. — Мои поздравления!

— Простите меня! Вы в штатском, и я вас сразу не узнал. Сибель часто вас вспоминает.

Сибель как-то рассказывала, что много лет назад ее кузина познакомилась летом на Хейбелиада с неким морским офицером и влюбилась в него; я слушал тогда невнимательно, решив, что адмирал, само собой, звание высокое, к такому человеку всегда с почтением отнесутся в любой состоятельной семье, так как он необходим для связей с чиновниками либо для получения отсрочек от армии и других поблажек, но что это всего-навсего военный и не более того. А сейчас мне почему-то захотелось понравиться ему, проявить уважение, например, заявить: «Генерал, когда военные наведут порядок в стране? Реакционеры с коммунистами ведут нас к гибели!» — и, хотя я был очень пьян, бестактности себе не позволил. Пытаясь выглядеть трезвым, я, точно во сне, поднялся из-за их стола и вдруг вдалеке заметил Фюсун.

— Вынужден вас покинуть, господа! — обратился я к удивленно смотревшим на меня гостям.

Всегда, когда выпью лишнего, мне начинает казаться, будто я не иду, а парю над землей, как привидение. Я направился в сторону Фюсун.

Она сидела с родителями за дальним столом. На ней было оранжевое платье

на бретельках, обнажавшее крепкие, здоровые плечи; ради торжественного случая Фюсун сделала прическу. Невероятно красивая! Я был счастлив и взволнован уже потому, что мог полюбоваться ею, пусть и издалека.

Она делала вид, что не замечает меня. Нас разделяло семь столов, и за четвертым по счету расположилось беспокойное семейство Памуков. Я пошел в ту сторону и немного поболтал с братьями Айдыном и Гюн-дюзом, у которых некогда имелись общие дела с отцом. Вдруг мой взгляд поймал, как молодой наглец Кенан, сидевший за соседним столом, не сводит с Фюсун глаз и заговаривает с ней.

Семейство Памуков, некогда богатое, но бездарно потерявшее свое состояние, чувствовало себя скованно среди богачей. Они пришли все: красивая мать и отец двадцатитрехлетнего Орхана и его старшего брата, их дядя и двоюродные братья. В непрерывно курившем Орхане не было ничего примечательного, о чем стоило бы упомянуть, кроме того, что он отчего-то нервничал, но при этом пытался насмешливо улыбаться.

Покинув унылый приют Памуков, я пошел прямо к Фюсун. Как описать радость, засиявшую на ее лице, едва она удостоверилась, что я отважно направился к ней и все во мне кричит о любви к ней? Она густо покраснела, и темно-розовый оттенок придал поразительную живость ее коже. По взглядам тети Несибе стало понятно, что Фюсун ей все рассказала. Я пожал сухую руку тети, потом руку ее вроде бы ничего не подозревавшего отца, с такими же длинными пальцами, как у дочери, а затем — нежную ручку Фюсун с тонким запястьем. Когда очередь дошла до моей красавицы, я, подержав ее за руку, расцеловал в щеки, и близость нежной шеи и изящных мочек пробудила во мне желание, напомнив о минутах радости и страсти. Вопрос, который я все время твердил про себя, «Зачем ты пришла?» тут же превратился в слова: «Как хорошо, что ты пришла!» Она тонко подвела глаза, губы накрасила розоватой помадой. Все это, в сочетании с духами, делало ее немного чужой, но и невероятно притягательной одновременно, а еще — более женственной. Однако по ее покрасневшим глазам, по детской припухлости век было ясно, что после нашего расставания она плакала. Вдруг на ее лице появилась решимость уверенной в себе, зрелой женщины.

— Кемаль-бей, — храбро произнесла она, — я знакома с Сибель-ханым! Прекрасный выбор! От всей души поздравляю вас!

— О, благодарю...

— Кемаль-бей, — тут же вмешалась ее мать, — один Всевышний ведает, насколько вы занятой человек, и нашли-таки время позаниматься математикой с моей дочкой! Благослови вас за это Аллах!

— У нее ведь завтра экзамен? — Я, разумеется, не забыл об этом. — Будет лучше, если она сегодня вечером пораньше вернется домой.

— Конечно, у вас теперь есть право ею руководить, — многозначительно произнесла мать. — Но она столько слез пролила от этой математики. Уж позвольте ей хотя бы сегодня повеселиться!

Я с отеческой нежностью посмотрел на Фюсун. От шума и музыки нас никто не слышал — так бывает во сне. Фюсун то и дело бросала на мать гневные взгляды. Я несколько раз был свидетелем ее гнева в «Доме милосердия» и поэтому в последний раз окинул взглядом ее упругую грудь, чуть видневшуюся в вырезе платья, роскошные плечи, нежные, почти детские, руки. Меня, как огромная морская волна, обрушившаяся на берег, охватило чувство невыразимого счастья, и, возвращаясь, я чувствовал, что готов преодолеть все препятствия, которые предстоят нашей любви в будущем.

«Серебряные листья» играли мелодию «Вечер на Босфоре», переделанную из английской песни «It's now or never». Не будь я уверен, что безграничного, истинного, полного счастья в этом мире можно достичь только тогда, когда вот именно «сейчас»

обнимаешь любимого человека, то назвал бы момент нашей краткой беседы «счастливейшим мгновением своей жизни». Ведь по словам ее матери и по гневным, полным обиды взглядам Фюсун я догадался, что она не сможет разорвать наши отношения и что даже ее мать согласна на это и питает некие надежды. Я понял, что, если окружу ее вниманием и заботой, покажу, как сильно люблю ее, Фюсун навсегда останется рядом со мной. Аллах ниспослал мне великую милость: одни его рабы (например, мой отец) обретали мужское счастье лишь к пятидесяти годам после долгих страданий и наслаждались им с оглядкой на мораль, деля радости семейной жизни с красивой, образованной и достойной себя супругой и упиваясь одновременно тайной, бурной любовью со страстной юной красавицей; мне же в отличие от них повезло. В тридцать лет я уже удостоился подобной милости почти без усилий и без особых жертв со своей стороны. Хотя я не считал себя набожным, открытка счастья, присланная мне в тот вечер Аллахом, запечатлевшая веселых, нарядных гостей, разноцветные фонарики в саду «Хилтона», огни Босфора, видневшиеся из-за платанов, и темно-синее, бархатное небо, навсегда осталась в моей памяти.

— Где ты был? — Сибель волновалась. Она уже ходила меня искать. — Я стала беспокоиться. Беррин сказала, ты много выпил. С тобой все в порядке?

— Да, сначала действительно выпил многовато, но теперь все хорошо, дорогая. Единственное, что меня беспокоит, — это слишком много счастья.

— Я тоже очень счастлива, но у нас небольшая проблема.

— Какая?

— У Нурджихан с Мехмедом ничего не складывается.

— Ну не складывается, так не складывается. Зато мы счастливы.

— Ты не понимаешь. Они оба этого хотят. Я даже уверена, что, если они чуть-чуть попривыкнут друг к другу, то сразу поженятся. Однако оба как шест проглотили.

Я издалека посмотрел на Мехмеда. Он никак не мог подступиться к Нурджихан и, сознавая свою неловкость, сердился на себя и еще больше зажимался.

— Сядь-ка, поговорим, —я решил поведать Сибель один секрет. — Может, с Мехмедом мы уже опоздали. Может, он теперь никогда не женится на порядочной девушке.

— Это почему же?

Мы сели за стол. К нам тут же подошел официант, и я попросил ракы. Так легче было объяснить Сибель, широко раскрывшей глаза от страха и любопытства, что Мехмед не может нигде найти счастье, кроме пропитанных благовониями комнат с красным абажуром.

— Тебе они тоже явно хорошо знакомы, — съехидничала Сибель. — До знакомства со мной ты ходил с ним?

— Я очень тебя люблю, — нежно сказал я, положив свою руку на ее и не обращая внимания на официанта, засмотревшегося на наши кольца. — Но Мехмед, наверное, никогда не сможет сильно полюбить приличную девушку. Из-за этого он сейчас волнуется.

— Очень жаль! — вздохнула Сибель. — А все из-за того, что девушки его пугаются...

— Он сам виноват, что пугает их. Они правы. Что будет, если девушка доверится ему, а он на ней не женится? Все станет известно, все узнают ее имя. Что ей тогда делать?

— Обычно все сразу понятно, — осторожно сказала Сибель.

— Что понятно?

— Можно доверять мужчине или нет.

— Понять не так просто. Многие девушки мучаются, потому что не могут решить. Если же отдаются мужчине, то от страха не получают удовольствия. Не знаю, бывают

ли смелые девушки, способные не думать ни о чем. Но Мехмед никогда бы не стремился овладеть избранницей до свадьбы, если бы, пуская слюни, не слушал истории о половой свободе в Европе и если бы не считал это признаком цивилизованности. Он давно бы нашел себе невесту. А сейчас — смотри, как он мучается рядом с Нурджихан.

— Он знает, что у Нурджихан в Европе были мужчины. Это и притягивает, и пугает его, — заметила Сибель. — Давай поможем ему!

«Серебряные листья» играли мелодию «Счастье», сочинение собственного композитора. Романтичная музыка настроила меня на чувствительный лад. Я с радостью и страданием ощутил, что любовь к Фюсун теперь у меня в крови, и принялся с видом всезнайки рассуждать о том, что через сто лет Турция, наверное, станет европейской страной и тогда наступит райская жизнь — все освободятся от предрассудков, никому не нужно будет беспокоиться о девственности или о мнении окружающих, но, пока не наступили такие времена, суждено испытывать муки любви и страсти.

— Нет-нет, — поспешно возразила моя добрая, красивая невеста, взяв меня за руку. — Мехмед и Нур-джихан скоро тоже будут счастливы, как *мы сегодня*. Потому что мы обязательно их поженим.

— Хорошо, но что нужно для этого сделать?

— Посмотрите-ка на них? Уже уединились и сплетничают! — Перед нами внезапно возник какой-то незнакомый тип. — Позвольте мне присесть, Кемаль-бей?—Не дожидаясь моего согласия, он взял стоявший поблизости стул и подсел к нам. Тучный, на вид около сорока, в петлице красовалась белая гвоздика, и от него пахло сладким, удушающе густым ароматом женских духов. — Если жених с невестой будут шушукаться в углу, то для гостей пропадет все удовольствие от свадьбы.

— Это еще не свадьба, — осадил я. — Мы только помолвились.

— Но говорят, ваша роскошная помолвка пышнее любой свадьбы, Кемаль-бей. Где вы могли бы провести ее, кроме «Хилтона»?

— Простите, с кем я говорю?

— Это вы меня простите, Кемаль-бей. Мы, журналисты, всегда уверены, что нас знают. Меня зовут Сю-рейя Сабир. Вы, может быть, знакомы со мной по заметкам под псевдонимом Белая Гвоздика в газете «Акшам».

— А, так это вы? Ваши светские сплетни читает весь Стамбул, —улыбнулась Сибель. — Я думала, это женщина, вы так хорошо разбираетесь в моде, в одежде.

— Кто вас пригласил? — опрометчиво резко вырвалось у меня.

— Благодарю вас, Сибель-ханым, — продолжал Белая Гвоздика. — В Европе утонченные мужчины разбираются в моде не хуже женщин. Кемаль-бей, согласно турецким законам о средствах массовой информации, у нас, журналистов, есть право присутствовать на открытых публичных мероприятиях при условии предъявления журналистского удостоверения, которое вы видите у меня в руках. С точки зрения юриспруденции каждое мероприятие, для которого выпущено приглашение, считается открытым и публичным. Несмотря на это, я за многие годы ни разу не ходил туда, куда не был бы приглашен. На этот прекрасный вечер меня позвала ваша многоуважаемая матушка. Она, как современный человек, придает большое значение тому, что вы изволили назвать светскими сплетнями, иначе говоря, новостям общественной жизни, и часто приглашает меня на подобные приемы. Мы так подружились, что, когда у меня нет возможности пойти куда-либо, я записываю рассказ о приеме со слов вашей матушки по телефону и будто сам побывал там. Ведь ваша драгоценная матушка весьма внимательна, все замечает — совсем как вы — и никогда не скажет ничего неверного. Поэтому в моих новостях не бывает никаких ошибок или неточностей, Кемаль-бей.

— Вы неправильно поняли Кемаля, — пыталась сгладить мои слова Сибель.

— Совсем недавно некоторые нехорошие люди говорили о вашей помолвке: «Там будет весь контрабандный алкоголь Стамбула». Стране не хватает валюты, нет средств, чтобы купить мазут, чтобы работали наши фабрики! Некоторые из зависти к вашему богатству могут пожелать очернить столь прекрасный вечер, написав в газетах: «Откуда взялось столько контрабанды?», Кемаль-бей. .. Если вы будете обижать других так же, как меня, поверьте, напишут еще хуже... Но я — нет! Обещаю никогда не расстраивать вас! Клянусь прямо сейчас забыть ваши грубые слова навсегда! Ведь турецкая пресса — это свобода. Но взамен вы, пожалуйста, ответьте искренне на один мой вопрос.

— Конечно, Сюрейя-бей.

— Только что вы оба, вы и ваша невеста, горячо обсуждали что-то важное. Мне стало любопытно. О чем вы говорили?

— Мы беспокоились, понравилась ли гостям еда, — ответил я.

— Сибель-ханым, — заулыбался Белая Гвоздика. — У меня для вас отличная новость! Ваш будущий муж совершенно не умеет врать!

— Кемаль очень мягкий человек, — снова деликатно подправила ситуацию Сибель. — Мы говорили вот о чем: кто знает, сколько людей здесь страдает сейчас от любви, от страсти и просто от сексуальных проблем.

— Д-а-а, — задумчиво протянул толстяк. Прозвучало новомодное слово «секс», и газетчик на мгновение задумался, так как не мог решить, как ему отнестись к услышанному: сделать вид, что получил чье-то скандальное признание, или изобразить понимание глубины человеческих страданий. Потом он выкрутился: — Вам, молодым и современным людям, эти страдания, разумеется, чужды. — Он произнес все слова ровным тоном, без какой-либо насмешки, как опытный журналист, который знает, что в непростых ситуациях лучше задобрить собеседника похвалами. И принялся рассказывать, с таким видом, будто переживал за всех присутствующих, у кого из гостей безответно влюблена дочь: кто из присутствующих девушек вел себя слишком свободно и не принят в хорошие семьи; кто из матерей мечтает выдать дочь и за какого богатого и жадного до развлечений юнца; кто из охламонов-наследников в кого влюблен, хотя уже обручен. Мы с Сибель веселились, слушая его, а Белая Гвоздика, видя это. сыпал именами с еще большим задором. Он прибавил, что все эти позорные тайны всплывут, когда начнутся танцы, но тут подошла моя мать и упрекнула, что я и Сибель ведем себя неприлично—на нас все смотрят и хотят сказать добрые слова, а мы уселись рядом с грязными тарелками и заняты чем-то своим. Она все твердила, что так вести себя не подобает, и отправила нас за наш стол.

Как только я сел на свое место рядом с Беррин, образ Фюсун засиял у меня перед глазами с новой силой, будто кто-то воткнул вилку в розетку. Но на сей раз он не причинял мне боли, а, наоборот, дарил радость и озарял собой не только этот вечер, но и всю мою будущую жизнь. На мгновение я признался себе, что поступаю точно так же, как те мужчины, которые при женах изображают счастливую семейную жизнь, хотя на самом деле источником счастья для них являются их тайные любовницы, и вдруг осознал, как ловко изображаю преисполненного счастья из-за помолвки с Сибель.

Поговорив немного с обозревателем светской хроники, мать вернулась за стол. «Ради Аллаха, будьте осторожны с этими газетчиками, — предупредила она. — Они напишут любую ложь, любые гадости. А потом будут угрозами требовать от отца давать больше рекламы. Теперь вставайте, пора начинать танцы. Все только вас ждут. Оркестр уже давно играет».

Мы танцевали с Сибель под музыку «Серебряных листьев». Все гости, как один, затаив дыхание, смотрели на нас, что придавало нашему танцу наигранную

искренность и задушевность. Сибель положила руку мне на плечо, будто обнимая меня, а голову чуть прижала к моей груди, словно мы были где-нибудь на дискотеке, в темном уголке, и что-то все время с улыбкой мне говорила. Когда мы совершали разворот, из-за ее плеча я оглядывал тех, кого она упоминала, например официанта, с улыбкой и полным подносом в руках любовавшегося нашим танцем, или ее мать со слезами на глазах следившую за нами, или забавную женщину с прической, напоминавшей воронье гнездо, Мехмеда с Нурджихан, которые, пока мы танцевали, окончательно отвернулись друг от друга, или старого, девяностолетнего фабриканта, разбогатевшего еще в Первую мировую войну, который ел с помощью специального слуги в длинном тонком галстуке; но на дальние столы, туда, где сидела Фюсун, я не смотрел. Пока Сибель остроумно комментировала происходящее, я думал только о том, как было бы хорошо, если бы Фюсун нас не видела.

Тем временем грянули аплодисменты, но длились они недолго, и мы продолжили танцевать. Через некоторое время стали выходить в круг другие пары, а мы вернулись за свой стол.

— Вы очень красиво танцевали, хорошо смотритесь друг с другом, — похвалила Беррин.

Фюсун пока не было среди танцующих. Сибель так расстроилась, что у Нурджихан с Мехмедом ничего не получается, что попросила меня вмешаться. «Скажи ему, пусть немного попристает к ней», — попросила она, но я не стал. Беррин вмешалась в разговор и шепотом прокомментировала, что насильно ничего хорошего не выйдет, что она следит за происходящим со своего места и что они оба выглядят слишком гордыми и избалованными, дело тут не только в Мехмеде, и если они не понравились друг другу, не стоит и настаивать. «Нет, у свадеб есть свое воздействие, — возразила Сибель. — Многие знакомятся с будущим супругом на чужой свадьбе. На свадьбах все проникаются обстановкой — не только девушки, юноши тоже. Просто нужно помочь». — «О чем вы шепчетесь? Я тоже хочу знать!» — вмешался в спор мой брат и поучительным тоном заметил, что глупо кого-то сватать — традиция свах давно прекратила существование в Турции, но поскольку мест, где можно было бы знакомиться, как в Европе, все равно не хватает, добровольным свахам сегодня приходится гораздо трудней. Забыв, что разговор начался из-за Нурджихан с Мехмедом, брат повернулся к Нурджихан и вылепил: «Вот вы, например, не стали бы выходить замуж с помощью свахи, не так ли?»

— Если мужчина приятный, то не важно, как с ним знакомиться. Осман-бей, — рассмеявшись, многозначительно ответила Нурджихан.

Мы все расхохотались, так как эти смелые слова прозвучали как шутка. Однако Мехмед густо покраснел и отвернулся.

— Ну вот! — вздохнула через некоторое время Си-бель. —Испугали парня. Он решил, что над ним смеются.

В тот момент я не смотрел на танцующих. Но господин Орхан Памук, с которым мы встретились много лет спустя после описываемых событий, рассказал, что Фюсун успела потанцевать с двумя мужчинами. Первого ее партнера он не знал, но я понял, что им был Кенан из «Сат-Сата». Ну, а вторым, как с гордостью признался Орхан-бей, стал он сам.

В это время Мехмед, не выдержав двусмысленного разговора и насмешки Нурджихан, встал и ушел из-за нашего стола. Наше веселье тут же улетучилось.

— Мы очень неприлично поступили, — забеспокоилась Сибель. — Обидели человека.

— Не смотри так на меня, — рассердилась Нурджихан. — Я сделала не больше, чем вы. Это вы выпили и все время смеетесь. А ему невесело.

— Если Кемаль приведет его обратно за стол, обещаешь хорошо с ним обращаться, Нурджихан? — почти упрашивала Сибель. — Я знаю, ты можешь

сделать его счастливым. И он сделает счастливой тебя. Но ты должна вести себя помягче...

Нурджихан понравилось, что Сибель перед всеми сказала, что хочет сблизить их с Мехмедом. Однако стояла на своем: «Нам же не жениться прямо сейчас. Он только познакомился со мной, мог бы вести себя повежливей».

— Знаете, почему наши девушки не умеют флиртовать? — спросил мой брат. На лице у него появилось умиротворенное выражение, которое появлялось всегда, когда он выпьет: — Потому что флиртовать у нас негде. Далее слова «флирт» нет в турецком языке.

— На твоем языке слово «флирт» означало водить меня до помолвки раз в неделю по субботам в кино на дневной сеанс, —укольнула его Беррин. — К тому же ты носил с собой карманный приемник, чтобы раз в пять минут слушать результаты матчей «Фенербахче».

— На самом деле я носил с собой радио не для того, чтобы слушать матч, а чтобы произвести на тебя впечатление, — обиделся брат. — И горжусь тем, что у меня у первого в Стамбуле был транзистор.

Нурджихан, засмеявшись, сказала, что ее мать гордится тем, что она первая в Турции пользуется миксером. Под аккомпанемент приятной музыки пятидесятых годов мы со смехом вспоминали, как в те годы стамбульские богачи начали привозить в Турцию бритвы, мясорубки, электроножи и прочие подобные неведомые приборы и готовы были довести себя до изнеможения, сражаясь с ними, только потому, что ни у кого другого не было диковинных приспособлений. Пока мы болтали, рядом с Нурджихан, на пустой стул Мехмеда, присел Заим и тут же присоединился к беседе. Не теряя времени, он уже через несколько минут шептал что-то смешное на ухо Нурджихан, а она все время хихикала.

— Что с твоей немецкой манекенщицей? — недовольно спросила его Сибель. — Ее ты уже бросил?

— Инге и не была моей подругой. Она вернулась в Германию. — Заим и бровью не повел, не переставая смешить Нурджихан: — Мы просто работали, и я несколько раз возил ее на званые вечера, чтобы она увидела ночной Стамбул.

— То есть вы были просто друзьями, — съязвила Сибель. Такие слова использовали в глянцевых журналах, которые в те годы только начинали появляться в Турции.

— Я сегодня ее в кино видела, — сказала Беррин. — Она соблазнительно пила в рекламе лимонад. — Беррин повернулась к мужу: — Днем в парикмахерской отключилось электричество, и я пошла в Сите, посмотрела фильм с Софи Лорен и Жаном Габеном. — Потом опять повернулась к Заиму: — Реклама везде, а лимонад теперь пьют все подряд, не только дети. Поздравляю!

— Мы удачно время выбрали, — пожал плечами Заим. — Да и просто повезло.

Я увидел вопросительный взгляд Нурджихан и почувствовал, Заим ждет, когда я представлю его, и поэтому поспешил пояснить, что это мой друг — владелец фирмы «Шекташ», которая выпускает недавно появившийся лимонад «Мельтем», и что недавно в Стамбул приезжала немецкая манекенщица Инге, снявшаяся в его рекламе, и теперь ее портреты по всему городу.

— Вы уже пробовали наш лимонад? — поинтересовался Заим.

— Конечно. Особенно мне понравился клубничный, — ответила Нурджихан. — Таких вкусных лимонадов даже во Франции нет.

— Вы живете во Франции? — удивился Заим и тут же пригласил всех нас на выходных посетить его фабрику, прокатиться на катере по Босфору и устроить пикник в Белгардском лесу.

Весь стол смотрел на него и Нурджихан. Вскоре они пошли танцевать.

— Иди найди Мехмеда. Пусть спасет ее от Заима, — не унималась Сибель.

— Знать бы еще, хочет ли Нурджихан, чтобы ее спасали?

— Только еще не хватало, чтобы моя подруга стала добычей этого недоделанного Казановы, у которого все мысли вертятся вокруг постели.

— Заим очень добрый и порядочный человек, просто он неравнодушен к женщинам. А потом, почему Нурджихан не может иметь здесь интрижку, как во Франции? Разве жениться — обязательно?

— Французский мужчина не будет унижать женщину за то, что она отдалась ему до свадьбы,—расставила все по местам Сибель. —А тут ее начнут склонять. И, что самое главное, мне не хотелось бы обижать Мехмеда.

— Мне тоже. Но я не хочу, чтобы чужие заботы омрачали нам помолвку.

— Тебе совершенно не нравится устраивать счастье другого человека, — высказала Сибель. — Подумай лучше, что, если Нурджихан с Мехмедом поженятся? У нас же появятся лучшие друзья на всю жизнь!

— Не думаю, что сегодня вечером Мехмеду удастся увести Нурджихан от Заима. Он боится соперничать с другими мужчинами.

— Так поговори с ним, пусть будет посмелее. А я, даю слово, улажу все с Нурджихан. Иди же, приведи его. — Увидев, что я встаю, она нежно улыбнулась: — Ты такой красивый. Смотри, не застревай у чужих столов, возвращайся скорей.

Я подумал, что, пока хожу, смогу увидеть Фюсук. Лица гостей казались мне хорошо знакомыми, словно я смотрел на фотографии семейного альбома, которые всегда тщательно расклеивала мать, но в то же время со странным замешательством не мог вспомнить, кто кому кем доводится — кто чей муж и кто чья сестра.

— Дорогой Кемаль, — вдруг произнесла приятная женщина средних лет. — Ты помнишь, что, когда тебе было шесть лет, ты предложил мне стать твоей женой?

Я узнал ее, только когда увидел ее восемнадцатилетнюю дочь: «А-а, тетя Мераль! Ваша дочь — вылитая вы». Женщина оказалась младшей дочерью маминой старшей тетки. Она извинилась, что им придется пораньше уйти, так как у ее дочери завтра вступительный экзамен в университет, и, как я тут же подсчитал, у меня разница в возрасте с дочкой этой женщины ровно двенадцать лет, так что само собой вышло посмотреть туда, где сидела Фюсун. Но ее опять не оказалось ни на танцплощадке, ни за дальними столами, а может, я просто не разглядел: слишком уж много толпилось вокруг людей.

Через три секунды должна была появиться фотография, на которой заснят один приятель моего отца, владелец страховой компании. От меня на том снимке предстояло отразиться только руке. Я потом раздобыл эту фотографию у одного коллекционера, собиравшего снимки приемов и свадеб в «Хилтоне», которые хранились у него в забитом хламом доме. На заднем ее плане запечатлелся один банкир, который пожимал руку отцу, — приятель моего будущего тестя. Я с изумлением вспомню, что видел его в лондонском универмаге «Хэр-родс» (я был там два раза), когда он в задумчивости выбирал себе темный костюм.

Я шел между столами, то и дело подсаживаясь сфотографироваться на память с гостями, и видел вокруг множество смуглых искусственных блондинок, довольных собой богатых мужчин, галстуков, часов, одинаковых туфель на каблуках и золотых браслетов, видел, что усы и бакенбарды у мужчин тоже почти одинаковые, что едва ли не со всеми этими людьми я знаком или нас связывает нечто общее, предвидел прекрасную жизнь, ожидавшую меня, и наслаждался бесподобной красотой летней ночи, в которой витал аромат мимозы. Мы расцеловались с первой турчанкой, впервые победившей на европейском конкурсе красоты, которая в сорок лет, после двух неудачных замужеств, полностью посвятила себя бедным, инвалидам и сиротам, а также сбору пожертвований для организации благотворительных балов и поэтому раз в два месяца бывала в конторе у отца. («Какая самоотверженность, сьшок, —

говорила мама, — она ведь получает проценты!») С вдовой, судовладелец-муж которой погиб во время семейной ссоры от выстрела в глаз, отчего она потом на всех семейных ужинах появлялась с заплаканными глазами, мы обсудили, как прекрасен вечер. С искренним уважением я пожал мягкую руку известного колумниста Джеляля Салика — в те дни самого любимого и уважаемого, самого необычного и смелого колумниста Турции. За следующим столом сфотографировался с семейством покойного Джевдета-бея, одного из первых мусульман-предпринимателей в республиканском Стамбуле — его сыновьями, дочерью и внуками[9]. За третьим столом, где сидели гости Сибель, принялся обсуждать конец сериала «Беглец», за действием которого в те дни следила вся Турция и завершающая серия которого намечалась на среду. (Главного героя, доктора Ричарда Кимбла, разыскивали за преступление, которого он не совершал, а он не мог доказать свою невиновность и вынужден был скрываться.)

В конце концов я дошел до бара, где в укромном уголке взгромоздился на стул рядом с Мехмедом и Тайфуном, нашим общим приятелем по Роберт-колледжу, и заказал себе стаканчик ракы.

— О-о-о, все «женихи» сбежались сюда, — засмеялся Тайфун, увидев меня рядом. Наши лица расплылись в ностальгической улыбке, вызванной не только встречей, но и приятными ассоциациями со словом «женихи». В последнем классе лицея, на «мерседесе» Тайфуна, который его отец давал ему ездить в школу, мы наведывались в очень дорогой дом свиданий, расположенный в старинном особняке какого-то османского паши на окраинах Эмиргана, и проводили там время в объятиях одних и тех же нежных красоток. Мы были сильно привязаны к этим милым девушкам, что, конечно, хотели скрыть от них, и даже несколько раз катали их на машине, а они брали с нас денег гораздо меньше, чем со старых спекулянтов или пьяных дельцов, приходивших к ним по вечерам. Некогда очень красивая и дорогая дама легкого поведения, владевшая тем домом свиданий, всякий раз любезно беседовала с нами, будто мы встретились на балу в Большом клубе. Но, увидев нас — в школьной форме, в пиджаках и при галстуках, будто мы только что убежали с урока, она непременно хохотала и кричала своим девочкам, которые в ожидании клиентов в крохотных мини-юбках листали на диванах какой-нибудь комикс: «Девочки! Приехали ваши женихи из школы!»

Я заговорил о тех днях. Мне подумалось, счастливые воспоминания развеселят Мехмеда. Однажды после любовной зарядки мы заснули в теплой от весенних солнечных лучей, попадавших сквозь щели в ставнях, комнате и проспали первый урок после обеденного перерыва. Пожилой благонравный учитель географии, половину которой мы тоже пропустили, строго спросил: «Какая у вас уважительная причина?» — на что мы ответили: «Учили ботанику!» После этого выражение «учить ботанику» приобрело в нашей компании особый смысл. Ведь и у девушек в том доме, на фасаде которого значилось «Отель-ресторан „Полумесяц"», были «ботанические» имена: Цветок, Листик, Дафна, Роза.

Однажды мы поехали туда на ночь; и вот только мы с девочками удалились, приехал известный богач с немецкими партнерами, и девушек стуком в двери позвали вниз исполнить для иностранных гостей танец живота, нас тоже заставили спуститься. В качестве утешения нам позволили сесть в ресторане за свободный столик и издалека наблюдать за происходящим. Мы с ностальгией вспоминали, как приятно было смотреть на их сверкающие, расшитые блестками костюмы и каким красивым казался их танец, который они танцевали не столько для чванливых немцев, сколько для нас, зная, что мы в них влюблены, и понимая: его мы будем

---

[9] Герои романа О. Памука «Джевдет-бей и сыновья».

помнить всю жизнь.

Когда я учился в Америке и летом приезжал в Стамбул на каникулы, Тайфун и Мехмед всегда старались знакомить меня со странными нововведениями, появлявшимися в тех домах, которые принимали новый облик с приходом очередного начальника городского управления безопасности. Например, в один старый семиэтажный греческий дом каждый день прибывала с обыском полиция и опечатывала целый этаж, поэтому дамы принимали посетителей то на одном этаже, то на другом, раз за разом по-новому расставляя мебель и развешивая те же зеркала. На одном из окраинных переулков Нишанташи существовал особняк, на входе которого стоял вышибала и специально заманивал не очень богатых клиентов и просто любопытных прохожих. Красотка Шермин, которую я недавно видел в вестибюле гостиницы, по вечерам, немного покружив на машине с двумя-тремя своими всегда аккуратными и ухоженными девочками в районе «Парк-Отеля», площади Таксим или гостиницы «Диван», где-нибудь парковалась и ждала, пока им не подвернется клиент, а за несколько лет до этого даже устраивала «обслуживание на дому», если кто-то заказывал девочек по телефону. По ностальгическим и грустным словам моих друзей было понятно, что с теми красавицами они пережили гораздо больше счастья и радости, чем с «порядочными» девушками, дрожавшими за свою девственность и честь.

Фюсун за столом не было, но они еще не ушли: ее родители сидели на месте. Я заказал еще порцию ракы и спросил Мехмеда о недавно открывшихся домах и о последних нововведениях. Тайфун задорно пообещал, что даст много адресов новых, замечательных и дорогих домов свиданий, а потом вдруг, с неожиданным гневом, рассказал несколько забавных историй про известных политиков, задержанных во время полицейских облав, про женатых знакомых, старавшихся смотреть в комнате ожидания в окна, чтобы не встретиться с ним взглядом, и про одного семидесятилетнего генерала, кандидата на пост премьер-министра, который умер в объятиях двадцатилетней красавицы-черкешенки, в кровати у огромного окна с видом на Босфор, хотя позже было объявлено, что он скончался дома на руках у жены. Играла тихая, нежная музыка, навевавшая образы прошлого. Истории Тайфуна лишь позабавили Мехмеда, и я решил напомнить ему, что Нурджихан приехала в Турцию, чтобы выйти замуж, упомянув и о ее симпатии к нему.

— Она кружит с Заимом, — проворчал Мехмед.

— Чтобы ты поревновал, — сказал я, не глядя на танцующих.

Немного поупиравшись, Мехмед признал, что и ему Нурджихан очень понравилась и, если «у нее действительно серьезные намерения», он, конечно же, готов завести с ней приятную беседу, а потом и вовсе проговорился, что всю жизнь будет нам благодарен в случае успеха.

— Тогда почему ты с самого начала не захотел говорить с ней?

— Не знаю, стеснялся, наверное.

— Пойдем вернемся к столу, чтобы твой стул не занял кто-нибудь другой.

Пробираясь за свой стол, я решил посмотреть, до какой стадии дошли в танце Нурджихан и Заим, и вдруг увидел Фюсун. С моим амбициозным подчиненным, юным Кенаном из «Сат-Сата». Их тела были близко друг к другу. Меня резанула едкая боль.

— Что случилось? — спросила Сибель. — Ничего не вышло? Нурджихан теперь тоже не согласится. Она без ума от Заима. Да хватит, не расстраивайся...

— Нет. Все не так, совсем не так. Мехмед согласен.

— А почему тогда у тебя такой грустный вид?

— Не грустный.

Одна песня закончилась, сразу же началась новая — более медленная и романтичная, чем предыдущая. За столом воцарилось долгое, неприлично тяжелое

молчание, и я почувствовал, как болезненный яд ревности отравляет мне кровь. По тому, с каким вниманием и легкой завистью все сидевшие за нашим столом — мой брат, Беррин, Сибель и остальные — смотрели в середину зала, я понял, Нурджихан с Заимом обнялись еще крепче. Ни я, ни Мехмед не подняли глаз. Брат что-то сказал. Тем временем заиграла еще более слащавая мелодия. Я никак не мог собраться с мыслями.

— Что? — переспросил я Сибель.

— Я ничего не говорила. С тобой все в порядке?

— Давайте отправим музыкантам записку, пусть сделают небольшой перерыв?

— Зачем? Да ладно, пусть гости танцуют, — возразила Сибель. — Смотри, даже самые робкие решились. Потом точно половина поженится.

У меня не было сил посмотреть.

— Они идут сюда. — шепнула Сибель.

Мое сердце забилось чаще. Почему-то на мгновение я решил, что к нам направляются Кенан и Фюсун. Но нет, шли Заим с Нурджихан. Они закончили танцевать и возвращались за стол. Сердце не успокаивалось. Я вскочил и взял Заима под руку.

— Пойдем-ка, я тебя угощу кое-чем особенным, — повел я его в бар. По пути Заим успел перекинуться шутками с двумя девушками, которым он явно понравился. По страстным грустным взглядам еще одной — высокой, черноволосой, с аристократичным носом с горбинкой — я понял, эта та самая, о которой несколько лет назад ходили сплетни, будто она безответно влюблена в Заима и даже пыталась покончить с собой.

— Все женщины от тебя в восторге, — заметил я, как только мы сели. — В чем твой секрет?

— Поверь, никакого секрета нет.

— И с Инге тоже не было?

Заим спокойно усмехнулся, но ничего не сказал.

— Мне очень не нравится, что меня считают бабником, — вздохнул он потом. — Если бы я встретил такую замечательную девушку, как Сибель, то сразу бы женился. Мне на самом деле давно хочется обзавестись женой. Поздравляю! Ты выбрал действительно прекрасную девушку. Даже по твоим глазам видно, как ты счастлив.

— Да. но я не так уж и счастлив. И хотел тебе кое-что рассказать. Поможешь мне?

— Ты же знаешь, ради тебя я готов на все. — Он внимательно посмотрел на меня. —Доверься!

Пока бармен наливал нам виски, я смотрел на танцевальный круг: неужели Фюсун сейчас положила голову Кенану на плечо? В том углу, где они танцевали, свет был не очень ярким, и я не разглядел, что там происходит, да и без слез в глазах от съедавшей меня боли смотреть туда не мог.

— У меня есть одна дальняя родственница со стороны матери, — начал я. — Зовут ее Фюсун.

— Та, что в конкурсе красоты участвовала? Вон она, танцует.

— Откуда ты знаешь?

— Невероятно красивая девушка, — сказал За-им. — Я всегда смотрю на нее, когда прохожу мимо того бутика в Нишанташи, где она работает. Там все специально медленно идут, чтобы заглянуть в окно. Она ослепительно хороша...

Боясь, что Заим сболтнет лишнее, я выпалил:

— Она моя любовница. — На лице друга промелькнула легкая зависть. — Мне больно даже от того, что она сейчас танцует с другим. Я, наверное, сильно влюблен в нее. Надеюсь, выберусь из этого ужасного положения, не хочу, чтобы это продолжалось слишком долго.

— Да, девушка чудесная, а вот положение действительно ужасное, — согласился Заим. — Вообще-то подобное не длится бесконечно.

Почему это, хотел было спросить я. Не знаю, появилась ли на лице Заима тень презрения, но я понял, что не смогу сразу сказать ему все. Пусть сначала он поймет, сколь глубоки и искренни мои чувства к Фюсун, и проникнется к ним уважением. Вскоре я осознал, что способен внятно поведать только о заурядной стороне пережитого; если же стану говорить о чувствах, Заим посчитает меня слабым или смешным и даже примется стыдить меня, несмотря на множество собственных приключений. Однако мне нужно было, чтобы мой друг признал, как мне повезло и насколько я счастливый человек. Иногда я читал в лице Заима зависть, пытаясь убедить себя, что ничего не замечаю, и продолжал историю о том, что был первым мужчиной в ее жизни, что мы счастливы вместе, что мы ссоримся и тут же миримся, про всякие милые подробности, какие внезапно вспоминались мне на пьяную голову. «Короче, — с воодушевлением заключил я, — единственное, что мне надо, — всю жизнь быть рядом с этой девушкой».

— Ясно.

Меня успокоило то, как по-мужски он проявил понимание, не упрекая меня в эгоизме и не осудив моего счастья.

— Меня расстраивает, что она танцует сейчас с Ке-наном, молодым специалистом из нашей фирмы. Она заигрывает с ним, чтобы я ревновал... Конечно, я боюсь, что тот примет все всерьез. Потому что Кенан идеально подходит Фюсун в мужья.

— Понимаю, — сказал Заим.

— Скоро я позову Кенана за стол родителей. А тебя прошу сразу подойти к Фюсун и не отходить от нее весь вечер ни на шаг, чтобы я сегодня не умер от ревности, эта веселая помолвка завершилась бы благополучно и Кенан не вылетел бы с работы. Фюсун с родителями скоро уйдет, потому что у нее завтра экзамен. Конечно, эта невозможная любовь скоро пройдет, так ведь?

— Не знаю, понравлюсь ли я твоей девушке, — замялся Заим. — Есть еще одна сложность.

— Какая?

— Я вижу, что Сибель хочет, чтобы Нурджихан держалась от меня подальше,—в проницательности Заиму не откажешь. — Она бережет ее для Мехмеда. Но Нурджихан, кажется, нравлюсь я. Мне она тоже очень нравится. Прошу тебя помочь мне. Мехмед — наш друг, пусть соперничество будет равным.

— Что же я могу сделать?

— Сегодня, при Сибель и Мехмеде, у меня и так толком ничего бы не вышло, но из-за твоей девушки мне придется совсем оставить Нурджихан. Ты мне это возместишь. Пообещай, что в воскресенье ко мне на фабрику и на пикник вы привезете с собой Нурджихан.

— Обещаю. Спасибо за помощь. Смотри, не увлекись Фюсун. Потому что она просто прелесть.

Но в глазах Заима светилось такое сочувствие, что я совершенно перестал стесняться ревности и вскоре немного успокоился.

Подсев к родителям, я сказал изрядно повеселевшему отцу, что хочу познакомить его с одним молодым, но трудолюбивым и весьма перспективным моим подчиненным из «Сат-Сата». Чтобы остальные сотрудники фирмы не завидовали, отец продиктовал записку, и через официанта Мехмеда Али, знавшего нашу семью еще со времен открытия отеля, мы передали ее Кенану. Мать попыталась удержать отца за руку, чтобы тот больше не пил, и он пролил себе на галстук ракы. Музыка на некоторое время смолкла, и в перерыве всем принесли вазочки с мороженым. От выпитого у меня все плыло перед глазами: недоеденный хлеб, стаканы со следами

губной помады, залитые салфетки, полные окурков пепельницы, пустые зажигалки, грязные тарелки, скомканные пачки из-под сигарет, и я с тоской сознавал, что вечер подходит к концу. В какой-то момент у меня на руках оказался мальчик шести-семи лет, Сибель сразу пересела за наш стол, якобы для того, чтобы поиграть с ним. Она взяла малыша на руки и что-то говорила ему. Мама, посмотрев на ребенка, умилилась: «Какой хорошенький». Танец продолжался.

Через некоторое время Кенан гордо уселся за наш стол и поведал всем, какая для него огромная честь познакомиться с бывшим министром иностранных дел, который уже собирался уходить, и с моим отцом. Потом министр нетвердой походкой удалился, а отцу я так, чтобы все слышали, сообщил, что Кенан-бей хорошо знает, как осваивать рынок в провинции и особенно в Измире. Отец начал задавать вопросы, которые всегда интересовали его, когда он брал на работу новых сотрудников. «Сынок, какими иностранными языками вы владеете? Читаете ли вы книги? Чем увлекаетесь? Женаты ли?» — «Не женат, — вмешалась мама. — Он только что танцевал с Фюсун, дочкой Несибе». — «Да, девочка, слава богу, выросла красавицей», — одобрил отец. «Пусть вас не смущают их разговоры о работе, — кивнула в нашу сторону мама. — Вам-то сейчас хочется веселиться». — «Нет, сударыня, для меня важней всего познакомиться со всеми вами, с Мюмтаз-беем». — «Какой учтивый юноша, — прошептала мать. — Пригласим его как-нибудь к нам на ужин?»

Она сказала так, чтобы Кенан слышал. Обычно, сообщая нам по секрету, что ей кто-то понравился и заслужил ее одобрение, она старалась, чтобы человек, которого она хвалила, тоже услышал ее слова: ей нравилось чувствовать свое превосходство, если он от комплимента смущался. В это время «Серебряные листья» опять заиграли романтичную мелодию. Я увидел, что Заим пригласил Фюсун танцевать. «Давайте прямо сейчас обсудим, что Кенан может сделать для „Сат-Сата" в провинции, а, отец?» — продолжал я. «Ты что, на собственной помолвке будешь делами заниматься, сынок?» — удивилась мама. «Сударыня, — обратился к ней Кенан, — возможно, вам неизвестно, но ваш сын три или четыре раза в неделю задерживается в конторе до вечера, когда все уходят домой, и работает допоздна». — «Иногда мы сидим допоздна вместе с Кенаном», — добавил я. «Да, и у нас с Кемаль-беем очень хорошо получается, — поддакнул Кенан.—Мы работаем до глубокой ночи, а еще придумываем разные шутливые стишки про должников». — «А как вы поступаете с неоплаченными счетами?» — поинтересовался отец. «Эту тему я собирался обсудить с сотрудниками „Сат-Сата" и нашими представителями, отец», — прервал я.

Пока оркестр играл, мы поговорили о расходах; о необходимых нововведениях в «Сат-Сате»; об увесилите-ных заведениях Бейоглу, куда отец ходил, когда ему было столько лет, сколько Кенану; о приемах первого счетовода отца Изак-бея, который сейчас сидел с нами за одним столом, в честь которого мы тут же подняли бокалы; о красоте, как выразился отец, молодости и ночи; и вновь о «любви» — здесь отец не сдержал иронии. Несмотря на настойчивые расспросы родителей, Кенан так и не признался, влюблен он или нет. Мать пыталась расспросить его о семье; получив ответ, что его отец работает при муниципалитете, но много лет был вагоновожатым, воскликнула: «Ах, какие чудесные были раньше трамваи!»

Большинство гостей давно ушли. Отец то и дело клевал носом.

Родители тоже собрались уходить, и, расцеловав нас с Сибель, мама сказала: «Слишком долго не засиживайтесь, ладно, сынок?» и посмотрела при этом не на меня, а на Сибель.

Кенан захотел вернуться за стол «Сат-Сата», но я его не отпускал. «Давай-ка поговорим об Измире еще и с братом, — предложил я. — Ведь нам троим никак не собраться». Я хотел было представить его брату, однако тот (как оказалось, давно

знакомый с Кенаном), насмешливо подняв левую бровь, заявил, что я слишком много выпил. Потом я заметил, что они с Беррин глазами указывали Сибель на стакан у меня в руках. Да, в тот момент я залпом выпил еще две порции ра-кы подряд. Потому что всякий раз, когда я видел, как Заим танцует с Фюсун, меня охватывала глупая ревность и от выпивки становилось легче. Нелепо с моей стороны было ревновать ее к нему. Но, пока брат рассказывал Кенану о сложностях взимания денег, все за нашим столом, включая Кенана, любовались танцем Заима и Фюсун. Нурджихан же, увидев их, расстроилась.

В какой-то момент я начал твердить про себя: «Я счастлив, счастлив». Пусть у меня кружится от ракы голова, все происходит так, как нужно. И вдруг на лице Кенана я опознал тень похожей грусти. Налив ракы в тонкий высокий стакан, такой же, что держал сам, для утешения моего тщеславного и неопытного коллеги, купившегося на внимание начальства и упустившего прекрасную девушку, которая только что танцевала с ним, я сунул ему в руки. Этот стакан потом попал в мой музей. В то же время Мехмед пригласил Нурджихан танцевать, и Сибель, повернувшись ко мне, радостно подмигнула, а затем нежно попросила: «Милый, хватит, не пей больше».

Поддавшись ее нежности, я пригласил ее танцевать. Но едва мы оказались среди танцующих, понял, что совершил ошибку. «Серебряные листья» играли песню «Воспоминания прошлого лета». Ее слова пробудили в нас воспоминания о времени (мне хочется, чтобы точно так же воздействовали и вещи из моего музея), когда мы с Сибель были счастливы, и моя невеста нежно и страстно обняла меня. Как бы мне хотелось столь же искренне обнять ту, с которой мне теперь предстояло провести вместе всю жизнь! А между тем в мыслях моих оставался только образ Фюсун. Чтобы как-то исправить ситуацию, я шутливо заговаривал с другими парами. В ответ все терпеливо улыбались, как и полагается относиться к жениху, напившемуся на собственной помолвке.

В какой-то момент мы поравнялись с Джелялем Са-ликом. Тот танцевал с миловидной смуглой дамой. «Джеляль-бей, разве любовь не похожа на газетную статью?» — поинтересовался я у него. А когда мы поравнялись с Мехмедом и Нурджихан, я спросил у них что-то такое, будто они уже давно встречаются. Маминой подруге Зюмрют-ханым, знавшей французский, которая в гостях у нас, под предлогом, чтобы не поняли слуги, по делу и без дела вставляла в речь французские фразы, я сказал какую-то французскую шутку. Но людей смешило не это, а мой пьяный вид. Сибель поняла, что продолжать со мной танец воспоминаний невозможно, и теперь только шептала мне на ухо нежности, каким забавным я становлюсь, когда выпью, и что извиняется, если испортила мне настроение своими планами сосватать друзей, все равно ведь ненадежный Заим после Нурджихан теперь пристает к моей дальней родственнице. Я, нахмурившись, заметил ей, что Заим на самом деле очень хороший человек, друг, на которого можно положиться. Мы опять поравнялись с Джелялем Сали-ком и его дамой. «Я понял, что общего между хорошей газетной статьей и любовью, Кемаль-бей», — обернулся он ко мне. «И что же?» — «И любовь, и газетная статья должны радовать нас именно в данный *момент*. Ведь красота и сила обеих выражается в том, что обе впоследствии нельзя забыть». — «Учитель, напишите когда-нибудь об этом, прошу вас!» — крикнул я ему вслед, но он уже удалился в танце от меня. Тут я увидел рядом с нами Заима и Фюсун. Она сильно прижалась к нему и что-то шептала, а Заим счастливо улыбался. Мы были близко, они оба видели нас, однако делали вид, что не замечают. Не нарушая ритма, я повел Сибель в их сторону, и мы врезались в них на полной скорости как пиратская шхуна в торговое судно.

— Ой, простите, — пролепетал я. — Как вы?—Загадочное и радостное выражение лица Фюсун заставило меня взять себя в руки, и я сразу подумал, что нетрезвый вид послужит прекрасным оправданием. Выпустив руку Сибель, я

повернулся к Заиму. Он отпустил талию Фюсун. Друзья всегда должны идти на жертвы ради дружбы. — Ты говоришь, что Сибель тебя неверно понимает, — начал я. — И у тебя, Сибель, должно быть, найдется, о чем спросить Заима. — Я подтолкнул их друг к другу в спину: — Потанцуйте немного вдвоем.

Сибель и Заиму ничего не оставалось делать, как послушаться. Мы с Фюсун переглянулись. А потом я взял ее за руку, другой обхватил ее за талию и, медленно вращаясь в танце, увел, радуясь и волнуясь, словно влюбленный, похитивший в ночи свою девушку.

Какой покой я ощутил, едва только обнял ее! Беспощадный грохот, который, казалось, звучал у меня в голове, голоса гостей, лязг оркестра, гул города были всего лишь отголосками беспокойства от того, что я весь че-чер находился вдали от нее. Бывают дети, которые успокаиваются на руках только у одного человека, так и я познал в душе глубокую, мягкую, бархатную тишину счастья. Глаза Фюсун выдавали, что и она счастлива; наше молчание значило только одно: мы дарим счастье друг другу, и мне хотелось, чтобы танец никогда не кончался. Но через некоторое время я с тревогой заметил, что у ее молчания была еще одна, совершенно иная причина. Оно требовало ответа на главный вопрос: «Что с нами будет?»—от которого я бежал. Мне даже показалось, что она пришла сюда именно за этим. Внимание гостей-мужчин и восхищение, которое испытывали даже дети, придали ей уверенности и усмирили боль. Кто знает, не считает ли она меня сейчас «минутным увлечением». Ощущение конца праздника слилось с тревогой и страхом потерять Фюсун.

— Если двое любят друг друга так, как мы, никто не встанет между ними, никто, — нашел я слова ответа, удивляясь им. —Те, кто влюблен, как мы, знают, что любовь не может убить ничто и даже в самые трудные дни дарит им бесконечное утешение. Будь уверена: я остановлю все, что должно произойти потом. Я исправлю все. Ты слышишь меня?

— Слышу.

Убедившись, что никто из танцующих на нас не смотрит, я произнес:

— Мы встретились в неудачное время. Мы не могли сразу, в первые дни, понять, что переживем истинную любовь. Но теперь я все исправлю. Сейчас первая наша проблема — твой завтрашний экзамен. А об остальном тебе сегодня не надо думать.

— Скажи, что будет потом.

— Давай встретимся завтра в «Доме милосердия», в два часа, как обычно, — голос мой задрожал, — после твоего экзамена. Тогда я тебе спокойно расскажу, что собираюсь делать потом. Если ты не будешь верить мне, никогда больше меня не увидишь.

— Нет. Я приду, если ты скажешь мне все сейчас. Касаясь ее роскошных плеч, восхищаясь ее медовым

цветом рук, я таял от сознания того, что завтра она снова придет ко мне и мы никогда не расстанемся; и в тот миг мне стало понятно: я должен сделать для нее все.

— Теперь никто не встанет между нами, — произнес я.

— Хорошо. Я приду завтра после экзамена. Надеюсь, ты не откажешься от своих слов и расскажешь, что намерен делать.

Я с любовью прижал руки к ее бедрам, оставаясь стоять с ней совершенно неподвижно, чуть покачиваясь в такт музыке, и постарался притянуть ее к себе. Она сопротивлялась, но это только еще больше меня завело. Потом я сдержался, так как она явно воспринимала попытки обнять ее перед всеми не проявлением любви, а, скорее, следствием воздействия алкоголя.

— Нам нужно сесть. На нас смотрят. — Она высвободилась из моих рук.

— Немедленно уходи домой и ложись спать, — прошептал ей я. — А на

экзамене думай о том, что я тебя очень люблю.

Вернувшись к нашему столику, я не увидел никого, кроме Османа и Беррин, с мрачным видом что-то обсуждавших.

— Ты хорошо себя чувствуешь?—спросила Беррин.

— Очень хорошо, — ответил я, глядя на неубранный стол и пустые стулья.

— Сибель не захотела танцевать. Кенан-бей отвел ее за стол «Сат-Сата». Они во что-то там играют.

— Хорошо, что ты потанцевал с Фюсун, — одобрил Осман. — Мама не права, что до сих пор не разговаривает с ними. И Фюсун, и остальные должны знать, что нашей семье небезразличны родственники, что мы забыли о том дурацком конкурсе. Я волнуюсь за девочку. She thinks she is too beautiful. Посмотри, как вызывающе она одета. За полгода Фюсун превратилась в настоящую женщину и уже ведет себя распущенно. Ей следует поскорее выйти замуж за приличного человека, иначе сначала про нее станут говорить плохое, и она будет несчастной. Что она сама думает?

— Завтра у нее вступительный экзамен в университет.

— И до сих пор танцует? Уже первый час ночи. — Он увидел, что я направляюсь в ту сторону. — Мне этот твой Кенан понравился. Вот пусть за него выходит.

— Мне им это передать? — крикнул я, удаляясь. С детства у меня вошло в привычку всегда злить брата и специально уходить, если он мне говорил что-то липшее.

Потом я много лет вспоминал, как был рад и счастлив, когда шел к дальним столам, где сидели сотрудники «Сат-Сата» и семья Фюсун. Ведь уладить все мне удалось уже сейчас, и спустя тринадцать часов сорок пять минут Фюсун придет ко мне снова. Предо мной, подобно сверкающему вдали огнями Босфору, расстилалась чудесная жизнь, в которой меня ждало лишь счастье. Я улыбался и обменивался любезностями с красивыми девушками, наряды которых пришли от танцев в приятный беспорядок, с гостями, решившими остаться до конца вечера, с друзьями детства и заботливыми тетушками, которых я знал уже тридцать лет. В глубине души я на всякий случай успокаивал себя, что если дело зайдет слишком далеко, то женюсь тогда не на Си-бель, а на Фюсун.

Сибель сидела за столом с моими подчиненными и участвовала в сеансе «призывания духов», в чем было больше воздействия паров алкоголя, нежели истинного спиритизма. Когда духи, которых призывали не слишком всерьез, так и не явились, все разошлись. Сибелъ осталась за опустевшим столом, рядом с Кенаном и Фюсун. Я подошел как раз, когда они беседовали. Кенан увидел, что я приближаюсь, и захотел увести Фюсун танцевать. Фюсун, заметившая меня, отказалась, сославшись на то, что ей жмет туфля. Начался быстрый танец, и Кенан пригласил другую девушку, словно главным для него было всего лишь весело провести время. За столом осталось свободное место между Сибелъ и Фюсун. И я сел именно туда, между ними. Жаль, что нас никто не сфотографировал в тот момент! Мне бы так хотелось показать посетителям моего музея эту фотографию!

Сибелъ и Фюсун, как две светские дамы, много лет знакомые друг с другом, чинно обсуждали проблемы спиритизма. Фюсун, которую я считал не очень све-дующей в религиозных вопросах, сказала, что души, конечно, существуют, но, когда мы, простые смертные, пытаемся заговорить с ними, совершаем страшный грех. Так, уточнила она, говорил ее отец, сидевший сейчас за соседним столом, на которого она изредка поглядывала.

— Однажды, три года назад, я не послушалась отца и от любопытства решила с одноклассницами по лицею устроить сеанс спиритизма, — продолжила Фюсун. — Не думая ни о чем, я написала на бумаге имя моего школьного приятеля Недждета, которого очень любила, но с которым мы потерялись... Душа человека, чье имя я

просто ради развлечения написала на бумаге, все-таки пришла, но я очень пожалела об этом.

— Почему?

— Чашка дрожала так, что сразу стало понятно: моему другу сейчас очень больно. Чашка продолжала трястись, и меня пронзило: Недждет хочет мне сказать о чем-то важном. А потом вдруг она остановилась. Все решили, что этот человек именно в сию секунду и умер... Откуда им было знать, интересно?

— Откуда же? — спросила Сибель.

— Тем же вечером я искала в шкафу потерявшуюся перчатку и вдруг нашла на дне ящика носовой платок, который много лет назад мне подарил Недждет. Может быть, то была случайность. Но мне так не показалось. Я вынесла из этого урок. Потеряв близких или любимых, не надо делать им больно, призывая их души. Гораздо лучшим утешением многие годы может служить какая-нибудь вещь, которая напоминает о них. Скажем, сережка...

— Фюсун, доченька, идем домой! — позвала тетя Несибе. — Завтра у тебя экзамен, а у отца глаза уже закрываются!

— Подожди, мама, — решительно ответила Фюсун.

— Я совершенно не верю в спиритизм, — пожала плечами Сибель. — Но обязательно пошла бы на такой сеанс, чтобы посмотреть, во что играют люди и чего они боятся.

— Если вы скучаете по любимому человеку, что вы предпочтете, — спросила Фюсун, — собрать друзей и призвать его душу или найти какую-нибудь его старую вещь, например пачку из-под его сигарет?

Пока Сибель раздумывала над изящным ответом, Фюсун внезапно встала, потянулась к соседнему стулу и, взяв сумку, положила ее перед нами. «Эта сумка напоминает мне о моем позоре. О стыде за то, что я продала вам подделку».

Я видел сумку на руке Фюсун, но не заметил, что она та самая, купленная мною. Но ведь мне ее продала Шенай-ханым, и когда я встретил Фюсун на улице, то отнес сумку в «Милосердие»! Она еще вчера лежала там. Как же получилось, что сейчас эта сумка объявилась здесь? Я растерялся, как зритель в цирке перед ловким фокусником.

— Вам очень она идет, — похвалила Сибель. — К вашему оранжевому платью, к шляпке, так что я даже позавидовала вам, когда увидела. И пожалела, что вернула сумку в магазин. Вы очень красивая.

Я понял, что у Шенай-ханым еще много таких сумок. Может быть, продав одну мне, она положила на витрину новую, а третью дала на вечер Фюсун.

— Когда вы поняли, что сумка поддельная, вы больше ни разу не пришли к нам в магазин, — сказала Фюсун, мило улыбнувшись Сибель. — Это меня расстроило, но, конечно, вы абсолютно правы. — Открыв сумку, она показала ее изнутри. — Наши умельцы отлично знают, как подделывать европейские марки. Но те, кто в этом разбирается, как вы, сразу видят копию. Я... — Внезапно она запнулась, замолчала, показалось даже, что едва сдерживает слезы. Однако, насупив брови, Фюсун начала произносить слова, которые, видимо, заготовила заранее: — Мне совершенно не важно, из Европы вещь или нет. Настоящая она или подделка, тоже не важно... Мне кажется, люди не любят поддельные вещи не из-за того, что они ненастоящие, а потому, что выглядят дешевыми. Для меня гораздо хуже — придавать значение не самой вещи, а ее марке. Например, есть такие, кто считает главным не свои чувства, но что другие об этом скажут... рут она взглянула на меня.) Я запомню надолго ваш вечер благодаря этой сумке. От всей души поздравляю вас! Вечер был просто незабываемым!

Она встала, моя красавица, и, пока мы пожимали ей руки, расцеловала нас обоих в щеки. Уже собираясь уходить, она заметила, что к столу приближается За-им,

повернулась к Сибель и спросила:

— Заим-бей ведь лучший друг вашего жениха, не так ли?

— Да, — кивнула Сибель.

Когда Фюсун удалялась под руку с отцом, Сибель недоуменно пожала плечами: «Почему она об этом спросила?» — но в ее словах не слышалось презрения. Можно было даже сказать, что Фюсун ей понравилась и произвела на нее впечатление.

Фюсун медленно удалялась, а я с любовью и восхищением смотрел ей вслед.

Заим сел рядом со мной:

— За столом твоей фирмы весь вечер шутили по поводу тебя и Сибель, — сказал он. — Хочу предупредить тебя как друг.

— Что значит «шутили», о чем шутили?

— В «Сат-Сате» каждый знает, что вы с Сибель по вечерам, когда все уходят, занимаетесь любовью на диване у тебя в кабинете... Шутили об этом. Кенан рассказал Фюсун. А Фюсун мне. Она страшно обижена.

— Что опять стряслось? — спросила подошедшая к нам Сибель. — Что тебя опять так расстроило?

25 Боль ожидания

Я не спал всю ночь. Меня душил страх потерять Фюсун. Ненадолго заснуть мне удалось только под утро. Едва открыв глаза, я побрился, вышел из дома и долго бродил по окрестным улицам. На обратном пути сделал крюк и прошел мимо Технического университета в Таш-кышла, здание которого было построено сто пятнадцать лет назад, где Фюсун сдавала экзамен. Перед большой дверью, откуда некогда выходили усатые османские генералы в фесках, посещавшие курсы военной подготовки, сейчас рядами сидели замотанные в платки мамаши и нервно курившие отцы, ожидая своих чад с экзамена. Я напрасно искал тетю Несибе в толпе родителей, читавших газеты, беседовавших либо, от нечего делать, просто смотревших на небо. В проемах между высокими окнами на каменных стенах до сих пор виднелись следы от пуль солдат «Армии действия», свергнувших шестьдесят шесть лет назад султана Абдул-Хамида. Глядя на эти высокие окна, я помолился Аллаху, чтобы он помог Фюсун ответить на все вопросы и чтобы после экзамена она, веселая и довольная, пришла ко мне в «Дом милосердия».

Но в тот день Фюсун не появилась. Я думал, она просто сердится на меня и все скоро уладится. С того момента, когда пробил наш час и яркое июньское солнце сквозь занавески хорошо прогрело комнату, минуло уже немало времени. Видеть пустую кровать было невыносимо, и я вышел побродить по улицам. Глядя на военных, коротавших воскресный день в парке, на детей, которые кормили с родителями голубей, и на всех, кто сидел на набережной, смотрел на пароходы и читал на скамейках газеты, я пытался убедить себя, что на следующий день Фюсун обязательно придет. Но она не пришла ни тогда, ни потом.

Каждый день в условленный час я ждал ее в «Доме милосердия». Решив, что будет еще больнее от того, что так долго длится ожидание, я появлялся не раньше чем без пяти два. Входил туда, дрожа от нетерпения. Первые десять-пятнадцать минут к боли, ощущавшейся где-то между сердцем и желудком, примешивалась надежда. Я не находил себе места, то и дело выглядывая из окон на улицу. Почему-то сразу бросилось в глаза, что у дома перед дверью висит ржавый фонарь. Я в очередной раз немного прибирал комнату, внимательно прислушиваясь к звукам в парадной, и иногда решительный стук чьих-то каблучков напоминал мне ее шаги. Но всякий раз проходили мимо, и я с болью понимал, что входной дверью, совсем как она, сейчас хлопнул кто-то другой.

Часы, сожженные спички и спичечные коробки, собранные в моем музее

воспоминаний, лучше меня расскажут, что я чувствовал те первые десять-пятнадцать минут, когда постепенно начинал понимать, что Фюсун не придет и сегодня. Боль во мне бушевала морским прибоем, и, меряя шагами комнату и поглядывая в окна, я иногда останавливался где-нибудь в углу, прислушиваясь к шуму его волн. В гробовой тишине квартиры яростно тикали часы, и я, надеясь отвлечься, принимался отсчитывать минуты и секунды. Когда приближался назначенный час нашей встречи, во мне отчего-то, как весенний цветок, распускалась надежда, и мне казалось, что сегодня она обязательно появится, уже близко. В такие минуты мне хотелось, чтобы время летело стремглав. Но злосчастные пять минут никогда не кончались. Однажды я честно признался, что обманываю себя и на самом деле мне не хочется, чтобы эти пять минут прошли, потому что Фюсун, наверное, больше никогда не откроет дверь «Дома милосердия». Когда наступало ровно два часа, я не мог понять, радоваться ли мне, что наступил час нашего свидания, или расстраиваться, потому что с каждой минутой вероятность появления Фюсун становилась меньше. Я, словно путешественник, грустно глядя с палубы отплывающего корабля на отдаляющуюся пристань, сознавал, что каждая прошедшая секунда удаляет меня от моей возлюбленной, и пытался убедить себя, будто на самом деле прошло не так уж много времени, стараясь мысленно соединять секунды и минуты в небольшие отрезки. Я решил, что расстраиваться следует не каждое мгновение, а лишь раз в пять минут. Так я переносил боль, которую мог бы ощущать постоянно, на последнюю, пятую минуту. Когда отрицать, что и та канула в небытие, становилось невозможным, то есть когда ее опоздание превращалось в реальность, которую приходилось признавать, боль впивалась в меня шипами. И я карабкался по лестнице памяти, твердя, что Фюсун всегда опаздывала на наши встречи на пять-десять минут (мне уже было не понять, правда ли это), и в каждые из последовавших пять минут испытывал чуть меньше страдания, но все равно с надеждой мечтал, что сейчас раздастся звонок в дверь и я увижу ее в своих объятиях. Сначала, конечно, изображу обиду за то, что она не приходила в предыдущие дни. А может быть, прошу ее, как только увижу. К этим беспорядочным фантазиям примешивались воспоминания, и тогда попавшаяся мне на глаза чашка, из которой Фюсун пила чай в нашу первую встречу, или маленькая вазочка, которую она случайно взяла в руку, когда с любопытством обходила квартиру, восстанавливали въяве мгновения, проведенные с ней. Проходило еще пять минут потом еще пять, затем десять, а я все отказывался сознавать и, ощущая безысходность, разумом вынуждал себя смириться с тем, что Фюсун не придет, ни сегодня, ни завтра, и тогда боль становилась такой нестерпимо сильной, что, не выдержав ее, я падал, точно больной, на нашу постель.

26 Где возникает любовная боль?

Мне захотелось поместить в своем музее схему строения человека с рекламы обезболивающего средства «парадизон», продававшегося в те дни в стамбульских аптеках, чтобы посетители понимали, где возникала, обострялась и как распространялась по моему телу любовная боль. Появляется она (и в тот момент терпеть ее особенно трудно) слева, над желудком. Уиливаясь, боль мгновенно заполняет грудную полость, перебираясь, таким образом, с левой части груди на правую. Мне казалось, что в меня вкрутили отвертку или воткнули острый гвоздь и теперь железный штырь раздирает мне внутренности. Будто у меня внутри, из желудка, разливается концентрированная кислота либо меня жалят крохотные медузы. Растекаясь по телу, боль захватывала все новые пространства, просачиваясь в голову, в затылок, в спину, в мечты, в фантазии, в воспоминания. Она душила меня. Иногда собиралась комком на животе, прямо у пупка, и, словно едкая жидкость, перетекала к горлу, в рот, — мне становилось страшно, что она меня убьет,

у меня ньшо все тело, а я стонал от муки. Боль на мгновение стихала, если я бил кулаком по стене, старался присесть или отжаться, выполнить любое физическое упражнение, но лишь затем, чтобы вскоре нахлынуть с новой силой. Даже в те минуты, когда она усмирялась, ее крохотные капли продолжали просачиваться мне в кровь, будто вода из неисправного крана. Иногда боль достигала глотки, и мне делалось трудно глотать; иногда переходила на спину, на плечи, в руки. Но источник ее всегда находился над желудком, возникала она всегда именно там.

Несмотря на все материальные и физические признаки, я знал, что боль эта связана с сознанием и душой, однако мне никак не удавалось навести у себя в голове порядок, необходимый, чтобы избавиться от нее. Так как раньше со мной никогда не бывало ничего подобного, я по-настоящему растерялся, как самонадеянный капитан, впервые попавший в шторм. Каждый день я придумывал множество причин, почему Фюсун обязательно должна была прийти в «Дом милосердия». От этого боль делалась более-менее терпимой, а надежда теплилась опять.

В те редкие минуты, когда у меня хватало сил хладнокровно рассуждать, я полагал, что она обиделась и решила меня наказать не столько за помолвку, сколько за то, что я скрывал от нее наши встречи с Сибель, либо что она узнала, какие я плел на помолвке интриги, пытаясь держать ее подальше от Кенана, либо за то, что никак не мог найти ее сережку. Но я всем сердцем чувствовал: назначенное ею наказание мне было не меньшим и для нее самой — ведь мы были невероятно счастливы, и ей сейчас так же плохо, как и мне. Надо смириться с болью, терпеливо переносить ее, стиснуть зубы, зато, когда мы встретимся, я буду точно знать, что она чувствует то же самое. Стоило мне об этом подумать, как я кусал локти, зачем из-за ревности отправил им приглашение на помолвку, почему никак не мог найти и вернуть ей потерянную сережку, не мог уделять ей больше времени и почаще заниматься с ней математикой, отчего не приехал к ней домой на ужин и не привез наш велосипед. Боль раскаяния скрывалась глубже и длилась меньше, но ощущалась почему-то в икрах, коленях, а также в легких и странным образом лишала меня физических сил. Когда их не оставалось совсем, я падал ничком на кровать.

Иногда я думал, что она неудачно сдала экзамен и поэтому сердится. А потом опять принимался клясть себя и фантазировал, как я снова подолгу занимаюсь с ней математикой. От этих видений боль постепенно отстранялась. Фантазии переплетались со счастливыми воспоминаниями о проведенных вместе минутах; потом меня подначивало, что она не сдержала обещания прийти ко мне сразу после экзамена, данного во время танца на помолвке, и я начинал сердиться на нее за то, что она даже не попыталась извиниться. К этому примешивалась обида за другие ее незначительные проступки, например, за попытку заставить меня ревновать, за желание узнать сплетни от сотрудников «Сат-Сата», и у меня появлялась надежда, что обида поможет мне забыть ее и безропотно принять ее наказание.

Когда наступила пятница первой недели после помолвки, время подобралось к половине третьего, а Фю-сун так и не появилась, я сдался, несмотря на все мелкие обиды, появлявшуюся и снова гасшую надежду, а также другие доводы, которые непрестанно искал для самообмана. Гнетущая, смертоносная боль терзала меня, как дикое животное, которому нет дела до страданий жертвы. Я лежал на кровати, точно труп, вдыхал исходивший от простыней аромат ее кожи, вспоминал наши ласки шесть дней назад и пытался понять, как мне теперь жить без нее. Вдруг во мне откуда-то поднялись неодолимая ревность и ярость. Я представил, что Фюсун уже нашла себе другого. Теперь боль ревности смешалась с любовной, и обе они, словно бурная горная река, захватили и понесли меня к истинной катастрофе. Хотя эта постыдная мысль, выдававшая мою слабость, иногда посещала меня и прежде, сейчас мне никак не удавалось остановиться. Я считал, что она давно нашла мне замену в лице Кенана, теперь моего заклятого врага, или Тургай-бея, или даже Заима,

или кого-то еще из своих многочисленных поклонников. Девушка, которая так любит физическую сторону любви, непременно захочет повторить это с кем-нибудь другим. К тому же ее обида на меня могла толкнуть ее к мести. Хотя краешком ума, сохранявшим еще способность здраво рассуждать, сознавая, что испытываю самую обычную ревность, я сдался даже этому чувству, молниеносно завладевшему мной. Меня вдруг осенило, что если я немедленно не пойду в бутик «Шанзелизе» и не увижу ее, то умру от обиды, ревности и ярости, и сразу выбежал из дома.

Помню, как шагал с надеждой, от которой быстрее колотилось мое сердце, по проспекту Тешвикие, будто спешу на важную встречу. Поглощенный мыслью немедленно ее увидеть, я даже не подумал о том, что ей скажу. Знал лишь наверняка, боль успокоится, пусть даже на мгновение. Она должна выслушать меня, разве мы не условились обо всем, когда танцевали, нам надо пойти куда-нибудь поговорить...

Когда на двери бутика «Шанзелизе» прозвенел колокольчик, у меня защемило сердце. Канарейки не было. Я сразу понял, Фюсун нет, но от страха и безысходности пытался убедить себя, что она спряталась.

— Здравствуйте, Кемаль-бей, — радушно заулыбалась Шенай-ханым.

— Хочу взглянуть на вечернюю сумочку с белыми вышитыми цветами, которая у вас на витрине, — пробормотал я.

— Да, хорошая сумочка! — подтвердила Шенай-ханым. — Вы так внимательны. Первый замечаете, когда в магазине появляется что-нибудь стоящее, и первый приходите. Ее совсем недавно привезли из Парижа. Ремень на клипсах. Внутри — кошелек и зеркальце. Ручная работа. — Она медленно подошла к витрине, достала сумочку и продолжала ее нахваливать.

Я незаметно бросил взгляд в сторону служебной комнаты, вход в которую закрывала занавеска. Фюсун не было. Я сделал вид, что внимательно рассматриваю изящную вещицу, и даже не попытался снизить немыслимо высокую цену, которую ведьма установила за нее. Пока она заворачивала сумку, Шенай-ханым сказала, что все говорят о нашей с Сибель прекрасной помолвке. Чтобы отвлечь ее, я попросил завернуть мне еще пару попавшихся на глаза запонок. Увидев, как просияло ее лицо, я, осмелев, спросил:

— А что с этой... с нашей родственницей? Ее сегодня нет?

— А-а, так вы не знаете? Фюсун почему-то бросила работу.

— В самом деле?..

Ведьма сразу почувствовала, что я пришел из-за Фюсун, поняла, что мы больше не встречаемся, и, пытаясь догадаться о причинах расставания, уставилась на меня.

Я сдержался и ни о чем больше спрашивать не стал. Несмотря на бешеную боль, хладнокровно опустил левую руку в карман, чтобы она не заметила, что я не ношу кольцо жениха. Отдавая ей деньги, я увидел в ее лице неожиданную нежность. Казалось, нас обоих сблизила внезапная потеря Фюсун. Еще не до конца поверив, что ее нет, опять посмотрел в сторону служебной комнаты.

— Да, вот так, — вздохнула Шенай-ханым. — Нынешняя молодежь не любит зарабатывать трудом; хочет, чтобы деньги доставались за просто так. — Последние ее слова нестерпимым образом усилили мою ревность.

Мне удалось скрыть страдания от Сибель. Замечавшая малейшее изменение моего настроения, любую тень, промелькнувшую по моему лицу, каждый новый жест, в первые дни она ни о чем меня не спрашивала и только через три дня после помолвки, за ужином, когда я мучился от любовной боли, разливавшейся от живота к сердцу и от затылка к ногам, мягко напомнила мне, что я слишком много пью, и внезапно спросила: «Что происходит, милый?» Я объяснил, что меня измучили рабочие ссоры с братом. Вечером пятницы первой недели после помолвки я думал, что сейчас делает Фюсун, как вдруг Сибель опять задала тот же вопрос, но я опять сумел сочинить невероятную историю про нас с братом. (Скрытая геометрия жизни,

воплощающая мудрость Аллаха, проявилась в том, что все мною выдуманное произошло несколько лет спустя.) «Не обращай внимания, — улыбнулась Сибель. — Рассказать тебе, что только не придумывают Мехмед и Заим, лишь бы на пикнике в воскресенье понравиться Нурджихан?»

27 Слезай, упадешь!

Корзинка для пикника, сохраненная мной для музея, символизировала традиционные развлечения стамбульского высшего общества, навеянные французскими журналами по домоводству, которыми зачитывались Сибель с Нурджихан. В то воскресное утро мы положили в корзинку термос с чаем, пластмассовую коробочку с долмой, приготовленной на оливковом масле, яйца вкрутую, бутылки с лимонадом «Мельтем» и роскошное покрывало, принадлежавшее некогда бабушке Заима. Всей компанией мы поехали на фабрику Заима, в Буюк-дере на берегу Босфора, где и выпускался лимонад «Мельтем».

Стены фабричных зданий были обклеены огромными плакатами с портретами Инге, исписанными всякими националистическими лозунгами. Заим провел нам экскурсию по цехам, где безмолвные работницы в голубых передничках и платочках под руководством бойких, веселых бригадиров управляли процессом мытья бутылок и розлива. (На фабрике, снабжавшей лимонадом весь Стамбул, работало всего шестьдесят два человека.) Я же слегка скучал в этой вольной обстановке, глядя на чересчур «иностранные» наряды Нурджихан и Сибель — кожаные сапоги и джинсы с широкими ремнями, — и шатался усмирить свое сердце, бесшумно выбивавшее: «Фюсун, Фюсун, Фюсун».

После этого мы расселись по двум машинам и направились в Белградский лес; подражая европейцам, расположились на обращенной к Босфору лужайке, как на картинах европейского художника Меллинга, созданных сто семьдесят лет назад. Помню, около полудня лежал на траве и смотрел в ярко-голубое небо. Меня поразили красота и изящество Сибель, пытавшейся вместе с Заимом соорудить из новехонькой веревки качели наподобие тех, что рисовали в садах на восточных миниатюрах. Потом мы играли с Мехмедом и Нурджихан в домино. Я вдыхал аромат земли, благоухание сосен и роз, доносившееся прохладным воздухом с берега большого озера, раскинувшегося перед нами, и думал, сколь велика милость Аллаха — чудесная жизнь, что ожидает меня, — и какой глупостью, недоразумением и даже грехом являются любовные страдания, столь несправедливо терзавшие мне душу и тело, словно смертельная, неизлечимая болезнь. Меня терзал стыд от того, что я так страдаю, не видя Фюсун. Это умаляло мою веру в себя, и собственная слабость лишь усиливала ревность. Я был рад присутствию Заима, который, пока Мехмед накрывал на стол, удалился с Нурджихан под предлогом сбора ежевики, — значит, он не встречается с Фюсун. Это, конечно, не отменяло возможность ее интрижки с Кенаном или кем-нибудь другим. В яркие моменты жизни мне удавалось не думать о Фюсун: за дружеской беседой, во время игры в мяч или когда я, открывая консервы, глубоко порезал безымянный палец левой руки, на котором красовалось обручальное кольцо, и оказался весь в крови. Кровь никак не останавливалась. Может, потому, что в нее попал яд любви? В какой-то момент я, рассеянный влюбленный, уселся на качели и принялся раскачиваться изо всех сил. Качели взмывали вверх и летели вниз, и тогда боль моя немного стихала. Длинные веревки скрипели, и, пока качели со мной чертили в воздухе огромную дугу, я опускал голову к земле — в этот миг мне становилось чуть легче.

— Что ты делаешь, Кемаль?! — кричала Сибель. — Слезай, упадешь!

Когда полуденное солнце прогрело даже основания стволов огромных тенистых платанов, я сказал Сибель, что мне нехорошо, кровь никак не останавливается и

надо ехать в Американский госпиталь, чтобы мне там зашили палец. Она растерялась. Посмотрев на меня своими огромными глазами, поинтересовалась, нельзя ли подождать до вечера? И еще раз попыталась остановить мне кровь. Признаюсь, чтобы рана не затягивалась, я все время тайком расковыривал ее. А Сибель сказал: «Не хочу портить тебе настроение, дорогая. Оставайся с друзьями и развлекайся. Будет стыдно, если мы оба уедем. Вечером они привезут тебя в город». — «Да что же с тобой?» — прошептала моя невеста, чувствуя, что дело гораздо серьезнее порезанного пальца. Помню, она смотрела на меня, пока я шел к машине. В ее глазах не исчезли ни тревога, ни растерянность. Мне было стыдно. Как хотелось обнять ее тогда и забыть о своей проклятой страсти, о своей ядовитой боли или, наоборот, взять и рассказать ей обо всем! Но вместо этого я, не проронив даже слова на прощание, словно бредущий в тумане, молча уселся за руль. Даже Заим, собиравший с Нурджихан ежевику, почувствовал неладное и направился ко мне. Мне показалось, что, если посмотрю Заиму в глаза, он сразу догадается, куда я уезжаю.

В тот солнечный, жаркий летний день я, как безумный, домчался от парка до Нишанташи за сорок пять минут. Всякий раз нажимая на газ, все больше верил в то, что Фюсун придет в «Дом милосердия» именно сегодня. Разве между нашей встречей и первым свиданием не пролетело несколько дней? Припарковав машину, я побежал наверх, как вдруг меня окликнула какая-то женщина:

— Кемаль-бей! Кемаль-бей! Вам везет!

— Что? — обернулся я, пытаясь понять, кто это говорит.

— Помните, на помолвке вы сели к нам за стол, и мы с вами поспорили, чем кончится сериал «Беглец»? Вы выиграли, Кемаль-бей! Доктор Кимбл сумел доказать свою невиновность!

— А, в самом деле?

— Когда придете за выигрышем?

— Потом, — крикнул я, убегая.

То был добрый знак. Счастливый конец, о котором сказала женщина, верный признак, что Фюсун непременно придет сейчас, через четырнадцать минут. Представляя, как заключу ее в объятия, я дрожащими руками открыл дверь.

28 Вещи умеют утешать

Прошло сорок пять минут, Фюсун так и не пришла, а я, полумертвый, лежал на кровати и внимательно, беспомощно, как раненое животное, прислушивался к собственному телу и к разливавшейся по нему боли. В те дни она стала особенно терзающей. Болело уже все тело. Я чувствовал, что нужно подняться с кровати, как-то отвлечься, что надо бежать, спасаться отсюда, из этой комнаты, от этих простыней и подушки, пахших ее кожей. Но не мог пошевелиться.

Сейчас я очень жалел, что не остался на пикнике со всеми. Сибель заметила странные перемены, уже неделю я не проявлял к ней интереса, но понять, что со мной, она не могла, спросить же не решалась. А мне сейчас так не хватало ее нежности и чуткости. Только она сумела бы меня спасти. Но где взять силы не то. чтобы сесть в машину и вернуться обратно, хотя бы просто двинуться с места? И сбежать от боли, залившей мне живот, спину и даже ноги, боли, от которой невозможно дышать? У меня не было сил, чтобы как-то ее облегчить. Я к тому же сознавал и свою беспомощность, поэтому чувство поражения усилилось, что рождало другую боль — боль раскаяния, такую же острую и глубокую. Странное чувство шептало, будто я смогу вернуть Фюсун, если стану жить, приняв боль, хотя она разрывала мне сердце, и если, как закрывающийся на ночь цветок, затаю ее. Где-то в тайниках сознания правда взывала не доверяться самообману, но я не мог удержаться от веры в него. (Да и если я уйду отсюда, она, может быть, придет и не

застанет меня.)

Иногда, пока крохотные взрывы боли обжигали мне, точно кислота, вены и кости, поражали спину, сковывали ноги, меня ненадолго отвлекало какое-нибудь из множества воспоминаний. Иногда его хватало на десять-пятнадцать минут, иногда — на одну-две секунды. Но после каждого из них в пустоте настоящего времени оставалось еще больше боли, и эту пустоту тут же наполняла новая, сокрушительная волна страдания. Чтобы вновь избавиться от нее, я интуитивно брал в руки вещи, полные общих воспоминаний, полные памяти о ней. Я вдыхал запах этих предметов, пробовал их на вкус и чувствовал, как боль вновь понемногу отступает. Сладкие лепешки с изюмом и грецкими орехами, которые в те времена выпекали в кондитерских Нишанташи и которые я покупал для Фюсун, так как она их очень любила, напоминали мне наши веселые разговоры, и это немного ободряло меня. (Например, как-то раз, откусывая лепешку, Фюсун сказала, что жена привратника «Дома милосердия» полагает, будто она посещает зубного врача, у которого кабинет на последнем этаже.) А однажды взяла старое мамино ручное зеркальце, которое нашла в одном из шкафов, и, поднеся его к губам, как микрофон, изображала ведущего того конкурса красоты, в котором участвовала,—певца Хакана Серинкана. В другой раз мы обнаружили в шкафу нашу общую детскую игрушку — космический пистолет. Мы носились по квартире и стреляли из него, а потом со смехом искали в перевернутой вверх дном комнате улетевшую неизвестно куда стрелу.

Я брал в руки каждую из этих вещей, переживал исполнившиеся счастливые мгновения и находил с ними утешение. Однажды, в одной из пауз, в последние дни омрачавших нашу радость, хотя мы всегда были счастливы вдвоем, Фюсун взяла сахарницу, которая потом оказалась в моем музее терзаний, и внезапно спросила: «Ты хотел бы познакомиться со мной до Сибель-ханым?» Я продолжал лежать в кровати, так как знал, что, когда кончится утешительное воздействие воспоминаний, от невыносимой боли, последующей вслед за тем, не смогу устоять на ногах, и чем дольше лежал, тем больше воспоминаний оживляло предметы, окружавшие меня.

У изголовья кровати стояла тумбочка, на которую Фюсун аккуратно положила сережки, когда мы были близки в первый раз. Еще неделю назад я заметил, что на тумбочке стоит пепельница, а в ней—окурок сигареты, оставленный Фюсун. Я взял его, вдохнул резкий запах, зажал губами, собирался зажечь и докурить (и на мгновение с любовью представить, что превратился в нее), но, решив, что тогда от него ничего не останется, передумал. Мятым фильтром, которого касались ее губы, я легонько, как внимательная медсестра, перевязывающая рану, водил по щекам, под глазами, по лбу и по шее. Словно по волшебству, оживали дальние счастливые страны, сцены райской жизни, картины детства, когда мама ласкала меня и Фатьма-ханым на руках носила в мечеть Тешвикие. Но сразу после этого боль опять принималась неистовствовать, словно бушующее море.

Было около пяти вечера, однако я по-прежнему не вставал. Мне вспомнилось, как после смерти дедушки, чтобы пережить утрату, бабушка поменяла не только кровать, но и всю обстановку спальни. Вот и мне нужно проявить волю и избавиться от этой кровати, этой комнаты и этих приятно пахших старых вещей, пропитавшихся запахом любви. Только поступить хотелось наоборот — покрепче обнять их и не отпускать. Либо я заметил, что вещи умеют утешать, либо был намного слабее своей *бабушки.* Доносившиеся со двора крики и ругань мальчишек заставили меня лежать в кровати до позднего вечера. Я вернулся домой, когда совсем стемнело, выпил три стакана ракы и лишь после звонка Сибель, спросившей о ране, заметил, что та давно затянулась.

Я приходил в старую квартиру каждый день в два часа. Так продолжалось до середины июля. Убеждаясь все более и более, что Фюсун не появится, ощущал, как боль чуть ослабевала, и надеялся потихоньку привыкнуть жить несбывшимся

ожиданием. Но это оказалось не так. Отвлекали меня только вещи, напоминавшие о пережитом счастье. К концу первой недели после помолвки мысли о Фюсун захватили значительную часть моего сознания; то расширяясь, то сжимаясь, боль, если говорить языком математики, в сумме не уменьшалась и даже возрастала.

Два часа, которые тянулись, не достигая вечности, я, как правило, лежал в нашей кровати и предавался мечтам или, пытаясь усмирить боль, брал и водил по лицу, по лбу, по шее каким-нибудь предметом, призрачно светившимся счастьем общих воспоминаний. Игрушечный пистолет... Старые щипцы для орехов... Часы с балериной, которые тогда еще пахли кожей ее рук, потому что однажды она долго пыталась их завести... Через два часа, то есть когда мы обычно просыпались после бархатного соития, я пытался вернуться к обычной жизни, разбитый и усталый от боли.

Свет жизни померк. Сибель, которой я теперь был не в состоянии демонстрировать мужскую силу (ей я что-то врал, будто в конторе все знают, чем мы занимались по вечерам у меня в кабинете), считала мою безымянную болезнь проявлением обычного, свойственного мужчинам, предсвадебного волнения или особым, еще не изученным, видом меланхолии, принимала это с восхищавшей меня мудростью и спокойствием и была со мной крайне нежна, втайне виня себя за то, что никак не может избавить меня от страданий. Я тоже старался ответить ей нежностью. Мы ходили по ресторанам, в которые до сих пор никогда не заглядывали, с какими-то новыми приятелями, появившимися у меня в последние дни. Продолжали бывать в ночных клубах на Босфоре, куда летом 1975 года состоятельные стамбульцы захаживали только затем, чтобы продемонстрировать друг другу, сколь они богаты и счастливы. Не пропускали приемы да подтрунивали над Нурджихан — я всегда с оттенком глубокого уважения, — которая никак не могла выбрать между Заимом и Мехмедом. Счастьем для меня теперь стало не только оставаться тем, кем я был по воле Аллаха от рождения, и владеть принадлежавшим мне по праву, без усилий; счастье оказалось теперь для меня милостью небес, которую везучим, благоразумным и осторожным людям, добыв однажды тяжким трудом, удавалось сохранить. Однажды вечером в недавно открывшемся у маленькой пристани на Босфоре баре «Лунный свет» я пил в одиночестве красное вино «Газель» (Сибель и остальные весело болтали за другим столом) и в этот момент увидел Тургай-бея. Сердце мое заколотилось, будто передо мной возникла Фюсун, и меня охватила жгучая ревность.

29 Теперь я каждую минуту думал о ней

Однако, когда Тургай-бей отвернулся, вместо того чтобы, по обыкновению, вежливо и церемонно улыбнуться, это неожиданно задело меня. С одной стороны, я знал причину его обиды — он не получил приглашения на нашу помолвку. С другой, рассудок помрачила более тягостная мысль: Фюсун, желая отомстить мне, вернулась к Тургаю. Мне захотелось в лоб спросить его, почему он отворачивается. Кто знает, не встречался ли он сегодня с Фюсун на какой-нибудь тайной квартире в Шишли? Я выходил из себя только потому, что он просто-напросто видел Фюсун и разговаривал с ней. То, что он был влюблен в нее задолго до меня, то, что когда-то пережил из-за нее такую же боль, от какой сейчас изнывала моя душа, и смягчало гнев, и усиливало его. В баре я изрядно выпил. Потом, обняв Сибель, которая с каждым днем проявляла все больше терпения и нежности, потанцевал под песню Пеппино ди Капри «Печаль».

Проснувшись на следующее утро с головой, налитой свинцом, я понял, что ревность, которую накануне мне удалось несколько усмирить с помощью алкоголя, накатывает опять, и с тревогой осознал, что боль не думает отступать, а гнетущее

ощущение безысходности лишь нарастает. Шагая тем утром к «Сат-Сату» (Инге все так же игриво улыбалась мне со стены), пытаясь закопаться в дела, я в итоге был вынужден признать, что за прошедшие дни боль даже усилилась и, вместо того чтобы забыть Фюсун, я думаю о ней все чаще и дольше.

Время не стирало моих воспоминаний, как я молил о том Аллаха, не делало боль терпимее. Каждый день я надеялся, что завтра мне станет лучше, что удастся забыть ее хоть ненадолго, но боль в груди не ослабевала и продолжала наполнять мраком мою душу, точно зажигалась какая-то черная лампа. Как бы мне хотелось верить, что со временем я смогу забыть Фюсун! Но пока я думал о ней почти каждую минуту, точнее—постоянно. Лишь в редкие мгновения мне удавалось забыть о ней. Да и то после секундного забвения черная лампа опять наполняла меня своим мрачным светом. Боль отравляла, мешала дышать, превращала мою жизнь в кошмар.

В самые трудные минуты мне хотелось пойти куда-нибудь, разыскать Фюсун и поговорить с ней или поругаться с теми, к кому я так яростно ее ревновал. Всякий раз при виде Кенана меня охватывал шквал ярости. Я понимал, что Фюсун не встречается с Кенаном, но, чтобы возненавидеть его, мне хватало того, что он ухаживал за ней на помолвке, а Фюсун, наверное, это бьшо приятно—лишь бы заставить меня ревновать. Как-то раз я поймал себя на том, что ищу предлог уволить его.

Теперь было ясно, какой пронырливый и коварный этот Кенан. Мне удалось успокоиться, только когда я подумал, что во время обеденного перерыва опять пойду в «Дом милосердия» и, пусть со слабой надеждой, буду ждать там Фюсун. Она не пришла и в тот день, и мне вдруг стало ясно, что больше терпеть боль я не могу; она ведь и завтра тоже не появится, а мне будет еще хуже. Еще одна губительная мысль не давала мне покоя: как сама Фюсун терпит боль, что мучила меня, пусть хотя бы и немного меньшую? Наверняка она тут же нашла себе другого. Иначе бы не вынесла. Должно быть, сейчас она испытывает с другим мужчиной наслаждение, о котором узнала всего семьдесят четыре дня назад. А я, как дурак, каждый день жду ее в нашей кровати, полумертвый от горя. Нет, не как дурак: ведь это она меня обманула. Когда мы были счастливы и, обнявшись, танцевали на моей помолвке, хотя это, наверное, выглядело со стороны странным, именно она сказала, что придет ко мне на следующий день после экзамена. Если она обиделась на меня за помолвку и решила со мной расстаться, тогда почему обманывала меня? Боль превращалась в острое желание высказать ей все. Или хотя бы то, что она ошиблась. Я опять собрался мысленно поругаться с Фюсун, как делал, забывшись, уже не раз. К этому спору, словно картинка утраченного рая, примешались бы воспоминания о незабвенных минутах, проведенных с ней. От этого мне снова станет легче, а потом появятся новые доводы и я опять буду спорить с ней. Почему она не сказала мне в лицо, что бросает меня? Если плохо сдала экзамен, я в этом не виноват! Если собиралась меня бросить, я должен был об этом знать! Разве она не говорила, что будет всегда, всю жизнь, встречаться со мной? Почему не дала мне последний шанс?! Мне следовало немедленно найти и вернуть ей сережку. Неужели она думает, что кто-то другой сможет любить ее так, как я? Я вскочил с кровати и выбежал на улицу, полный решимости немедленно поговорить с ней.

30 Фюсун больше нет

Я почти бежал к их дому. Дошел до угла, где была лавка Алааддина, и уже там ощутил огромное счастье от того, что мне предстоит скоро пережить, когда я увижу ее. Улыбнувшись коту, дремавшему в тени на июльской жаре, вдруг поймал себя на мысли, почему же мне раньше не приходило в голову пойти к ним домой. В верхней

левой части груди боль уменьшилась, исчезли слабость в ногах и тяжесть в спине. По мере того как я приближался к их дому, усиливались опасения, что ее там нет, и от этого сердце билось быстрей. Что я скажу ей? А если выйдет ее мать, как быть? В какой-то момент я решил вернуться и захватить наш детский велосипед. Но потом подумал, что, стоит нам увидеть друг друга, никакие предлоги не понадобятся. Точно привидение, вошел я в прохладную парадную маленького дома на улице Куйулу Бостан и, поднявшись на второй этаж, позвонил в дверь. Любопытные посетители музея могут нажать на кнопку щебетавшего по-птичьи звонка, тогда весьма популярного в Турции, и представить, как забилось мое сердце от его трелей.

Дверь открыла тетя Несибе и сначала недовольно посмотрела на грустного человека, возникшего перед ней в полумраке, приняв его за непрошеного разносчика. Потом узнала меня, и лицо ее озарилось улыбкой. Это меня обнадежило, и боль в груди еще немного ослабла.

—А-а, Кемаль-бей! Здравствуйте, входите!

— Мимо шел, вот решил зайти, тетя Несибе, —произнес я, совсем как простодушный и смелый сосед из радиоспектаклей, которыми заслушивалась вся Турция. — Я на днях заметил, что Фюсун бросила работу в магазине. Что случилось? Она ни разу не звонила мне. Как прошел экзамен у нашей девочки?

— Ах, Кемаль-бей, входи, сынок... Потолкуем, повздыхаем. ..

Не желая сознавать намека, заключавшегося в слове «повздыхаем», я медленно переступил порог полутемной маленькой квартирки, где моя мать не была ни разу за годы родства, близкого соседства и дружбы. Покрытые чехлами кресла, стол, буфет, сахарница, хрустальный сервиз, спящая на телевизоре фарфоровая собачка... Все эти предметы были прекрасны, потому что именно они принимали участие в формировании прекрасного существа по имени Фюсун. Я увидел портновские ножницы в углу, обрезки ткани, разноцветные нитки, булавки и наметанное платье. Значит, тетя Не-сибе по-прежнему шила на заказ. Дома ли Фюсун? Наверное, ее нет. Тетя смотрела на меня выжидающе, как торговец на рьшке, что придавало мне некоторую надежду.

— Садись, пожалуйста, Кемаль, — сказала она. — Я тебе сейчас кофе сварю. Посиди немного. Отдохни. Принести тебе холодной воды?

— Фюсун нет дома? — Нетерпеливые слова вылетели из моего рта, как птица из клетки. В горле пересохло.

— Н-е-т, — вздохнула тетя так, будто что-то случилось. — Вам кофе покрепче? — добавила она, внезапно перейдя на «вы».

— Средний!

Сейчас, много лет спустя, я понимаю, что она ушла на кухню, чтобы обдумать ответ. Но в тот момент голова моя была так одурманена ароматом Фюсун, витавшим в ее доме повсюду, и надеждой все же увидеть ее, что я не догадывался ни о чем, хотя все мои рецепторы приобрели необыкновенную чувствительность. Нетерпеливые трели кенара, знакомого мне по бутику «Шан-зелизе», успокаивающе, точно бальзам, действовали на любовную рану и совершенно лишили меня способности соображать. На маленьком столике передо мной лежала тонкая деревянная тридцатисантиметровая линейка, которую я дарил Фюсун для занятий математикой (согласно последующим моим расчетам, в седьмую нашу встречу). Ясно, что этой линейкой пользовалась во время шитья тетя Несибе. Я взял линейку, поднес ее к лицу и вспомнил аромат Фюсун. Она будто появилась у меня перед глазами, которые уже увлажнили слезы. Быстро спрятав линейку к себе в карман, я посмотрел на возвращающуюся из кухни тетю Несибе.

Она поставила кофе передо мной и села напротив. Закурила, напомнив мне свою дочь, и вздохнула: «Плохо экзамен у Фюсун прошел, Кемаль-бей». Пока она ходила на кухню, там, видимо, решила, как ко мне обращаться. «Очень расстроилась

наша девочка. Выбежала на середине, вся в слезах. Мы даже результаты не стали узнавать. Сильно потрясена была. Теперь бедная моя детка никогда не поступит в университет. С горя даже работу бросила. Ваши уроки математики очень ее измучили. Вы так обидели ее. И на помолвке она тоже страдала. Вы, должно быть, знаете обо всем... Все так смешалось. Конечно, тут не только ваша вина... Но она же очень молодая, совсем еще ребенок. Недавно только восемнадцать исполнилось. Ей было больно. Отец взял да и увез ее, далеко-далеко. Очень далеко. Вы теперь ее забудьте. А она забудет вас».

Двадцать минут спустя, в нашей кровати в «Доме милосердия», я смотрел на потолок, чувствуя, как медленные, скупые слезы чертят у меня на щеках кривые линии, и тут мне вспомнилась та линейка, ставшая затем одним из первых экспонатов моего музея. Похожей я пользовался в детстве, поэтому, наверное, и подарил такую же Фюсун. Предмет, теперь напоминавший мне ее. Я медленно засунул в рот конец линейки и долго не выпускал ее. У дерева оказался горьковатый привкус. Я пролежал так в кровати два часа. Линейка помогла мне почувствовать себя счастливым, будто и в самом деле рядом со мной была Фюсун.

31 Улицы напоминали мне о ней

Теперь я понимал, что никогда не сумею вернуться к обычной, нормальной жизни, если не составлю план действий, чтобы ее забыть. Даже самые рассеянные сотрудники «Сат-Сата» замечали, какая черная тоска обуяла их молодого директора. Мать то и дело пыталась расспросить меня, решив, что мы поссорились с Сибель, а во время редких ужинов всей семьей даже отец просил меня не пить много. Недоумение и огорчение Сибель усиливались параллельно моей боли, и все приближало меня к срыву, которого боялся я сам. Мне было страшно потерять поддержку своей невесты, столь необходимую для спасения, и оказаться полностью поверженным.

Сделав над собой усилие, я запретил себе бывать в «Доме милосердия». Устанавливать запреты мне было не привыкать и раньше, как самому же и обходить их (например, якобы для покупки цветов Сибель заглядывал в район, где располагался бутик «Шанзелизе»). Теперь же я решил принять ряд более строгих мер и стереть с карты, хранившейся у меня в голове, некоторые улицы и адреса, где я прежде проводил большую часть времени.

Представляю новую карту Нишанташи, придуманную мною в те дни; ее я старался придерживаться всеми правдами и неправдами. Часть улиц закрашены красным — по ним мне ходить строго-настрого запрещено. Перекресток проспектов Валиконак иТешвикие, недалеко от которого находился бутик «Шанзелизе», сам проспект Тешвикие, где стоял «Дом милосердие», угол между полицейским участком и лавкой Алааддина я окрасил красным. Кроме того, запретил себе ходить по проспекту Абди Ипекчи, который тогда назывался проспектом Эмляк; по улице, позже известной как «проспект Джеляля Салика», которую обитатели Нишанташи нарекли «улицей полицейского участка»; по улице Куйулу Бостан, где жила Фюсун, и по всем в округе—их я тоже пометил красным цветом. Другие улицы получились оранжевыми. Это означало, что здесь, забывшись, можно вдруг предаться воспоминаниям. Поэтому на «оранжевые» улицы я позволял себе заходить лишь иногда, в случае крайней необходимости, и только на несколько минут, причем если до этого не пил. Наш дом и мечеть Тешвикие находились как раз на улице оранжевого цвета. На улицах, помеченных желтым, также надо было сохранять бдительность. Там тоже пряталось полно ловушек, будивших опасные воспоминания, от которых мне делалось только больнее. Например, желтым были отмечены путь из «Сат-Сата» в «Дом милосердия» или дорога, по которой Фюсун ходила из «Шан-зелизе» к себе. На

желтые улицы мне дозволялось наведываться, но и здесь нужно было оставаться внимательным. Я отметил на карте множество и других мест, связанных с нашей стремительной связью, вплоть до пустыря, на котором когда-то давно зарезали барана, или угла, с которого я смотрел на Фюсун, когда она была на похоронах во дворе мечети. Я старался всегда мысленно держать эту карту под рукой: по красным улицам никогда не ходил и верил, что только так смогу со временем излечиться от болезни, что зовется любовью.

32 Призраки Фюсун

К сожалению, забыть Фюсун, запретив себе ходить по улицам и отдалившись от вещей, напоминавших мне ее, я не смог. Потому что теперь мне повсюду она мерещилась — в уличной толпе или на приемах, среди гостей.

Первая «встреча», потрясшая меня больше всего, случилась однажды июльским вечером, когда мы с Си-бель ехали на пароме к моим родителям, перебравшимся на лето в Суадие. Паром из Кабаташа причаливал в Ускюдаре, я уже завел машину, как и другие нетерпеливые водители, и вдруг увидел, что Фюсун выходит из боковой двери пассажирского салона. Сходни парома еще не опустили. Если бы я побежал за ней, то наверняка догнал бы. Сердце бешено колотилось. Выскочив из машины и уже собираясь окликнуть, вдруг с болью заметил, что со спины она вдруг стала гораздо полнее и грузнее, а лицо превратилось в лицо другой женщины. В последующие дни я постоянно прокручивал в памяти эти несколько секунд и даже убедил себя, что когда-нибудь действительно случайно встречу ее.

Однажды после обеда я пошел в кинотеатр «Конак». После сеанса зрители поднимались к выходу по длинной и широкой лестнице, и тут показалась она—на восемьдесять ступеней впереди меня; я узнал ее длинные осветленные волосы и стройную фигурку и побежал следом, хотел крикнуть ей, но крика не получилось, как в кошмарном сне. И только в последний момент понял, что это не она.

Однажды я заметил ее отражение в витрине магазина в Бейоглу, куда ездил теперь чаще, потому что там мне почти ничего о ней не напоминало. В другой раз Фюсун показалась на улице. Ее выдавала легкая, парящая походка. Я снова побежал вслед, но так и не догнал, потеряв из виду. И не смог решить, был ли это реальный человек или мираж, созданный моим больным воображением, а потому несколько дней бродил между мечетью Хусейн-Ага и кинотеатром «Сарай» в то же самое время дня, затем шел пить пиво и, занимая в пивной столик у окна, долго смотрел на улицу и на прохожих.

Призраки Фюсун появлялись иногда лишь на несколько секунд. Например, один запечатлела фотография, где виден ее белый силуэт на площади Таксим.

Меня поразило, что много женщин делают такую же прическу, как она, и одеваются точно так же, и сколько смуглых красавиц осветляют волосы. Улицы Стамбула кишели призраками Фюсун, которые показывались на мгновение и тут же исчезали. Но стоило подойти к такому призраку поближе, как он превращался в другую женщину. Однажды мы поехали с Заимом в загородный клуб играть в теннис. Она с двумя другими девушками сидела спиной к корту за столиком и пила «Мельтем». Увидев ее, я удивился, что она пришла в закрытый клуб. В следующий раз Фюсун вышла на Галатский мост вместе с пассажирами парома из Кады-кея и принялась голосовать проезжавшим мимо маршрутным такси. Вскоре я привык к этим видениям. Она показалась на балконе кинотеатра «Сарай» в перерыве между сеансами, на четыре ряда впереди меня. С двумя сестрами аппетитно облизывала эскимо «Ледяной мираж». Тогда я не сразу сообразил, что у Фюсун нет сестер, и до конца насладился болью самообмана.

Она появлялась перед Часовой башней у дворца Долмабахче; в образе

домохозяйки с сумками на рынке в Бешикташе и, что поразило меня больше всего, в окне третьего этажа одного жилого дома в Помюшсую, причем смотрела прямо на меня. Тогда я помахал ей, и она ответила мне. Но, увидев, как призрак махнул рукой, я сразу понял — это не она, и в смущении удалился. Некоторое время спустя мне пришла на ум мысль, что отец срочно выдал ее замуж, у нее новая жизнь, но она все равно хочет меня видеть.

В глубине сознания я все время, кроме нескольких первых секунд, даривших истинное утешение, понимал, что все эти призраки — не настоящая Фюсун, а фантомы моего истерзанного разума. Однако эти внезапные встречи пробуждали во мне столь сладостное чувство, что у меня появилась привычка ходить в людные места, где призрак мог внезапно объявиться. В голове даже нарисовалась своеобразная карта Стамбула, совсем как схема улиц, которые мне следовало избегать. Мне все время хотелось пойти туда, где Фюсун показывалась чаще всего. И город превратился для меня в музей напоминавших ее знаков.

Так как я встречал призраки, когда задумчиво брел по улице, глядя вдаль, то я специально ходил теперь в таком состоянии. Видения Фюсун посещали меня в ночных клубах или на приемах, когда рядом была Сибель или когда я напивался, изо всех сил пытаясь удержать себя в руках, ведь рядом была моя невеста. Я думал, если выдам свою радость, все вскроется, и тут же понимал, что вновь ошибаюсь. Эти мгновения хранят открытки с видами пляжей в Кильиосе и Шиле — чаще всего я видел ее там летними вечерами, среди неловких девушек и женщин в купальниках, когда от жары и изнеможения мой ум и внимание были изрядно расслаблены. Тогда в смущении турчанок, стеснявшихся открытых купальников на пляже, мне чудилось нечто, напоминавшее неловкость Фюсун во время нашей первой встречи, и это задевало меня за живое.

В минуты нестерпимой тоски я уходил от Сибель, игравшей с Заимом в волейбол, ложился в стороне от всех на песок и, подставив солнцу одеревеневшее, иссохшее без любви тело, краем глаза смотрел на пляж, на пирсы, представляя, что девушка, которая бежит в мою сторону, — она. Почему мы не ездили на пляж, хотя столько раз делали, что хотели? Почему не ценил я дар Аллаха? Когда я снова увижу ее? Я лежал на горячем песке, и мне хотелось плакать, но плакать я не мог, так как знал, что виновен, и единственное, что мне остается, — это молча страдать.

33 Неловкие попытки отвлечься

Казалось, жизнь отдалилась от меня; в ней больше не было прежней силы и красок, а предметы утратили выразительность и выглядели ненастоящими. Много лет спустя я посвятил себя чтению, и в книге французского поэта Жерара де Нерваля, покончившего с собой от несчастной любви, нашел прекрасные строки о пустоте и заурядности всего сущего, отражавшие то, что я тогда переживал. Потеряв единственную любовь всей жизни, он написал повесть «Аврелия», на страницах которой говорит, что ему осталось в жизни одно — «неловкие попытки отвлечься». Я испытывал то же самое. Мне все время казалось, что бы я ни делал с тех пор, как Фю-сун ушла, — это пошло, заурядно, бессмысленно. Я сердился на людей и обстоятельства, умножавшие заурядность. Но продолжал верить, что когда-нибудь найду Фюсун и поговорю с ней, а может быть, даже обниму ее, и это давало мне силы жить дальше, в чем я вскоре раскаивался, так как это лишь продлевало мою боль.

Однажды в июле, когда стояла неимоверная жара и был один из самых болезненных для меня дней, позвонил брат и в бешенстве сообщил, что Тургай-бей, с которым мы весьма успешно сотрудничали и вели множество дел, обиделся на нас за то, что его не позвали на помолвку, и даже решил отказаться от участия в проекте по экспорту простыней, конкурс на который мы выиграли вместе. Я успокоил брата,

сказав, что постараюсь немедленно уладить дело и извинюсь. Сразу позвонил Тур-гай-бею и договорился о встрече. На следующий день около полудня, на невыносимой жаре, я сидел в машине, мчавшей меня в Бахчели-эвлер, на огромную фабрику нашего компаньона, и разглядывал из окна отталкивающие новостройки. Безликие бетонные многоэтажки, складские помещения, фабричные корпуса и свалки постепенно уродовали город.

Любовная боль поутихла. Причиной этого, конечно, была предстоящая встреча с человеком, от которого я надеялся получить известия о Фюсун или с которым мог хотя бы поговорить о ней. Но я пытался скрыть от себя, что, в отличие от других подобных ситуаций (например, во время разговора с Кенаном или случайной встречи с Шенай-ханым), сейчас предвкушаю приятный разговор, и убеждал, будто еду туда только по делу.

Уверен, если бы я не поддался самообману, условленная «деловая» встреча прошла бы успешнее, чем в итоге оказалось.

Мой приезд издалека, из самого Стамбула — лишь ради того, чтобы принести извинения, — польстил Тур-гай-бею, подобных знаков уважения ему было достаточно, и он принял меня по-дружески. Показал ткацкие мастерские, где трудились сотни девушек (призрак Фюсун, стоявшей ко мне спиной у станка, мгновенно настроил меня на нужный лад), чистые столовые и новое здание управления. Говорил Тургай-бей со мной не свысока, однако дал почувствовать, что нам же выгодно не портить с ним отношения. Он пригласил пообедать в столовой вместе с рабочими, как всегда поступал сам, но я, убежденный, что этого недостаточно для примирения, предложил обсудить некоторые важные темы, а заодно и выпить. По его простому, с большими усами, лицу было видно, что он даже не подозревает, о чем пойдет речь. Так как о помолвке я до сих пор ничего не сказал, он высокомерно заметил: «Все иногда совершают ошибки. Давайте забудем обо всем». Но я сделал вид, что не обратил на его слова внимания, и этому трудолюбивому, открытому и преданному работе человеку пришлось пригласить меня на обед в один из рыбных ресторанчиков Ба-кыркёя. Переднее сиденье его «мустанга» мгновенно напомнило мне, что здесь они не раз целовались с Фюсун, хотя той еще не было восемнадцати лет, и в зеркалах и на приборах поплыли отражения их объятий. Мне представлялось, будто Фюсун вернулась к нему, и, хотя я сам стеснялся своих фантазий и убеждал себя, что спутник мой, по всей вероятности, не подозревает ровным счетом ни о чем, никак не мог взять себя в руки.

Когда мы с Тургай-беем, словно два сводника, уселись друг напротив друга в ресторане, я, увидев вблизи его нос с огромными ноздрями и бесстыдный рот и то, как он передо мной волосатыми руками раскладывает у себя на коленях салфетку, почувствовал, что от ревности больше не могу сдержаться и все закончится плохо. «Детка»,—говорил он официанту, промакивая губы, подобно актерам в голливудском фильме, салфеткой. Я снова сдержался и дотерпел до середины обеда. Но водка, вместо того чтобы избавить меня от злобных мыслей, извлекла их наружу. Тургай-бей учтиво говорил, что проблемы между нами решены и в производстве простыней дела пойдут хорошо, и тут я перебил его: «Важно не это, важнее оставаться хорошими людьми».

— Кемаль-бей, — произнес он медленно, взглянув на мой стакан ракы, — я уважаю вас, вашего отца, вашу семью. У всех нас бывали трудные дни. В этой бедной, но прекрасной стране есть только одна милость, которую Аллах посылает самым любимым своим рабам, — быть богатыми. Так давайте отбросим гордыню и будем молиться. Только так мы сможем остаться хорошими людьми.

— Я не знал, что вы такой набожный, — насмешливо сказал я.

— Дорогой Кемаль-бей, в чем я провинился перед вами?

— Тургай-бей, вы обидели одну девушку из моей семьи. Вы плохо обошлись с

ней и даже пытались предложить ей деньги. Фюсун из «Шанзелизе» — наша близкая родственница по материнской линии.

Лицо его мгновенно побледнело, он уставился в стол. И тогда я понял, что завидую ему. Не потому, что он встречался с Фюсун до меня, а потому, что сумел, залечив любовные раны, вернуться к нормальной жизни состоятельного человека.

— Я не знал, что она ваша родственница, — выдавил он из себя с невероятным усилием. — Мне очень стыдно. Если ваша семья отныне не желает меня видеть и если именно поэтому меня не пригласили на помолвку, признаю вашу правоту. Ваш отец и брат тоже такого мнения? Что будем делать? Расторгаем контракт?

— Расторгаем, — поддакнул я, но, еще не договорив, уже раскаялся.

— В таком случае инициирует расторжение ваша сторона. —Тургай-бей нервно закурил, достав сигарету из красной пачки «Мальборо».

К любовной боли добавился стыд за совершенное только что. На обратном пути я сам сел за руль автомобиля, хотя был очень пьян. Для меня особым удовольствием с восемнадцати лет было водить машину по Стамбулу — особенно вдоль Босфора и крепостных стен. Однако на этот раз, из-за разразившейся катастрофы, удовольствие превратилось в пытку. ГЬрод утратил для меня свою красоту, и. чтобы все это поскорее закончилось, я изо всех сил давил на газ. Проехав под пешеходными мостами перед Новой Мечетью в Эминёню, даже чуть было не сбил переходившего улицу человека.

Добравшись до конторы, я решил, что лучшее в сложившейся ситуации—убедить себя и Османа в положительной стороне прекращения сотрудничества с Тургай-беем. Вызвая Кенана, который был прекрасно осведомлен об условиях соглашения о совместных поставках, я сообщил ему, что Тургай-бей желает прекратить с нами сотрудничество по личным причинам. Мой рассказ Кенан выслушал с чрезвычайным интересом. Я поинтересовался, справимся ли мы в одиночку. На это он с ходу ответил: «Нет» и спросил, что же случилось на самом деле. Я повторил: «Мы с Тургай-бе-ем вынуждены разойтись».

— Кемаль-бей, если можно, давайте не делать этого, — сказал Кенан. — Вы уже говорили с братом? — И добавил, что это нанесет серьезный удар не только по «Сат-Сату», но и по другим компаниям и, если мы нарушим указанные в контракте сроки поставки простынь, нас ожидает нелегкое разбирательство в суде Нью-Йорка: — Ваш брат уже знает о случившемся? — опять настойчиво переспросил он. Наверное, сейчас Кенан считал себя вправе побеспокоиться еще и обо мне, потому что от меня сильно разило спиртным. «Обратно пути уже нет, — не покривил я душой. — Мы справимся без Тургай-бея. Что поделаешь?» Я и без Кенана знал, что это невозможно. Но разумная часть моего сознания молчала, всецело подчинившись шайтану, мечтавшему затеять ссору во что бы то ни стало. А Кенан продолжал повторять, чтобы я обсудил проблему с братом.

Конечно, тогда я не швырнул ему в голову пепельницу и дырокол с эмблемой «Сат-Сата», которые стали со временем экспонатами в моем музее ревности, но мне очень хотелось. Помню, с изумлением заметил у него на галстуке, который сначала показался мне смешным, фирменную эмблему. «Кенан-бей, вы работаете не у моего брата, а у меня!» — крикнул я на него.

— Кемаль-бей, прошу вас, успокойтесь! Я отлично помню, кто мой работодатель, — не растерялся он. — Но вы же сами познакомили меня с вашим братом на помолвке, и с тех пор мы общаемся. Вы должны немедленно позвонить ему и сообщить эту важную новость, иначе он обидится. Ваш брат наслышан о ваших проблемах и, как все, хочет вас поддержать.

Слова «как все» окончательно вывели меня из себя. У меня мелькнула мысль немедленно вышвырнуть его с работы, однако пугала его отвага. Я чувствовал, что совершенно лишился рассудка и от любви и ревности не могу верно оценивать

происходящее. Спасти меня могла только встреча с Фюсун. На остальной же мир мне было наплевать, потому что все в нем казалось пустым и бессмысленным.

34 Как собака в космосе

Но вместо Фюсун пришла Сибель. Боль так усилилась, так захватила меня, что я понял: если останусь один, когда все уйдут, буду чувствовать себя таким же одиноким и брошенным, какой, наверное, чувствует себя собака, которую люди отправляют в бесконечную тьму космоса на маленьком корабле. Я опять позвал ее прийти ко мне на работу, когда все разойдутся, и Сибель восприняла это как возобновление наших прежних забав. Любезная и внимательная, моя невеста даже надушилась духами «Сильви», которые я обожал, надела чулки сеточкой, всегда меня возбуждавшие, и туфли на высоком каблуке. Она пришла веселой, решив, что мой кризис миновал. Поэтому я не осмелился сказать ей, что все как раз наоборот и позвал я ее за тем, чтобы хоть ненадолго успокоиться, избавиться от ощущения надвигающейся катастрофы и просто полежать с ней в обнимку (так в детстве я лежал с мамой). Сибель сначала усадила меня на диван, потом медленно разделась и, нежно улыбаясь, села ко мне на колени, изображая секретаршу с карикатур тогдашних юмористических журналов. Не буду долго рассказывать, какой покой вселил в меня запах ее волос и кожи. Скажу только, что покой этот вселила знакомая, дарящая уверенность близость. Любопытный посетитель музея разочаруется, если решит, что потом мы занялись любовью. Сибель тоже ждало разочарование. Обняв ее, я настолько восхитительно почувствовал себя, что вскоре погрузился в глубокий, ровный и спокойный сон, в котором увидел Фюсун.

Когда я проснулся, весь в поту, мы все еще лежали обнявшись. При полном молчании встали и оделись в полумраке, Сибель была погружена в раздумья, а мне было стыдно. Огни машин и фиолетовые искры от троллейбусных дуг освещали мой кабинет, напоминая о времени, когда мы чувствовали себя счастливыми. По-прежнему не говоря друг другу ни слова, мы направились в «Фойе», и, находясь среди людей, я подумал, какая нежная, красивая и внимательная моя Сибель. Около часа мы болтали о том о сем с подвыпившими знакомыми, которые подсаживались к нам, и от официанта узнали, что незадолго до нас приходили Мехмед с Нурджихан. Но, оставаясь за столиком вдвоем, мы подолгу молчали. Хотя того, назревшего, разговора теперь не избежать никак не удалось бы. Я попросил откупорить вторую бутылку вина «Чанкая». Сибель тоже много пила.

— Говори наконец, — начала она. — Что с тобой происходит?

— Если бы я знал, — соврал я. — Что-то во мне мешает это понять.

— Значит, ты сам не знаешь, что с тобой? Да? — Да.

— А мне кажется, прекрасно знаешь, — улыбнулась она.

— И что я знаю, по-твоему?

— Ты беспокоишься, что меня заботят твои проблемы? — Ее голос дрогнул.

— Я боюсь не разобраться с ними и потерять тебя.

— Не надо, не бойся, — уговаривала Сибель, — я терпелива и очень тебя люблю. Не хочешь говорить — не говори. Не беспокойся, я не думаю ничего плохого. У нас есть время.

— Что ты имеешь в виду — плохого?

— Ну, например, я не считаю тебя гомосексуалистом, — рассмеялась она, пытаясь успокоить меня.

— Спасибо. А еще?

— Еще я не верю в такие проблемы, как венерическое заболевание или детская психологическая травма. Но думаю, психолог тебе не помешал бы. Ходить к психологу — не стыдно. В Европе и Америке так делают все. Ты должен рассказать

ему все, даже то, в чем не решаешься признаться мне. И все же, пожалуйста, милый, скажи мне... Не бойся, я прощу.

— Боюсь. — Улыбка на моем лице получилась вымученной. — Давай потанцуем?

— Значит, есть что-то известное тебе, но чего не знаю я?

— Мадемуазель, прошу вас, не откажите потанцевать со мной!

— Ах. месье, я помолвлена, но у меня такой печальный жених! — ответила она, и мы пошли танцевать.

Эти подробности показали странную близость, установившуюся между нами в те дни: мы много пили вдвоем июльскими вечерами, перебираясь из одного ночного клуба в другой, меню и бокалы откуда я собрал для своего музея, часто ходили в гости. Мы говорили с ней на каком-то особом, понятном только нам языке. А еще ощущали — не знаю, к месту ли подобные слова—глубокую нежную любовь. Нельзя сказать, что любви, питавшейся не физической страстью, но безграничной нежностью, было совсем чуждо притяжение тел, — когда мы танцевали глубокой ночью, оба уже изрядно пьяные, всякого рода свидетели имели возможность с завистью это наблюдать. Душными влажными ночами мы прогуливались по темным улицам, под застывшими деревьями, а издалека доносились отголоски дискотек (совершенно новое явление в тогдашней Турции) и звуки оркестра, игравшего нежную мелодию турецкой песни «Розы и губы». Я обнимал свою невесту так же, как тогда в кабинете, втайне ища у нее поддержки и зашиты, какие хотят получить от старого друга, и она давала мне их, а запах ее шеи и волос успокаивал меня. Я понимал, что ошибался, когда ощущал себя брошенной собакой, ведь Сибель всегда была и будет рядом со мной, и, совершенно пьяный, я еще крепче обнимал ее. От выпитого мы иногда шатались и едва не падали на танцплощадке на глазах других таких же романтичных пар, как мы. Сибель нравилось это наше странное состояние, уносившее нас прочь из реального мира. На улицах Стамбула коммунисты с националистами убивали друг друга, кто-то грабил банки, кто-то подкладывал бомбы, кто-то расстреливал из пулемета посетителей кофеен и целые семьи, а мы танцевали, забыв благодаря нашей невысказанной, непонятной боли о целом мире, и Сибель была мне близка как никогда.

Возвращаясь после танца за стол, она принималась в очередной раз задавать не дающие ей покоя вопросы, но в итоге, вместо того чтобы выслушать и понять, вынуждала согласиться с ее мнением. Так, благодаря усилиям Сибель мое странное состояние, грусть и полная потеря желания были сведены до уровня легкой боли, которая испытала на прочность ее чувства ко мне и преданность, то есть к обычным переживаниям, какие вскоре забудутся. Из-за моего терзания мы могли спасаться от грубых и легкомысленных богачей-приятелей, с которыми раньше гоняли на моторных лодках по Босфору. Теперь мы так выделялись, что, напившись, не ныряли «как все» после роскошного приема с пристани в Босфор. Я был рад, что Сибель совершенно искренне принимала мою боль, точно свою, и это привязывало нас друг к другу. Но, когда среди хмельного прямодушия ночью я слышал далекий печальный гудок пассажирского парохода или где-нибудь в людном месте неожиданно опять принимал другую девушку за Фюсун, Сибель с грустью замечала странные перемены на моем лице и предчувствовала, что неясная опасность гораздо страшнее, чем кажется.

От этих смутных предчувствий к концу июля Сибель поставила мне условие: посетить психоаналитика. Она и раньше советовала это, и я, чтобы не потерять ее дружбу и нежную поддержку, согласился. Первый турецкий психоаналитик только что вернулся из Америки и с помощью галстука-бабочки и курительной трубки пытался убедить узкий круг людей из стамбульского света в серьезности своей профессии. Когда через много лет, создавая музей, я отправился к нему, чтобы по-распрашивать

о тех днях и чтобы он передал мне свою бабочку и трубку, выяснилось, что он ничего не помнит о моих тогдашних переживаниях: более того, и ведать не ведает о моей печальной истории, ставшей хорошо известной всему Стамбулу. Он запомнил меня как обычного здорового человека, который, подобно многим другим его клиентам, пришел к нему только из любопытства. А ведь тогда полная решимости Сибель собиралась отправиться со мной, точно мать, ведущая к врачу своего больного ребенка, и обещала, что будет ждать меня за дверью. Я не хотел, чтобы она ходила.

Сибель считала психоанализ ритуалом научного исследования человеческих тайн, изобретенным для европейцев, у которых не принято советоваться с семьей или делиться с друзьями, но одновременно воспринимала его как лечение — таким бы его понял любой состоятельный человек из неевропейской страны, в особенности исламской.

Психоаналитик задавал мне какие-то общие вопросы и тщательно заполнял анкету и только после этого наконец поинтересовался, в чем же, собственно, заключается моя проблема. Мне захотелось выкрикнуть, что меня бросила возлюбленная и я чувствую себя одиноким и брошенным, как, наверное, чувствуют себя в космосе собаки. Но я вместо этого сказал, что у нас проблемы в интимных отношениях с моей будущей женой, которые начались после помолвки. Почему так произошло? — расспрашивал он меня. (Хотя именно от него я ждал объяснений, отчего такое случилось.) До сих пор не могу сдержать улыбки, когда вспоминаю свой, отчасти правдивый ответ, случайно, с помощью Аллаха, пришедший мне в голову: «Наверное, я боюсь жизни, доктор».

— Не бойтесь жизни, Кемаль-бей! — наставлял он на прощание.

Больше я не ходил к нему никогда.

35 Первые экспонаты музея

Психоаналитик, однако, вселил в меня обманчивую отвагу, и я решил, что злополучная болезнь наконец-то миновала и можно пройтись по «красным» улицам своей жизни. Когда я миновал лавку Алааддина и вдохнул запахи знакомого пространства, мне поначалу стало так хорошо, словно болезнь моя прошла, а я действительно не боюсь жизни. И тут, убедив себя, что никакой боли я больше не ощущаю и все вернулось на круги своя, полный оптимизма, я допустил ошибку — вознамерился идти мимо бутика «Шанзе-лизе». Одного только взгляда на магазин издалека хватило, чтобы я лишился рассудка.

Боль, казалось, только и ждала того, чтобы вырваться на свободу. Я попытался придумать оправдание и с надеждой подумал, что Фюсун, наверное, в магазине. Но сердце мое забилось быстрее. Когда в голове все окончательно смешалось, я не выдержал, подошел к магазину и заглянул в витрину: Фюсун была там! Я чуть не лишился чувств. Поспешил открыть дверь бутика и вдруг понял, что это не Фюсун, а очередной призрак: на ее место взяли другую. Ноги отказывались держать меня. Жизнь, размотанная по гостям и ночным клубам, предстала мне в ту минуту нестерпимо пустой и фальшивой. На свете существовал только один человек, с которым хотелось быть рядом и обнимать его; в моей жизни существовала только одна важная вещь — и все это где-то далеко от меня. Напрасно я пытался отвлечься от них самыми глупейшими способами—проявляя тем самым неуважение и к себе, и к Фюсун. Чувство вины вместе с раскаянием, появившееся у меня после помолвки, теперь приобрело невыносимые размеры. Я предал Фюсун! .. Я должен был думать только о ней!.. Я должен был как можно скорее оказаться рядом с ней!..

Уже через несколько минут меня приютила наша кровать в «Доме милосердия». Я пытался вдохнуть запах Фюсун, который раньше пропитывал простыни, чтобы ощутить ее в себе, чтобы стать ею, но они теперь почти не пахли. Я собрал их и

обнял изо всех сил. Боль взыграла нестерпимо. На тумбочке лежало стеклянное пресс-папье. По моим подсчетам, я подарил ей его 2 июня, но она, чтобы не возбуждать подозрений у матери, решила не брать подарок домой и оставила здесь. Стекло слегка отдавало особенный аромат, всегда исходивший от рук и шеи Фюсун, и, по мере того как я вдыхал его, он все больше наполнял мне нос, рот и легкие... Я долго пролежал в кровати, вдыхая этот запах. Сибель же сказал, что визит к психоаналитику занял много времени, мне намного лучше, но что я не узнал для себя ничего нового и больше к нему не пойду.

Признаться, мне действительно стало легче после посещения «Дома милосердия». Но через полтора дня прежняя боль вернулась. Через три дня я опять отправился туда, лег в кровать и, взяв уже другую вещь, которой касалась Фюсун—кисточку с засохшими масляными красками, — водил ею по своему лицу, напомнив самому себе ребенка, который тянет в рот каждый новый предмет. Боль опять улеглась на какое-то время. Я лежал и думал, что привык к этим вещам и они превратились для меня в наркотик, но их утешение и привязанность к ним совершенно не дают мне забыть Фюсун.

Так как я скрывал свои визиты в «Дом милосердия» от Сибель, не признаваясь в них даже себе, и продолжал жить, будто и не было вовсе двухчасовых пребываний в старой квартире раз в три дня, моя болезнь постепенно начала приобретать терпимые размеры. Я смотрел на все эти вещи—дедовские кавуки[10], на феску, попавшую теперь в мой музей утешения, которую потехи ради надевала Фюсун, или на эти старые мамины туфли, которые она тоже примеряла (у них с моей матерью был одинаковый 38 размер), — не как коллекционер, а как больной на лекарство. Предметы, напоминавшие Фюсун, были нужны мне, чтобы унять боль, и одновременно мне хотелось бежать от них и из этого дома, потому что, едва боль успокаивалась, они напоминали мне о болезни. Оптимизм вселял в меня смелость, и я с радостью, к которой примешивалась грусть, начинал представлять, что вскоре вернусь к прежней жизни, смогу опять заниматься любовью с Сибель, а потом женюсь на ней и заживу счастливо.

Минуты оптимизма длились недолго, не проходило и дня, как тоска становилась гнетущей болью, невыносимой пыткой, и тогда мне опять нужно было идти в «Дом милосердия». Войдя в квартиру, я бросался к вещам, вроде чайной чашки, забытой заколки, линейки, расчески, старательной резинки, шариковой ручки, и вспоминал, как мы сидели рядом. Бывало, перебирал в памяти, каких старых маминых вещей она касалась, с чем играла, на чем сохранился запах ее кожи, отыскивал эту вещь и так расширял свою коллекцию, воскрешая воспоминания, связанные с ней.

36 Маленькая надежда облегчить боль

Это письмо я написал, когда в моей коллекции появились первые вещи. Но оставил его в конверте, потому что не хочу удлинять свой рассказ; кроме того, до сих пор испытываю стыд, хотя прошло уже двадцать лет, а я создаю Музей Невинности. В этом письме читатель моей книги или посетитель музея обнаружил бы самую откровенную мольбу. Я признавался Фюсун, что был не прав, в чем каюсь, ужасно страдаю; что любовь — святое чувство; и что, если она вернется ко мне, расстанусь с Сибель. Написав последнее, сразу пожалел об этом: надо бьшо сказать, что расстанусь с Сибель без всяких условий. Однако в тот вечер у меня не предвиделось никаких иных вариантов, кроме того, чтобы, напившись до потери сознания, опять искать утешения у своей невесты, и вывести такое рука у меня не подымалась.

---

[10] Кавук — старинный головной убор, на который наматывалась чалма.

Десять лет спустя я нашел это письмо, само появление которого важнее его содержания, у Фюсун в шкафу, и тогда с удивлением заметил, как сильно я обманывался. С одной стороны, пытался скрыть от себя силу любви к Фюсун и безысходность своего положения. И отыскивал все новые и новые дурацкие признаки того, что скоро соединюсь с ней. А с другой, никак не мог отказаться от мечтаний о счастливой семейной жизни, которую в скором времени собирался создать с Сибель. Что, если расторгнуть помолвку и через Джейду, взявшуюся передать письмо, предложить Фюсун стать моей женой? Эта идея, которую раньше я даже представить себе не мог, внезапно во всех подробностях ожила в уме, когда мы встретились с Джейдой — ближайшей подругой Фюсун, знавшей ее с конкурса красоты.

У меня хранится одна газетная вырезка — портрет Джейды, сделанный во время того самого конкурса, в котором участвовала и Фюсун, и интервью с ней, где она говорит, что цель ее жизни — встретить мужчину своей мечты и выйти за него замуж. Я хочу выразить благодарность Джейде-ханым, которой знакома моя печальная история с самого начала и в мельчайших подробностях. Она с большим уважением отнеслась к ней и щедро пожертвовала моему музею самую красивую свою фотографию времен молодости.

Я решил отправить написанное от боли письмо не по почте, а именно с Джейдой, чтобы оно не попало в руки тети Несибе, и для этого разыскал ее через свою секретаршу, Зейнеб-ханым. Близкая подруга Фюсун сразу согласилась встретиться со мной, как только я сказал, что мне надо увидеть ее по важному вопросу. Мы условились свидеться в парке Мачка, и я сразу понял, что не стану стесняться и поведаю Джейде о своих страданиях. Может, потому, что я видел, насколько зрело и спокойно она все воспринимает, а может, потому, что Джейда была тогда невероятно счастлива. Она ждала ребенка, и поэтому сын фабриканта Седирджи, ее богатый, но набожный возлюбленный, решил жениться на ней. Она не скрывала это от меня и пригласила на свадьбу. «Смогу ли я встретить там Фюсун, где она?» — спросил я ее. Джейда ответила неопределенно. Должно быть, Фюсун ее попросила ничего не говорить. Когда мы шли по парку, Джейда говорила о важности любви. Задумчиво слушая ее, я засмотрелся на мечеть Долма-бахче, видневшуюся вдалеке,— на картину, отпечатавшуюся в моей памяти с детства.

Я не стал настаивать и даже не решился спросить, как дела у Фюсун, так как чувствовал, что Джейда тоже надеется, что я в конце концов расстанусь с Сибель и женюсь на Фюсун и мы будем встречаться семьями. В июльский день мы сидели в парке, любуясь красотой Босфора, в тени шелковиц. Мимо нас проходили влюбленные парочки с бутылками лимонада «Мельтем», мамы, везущие детей в колясках, играли в песке малыши, весело болтали, хрустели каленым горохом и щелкали семечки студенты, пара воробьев и голубь клевали рядом шелуху. Вся это напомнило мне о чем-то давно забытом, о красоте простой, обычной жизни. Поэтому, когда Джейда сказала, что передаст письмо Фюсун и что Фюсун обязательно ответит мне, я почувствовал спасительную надежду.

Но никакого ответа не последовало.

Однажды утром в начале августа я был вынужден признать, что, несмотря на все принятые мной меры, на все способы утешиться, боль вовсе не ослабла, а, наоборот, по-прежнему регулярно усиливается. Когда я работал у себя в кабинете или разговаривал с кем-нибудь по телефону, в голове не было ни одной мысли о Фюсун, но боль в груди приобрела форму потока заряженных частиц. И что бы я ни предпринимал, пытаясь обрести хотя бы крошечную надежду, давало эффект кратковременный.

Я увлекся гаданиями, хиромантией и астрологией, для чего стал читать соответствующие рубрики в газетах. Больше всего верил рубрике «Ваш знак — ваш день» в газете «Сон Поста» и прогнозам в журнале «Хайят». «Сегодня вы получите

известие от человека, которого любите!» — сообщал нам, читателям, и больше всех, конечно, мне умница-астролог. Другим знакам часто писали то же самое, и оно сбывалось. Я внимательно читал гороскопы, но совершенно не верил ни в астрологию, ни в звезды, лишь развлекался предсказаниями, как скучающая домохозяйка. Проблема моя требовала безотлагательного решения. Когда открывалась дверь, я говорил себе: «Если войдет женщина, то Фюсун вернется ко мне, а если мужчина—то нет».

Мир, жизнь — все вокруг было наполнено множеством предзнаменований, ниспосланных Аллахом, чтобы мы, люди, могли предугадать свою участь. «Если первая красная машина повернет налево, я получу ответ от Фюсун, если направо — придется ждать еще», — полагал я, стоя у окна в кабинете «Сат-Сата», и считал проезжавшие по улице автомобили. «Если я первым спрыгну с парохода на пристань, то скоро увижу Фюсун», — говорил себе и прыгал на пристань, прежде чем успевали бросить трос. «Придурок!» — кричали мне вслед матросы. Потом я слышал гудок парохода, что казалось мне добрым знаком, и я представлял сам пароход. «Если ступеней до верхнего пролета—нечетное количество, скоро увижу Фюсун». Окажись их четное число, боль усиливалась, а если нечетное, это меня на какое-то время успокаивало.

Страшнее всего было, когда я внезапно просыпался среди ночи и не мог заснуть. Тогда безнадежные мысли заливались стаканами виски или ракы, или вином. В такие ночи мне хотелось навсегда выключить свое сознание, как надоедливое радио, которое никак не замолчит. Несколько раз я, со стаканом ракы в руке, гадал себе ночью на старых маминых картах. А потом — на отцовских игральных костях, которыми тот редко пользовался, и твердил себе, что больше бросать их не буду. Напиваясь, чувствовал странное наслаждение от боли и испытывал глупую гордость от того, что моя история достойна сюжета романа, фильма или оперы.

Однажды я остался ночевать у нас на даче в Суадие. За несколько часов до рассвета стало понятно, что заснуть все равно не удастся, и я вышел на темную террасу, обращенную к морю, лег в шезлонг и, вдыхая ночной аромат сосен, попытался забыться, глядя на дрожащие огни островов.

— Тоже не спится? — шепотом произнес отец. Я не заметил в темноте, что он рядом.

— Да, что-то не спится в последнее время, — ответил я смущенно.

— Не переживай, пройдет, — нежно сказал он. —Ты еще молод. Тебе еще рано терять сон от страданий. Не бойся. А вот если будет о чем жалеть, когда тебе стукнет столько лет, сколько мне, тогда и начнешь считать до утра звезды на небе. Смотри не совершай ничего, о чем придется сожалеть.

— Хорошо, папа, — прошептал я. Скоро я почувствовал, что засыпаю.

В моем музее выставлен воротник от пижамы, которая в тот вечер была на отце, и одинокий отцовский тапок, неприкаянный вид которого всегда будил во мне грусть.

Признаюсь еще в одной моей привычке тех лет. Когда моя секретарша Зейнеб-ханым уходила вместе с остальными сотрудниками на обед, я иногда звонил Фюсун домой. Она никогда не снимала трубку, значит, еще не вернулась, но я все равно надеялся услышать ее голос. Отец Фюсун тоже никогда к телефону не подходил. Отвечала всегда тетя Несибе. Значит, по-прежнему работала на дому. Я надеялся, что она ненароком обмолвится о Фюсун. Или та скажет что-то и я услышу ее, пока молчу, и всегда терпеливо ждал. Мне было легче молчать, но чем дольше длилась пауза и чем громче тетя Несибе кричала в трубку, тем труднее мог сдерживаться. Тетя Несибе мгновенно начинала волноваться, выдавая всю гамму чувств — страх, гнев, волнение, — на радость любому телефонному маньяку: «Алло, алло, вы кто? Кто это? Говорите! Говорите, не молчите! Говорите же, ради Аллаха! Алло, алло! Да говори же ты! Кто ты, чего звонишь?» — выдавала она непрерывный

поток слов, но ей никогда не приходило в голову просто повесить трубку раньше меня. Вскоре паника тетушки стала вызывать у меня жалость и грусть, и мне удалось бросить эту привычку.

От Фюсун новостей не было.

37 Пустая квартира

В конце августа, когда стаи аистов начинали возвращаться в Африку через Европу на юго-восток, пролетая над Босфором, Принцевыми островами и нашим домом в Суадие, я, как и каждый год, по настоятельной просьбе друзей устроил до возвращения родителей вечеринку в честь окончания лета в пустой квартире на проспекте Тешвикие. Пока Сибель увлеченно занималась покупками и, сдвинув столы, раскладывала на паркете ковры, скатанные и проложенные нафталином на лето, я, вместо того чтобы идти домой помогать ей, опять позвонил Фюсун. Уже несколько дней я набирал ее номер, но к телефону никто не подходил. На этот раз я услышал короткие гудки—это означало, что номер отключили, — и от всколыхнувшейся вмиг нестерпимой боли едва не лишился рассудка.

Через двенадцать минут я бежал по запрещенным, выделенным мною же на карте города оранжевым улицам, к дому Фюсун на Куйулу Бостан, от которого все это время пытался держаться подальше. Издали я заметил, что на окнах нет занавесок. Позвонил в дверь, но мне никто не открыл. Постучался, сначала тихонько, потом кулаками изо всех сил, и когда все равно дверь не распахнулась, мне показалось, что умираю. «Кто там?» — раздался голос старушки привратницы снизу, из темноты подвала. «А-а! Третья! Так они съехали давеча, нет их!»

Я тут же соврал, что пришел по объявлению снять эту квартиру. Женщина, которой я сунул двадцать лир, открыла мне дверь запасным ключом. Трудно говорить о горьком одиночестве пустых комнат, о жалком виде забытой посуды на бедной, старенькой кухне, об очаровании облупившейся краски в ванной, где моя потерянная возлюбленная мылась долгие годы, и когда-то пугавшей ее газовой колонки, о шурупах в стенах, о следах зеркал и рамок, висевших на этих шурупах двадцать лет. Я изо всех сил пытался удержать в памяти каждую деталь: запах в комнатах, тень Фюсун, мелькнувшую в углу, расположение самих комнат и стен в квартире, где она провела всю жизнь и стала собой, местами осыпавшуюся штукатурку. Мне даже удалось оторвать и спрятать в карман большой кусок обоев. Ручку двери маленькой комнаты, которая, видимо, была комнатой Фюсун, я тоже положил себе в карман — ведь она прикасалась к ней восемнадцать лет. Фарфоровый наконечник от сливного бачка в ванной тоже остался у меня в руке, едва я дотронулся до него.

Из брошенной в углу кучи бумаг и мусора я вытащил и опустил в карман отломанную руку куклы, два больших слюдяных шарика из детской игры и шпильки — несомненно, они принадлежали именно ей. Когда я останусь один, эти предметы подарят мне некоторое утешение. Такая мысль придала сил, и я спросил у привратницы, почему прежние съемщики съехали после того, как провели здесь столько лет. Она сказала, что они постоянно препирались с хозяином дома по поводу квартплаты. «Можно подумать, в других районах дешевле!» — пожал я плечами, и добавил, что деньги — бумага, а цены все время растут. «А куда переехали бывшие жильцы?» — «Это нам неизвестно, — ответила привратница. — Уехали разобиженные. На нас, на хозяина. Двадцать лет жили-жили, а тут поссорились и съехали».

Оказалось, я все время лелеял надежду, что когда-нибудь приду сюда, позвоню в дверь, буду умолять открыть мне и увижу Фюсун. Сейчас меня лишили последней надежды, и это было невыносимо.

Спустя восемнадцать минут я лежал в нашей кровати с вещами из покинутой

квартиры. Пока держал предметы, которые творили Фюсун, пока гладил их, рассматривал и прикладывал к шее, плечам, обнаженной груди и животу, скрытые в них воспоминания вновь пробудились в памяти, не потеряв способности утешать.

38 Последний праздник лета

Прошло много времени. Не возвращаясь в контору, я направился домой, на проспект Тешвикие, где вовсю готовились встречать гостей. «Я несколько раз звонила тебе на работу, мне все время отвечали, что тебя нет, — сказала Сибель. — Хотела спросить тебя про шампанское».

Я улизнул к себе в комнату, не проронив ни слова. Помню, бросился на свою постель, чувствуя себя несчастным, с мыслью о том, что вечер пройдет отвратительно. Меня унижало в собственных глазах то, что я искал утешения в вещах Фюсун, но одновременно это открыло мне двери в другой мир, откуда не хотелось возвращаться. Я чувствовал, что не смогу сыграть роль богатого, разумного, веселого, довольного жизнью, здорового молодого мужчины, который должен будет показаться перед гостями, к приходу которых так основательно готовилась Сибель. К тому же, будучи хозяином дома, нельзя вести себя словно капризный, всем недовольный подросток. Сибель, знавшая о моей тайной болезни, имя которой мы с ней так и не определили, не обратила бы на нее внимания, но от гостей, жаждущих веселья на последнем празднике лета, этого ожидать было нельзя.

В семь часов вечера, когда все собрались, я, как радушный хозяин, показал им бар, где стояли импортные напитки, продававшиеся из-под полы в стамбульских барах, и налил всем выпить. Помню, потом какое-то время возился с пластинками и поставил «Sergeant Pepper» и «Simon and Garfunkel», обложки которых мне понравились больше других. Затем танцевал с Сибель и Нурджихан. Выяснилось, что Нурджихан в конце концов выбрала не Заима, а Мехмеда. но Заим, кажется, нисколько не обиделся. Когда Сибель, нахмурившись, сказала о своих подозрениях, что Нурджихан переспала с Заимом, я даже не попытался понять, почему это так беспокоит мою невесту. Весь мир был прекрасным, а теплый пойраз, дувший со стороны Босфора тем летним вечером, тихо колыхал листья платанов во дворе мечети Тешвикие, отчего они приятно и тихо шелестели, — звук их шелеста я помнил с самого детства. Когда солнце клонилось к закату, ласточки начинали с криками низко носиться над землей, над мечетью и над крышами сохранившихся с тридцатых годов деревянных домов. Чем темнее становилось, тем ярче синели экраны телевизоров в окнах обитатели Нишанташи, так и не уехавших на дачу. Какая-то девушка, скучающая на одном балконе, и грустный отец семейства—на другом задумчиво смотрели на улицу и проезжающие машины. А я взирал на всю эту картину так, будто на ней были изображены только мои чувства, и боялся, что никогда не сумею забыть Фюсун. Сидя в прохладе на балконе и иногда благосклонно слушая тех, кто выходил ко мне поболтать, я напился в стельку.

Заим пришел с симпатичной девочкой, радостной, так как она получила высокие оценки за вступительный экзамен. Ее звали Айше, мы немного с ней поговорили о том о сем. Приятель Сибель, занимавшийся импортом кожаных изделий, немного стеснялся, зато хорошо пил, — за компанию я пропустил с ним пару-другую стаканчиков. Когда все окутала бархатная тьма, Сибель вышла ко мне и сказала: «Ты ставишь нас в неловкое положение. Побудь немного с гостями». И мы с ней, обнявшись, прокружили медленный, безнадежный, но показавшийся всем очень романтичным танец. Полутемная гостиная квартиры, где я провел детство и всю жизнь — часть ламп погасили. — была сейчас совершенно не такой, как обычно, краски и звуки казались чужими, и у меня возникло такое чувство, будто кто-то хочет отнять мой мир, поэтому, танцуя с Сибель, я обнимал ее изо всех сил. Так как к концу

лета и ей передалась большая часть моей тоски, отчаяния и, соответственно, развившейся тяги к алкоголю, милая моя невеста тоже едва стояла на ногах.

Выражаясь языком тогдашних колумнистов, ведущих рубрик светских сплетен, «глубокой ночью под воздействием алкоголя» вечеринка приняла нежелательный оборот. Повсюду валялись осколки бутылок, бокалов и пластинок; некоторые пары, под влиянием европейских модных журналов о светской жизни, но больше из желания выставить напоказ свои отношения, начали при всех целоваться, а другие уединились в наши с братом комнаты, но там просто заснули от спиртного. Однако создавалось такое ощущение, что в атмосфере вечеринки витал страх. Этих развеселых богатых молодых людей словно бы пугало, что модные развлечения и молодость скоро закончатся. Восемь-де-сять лет назад, когда я только начал устраивать такие вечеринки прежде чем родители приедут с дачи, во всеобщем веселье чувствовалось нечто анархическое по отношению к старшим; тогда приятели мои царапали и били дорогие приборы на кухне, разливали духи, включали электрические сушилки для обуви, вытаскивали из шкафов родительские шляпы, галстуки-бабочки и одежду, под пьяный хохот компании цепляли все подряд друг на друга, успокаивая себя тем, что их гневный разгул—политического характера.

В последующие годы только двое из всей компании всерьез увлеклись политикой. Один из них после военного переворота 1971 года, подвергшись пыткам в полиции, получил срок и просидел в тюрьме вплоть до амнистии 1975 года. Но оба они охладели к нам, считая своих бывших друзей безответственными, капризными богатеями.

А сейчас Нурджихан, исследовавшая в предрассветный час содержимое маминых шкафов, делала это не из анархических побуждений, но лишь из женского любопытства, с большим уважением и очень осторожно. «Мы едем на пляж в Кильос, — заявила она с серьезным видом. — Смотрю, есть ли у твоей мамы купальник». В тот же миг я сжался от раскаяния, что так и не свозил на пляж в Кильос Фюсун, хотя очень хотел это сделать, и, чтобы вытерпеть резанувшую меня боль, бросился на родительскую кровать. С того места, где я лежал, было видно, как пьяная Нурджихан продолжает копаться в шкафах под предлогом поисков купальника и рассматривает мамины вышитые чулки, сохранившиеся с пятидесятых годов, изящные, телесного цвета корсеты, ее шляпы, не сосланные в «Дом милосердия», и шелковые платки. Потом Нурджихан терпеливо перебрала кадастровые ордера на дом, землю и квартиру, которые мать держала в сумке за ящиком, где хранились нейлоновые чулки, так как не доверяла банковским ячейкам; связки ключей от квартир, некоторые из которых были давно проданы, а другие — сданы в аренду; вырезанные и пожелтевшие газетные статьи тридцатилетней давности об их свадьбе с отцом (среди них хранилась фотография к статье из колонки «Общественная жизнь» журнала «Хайят», написанной двенадцать лет спустя после свадьбы, где мама, важная и нарядная, стояла в большой группе людей). «Твоя мать была очень красивой женщиной», — признала Нурджихан. «Моя мать жива»,— с трудом отозвался я со своего места, размышляя, как было бы чудесно провести в этой комнате всю жизнь вместе с Фюсун. Нурджихан расхохоталась, и, услышав этот таинственный пьяный хохот, в комнату сначала вошла Сибель, а за ней — Мехмед. Пока Сибель и Нурджихан с пьяной серьезностью в очередной раз перебирали содержимое маминого шкафа, Мехмед сел на край родительской кровати (туда, где по утрам сидел отец и, прежде чем надеть тапочки, подолгу рассматривал пальцы ног) и долго, с нежностью и восхищением смотрел на Нурджихан. Он был так счастлив, что впервые за много лет быстро и сильно влюбился и наконец нашел девушку, на которой мог бы жениться, что сам удивлялся собственному счастью и даже стеснялся его. Но я не завидовал Мехмеду, потому что видел его страх быть обманутым, боязнь, что все закончится плохо и унизительно, а он будет жалеть.

Сибель и Нурджихан с хохотом демонстрировали друг другу найденное в шкафу — составившее потом коллекцию моего музея очарованности, — вспомнив вдруг, что ищут купальники.

Разговоры о поездке на пляж продолжались до первых лучей солнца. На самом деле вряд ли кто-либо смог бы повести в таком состоянии машину. Я не собирался никуда ехать, понимая, что тоска по Фюсун в сочетании с выпитым сделают поездку невыносимой. Когда рассвело, я выпил кофе и вышел на балкон, с которого мать всегда наблюдала за похоронами. Пьяный Заим и его новая подруга Айше, Нурджихан с Мехмедом и еще несколько человек с веселыми криками выбежали на спящую улицу. Они бегали, кидая друг другу красный пляжный мяч, роняли его, снова поднимали и кричали так, что, наверное, перебудили весь квартал. Я помахал им на прощание. Когда все сели наконец в машину Мехме-да, по двору мечети Тешвикие показались медленно идущие на намаз старики. Среди них был и швейцар соседнего с нашим дома, который всегда под Новый год торговал билетами «Государственной лотереи» в костюме Санта-Клауса. Между тем машина Мехмеда, проехав несколько метров, резко затормозила и остановилась. Дверь открылась, оттуда показалась Нурджихан и во все горло прокричала, что забыла свой шелковый платок. Сибель сбегала в комнату, принесла его и бросила на улицу. Никогда не забуду, как мы смотрели с маминого балкона на лиловый платок, который медленно летел вниз, разворачиваясь, сворачиваясь, раздуваясь и дрожа, словно капризный бумажный змей. То было последнее счастливое воспоминание с моей невестой Сибель.

39 Признание

Вот и настала сцена признания. Внутреннее чувство подсказывает мне, что в этом разделе моего музея предметы, витрины и фон должны быть прохладного желтого цвета. Через некоторое время после того, как наши друзья отбыли на пляж, а я лег в кровать родителей, огромное солнце, вставшее за Ускюдаром, залило большую спальню огненно-оранжевым светом. Издали эхом донесся гудок пассажирского парохода, проплывавшего по Босфору. «Вставай, —тормошила меня Сибель, — поедем за ними, а то не найдем». По моему молчанию она не только поняла, что я не поеду на пляж (как в моем состоянии вести машину, Сибель даже не подумала), но и почувствовала приближение неотвратимого момента моей тайной болезни, откуда нет возврата. По ее глазам, которые она все время прятала от меня, было видно, что Сибель боится об этом говорить. Но не выдержала. Ведь обычно, когда люди чего-то страшатся, они первыми и заговаривают о своем страхе (некоторые называют такой шаг смелостью).

— Где ты был вчера после обеда? — внезапно спросила она. И тут же пожалела о сказанном. — Если ты думаешь, что тебе станет стыдно, и не хочешь говорить, не надо, — нежно добавила она.

Сибель легла рядом. Как ласковая кошка, она с такой искренней нежностью обняла меня, что я почувствовал ужас от того, что вот-вот причиню ей боль. Но джинн любви уже вылетел из лампы Алааддина; сотрясая мое тело, он заставлял меня понять, что больше не сможет оставаться моей тайной.

— Дорогая, ты помнишь тот вечер ранней весной, когда мы ужинали в ресторане «Фойе»? — осторожно начал я. — Мы проходили мимо одного магазина, в его витрине ты увидела сумку, она тебе понравилась, и мы остановились посмотреть.

Милая моя невеста сразу поняла, что речь идет не о сумке, а о чем-то более важном и, следовательно, опасном, и со страхом посмотрела на меня. Я постарался осторожно рассказать все по порядку. И понял, что горькая история нашей встречи с Фюсун и всего того, что случилось после, будет представлена таким образом, когда желают раскаяться и загладить вину, словно пытаясь снять с себя тяжесть давно

совершенных великих грехов. Только в моем случае мне хотелось сброить тяжесть за самое заурядное преступление, почувствовать самому и дать понять Сибель, что прошлое далеко позади. Я, конечно, утаил от нее физические подробности, доставлявшие такую радость и составлявшие главную, неотъемлемую часть моей истории, без чего ее совершенно невозможно понять, и пытался свести ее к обычной предсвадебной интрижке турецкого мужчины. Сибель заплакала, и я тут же передумал быть с ней честным, пожалев, что вообще заговорил об этом.

— А ты мерзавец, оказывается, — всхлипнула она. И швырнула в меня старую мамину сумку, полную вышедших из употребления монет, и вслед одну из старых черно-белых летних туфель отца. Но не попала. Монеты разлетелись в стороны, как осколки. Из глаз Сибель лились слезы.

— Я давно прекратил эти отношения, — произнес я. — Но случившееся повлияло на меня... Ни та девушка, ни какая-либо другая...

— Это не та ли девушка, которая на помолвке сидела с нами за столом? — перебила Сибель, не осмеливаясь произнести имя.

— Да.

— Отвратительная, вульгарная продавщица! Ты продолжаешь с ней встречаться?

— Конечно нет... Я бросил ее после помолвки. Она тоже куда-то пропала. Кажется, вышла за кого-то замуж. (Потом я удивлялся, откуда мне пришло это в голову.) Именно потому я так странно вел себя на помолвке, но теперь все в прошлом.

Сибель плакала, потом вытирала слезы, успокаивалась и снова задавала вопросы.

— Но ты не можешь ее забыть? — в какой-то момент метко и точно озвучила истину моя умная невеста.

Только бессердечный человек смог бы ответить на этот вопрос «да».

— Нет, — через силу выдавил я. —Ты неправильно поняла. Меня выбила из колеи тяжесть произошедшего. Я причинил вред девушке, обманул тебя, тем самым запятнав наши отношения. Именно это не дает мне покоя.

Мы оба не верили моим словам.

— Где ты был после обеда?

Очень хотелось бы рассказать тому, кто понял бы меня, как я рассматриваю и целую предметы, напоминающие Фюсун, как вожу ими по коже и плачу, думая о ней. Кому-то другому, но не Сибель. А еще меня не покидало чувство, что, если Сибель бросит меня, я сойду с ума. Мне, конечно, следовало бы сказать ей: «Давай немедленно поженимся». Ведь множество крепких семей, на которых держится наше общество, созданы для забвения безумной и несчастной любви.

— Я ходил в ту квартиру... Мне хотелось до свадьбы увидеть свои детские игрушки. У меня, например, был космический пистолет... До сих пор стреляет... Так, странная ностальгия...

— Тебе вообще не следует ходить туда! — разъярилась Сибель. — И часто вы там с ней встречались?

Не дождавшись моего ответа, она опять заплакала. Я обнял ее и начал гладить по голове. От этого слезы у Сибель полились еще сильнее. Моя преданность и привязанность к ней были сильнее, чем любовь. Сибель долго плакала, а потом уснула в моих объятиях. Затем сон сморил и меня.

Когда я проснулся, было около полудня. Сибель давно встала, умылась, сделала макияж и даже приготовила мне завтрак.

— Если можешь, сходи, купи свежего хлеба! — как ни в чем ни бывало сказала она. — Но если нет желания или не в состоянии, я поджарю старый.

— Нет, схожу, — сказал я.

Мы позавтракали в гостиной, похожей после вечеринки на поле боя, за обеденным столом, за которым родители обедали друг напротив друга тридцать шесть лет. Я решил поместить в своем музее такой хлеб, какой купил в то утро в бакалее напротив нашего дома. Его по утрам уже полстолетия едят миллионы жителей Стамбула, разве что вес немного отличается. Вся наша жизнь является повторением, только обычно мы напрочь забываем о пережитом, и мне хочется, чтобы хлеб напоминал посетителям моего музея об этом.

Сибель же была настроена решительно, что удивляет меня по сей день.

— То, что ты принял за любовь, простое увлечение, — рассудила она. — Скоро все пройдет. Я тебе помогу. Спасу из глупой истории.

Она сильно напудрила кожу под глазами, чтобы скрыть припухлости от слез. Несмотря на обиду и боль, Сибель тактично избегала слов, которые могли бы задеть меня. Я чувствовал ее нежность, и это еще более располагало меня к ней. Понимая, что решимость моей невесты—единственная соломинка спасения, я решил покорно подчиняться всему, что она скажет. Мы позавтракали свежим хлебом, брынзой, оливками и клубничным вареньем и тут же договорились, что мне нужно уехать из Нишанташи и долго не бывать в этом районе. На красные и оранжевые улицы был наложен строжайший запрет...

Родители Сибель вернулись в Анкару, где проводили каждую зиму, и поэтому их дача около Анатолийской крепости пустовала. Сибель сказала, что родители не будут против, если мы поживем там, поскольку мы уже помолвлены. Мне следовало немедленно переехать туда к ней и бросить привычки, постоянно возвращавшие меня к навязчивой идее. Помню, как с грустью и надеждой на выздоровление собирал чемоданы, словно мечтательная девушка, которую родители отправляют в Европу лечиться от несчастной любви. Вдруг Сибель протянула мне зимние носки, и я с болью подумал, что лечение мое продлится очень долго.

40 Утехи загородной жизни

Удовольствия загородной жизни, которые я тут же освоил, страстно надеясь начать новую жизнь, принесли мне утешение и в первые дни убедили меня, что лечение идет быстро. Мы часто возвращались домой поздно вечером, иногда — пьяными, из гостей или ресторана, но утром, когда сквозь ставни нашей комнаты начинал сочиться и играть на потолке странный свет, отражавшийся от волн Босфора, я вставал с постели, толкнув, открывал ставни и всегда изумлялся красоте вида, вихрем врывавшегося в комнату. Я восхищался так, будто с волнением заново открывал для себя прелесть жизни, о которой, мне казалось, давно забыл. Сибель догадывалась, что я ощущаю. В шелковой рубашке, она медленно подходила ко мне, тихонько ступая босыми ногами по скрипучим деревянным половицам, и мы вместе с надеждой любовались красотой Босфора. Мимо, покачиваясь на волнах, проплывала рыбачья лодка, дома виднелись в дымке на противоположном берегу, и, рассекая воды в волшебном безмолвии утра, кренясь от течения, в город держал курс первый пассажирский пароход.

Сибель, как и я, воспринимала радости жизни за городом с преувеличенным восторгом. Ей казалось, что от этого лекарства болезнь моя пройдет. Мы часто ужинали вдвоем, на веранде у Босфора, и когда прямо перед нами скользил пароход «Странствующий дервиш», ходивший от пристани «Анатолийская крепость», нам представлялось, что это ползет наш дом. Усатый капитан в фуражке держался за штурвал и кричал нам: «Приятного аппетита!» — ему была видна и хрустящая ставрида, и кабачковый салат, и тушеные баклажаны, и брынза, и дыня, и ракы у нас на столе. Сибель воспринимала это как очередной приятный момент, который поможет мне излечиться.

Едва проснувшись, мы с моей невестой бежали нырять в прохладные воды Босфора, потом отправлялись в кофейню на пристань пить чай с симитами[11] и читать газеты, затем возились с перцем и помидорами в саду, а ближе к полудню ходили покупать у только что вернувшихся из моря рыбаков свежую рыбу. Жаркими сентябрьскими ночами, когда на деревьях не двигался ни один листик, а мотылки слетались к фонарям, мы в темноте с шумом ныряли в светившееся таинственным светом море. По ночам, когда милая моя невеста прижималась ко мне великолепно пахнущим телом и нежно обнимала меня, я понимал: она верит, что все это мне поможет. Но в глубине своего сердца по-прежнему ощущал ту же боль и так же не хотел прикасаться к Сибель. «Мы еще не женаты, дорогая», «Я сегодня много выпил», — пытался отшутиться я. Она воспринимала мои отговорки со смиренной кротостью.

Иногда, когда я, напившись, дремал в одиночестве, развалившись в шезлонге на террасе, или жадно грыз вареную кукурузу, купленную у торговцев с лодок, или когда утром, садясь в машину, перед поездкой на работу целовал Сибель, как молодой счастливый муж, ее глаза выдавали зреющую ненависть и презрение. Конечно, причиной было то, что я не мог заставить себя прикоснуться к ней. Но страшнее другое: как явно думала Сибель, ее сверхъестественные усилия «вылечить» меня, стоившие огромной воли и любви, ни к чему не ведут, или, что еще хуже, даже если ей и удастся исполнить свою миссию, я не расстанусь и с Фюсун. В те минуты, когды бывало особенно тяжело, мне самому хотелось верить в последний вариант развития событий, и представлялось, что однажды я получу известие от Фюсун и мы сразу, как в прежние счастливые дни, начнем встречаться в «Доме милосердия», а я, избавившись от любовных страданий, женюсь на Сибель и буду наслаждаться с нею всеми радостями счастливой семейной жизни.

Но в воплощение мечты верилось, лишь если я напивался или рано утром на рассвете, когда все вокруг дышало надеждой. Большую часть времени я думал о ней, и теперь любовную боль усиливало не отсутствие Фюсун, а то, что конца страданиям было не видно.

41 Плавание на спине

В те грустные сентябрьские дни, полные мрачной красоты, я открыл для себя нечто важное, что позволяло терпеть боль: меня ненадолго успокаивало плавание на спине. Одолевая силу течения и волн, я, задержав дыхание на несколько минут, погружал голову в воду, слегка поворачиваясь, открывал глаза и видел отраженное морское дно. Сгущавшаяся темнота Босфора все время меняла цвет, и это рождало во мне странное ощущение — ощущение безграничности, которое было совершенно иной природы, нежели моя боль.

У берега внезапно становилось глубоко, и поэтому иногда я мог рассмотреть дно, иногда—нет, но этот яркий мир был цельным, огромным, таинственным, созерцание его одаривало радостью и смирением, что я—маленькая частица чего-то великого и единого. Иногда я видел на дне ржавые консервные банки, крышки от бутылок, черные полураскрывшиеся мидии и даже призрачные останки кораблей, затонувших в стародавние времена, и вспоминал, как безгранична история и бесконечно время и насколько ничтожен я сам. В такие мгновения мой рассудок подсказывал, сколько в испытываемом мной страдании самолюбования и даже эгоизма, но утешал, что эта слабость делает чувство, которое я называл любовью, глубже, и мне становилось лучше. Важна была не моя боль, а то, что я—часть бескрайнего, загадочного мира, преисполненного жизнью. Я чувствовал, что джиннам

[11] Симит — бублик с кунжутной обсыпкой.

душевного равновесия и счастья, обитавшим в моей душе, нравятся воды Босфора, заливавшие мне рот, нос и уши. Когда я плыл, опьяненный морем, сажень за саженью, боль в груди почти проходила и меня охватывала глубокая нежность к Фюсун, помогавшая понять, что терзают меня злость и обида.

В это время Сибель, видя с берега, что я вот-вот угожу под русский нефтяной танкер, тревожно гудевший мне, или под один из пассажирских пароходов, махала и кричала изо всех сил, но обычно я ничего не слышал. Сибель даже хотела запретить мне плавать, так как я опасно близко подплывал к городским пароходам, множество которых курсировало по Босфору, к иностранным грузовым судам, к баржам с углем, к стамбульским грузовым катерам, подвозившим ресторанам на Босфоре пиво и лимонад «Мельтем», и к моторным лодкам, будто бросал им вызов, но, зная, что это помогает мне избавиться от боли, настаивать не могла. Она лишь предложила, чтобы я иногда ездил в одиночестве на безопасные пляжи, например в Шиле, на берег Черного моря, а в другие дни, тихие и безветренные, мы отправлялись в пустынную бухту за Бейкозом, где я, не поднимая головы из воды, плавал до бесконечности — туда, куда меня уносили мои мысли. А потом, выбравшись на берег и закрыв глаза, растягивался на солнце и с оптимизмом думал, что все мной переживаемое случается с каждым серьезным и порядочным мужчиной, кто страстно влюблен.

Единственная странность заключалась в том, что проходившее время никак не успокаивало мою боль, как бывало у других. Тихими лунными ночами (издалека слышался приятный всплеск проплывавшей вдалеке баржи) Сибель говорила мне, что «боль постепенно пройдет», пытаясь как-то меня утешить, но лучше не становилось, и это путало нас обоих. Однако, полагаясь на Сибель, я казался себе слабым и зависимым от спасительной нежности, будь то нежность матери или подруги, и поэтому ее попытки не давали результатов, а я продолжал плавать на спине, упорно веря, что смогу сам победить боль. Иногда надеялся, что, если стану считать происходящее со мной фантазиями, созданными моей больной головой, или следствием некоего моего духовного изъяна, то избавлюсь от страданий. И сознавал, что обманываю себя.

В сентябре я три раза ездил в «Дом милосердия» и, лежа в кровати среди предметов, которых касалась она, пытался утешить себя. Я не мог ее забыть.

42 Осенняя тоска

После урагана, принесенного в начале октября северо-восточным ветром, воды Босфора сразу остыли. Купаться стало холодно, и вскоре уныние мое настолько усилилось, что скрывать его было невозможно. Теперь темнело рано, осенние листья, вскоре засьшавшие сад и пристань перед внезапно опустевшим домом, забытые у берега лодки, велосипеды, брошенные на произвол судьбы посреди мгновенно, после первого дождливого дня, обезлюдевших улиц, навевали нам обоим мрачную осеннюю тоску, которую мы пытались не замечать. Я со страхом чувствовал, что Сибель больше не удается избавлять меня от бездействия, неудержимой горечи и ежедневных обильных возлияний.

В конце октября она окончательно устала от ржавой воды, капавшей в старую раковину, от запущенной, продуваемой холодными сквозняками кухни, от дырок и трещин в доме, куда задувал северный ветер. В доме было очень холодно, но мы хотя и осуждали безответственных невежд, которые пользовались электрическими печками в старинных деревянных домах, подвергая опасности исторические сооружения, сами, каждую ночь, едва замерзнув, втыкали вилку в смертельно опасную розетку. Наши веселые друзья, жаркими сентябрьскими вечерами любившие засиживаться у нас, и, напившись, по ночам с хохотом в темноте нырявшие в Босфор, теперь приезжать перестали, и мы оба чувствовали, что в

городе идет полным ходом веселая светская жизнь, которую мы упускаем.

В саду у нас завелся маленький друг — пугливая ящерка, она всегда пряталась во время дождя. Я сохранил для своего музея фотографии влажных, растрескавшихся садовых камней и улиток на них—воспоминания о той осенней тоске.

Внезапно пришло острое понимание того, что, нельзя оставаться с Сибель на даче зимой, если физически не доказать ей, сколь далек от меня образ Фюсун. Эта осознанная необходимость делала нашу совместную жизнь в спальне с высоким потолком, которую мы, едва настали холода, пытались согреть электрическими печками, еще более безжизненной и безнадежной. Все меньше становилось ночей, когда мы спали, нежно обнявшись.

В начале ноября в городе включили отопление. Мы начали бывать на приемах, на открытиях новых и обновившихся старых ночных клубов. Под разными предлогами появлялись теперь в Бейоглу — нам хотелось оказаться среди веселых людей, собиравшихся у входов в кинотеатры, — и даже заезжали в Нишанташи, на улицы, запретные для меня.

Однажды вечером мы решили зайти в ресторан «Фойе». Пропустив натощак по запотевшему стаканчику холодной ракы, разговорились с официантами, с метродотелями Хайдаром и Сади; как всегда, посетовали кому-то, сколько развелось вокруг националистов и марксистов, стреляющих на улицах, подклады-вающих бомбы и ведущих страну к гибели. Пожилые официанты были осмотрительнее нас и не спешили выражать свои эмоции в беседах на политические темы. К нам никто не подходил, хотя мы здоровались и улыбались всем знакомым, заглядывавшим в ресторан, и поэтому Сибель насмешливо спросила, отчего у меня опять испортилось настроение. На это я ответил, что расстроен, поскольку Тургай-бей сговорился с братом, они взяли к себе Кенана, которого я так и не решился выгнать, и собираются организовать новую фирму, а меня не зовут под предлогом моей якобы загруженности и работы над крупным тендером по поставке постельного белья.

— Кенан — это тот самый, кто отменно танцевал на помолвке? — уточнила Сибель. Конечно, она имела в виду «танцевал с Фюсун», но выразилась именно так, чтобы не употреблять ее имя. Подробности помолвки до сих пор причиняли боль нам двоим, и поэтому мы некоторое время молчали, подбирая новую тему для разговора. Между тем, когда моя «болезнь» обнаружилась впервые, Сибель, проявлявшей даже в самые трудные минуты необыкновенную жизненную силу, с легкостью удавалось находить предметы для разговора.

— И сейчас этот Кенан станет директором новой, процветающей фирмы, — насмешливо добавила она. Никогда прежде Сибель не позволяла себе насмешек. С грустью глядя на слишком сильный макияж и дрожащие руки моей невесты, я подумал, что она из состоятельной, учившейся во Франции, счастливой и благополучной девушки превращается в заурядную турецкую домохозяйку, несчастную и язвительную, которая от проблем с богатым мужем постепенно привьпсает к выпивке.

Неужели она догадалась о моей ревности к Кенану и поэтому решила меня уколоть? Еще месяц назад такое подозрение не пришло бы мне в голову.

— Это братец всякие фокусы выдумывает, лишь бы заработать на пару грошей больше, — парировал я. — Забудь.

— Ты сам знаешь, что речь не о нескольких грошах, а о большой прибыли. Ты не должен сквозь пальцы смотреть на то, что ущемляют твои права и лишают тебя участия по праву и законной доли. Ты должен проявить волю и ответить им.

— Мне нет до этого никакого дела.

— Ты мне такой не нравишься, — Сибель раздражалась. —Тебе ничто не интересует, ты прячешься от жизни, тебе, судя по всему, нравится быть слабым. А

нужно быть сильным.

— Давай еще выпьем? — улыбнулся я, поднимая стакан.

Мы заказали еще по порции ракы и, ожидая официанта, молчали. Когда Сибель сердилась, у нее между бровей появлялась морщинка, похожая на вопросительный знак, и теперь эта морщинка обнаружилась вновь.

— Позвони Нурджихан, — предложил я. — Может, они с Мехмедом придут?

— Я недавно пыталась, но тут телефон не работает; говорят, сломался, — сердито ответила Сибель.

— Ну, тогда расскажи, что ты делала сегодня в городе, что купила? — продолжал я. — Или о чем-нибудь веселом!..

Но Сибель совершенно не хотелось ни веселить меня, ни демонстрировать покупки.

— Теперь я уверена, ты не можешь до сих пор так сильно любить ее, — произнесла она внезапно после непродолжительной паузы. — Беда не в том, что ты любишь другую женщину, беда в том. что меня ты не любишь.

— А почему я тогда так привязан к тебе? — нежно спросил я Сибель, взяв ее за руку. — Почему мне не хочется проводить без тебя ни дня?

Мы не впервые говорили друг другу такие слова. Но на этот раз в ее глазах сиял странный свет, и я испугался, что сейчас она скажет: «Потому что тебе хорошо известно, что ты умрешь от боли, если останешься один!» Но Сибель, слава Аллаху, еще не замечала, что мое положение столь плачевно.

— Ты тянешься ко мне, потому что хочешь верить, что с тобой случилось несчастье.

— А зачем мне несчастье?

— Тебе нравится выглядеть уставшим от жизни. Но тебе, дорогой мой, пора взяться за ум.

Я сказал ей, что мечтаю, чтобы эти черные дни миновали и чтобы у нас родилось двое сыновей, а еще три дочери, похожие на нее. Что у нас будет большая, счастливая и дружная семья, мы будем жить счастливо и долгие годы радоваться жизни. Что когда я вижу ее прекрасное лицо, смотрю в ее умные глаза, слышу, как она что-то готовит на кухне, чувствую безграничную радость. «Не плачь, пожалуйста»,— попросил я.

— Чувствует мое сердце, этого никогда не будет. — Слезы из глаз Сибель потекли быстрее. Она высвободила свою руку, вытащила платок, вытерла слезы, высморкалась, вытащила пудреницу и обильно попудрилась.

— Почему ты больше не веришь в меня?—спросил я.

— Наверное, потому, что я больше не верю в себя, — ответила Сибель. — Иногда я думаю, что стала некрасивой.

Я снова крепко сжал ее руку и уже собирался сказать ей: «Нет, не правда! Красивая!», как вдруг раздался голос Тайфуна: «О-о! А вот и налги влюбленные голубки! Все только о вас и говорят. Что это у вас стряслось?»

— Интересно, что же про нас сплетничают? Летом Тайфун с женой часто бывали у нас на даче.

Но сейчас, когда он увидел, что Сибель плачет, помрачнел. Ему захотелось поскорее отойти от нас, однако Сибель, заметив это, остановила его.

— У одного нашего близкого друга погибла в автокатастрофе дочь, — объяснила она.

— Так о чем же все-таки трезвонят? — насмешливо повторил я.

Тайфун искал повод сбежать и озирался по сторонам. Наконец он увидел какого-то знакомого и нарочито громко окликнул его. Прежде чем уйти, он сказал:

— Вы так влюблены и не женитесь. Наверное, как европейцы, боитесь, что семейная жизнь убьет вашу любовь. Вам надо пожениться, чтобы все вокруг

перестали завидовать. А некоторые говорят даже, что жизнь на даче вам счастья не принесет. Ну, пока, ребята! Счастливо оставаться.

Едва он ушел, мы заказали еще ракы у молодого симпатичного официанта. Сибель все лето удавалось скрывать под различными предлогами мои приступы тоски, привлекавшие внимание наших друзей. Однако множество сплетен и насмешек породил один только факт, что мы начали жить вместе до свадьбы, а язвительные и двусмысленные шутки Сибель в мой адрес запомнились многим, как и моя новая привычка подолгу плавать на спине. Очевидно, все это стало теперь в обществе предметом обсуждения.

— Позовем на ужин Мехмеда с Нурджихан или одни поедим?

— Позвони им с улицы, разыщи их. У тебя есть жетон? Мне хочется еще побыть здесь, — в голосе Сибель звучала неясная тревога.

Я поместил в свой музей стамбульский телефонный жетон с зазубренными краями, какой можно было купить тогда в любой табачной лавке, потому что мне не хочется, чтобы счастливые свидетели новой жизни презирали Стамбул 1975 года, в котором плохо текла вода (поэтому в богатые кварталы воду привозили на грузовике) и не работали телефоны. Я не помню, чтобы в те годы мне хотя бы раз удалось позвонить с улицы. Такое удавалось только героям турецких фильмов, и то в картинах, навеянных европейским кино. Зато позвонить можно было из любого магазина, бакалеи, кофейни или табачной лавки, где предприимчивые хозяева устанавливали специальные автоматичские копилки для жетонов. Все эти подробности объясняют, почему я обошел несколько магазинов в Нишанташи. В одном киоске «Спорт-Лото» оказался свободный телефон. У Нурджихан номер был занят, второй раз продавец мне позвонить не разрешил; через некоторое время, из какого-то цветочного магазина, я наконец дозвонился до Мехмеда. Он сказал, что Нурджихан у него дома и через полчаса они придут в «Фойе».

Переходя из магазина в магазин в поисках телефона, я добрался до площади Нишанташи. И сказал себе, что неплохо бы проверить квартиру в «Доме милосердия», раз уж я оказался поблизости. Ключ был у меня с собой.

Придя туда, я снял рубашку и пиджак, умылся, как врач перед операцией, а затем осторожно присел на край кровати, на которой мы с Фюсун занимались любовью сорок два раза, и полтора счастливых часа гладил и касался предметов, полных воспоминаний о нас.

Когда я вернулся в шумный, веселый «Фойе», выяснилось, что, кроме Мехмеда с Нурджихан, пришел еще и Заим. Помню, увидев друзей за столом, забитым бутылками, пепельницами, грязными тарелками и стаканами, я представил, как буду скоро счастлив.

— Извините, задержался, но знали бы вы, что со мной приключилось! — я улыбнулся, приготовившись измыслить какую-нибудь ложь.

— Ничего, — весело махнул рукой Заим. — Садись. Забудь обо всем. Веселись с нами!

— Да я и так веселый.

По взгляду Сибель не приходилось сомневаться, что моя изрядно выпившая невеста догадалась, куда я надолго исчез, и поняла, что болезнь моя не пройдет никогда. Рассердившаяся и оскорбленная, Сибель была так пьяна, что устроить сцену не могла. А протрезвев, она не стала бы доводить до скандала потому, что любила меня или побоялась бы потерять. Ведь расторжение помолвки равнозначно для нее сокрушительному поражению. По этой или какой-либо другой причине мне полагалось испытывать привязанность к ней, что, вероятно, подарило бы Сибель новую надежду, и она опять начала бы с оптимизмом верить в мое счастливое излечение. Но тем вечером я почувствовал, что крах наших надежд уже близок.

Мы танцевали с Нурджихан.

— Ты так обидел Сибель! — упрекнула она меня. — Не оставляй ее больше одну нигде. Она очень тебя любит. И очень обижается.

— Любовных роз без шипов не бывает. Без шипов не так сладок аромат. Вы с Мехмедом когда женитесь?

— Мехмед хочет прямо сейчас, — взгляд Нурджихан смягчился. — Но я хочу устроить помолвку, а потом, как вы, до свадьбы насладиться свободой.

— Не стоит нам так подражать...

— Мы о чем-то не знаем? — Нурджихан улыбнулась, пытаясь за шуткой скрыть любопытство.

Но ее слова не встревожили меня. Навязчивая идея под влиянием постоянной боли и ракы то становилась отчетливей, то таяла, как мираж. Помню, уже глубокой ночью, танцуя со своей невестой, я, точно школьник, взял с нее клятву, что она никогда меня не бросит, а Сибель, расчувствовавшись, уверяла меня в вечной любви. К нам за стол подсаживались многие знакомые, звали с собой в другое место: кто-то предлагал отправиться на Босфор, попить чаю в машинах; другие ехали в Касым-паша есть хаш; третьи советовали отправиться слушать фасыл[12]. В какой-то момент Нурджихан обняла Мехмеда, и они стали забавно качаться на одном месте, подражая нашему с Сибель романтическому танцу, чем насмешили всех вокруг. С первыми проблесками рассвета я решил, что пора возвращаться домой. И собрался сесть за руль, несмотря на горячие возражения всех друзей, выходивших с нами из «Фойе». Сибель принялась кричать, что я еле стою на ногах, и тогда мы решили переехать в азиатскую часть на пароме. Когда на восходе солнца паром причаливал к Ускюдару, мы оба спали в машине. Нас разбудил юнга, с тревогой колотивший в стекло автомобиля, так как мы перегородили выезд грузовикам с продуктами и автобусам. Качаясь, мы брели по дороге вдоль Босфора под платанами, ронявшими красные листья. В целости и сохранности добравшись до летнего дома, как всегда после бурных ночей, мы заснули, крепко обняв друг друга.

43 Холодные одинокие ноябрьские дни

Сибель ни разу не спросила меня о том, что я делал в Нишанташи, когда исчез на полтора часа. Но в тот вечер у нас обоих возникла уверенность, не оставлявшая никаких сомнений: излечиться я не смогу никогда. Стало ясно, что предписания и запреты ни к чему не привели. Но нам нравилось жить вместе в старом летнем доме, утратившем былое великолепие. Каким бы безнадежным ни было наше положение, в ветхом пристанище было что-то такое, что привязывало нас друг к другу и позволяло терпеть боль, даже делало ее прекрасной. Смесь грусти, ощущения поражения и чувства товарищества наполняла нашу жизнь смыслом и защищала от болезненного отсутствия близости, а останки исчезнувшей османской культуры скрадывали пустоту, образовавшуюся в нас, бывших влюбленных и недавно помолвленных, на месте почти умершей любви, которую уже ничто не могло оживить.

Вечерами, когда мы ставили обеденный стол так, чтобы любоваться морем, и садились пить ракы, по взглядам Сибель я чувствовал, что единственная возможность сохранить привязанность друг к другу без близости—это брак. Ведь многие женатые пары—притом не только из поколения наших родителей, но и наших сверстников — жили, казалось бы, счастливой семейной жизнью, хотя между ними ничего не было. На третьем-четвергом стакане мы, наполовину в шутку, наполовину всерьез, принимались гадать, кто из наших знакомых, дальних или близких, молодых или пожилых, «еще занимается любовью». Наша способность смеяться в той

---

[12] Фасыл — разновидность традиционной османской музыки.

ситуации, воспоминания о которой доставляют мне сейчас неприятную боль, рождалась осознанием того, что до настоящего момента близость доставляла нам огромную радость. Тайной же целью этих разговоров, крепче привязывавших нас друг к другу, как сообщников преступления, была уверенность, что мы можем пожениться и так, и вера в то, что когда-нибудь близость вернется в нашу жизнь. Сибель начинала на это надеяться даже в особо тягостные минуты нашего пребывания, и тогда ее веселили мои шутки, радовала моя нежность, а иногда, пытаясь сразу перейти к действиям, она садилась ко мне на колени. В такие мгновения надежды и я ощущал то же самое, что переживала Си-бель, пытался заговорить о женитьбе, но не решался, боясь, что она откажет, поддавшись влиянию сиюминутных эмоций, и бросит меня. Как мне казалось, Сибель ищет подходящий момент одним рывком завершить наши отношения и отомстить мне, что позволило бы ей вернуть самоуважение. Она никак не могла смириться с тем, что четыре месяца назад, когда ей предстояла полная удовольствий и веселья счастливая семейная жизнь в окружении детей и друзей, жизнь, которой завидовали бы многие, утрачена. Но никак не отваживалась на решительный поступок. Мы старались преодолеть эту тяжелую ситуацию, так как испытывали друг к другу странную любовь и привязанность и, забываясь во сне, просыпались вдруг среди ночи от боли, терзавшей нас обоих, и вновь пытались окунуться в забытье, обняв друг друга.

Стояли безветренные ночи. Примерно с середины ноября к нашему дому, почти под окна, начал приплывать на лодке какой-то рыбак с сыном, и когда мы, вздрогнув, проспыпались среди ночи от плохого сна или от жажды после выпивки, слышали, как он бросает сети в тихие воды Босфора. Мальчик, с приятным тоненьким голоском, во всем слушался своего опытного отца. Лодка подплывала почти к нашей спальне. Они зажигали лампу, и ее прекрасный свет через ставни светил нам на потолок, а в самые тихие ночи мы слышали плеск весел в воде, звук воды, капавшей с сети, и покашливание рыбаков. Проснувшись от их появления, мы с Сибель обнимали друг друга, прислушиваясь к редким разговорам отца и сына, которые в нескольких метрах от нашей постели, не замечая нас, в тишине делали свое дело: шевелили веслами, бросали камни, чтобы рыба попалась в сети, вытаскивали улов. Иногда слышалось: «Держи крепко, сынок». Или: «Подыми корзину». Или: «А сейчас табань». Проходило какое-то время, наступало полное безмолвие, и вдруг сын тоненьким голоском говорил: «Папа, здесь еще одна!», и мы с Сибель, обнявшись, гадали, кого он видит. Обычную рыбу, или опасную рыбу-иглу, или какое-то иное существо? Так, фантазируя, мы часто засыпали вновь, а иногда лежали до тех пор, пока лодка беззвучно не удалялась. Не помню, чтобы днем мы с Сибель хоть раз вспоминали о рыбаке и его сыне. Но ночью, когда подплывала лодка, Сибель просыпалась и обнимала меня, я понимал: она ощущает чувство совершенного покоя, оттого что вместе со мной между сном и явью слышит голоса. Мне казалось, она ждет их каждую ночь, как и я. Мне казалось, что мы не расстанемся никогда, пока слышим рыбака и его сына.

Между тем с каждым новым днем Сибель обижалась на меня все сильнее, мы все чаще ссорились и ругались по пустякам. Она начала искренне сомневаться в своей красоте, и я все чаще заставал ее с мокрыми от слез глазами. Бывало и так, что мечтающий о Фюсун и утоляющий свою боль очередным стаканчиком ракы, я не обращал внимания на какую-нибудь выдумку Сибель, призванную доставить нам обоим радость, — пекла ли она пирожные или тащила в дом журнальный столик, купленный ею. Когда Сибель, обиженная, выходила, хлопнув дверью, я, хоть и страдал от раскаяния и угрызений совести, все же не решался подойти к ней и попросить прощения, удерживаемый каким-то странным стыдом и смущением, а когда все же подходил, разговаривала она неохотно.

Если бы помолвка была расторгнута, общество осудило бы Сибель за то, что

она долго жила со мной, не будучи замужем. Сколь бы уверенно она ни держалась после этого и сколь «европеизированными» ни выглядели бы ее друзья, все восприняли бы нашу жизнь без брака не как любовную историю, а как историю несчастной женщины, запятнавшей свою честь. Мы, конечно, никогда с ней это не обсуждали, но каждый новый день работал против Сибель.

Так как я время от времени ездил в «Дом милосердия», где мне удавалось отвлечься от боли, то иногда чувствовал себя чуть лучше и даже поддавался иллюзии, что боль начинает проходить, полагая, будто это обнадежит Сибель. Ее несколько успокаивали наши вечерние поездки в город повеселиться, поболтать с друзьями, но и они не могли сокрыть весь ужас нашего положения и то, как мы несчастливы—кроме, пожалуй, тех моментов, когда оба напивались или слушали голоса рыбака с сыном. В те дни я умолял Джейду, которая должна была вот-вот родить, сказать, где Фюсун и что с ней. Я упрашивал как мог, даже предлагал деньги, но единственное, чего смог добиться, — узнать, что Фюсун живет в Стамбуле. Я уже спрашивал себя, не стоит ли мне прочесать весь город, улицу за улицей.

В начале зимы, в один из холодных и грустных дней в летнем доме, Сибель сообщила, что собирается поехать с Нурджихан в Париж на Рождество. Нурджихан собиралась сделать во Франции кое-какие покупки и закончить некоторые дела до помолвки и свадьбы с Мехмедом. Я не стал отговаривать и даже наоборот — подбадривал. Да и пока Сибель будет в Париже, можно было приложить все силы к поискам Фюсун, перевернуть вверх дном весь Стамбул и, если не получится найти ее, избавиться от боли, сковывавшей мою волю, чтобы жениться на Сибель, когда она вернется. Сибель восприняла мои ободряющие речи с подозрением, но я сказал, что разлука пойдет нам обоим на пользу, а когда она вернется, мы продолжим с того места, на котором остановились. Слово «свадьба» в своей речи я употребил несколько раз, не делая, впрочем, на него сильного акцента.

Я все еще искренне думал жениться на Сибель, которая, в свою очередь, не оставляла надежд на перемены к лучшему, пока она будет далеко, и что, вернувшись из Парижа, она обнаружит меня «выздоровевшим» и «выздоровеет» сама.

Провожать их в аэропорт мы поехали вместе с Мехмедом. Приехали рано, немного посидели все вместе за маленьким столиком в новом терминале и попили лимонада «Мельтем», который нам советовала Инге, улыбавшаяся с плаката на стене. Когда я в последний раз махал Сибель на прощание, то увидел ее в глазах слезы и испугался. Мне вдруг стало ясно, что мы больше не вернемся к прежней жизни и расстаемся надолго. Мехмед, которому впервые за несколько месяцев предстояло жить без Нурджихан, на обратном пути в машине, прервав затянувшееся молчание, вздохнул: «Ну что, братишка, тяжело нам будет без наших девушек».

Ночью летний дом показался мне невыносимо пустым и печальным. Теперь, в одиночестве, я впервые слышал не только разные голоса скрипевших на все лады досок, но и стоны моря. От порывистого северо-восточного ветра завывал каждый угол. Волны по-прежнему бились о бетонную пристань с терассой, но звук их изменился. Как-то, лежа в кровати в стельку пьяный, я под утро заметил, что рыбак с сыном не приплывают уже давно. Та часть меня, что всегда сохраняла способность мыслить реалистично и честно, доложила, что очередной период моей жизни закончен. Но другая часть меня, панически боявшаяся одиночества, всем своим существом отказывалась признавать эту истину.

44 Гостиница «Фатих»

На следующий день я встретился с Джейдой. Она передавала Фюсун мои письма, а я взял на работу в бухгалтерию «Сат-Сата» одного ее родственника. Поэтому был уверен, что смогу надавить на нее и получу адрес Фюсун. В ответ на

мои настоятельные просьбы Джейда загадочно молчала. Лишь обмолвилась, что встреча с Фюсун не принесет мне счастья; сказала, что жизнь, любовь и счастье — очень сложные вещи; что каждый делает все возможное, чтобы защитить только свое счастье. Говоря это, она время от времени нежно поглаживала свой сильно раздувшийся живот. Джейда чувствовала себя счастливой — сразу было видно, что муж во всем ей потакал.

Я не смог добиться от нее ничего — ни мольбами, ни угрозами. Тогда в Стамбуле не существовало частных сыскных бюро, какие показывали в американских фильмах, поэтому проследить, куда она ходит, не представлялось возможным. У отца работал охранник, Ра-миз, который иногда выполнял всякого рода тайные поручения. Я попросил его деликатно заняться расследованием кражи, которая якобы произошла у меня в конторе, и поручил разыскать Фюсун, ее отца и тетю Несибе, однако Рамиз пришел с пустыми руками. Я обратился к моему дяде Селями-бею, отставному комиссару, долгие годы занимавшемуся тем, что выслеживал преступников, помогал нашим товарам проходить таможню и улаживал наши проблемы с налоговой полицией. Он тоже пытался разыскать отца Фюсун через районные бюро гражданской регистрации, отделения Управления безопасности и даже через квартальных старост, но поскольку отец Фюсун на учете в полиции не состоял, найти его не удалось. Я вспомнил, что перед выходом на пенсию он преподавал в двух лицеях—района Вефа и Хайдарпаша, и под видом бывшего ученика неведался туда, однако тоже ничего не смог разузнать. Пытался я разыскать Фюсун, выясняя, кому из дам в Ни-шанташи и Шишли шьет тетя Несибе. Конечно, спрашивать что-то у матери я не мог. А Заим от своей матери узнал, что услугами портних теперь мало кто пользуется. Он тоже через знакомых разузнавал о портнихе Несибе, но безрезультатно. Все эти неудачи лишь усиливали мои страдания. Целыми днями я просиживал у себя в кабинете, а во время обеденного перерыва уходил в «Дом милосердия», ложился на нашу с Фюсун кровать, клал рядом вещи, которых она касалась, и старался почувствовать себя счастливым. Потом иногда возвращался на работу или садился в машину и колесил по улицам Стамбула, надеясь где-нибудь повстречать Фюсун.

Тогда мне и в голову не приходило, что много лет спустя я буду с удовольствием вспоминать эти поездки, во время которых объезжал множество кварталов, улиц и площадей. Так как призрак Фюсун теперь стал являться мне в далеких от центра районах вроде Вефа, Зейре-ка, Фатиха и Коджа-мустафа, то я перебирался через Золотой Рог и колесил там. Не спеша, с сигаретой в руке, проезжал по узким, выложенным брусчаткой извилистым улочкам в ямах и ухабах, когда вдруг передо мной на мгновение не возникал призрак Фюсун. Тогда я немедленно останавливал машину, выходил, осматривал очередной бедный квартал и думал, как же он прекрасен, раз она здесь живет. Улочки, посреди которых усталые пожилые женщины в платках стирали белье или чистили посуду, где местные повесы внимательно разглядывали каждого чужака, гонявшегося по их кварталу за призраком, а безработные дремали по кофейням за газетой и пахло углем от печных труб, были для меня почти священными. Убедившись, что женщина, за которой я следил довольно давно, не Фюсун, я продолжал изучать очередной квартал, ведь если мне показался ее силуэт, значит, Фюсун должна быть где-то рядом. Меня совершенно не заботили и не пугали угрожающие надписи политического свойства, лозунги, как тогда говорили, различных политических «ячеек» и организаций, которыми был испещрен старинный, двухсотлетней давности гладкий мрамор давно пересохшего чешме[13] посреди квартальной площади, в чаше которого вылизывали себя уличные

[13] Чешме — источник.

кошки. Я лишь верил всем сердцем, что Фюсун только что проходила здесь, и мне казалось, будто я движусь по сказочному городу, где меня в конце пути ожидает счастье. Я чувствовал, что должен идти вперед, не отступая ни на шаг, сесть у окна в кофейне и во все глаза смотреть и смотреть на улицу, чтобы не пропустить ее, когда она опять пройдет мимо, и, чтобы найти Фюсун и дом, где она теперь живет, начать жить так, как жила она и ее семья.

Вскоре я перестал бывать на вечеринках моих друзей из общества, в дорогих ресторанах Нишанташи и Бебека. Бедняга Мехмед. который с отъездом Нурджихан жаждал встречаться со мной каждый вечер и почитал меня своего рода товарищем по несчастью, порядком надоел мне своими бесконечными разговорами на тему «что там делают сейчас наши девочки». Если мне удавалось избавиться от него и отправиться куда-нибудь одному в бар, он все равно находил меня и долго, с горящими глазами, в подробностях рассказывал о последнем телефонном разговоре с Нурджихан, а мне от этого становилось не по себе, потому что всякий раз, когда я звонил Сибель, нам не о чем было говорить. Иногда мне, конечно, хотелось, чтобы она оказалась рядом, но я так устал от чувства вины перед ней, от ощущения обмана, что без нее мне было гораздо легче. Избавившись от необходимости постоянно изображать «выздоровление», я надеялся по-настоящему стать вскоре таким как прежде. Это спокойствие вселяло в меня некую уверенность, и, разыскивая Фюсун по бедным кварталам Стамбула, я злился на себя за то, что не догадался прийти раньше на эти старые прелестные улицы. Помню, как сожалел, что не отменил помолвку, что никак не решаюсь расторгнуть ее, что всегда во всем опаздываю...

Наступила середина января, до возвращения Сибель из Парижа оставалось две недели, когда я собрал чемодан и переселился в одну маленькую гостиницу на полпути между Фатихом и Карагюмрюком (ее крохотную вывеску, раздобытую мною много лет спустя, а также ключ с фирменным брелоком и анкету постояльца я поместил в музей моих странствий). В эту гостиницу я случайно зашел накануне вечером, когда вновь искал Фюсун по улицам, переулкам, лавкам и кофейням Фа-тиха, в кварталах, спускавшихся к Золотому Рогу, и внезапно хлынул дождь. В тот январский день все послеобеденное время я провел за тем, что заглядывал в окна заброшенных каменных домов, оставленных покинувшими город греками, и старинных, еле стоявших деревянных особняков с осыпавшейся со стен краской. Картины нищеты обитавших там многодетных семейств, их разговоры, крики, ругань, слезы и смех невероятно утомили меня. Стемнело рано, мне захотелось как можно скорее выпить, и, чтобы не перебираться на противоположный берег Босфора, я поднялся вверх по улице и неподалеку от главного проспекта Фатиха заметил новую пивную. Еще не было и девяти, когда я, сидя среди других мужчин, выпивавших под монотонное бормотание барного телевизора, уже был в стельку пьян от водки с пивом. И тут, выбравшись на улицу, понял, что забыл, где оставил машину. Шатаясь, долго брел под дождем по грязным темным улицам, думая не столько о потерянной машине, сколько о пропавшей Фюсун и моей потерянной жизни, и чувствовал прилив счастья уже от одного того, что мечтаю о ней. Около полуночи я набрел на гостиницу «Фатих», снял номер, поднялся наверх, упал в кровать и заснул.

Впервые за много месяцев я погрузился в крепкий, беспробудный сон. Последующие ночи, проведенные в этой гостинице, тоже прошли спокойно. Это удивляло меня. Иногда, под утро, мне снились какие-то счастливые сцены детства или ранней юности, а потом я, вздрогнув, просыпался, совсем как было, когда появлялся рыбак с сыном, и пытался немедленно заснуть снова, чтобы вернуться в счастливую, добрую грезу.

Я забрал из летнего дома Сибель все свои вещи, зимние шерстяные носки и костюмы, но отвез чемоданы не домой, а, чтобы не отвечать на любопытные взгляды и удивленные расспросы родителей, прямо в гостиницу. Каждый день ранним утром я,

как обычно, уезжал на работу, однако уходил из конторы пораньше и отправлялся бродить по городу. Я искал свою любимую с неистощимым рвением; по вечерам, сидя в очередной пивной, старался не замечать, как ноют ноги. Лишь много лет спустя мне предстояло понять, что дни, проведенные в гостинице «Фатих», и иные схожие периоды моей жизни когда, казалось бы, я невероятно страдал, на самом деле надо признать счастливым временем. В обед я покидал свой кабинет и направлялся в «Дом милосердия», где пытался забыться среди ее вещей, находя раз от разу все новые и новые предметы и воспоминания, открывая их неожиданные стороны, и старался тщательнее их беречь; по вечерам выпивал и часами бродил, отуманненый спиртным и мечтаниями, по переулкам Фатиха, Карагюмрюка и Балата, разглядывал сквозь незанавешенные окна дома чужих людей, смотрел, как ужинают вместе счастливые семьи, и часто мне казалось, что Фюсун где-то здесь, где-то рядом, и на душе становилось тепло.

Иногда я чувствовал, что причина этой радости даже не в близостм к Фюсун, а в нечто совсем другом. Здесь, на окраинах города, на грязных улицах бедных кварталов, среди машин, мусорных бачков, на выложенной брусчаткой мостовой, в свете уличных фонарей, рядом с мальчишками, гонявшими полусдувшийся мяч, я постигал суть жизни. Постоянный рост отцовского предприятия, его фабрики и заводы, повышение благосостояния — все это вынуждало нас поступать по-европейски, сообразно нашему положению, однако привело к тому, что мы забыли простые основания жизни, и сейчас на этих грязных улочках я будто искал ее утраченный смысл. Шагая, пьяный, наобум по узким переулкам, спускаясь по залитым помоями переходам, я внезапно, вздрогнув, замечал, что на улицах уже нет никого, кроме собак, и с изумлением разглядывал желтый луч света, пробивавшийся на мостовую из-за полураздвинутых занавесок, тоненькие голубые струйки дыма из печных труб, голубоватый отсвет телевизоров, отражавшийся в витринах магазинов и окнах домов. Образ одного из этих темных переулков ожил у меня в памяти на следующий вечер, когда мы с Заимом сидели за ракы с рыбой в пивной на рынке в Бешикташе, словно желая защитить меня от притяжения иного мира, о котором рассказывал мне мой друг.

Заим болтал о последних вечеринках и сплетнях; я спросил его, как дела с «Мельтемом», и он пустился рассказывать об успехе продаж, потом вспоминал все мало-мальски стоившие внимания светские новости, но говорил обо всем вскользь. Он знал, что я уехал от Сибель, но не ночую у родителей в Нишанташи, однако, наверное, из желания не расстраивать меня не спрашивал ни о Фюсун, ни о моих чувствах. Я, правда, то сам пытался заговорить о ней, не узнал ли он что-нибудь, то изображал уверенного в себе человека, который сознает свои поступки, и давал ему понять, что каждьш день бьшаю в компании и очень много работаю.

В конце января Сибель позвонила из Парижа на дачу и от соседей и садовника узнала о моем отъезде. Потом перезвонила мне в контору. Мы давно не разговаривали по телефону; это, конечно, было следствием холода и отчужденности, установившейся между нами, однако и несовершенство техники внесло свою лепту. В трубке слышался странный гул и треск, и приходилось орать что есть мочи. Всякий раз, когда я представлял, что обязательные нежные слова, которые я должен (к тому же, неискренне) прокричать Сибель, услышит весь «Сат-Сат», мне меньше всего хотелось ей звонить.

— Оказывается, ты уехал с дачи, но и дома не ночуешь! — сказала она.

— Да.

Я не стал напоминать ей, как мы вместе решили, что мне не стоит ходить домой и бывать в Нишанташи, чтобы не «провоцировать воспоминаниями болезнь». И не стал спрашивать, откуда она узнала, что по вечерам я не бываю дома. Моя секретарша Зейнеб-ханым, услышав, что звонит Сибель, тут же вскочила и вышла из

кабинета, закрыв за собой дверь, чтобы я мог свободно поговорить с невестой, но мне все равно нужно было кричать, иначе Сибель меня не услышала бы.

— Чем ты занимаешься? Где ты живешь? — спрашивала она.

Тогда я вспомнил, что никто, кроме Заима, не знает, о гостинице «Фатих». И мне совершенно не хотелось трубить об этом, тем более когда разговор слышали все сотрудники.

— Ты вернулся к ней? — крикнула Сибель. — Скажи честно, Кемаль.

— Нет! — ответил я, но тихо.

— Я не расслышала, повтори! — снова крикнула Сибель.

— Нет! — ответил я опять. Но крикнуть не смог. Из трубки, как всегда, доносился гул, похожий на

звучание морской раковины, когда прижимаешь ее к уху.

— Кемаль, Кемаль... я не слышу... пожалуйста... — умоляла Сибель.

— Я слышу! — крикнул я изо всех сил.

— Признайся мне, —умоляла она.

— Ничего нового, — сказал я немного громче.

— Поняла! — ответила Сибель.

Звук опять утонул в шуме, потом что-то щелкнуло, и нас разъединили. Тут же раздался голос операцио-нистки с нашего коммутатора:

— Связь с Парижем прервалась. Соединить вас опять, господин директор?

— Нет, дочка, спасибо.—Привычку называть всех сотрудниц фирмы словом «дочка», какого бы возраста они ни были, я заимствовал от отца. Поразительно, как быстро я перенимал его привычки. И удивительно, сколько решимости оказалось у Сибель... Но все, лгать далее не было сил. Сибель из Парижа мне больше не звонила.

45 Поездка на Улудаг

О возвращении Сибель в Стамбул я узнал в начале двухнедельных февральских школьных каникул, когда весь большой свет Стамбула обычно отправлялся на горнолыжный курорт Улудаг. Заим тоже собрался поехать в горы со своими племянниками, и перед отъездом позвонил мне на работу. Мы договорились пообедать в «Фойе». Сидя друг напротив друга, мы ели фасолевый суп, как вдруг Заим с нежностью, пристально посмотрел на меня:

— Я вижу, что ты прячешься от жизни и с каждым днем все больше превращаешься в грустного, одинокого неудачника. Меня это огорчает.

— Не огорчайся... Все в порядке.

— Ты выглядишь несчастным, — сказал он. — А надо радоваться жизни.

— Для меня счастье не является целью жизни, — мои слова прозвучали неубедительно, и я поправился: — Почему ты считаешь, будто я несчастлив и прячусь от жизни... Нет. Я стою на пороге новой жизни, в которой мне будет спокойнее...

— Хорошо. Расскажи хотя бы об этой твоей новой жизни! Нам всем интересно.

— Всем — это кому?

— Перестань, Кемаль, — рассердился он. — Чем я перед тобой виноват? Разве я не лучший твой друг?

— Лучший.

— Мы — это я, Мехмед, Нурджихан и Сибель... Через три дня уезжаем в Улудаг. Айда с нами! Нурджихан едет, чтобы присмотреть за племянницей, а мы — составить ей компанию.

— Значит, Сибель вернулась.

— Еще десять дней назад, в прошлый понедельник. Она тоже хочет, чтобы ты

поехал. — Заим благодушно улыбнулся. — Но не хочет, чтобы ты знал о ее желании. Я тебе это говорю тайком от нее. Смотри, не наделай глупостей в Улудаге.

— Нет. Да я и не поеду.

— Поехали, хорошо ведь будет! Обо всем забудешь, все пройдет.

— Кто еще знает? Мехмед с Нурджихан знают?

— Только Сибель, — сказал Заим. — Мы с ней об этом говорили. Она тебя очень любит, Кемаль. И прекрасно видит, что именно твое человеколюбие довело тебя до такого состояния. Она понимает тебя и хочет спасти.

— В самом деле?

— Ты идешь по неверному пути, Кемаль... Все мы безнадежно влюбляемся в самого недоступного нам человека... Каждый испытывает такое. Но в конце концов проходит через это, не испортив себе жизнь.

— А зачем тогда все любовные романы, все фильмы о любви?

— Мне безумно нравятся фильмы о любви, — воодушевился Заим. — Но ни в одном из них я не видел, чтобы такой, как ты, оказался прав... Полгода назад ты перед людьми, у всех на глазах обручился с Сибель. Какой прекрасный был вечер... Еще не поженившись, вы стали вместе жить у нее на даче, принимать друзей... Всем это очень понравилось, все посчитали это цивилизованным поступком—ведь вы скоро поженитесь. Никто не счел такое постыдным. Я даже слышал, многие решили взять вас в пример. А теперь ты, не считаясь ни с кем, уезжаешь из ее дома. Ты бросаешь Сибель? Почему ты бежишь от нее? Ты молчишь, как ребенок, и не желаешь ничего объяснять.

— Сибель знает...

— Не знает,—помотал головой Заим. — Как она объяснит другим, что произошло? Что ей сказать людям? Этого она не знает. Как ей смотреть в глаза другим? «Мой жених влюбился в продавщицу, мы расстались»—так ей надо говорить? Она обижена на тебя, Кемаль, сердится. Вам бы встретиться. А в Улудаге все забудется. Ручаюсь, Сибель готова сделать так, будто ничего не произошло. Мы остановимся в «Гранд-отеле», Сибель с Нурджихан в одном номере, а мы с Мехмедом заказали себе другой —угловой на втором этаже. Тот, что окнами выходит на вершину. Помнишь, она всегда в облаках. В номере есть еще третья кровать. Если поедешь, будем, как в юности, буянить до утра... Мехмед сгорает от страсти по Нурджихан... Вот и подсмеемся над ним.

— Уж если подсмеиваться, то надо мной, — усмехнулся я. — Ну, хотя бы у Мехмеда с Нурджихан все получилось.

— Поверь, я никогда не буду подсмеиваться над тобой, да и другим не позволю, — сказал Заим простодушно.

По этим его словам я понял, что страсть моя давно стала предметом насмешек во всем обществе или, по меньшей мере, среди наших знакомых. Но это я предвидел.

Меня удивил Заим, который с таким невероятным тактом придумал поездку в Улудаг, чтобы помочь мне. В детстве и юности мы часто ездили туда кататься на лыжах, как многие другие наши знакомые из Нишанта-ши, а также большинство партнеров отца по работе и разным клубам. Я так любил эти поездки, во время которых встречались все, кто давно и хорошо знал друг друга, когда завязывались новые знакомства, устраивались браки и когда даже самые стеснительные девушки танцевали и веселились допоздна. Находя потом случайно в шкафу старые отцовские лыжные перчатки или лыжные очки брата, которыми пользовался после них, я с нежностью вспоминал о минувших днях и всякий раз, когда на глаза попадались открытки с видом «Гранд-отеля» в Улудаге, которые мама присылала мне в Америку, чувствовал, как в душе поднимаются волны счастья и тоски по тем дням.

Я поблагодарил Заима и сказал: «Извини, не поеду. Поездка будет тяжелой для

меня... Но ты прав, нам с Сибель нужно встретиться и поговорить».

— Она сейчас живет не на даче, а у Нурджихан, — уточнил Заим. Повернувшись, он посмотрел на веселых посетителей «Фойе», становившихся все богаче, тут же забыл о моих бедах и улыбнулся мне на прощание.

46 Можно ли бросать невесту перед свадьбой?

Сибель я решился позвонить только в конце февраля, после того как они вернулись из Улудага. Мне совершенно не хотелось разговаривать с ней, потому что наверняка все закончилось бы скандалом, слезами и словами раскаяния, и я ждал, когда она найдет способ и сама вернет мне кольцо. Но однажды я все же решился позвонить ей и нашел Сибель дома у Нурджихан. Мы договорились встретиться за ужином в «Фойе».

Я решил, что лучше побеседовать там, где полно знакомых, чтобы не было возможности поддаться эмоциям и взаимным обвинениям. Сначала именно так все и шло. За соседними столиками сидели Хильми с молодой женой Неслихан, кораблестроитель Гювен с семьей, Тайфун с женой, а дальше — большое семейство Иешим. Хельми с женой подошли к нам сказать, как они рады нас видеть.

Мы пили вино турецкой марки «Якут» и ели легкие закуски, а Сибель рассказывала о Франции, о тамошних друзьях Нурджихан и о том, как красив Париж на Рождество.

— А что с твоими родителями? — спросил я ее.

— Все хорошо, — ответила Сибель. — Они пока ничего не знают.

— Давай не будем никому говорить...

— Я не говорю... — тихо произнесла Сибель и вопрошающе посмотрела на меня, будто по-прежнему не могла избавиться от сомнения: «А что теперь будет с нами?»

Решив сменить тему разговора, я сказал, что мой отец с каждым днем все больше отдаляется от жизни. Как сообщила, в свою очередь, Сибель, у ее матери появилась привычка перешивать старую одежду и хранить старые вещи. Моя же, наоборот, отправляла их в другую квартиру. Но эта тема была опасной, и мы замолчали. Замечая взгляды Сибель, я понимал, что заговорил обо всем этом, лишь бы не молчать. К тому же, раз я избегал главной темы, ничего нового сообщить ей не мог.

— Вижу, ты уже привык к своей болезни, — решилась перейти к главному Сибель.

— В смысле?

— Уже много месяцев мы ждем, пока ты поправишься, пока пройдет твоя болезнь. Я так долго терпела, и мне очень грустно видеть, что тебе не только не становится лучше, но ты даже свыкся с ней. В Париже я молилась, чтобы ты поскорее поправился...

— Я не болен, — возразил я. Показав глазами на шумных и веселых посетителей «Фойе», добавил: — Эти люди, конечно, решили что я заболел... Но не хочу, чтобы ты считала меня больным.

— Разве мы вместе, у меня на даче, не решили, что это — недуг? — спросила Сибель.

— Решили.

— А что же теперь произошло? Как можно бросать невесту перед свадьбой?!

— То есть?

— С какой-то продавщицей...

— Зачем ты все смешиваешь... — ее слова подогревали во мне возмущение: — Это никак не связано с тем, продавщица она или нет, с бедностью или богатством...

— Вот именно связано, — решительно сказала Сибель. Видно было, что этот

вывод дался ей нетегко, после долгих размышлений: —Ты так быстро добился ее расположения только потому, что она бедная, но жадная до жизни... Если бы она не была продавщицей, ты бы, может, не стеснялся ее и женился бы на ней... Именно это причиняет тебе боль... То, что ты не можешь на ней жениться, не можешь поступать открыто и смело.

Я рассердился на Сибель, полагая, что она хочет обидеть меня своими резкими словами. А еще потому, что понимал: в них и скрыта правда.

— Знаешь, милый... Когда такой, как ты, человек совершает странные поступки из-за обычной продавщицы, переезжает жить в гостиницу, это вызывает недоумение. Если ты все же хочешь исцелиться, вернуться к нормальной жизни, признайся себе во всем.

— Ты не совсем права, считая, что я так уж влюблен в ту девушку... Но мне хочется возразить: разве нельзя влюбиться в кого-то беднее себя? Разве не бывает любви между богатыми и бедными?

— В наше время любовь — это искусство быть парой. — Сибель решила не скрывать тех выводов, к которым пришла после долгих размышлений. — Ты где-нибудь, кроме турецких мелодрам, видел, чтобы богатая девушка влюбилась только за внешность, скажем, в привратника Ахмеда-эфенди или в строителя Хаса-на и вышла бы за него замуж?

Метрдотель «Фойе» Сади приближался к нам, всем своим видом демонстрируя, как он счастлив нас видеть, но, заметив нашу оживленную беседу, остановился. Я сделал ему знак, чтобы он подошел позже, и, повернувшись к Сибель, внезапно сказал:

— Я верю в турецкие мелодрамы.

— Кемаль, за несколько лет ты ни разу не бывал на турецкой картине. Ты даже с друзьями, ради компании, в летние кинотеатры не ходишь.

— Поверь мне, жизнь в гостинице «Фатих» похожа на турецкую мелодраму, — ответил я. — Если ночью мне не спится, я брожу по пустынным улочкам. От этого мне легче.

— Сначала я решила, что вся эта история с продавщицей — влияние Заима, — решительно продолжала Сибель. — Думала, что тебе перед свадьбой не хватает свободы, как у него—с танцовщицами, официантками, немецкими манекенщицами, эдакой dolce vita. С Заимом мы это обсуждали. А сейчас понимаю, проблема в твоем комплексе: ты осознаешь себя богатым человеком в бедной стране. (Слово «комплекс» в те времена было очень модным.) Конечно, эта проблема гораздо глубже страсти к продавщице.

— Наверное, так и есть... — согласился я.

— В Европе у состоятельных людей принято вести себя так, будто ты не богат... Это цивилизованные люди. Мне кажется, быть образованным и цивилизованным человеком означает не только вести себя уважительно и на равных по отношению к представителю своего круга, но и ко всем людям. Тогда никто не чувствует себя лучше или хуже кого-то.

— Хм-м... А ты не напрасно училась в Сорбонне, — усмехнулся я. — Давай уже рыбу заказывать!

Подошел Сади, мы спросили у него, как дела («слава Всевышнему, хорошо!»), что нового («да ничего нового, Кемаль-бей, мы же все здесь точно одна семья, каждый вечер одни и те же лица!»), все ли в порядке в ресторане («из-за этих террористов нормальным людям на улицу не выйти!») и кто сейчас в нем бывает («так почти все вернулись с Улудага!»). Сади я знал с детства, еще до открытия «Фойе», когда он работал в старом ресторане Аб-дуллаха-эфенди в Бейоглу. Море он впервые в жизни увидел тридцать лет назад, когда девятнадцатилетним приехал в Стамбул, а от старых греков-трактирщиков и знаменитых греческих официантов в

скором времени научился тонкостям выбора и приготовления рыбы в дорогих ресторанах. Он положил на поднос и показал нам барабулек, большого луфаря и окуня, которых утром самолично выбрал на рыбном рынке. Мы понюхали рыбу, убедились, что глаза у нее не мутные, а жабры алые, значит, она свежая. Потом обсудили то, что Мраморное море постепенно засоряют. Сади рассказал, что каждый день специальная цистерна привозит воду в «Фойе», чтобы ресторан не страдал от неудобств. От перебоев с электричеством генератор еще не купили, но когда вечерами внезапно гас свет, а в темноте зажигали свечи и газовые лампы, клиентам тоже нравилось. На этом Сади долил нам вина и ушел.

— Помнишь того рыбака с сыном, которых мы подслушивали у тебя на даче?—мыслями я вернулся в недавнее прошлое. — Когда ты уехала в Париж, они почти сразу перестали появляться. Тогда мне стало в доме еще холодней и невыносимо одиноко. Я не выдержал.

Сибель явно заинтересовало извинение, звучавшее в моих словах. Чтобы окончательно сменить тему, я сказал, что часто вспоминал рыбака с сыном:

— Они, наверное, ловили пиламиду и луфаря. (При этом мне вспомнились жемчужные серьги, подаренные отцом.)

В этом году ведь много рыбы, на переулках в Фатихе уличные торговцы продают ее с тележек, а следом за ними ходят и мяучат кошки. Опять подошел Сади и посетовал, какой дорогой ныне стала камбала, потому что русские и болгары ловят турецких рыбаков, выходящих на улов в нейтральные воды. Пока мы разговаривали, я видел, что настроение у Сибель портится с каждой минутой. Она понимала, что мне по-прежнему нечего ей сказать, что я не могу дать ей никакой надежды и говорю обо всем, лишь бы не касаться главного — нас. Но и лгать не было сил.

— Смотри, Хильми с женой уходят! Давай пригласим их к нам за стол! — предложил я. — Они так рады были нас видеть! — Сибель ничего не ответила, и я помахал Хильми и его жене, но они меня не заметили.

— Не зови их... — попросила Сибель.

— Почему? Хильми — хороший парень. Да и тебе, кажется, его жена нравилась — как ее зовут?

— Что будет с нами?

— Не знаю.

— Когда я была в Париже, я разговаривала с Лек-лерком, — так звали профессора экономики, которым она всегда восхищалась. — Он согласен, чтобы я писала у него диссертацию.

— Ты уезжаешь в Париж?

— Здесь мне плохо.

— Мне поехать с тобой? — Не такого вопроса ждала от меня Сибель. — Но у меня здесь слишком много дел...

Она не ответила. Я почувствовал, что она приняла решение не только относительно этой нашей встречи, но и будущего.

— Езжай в Париж... — согласился я. Разговор уже начинал действовать мне на нервы: — А я доделаю все и приеду за тобой.

— Еще вот о чем напоследок... Извини, что говорю об этом... Но, Кемаль, девственность... Это настолько важно, что тут тебя ничто не может извинить.

— Что?

— Если бы мы жили в Европе... Если бы мы жили в Европе и были людьми свободных нравов, тогда все было бы по-другому... Но если нас связывает традиция, обычай и невинность девушки важна всему обществу, и особенно тебе... Настолько важна, что является предметом уважения... Тогда ты должен одинаково относиться ко всем!

Сначала я удивился, потому что не понял, о чем она говорит, а потом вспомнил.

Ведь и она ни с кем, кроме меня, не доходила «до конца». Мне вдруг захотелось сказать ей: «Ответственность за это у тебя и у нее разная. Ты — богатая и образованная!», но мне стало стыдно, и я уставился перед собой.

— Кемаль, еще кое-чего я тебе никогда не прощу... Раз уж ты не мог ее забыть, зачем состоялась наша помолвка? И почему ты тогда сразу не расторгнул ее?.. — ее голос почти дрожал от ярости. — Если все должно было закончиться именно так, то почему мы переехали жить ко мне на дачу, почему принимали гостей, почему здесь, в этой стране, у всех на виду, мы жили как муж и жена, не поженившись?

— Такой близости, такой искренности, какая была у меня с тобой в те дни, у меня не было никогда в жизни.

Эти слова задели Сибель еще сильнее. Она чуть не плакала от унижения и безысходности.

— Прости меня, — пробормотал я. — Пожалуйста, прости меня...

Воцарилась жуткая тишина. Чтобы Сибель не расплакалась, чтобы закончить все это, я стал усиленно махать Тайфуну и его жене. Те, наконец, увидели нас, обрадовались, подошли к нам и после моих настойчивых просьб сели за наш стол.

— Знаете, а я уже сейчас скучаю по вашей даче! — сказал Тайфун. — Помнишь, как я набрался, заснул в саду, а вы все не могли понять, что случилось? — вспоминал он.

Я же с глубоким уважением, почти с восхищением смотрел, как Сибель, ничем не выдавая того, что творится у нее на душе, учтиво беседует с Тайфуном.

— Ну а когда же ваша свадьба? — не удержалась от любопытства жена Тайфуна, Фиген.

Неужели она не слышала сплетен о нас?

— В мае, — беспечно ответила Сибель. — Снова в «Хилтоне». Всех вас попросим одеться в белое, как в фильме «Великий Гэтсби». Вы видели этот фильм? — внезапно она посмотрела на часы. — О, через пять минут я встречаюсь с мамой, на углу перед площадью Нишанташи.—Между тем как ее родители были в Анкаре.

Она торопливо поцеловала в щеку сначала Тайфуна и Фиген, потом меня и ушла. Посидев с друзьями, я покинул «Фойе», отправился в «Дом милосердия» и попытался забыться, окружив себя вещами Фюсун. Спустя неделю Сибель через Заима вернула мне кольцо. Хотя впоследствии я постоянно получал о ней известия, после этой встречи не видел ее тридцать один год.

47 Смерть отца

Весть о том, что помолвка расторгнута, разлетелась быстро. Осман даже ворвался как-то ко мне в кабинет, долго кричал и сказал, что готов ехать кСибель, просить за меня прощения. Обо мне ходили разные слухи: одни из наших знакомых говорили, что я сошел с ума, другие— что пустился во все тяжкие, третьи—что вступил в тайную секту из Фатиха. Некоторые даже утверждали, будто я стал коммунистом и, как все радикалы, живу в «гедже-конду» (в трущобах на окраине города), но я не придавал пересудам большого значения. Наоборот, мечтал, что, когда Фюсун услышит о расторжении помолвки, она все поймет и даст о себе знать. Меня уже почти покинула вера, что удастся излечиться от поразившего мое тело и душу недуга; теперь, не пытаясь избавиться от боли, я наслаждался ею. Свободно, забыв о своих запретах, вдоволь гулял я по «оранжевым» и «красным» улицам Нишанташи, четыре-пять раз в неделю бывал в «Доме милосердия», и там, среди вещей и воспоминаний о Фюсун, обретал покой. Так как я вернулся к прежней холостяцкой жизни, которую вел до знакомства с Сибель.то меня ждал дом родителей в Нишанташи, но мама, которая никак не могла примириться с мыслью о нашем разрыве с Сибель, скрывала произошедшее от отца. Он, по ее словам, был

«очень болен и слаб», поэтому эта тема попала в разряд запретных. Я часто приходил к ним только поужинать и молча сидел за столом, ночевать же не оставался. Да мне и не хотелось, потому что там ощущалось что-то такое, от чего становилось еще больней.

В начале марта отец умер, и я перебрался жить домой. Печальную новость сообщил Осман, приехавший в «Фатих» на отцовском «шевроле». Мне не хотелось, чтобы брат поднимался ко мне, видел странные вещицы, которые я накупил у старьевщиков, в бакалейных и канцелярских лавках во время своих походов по окраинам, чтобы он видел мою неопрятную маленькую комнату. На этот раз в его взгляде не было и тени презрения; наоборот: Осман грустно посмотрел на меня и с нежностью обнял, после чего я за полчаса собрал вещи, оплатил счет и покинул гостеприимную гостиницу. Увидев в машине печального, с заплаканными глазами водителя Четина-эфенди, я вспомнил, что отец завещал мне машину и велел беречь Четина. День был темный, свинцово-мрачный, поистине зимний; помню, когда машина переезжала мост Ататюрка, я не отрывал глаз от Золотого Рога и чувство одиночества перекликалось во мне с холодным цветом мутной воды, похожей на зеленоватый грязный лед и бурую жирную грязь.

Отец умер во сне, в восьмом часу, от сердечной недостаточности. Когда мать проснулась, она решила, что ее супруг, лежащий рядом, еще спит, но когда поняла, что он умер, едва не сошла с ума. Ей дали лекарство. Теперь она сидела в гостиной, на своем обычном месте, в кресле, и, всхлипывая, то и дело показывала на пустовавшее отцовское кресло напротив. Увидев меня, она немного успокоилась. Мы крепко обнялись.

Я пошел в спальню взглянуть на отца. Он лежал на большой кровати из орехового дерева, где провел с матерью тридцать семь лет, как обычно в пижаме в голубую полоску, но его застывшая поза и слишком бледный оттенок кожи были не как у спящего. На лице замерли тревога и изумление—человека, который вот-вот погибнет в автомобильной аварии, но еще пытается ее избежать. Видимо, он успел в страхе открыть глаза и увидеть смерть. Я хорошо помнил каждую морщинку на его руках, крепко сжимавших сейчас одеяло, все их линии, родинки и волоски; то были знакомые мне руки; я помнил запах одеколона, которым они всегда пахли: в детстве они множество раз гладили меня по голове и спине. Но сейчас стали такими неестественно бледными, что я отшатнулся и не смог их поцеловать. Хотел было взглянуть на тело отца, но одеяло за что-то зацепилось, и я не смог его поднять. Постаравшись, наконец стянул и из-под него показалась левая нога. Я внимательно посмотрел на большой палец: у меня на ногах большие пальцы были точь-в-точь как у отца — особенной, необычной формы. Ее можно разглядеть на фотографии, на фрагменте одного старого черно-белого снимка, который я специально увеличил и поместил в мой музей памяти. Сходство наших пальцев заметил в свое время давнишний приятель отца, Джунейт. Это было двенадцать лет назад, когда мы сидели на пристани в Суадие. Потом, всякий раз, встречая нас вместе с отцом, спрашивал: «Ну что, как там поживают большие пальцы?»

Когда закрылась дверь спальни, мне захотелось плакать; и хотя думал я об отце, плакать хотелось по Фю-сун. Но слез не было. Внезапно я увидел комнату, где мать с отцом провели столько лет, другими глазами. Она всегда оставалась тайным, интимным средоточием моего детства, центром моей жизни; здесь пахло лимонным одеколоном, пыльными коврами, паркетным лаком, деревом и маминими духами. На прежнем месте висел барометр, который отец показывал, взяв меня на руки; и знакомые до боли в сердце занавески. Но теперь, казалось, центр моей жизни растворился, исчез, и прошлое утекло в землю.

Открыв шкаф, я посмотрел на отцовские галстуки и ремни, давно вышедшие из моды; подержал его старые туфли, которые продолжали чистить и полировать, хотя

отец не носил их много лет. В коридоре послышались шаги, и мне почему-то стало страшно, будто меня сейчас поймают на месте преступления, как в детстве — роющимся в этом шкафу. Я быстро захлопнул его скрипучую дверь. На комоде в изголовье кровати стояли бутылочки с лекарством, лежали сложенные газеты и вырезанные из них кроссворды, старая, любимая отцовская фотография времен службы в армии, на которой он пил ракы с друзьями-офицерами, очки для чтения, и зубной протез в стакане. Я взял протез, завернул в платок и положил в карман, потом пошел в гостиную и сел перед матерью, в отцовское кресло.

— Мама, папины вставные зубы я взял себе. Не беспокоен, что не найдешь их, — сказал я ей.

Она кивнула, словно соглашалась: «Бери что хочешь».

Ближе к обеду дом наполнился множеством людей: пришли родственники, знакомые, друзья, соседи. Каждый целовал матери руку и обнимал ее. Я почувствовал, как люблю всех этих людей, как мне нравится домашний шум и тепло дома и как я счастлив среди родственников и друзей, среди мужчин и женщин с детьми. Дверь в квартиру была открыта, лифт не замирал ни на секунду. Вскоре собралась толпа приглашенных, что напоминало праздничные дни. Я старался, как и все, говорить шепотом. Помню, в какой-то момент мы сели на диван с Беррин и подробно обсудили нашу родню. Беррин сумела прекрасно приглядеться ко всем, теперь она знала мою семью лучше меня, и мне нравилось это. Затем с кем-то поговорили о последнем футбольном матче — я видел его по телевизору в вестибюле гостиницы «Фатих» («Фенербахче» — «Болуспор» 2:0). Потом сели за стол, накрытый стараниями Бекри, который нажарил, несмотря на переживания, пирожков.

А еще я часто заходил в родительскую спальню и внимательно смотрел на отца. Но нет, он не двигался. Иногда я снова открывал в спальне шкаф, выдвигал ящики и трогал вещи, каждая из которых теперь наполнилась воспоминаниями. Теперь все эти вещи, большая часть которых мне была хорошо знакома с детства, превратились в драгоценных хранителей утраченного времени. Я выдвинул ящик комода и, вдыхая смесь запаха дерева и сладкого сиропа от кашля, долго, как картиной, любовался лежавшими там старыми телефонными счетами, телеграммами, коробками с аспирином и отцовскими лекарствами. Помню, прежде чем отправился с Четином улаживать похоронные дела, долго смотрел с балкона на проспект Тешвикие, и передо мной оживали фрагменты моего детства. Со смертью отца не только привычные предметы, но и знакомый вид улиц превратились в цельную, связанную единым смыслом картину незабвенных воспоминаний о безвозвратно утраченном мире. Так как возвращение домой означало для меня отчасти возврат в центр былого единства, то я был несказанно рад, как едва ли может радоваться мужчина, у которого умер отец, хотя из-за своего воодушевления испытывал угрызения совести. В холодильнике оказалась маленькая бутылочка «Йени Ракы», половину которой отец выпил за ночь до смерти, и когда гости ушли, мы с матерью и братом допили ее.

— Видите теперь, как ваш отец со мной обращался? — причитала мать. —Даже умер, не сказав ничего.

После полудня тело отца увезли в морг при мечети Синан-паши в Бешикташе. Мать не сменила постельное белье, потому что ей хотелось спать, вдыхая запах отца, который удержали наволочки и простыни. Нам с братом удалось уложить ее только очень поздно, и то дав снотворное. Она немного поплакала, но все же заснула. Осман ушел к себе домой, а я лег в кровать и вспомнил, что наконец сбылась моя детская мечта: мы с мамой остались вдвоем одни в доме.

Радость, которую я не мог скрыть даже от себя, проистекала еще и от надежды, что Фюсун, возможно, придет на похороны отца. Ради этого я велел напечатать некролог в центральных газетах и упомянуть в нем фамилии всех родственников

семьи. Мне казалось, родители Фюсун прочитают его и обязательно объявятся. Интересно, какую газету они читают? О похоронах они могли узнать и от других родственников, фамилии которых были перечислены в некрологе. Мама за завтраком просмотрела все газеты. Она то и дело бормотала:

— Садык с Саффетом и мои родственники, и вашего покойного отца, поэтому их надо было написать после Перран с мужем. И дочери Шюкрю-паши, Нигян, Тюркян и Шюкран не на месте...[14] Арабку Малику, первую жену дяди Зекерии, тоже упоминать не нужно было... Она замужем за ним была самое большее три месяца... А бедную дочурку вашей тети Несиме, старшей сестры вашего отца, умершую в двухмесячном возрасте, звали не Гюль, а Айшегюль... Кто вам это рассказал и написал?

— Матушка, это ошибки наборщика, ты же знаешь газетчиков... — объяснял Осман.

Она то и дело поглядывала из окна на двор мечети Тешвикие и размышляла, что ей надеть, а мы оба пытались убедить ее, что погода слишком холодная, да и снег идет, чтобы ей выходить из дома. «Ведь если вы придете в мехах, матушка, будто на прием в „Хилтоне", будет не очень хорошо», — убеждали мы.

— Хоть умру, а на похороны вашего отца все равно пойду, — упорствовала мать.

Но, после того как из морга на катафалке привезли гроб с телом отца и поставили на погребальный камень, мать зарыдала в голос, и стало понятно: находиться в похоронной процессии, которая пойдет по проспекту, она не сможет. Пока присутствующие совершали во дворе намаз, мать, в каракулевой шубе, ведомая под руки Бекри-эфенди и Фатьмой-ханым, вышла на балкон и, когда гроб подняли и стали грузить на катафалк, потеряла сознание, несмотря на все принятые ранее успокоительные. Дул резкий северо-восточный ветер, мелкими, неприятно колючими крупинкам сыпал снег. Мало кто во дворе мечети заметил стоявшую на балконе женщину. Когда Фатьма и Бекри унесли ее в комнату, я присмотрелся к собравшимся. Все это были те самые люди, которые приходили на нашу с Сибель помолвку в «Хилтон». Только красавиц девушек среди них поубавилось. Они, как цветы, появлялись только летом, а зимой обычно исчезали. Женщины стали некрасивыми, а мужчины выглядели мрачными и даже грозными. Со всеми, как на помолвке, я обменялся рукопожатием и обнялся с множеством людей и всякий раз страдал, когда мне мерещилась в толпе Фюсун, потому что ее не было. Это длилось до конца похорон. Когда стало ясно, что ни она, ни ее родители на похороны не пришли, мне показалось, что в промерзлую землю зарывают не только отца, но и—заживо — меня.

После похорон прижавшиеся друг другу от холода родственники долго не расходились, но я взял такси и поехал в «Дом милосердия». Запах квартиры успокоил меня. Я лег в налгу кровать, взяв с собой ручку и чашку Фюсун, из которой она пила чай и которую я не мыл с тех пор, как она исчезла,—две вещи, утешавшие иуспо-каивавшие меня лучше других. Поводил ими по коже и вскоре окончательно успокоился.

Если меня спросят, от чего я страдал в тот день — от того ли, что Фюсун не пришла, или от того, что умер мой отец, отвечу так: боль—всегда одно целое. Страдания по любимому человеку обычно захватывают сердцевину нашего существа; любовь ловит нас там, где мы слабее всего и, крепко прирастая ко всем нашим прочим горестям и печалям, овладевает нами, заставляя страдать и физически, и духовно, бесконечно продолжая отравлять нам жизнь. Когда мы безответно влюблены, всяческое горе — от смерти отца до обычной неприятности вроде потери ключей, беды и разного рода неурядицы будут катализатором основной боли,

[14] Герои романов О. Памука «Джевдет-бей и сыновья» и «Дом тишины».

готовой усилиться в любой момент. Человек, который, как я, портит себе от несчастной любви жизнь, обычно считает, что его беды закончатся, когда прекратятся любовные страдания, чем волей-неволей сильнее бередит душевную рану.

К сожалению, я никогда не поступал сообразно тому, что понял, сидя в такси в день похорон отца. Страдания, принесенные любовью, с одной стороны, в каком-то смысле учили меня и делали более зрелым, но, с другой стороны, захватив целиком мой разум, оставляли мало возможностей для умения рассуждать, дарованного зрелостью. Любой безнадежно влюбленный знает, что ведет себя неправильно, но продолжает делать то же самое, хотя и сознает, сколь плачевным будет финал, и с течением времени все яснее видит, как неверно он поступает. Интересная деталь, на которую человеку в этом состоянии не свойственно обращать внимание: наш разум не смолкает ни на мгновение, и даже если он и не противостоит нашей страсти, в самые горькие минуты честно и безжалостно нашептывает нам, что результат окажется один—наши страдания и боль станут нестерпимыми. Все девять месяцев с того момента, как я потерял Фюсун, мой разум шептал это с каждым днем все настойчивее и настойчивее, но он же подарил надежду, что однажды, когда ему удастся завладеть мной, я избавлюсь от боли. Однако, поскольку любовь с надеждой (пусть даже на излечение от своего недуга) давали мне силу жить с болью, это приводило лишь к тому, что страдания мои не кончались.

Лежа в нашей кровати в «Доме милосердия» и чувствуя, как, благодаря вещам Фюсун, боль постепенно стихает (горечь утраты отца объединилась во мне с горечью утраты возлюбленной, и вместе они заставили меня страдать от одиночества и мечтать быть любимым), я одновременно гадал, почему Фюсун и ее семьи не было на похоронах. Вряд ли тетя Несибе и ее муж, всегда ценившие отношения с матерью и нашей семьей, не пришли из-за меня. Это означало только одно: Фюсун с родителями всегда будет скрываться от меня и, вероятно, я не увижу ее больше никогда. Поверить в такое я не мог и проникся новой надеждой опять повстречаться с Фюсун.

48 Главное в жизни — быть счастливым

— Значит, в недостачах компании ты обвиняешь Кенана? — как-то вечером тихо спросил меня Осман. Он теперь нередко приходил навестить мать — иногда с Беррин и детьми, а часто — один, и мы садились за стол втроем.

— Откуда ты об этом узнал?

— Я же все знаю, — ответил Осман. Мать была в другой комнате, и он взглядом указал туда, чтобы я говорил тише: — В обществе ты себя уже опозорил, так хотя бы перед нашими сотрудниками не позорься, — сказал он резко (между тем, слово «общество» брат всегда не любил) и добавил: —Ъл виноват в том, что мы потеряли договор на поставку простыней.

— Что происходит? О чем вы говорите?—мать, входя в комнату, почувствовала неладное. — Не ссорьтесь!

— А мы не ссоримся, мама! — улыбнулся Осман. — Я говорю, хорошо, что Кемаль вернулся домой, правда?

— Верно, сынок, очень хорошо. Кто бы что ни говорил, главное в жизни — быть счастливым. Ваш покойный отец тоже так считал. В этом городе много хороших девушек. Мы тебе найдем самую красивую, самую нежную, самую заботливую. Когда женщина кошек не любит, как Сибель, мужа своего тоже счастливым не сделает. Что было, то прошло. Нечего больше расстраиваться! И обещай мне больше не жить в гостинице!

— При одном условии! — ответил я, почти повторяя слова Фюсун

девятимесячной давности. — Отцовская машина и Четин достанутся мне.

— Ладно, — согласился Осман. — Если Четин не против, я не буду возражать. Но только ты не трогай Кенана, и в новое дело не лезь, и про других дурного не говори.

— Не вздумайте ссориться на людях! — вмешалась мать.

Расставшись с Сибель, я отдалился от Нурджихан и волей-неволей стал реже видеть безумно влюбленного в нее Мехмеда. С Заимом я тоже теперь виделся изредка, поскольку он теперь каждый день проводил с ними. Так что я постепенно отдалился от всей компании.

Несколько раз выбирался куда-то с приятелями вроде Хильми и Тайфуна, кто был женат, помолвлен или обручен, но по-прежнему испытывал потребность в темной стороне ночной жизни. Им были хорошо знакомы дорогие стамбульские дома свиданий и гостиницы, в вестибюлях которых часами просиживали в ожидании клиентов относительно образованные и благовоспитанные девицы (их в насмешку называли «студентками»); они брали туда и меня не из желания покутить, а скорей, чтобы излечить от недуга. Но любовь к Фюсун больше не скрывалась в темном углу моей души, она выбралась на свободу и открыто завладела мной. Встречи с друзьями немного отвлекали меня, однако не настолько, чтобы заставить полностью забыть обо всем. Теперь по вечерам я обычно сидел дома, с матерью и стаканом ракы в руке, перед телевизором, смотрел единственный канал, все передачи подряд.

Мать, как отец при жизни, безжалостно критиковала все, что показывали, и каждый вечер хотя бы раз говорила мне не пить много. Через некоторое время она начинала дремать в кресле, что обычно происходило и при отце. Тогда мы с Фатьмой-ханым принимались шепотом обсуждать передачи. У нее в комнате не было своего телевизора, в отличие от слуг в богатых европейских семьях, насколько мы могаи судить по фильмам. Однако, с тех пор как четыре года назад в стране появилось телевидение и в дом был куплен телевизор, Фатьма-ханым каждый вечер, ненадолго, садилась в самый дальний угол гостиной, на табуретку, которая так и осталась потом «ее стулом», и смотрела издалека передачи, теребя узел платка во время особенно волнующих сцен, а иногда даже принимала участие в нашем разговоре. Так как после смерти отца обязанность слушать бесконечные монологи матери и отвечать на ее вопросы досталась Фатьме-ханым, голос ее теперь слышался гораздо чаще.

Однажды вечером, когда мать уснула в кресле, мы смотрели трансляцию фигурного катания. Длинноногие норвежские и русские красавицы выписывали на льду фигуры, но мы, как и вся Турция, ровным счетом ничего не смыслили в правилах. Потом обсудили с Фатьмой, каково теперь матери; погоду; политические убийства; саму политику — сущую гадость; ее сына, который, проработав у моего отца, переехал в Германию, в Дуйсбург, и открыл там турецкую закусочную; и то, что жизнь прекрасна. Вдруг она сказала:

— Ну что, Железный Коготь, ты молодец! Носки у тебя теперь никогда не дырявятся. Я тут на днях посмотрела, ты научился аккуратно ногти на ногах подстригать. Так что у меня в честь этого есть для тебя подарок.

— Ножницы?

— Нет, ножниц, хвала Аллаху, у тебя уже две штуки. И еще одни от отца остались, так что три. Кое-что другое.

— Что?

— Иди-ка сюда, — позвала она меня в другую комнату.

По ее загадочному виду и тому, как она говорила, я почувствовал: у нее для меня приготовлен сюприз. Она вошла в свою маленькую комнату и что-то взяла там, потом вышла ко мне, зажгла яркий свет, улыбнулась и разжала передо мной ладонь, будто перед маленьким ребенком.

— Что это? — сначала не понял я. А потом сердце мое заколотилось.

— Это не твоя сережка? — спросила она. — Бабочка с буквой? Странная, правда?

То была потерянная сережка Фюсун.

— Несколько месяцев назад я нашла ее у тебя в кармане пиджака. Отложила в сторонку, чтобы отдать тебе. Но ее увидела и забрала твоя мать. Решила, видно, что твой покойный отец спрятал и забыл кому-то отдать. Ей, конечно, это не понравилось. У нее есть такой бархатный мешочек,—тут Фатьма улыбнулась, — куда она прятала все, что находила у твоего отца. Туда она и сережку эту положила. После его смерти она разложила у него на столе содержимое мешочка, а я увидела сережку и сразу забрала, потому что знала, что она твоя. А еще у меня есть эта фотография, из кармана пиджака твоего отца. Забери ее себе, пока мать не увидела. Хорошо я сделала?

— Очень-очень хорошо, милая Фатьма-ханым, — я не мог скрыть радости. — Ты такая умная и внимательная! Ты просто чудо!

С довольной улыбкой она вручила мне сережку и фотографию, на которой запечатлена покойная возлюбленная отца, — именну ту, какую он показывал мне тогда, за обедом в ресторане Абдуллаха-эфенди. На мгновение мне показалось, что печальная девушка с фотографии чем-то похожа на Фюсун.

На следующий день я позвонил Джейде. Через два дня мы встретились в Мачке и пошли в парк. Джейда выглядела великолепно, словно изнутри у нее исходил какой-то таинственный свет, какой озаряет всех счастливых женщин, особенно недавно познавших материнство. Теперь в ней чувствовалась зрелость, а вместе со зрелостью появилась и уверенность. За день до встречи я написал Фюсун четыре или пять писем и, выбрав наконец самое спокойное и рациональное из них, запечатал его в фирменный конверт «Сат-Сата», отдал Джейде и сказал, решительно нахмурив брови (этот жест я отрепетировал заранее), что в нашем деле произошли важные перемены и чтобы она обязательно передала письмо Фюсун. Я не собирался посвящать Джейду в написанное, но постарался загадочным видом заставить ее поверить в серьезность произошедшего, чтобы она как можно скорее передала послание. Но Джейда воспринимала все совершенно неподдельно и здравомысленно, и я не смог сдержаться, воодушевленно заявив, что проблема, из-за которой Фюсун на меня обиделась, разрешилась и что, услышав новость, которую я сообщаю ей в письме, она обрадуется и у нас не останется больше никаких бед, кроме как сетовать о потраченном в страданиях времени. На прощание я сказал Джейде, которой пора было идти домой кормить ребенка, что, как только мы с Фюсун поженимся, у нас тоже родится ребенок и наши дети будут дружить, а об этих грустных днях мы скоро будем вспоминать с улыбкой как о прекрасной истории нашей любви. Потом я спросил имя ее ребенка.

— Омер, — гордо произнесла Джейда и посмотрела на малыша. А потом добавила: — К сожалению, в жизни не всегда все складывается так, как нам хочется, Кемаль-бей.

Прошло несколько недель, но от Фюсун все равно не было известий. Я часто вспоминал слова Джейды, по-прежнему веря в скорый ответ Фюсун. Джейда подтвердила, что та знает о расторжении помолвки. В письме я сообщал о том, что сережка нашлась в вещах моего покойного отца, что я хочу вернуть ее вместе с серьгами, подаренными мне отцом, и старым детским велосипедом. И что теперь мне пора прийти на ужин к ней домой, как мы когда-то хотели.

Однажды в середине мая, во время полного хлопот рабочего дня, я разбирал у себя в кабинете почту. Среди писем с изъявлениями дружбы и благодарности, с жалобами, извинениям и даже угрозами, от партнеров из провинции, должников или поставщиков, — часто букв, написанных от руки, было не разобрать, мне вдруг

попалось коротенькое письмецо. Я прочитал его на одном дыхании:

Дорогой брат Кемаль.

Нам всем тоже хочется увидеться с тобой. Ждем тебя на ужин 19 мая.

Телефон нам еще не подключили. Если не сможешь прийти, пришли ответ с Четином-эфенди.

Всего доброго.

С уважением,

Фюсун.

Адрес: улица Далгыч Чыкмаз, д. 2, Чукурджума, Стамбул.

На письме не стояло даты, но по штемпелю Галата-сарайского почтового отделения на конверте я узнал, что оно было отправлено 10 мая. До ужина оставалось два дня. Мне захотелось немедленно пойти к ней, но я сдержался. В конце концов, ведь я собираюсь жениться на ней и навсегда оставить ее рядом, поэтому нужно вести себя спокойно, думал я.

49 Я собирался предложить ей стать моей женой

В среду, 19 мая 1976 года, в половине восьмого вечера, мы с Четином-эфенди отправились в дом на улице Далгыч Чыкмаз. Четину-эфенди я сказал, что мы едем к тете Несибе вернуть детский велосипед, дал ему адрес и, откинувшись на сиденье, стал смотреть на улицу, где лил проливной дождь. В сценах примирения, которые я представлял себе целый год, не было ни ливня, ни даже мелкого дождичка.

Мы ненадолго остановились перед «Домом милосердия», и, пока я ходил за велосипедом и отцовскими жемчужными сережками, вымок до нитки. Главное, что не вписывалось в мои представления, — чувство глубокого покоя в душе. Я будто совершенно позабыл о страданиях, которые испытывал 339 дней, с момента последней встречи в «Хилтоне». Теперь я был даже благодарен этим ежесекундным мукам, ведь они привели меня к счастливому концу. Так что я никого ни в чем не винил.

Как и в начале моей истории, теперь мне снова казалось, что счастливая жизнь ожидает меня. Велев Чети-ну остановить машину на проспекте Сырасельвилер, я зашел в цветочный магазин и из алых роз, прекрасных, как наше с Фюсун будущее, составил огромный букет. Перед выходом выпил в качестве успокоительного полстакана ракы. Теперь мне казалось, что. может, стоило выпить еще стаканчик где-нибудь в пивной неподалеку от Бейоглу. Но нетерпение уже полностью владело мной. «Будь осторожен!—повторял мне внутренний голос. — Не соверши ошибку на этот раз!» Когда мы приехали в Чукурджуму и мимо нас, как призрак, под дождем проплыли знаменитые Бани, я вдруг понял, что страдания, которые я терпел 339 дней, оказались хорошим уроком, преподанным мне Фюсун. Она победила. Теперь я был готов на все, лишь бы не терпеть наказание — лишь бы не утратить возможность видеть ее. Я хотел предложить ей стать моей женой.

Пока Четин-эфенди пытался отыскать под дождем номер дома, я представил, как буду делать ей предложение. На самом деле эту сцену я десятки раз прокручивал и раньше: вот войду, с шутками вручу ей велосипед. Потом сяду — неужели смогу все это сделать? — итак, сяду, а через некоторое время, когда Фюсун принесет мне кофе, смело посмотрю в глаза ее отцу и скажу, что пришел попросить руки его дочери, а велосипед — просто предлог. Мы еще немного посмеемся, пошутим, об общих

страданиях и переживаниях никто и не вспомнит. Затем ее отец решит угостить меня ракы, мы сядем за стол, а я буду любоваться Фюсун и счастливо, уверенно смотреть ей в глаза. Ведь я принял важное решение. А детали помолвки и свадьбы мы обсудим в следующий раз.

Машина остановилась перед старым домом, который я не смог как следует разглядеть из-за дождя. Сердце билось все сильнее. Я позвонил в дверь. Через некоторое время открыла тетя Несибе. Ее явно изумил мой вид: я стою под дождем, с детским велосипедом в одной руке и огромным букетом алых роз в другой, а сзади Че-тин-эфенди держит надо мной зонтик. В лице тетушки промелькнуло некое беспокойство, но я не придал этому значения. Ведь каждый шаг, каждая ступенька приближала меня к Фюсун.

Ее отец встретил меня на площадке: «Добро пожаловать, Кемаль-бей!» Я забыл, что в последний раз видел Тарык-бея год назад на помолвке. Казалось, мы не встречались с тех пор, когда они приходили к нам в гости на праздники. Возраст не обезобразил его, как других, но сделал каким-то неказистым.

А потом я вдруг увидел на пороге какую-то девушку и решил, что это старшая сестра Фюсун, потому что она была тоже красивой и похожа на Фюсун, только смуглой. Присмотревшись, я понял, что смуглая красавица и есть сама Фюсун. Это меня смутило. Волосы у нее стали иссиня-черного цвета. «Ну конечно, это ведь ее натуральный цвет», — пытался успокоить меня внутренний голос. Я вошел в квартиру и уже собрался вручить розы и обнять ее, как решил заранее, но по ее взволнованному взгляду, по тому, как она подошла ко мне, понял, что Фюсун не хочет, чтобы я ее обнимал.

Мы пожали друг другу руки.

— Ах, какие прекрасные розы! — воскликнула она, но букет у меня не взяла.

Она повзрослела и стала еще красивее. Должно быть, Фюсун заметила, что я нервничаю, потому что встреча проходила как-то странно.

— Ну разве они не прекрасны? — спросила она, указывая кому-то на розы.

Я встретился взглядом с человеком, на которого она смотрела, и подумал: неужели нельзя было в другой раз позвать на ужин соседского парнишку? Но не успел я договорить про себя эти слова, как понял, что ошибаюсь.

— Братец Кемаль, позвольте вам представить моего мужа. Феридун, — проговорила она будто невзначай.

Я как во сне посмотрел на симпатичного и упитанного юношу, которого звали Феридуном.

— Мы поженились пять месяцев назад, — объяснила Фюсун с таким видом, словно я должен ее похвалить.

По глазам толстяка, пожавшего мне руку, мне стало понятно, что он ни о чем не подозревает. «Очень... Очень приятно! — пробормотал я, попытавшись улыбнуться Фюсун, прятавшейся за спиной своего мужа. — Вам крупно повезло, Феридун-бей! Вы женились на прекрасной девушке, у которой, к тому же, есть велосипед».

— Кемаль-бей! Мы хотели пригласить вас всех на свадьбу,—вмешалась тетя Несибе.—Но услышали, что ваш отец болен. Дочка, перестань прятаться за мужа! Забери-ка лучше у Кемаль-бея эти великолепные розы!

И моя возлюбленная, целый год бывшая предметом мечтаний, изящным движением взяла у меня из рук букет, приблизившись ко мне. Я смотрел как завороженный на подобные розам щеки, страстные губы, бархатную кожу, ароматную шею и упругую грудь, ради которых, как я понял уже тогда, готов на все. Но Фюсун тут же отдалилась. Я с изумлением смотрел на нее и не верил, что она—здесь, передо мной.

— Поставь цветы в вазу, доченька, — велела тетя Несибе.

— Кемаль-бей, выпьете ракы? — предложил Та-рык-бей.

— Джив-джив, — отозвался кенар.

— А? Что? А, ракы... Ракы? Да... Выпью, выпью ракы... Я сразу опрокинул два стакана ледяной выпивки —

специально на голодный желудок, чтобы быстрее ударило в голову. Помню, перед тем, как сесть за стол, мы некоторое время обсуждали принесенный мной велосипед, вспоминая то время, когда были детьми. Но притягательное чувство родства и близости, которое олицетворял собой наш велосипед, теперь почему-то исчезло. Я был еще в состоянии соображать достаточно ясно, чтобы осознать: это чувство исчезло потому, что она вышла замуж.

За столом Фюсун села напротив меня (сделав вид, что случайно — спросила у матери, куда сесть), но все время отводила глаза. В те первые мгновения я был растерян и даже подумал, что отныне совершенно не интересую ее. И тоже старался казаться безразличным, пытался вести себя подобно добросердечному богатому родственнику, всегда занятому важными делами, который теперь нашел время привезти бедной родственнице свадебный подарок.

— Ну а когда ребенок намечается? — спросил я шутливо-безразличным тоном ее мужа. На нее я смотреть не мог.

— Сейчас пока не собираемся, — ответил Фери-дун-бей. — Может, когда будет свой дом...

— Феридун еще слишком молод. Но уже сейчас он самый востребованный сценарист в Стамбуле, — похвасталась тетя Несибе. — Знаменитую «Торговку си-митами» он написал.

Одним словом, весь вечер я пытался свыкнуться с произошедшим. Иногда с надеждой воображал, что история со свадьбой — шутка, что они заставили упитанного соседского парня сыграть роль первой любви и мужа Фюсун, чтобы разыграть меня, и скоро во всем признаются. Впоследствии, узнавая время от времени некоторые подробности их отношений, я начинал свыкаться с этой свадьбой, но так и не смог примириться с тем. что узнал в тот вечер: молодому мужу Феридуну было двадцать два года; он интересовался кино и литературой, денег зарабатывал еще очень мало, но уже писал сценарии для киностудии «Йешильчам». А еще — стихи. Так как по отцу они с Фюсун были родственниками, то в детстве тоже, как мы, часто играли вдвоем. Он даже катался с ней на нашем велосипеде. Слушая все это, я все больше замыкался в себе, — конечно, тут не обошлось без помощи ракы, которую от всей души подливал мне Тарык-бей. Мой беспокоиньш разум, обычно при каждом первом посещении нового дома пытавшийся осмыслить незнакомое пространство — количество комнат, куда выходит балкон в дальней спальне, почему стол стоит именно здесь, — сейчас совершенно не интересовало это.

Единственным утешением для меня было сидеть перед ней и вдоволь любоваться ею. Хотя она стала замужней женщиной, но по-прежнему не решалась курить при отце, и поэтому мне не повезло увидеть тот очаровательный, столь любимый мной жест, которым она закуривала сигарету. Но Фюсун дважды провела рукой по волосам, как раньше, и три раза, пытаясь вступить в разговор, вдохнула и, слегка приподняв плечи, какое-то время выжидала — так она делала всегда, когда мы с ней о чем-нибудь спорили. Когда она улыбалась, во мне с прежней силой, как подсолнух из ее грез, распускалось неодолимое ощущение счастья и надежды. Свет, струившийся от ее красоты, ее кожи и тела, от которого я был сейчас так близко, напоминал мне, что центр моего мира, мира, где я должен находиться, — рядом с ней. Все, что осталось позади, в прошлом—места, дела, люди, — было не чем иным, как «неловкими попытками отвлечься». Так как я это ощущал не только духовно, но и физически, мне хотелось встать, подойти к ней, взять ее за руки и обнять. Но когда я осознавал свое положение и то, что ожидает меня потом, мне становилось так больно, что я не мог более погружаться в свои грезы и старался из последних сил

играть роль богатого родственника — не только перед хозяевами дома, но и перед собой. Во время ужина Фюсун постоянно отводила глаза, но я заметил, что она чувствует, как старательно я держусь своей роли, и подыгрывала мне: изображала перед дальним богатым родственником, случайно заехавшим вечером в гости, молодую и счастливую женщину, которая недавно вышла замуж. Она нежно разговаривала с мужем, подкладывая ему бобы. Глядя на все это, я чувствовал, как гнетущая тишина во мне звенит все сильней.

Дождь, усиливавшийся, пока я ехал к их дому, так и не перестал. Еще в начале ужина Тарык-бей рассказал, что в этот дом они переехали недавно; что район Чу-курджума соответственно своему названию находится в овраге[15] и что им стало известно, будто раньше этот дом часто заливала дождевая вода. Мы встали с ним у окна эркера, обращенного в сторону спуска, и смотрели на потоки воды, стекавшие по улице, где босоногие жители квартала, подогнув штаны, оцинкованными ведрами и пластмассовыми бельевыми тазами вычерпывали воду, залившую дома, и выкладывали из камней и тряпья запруды, чтобы изменить течение грязных ручьев. Двое босых мужчин пытались железными прутьями раскрыть жаровню, которая никак не открывалась, две какие-то женщины—одна в лиловом платке, другая в зеленом—ругались между собой, указывая на что-то в воде. Мы с Тарык-беем вернулись за стол, и он сказал, что в этом районе дренажные канавы не справляются с потоком воды, так как помнят еще Османскую империю. Дождь прибавлял силу, и кто-нибудь из присутствующих то и дело приговаривал: «Разверзлись хляби небесные!» или «Настоящий потоп!», «Спаси Аллах!» и с волнением выглядывал на улицу из эркера на квартал, казавшийся от потоков воды неправдоподобным в свете тусклых уличных фонарей. Мне, видимо, тоже следовало вставать, подходить к окну, разделить с ними опасения, но я был так пьян, что боялся не удержаться на ногах и перевернуть кресла или журнальный столик.

— Интересно, как там ваш водитель в такой дождь?— захлопотала тетя Несибе, выглядывая из окна.

— Может быть, покормить его? — спросил молодой счастливый муж.

— Я отнесу, — предложила Фюсун.

Но тете Несибе показалось, что мне это не нравится, и сменила тему. А я казался себе опьяневшим и одиноким человеком, на которого все это семейство с недоверием и презрением смотрит из окна своего эркера. И улыбнулся им. Именно в этот момент на улице с грохотом опрокинулся какой-то бочонок и раздался чей-то крик. Наши взгляды с Фюсун встретились. Но она тут же опять отвела глаза.

Как ей удавалось быть такой равнодушной? Мне хотелось спросить ее об этом. Но я не решался. Меня обуял страх походить на несчастного брошенного любовника, преследующего свою возлюбленную. Мне хотелось спросить ее о другом.

Почему она не подходит ко мне, хотя видит, что я сижу здесь совсем один? Почему не пользуется возможностью все объяснить? Взгляды наши опять встретились, но она снова отвернулась.

Какой-то веселый голос во мне произнес: «Сейчас Фюсун подойдет к тебе». Если подойдет, это будет знаком, что однажды она избавится от своего нелепого брака, расстанется с мужем и будет моей.

Прогремел гром. Фюсун отошла от окна и, сделав пять легких, как тень, шагов, беззвучно села передо мной.

— Я прошу у тебя прощения, — прошептала она, от чего у меня защемило сердце. — За то, что я не смогла прийти на похороны твоего отца.

---

[15] «Чукур» означает «яма, овраг», так что «Чукурджума» приблизительно переводится как «пятничный намаз в овраге».

Яркая вспышка молнии мелькнула, словно разделяя нас, как кусок синего шелка на ветру.

— Я очень тебя ждал.

— Да, понимаю, но прийти все равно не смогла бы, — ответила она.

— У бакалейщика козырек отвалился, видели? — спросил супруг Феридун, повернувшись к столу.

— Видели и расстроились, — отозвался я.

— Расстраиваться особо не из-за чего, — произнес, отвернувшись от окна, Тарык-бей.

Он увидел, что дочь сидит, закрыв лицо руками, будто плачет, и с тревогой посмотрел сначала на зятя, а потом на меня.

— Я так переживала, что не смогла пойти на похороны дяди Мюмтаза, — Фюсун старалась сдержать дрожь в голосе. — Я так его любила. Мне было очень больно.

— Ваш отец действительно любил Фюсун, — заметил Тарык-бей.

Он отошел наконец от окна и, проходя мимо, поцеловал дочку в голову, сел за стол, усмехнулся и, подняв бровь, налил мне еще стакан ракы, а другой рукой указал на черешню.

В пьяной моей голове крутилась картина, как я сейчас встану и выну из кармана бархатную коробочку с отцовскими сережками и ее потерянную сережку, но я никак не мог этого сделать. От этого становилось невыносимо тяжело, так что я не мог оставаться на месте. Но сережки ведь можно отдать и не вставая. Фюсун перестала делать вид, что не замечает бушующих во мне бурь. Отец с дочерью переглянулись. Видимо, они тоже чего-то ждали от меня. Может, хотели, чтобы я ушел? Но, оказалось, нет. Однако серьги я так и не смог достать, хотя столько раз представлял себе это в моих мечтах: Фюсун не была замужем, а я, прежде чем отдать свой подарок, просил у родителей ее руки... Но в столь неожиданном для меня положении, на пьяную голову все никак не мог решить, что же делать с серьгами.

Мне подумалось, что я не могу достать их потому, что рука у меня липкая от черешни. «Можно помыть руки?» — спросил я. Фюсун тоже встала. Теперь было видно, как она нервничает—еще и потому, что взгляды отца говорили ей: «Дочка, проводи нашего гостя». Но теперь она стояла передо мной, и во мне с новой силой ожили воспоминания о наших встречах ровно год назад.

Мне захотелось ее обнять.

Всем известно, что когда мы пьяны, то пребываем как бы в двух реальностях. Вот и я в первой реальности обнимал Фюсун, будто мы пребывали вне пространства и времени. А во второй реальности стояли перед столом в ее новом доме в Чукурджуме, и внутренний голос твердил мне, что ее обнимать нельзя и стыдно. Но от выпитой ракы голос этот звучал тихо и доносился до меня не сразу, когда в первой реальности я обнимал ее, а пять-шесть секунд спустя. А в течение этих нескольких секунд я был совершенно свободен, ни о чем не беспокоился и просто шел рядом с ней.

Я поднялся следом за Фюсун по лестнице.

Близость ее тела, когда она вела меня в ванную, и наш подъем по ступенькам — все это на долгие годы запечатлелось в моей памяти, потому что словно происходило в мечтах. В ее взгляде читались тревога и понимание, и я был благодарен ей за то, что она выражала свои чувства глазами: так, уже второй раз, опять возникла надежда, что мы с ней созданы друг для друга. Совершенно неважно, что она теперь замужем, я готов вытерпеть еще больше ради счастья подниматься, как сейчас, по лестнице вслед за ней. Дом в Чукурджуме очень мал, от обеденного стола до ванной на верхнем этаже не больше четырех шагов и всего семнадцать ступеней. Однако ради того счастья, которое я пережил, когда видел Фюсун, можно было отдать всю жизнь.

Я вошел в крохотную ванную на верхнем этаже, закрыл за собой дверь и подумал, что отныне моя жизнь не принадлежит мне, я перестал распоряжаться ею, теперь она идет помимо моей воли. Я смогу стать счастливым, только если поверю в это. Только так и смогу жить. На маленькой полочке под зеркалом лежали зубные щетки всей семьи, мыло для бритья, бритвенные станки. Среди этих предметов была и помада Фюсун. Я взял ее, открыл и понюхал, а потом положил в карман. Затем быстро перенюхал все полотенца, пытаясь вспомнить запах ее кожи, но ничего не почувствовал: в честь моего прихода повесили все чистое. Судорожно осматривая маленькую ванную в поисках других вещей, которые послужат мне утешением в последующие трудные дни, я внезапно увидел себя в зеркале. Выражение моего лица свидетельствовало о поразительном разрыве между душой и телом. В то время как лицо выглядело изможденным от потерянности и поражения, в голове царили совершенно иные мысли: теперь главной истиной жизни было то, что я нахожусь здесь; в моем теле и сердце заключен некий смысл; что все создано из желания, осязания и любви; и поэтому я страдаю. Среди шума дождя и сливавшейся по трубам воды я расслышал одну из старинных народных песен, которые очень любила слушать бабушка, когда я был маленьким. Должно быть, кто-то поблизости включил радио. Усталый, но полный надежды женский голос сопровождали пронзительные стоны уда и радостные переливы кануна[16], и через приоткрытое окошко ванной до меня донеслись слова: «Ведь любовь, и только любовь — причина всего на земле». Не без помощи этой печальной песни я, стоя перед зеркалом в ванной Фюсун, пережил один из самых глубоких моментов своей жизни и осознал, что мир и все, что в нем есть, — одно целое. Но не только предметы, от зубных щеток в ванной до тарелки с черешней на столе, от шпильки Фюсун, которую я заметил и опустил в тот момент в карман, до задвижки на двери, — все люди были частью этого единства. Смысл жизни заключался в том, чтобы быть в этом единстве и в любви.

С такими теплыми чувствами в душе я вытащил из кармана сережку Фюсун и положил ее на место помады. А потом печальный голос женщины поведал мне о старинных улицах Стамбула, об историях любви стареющих под звуки радио в деревянных османских особняках супругов и о бесстрашных влюбленных, погубивших жизнь ради страсти. Под воздействием этого голоса я понял, что Фюсун поступила правильно, выйдя замуж за другого, что у нее не было иного выхода, чтобы защитить себя,—ведь я собирался жениться на Сибель. Размышляя об этом, я заметил, что говорю все вслух, глядя на себя в зеркале. В детстве я часто в шутку разговаривал со своим отражением. Но сейчас с растерянностью ощущал, что, подражая Фюсун, могу позабыть, кто я такой, и с помощью силы любви начну чувствовать и думать обо всем, что чувствует и думает она, буду разговаривать от ее имени, смогу понять ее мысли еще до того, как она сама поймет их, смогу стать «ею».

Должно быть, я просидел в ванной слишком долго. Кажется, кто-то нарочито громко кашлял за дверью. А может быть, стучал; я не очень хорошо помню, потому что на этом месте у меня «оборвалась пленка». В молодости мы так говорили, когда слишком много выпивали и потом не могли вспомнить, что с нами происходило. Как я выбрался из ванной и дошел до стола, под каким предлогом Четин-эфенди был позван наверх и забрал меня из квартиры — самостоятельно я бы не спустился по лестнице, — усадил в машину и привез домой — ничего не помню. Помню только, что за столом царила гробовая тишина. Не знаю, почему они молчали. То ли потому, что дождь постепенно кончался, то ли потому, что больше не могли не замечать мою боль, усилившуюся настолько, что, казалось, теперь ее можно было потрогать, и моего стыда, который я тоже больше не мог скрывать.

---

16 Уд. канун — турецкие традиционные струнные музыкальные инструменты.

А молодой супруг Феридун-бей ничего неладного совершенно не видел. Он с жаром рассказывал мне что-то о турецком кинематографе, что прекрасно сочеталось с «оборвавшейся пленкой». Кажется, он говорил о том, как отвратительны турецкие фильмы, которые выпускает киностудия «Йешильчам», и о том, что народ все же любит кино. Вроде бы именно в тот момент он сказал, что если бы нашелся серьезный, решительный и щедрый меценат, то он, Феридун, наснимал бы чудесных картин. А еще он написал сценарий, в котором главная роль отводится Фюсун, но, к сожалению, денег на съемки нет. Из всех его слов моя пьяная голова запомнила не то, что мужу Фюсун нужны деньги и он открыто мне об этом говорит, а то, что в будущем она станет турецкой кинозвездой.

Помню, на обратном пути, лежа в полуобморочном состоянии на заднем сиденье, я воображал Фюсун кинозвездой. Обычно, как бы пьян человек ни был, в какой-то момент свинцовые тучи рассеиваются и показывается реальность, которую — как нам кажется — видят все. Вот когда и я лежал на заднем сиденье машины, увлекаемой Четином-эфенди вперед по ночному городу, глядя на улицы в потоках воды, в голове внезапно прояснилось, и я понял, что Фюсун с мужем позвали меня на ужин лишь затем, чтобы получить поддержку богатого родственника. Но ракы сделала меня добрым: я не рассердился, а наоборот, начал мечтать, как Фюсун станет известной актрисой, на которую будет молиться вся Турция. Я воображал ее на премьере ее первого фильма. Премьера состоится в кинотеатре «Сарай». Фюсун под аплодисменты зрительного зала выйдет на сцену вместе со мной.

В этот момент машина проезжала по Бейоглу. Как раз мимо кинотеатра «Сарай».

50 Я больше не буду встречаться с ней

Утром я увидел истину. Надо мной посмеялись, меня унизили, запятнали мою честь. А еще, напившись так, что не стоял на ногах, я сам унизил себя в глазах хозяев дома. Раз они пошли на то, чтобы пригласить меня к себе в дом, зная, как я влюблен в их дочь, лишь бы только удовлетворить детские и глупые мечты своего зятя, значит, все это их устраивало. Видеть этих людей мне больше не следовало. Я обрадовался, заметив, что жемчужные сережки так и лежат у меня в пиджаке. Ее сережку я вернул, но не отдал этим людям драгоценную память, оставшуюся от отца. Теперь, после встречи, я уже не страдал так, как целый год: моя страсть к Фюсун проистекала не от ее красоты или характера, а от моего подсознательного неприятия семейной жизни и Сибель. Мне, правда, тогда не доводилось читать работы Фрейда, но в те дни я часто, чтобы объяснять свои поступки, использовал слово «подсознание», которое постоянно употребляли в газетах. Во времена наших отцов жили злые джинны, дьяволы, которые забирались в души к людям и заставляли их совершать дурные поступки. В мое же время появилось «подсознание», из-за которого я не только страдал по Фюсун, но и совершал постыдные безумства. Новое понятие хорошо объясняло причины моих терзаний и унижений. Я решил отныне держаться подальше от навязанной себе страсти. Эта мысль придала мне сил сражаться. Нельзя поддаваться «подсознанию». Нужно начать жизнь сначала. Нужно забыть Фюсун.

Первое, что я для этого сделал, — достал из нагрудного кармана пиджака ее пригласительное письмо и вместе с конвертом порвал на мелкие кусочки.

Я провалялся в постели до полудня. Мама, увидевшая меня лежащим в кровати с вечера, отправила Фатьму-ханым на рынок в Пангалты за креветками и велела ей приготовить их на обед в чесноке, с артишоками, в глиняном горшке, с большим количеством оливкового масла и лимонного сока, как я люблю.

Решение никогда не встречаться с Фюсун дало мне ощущение покоя. Я с

наслаждением пообедал, смакуя каждый кусок, потом мы с матерью выпили по рюмочке белого вина, и тут она невзначай сказала, что Биллур, младшая дочь знаменитого железнодорожного подрядчика Дагделена, которой месяц назад исполнилось восемнадцать лет, недавно вернулась из Швейцарии, где закончила лицей. Семейство, принимавшее участие в строительных подрядах, неизвестно как и с чьей помощью получало займы в банках, но сейчас испытывало финансовые трудности, так как долги не выплачивались вовремя. Мать добавила, что слышала, будто они хотят выдать дочь замуж, пока эти трудности не стали достоянием гласности—ожидалось, что они скоро обанкротятся. «Говорят, девушка очень красивая!—загадочно произнесла она. — Если хочешь, схожу посмотрю на нее, ради тебя. Мне очень не нравится, что ты стал напиваться каждый вечер со своими дружками, как офицер в провинциальном гарнизоне».

— Сходи посмотри, матушка, я согласен, — сказал я хмуро. — Современным способом с девушкой, которую я нашел себе сам, у меня ничего не получилось. Теперь попробуем сваху.

— Ах, сынок, знал бы ты, как я рада, что ты согласен! —воскликнула мать.—Вы, конечно, сначала познакомитесь, погуляете... Скоро лето, а вы молоды. Смотри, с этой девушкой веди себя как полагается! Знаешь, почему у тебя с Сибель ничего не вышло?

В тот момент я понял, что матери хорошо известна история про Фюсун, но она хочет объяснять ее чем-то благопристойным и безобидным, как к тому привыкли люди ее поколения, часто подстрекаемые на подобные объяснения злыми джиннами. Я почувствовал, как благодарен ей.

— Она была жадной, очень самодовольной и высокомерной девушкой, — мать говорила строго, пристально глядя на меня. И, будто сообщая большой секрет, таинственно добавила: — Я, вообще-то, сразу заподозрила неладное, когда узнала, что она не любит кошек.

Мать уже не раз уверяла меня, что Сибель не любила кошек, хотя я не мог вспомнить, чтобы сама Сибель об этом когда-нибудь говорила. Матери явно хотелось поругать ее в угоду мне. Мы выпили кофе на балконе, глядя на очередную, на сей раз небольшую, похоронную процессию во дворе мечети. После смерти отца мать иногда плакала, но в целом ее здоровье, настроение и душевное состояние были нормальными. В тот день в гробу лежал один из крупных домовладельцев Бейоглу, которому принадлежал большой «Дом благоденствия». Мать стала объяснять мне, где он находится, но, когда уточнила, что в двух шагах от кинотеатра «Атлас», я поймал себя на том, что представляю себя в этом кинотеатре вместе с Фюсун на премьере фильма с нею в главной роли. После обеда я отправился в «Сат-Сат» и принялся за дела, твердя, что вернулся к прежней, «нормальной» жизни, которую вел до Сибель и до Фюсун.

Встреча с ней почти полностью успокоила боль, ощущавшуюся многие месяцы. Сидя за бумагами в кабинете, я в глубине сознания это понимал и был довольно искренен в своем ощущении, что избавился наконец от любовной болезни. Между дел я иногда проверял себя и с радостью замечал, что у меня не возникало никакого желания видеть ее. Больше и речи не могло быть о том, чтобы я ходил в их отвратительный дом, в то крысиное гнездо среди потоков грязи и помоев. Однако произошедшее не давало мне покоя — не из-за любви, скорее из-за гнева на мальчишку, назвавшегося мужем, и на всю семью. А так как сердиться на ребенка я считал глупостью, то сердился на себя, на собственную глупость, за то, что из-за этой любви провел целый год жизни в страданиях. Но и на себя сердился тоже не по-настоящему: я лишь пытался увериться, что начал новую жизнь, мои страдания закончились, а новые сильные чувства лишь доказывают, что моя жизнь наконец изменилась.

На волне такого настроения мне захотелось повидаться со всеми старыми друзьями, которых я раньше избегал, развлекаться, бывать на приемах. (Я ведь отдалился от Заима с Мехмедом из-за боязни, что рядом с ними с новой силой вспыхнут воспоминания о Фюсун и Сибель.) Но на вечеринках после полуночи, уже выпив хорошенько, я опять чувствовал злость и понимал, что сержусь не на глупость и пустоту высшего света, не на себя из-за неотвязной страсти своей и не на кого-то постороннего; я понимал, что сердит на Фюсун. И со страхом замечал, где-то в глубине души, так глубоко, что я едва слышу сам, как все время ругаюсь с ней. Забывая про веселье, ловил себя на том, что втайне виню ее за жизнь в Чукурджуме, в этом крысином гнезде среди грязи, и теперь не могу принимать всерьез человека, который так глупо испортил себе жизнь замужеством. Я уже упоминал об одном своем приятеле из Кайсери, Абдулькериме, с которым мы дружили со времен службы в армии. Его отец был богатым землевладельцем. Когда мы отслужили и расстались, он каждый год ко всем праздникам присылал мне из своих краев красивые открытки с тщательно написанными от руки искренними поздравлениями, а я через некоторое время сделал его директором представительства «Сат-Сата» в Кайсери. В последние годы я редко встречался с ним во время его приездов в Стамбул, так как чувствовал, что Сибель он покажется слишком «традиционным» и «провинциальным». Абдулькерим приехал в Стамбул через четыре дня после моего визита домой к Фюсун, и я пошел с ним в ресторан «Гараж», недавно открывшийся, но сразу пришедшийся по вкусу стамбульской элите. Мы сидели там, и я, ради развлечения, попытался посмотреть на окружающих и на себя его глазами — глазами приезжего, и поэтому принялся рассказывать ему разные истории про стамбульских богачей, часть которых находилась здесь; некоторые даже подходили к нам поздороваться. Вскоре я с неприязнью заметил, что Абдулькерима интересуют не истинные истории этих малознакомых людей, а деликатные подробности их личной жизни, и он с удовольствием обсуждает каждую девушку и то, с кем она бывала и встречалась, будучи незамужней — и даже не помолвленной. Наверное, именно поэтому к концу нашей встречи мне нестерпимо захотелось поведать ему о себе, и я рассказал о любви к Фюсун, но так, будто это случилось с каким-то другим бесшабашным, но известным, любимым обществом молодым богачом. Говоря о любви к «продавщице», я указал Абдулькериму на одного молодого человека, сидевшего за дальним столиком, дабы он не заподозрил меня.

— Ну так что? Зазноба его вышла замуж, вот бедняге и повезло, — подытожил Абдулькерим.

— Признаться, я уважаю его за то, на что он решился ради любви, — возразил я. — Он ведь помолвку ради нее расторг...

В лице Абдулькерима на миг появилось понимание; но он тут же принялся наблюдать за известным табачным фабрикантом Хиджри-беем, его супругой и двумя его прекрасными дочерьми, которые направлялись к выходу. «Кто это?»—спросил он, не глядя на меня. Младшая из высоких, смуглых дочерей Хиджри-бея—кажется, ее звали Неслишах—высветлила волосы и стала блондинкой. Мне не понравилось, как Абдулькерим смотрел на них—полунасмешливо-полувосхищенно.

— Поздно уже, пойдем отсюда! — предложил я.

Я попросил счет. Мы вышли на улицу и больше ни о чем не разговаривали.

Домой, в Нишанташи, я не пошел, направившись в сторону Таксима. И размышлял над тем, что ведь сережку я Фюсун вернул, правда, сделал это тайком, много выпив и «забыв» ее в ванной. Это унизительно и для них, и для меня. Чтобы защитить свою честь, надо показать им, что я сделал так намеренно, не по ошибке. После того, как я все объясню, попрошу у нее прощения и больше никогда не стану искать встреч с ней. Спокойно, как принявший серьезное решение человек, я собирался сказать Фюсун последнее «прощай»! Возможно, тогда Фюсун

встревожится. Но промолчу, вроде того как она молчала целый год. Ничего не скажу о том, что мы больше никогда не увидимся, но перед выходом пожелаю ей счастья, дав понять, что отныне она видит меня в последний раз, чтобы начала переживать.

По переулкам Бейоглу я медленно шел в Чукурджуму, и тут мне подумалось: а вдруг Фюсун вовсе и не будет переживать; ведь она, возможно, счастлива в том доме со своим мужем. Но если это так, если она любит своего заурядного мужа настолько, чтобы выбрать жизнь с ним в таких трущобах, то я в любом случае не желаю ее видеть после того вечера. Пока я шагал в свете бледных уличных фонарей, по узким улицам, по разбитым мостовым, поднимался вверх, заглядывал в окна и сквозь неплотно задвинутые занавеси видел разных людей. Где-то выключили телевизор и собирались ложиться спать, где-то пожилые бедные супруги вместе курили перед сном, сидя друг против друга, и тем весенним вечером мне хотелось верить, что люди в этом бедном маленьком квартале счастливы.

Когда я позвонил в дверь, в эркере второго этажа открылось окно. В темноте раздался голос Тарык-бея:

— Кто там?

— Это я.

— Кто?

Я стоял, раздумывая, не бежать ли мне, как вдруг тетя Несибе открыла дверь.

— Тетя, извините! Мне не хотелось беспокоить вас так поздно.

— Ну что вы, Кемаль-бей, прошу вас, входите. Поднимаясь вслед за тетушкой по лестнице, как

и в первый раз, я твердил себе: «Ничего, не стесняйся! Ты видишь ее в последний раз!» Сосредоточившись на том, что меня больше никто никогда не посмеет унизить, я вошел в квартиру, но как только увидел Фю-сун, сердце мое опять постыдно заколотилось. Она сидела перед телевизором рядом с отцом. Они оба растерялись и смущенно встали, а заметив, что от меня пахнет алкоголем, посмотрели как-то с жалостью. Мне и сейчас неприятно вспоминать те первые несколько минут, когда я с трудом проговорил, что проходил мимо и решил зайти, просил прощения за доставленное беспокойство, что, дескать, вспомнил кое-что серьезное, о чем мне хочется поговорить. Мужа дома не было («Феридун ушел к своим друзьям-киношникам). Но заговорить о том, ради чего я пришел, никак не получалось. Тетя Несибе на кухне готовила чай. А Тарык-бей, не сказав ни слова, ушел, и мы остались одни.

Мы смотрели на экран телевизора. «Прости меня, пожалуйста. Я не хотел тебя обидеть, — произнес я. — Я вчера принес твою сережку и положил ее на полочке в ванной, между зубных щеток. Но был слишком пьян. А мне хотелось отдать тебе ее в руки».

— Никакой сережки рядом с зубными щетками не было, — нахмурилась она.

Мы непонимающе посмотрели друг на друга, и в это время ее отец принес из соседней комнаты вазу фруктовой халвы. Помню, как долго ее нахваливал. Где-то около полуночи все вдруг неловко замолчали, будто я явился сюда ради угощения. И тогда даже мне, несмотря на затуманенный алкоголем разум, стало понятно, что шел я сюда ради того, чтобы увидеть Фюсун, асережкалишь предлог. А Фюсун мучила меня, сказав, будто не видела никакой сережки. Но пока все молчали, мне показалось: боль, что я не вижу Фюсун, гораздо страшнее позора, который я терплю, лишь бы видеть ее. И я готов унижаться еще больше, только бы перестать мучаться. Однако позор сделал меня беззащитным, я запутался между боязнью унижения и болью. От этих мыслей я так растерялся, что даже встал.

И тут увидел ее кенара. Того самого. Я сделал несколько шагов к клетке. Мы с птицей посмотрели друг на друга. Фюсун и ее родители тоже встали—наверное, решили, что я наконец ухожу. В тот момент мне стало совершенно ясно, что, даже

если я приду сюда еще раз, все равно не смогу ни в чем убедить замужнюю Фюсун, которую интересуют только мои деньги. «Нет, не буду встречаться с ней! Никогда!»

Именно в это мгновение раздался звонок в дверь. Много лет спустя я заказал картину (она сейчас в музее моих счастливых воспоминаний), на которой изображено, как мы все обернулись к двери, когда услышали звонок: я, Лимон и Фюсун с родителями у нас за спиной. Картина выполнена как бы глазами кенара- Почему-то в ту минуту я смотрел на происходящее со стороны, словно бы с его места, поэтому на картине ни у кого из нас не видно лица. Должен заметить, что художник настолько точно передал все, как было, — ночь за окном, видневшуюся из-за полураздвинутых занавесок, квартал Чукурджума, окутанный тьмой, саму комнату и мою любимую со спины,—что при каждом взгляде на картину у меня слезы на глаза наворачиваются.

Отец Фюсун посмотрел из окна в зеркальце, прикрепленное к фасаду. Оказалось, что звонит кто-то из соседских мальчишек, и пошел вниз открывать дверь. Воцарилось молчание. Я направился к двери. Надевая плащ, молча уставился перед собой. И на пороге мне представилось, что сейчас произойдет сцена мести, которую я, оказывается, втайне от себя тоже представлял целый год. «Прощай», — сказал я.

— Кемаль-бей, — проговорила тетя Несибе. — Вы даже представить не можете, как мы рады, что вы решили зайти к нам. — Она бросила взгляд на Фюсун. — Не смотрите вы на нее, она просто отца боится, а сама-то рада видеть вас больше нашего.

— Мама, прекрати сейчас же... — прервала ее моя красавица.

Если у меня и была мысль сказать на прощанье что-нибудь обидное, например: «Мне такие смуглые не нравятся», то эти слова все равно были бы неправдой. Я всегда знал, что ради нее готов терпеть всю боль мира, пусть даже это меня погубит.

— Нет-нет, вы не правы, Фюсун очень хорошо ко мне относится, — уговаривал я себя и внимательно посмотрел ей в глаза. — Я вижу, ты счастлива, и поэтому счастлив сам.

— Мы тоже счастливы вас видеть, — поспешила вставить любезность тетя Несибе. —Теперь вы привыкли у нас бывать, так что ждем вас всегда.

— Тетя Несибе, я больше не приду сюда, — проговорил я.

— Почему? Вам не нравится наш район?

— Теперь ваша очередь, — ответил я в шутку. — Скажу матери, чтобы она вас пригласила.

В том, как я развернулся и, не глядя на них, стал спускаться по лестнице, было что-то пренебрежительное.

— Доброй ночи, сынок, — тихонько произнес мне вслед Тарык-бей, с которым я столкнулся в дверях.

Соседский мальчик отдавал ему какой-то сверток: «Это мама прислала!»

Я шел по улице, вдыхая прохладный воздух. Это придало мне бодрости, и я представил и даже поверил, что отныне меня ожидает счастливая жизнь, без бед и страданий. Вспомнил, что скоро мать пойдет посмотреть для меня на Биллур, красивую дочку Дагделенов. Но с каждым шагом, удалявшим меня от Фюсун, сердце мое рвалось на части. Поднимаясь вверх по улице, на холм, я ощущал, как оно бьется за грудиной, словно птица в клетке, чтобы выпорхнуть и вернуться туда, в тот дом, что остался позади. Но я намеревался покончить со всем этим.

Ушел я довольно далеко. Теперь мне хотелось чего-что, что отвлекло бы меня и придало уверенности; мне нужно было стать сильным. Я вошел в одну пивную, она уже закрывалась, и в клубах ярко-голубого табачного дыма залпом выпил два стакана ракы, закусив долькой дыни. Когда я выбрался на улицу, тело опять напомнило мне, что дом Фюсун все же ближе моего. Кажется, в тот момент я заблудился. В каком-то узком переулке в свете уличного фонаря ко мне приблизилась тень.

— О-о, здравствуйте!

Меня будто током ударило. Это был Феридун-бей, муж Фюсун.

— Какое совпадение! — съязвил я. —А я от вас возвращаюсь.

— В самом деле?!

Меня опять поразил юный — я бы сказал, детский — вид молодого супруга.

— Все время думаю об этом вашем фильме, — начал я. — Вы правы. В Турции надо снимать кино, как в Европе, чтобы оно было произведением искусства. Сегодня я не стал говорить с Фюсун об этом, ведь вас не было. Поговорим как-нибудь в другой раз.

В пьяной не меньше, чем у меня, голове Феридуна все смешалось от радости.

— Давайте я приеду во вторник в семь часов вечера, заберу вас из дома и мы куда-нибудь съездим? — предложил я.

— Фюсун тоже может поехать, да?

— Конечно. Мы ведь собираемся снимать кино, как в Европе, а в главной роли будет Фюсун.

И мы вдруг улыбнулись друг другу, как старинные друзья, у которых за плечами годы дружбы в школе и армии, а теперь появилась надежда разбогатеть. Я внимательно посмотрел в детские глаза Феридуна, и мы молча разошлись.

51 Счастье — это быть рядом с человеком, которого ты любишь

Помню, потом я пошел в Бейоглу, там ярко сияли витрины, и мне было радостно находиться среди людей. Я был так счастлив, что не мог скрыть это от себя. Мне, конечно, следовало бы считать себя униженным после того, как Фюсун с мужем пригласили меня домой, лишь бы я вложил деньги в их дурацкий фильм. Мне, наверное, даже следовало бы стесняться, но я был так счастлив, что позор совершенно не беспокоил меня. Из головы не шла торжественная картина премьеры: Фюсун с микрофоном в руках со сцены кинотеатра «Сарай» — а может, лучше «Иени Мелек»? — обращается к восторженному залу и благодарит создателей фильма, а больше всех—меня. Потом я тоже выхожу на сцену—богатый продюсер нового фильма, светские сплетники будут шептаться, что молодая звезда во время съемок влюбилась в меня и бросила мужа, а все газеты напечатают нашу фотографию, на которой Фюсун целует меня в щеку.

Нет особой надобности сообщать здесь о тогдашних моих фантазиях, которые, как благоуханные цветы, распускались один за другим, окутывая разум сладким дурманом. Ведь я, следуя примеру большинства турецких мужчин из моего мира, оказавшихся в подобном положении, вместо того чтобы пытаться понять, о чем мечтает любимая женщина, о чем она думает, сам мечтал о ней.

Через два дня я с Четином забирал Фюсун и ее мужа от дверей их дома. Как только мы с Фюсун посмотрели друг другу в глаза, я понял, что ни одна из моих грез не сбудется, но был так рад снова увидеть мою красавицу, что это не омрачило мое настроение. Я усадил молодоженов на заднее сиденье, сам сел с Четином, и, пока мы проезжали по улицам, укутанным тенями, неопрятным пыльным площадям, пока машина подпрыгивала на булыжниках мостовой вдоль Босфора, я то и дело оборачивался назад, чтобы сказать пару слов, и всякий раз во мне подымалась огромная волна счастья. От воды дул прохладный ароматный ветерок. Фюсун была в платье огненно-красного цвета на пуговицах, из которых три верхние оставила незастегнутыми. В тот первый вечер мы поехали в ресторан «Андон», что в Буюк-дере. Вскоре я заметил: из нас троих волнуюсь только я. Так будет и в последующие вечера, когда мы будем встречаться, чтобы обсудить создание нашего фильма.

Пожилой официант-грек почти сразу вынес на подносе закуски, и не успел я

что-то выбрать, как Феридун-бей, чья самоуверенность вызывала во мне легкую зависть, тут же заговорил о делах: «Кино для меня — важнейшая вещь на свете, Кемаль-бей. Прошу вас, не смотрите на мой возраст, он ни о чем не говорит. Я уже три года работаю на главной нашей киностудии—„Йешильчам". Мне крупно повезло. Познакомился со всеми знаментостями. Монтажником, декоратором работал. Носил за всеми свет. Помощником режиссера тоже работал. Одиннадцать сценариев написал».

— И, кстати, по всем сняты фильмы, весьма удачные, — вставила Фюсун.

— Мне не терпится посмотреть эти фильмы, Фери-дун-бей.

— Конечно, мы вам их покажем, Кемаль-бей. Многие из них до сих пор идут в летних кинотеатрах, а некоторые —даже в Бейоглу. Но теми фильмами я недоволен. Если бы я согласился снимать, то давно бы стал режиссером. Мне на киностудии «Конак-фильм» давно предлагают. Но мне не нравится такое кино.

— А почему?

— Это мелодрамы, которые сняты ради денег. Все на продажу. Вы вообще ходите на турецкие фильмы?

— Очень редко.

— Наши богачи, побывавшие в Европе, смотрят их, чтобы посмеяться. Я в двадцать лет тоже смеялся. Но больше не смеюсь. Я полюбил турецкое кино. Фю-сун тоже.

— Ради бога, объясните мне скорее, в чем тут соль! Я тоже хочу полюбить турецкое кино! — с нетерпением воскликнул я.

— Объясню, — искренне улыбнулся молодой супруг. — Но не беспокойтесь! Фильмы, которые мы снимем с вашей помощью, будут совершенно другими! В нашем Фюсун не станет благовоспитанной леди благодаря французской воспитательнице уже через три дня после приезда из горной деревни...

— Да я бы сразу поругалась с любой воспитательницей, — заметила Фюсун.

— В наших фильмах не будет бедных золушек, которых презирает их богатая родня, — продолжал Фе-ридун.

— Хотя мне бы хотелось сыграть такую золушку, которую презирает богатая родня, — опять вставила Фюсун.

В ее словах можно было бы уловить колкость в мой адрес, но ничего подобного не было. Наоборот, она произнесла это легко и весело, что причинило мне боль. В такой непринужденной атмосфере мы вспомнили общие эпизоды из прошлого, семейные вечера, нашу поездку много лет назад с Четином по Стамбулу на той же самой машине, на которой мы сегодня приехали, дальних родственников (некоторые из них уже умерли) из разных районов города и еще многое другое. Потом поспорили, как нужно готовить долму с мидиями. Спор закончился тем, что из кухни, улыбаясь с порога, вышел светлокожий повар-грек и сказал нам, что мы забыли про корицу. Молодой муж, который все больше нравился мне за простодушие и веселый нрав, в тот вечер о кино уже не заговаривал. Когда я вез их домой, мы договорились опять встретиться через четыре дня.

Летом 1976 года мы часто ужинали на Босфоре. Теперь, спустя много лет, всякий раз, когда я смотрю на Босфор из ресторанных окон над морем, замираю, как тогда, от счастья, что сидел перед Фюсун, и сознания, что нужно соблюдать хладнокровие, чтобы вновь заполучить ее. Размышления ее супруга о турецком кино, турецком зрителе, его мечты и фантазии о съемках, а также суждения о фильмах «Йешильчам» первое время я слушал с большим уважением, не признаваясь самому себе в сомнениях. Но так как у меня не было задачи «преподнести турецкому зрителю киноискусство в западном смысле слова», то я предусмотрительно затягивал дело; например, просил почитать сценарий, но, прежде чем получал его, интересовался другим вопросом.

Однажды, после очередного разговора с Феридуном (кстати, гораздо более сообразительным, нежели многие сотрудники «Сат-Сата») о смете «первого высокохудожественного» турецкого фильма я пришел к выводу: чтобы сделать Фюсун звездой, необходима сумма, равная примерно половине стоимости маленькой квартирки на окраинах Нишантиши. Однако причина моей нерешительности крылась не в том, что денег на все это у меня не было, а в том, что возможность видеть Фюсун два раза в неделю под предлогом съемок уняла мою боль. После стольких страданий я в те дни решил, что встреч мне должно хватить. На большее я не рассчитывал. Теперь мне хотелось немного передохнуть.

Отныне величайшим счастьем на земле для меня была наша поездка в Истинье, куда мы отправлялись после ужина, чтобы поесть обильно посыпанную корицей «куриную грудку»[17], или когда в Эмиргане гуляли вдоль Босфора и, глядя на его темные воды, ели на ходу мороженое с «вафельной» халвой[18]. Однажды вечером, когда я сидел напротив Фюсун в ресторане «Йани Йер» и в ее присутствии мои любовные джинны успокоились, я открыл простой рецепт счастья, который должен знать каждый: счастье — это быть рядом с человеком, которого ты любишь. (И вовсе не обязательно обладать им.) Незадолго до того, как сей волшебный рецепт пришел мне в голову, я посмотрел из окна на противоположный берег Босфора и увидел вдали дрожащие огни дачных пригородов, где мы с Сибель провели прошлое лето. Когда я был рядом с Фюсун, невыносимая боль в груди не только мгновенно проходила, но я даже забывал, что совсем недавно из-за нее задумывался о самоубийстве. Поэтому рядом с ней мне начинало казаться, что я возвращаюсь к прежней, «нормальной» жизни. Я предавался иллюзии, что силен, решителен и даже свободен. После первых трех встреч, во время которых, сидя напротив нее в каком-нибудь ресторане, наблюдал за приливами и отливами боли, я задумался о том, что ждет меня, когда ее не будет рядом. Поэтому в следующий раз я взял себе со стола некоторые предметы, чтобы они придавали мне сил в минуты одиночества и напоминали о счастье. В том числе и маленькую жестяную ложку — она из ресторана «Алеко», в Йеникёе. Мы с Феридуном в тот вечер увлеклись разговором о футболе — оба болели за «Фенербахче», поэтому повода для споров не было, — а Фюсун засунула эту ложку от скуки в рот. А вот солонку она держала, засмотревшись на ржавое русское судно, проплывавшее перед окном, совсем близко от нас; когда она взяла ее в руки, от движений его винта задрожали бутылки и стаканы. Обертку в форме рожка с обгрызанными краями Фюсун бросила на землю во время нашей четвертой встречи, когда съела мороженное, которое мы купили в кафе «Зейнель» в Истинье. Я шел сзади и мгновенно сунул обертку себе в карман. Возвращаясь домой, часто пьяный, подолгу рассматривал эти вещи, запершись у себя в комнате, чтобы не попасться матери на глаза, и спустя пару дней относил их в «Дом милосердия», к другим таким же важным для меня предметам.

Той весной и летом мы вновь сблизились с матерью, вспомнив это давно забытое чувство. Причиной, конечно, были наши утраты: она потеряла мужа, я—Фюсун. Но боль сделала нас терпимее, добавила нам зрелости. Правда, я всегда задавался вопросом, насколько мать осведомлена обо мне? Что бы она подумала, найдя обертки от мороженого или грязные ложки? Чего бы добилась от Четина, если бы принялась расспрашивать его, куда я езжу? Конечно, такие вопросы возникали у меня изредка, когда мне бывало особенно одиноко. Но мне совершенно не хотелось расстраивать мать, не хотелось, чтобы она считала, будто я из-за непростительной

---

[17] Сладкое блюдо из рисовой муки, протертой куриной грудки и молока.

[18] Тонкослойная халва, наподобие вафель.

страсти, совершил, как она говорила, «ошибку, о каких жалеют до конца дней».

Перед ней я старался делать вид, будто чувствую себя гораздо счастливее, чем на самом деле, и всегда соглашался — пусть даже в шутку, — когда она предлагала сходить посмотреть для меня на очередную девушку, а потом внимательно, с серьезным видом выслушивал ее подробные отчеты. Ради меня мать ходила знакомиться с Биллур, младшей дочерью Дагделенов, которые, несмотря на банкротство, продолжали вести прежний, «расточительный», по словам матери, образ жизни. Лицом Биллур оказалась действительно хороша, но ростом не вышла, поэтому было решено, что лилипутка мне не подходит, и больше о ней речи не заходило. (Надо сказать, что еще в юности мать всегда твердила нам с братом, что ей нужна невестка не ниже 1,65 м.) Также мать решила, что мне не подходит и средняя дочь семейства Менгерли, с которой я познакомился в начале прошлого лета в Большом клубе, где был тогда с Сибель и Заимом: оказывается, девушка до недавнего времени была безумно влюблена в старшего сына семейства Авундуков, который, как считалось, должен был жениться на ней. Но они расстались, притом очень плохо, парень ее весьма некрасиво бросил; в обществе об этом слишком много говорили, поэтому такая партия не для меня. Иногда я начинал верить, что мамины поиски все же увенчаются успехом, который принесет мне счастье, и поддерживал ее начинания, так как надеялся еще и на то, что это отвлечет ее от затворничества, на которое она обрекла себя после смерти отца. Иногда после обеда мать звонила мне на работу из Суадие и с обстоятельностью деревенской сплетницы рассказывала о новой кандидатке, на которую следовало взглянуть. Например, последние несколько вечеров подряд одна девушка приплывает на катере семейства Ышыкчи[19] на пристань к соседу, Эсат-бею, и если я приеду, пока не стемнело, то смогу увидеть ее, а если захочу, и познакомиться.

Теперь мать каждый день раза по два звонила мне на работу под какими-либо предлогами. Поведав, что опять нашла дома в Суадие старую вещь отца (например, его летние черно-белые туфли, одна из которых потом попала в мой музей чести и уважения), она долго всхлипывала в трубку и просила: «Пожалуйста, не оставляй меня одну». Потом говорила, что мне тоже нельзя оставаться в одиночестве и чтобы я не ночевал в Ни-шанташи, потому что к ужину она ждет меня в Суадие.

Иногда на ужин приезжал брат с женой и детьми. После еды мать с Беррин принимались обсуждать: детей, родственников, старые семейные традиции, постоянный рост цен, новые магазины, наряды и сплетни, а в это время, сидя на том самом месте, где некогда и отец, любуясь звездами и островами вдалеке, я вспоминал свою тайную возлюбленную, и мы с Османом подолгу обсуждали незавершенные дела компаний. Брат в те дни постоянно заговаривал, правда не особенно настаивая, о том, что мне следует войти в долю новой компании, которую они создали совместно сТургай-беем; что они не ошиблись в Кенане, которого поставили во главе нового предприятия; и что я совершил ошибку, когда плохо обращался с ним. Еще он вполголоса добавлял, что я уже в проигрыше, не вступив в новое дело, что теперь у меня последний шанс передумать, а потом жалеть будет поздно. Его удивляло, насколько я отдалился от деловой жизни и будто даже от общества, от него самого и наших друзей, от успеха и счастья, и, недоуменно подняв брови, он спрашивал: «Что с тобой?»

А я отвечал, что несколько замкнулся в себе, так как не могу оправиться после смерти отца и неудачи с Си-бель. Как-то жарким июльским вечером сказал, что мне хочется побыть одному, потому что мне тоскливо, но Осман так посмотрел на меня, будто я сошел с ума. Правда, мне казалось, что брата устраивает степень моего

---

19 Герои романа О. Памука «Джевдет-бей и сыновья».

нынешнего «сумасшествия», но, если странности продолжатся, он с удовольствием воспользуется ими против меня, закрыв глаза на публичный позор, который принесет семейная вражда. Однако эти тревожные мысли посещали меня в весьма благодушном настроении, то есть в дни после встречи с Фюсун; когда же я тосковал, то мог думать только о ней. Мать чувствовала эту неотвязную черную страсть и волновалась за меня, хотя ни о чем знать не желала. Я гадал, что ей известно, но мне совершенно не хотелось, чтобы она знала о моей любви к Фюсун больше, чем мне это представлялось, —даже если это так и было. Видимо, ей тоже не хотелось знать больше своих догадок. Подобно тому как я простодушно желал уверитья после каждой новой встречи с Фюсун, что не имею серьезных чувств к ней, то и мать настойчиво старался убедить, что страсть моя не имеет никакого значения. С этой целью я однажды, между делом, рассказал ей, что как-то возил дочку тети Несибе с молодым мужем на ужин, а в другой раз — что мы по настоятельному приглашению ее супруга втроем ходили в кино на фильм, к которому тот написал сценарий.

— Дай-то им Аллах счастья! — сказала мать. — Я как-то слышала, парень с киношниками водится, в «Йешильчам» ходит! Расстроилась. Впрочем, какой может быть муж у девушки, не стесняющейся выставить себя на конкурсе красоты? Но раз уж ты говоришь, что все у них хорошо...

— Парень он как будто разумный...

— Ты что, с ними по кино ходишь? Смотри, будь осторожен. Несибе—добрая, но та еще интриганка. Послушай-ка лучше, что я тебе скажу. На пристани перед домом Эсат-бея сегодня будет званый вечер. От них человек приходил, нас приглашали. Ты сходи, а я попрошу поставить мне кресло под смоковницу и буду смотреть на вас издалека.

52 Фильм про жизнь и страдания должен быть искренним

Много лет спустя я раздобыл у коллекционеров для своего музея входные билеты, фотографии зрительных залов и программки из летних кинотеатров, в которых с середины июня по октябрь 1976 года мы посмотрели более пятидесяти фильмов. Феридун заранее узнавал у знакомых прокатчиков, где идет та или иная нужная нам картина, и, когда темнело, мы с Четином, как обычно, забирали их с Фюсун от двери их дома в Чукурджуме и ехали в кинотеатр. Летние кинотеатры устраивали в разных районах города, поэтому нам доводилось часто теряться по дороге, так как за десятилетие Стамбул разросся, а пожары и новостройки изменили некоторые кварталы до неузнаваемости, и, стоя посреди какого-нибудь переулка на окраине города—узкого, но многолюдного из-за многочисленных приезжих, — мы были вынуждены спрашивать дорогу. Нередко приезжали в последний момент, иногда едва успевали зайти в зал и, сразу оказавшись в кромешной тьме, понимали, где сидим, только в пятиминутном перерыве, когда зажигался свет.

Прошло много лет, и впоследствии почти все парки, где располагались эти кинотеатры, были уничтожены, а на месте спиленных шелковиц и платанов построены многоэтажные жилые дома, сооружены автостоянки либо раскинулись поля для мини-гольфа с зеленым синтетическим покрытием. Но я и теперь помню, как поражали меня тогда лица зрителей на фоне крашенных известью стен сараев-мастерских, полуразвалившихся османских особняков, ободранных жилых мало-этажек с бесчисленными балконами. Грустные сюжеты мелодрам, которые мы смотрели в те дни, смешивались в моем воображении с судьбами этих людей, щелкавших на скамейках семечки; и образы мамаш в платках, папаш, не выпускавших весь сеанс из рук сигарету, многочисленных чад с лимонадом и одиноких безработных холостяков становились частью истории, которую рисовал нам фильм.

Именно на экране такого вот огромного летнего кинотеатра я впервые увидел будущего короля турецкого кинематографа и эстрады — Орхана Генджебая, который своими песнями, фильмами и эффектными позами на афишах только начинал тогда обретать всенародную популярность. В тот вечер мы сидели в кинотеатре, расположенном на холме, откуда виднелось Мраморное море, переливающиеся вдали огни Принцевых островов за недавно появившимся очередным кварталом трущоб — «геджеконду», образовавшимся между Пендиком и Карталом, в окружении мелких фабрик и ремесленных мастерских, стены которых были исписаны различными лозунгами социалистического толка. От белевшего на фоне черного неба столба ватного пара, выбивавшегося из высокой трубы цементного завода «Юнус», все вокруг казалось белесым, а на зрителей, будто сказочный снег, медленно падали хлопья известки.

Орхан Генджебай играл молодого бедного рыбака по имени Орхан. Ему покровительствовал злодей-богач. Его подлый и хитрый сын с приятелями бесчестил героиню, которую играла Мюжде Ар, — то был ее первый фильм, и сцена насилия была особенно долгой и, насколько можно, откровенной, чтобы зрители как следует рассмотрели красивое тело актрисы, так что во время этой сцены зал замер. Потом богач приказьшал Орхану жениться на Мюжде. И в тот момент Генджебай с болью и гневом пел известную песню со словами: «Будь проклят этот мир!», сразу прославившую его на всю Турцию.

Во время самых проникновенных сцен каждому из нас казалось, что он остается один на один со своими страданиями, все мы сидели, затаив дыхание и слушая странный хруст (сначала мне казалось, что так шумит завод), но хруст этот создавали сотни щелкавших семечки людей. Меня, конечно, немного отвлекало само настроение фильма, поведение пришедших развлекаться людей, острые шуточки развеселой молодежи в первых рядах на мужской половине и, конечно же, несоответствия в сюжете, поэтому мне никак не удавалось сосредоточиться на своих страданиях и насладиться глубоко затаенной болью. Когда Орхан Генджебай гневно воскликнул: «Тьма вокруг! Где же люди?», я почувствовал, как счастлив от того, что сижу здесь, в этом захудалом кинотеатрике, под деревьями и звездным небом рядом с Фю-сун. Я краем глаза следил за ней: ей было явно неудобно в тесном деревянном кресле, и она постоянно шевелилась. Орхан Генджебай произнес: «Жаль, что твоя судьба не сложилась иначе!», и в этот момент Фюсун скрестила ноги в джинсах и закурила, а я попытался предположить, насколько она разделяет переживания волнительного момента на экране. Я наслаждался. Орхан, вынужденный жениться на Мюжде, запел гневную, почти бунтарскую песню, а я повернулся к Фюсун и мгновение с нежностью смотрел на нее, хотя мне было немного смешно. Однако Фюсун была так поглощена фильмом, что даже не посмотрела в мою сторону.

Рыбак Орхан не желал исполнять супружеские обязанности со своей поруганной женой и избегал ее. Мюж-де, понимая, что принесла мужу несчастье, пыталась покончить с собой, но Орхан в самый последний момент успевал спасти ее и отвезти в больницу. На обратном пути он просил жену взять его под руку, но Мюжде спрашивала его: «Ты стесняешься меня?» То был самый душераздирающий момент фильма, и только тогда я ощутил в себе движение скрытой боли. Зрители во время этой сцены замерли: все понимали, как стыдно жениться на обесчещенной девушке, как позорно идти с ней рядом.

Мне тоже стало стыдно, я даже разозлился. Не знаю, чем это было вызвано — то ли тем, что открыто обсуждалась тема девственности и поруганной чести, то ли тем, что я смотрел это вместе с Фюсун. Я было задумался, но меня отвлекло тепло, исходившее от сидевшей рядом Фюсун. Прошло какое-то время, дети в зале заснули на руках у родителей, молодые люди с передних рядов, постоянно комментировавшие действие, замолчали, и мне очень захотелось взять Фюсун за

руку, лежавшую совсем близко от меня, на правом подлокотнике.

После второго фильма стыд принял новую форму — форму любовных страданий, которые, как оказалось, были главной бедой турецкой нации в частности и мира — в целом. На сей раз с Генджебаем играла миловидная смуглянка Перихан Саваш. Генджебай весь фильм мужественно переносил тяготы, уготованные ему судьбой, прибегая лишь к одному, зато самому действенному, оружию, которое сильно действовало на всех нас, — к смиренному мученичеству. Фильм завершался песней, которая в моем музее сладостной боли и благодарности звучит по сей день:

Когда-то ты была моей,
Я тосковал по тебе, даже когда ты была рядом,
А сейчас у тебя новая любовь,
Будь же счастлива.
Я буду страдать, буду терпеть боль,
А ты будь счастлива.

Почему, когда он пел, зрительный зал погрузился в полную тишину, а острословы-крикуны с первых рядов замолкли? Неужели из-за того, что уже настал поздний час, или потому, что дети заснули, а те, кто пил лимонад и ел каленый горох, вконец устали от бурчания в животе? Или чужие страдания, обернувшиеся самопожертвованием, вызывали уважение? Мог бы я совершить подобное? Жить, желая счастья Фюсун, не унижаясь и не причиняя себе страданий? Сделать все, чтобы она снялась в кино, и оставить ее?

Теперь рука Фюсун лежала далеко. Когда Орхан Ген-джебай сказал возлюбленной: «Будь счастлива, а я буду тебя вспоминать!», кто-то с первых рядов крикнул ему: «Балда!», но одобрительно улыбнулось лишь несколько человек. Все мы затаили дыхание. Тогда мне подумалось, что наш народ лучше всего умеет героически встречать поражение и именно этой мудрости и мастерству следует учиться. Фильм был снят год назад, за городом, на Босфоре, и от воспоминаний о прошлом лете и осени у меня на мгновение навернулись слезы. Белый, сияющий корабль на экране медленно плыл по морским просторам Драгоса, навстречу сияющим огням Принцевых островов, где счастливые люди каждый год проводят лето. Я закурил, закинул ногу на ногу и, подняв голову, посмотрел на величественную вселенную, на звезды. Видимо, фильм так влиял на меня, потому что все вокруг меня молчали. Смотри я его дома по телевизору, в одиночестве, он бы не произвел на меня никакого впечатления. Не уверен, что смог бы выдержать его до конца. А рядом с Фюсун я ощущал родство с другими зрителями.

Фильм закончился, зажегся свет, но все мы продолжали молчать.

На заднем сиденье автомобиля Фюсун тотчас заснула, положив голову мужу на плечо, а я закурил, глядя на протекавшие мимо темные улочки, лавки, лачуги бедняков, на расписывавших под покровом ночи стены подростков, на старые деревья, казавшиеся еще старше в темноте, на стаи бездомных собак и постепенно закрывавшиеся на ночь уличные чайные, но за все время я ни разу не обернулся и ни разу не посмотрел на Фе-ридуна, вещавшего шепотом о тонкостях только что увиденного нами фильма.

Однажды жарким вечером в кинотеатре «Йени Ипек», зажатом в узком сквере между кварталом трущоб «гед-жеконду», неподалеку от павильона Ыхламур и окраинами Нишанташи, мы смотрели две мелодрамы, одна из которых называлась «Любовь пройдет, когда пройдут страдания», а вторая—«Услышьте стон моего сердца» с уже успевшей прославиться девочкой по имени Папа-тья. В перерыве между фильмами мы, как всегда, пили лимонад, и Феридун рассказал, что повеса в тонком галстуке, игравший в первом фильме обманщика-счетовода, — его приятель,

который готов исполнить похожую роль в нашем фильме, а я тогда подумал, как сложно мне придется в мире кино «Йешильчам».

Пока Феридун говорил, я вдруг узнал старинный деревянный особняк, занавешенные темным балконы которого выходили на сквер. То был один из двух тайных и невероятно дорогих домов свиданий Нишанташи, принадлежавший известному предпринимателю-еврею. Излюбленным предметом двусмысленных шуток тамошних барышень были экстатические крики богатых господ, предававшихся летними ночами любовным утехам, соединявшиеся с музыкой фильма, звоном мечей и, в особенности, с возгласами слепых героев, по ходу действия мелодрам внезапно обретавших зрение: «Прозреваю! О-о, я прозреваю!» Иногда заскучавшие в ожидании клиентов задорные красотки в коротеньких юбках поднимались к себе в комнаты и со своих балконов смотрели кино.

Такие балконы, обычно битком набитые, часто окружали зрительные залы кинотеатров, подобно ложам в «Ла Скала». Так было, скажем, в кинотеатре «Парк Йылдыз» в Шехзадебаши, где балконы находились так близко от нас, зрителей, что во время фильма «Моя любовь и гордость», после сцены, в которой богатый отец устраивает сыну нагоняй («Если ты женишься на торговке, я лишу тебя наследства и вычеркну из завещания!»), перебранка, разгоревшаяся на одном из балконов, смешалась с ссорой на экране. А в летнем кинотеатре «Яз Чичек», недалеко от зимнего «Чичек» в Карагюмрюке, мы смотрели фильм «Торговка симита-ми», сценарий для которого писал самолично молодой супруг Феридун и который, по его словам, был трактовкой романа Ксавье де Монтепена «Разносчица хлеба». В главной роли предстала Фатьма Гирик, и какой-то тучный папаша, жавшийся с семейством на балконе прямо над нами, где для него накрыли стол с ракы, проявлял недовольство актрисой, все время приговаривая: «Ну разве Тюркан Шорай бы так сыграла? Нет, сестричка! Нет, ничего у тебя не выходит!» Он явно видел фильм накануне вечером и поэтому громко, в красочных выражениях сообщал всему кинотеатру, что должно произойти; и если кто из зрителей шипел на него: «Да тише вы, дайте посмотреть!», тут же со своего балкона вступал в перепалку, во время которой фильму и актерам доставалось еще больше. Фюсун решила, что происходящее задевает мужа, и прижалась к Феридуну, от чего мне сделалось больней.

На обратном пути мне совершенно не хотелось видеть, как Фюсун, задремав на заднем сиденье или болтая с Четином, который, как обычно, внимательно и осторожно вел машину, положила голову на плечо супруга либо прилегла на его живот, а Феридун обнимает ее одной рукой. Поэтому, пока автомобиль мчался во влажной жаркой летней ночи, я всматривался в темноту, откуда доносился треск цикад, и вдыхал запах пыли, плесени и жимолости, влетавший в приоткрытые окна машины с ночных улиц. Муж с женой часто обнимали друг друга во время просмотра, — так было, например, в кинотеатре «Инчжирли» в Бакыркёе, где мы смотрели детективы, навеянные американским кино и жизнью стамбульских улиц, — и тогда я мрачнел, замолкал и замыкался в себе, как герой фильма «Меж двух огней», затаивший страдания. Иногда я думал, что Фюсун специально кладет при мне голову мужу на плечо, чтобы я ревновал, и тогда пытался тоже чем-то задеть ее. Делал вид, что совершенно не замечаю тихого шепота и смеха молодоженов, но полностью погружен в фильм, и, чтобы показать это, изо всех сил хохотал в том месте, где улыбались только самые тупые. Потом хихикал всю дорогу, как турецкие интеллигенты, которые ходят на простые фильмы, но чувствуют себя неуютно, потому что такое кино — для народа, и они, едва заметив какую-нибудь забавную деталь, которую не видит никто, не преминут презрительно посмеяться.

Меня не особо беспокоило, когда Феридун, расчувствовавшись, сам клал ей руку на плечо — он делал это редко, — но мне становилось плохо, когда под тем же предлогом сама Фюсун нежно клала голову ему на плечо, и в такие моменты я думал,

что она специально хочет сделать мне больно, считал ее бессердечной и злился сам на себя.

В один из прохладных дождливых дней конца августа, после того как над Стамбулом пролетела первая стая направлявшихся с Балкан в Африку аистов (я даже не вспомнил, что ровно год назад была наша с Сибель вечеринка по случаю окончания лета), мы смотрели фильм «Я полюбил нищую» в летнем зале кинотеатра «Йумурджак», расположенном в сквере посреди рынка Бешикташ. В темноте я заметил, что Фюсун с мужем держатся за руки под кофтой, лежавшей у Фюсун на коленях. Меня охватила ревность. Впоследствии в других подобных случаях, когда я решал, что ревность уже не терзает меня, пристально смотрел на них под предлогом того, что меняю позу или закуриваю сигарету. Почему они держались за руки у меня на глазах? Ведь они женаты, делят постель, у них масса возможностей касаться друг друга...

От ревности у меня обычно портилось настроение, и тогда безнравственно плохим, невероятно сырым, жалким и далеким от реальности мне казался не только фильм, который мы в ту минуту смотрели, но и все фильмы, которые мы видели прежде. Тогда мне надоедали глупые влюбленные, которые то и дело пели дурацкие романтические песни; надоедали все деревенские девочки в платках, но с накрашенными губами, которые из служанок умудрялись в одночасье стать известными певицами. Меня раздражали фильмы про закадычных друзей-сержантов или братьев по крови, бесстыдно заговаривавших с героинями на городских улицах, — Феридун такие фильмы с усмешкой называл адаптацией «Трех мушкетеров» Дюма. В кинотеатре «Арзу» в Ферикёе мы видели две подобные картины. Они назывались «Три близнеца из Касымпаша» и «Три храбреца». Герои были в черных рубашках. Но так как администрация кинотеатра из-за конкуренции показывала по два или три фильма, невероятно урезанных, понять, о чем шла речь, было невозможно. Я порядком устал от самоотверженных влюбленных («Стойте! Стойте? Танжу невиновен! Преступник, которого вы ищете, — я!» — кричала Хюлья Кочйигит в фильме «Под акациями», остановленном на половине из-за дождя); от матерей, готовых на все, лишь бы достать деньги на операцию слепому ребенку (об этом был фильм «Разбитое сердце», который показывали в кинотеатре Парка культуры в Ускюдаре, где в перерыве между фильмами шло представление гимнастов); от друзей главного героя, кричавших: «Спасайся, дружок, я задержу врагов!» (таких обычно играл актер Эрол Таш, который, как утверждал Феридун, обещал поучаствовать и в нашем фильме); от самоотверженных парней из соседнего квартала, отворачивавшихся от своего счастья и говоривших любимой девушке: «Ты — возлюбленная моего друга!» В минуты безысходности мне были безразличны даже героини, признававшиеся: «Я — бедная продавщица, а вы — сын богатого фабриканта», и грустные одинокие богачи, которые, погрузившись с головой в любовные страдания, заезжали под любым предлогом навестить дальних бедных родственников, лишь бы только повидать возлюбленную.

Мое непрочное счастье, помогавшее мне с симпатией смотреть фильм на колыхавшемся от ветра экране и любить зрителей в кинотеатре, от малейшего порыва ревности умело в мгновение ока превращаться в самую черную тоску, от которой я проклинал весь свет. Но когда я основательно проникался мраком убогого мира постоянно терявших зрение деревенских красавиц, наступал какой-нибудь волшебный миг, — например, бархатная рука Фюсун невзначай касалась моей, — и весь мир снова озарялся. И тогда, чтобы не утратить блаженства случайного столкновения, я не двигал рукой, во все глаза смотрел на экран, совершенно не понимая, о чем там речь, чувствовал, что она тоже специально не двигает рукой и дает мне касаться себя, и готов был потерять сознание от счастья.

Однажды в конце лета мы смотрели «Юную госпожу», шедшую в кинотеатре

«Чампарк» в Арнавуткее. Пока мы следили за приключениями капризной молодой богачки, которую сумел перевоспитать простой водитель, наши с Фюсун руки опять коснулись друг друга и замерли. Жар ее кожи передался мне, и тут неожиданно на него отреагировало мое тело. Какое-то время я предавался головокружительному наслаждению, совершенно не обращая внимания на досадную непристойность, как вдруг в зале зажегся свет и начался пятиминутный перерыв. Я едва успел положить свой ярко-синий свитер.

— Купим лимонад? — предложила Фюсун. В перерывах между фильмами она ходила покупать лимонад и семечки, обычно с мужем.

— Хорошо, только подожди минуточку, — сказал я. — Я кое о чем думаю.

В лицейские годы, чтобы скрыть подобное недоразумение от однокашников, я всегда вспоминал о смерти бабушки, о похоронах, которые видел в детстве, о том, как ругал меня за что-нибудь отец, и даже воображал собственные похороны, свою темную могилу и насыпавшуюся в глаза землю.

Спустя полминуты я поднялся. И сказал Фюсун: «Все, пойдем».

Я шел рядом с ней, и тут мне будто впервые бросилось в глаза, какая изящная у нее шея и как ровно она держит спину. Так прекрасно было идти рядом с ней между рядов кресел, зрителей, больших семей с неугомонными детьми, не стесняясь ничьих взглядов... Все смотрели на нее, и мне это нравилось, я был рад, что нас считают парой, мужем и женой. Помню, подумал в тот миг, что все пережитые мною страдания стоят такой короткой прогулки.

Перед киоском с лимонадом столпились дети и взрослые, никто не желал стоять в очереди и криком требовал то, что хотел. Мы встали и принялись ждать, когда кто-нибудь отойдет.

— О чем ты сейчас так серьезно задумался? — спросила, немного помолчав, Фюсун.

— Мне понравился фильм, — ответил я. — Я задумался, почему с таким удовольствием смотрю фильмы, над которыми раньше смеялся и даже презирал.

— Тебе действительно они нравятся? Или ты говоришь так только ради того, чтобы ходить с нами в кино?

— Конечно нет. Мне нравятся фильмы. Почти в каждом, который мы видели этим летом, было что-то такое, что повлияло на меня, что было созвучно моим переживаниям.

— В жизни не все так просто, как в этих фильмах, — задумчиво произнесла Фюсун, будто ее расстраивали мои иллюзии. — Но мне они кажутся занятными! И я рада, что ты ходишь вместе с нами.

Мгновение мы молчали. Мне хотелось признаться: «Знаешь, мне достаточно просто сидеть рядом с тобой». Случайно ли наши руки касались друг друга и часто лежали рядом? Таившиеся во мне слова рвались наружу, но окружавшая нас толпа не позволяла этого. Из громкоговорителей на деревьях заиграла песня Орхана Ген-джебая к фильму, который мы видели два месяца назад в окраинном кинотеатре Пендика. «Когда-то ты была моей...» — лились слова, и музыка, хранившая в себе воспоминания, сейчас отдельными картинками проносила бесподобные мгновенья лета у меня перед глазами.

— Этим летом я очень счастлив, — решился я сказать. — Фильмы многому меня научили. Ведь в жизни важны не деньги... А, к сожалению, страдания... Усилия... Правда?

— Фильм про жизнь и страдания, — легкая тень внезапно омрачила лицо моей красавицы, — должен быть искренним.

Двое мальчишек толкались и брызгались лимонадом. Один внезапно прыгнул в ее сторону, но я успел притянуть Фюсун к себе. На нее попало несколько капель.

— Ах вы, засранцы! — возмутился какой-то немолодой мужчина и влепил

одному из мальчишек затрещину. Потом повернулся к нам, явно ожидая одобрения, и взгляд его остановился на моей руке, лежавшей на талии Фюсун.

Невероятная близость воцарилась между нами в то мгновение — не только физическая, но и духовная. Однако Фюсун, испугавшись, видимо, моего взгляда, так быстро отстранилась от меня и потянулась из-за спин мальчишек к бутылкам с лимонадом, сложенным в бельевых тазах, что я даже обиделся.

— Давай купим лимонада и Четину-эфенди, — предложила она и попросила подростка-продавца открыть две бутылки.

Я заплатил и понес бутылку Четину, который во время сеанса сидел не с нами, на семейных рядах, а на рядах, отведенных специально для холостых мужчин.

— Спасибо, Кемаль-бей, — с улыбкой поблагодарил он.

Когда я вернулся на наши места, какой-то мальчик с восхищением смотрел на пившую лимонад Фюсун. Потом он набрался смелости и подошел к нам.

— Сестричка, вы снимаетесь в кино?

— Нет.

Должен заметить, что в те годы такого рода вопрос или фраза «Вы очень красивы!» был излюбленным, а ныне забытым способом женолюбивых джентльменов познакомиться с красивой, но несколько откровенно одетой девушкой, которая по виду вряд ли принадлежала к высшему обществу. Десятилетний мальчик, конечно, не имел этого в виду. Однако он настойчиво повторил:

— Я видел вас в одном фильме.

— В каком?—удивилась Фюсун.

— В «Осенних бабочках». На вас было это же платье...

— И какую же роль я там играла? — с улыбкой спросила Фюсун; ей явно нравился разговор.

Но мальчик уже понял, что ошибся, и промолчал.

— Сейчас спрошу у мужа, он все фильмы помнит. Вы, конечно, понимаете: меня задело то, что она

вспомнила о муже и стала высматривать его в толпе, а мальчик понял, что я ей не муж. Сдержав обиду, счастливый лишь оттого, что нахожусь так близко от Фюсун и что мы вместе пьем лимонад, я обратился к ней:

— Мальчик, наверное, догадался, что мы скоро снимем фильм, а ты станешь звездой!

— Хочешь сказать, что в конце концов ты дашь денег и фильм будет снят? Не обижайся, Кемаль. Но Фе-ридуну теперь неловко даже говорить с тобой. А на эту тему он вообще теперь не заговаривает. Знаешь, нам уже надоело, что ты все время тянешь с деньгами.

— В самом деле? — от растерянности я не нашелся, что сказать.

53 От обид и разбитого сердца никому пользы нет

Оставшуюся часть вечера я хранил молчание. На многих языках мира разочарование, которое я переживал в тот момент передается словосочетанием «разбитое сердце», поэтому в моем музее очарованности есть разбитое сердце из фарфора. Любовная боль больше не была волнением, безысходностью или злостью, как прошлым летом. Вязкой и густой жидкостью теперь текла она у меня по венам. Почти ежедневные встречи с Фюсун умерили страдания, я свыкся с болью, у меня даже завелись новые привычки, которые, врастая в мою душу, сделали меня другим человеком. Большую часть времени я теперь не сражался с болью, а лишь усмирял ее либо пытался скрыть, делая вид, будто ее и вовсе нет.

Но теперь место успокоившихся любовных переживаний заняла боль от унижения. До этого я полагал, что Фюсун, не желая обидеть меня, избегала тем и

ситуаций, которые могли бы оказаться для меня унизительными. Но теперь, после тех грубых слов, больше вести себя с ней так, будто ничего не произошло, не представлялось возможным.

Правда, сначала мне удалось убедить себя, что Фюсун не произносила слов, постоянно звучавших у меня в голове («Ты дашь денег... Нам уже надоело...»). Номой робкий ответ подтверждал, что ее слова я слышал. И как бы ни пытался сделать вид, будто ничего серьезного сказано не было, мое погрустневшее лицо выдавало чувство унижения. Обидные фразы вертелись у меня в голове, и пока я пытался как ни в чем не бывало пить прохладный лимонад, мне становилось все больнее, так что я с трудом двигался. Еще обиднее было то, что Фюсун видела, как я расстроен.

Я пытался держаться так, будто мне не обидно, поэтому изо всех сил старался чем-нибудь себя отвлечь. Помню, когда в детстве и юности мне бывало нечем заняться, я предавался метафизическим размышлениям. Спрашивал себя: «О чем я сейчас думаю?» И сам себе отвечал: «Я думаю о том, про что я думаю!» Эти же самые слова повторял и сейчас, а затем решительно повернулся к Фюсун и сказал: «Пустые бутылки просят возвращать!», взял у нее из рук бутылку и понес мальчишкам, торговавшим лимонадом. В другой руке у меня была своя бутылка. Там еще оставалось немного лимонада. На меня никто не смотрел, и я быстро перелил свой лимонад в бутылку Фюсун, а свою отдал продавцам. Потом вернулся назад и сел.

Фюсун что-то говорила мужу, оба не обращали на меня внимания. А я потерял интерес к фильму. В моих дрожащих руках теперь была бутылка, которая только что касалась губ Фюсун, и ни о чем ином мне думать не хотелось. Сверлящая мозг мысль не давала покоя: вернуться в мой мир, к моим предметам. Этой бутылке предстояло быть сохраненной на долгие годы в старой квартире «Дома милосердия». Она—от лимонада «Мельтем», появившегося в те дни, когда началась моя история, но в бутылке был вовсе не «Мельтем», вкусом которого так гордился Заим. Плохие подделки первого общенационального турецкого лимонада, продававшегося почти по всей стране, появились тогда же. Мелкие производители собирали пустые емкости в разных местах, и, заполнив их в подпольных цехах дешевой крашеной газировкой, выставляли на продажу. На обратном пути молодой муж, Феридун-бей, заметив, что я то и дело подношу к губам бутылку, ничего не подозревавая о нашей с Фюсун размолвке, сказал: «Братец, согласитесь, хорош этот „Мельтем"!» Я объяснил ему, что лимонад поддельный. Он сразу подхватил тему:

— Говорят, на окраинах Бакыркёя есть подпольный цех. Там заполняют дешевым газом баллоны из-под государственного газа. Мы как-то раз купили себе такой. И поверьте, Кемаль-бей: горит лучше настоящего.

Я медленно поднес бутылку к губам: «Этот тоже вкуснее».

Машина, покачиваясь, ползла по безлюдным переулкам, в свете бледных уличных фонарей, и через лобовое стекло я, точно во сне, смотрел на медленный танец листьев и веток. Я сидел впереди, рядом с Четином-эфенди, и теперь сознавал, что обида давит на меня, а потому не оборачивался. Как всегда, мы заговорили о кино. Четин-эфенди, который обычно почти не принимал участия в наших беседах, в тот день начал разговор первым. Наверное, ему не понравилась гробовая тишина в машине. Он сказал, что некоторые места фильма, который мы только что видели, неправдоподобны. Например, ни один стамбульский водитель никогда не будет, пусть даже вежливо, ругать за что-то свою хозяйку, как показывали в фильме.

— Но он же не водитель, а известный актер Айхан Ышык, — заметил молодой супруг.

— Действительно, эфенди, — согласился Четин, — вот за то фильм мне и понравился. Есть в нем что-то поучительное... Мне нравятся фильмы, которые не развлекают, а жизни учат. Мы этим летом как раз такие и смотрели.

Мы с Фюсун молчали. От слов Четина-эфенди — «этим летом» — мне стало больнее. Они напоминали, что прекрасные вечера постепенно подходят к концу, что скоро мы с Фюсун перестанем ездить в кино и счастье сидеть бок о бок с ней под звездами закончится. Мне захотелось поговорить обо всем подряд, чтобы показать ей, как мне больно, но я не мог вымолвить ни слова и чувствовал, что обида, все больше овладевавшая мной, будет долгой.

Мне больше не хотелось встречаться с ними, не хотелось видеть женщину, которая дружила со мной ради денег для своего мужа, то есть просто ради денег. Теперь она даже не пыталась это скрывать. Такой человек не мог вызывать симпатии. Я пытался внушить себе, что наконец-то с легкостью порву с ней.

Тем вечером я отвез их домой, но даже не заикнулся о походе в кино на следующий вечер. И не звонил им три дня. Обида, которая жгла мне душу те дни, была вызвана, скорее, соображениями «дипломатического» свойства. Сначала я не осознавал этого, но потом все больше и больше проникался мыслью, что человека, который тебя обидел, следует наказать и спасти тем самым свою честь. Если я не дам денег на фильм, то похороню мечты Фюсун стать актрисой—вот отличное наказание для нее. Поначалу — в первый день — я искренне считал, что обида дает мне право на многое: «Пусть хорошенько подумает, что теперь делать, если фильм не будет снят!»—твердил я себе. На второй день начал представлять во всех подробностях, как Фюсун страдает от наказания и раскаивается. Однако, хотя я отчасти сознавал, что разрыв со мной будет иметь для них лишь материальные последствия, все же надеялся, что Фюсун расстроена — но не из-за краха фильма, а из-за того, что не видит меня. Возможно, я не ошибался...

Удовольствие представлять, как сейчас, должно быть, раскаивается Фюсун, заслонило саму обиду. Вечером второго дня, когда мы с матерью молча обедали дома в Суадие, я почувствовал, что уже скучаю по Фюсун и что искренняя обида давно прошла; и нет сил терзаться ею дальше, если только думать, что это расстраивает Фюсун и служит ей наказанием. За обедом я пытался вообразить себя на ее месте, что бы я чувствовал, будь я молодой красивой женщиной, у которой появился шанс стать кинозвездой, но в самый последний момент она его потеряла, обидев глупыми словами богатого продюсера. Тем временем мать без конца задавала вопросы: «Почему ты не доел мясо?», «Ты пойдешь вечером куда-нибудь?», «Лето закончилось, хочешь, не будем ждать конца месяца, вернемся в Нишанташи прямо завтра?», «Это уже который стакан по счету?», чем мешала игре моего воображения.

Представляя себе Фюсун в затуманенном алкоголем сознании, я открыл совершенно иную вещь: оказывается, моя обида имела «дипломатический» характер с того самого момента, как я услышал те отвратительные слова! Обида была лишь желанием отомстить. Я хотел проучить Фюсун за них обоих, но так как боялся, стыдился своих неосознанных желаний, то просто убедил себя, что больше не хочу ее видеть. Такой предлог выглядел наиболее благовидным и позволял мне мстить и снять с себя обвинения, не запятнав гордость. Моя обида не совсем искренняя, я преувеличивал разочарование, чтобы усилить желание мести. Поняв все это, я был готов простить Фюсун и повидаться с ней; и теперь видел все происшедшее в радужном свете. Но никак не мог решиться опять пойти к ним.

После ужина я отправился на Багдадский проспект, куда мы с приятелями ходили в юности «на променад», и, шагая по широким тротуарам, изо всех сил пытался представить, что будет означать для Фюсун мой отказ от назначенного мною же наказания. Но потом меня будто током ударило: такая умная и красивая молодая женщина, как она, знающая, чего хочет, может сразу, стоит лишь немного постараться, найти другого продюсера, который согласится поддержать ее мужа. Меня тут же обожгла ревность, и я пожалел, что решил исчезнуть. На следующий

день сразу после обеда отправил Четина в Бешикташ узнать, что идет в кинотеатрах, и, сидя у себя в кабинете «Сат-Сата», под предлогом, что нам нужно посмотреть «один важный фильм», набрал их номер. Из прижатой к уху трубки я услышал гудок и вообразил, как в доме Фюсун зазвонил телефон. Несмотря на волнение, тут же понял: кто бы ни ответил на звонок, разговаривать запросто я не смогу.

Напряжение нарастало во мне по мере того, как время шло, а Фюсун и не думала извиняться, и я волей-неволей метался между необходимостью обижаться по «дипломатическим» причинам и обидой настоящей, которую все же таил глубоко в душе. *Так* что последние летние вечера прошли не особо весело. Мы с Фюсун почти не разговаривали, я изображал обиду. Мое дурное настроение передалось, конечно, и ей. Я сердился на нее еще за то, что вынужден был изображать обиду даже тогда, когда мне этого не хотелось. Мне приходилось играть некую роль, и постепенно этот новый «я» вытеснял меня настоящего. Именно тогда в меня заронилась мысль, что большинство людей всю жизнь не искренне переживают какие-то чувства, а постоянно играют в ограниченном пространстве для узкого круга зрителей спектакль из вынужденных и обязательных предписаний, ограничений и верований. Между тем все фильмы, которые мы смотрели, кричали, что только благодаря неподдельности можно спастись от «мира лжи». Но теперь полагаться на их мораль не хотелось, у меня не получалось довериться миру искренних чувств.

Кинотеатр «Йылдыз» в Бешикташе в конце лета опустел, так что мне пришлось сесть через кресло от Фюсун, поскольку подобная близость в пустом кинотеатре смотрелась бы странно. Спустя четыре дня мы пошли в кинотеатр «Клуб» в Ферикёе, но, к нашей общей «радости», вместо фильма там был суннат, праздник обрезания, который муниципалитет организовал для детей из бедных семей. Выступали акробаты, фокусники и жонглеры, насупленные мальчишки в расшитых серебром костюмчиках для сунната лежали на специальных скамьях, а рядом стояли их мамаши в чаршафах и платках. Усатый добродушный глава муниципалитета, заметив нас, позвал на праздник, но мы вежливо отказались. Фюсун теперь тоже изображала обиду. Однако она делала это так, чтобы не заметил муж, и это тоже невероятно бесило меня.

Как-то мне удалось не звонить им целых шесть дней. И неделю не только Фюсун, но даже ее муж ни разу мне не позвонили, что еще больше меня разозлило. Если я откажусь от съемок, под каким же предлогом мне звонить им? Постепенно любая встреча с ними начинала означать только одно: я согласен платить.

В последний раз мы пошли в кино в начале октября. Кинотеатр располагался в парке «Мажестик» в Пангал-ты. Стояла теплая погода, поэтому в кинотеатре оказалось немало людей. Я надеялся, что хотя бы этот вечер пройдет хорошо и взаимная обида улетучится. Прежде чем мы сели на места, случилось непредвиденное: я встретил давнего друга детства с матерью, Джемиле-ханым. Их семья некогда была богатой, но потом обеднела, а Джемиле-ханым в свое время частенько играла с моей матерью в бридж. Было видно, что им, как всем бывшим богачам, неловко передо мной, однако мать с сыном в недоумении смотрели на меня, явно не понимая, что я забыл в таком месте. Джемиле-ханым смущенно сказала:

— Мне так хотелось увидеть дом Мюкеррем-ха-ным, что я не выдержала и решила пойти!

Я не понял, что она имеет в виду. Сначала решил, что она говорит об одном из старинных особняков, окна которых выходили в парк кинотеатра. И сел рядом с ней, чтобы тоже полюбоваться этим домом, а заодно послушать что-нибудь интересное про Мюкеррем-ха-ным. Тем временем Фюсун с мужем расположились перед нами, на шесть или семь рядов впереди. Когда начался фильм, я понял, что Джемиле-ханым говорила о доме из фильма. То был известный особняк одного паши из Эренкёя, в детстве я катался на велосипеде неподалеку от него. Семья паши со временем

промотала свое состояние, и нынешние владельцы деревянного особняка зарабатывали тем, что сдавали свой дом в аренду киностудии «Йешильчам» для съемок, как, впрочем, и многие другие наследники благородных семейств, друзья и знакомые моей матери. Джемиле-ханым не собиралась рыдать над фильмом «И любовь причиняет боль», а хотела увидеть в кино знакомые ей с детства комнаты с деревянной резьбой, которым в кино была уготована роль жилища богатых выскочек с черным сердцем. Мне же следовало через некоторое время оставить Джемиле-ханым и сесть рядом с Фюсун. Но я не мог сделать этого, так как почему-то испытывал странное смущение. Похожее чувство возникает у подростка, который в кинотеатре хочет сесть не с родителями, а где-нибудь подальше от них. Над причинами этого стыда мне размышлять не хотелось.

Не хотелось мне размышлять над ними и много лет спустя. Через некоторое время к стыду опять примешалась обида. Я подошел к Фюсун и ее мужу только после того, как фильм закончился. Джемиле-ханым, конечно, внимательно их рассмотрела. Фюсун теперь дулась еще больше, чем прежде, и мне не оставалось ничего иного, как тоже изображать обиду. На обратном пути, в невыносимой тишине, я, было, вообразил, как говорю какие-то глупые шутки и хохочу, словно сумасшедший или пьяный, — лишь бы только перестать изображать эту обиду, но так ничего и не предпринял.

Я не звонил им пять дней. Сдерживался, подолгу представляя, что Фюсун теперь готова молить меня о прощении. В фантазиях на ее слова раскаяния я отвечал ей, что она сама во всем виновата, и настолько искренне верил в ее проступки, которые сам же приписывал ей, что начинал сердиться в реальности.

Каждый день вдали от нее было все труднее. Я вновь начал ощущать черноту, тягучую липкую жидкость боли, которую терпел последние полтора года. Меня пугала возможность того, что я опять допущу какую-нибудь ошибку и вновь потеряю возможность видеть Фюсун. Теперь я говорил себе, что хотя бы поэтому должен скрывать от нее обиду. Получалось, что от собственной обиды страдал только я сам, поскольку существовала она лишь в моей голове, и стала наказанием для меня самого. От моих обид и разбитого сердца никому пользы не было.

Однажды, размышляя обо всем этом, я брел в одиночестве, поддевая осенние листья, засыпавшие Ни-шанташи, и понял, что в моем печальном положении самый благоприятный выход — это видеть Фюсун три или четыре раза в неделю, по крайней мере не менее двух раз. Только так можно будет вернуться к обычной жизни, не воспламенив вновь жгучую муку черной страсти. Теперь я знал, что, будь то ее наказание мне либо мое наказание ей, боль от разлуки с Фюсун вскоре вновь отравит мне жизнь. И если мне не хочется опять страдать, как в прошлом году, я должен отдать ей отцовские жемчужные серьги, которые давно обещал принести, в одном из писем, переданных с Джейдой.

На следующий день я отправился на обед в Бейоглу, а жемчужные серьги лежали в моем кармане, в той самой коробочке, в которой отдал мне их отец. Вторник 12 октября 1976 года выдался солнечным и ясным — один из дней, напоминавших о прошедшем лете. Яркие витрины сияли всеми цветами радуги. Я сидел в ресторане «Хаджи Салих» и пытался во всем разобраться, снова выбрав одно из таких заведений, от которого можно было, если захочется, за полчаса дойти до Чукурджумы. Когда я подходил к ресторану, то миновал кинотеатр «Сарай» и взглянул на расписание. Сеанс начинался в 13.45. Сидя за столиком, я подумал, что в прохладной темноте кинотеатра можно попытаться забыть обо всем и по крайней мере на какое-то время оказаться в другом мире. Ровно в 13.40 я оплатил счет, встал и направился вниз по улице, двигаясь к Чукурджуме. В желудке был только что съеденный обед, в затылок пекло солнце, в голове—любовь, на душе —тревога, а в сердце — боль. Дверь внизу открыла тетя Несибе.

— Я не буду подниматься, тетя Несибе, — сказал я и вытащил из кармана коробочку с серьгами. — Это — для Фюсун... Подарок ей от моего отца... Шел мимо, решил занести.

— Мне, Кемаль, надо рассказать тебе кое-что, пока Фюсун нет. Поднимайся, сейчас сварю тебе кофе.

Она произнесла это так загадочно, что я, не отпираясь, пошел следом за ней по лестнице. В квартире было очень светло от солнца. Кенар Лимон, счастливый и довольный жизнью, распевал в клетке на залитом солнцем окне. Я увидел разбросанные по всей гостиной швейные принадлежности тети Несибе, ножницы и обрезки ткани.

— Я теперь почти не хожу шить по домам, — объяснила она. — Но меня попросили срочно сшить вечернее платье. Фюсун мне помогает. Она скоро придет.

Налив мне кофе, она сразу перешла к главному.

— Понимаю, вы обижены и разочарованы, — заметила она. — Но Кемаль-бей! Девочка моя долго страдала, долго печалилась... Вы уж потерпите ее капризы! Утешьте ее, добейтесь ее прощения...

— Конечно, конечно... — с серьезным видом кивал я.

— Вы лучше меня знаете, что делать... Утешьте ее, сделайте, как она хочет, чтобы она поскорее свернула с неверного пути...

Я вопросительно посмотрел на нее и удивленно поднял брови, пытаясь понять, что означают слова про неверный путь.

— Перед вашей помолвкой, в день помолвки и особенно после нее девочка моя сильно страдала... Она часто плакала, много месяцев, — продолжала тетя Несибе. — Она перестала есть, пить, бывать на улице. Отказывалась от всего. Этот парень приходил к ней каждый день, утешал ее.

— Феридун?

— Да. Но ты не беспокойся, о тебе он не знает.

Тетя Несибе рассказала, что от боли Фюсун не соображала, что делает. Тарык-бей предложил выдать Фюсун замуж, и она в конце концов согласилась выйти за Феридуна. Тот знал ее с четырнадцатилетнего возраста. Подростком был влюблен в нее, но Фюсун тогда не обращала на него внимания, много лет мучая его безразличием. А теперь Феридун уже не так влюблен в нее—при этом тетя Несибе слегка улыбнулась, как бы говоря: «Это для тебя хорошая новость». По вечерам он и дома-то почти не бывает, у него все мысли заняты кино да своими друзьями-приятелями. Он даже из студенческого общежития в Кадырге переехал не столько к Фюсун, сколько затем, чтобы жить поближе к киношным кофейням Бейоглу. Они, конечно, поначалу воспылали страстью, поскольку оба — молодые и здоровые, но не следует воспринимать это всерьез. Просто все надеялись, что после произошедшего замужество будет Фюсун на пользу, и пока никто об этом не жалел...

Тут тетя Несибе взглядом, не оставлявшим у меня ни тени сомнения относительно ее полной осведомленности, дала мне понять, что «произошедшим» она называет не столько то, что Фюсун влюбилась в меня, или то, что дочь провалила вступительный экзамен, сколько то, что отдалась мне до свадьбы. На лице тетушки промелькнула даже некоторое удовольствие, что она может этим меня уколоть. Фюсун спасла бы запятнанную честь, только выйдя за кого-нибудь замуж, причем все случилось по моей вине!

— И Фюсун, и мы все знаем, что Феридун ни на что не годен, он не может создать ей хорошую жизнь. Но ведь он ее муж! — говорила тетя Несибе. — Он добрый, честный парень! Хочет, чтобы его жена стала звездой. Если вы любите мою дочь, помогите им. Мы думали, что Фюсун будет лучше с Феридуном, чем с каким-нибудь пожилым человеком, который не устанет попрекать ее за запятнанную честь. А Феридун ввел ее в круг своих друзей. Ты тоже береги ее, Кемаль.

— Конечно, тетя Несибе.

Еще она сказала, что Фюсун не должна узнать о поведанных мне семейных тайнах, а то она крепко накажет нас обоих (тут она опять слегка улыбнулась).

— Конечно, Фюсун была поражена, когда узнала, что ты расторг помолвку с Сибель-ханым и так страдал из-за нее, Кемаль. Конечно, у этого парня-киношника золотое сердце, но Фюсун скоро поймет, что он бестолковый и бросит его... Конечно, если ты будешь рядом с ней, если дашь ей уверенность...

— Тетя Несибе! Я исправлю вред, который причинил! Излечу сердце, которое разбил... Но только, пожалуйста, помогите мне вновь завоевать любовь Фюсун, — произнес я и вытащил коробочку с отцовскими серьгами. — Отдайте это Фюсун.

— Спасибо большое, — ответила она, взяв у меня коробочку.

— Тетя Несибе... Еще кое-что... Когда я пришел сюда в первый раз, принес ей одну сережку... Но Фюсун сказала, что не видела ее... Вы ее нигде не находили?

— Не находила. Подарок сам ей отдай, если хочешь.

— Нет не хочу... А та серьга—вообще ее собственная.

— Какая серьга?—удивилась тетя Несибе. Увидев, что ответить я не решаюсь, добавила: — Если бы только и было проблем что серьги... — А затем продолжила: — Когда Фюсун болела, Феридун приходил к нам. Взяв под руку мою дочь, у которой от горя даже сил ходить не было, он водил ее смотреть кино в Бейоглу Каждый вечер, перед тем как отправиться к своим друзьям, в кофейни да бары, где одни киношники собираются, он приходил к нам на ужин, смотрел с нами телевизор и утешал Фюсун...

— Я смогу сделать для нее гораздо больше, тетя Несибе.

— Дай-то бог, Кемаль-бей. Всегда ждем вас на ужин. И матушке вашей кланяйтесь, не огорчайте ее.

Она бросила взгляд на дверь, намекая, что пора уходить, чтобы не столкнуться с Фюсун. Я, успокоенный, тотчас вышел из дома на улице Далгыч Чыкмаз и, когда шел от Чукурджумы к Бейоглу, с радостью заметил, что моя обида совершенно прошла.

54 Время

Я ходил на ужин в Чукурджуму к Фюсун семь лет и десять месяцев. Если считать, что через одиннадцать дней после того, как тетя Несибе сказала: «Всегда ждем вас на ужин!», наступила суббота, 23 октября 1976 года, а последний раз мы с Фюсун и тетей Несибе поужинали в воскресенье, 26 августа 1984 года, всего прошло 2864 дня. За эти 409 недель, согласно моим записям, я ужинал у них 1593 раза. Это значит, что в среднем я бывал там четыре раза в неделю, однако не стоит думать, что на ужин в Чукурджуме я появлялся столь регулярно.

Бывали периоды, когда я ужинал у них каждый день, а иногда на что-то обижался, на что-то сердился или начинал думать, что смогу забыть Фюсун, и ходил к ним реже. Но так как я ни разу не проводил без Фюсун больше десяти дней (думал-то я о ней всегда), потому что через десять дней боль превращалась в невыносимую пытку, как осенью 1975 года, можно сказать, что за семь с лишним лет я видел семейство Фюсун постоянно (в моей истории я часто буду называть их по фамилии, семейство Кескинов). Они тоже всегда ждали меня на ужин и точно угадывали, когда я приду. За короткое время мы все более или менее привыкли к такому порядку: они — к моим визитам, а я — к тому, что меня всегда ждут.

Кескины не звали ужинать специально, потому что меня за их столом неизменно ожидало свое место. Но я все равно всякий раз терзался сомнениями, стоит ли бывать у них каждый вечер. Иногда спрашивал себя, не будет ли слишком назойливым так часто ходить туда; а в другой раз переживал, что в одиночестве буду обречен провести вечер без Фюсун, страдать, да и допущу невежливость, если мое отсутствие окажется неверно истолковано.

Первые мои визиты в Чукурджуму были отягощены именно такими переживаниями, а также попытками ловить взгляды Фюсун, привыкнуть к их дому и соответствовать его атмосфере. Мне всегда хотелось сказать ей: «Я пришел к тебе, я здесь ради тебя». Во время первых визитов такие чувства преобладали. На пороге их дома я боролся со смятением и стыдом, а потом с облегчением думал: хорошо, что все-таки решился прийти. Если я так счастлив оттого, что сижу рядом с Фюсун, то почему от собственных мыслей столь страдаю? А Фюсун воспринимала все с милой улыбкой, будто происходящее совершенно естественно и она довольна моим появлением.

В начальные мои визиты я, к сожалению, очень мало бывал наедине с ней. Но все равно при каждой удобной возможности шептал: «Я соскучился по тебе!», а Фюсун взглядом отвечала мне, что ей нравятся мои слова. Другой возможности сблизиться не представлялось.

Читателям, которые изумятся, что я восемь лет ходил в гости к Фюсун (никак не могу сказать — к Кескинам), и которых поразит, как спокойно я говорю об огромном отрезке времени, о тысячах дней, мне хочется рассказать, как обманчиво время, и показать, что оно бывает разным. Существуют наше собственное и общее время, которое мы делим с другими людьми. Мне важно разделить это, чтобы меня не считали порочным, опасным человеком, одолеваемым навязчивой идеей, который только ради любви к Фюсун обивал порог ее дома целых восемь лет, лишь бы видеть, как она живет.

Начну с больших настенных немецких часов с боем и маятником под стеклом в изящном деревянном корпусе. Задача этих часов, занимавших почетное место у входной двери в доме Фюсун, заключалась не в том, чтобы измерять время, а в том, чтобы демонстрировать всей семье постоянство и неизменность образа жизни и иногда напоминать о внешнем мире, оставшемся за порогом. Так как последние годы о времени сообщали по телевизору и по радио в намного более увлекательной форме, настенные часы в доме Кескинов, совсем как тысячи их собратьев в других домах города, постепенно теряли значение.

Они вошли в моду в Стамбуле в конце XIX века, появившись в особняках европеизированных пашей и богатых иноверцев, и обычно отличались богатым декором, имели красивый завод, гири и маятник. В начале XX века и в первые годы Республики вследствие чаяний и усилий властей сеять зерна европеизации среди простых людей настенные часы стали появляться и в домах обычных горожан. Когда я был маленьким, у нас тоже были такие — на стене в прихожей напротив входа. Но уже в те годы на них смотрели редко, постепенно забывая. В 1950-х годах каждый, даже дети, носил наручные часы, а в домах постоянно работало радио. Настенные часы продолжали тикать по привычке, пока появление телевидения не изменило распорядок дня, звуки в доме и не ввело новые правила: есть всей семьей перед телевизором, что и случилось в середине 1970-х,

У нас дома настенные часы тикали тихо, а их бой в начале и половине каждого часа не был слышен в спальнях и гостиной и никого не беспокоил. Поэтому их продолжали заводить долгие годы, поднявшись на стул. Иногда ночами, когда я напивался от несчастной любви, а потом просыпался от боли и выходил в гостиную покурить, я был счастлив слышать из коридора гонг, отбивавший новый час.

В доме Фюсун еще в первый месяц я обратил внимание на то, что настенные часы то ходят, то стоят; но сразу привык и к этому. Бывало, поздним вечером, когда по телевизору шел какой-нибудь турецкий либо европейский фильм про Древний Рим с гладиаторами и львами, который было трудно понять из-за никудышного перевода и дубляжа либо оттого, что включили на середине и постоянно отвлекались на разговоры, или же какая-нибудь жеманная певица исполняла старинные турецкие песни и на экране ненадолго наступала тишина, внезапно раздавался бой настенных

часов у двери. И кто-то из нас, обычно тетя Несибе, а иногда Фюсун, повернувшись, недовольно смотрел на часы, а Тарык-бей недоумевал: «Интересно, кто их опять завел?»

Часы то заводили, то забывали это сделать. Однако иногда боя не было долгие месяцы; даже когда часы заводили систематически, раздавался только удар на половины, а иногда они вообще молчали неделями, вторя тишине дома. Мне представлялось, как, должно быть, страшно, когда дом пуст, и становилось не по себе. Часами никто не пользовался, но вопрос, заводить их или нет, раскачивать маятник или нет, нередко становился предметом споров. «Оставь их, пусть себе ходят, они никому не мешают,— говорил Тарык-бей жене. — Они напоминают, что дом есть дом». Наверное, с его мыслью соглашались все мы — я, Фюсун и даже посторонние гости. Часы помогали не думать о времени, о том, что все когда-то кончается, а наоборот, чувствовать и верить, что все вечно.

В первые месяцы я даже представить не мог, что ничего не меняется, ничего не изменится и что мне суждено провести перед телевизором за обеденным столом в Чукурджуме восемь лет. Во время моих первых визитов туда мне каждый раз все казалось новым и иным: любое слово Фюсун, любое выражение ее лица, любое ее движение, и я не придавал значения тому, ходят часы или нет. Мне было важно сидеть с ней за одним столом, видеть ее, ощущать счастье и не двигаться в тот миг, когда моя душа оставляла меня и подлетала поцеловать ее.

Часы, всегда неизменно отсчитывавшие время, дарили всем нам покой, заставляя почувствовать, что, даже если не замечать их ход, дом, предметы, мы, пившие и евшие за столом, не меняемся, что все всегда остается по сути неизменным. С одной стороны, они помогали нам забыть о времени, но с другой, напоминали о настоящем моменте и о связи с окружающим миром. За восемь лет часы часто бывали предметом раздоров между Тарык-бе-ем и тетей Несибе, иногда переходивших в «холодную войну». «Кто опять их завел? Чтобы перебудить нас всех среди ночи?!» — ругалась тетя Несибе, когда во время очередной всобщей паузы замечала, что часы вновь идут. «Если их не будет, в доме будет чего-то не хватать! — отвечал ей Тарык-бей холодным декабрьским вечером 1979 года. И добавлял: — Они же были у нас в прошлом доме!» «Ты что, так и не привык к Чукурджуме, а, Тарык-бей»?—язвительно спрашивала тетя Несибе, сопровождая свои слова нарочито нежной улыбкой (иногда, когда сердилась, она называла мужа «Тарык-бей»).

Взаимные уколы и меткие словечки, которыми многие годы подряд обменивались супруги, а также их споры разгорались с новой силой, когда часы начинали бить. «Это ты их завел, Тарык-бей, чтобы и я по ночам не спала! — ворчала тетя Несибе. — Фюсун, дочка, останови их, пожалуйста». Часы можно было остановить, стоило придержать маятник пальцем, как бы хорошо их ни завели до того, но Фюсун сначала с улыбкой смотрела на отца, и Тарык-бей смущенно кивал: «Ладно, останавливай!», а иногда упрямился. Иной раз он ворчал: «Я к ним не прикасался. Сами пошли, пусть сами и останавливаются!» Соседские дети часто внимательно слушали, как спорят Тарык-бей и тетя Несибе. «Хвала Аллаху! Часы наши вновь идут», — ехидничала тетя Несибе. «Если кто тронет часы, того перекосит, — отзывался Тарык-бей, нахмурившись.—В них злой джинн живет». — «Никто не против, чтобы джинн сидел себе да тикал, лишь бы только ночью спать не мешал да не гудел, как церковный колокол у пьяного звонаря». — «Не помешает он, не помешает! А тебе самой будет лучше, если ты о времени забудешь», — говорил Тарык-бей. Слово «время» он использовал здесь в значении «современный мир», «эпоха, в которую мы живем». Это «время» постоянно менялось, а мы, с помощью настенных часов, старались держаться подальше от всех перемен.

Основным средством, которым семейство Кескин пользовалось в повседневной

жизни, чтобы узнать время, был постоянно включенный телевизор, подобно тому как в 1950 -1960-х годаху нас дома работало радио. Тогда прямо во время радиопередач — что бы ни шло: музыка, дискуссия или урок математики — каждые полчаса передавали особый тихий сигнал — специально для тех, кто хотел узнать, который час. В телевизионных программах, которые все смотрели вечером, такой сигнал был не нужен, так как временем интересовались, чтобы узнать, что идет по телевизору.

Фюсун пользовалась своими наручными часами, которые теперь в моем музее вечного счастья, а Тарык-бей — карманными, множество моделей которых у него сменилось за восемь лет. Раз в день, в семь часов вечера, когда на экране единственного канала страны TPT за минуту до начала вечернего выпуска новостей появлялись огромные часы, оба проверяли либо подводили свои. Я получал огромное удовольствие, когда смотрел, как Фюсун, нахмурив брови и слегка прикусив кончик языка, с детской важностью, подражая отцу, подводит свои часы. Сама она заметила это почти сразу. Поэтому, выполнив традиционную процедуру, обязательно нежно улыбалась мне, так как знала, с какой с любовью смотрю на нее в тот момент. «Точно поставила?» — спрашивал я ее тогда. «Точно!» — отвечала она. улыбаясь еще нежней.

За восемь лет моих встреч с ними я понял, что каждый вечер в доме Кескинов мне нужен не только затем, чтобы видеть Фюсун, но и какое-то время пожить в мире, где живет она, дышать воздухом, которым она дышит. Ее мир существовал вне времени. Это было самым главным. Когда Тарык-бей говорил жене: «Забудь про время», он имел в виду именно это. Глядя на эти ныне сломанные, заржавевшие, простоявшие много лет часы с боем, хочется рассмотреть в них их странную особенность — быть вне времени, а может быть, создавать свое особенное время — некую субстанцию, столько лет питавшую меня в доме Фюсун.

Помимо этого особенного времени, казалось, существовало еще какое-то, за пределами дома, но о нем мы узнавали с помощью радио, телевизора и азанов[20], и слова «узнать, который час» означали установить связь с внешним миром.

Мне казалось, что Фюсун подводила часы не потому, чтобы успевать по своим делам, а как бы из уважения ко времени; это было для нее знаком внимания, вроде того, что ее отец-пенсионер регулярно получал деньги от государства. Нам всем казалось, что огромные часы, которые показывали на экране каждый вечер в конце вещания, сродни турецкому флагу и гимну («Маршу независимости»), и всякий раз, прежде чем выключить телевизор и закончить день, мы ощущали присутствие миллионов других семей, которые сейчас делали то же самое; мы чувствовали присутствие людской массы, что зовется нацией, мощь той силы, имя которой — государство; а еще сознавали, как ничтожно малы мы сами. Глядя на общенациональные часы («Передается сигнал точного времени», — иногда в это время раздавался голос по радио), флаг и портреты Ататюрка, мы чувствовали, что та хаотичная жизнь без правил, которой мы все живем у себя дома, течет вне жизни вокруг.

Аристотель в своей «Физике» различает бесконечное время и его промежутки, которые он называет «теперь». Эти «теперь» он, подобно своим «атомам», считает неделимыми, недробимыми частицами. А время их объединяет. Хотя Тарык-бей и советовал нам забыть о Времени — о линии, что объединяет мгновения настоящего, никто из нас, кроме дураков и сумасшедших, как бы ни старался, никогда не сможет забыть о времени. Мы все лишь пытаемся забыть о нем, когда счастливы. Не стоит путать способность забыть о Времени или обычные ситуации, когда мы не помним о

---

[20] Азан — призыв к молитве, возвещаемый с минарета муэдзином; звучит пять раз в день, в строго определенное время.

часах или календаре. Часы и календари созданы только для того, чтобы упорядочить наши отношения с окружающими—по сути, упорядочить общество, как их все и используют. Глядя на часы, которые каждый вечер перед выпуском новостей появляются на экране, мы думаем о других людях, о наших встречах с ними и о часах, которые эти встречи регулируют. Но вовсе не о Времени. Когда Фюсун радостно улыбалась, глядя на экранные часы, ее лицо озарялось улыбкой потому, что наручные шли так же, минута в минуту, либо потому, что проверила и поставила их точно. Или знала, с какой любовью я смотрю на нее, но вовсе не из-за того, что вспоминала о Времени.

Жизнь показывает, что большинству из нас больно вспоминать о Времени, то есть о линии, соединяющей мгновения настоящего, о которых говорил Аристотель. Попытки увидеть эту линию, объединяющую мгновения или, как в моем музее, предметы, хранящие в себе сбывшееся, болезненны, потому что, старея, мы с болью понимаем: у этой линии не было особого смысла— как нам всегда казалось. А еще потому, что она не дает забыть о неизбежном конце, о смерти. Но сами эти мгновения настоящего могут даровать нам огромное счастье, как было у меня, когда я ходил ужинать в Чу-курджуму, а Фюсун улыбалась мне. Я с самого начала понял, что хожу к Кескинам за счастьем, которого мне хватит на всю жизнь, и поэтому забирал из их дома разные предметы, которых касалась Фюсун, чтобы сохранить мгновения счастья.

Однажды — шел второй год — я засиделся допоздна, и, когда кончилось вещание, Тарык-бей принялся рассказывать о годах юности в лицее города Карса и работе там в последующие годы преподавателем. Годы, прошедшие не слишком благополучно из-за постоянной нехватки скудной учительской зарплаты, одиночества и всяческих бытовых проблем, он вспоминал теперь с радостью. И не потому, что, как многие считают, с течением лет даже плохое кажется хорошим, а потому, что из неудачного периода (грустная линия Времени) он запомнил только самое хорошее (мгновения настоящего) и ему нравилось о нем рассказывать. Об этой двойственности он сам сказал мне и почему-то обратил мое внимание на часы с двумя циферблатами, которые купил в Карсе. Часы были западно-восточными, так как один циферблат был с арабскими цифрами, а другой — с латинскими.

Мне же хочется привести и свой пример. В моем музее выставлены часы марки «Buren», которые Фюсун начала носить в мае 1982 года. Глядя на них, я всякий раз снова и снова переживаю мгновение, когда подарил эти часы ей на ее двадцать пятый день рождения, а она, вытащив их из утерянной ныне коробки, расцеловала меня в обе щеки за кухонной дверью, пока отец с матерью не видели (ее мужа, как обычно, не было дома), и когда мы вместе сели за стол, радостно показывала часы родителям, и те, давно считавшие меня странным членом семьи, по очереди благодарили меня. Я счастлив, что могу еще раз пережить это незабываемое мгновение. Если воспринимать жизнь не как линию, вроде Времени Аристотеля, а думать о ней как о цепочке таких ярких и радостных мгновений, то восемь лет за столом с возлюбленной не покажутся странностью, отклонением или навязчивой идеей, заслуживающей насмешек, а сохранятся в памяти как 1593 счастливых вечера, какими я их сейчас, много лет спустя, и помню. Каждый из вечеров, проведенный за ужином в Чукурджуме, для меня теперь одно целое счастье — даже если какой-либо из них был тяжелым, безнадежным и унизительным.

55 Приходите завтра снова, снова посидим

Каждый вечер на отцовском «шевроле» Четин-эфен-ди возил меня в дом Фюсун. Восемь лет я старался не нарушать эту традицию, кроме тех случаев, когда снег засыпал дороги или улицы заливало после дождя, когда Четин-эфенди болел или

был в отпуске или же когда ломалась машина. Несколько первых месяцев спустя Четин-эфенди обзавелся друзьями во всех близлежащих кофейнях и чайных. Машину он оставлял не у дома, а ближе к этим заведениям, которые обычно именовались как-нибудь вроде: «Черноморская кофейня» или «Чайный дом „Вечер"», и, сидя там перед телевизором, где показывали ту же программу, которую мы смотрели у Фюсун дома, читал газету либо беседовал с кем-нибудь, иногда играл в нарды или наблюдал за картежными партиями в конкен. Через несколько месяцев жители квартала запомнили его, узнали, кто я, и, если Четин-эфенди ничего не приукрашивает, вскоре полюбили меня за заботу о своих дальних и бедных родственниках, решив, что я скромный и хороший малый.

Конечно, за восемь лет попадались и такие, кто сплетничал о моих дурных намерениях. Ходили разные слухи: говорили, что я приезжаю, чтобы скупить по дешевке все старые, полуразвалившиеся дома в квартале, чтобы найти разнорабочих для своей фабрики, что скрываюсь от службы в армии или что я незаконнорожденный сын Тарык-бея (то есть старший брат Фюсун). Но все эти домыслы совершенно не стоили внимания. Вскоре благоразумное большинство жителей квартала от тети Несибе, понемногу рассказывавшей всем обо мне, узнало, что я — дальний родственник Фюсун, что мы собираемся снять с ее мужем фильм, который сделает ее кинозведой. Из того, что многие годы передавал мне Четин, я понял, что мое поведение считали разумным, и пусть даже особой любви ко мне в квартале Чукурджума никто не питал, но чувства испытывали добрые. А на третий год моих визитов меня уже считали чуть ли не тамошним жителем.

Население Чукурджумы было пестрым: портовые рабочие из Галаты, владельцы мелких лавочек и официанты из Бейоглу, цыганские семьи, расселившиеся из Топ-хане, курды-алевиты из Тунджели, обедневшие потомки греков, итальянцев и левантинцев, некогда владевшие многочисленными бюро секретарских услуг на Банковском проспекте, последние греческие семьи, никак не решавшиеся покинуть Стамбул, а также кладовщики, пекари, таксисты, почтальоны, бакалейщики и студенты... Весь этот люд не составлял сплоченной общины, как то было в традиционно мусульманских кварталах, вроде Фатиха, Вефы и Коджа-мустафы, хотя по доброжелательному обращению со мной, по вниманию людей на улице к незнакомым дорогим машинам и по тому, с какой скоростью распространялись новости и сплетни, я понимал, что жителей квартала объединяют и сплачивают по меньшей мере события внутри него.

Дом Фюсун (семейства Кескин) находился на перекрестке проспекта Чукурджума (в народе его называли «спуск») с узенькой улочкой Далгыч, оканчивавшейся тупиком. Отсюда, по извилистым улочкам, резко уходившим в гору, можно было выйти в Бейоглу, на проспект Истикляль. Вечерами, пока Четин, медленно кружа по вымощенным переулкам, выезжал в Бейоглу, я курил на заднем сиденье, заглядывая в окна проплывавших мимо домов, магазинчиков, рассматривал людей на улицах. Склонившиеся над улицей старые, полуразвалившиеся деревянные особняки, казалось, готовые обрушиться, заброшенные дома, покинутые переселившимися в Афины греками, и незаконно занятые нищими курдскими семьями, и печные трубы, тянувшиеся из окон этих домов на улицу, придавали ночи пугающий вид. А в Беойглу маленькие мрачноватые увеселительные заведения, бары и пивные забегаловки, именовавшиеся «алкогольными казино», кофейни, буфеты, киоски «лото», табачные лавки, где из-под полы торговали наркотиками, контрабандными американскими сигаретами и виски, и даже музыкальные магазины с пластинками и кассетами всегда были открыты допоздна и, несмотря на унылый вид этих мест, казались мне глубокой ночью полными жизни и света. Конечно, так мне казалось, если я выходил от Кескинов в хорошем настроении. Очень часто я выходил оттуда с мыслью, что больше никогда не вернусь сюда, что все это должно

закончиться, и, едва не теряя от горя сознание, падал в машину, которую подгонял Четин. Но такое случалось в основном лишь в первые годы.

Четин увозил меня из Нишанташи около семи часов вечера. Простояв некоторое время в пробках на Таксиме, в Харбие и Сырасельвилер, мы немного кружили по переулкам Джихангира и Фирюз-ага и, проехав мимо старинной бани Чукурджумы, спускались вниз. По дороге я обычно просил Четина остановиться у какого-нибудь магазина и покупал еды или букет цветов. Почти каждый раз я приносил Фюсун маленький подарок: шоколадку, брошку с бабочкой или заколку, купленную мной на Капалычарши или в Бейоглу, и без всяких церемоний отдавал ей.

Когда движение бывало особенно плотным, мы приезжали со стороны Долмабахче и проспекта Богаз-Кесен, свернув от Топхане направо. Все восемь лет, каждый раз, когда малыша сворачивала на улицу, откуда виднелся дом Кескинов, сердце мое начинало колотиться быстрее, и я чувствовал ту же смесь счастья, волнения и беспокойства, которую помнил по детству, когда каждое утро сворачивал на улицу, где была школа.

Тарык-бей решил купить дом в Чукурджуме на скопленные за много лет в банке деньги, потому что ему надоело платить аренду за квартиру в Нишанташи. Вход к Кескинам был на втором этаже. Крошечный первый этаж тоже принадлежал их семье, и за эти восемь лет через него прошло несколько семей квартиросъемщиков, которые появлялись и исчезали, словно тени, никак не касаясь нашей истории. Вход в ту маленькую квартирку, которая позднее станет частью Музея Невинности, был сбоку, со стороны улицы Далгыч, и поэтому я редко сталкивался с ее обитателями. Я слышал, что одно время квартиру на первом этаже снимала вдова с дочерью по имени Аила, жених которой был в армии. Фюсун даже дружила с ней, и они вместе ходили смотреть кино в Бейоглу, но Фюсун обычна скрывала от меня своих подруг по кварталу.

В первые месяцы, когда я звонил в дверь их дома, мне всегда открывала тетя Несибе. Для этого ей надо было спуститься на первый этаж. Между тем в других подобных ситуациях, даже когда кто-то звонил в дом довольно поздно, открывать всегда посылали Фюсун. Одно это с первых дней заставляло меня переживать, что все знают, зачем я пришел. Но я чувствовал, что муж Фюсун в самом деле ни о чем не подозревает. Тарык-бей тоже меня не беспокоил, так как жил в каком-то своем мире.

Тетя Несибе, которая, как я всегда чувствовал, была в курсе происходящего, старалась, чтобы после того, как она откроет мне дверь, не воцарялось странное молчание, и сразу заводила разговор о чем-нибудь. Вопросы, которыми она встречала меня, были основаны на телевизионных новостях. «Слышали, самолет угнали?» «Вы видели, как произошла та катастрофа с автобусом?» «Слышали про визит нашего премьер-министра в Египет?» Если я приходил до начала, тетя Несибе неизменно произносила одну фразу: «Вы как раз вовремя, новости начинаются!» Иногда она угощала меня: «Сегодня ваши любимые пирожки!» или «Мы с Фюсун утром приготовили чудесную долму, пальчики оближете!». Смутившись от неловкости, я, размышляя над ответом, часто хранил молчание. Но бывало, что и отвечал нечто вроде: «В самом деле?» или «Ой, а я действительно вовремя!», а когда, поднявшись на второй этаж, входил в квартиру, то, увидев Фюсун, с волнением повторял те же слова, чтобы скрыть, как я счастлив и смущен.

Однажды я сказал: «Сегодня самолет разбился, надо бы новости посмотреть».

— Самолет разбился вчера, братец Кемаль, — произнесла Фюсун.

Зимой, снимая пальто, я мог заметить: «Как холодно на улице!» или «У вас сегодня чечевичный суп? Вот хорошо!..». С февраля 1977 года от входной двери в квартиру провели специальное устройство, чтобы дверь можно было открывать сверху, и с тех пор мне приходилось сложнее, так как дежурные «входные» фразы нужно было произносить в квартире, при всех. Тетя Несибе, внимательная и

заботливая, сразу спешила мне на помощь, когда чувствовала, что мне неловко и не получается вести себя как дома. Обычно она обращалась ко мне: «Немедленно за стол, Кемаль-бей, пока пирог не остыл!» Или: «Слышали новости? Человек кофейню обчистил да еще и говорить об этом не стесняется».

Нахмурившись, я сразу подходил к столу. Привезенные мной подарки помогали преодолеть мгновения неловкости. Обычно для Фюсун я покупал ее любимую фисташковую пахлаву, сырный пирог от известного в Нишанташи пекаря Латифа или крем из икры соленого тунца. Пакет с гостинцами я как бы невзначай вручал тете Несибе, сказав что-нибудь вскользь про содержимое. «Ах, зачем вы утруждали себя?» — всякий раз сетовала тетушка. Затем, опять как бы невзначай, я отдавал Фюсун ее подарок или, внимательно посмотрев на нее, оставлял где-нибудь на видном месте, одновременно отвечая тете Несибе: «Ехал мимо магазина, так аппетитно пахло, что не выдержал!» Садясь за стол, старался вести себя как можно незаметней, словно школьник, опоздавший на урок, и тут же успокаивачся. Через некоторое время ловил взгляд Фюсун. То были невероятно счастливые мгновения.

Когда мы смотрели друг на друга—уже за столом, я понимал, как пройдет предстоящий вечер. Если в глазах Фюсун светилась радость, спокойствие—даже если она при этом хмурилась, — все будет спокойно и радостно. Если она была грустна или сердита, нервничала и не улыбалась, мне тоже становилось невесело. Поначалу я даже не пытался ее развеселить и одиноко сидел за столом, стараясь не привлекать к себе внимания.

Мое место было между Тарык-беем и Фюсун, на длинной стороне стола напротив телевизора и тети Не-сибе. Если Феридун никуда не уходил, он садился рядом со мной, а если его не было, то рядышком располагался кто-то из нечастых гостей. Тетя Несибе садилась к телевизору так, чтобы было удобнее ходить на кухню. Когда дела на кухне кончались, она усаживалась слева от меня, между мной и Фюсун. Так я и просидел восемь лет — бок о бок с тетей Несибе. Когда она подсаживалась ко мне, противоположный длинный край стола оставался пустым. Туда иногда перемещался Феридун, когда поздно возвращался домой. Тогда Фюсун садилась рядом с мужем, а тетя Несибе на место Фюсун. Телевизор было почти не видно, но к тому времени, как возвращался Феридун, все программы, как правило, уже прекращались, и его выключали.

Если шла какая-нибудь важная передача, а на плите в это время что-то варилось и надо было сходить на кухню, тетушка иногда просила Фюсун. Так удалялась, а потом начинала носить тарелки и кастрюли в комнату, маяча перед телевизором. Ее родители в тот момент обычно были поглощены кинофильмом, телевикториной, прогнозом погоды, гневной речью генералов, совершивших очередной переворот, матчем за первенство Балкан, трансляцией народных гуляний по случаю Навру-за или празднованием шестидесятой годовщины освобождения Акшехира от вражеских захватчиков, отец сердился, что она мешает смотреть, а я с наслаждением любовался, как моя красавица ходит перед нами, потому что знал, что только на это смотреть и стоит.

Я провел у Кескинов 1593 вечера и большую часть времени просидел перед телевизором, за длинной стороной стола. Не могу сказать с той же точностью, сколько часов я там провел. Мне всегда было стыдно за поздние сидения, поэтому я убеждал себя в том, что ухожу намного раньше, чем на самом деле. О времени нам напоминал конец вещания. Последнюю заставку ТРТ, длившуюся четыре минуты, в которой марширующие солдаты поднимали на флагшток флаг и отдавали ему честь, а вслед за этим звучал гимн Турции — «Марш независимости», смотрели во всех кофейнях, курильнях и чайных страны. Если предположить, что каждый раз я приходил примерно в семь часов, а уходил, когда переставал показывать телевизор, то получается, проводил в доме у Фюсун приблизительно по пять часов, но часто

оставался и дольше.

Через четыре года, в сентябре 1980-го, в стране произошел военный переворот, была объявлена диктатура, ввели комендантский час. Он начинался в десять вечера, и долгое время мне приходилось покидать дом Кес-кинов без четверти десять, вдоволь не насладившись обществом Фюсун. Машина, управляемая Четином, мчалась по темным, быстро пустеющим за несколько минут улицам, а я страдал, что не насмотрелся на Фюсун. Теперь каждый раз, когда я читаю в газетах, что военные недовольны положением в стране и опять может произойти военный переворот, мне вспоминается главная неприятность, которая ассоциируется у меня с переворотом: я торопливо возвращаюсь домой, так и не насладившись обликом Фюсун.

Наши отношения с Кескинами за долгие годы прошли разные стадии: значение бесед, пауз, нашего времяпрепровождения постоянно менялось. Единственное, что оставалось для меня неизменным, — причина прихода: я хотел видеть Фюсун. И надеялся, что ей самой и ее семье это нравится. Ткк как они не могли открыто признавать, что я хожу именно к Фюсун, мы придумали устраивавшую нас причину: я приезжаю «в гости». Но так как мы чувствовали, что даже это неубедительно, то предпочли другое выражение, которое вызывало у всех меньше беспокойства. Я приходил к Кескинам по вечерам четыре раза в неделю просто «посидеть».

О значении слова «посидеть» как «зайти в гости», «зайти по пути», «побыть вместе», которым пользовалась тетя Несибе, не пишут в словарях, но в Турции это слово часто используют именно в таком смысле. Когда я уходил, тетя Несибе всегда говорила на прощанье:

— Кемаль-бей, ждем вас завтра снова, посидим.

Эти слова не означали, что мы только сидели за столом. Мы смотрели телевизор, иногда подолгу молчали, иногда мило беседовали и, конечно же, ели и пили ракы. В первые годы, чтобы пригласить меня на следующий вечер, тетя Несибе строила разные планы. «Кемаль-бей, приходите завтра! *Будем есть* вашу любимую кабачковую долму». Или: «Завтра *будем смотреть* фигурное катание, прямая трансляция!» Когда она это говорила, я бросал взгляд на Фюсун, мне хотелось увидеть одобрительное выражение ее лица, ее улыбку. Если Фюсун не возразит, то слова нас не обманывают, и главное, чем мы заняты, — пребываем вместе в одном пространстве, сидим вместе. Слово «посидеть» было весьма удачным, так как своим простым смыслом прекрасно передавало мое желание находиться в одном месте с Фюсун, что и было главной причиной моего прихода. Я никогда не думал, как некоторые турецкие интеллектуалы, у которых имеется привычка с презрением смотреть на простых людей, что «посидеть вместе» — это ничего не делать. Как раз наоборот: полагаю, что у многих людей, привязанных друг к другу любовью, дружбой и чем-то более глубоким, чего сами они не осознают, есть особая потребность «посидеть вместе».

На память и в знак уважения к тем вечерам в моем музее оставлен макет квартиры Кескинов. первого и второго этажа. На втором этаже располагались спальни тети Несибе с Тарык-беем и Фюсун с мужем, а за ними была ванная.

Мое место — в длинном углу, где стоял обеденный стол. Телевизор располагался напротив от меня, слева, кухня—справа. За моей спиной стоял заставленный посудой буфет, и иногда, покачиваясь на задних ножках стула, я задевал его. И тогда все хрустальные стаканы, серебряные и фарфоровые вазочки и конфетницы, наборы рюмок для ликера, кофейные чашки, которыми никто никогда не пользовался, разные фарфоровые птички, вазочки, старинные часы, давно сломавшаяся серебряная зажигалка и другие вещицы, в изобилии выставляемые в буфете каждой среднестатистической стамбульской семьи, дрожали вместе со стеклянными полками.

Я провел перед телевизором много лет. Отведя взгляд влево, всегда с

легкостью видел Фюсун. Для этого мне не нужно было поворачивать голову или как-то еще двигаться. Это позволяло, пока все смотрели телевизор, не привлекая внимания, подолгу смотреть на нее. Я частенько занимался этим и в совершенстве овладел искусством незаметного слежения.

Мне доставляло огромное удовольствие следить за выражением лица Фюсун во время чувствительных, лиричных сцен фильма или когда сообщали новость, которая волновала всех, а в последующие дни и месяцы я вспоминал ту эмоциональную сцену, а с ней и выражение лица Фюсун. Иногда мне прежде вспоминалась та или иная ее эмоция и только потом сам эпизод (это означало, что я соскучился и вечером нужно идти к Кескинам на ужин). За восемь лет я так хорошо узнал, какое выражение лица Фюсун каким сценам в фильме соответствует, что, если смотрел фильм невнимательно, мог понять, что сейчас происходит, краем глаза взглянув на ее лицо. Иногда от выпитого, от усталости либо от того, что мы с Фюсун были обижены друг на друга, я почти не поднимал глаза и, только улавливая изменения в ее лице, понимал, что показывают нечто важное.

Рядом с тем местом, куда садилась тетя Несибе, всегда стоял торшер с конусовидным абажуром, и тут же — угловой диван. Иногда, когда мы уставали от еды, питья и разговоров, тетушка предлагала: «Давайте пересядем на диван!» или: «Я подам кофе, когда все встанут из-за стола!», и тогда я пересаживался на диван, тетя Несибе — рядом, а Тарык-бей — в кресло у эркера, обращенное к его правому окну. Телевизор тоже надо было передвинуть, чтобы смотреть с нового места, это обычно делала Фюсун, которая оставалась сидеть за столом. Иногда она, повернув телевизор, садилась на край дивана, рядом с матерью, и они, обнявшись, продолжали следить за происходящим на экране. Тетя Несибе гладила дочь по волосам и по спине, а я, как кенар Лимон, с интересом наблюдавший за всеми из клетки, получал особое удовольствие от наблюдения за счастливой сценой.

Бывало, что, откинувшись в поздний час на мягкую спинку дивана, я начинал дремать. Это происходило не без воздействия выпитой совместно с Тарык-беем ракы, и, следя вполглаза за происходящим на экране, будто заглядывал в глубины своей души, начиная стесняться странного места, куда меня забросила жизнь, и мне хотелось в гневе встать и уйти из этого дома. Такие чувства одолевали меня в плохие, мрачные вечера, когда Фюсун бросала на меня холодные взгляды, мало мне улыбалась, когда, не давая надежды, недовольно реагировала, если я случайно задевал ее.

В такие моменты я вставал и, слегка раздвинув занавески на среднем или правом окне эркера, смотрел на Чукурджума. Когда стояла дождливая погода, в брусчатке мостовой отражался свет уличных фонарей. Иногда я подходил к Лимону, который медленно старился в клетке на среднем окне эркера. Тарык-бей и тетя Несибе, не отрывая глаз от телевизора, говорили тогда что-нибудь о нем: «Он там уже весь корм съел?», или «Может, поменять ему водичку?», или «Сегодня он что-то не в духе».

На первом этаже квартиры имелась еще одна комната, в которой был узкий балкон. Ею обычно пользовались днем, там тетя Несибе шила, а Тарык-бей читал газеты. Помню, когда с начала моих визитов прошло полгода, я, если за столом мне почему-либо делалось не по себе или когда хотелось размяться, часто отправлялся туда, если там горел свет, и подолгу смотрел на улицу. Мне нравилось находиться рядом со швейной машиной, среди портновских принадлежностей, старых газет и журналов, открытых шкафов и других предметов, и я тут же опускал в карман какую-нибудь вещицу, которая потом должна была на время успокоить мою тоску по Фюсун.

Я видел и гостиную, где мы ужинали, потому что она отражалась в оконном стекле, и квартиры бедных домов, выстроившихся напротив в узком переулке.

Несколько раз я подолгу наблюдал в окно за одной полной пожилой дамой в шерстяном домашнем костюме. Каждый вечер перед сном она открывала коробку с лекарством, вынимала оттуда таблетку и внимательно читала бумажную инструкцию. Однажды вечером, когда я стоял у окна в той комнате, Фюсун подошла ко мне и сказала, что эта женщина—вдова Рахми-зфенди, того самого, у которого был протез вместо руки и которьш много лет проработал на фабрике моего отца.

Как-то раз Фюсун пришла ко мне в ту комнату и шепотом спросила, что я делаю. Некоторое время мы молча смотрели в темноту. Уже тогда я знал о противоречии, следствием которого стали мои ежевечерние визиты к Кескинам, продолжавшиеся восемь лет, но мне всегда казалось, что оно и есть основа отношений мужчин и женщин в восточном мире. Чтобы было понятнее, о чем речь, объясню на примерах.

Мне кажется, Фюсун в тот вечер встала из-за стола и пришла ко мне, чтобы продемонстрировать мне свое расположение и побыть со мной. Поэтому она осталась рядом со мной, глядя на заурядную картину, открывавшуюся из окна. Мы смотрели на крытые оцикованным железом и черепицей крыши, на печные трубы, из которых струился дым, на передвижения других людей в домах пососедству, которых было прекрасно видно в освещенные окна, и все это казалось мне невероятно поэтичным только потому, что она сейчас стояла рядом со мной. Мне хотелось положить ей руку на плечо, обнять, коснуться ее.

Но скудный опыт первых недель, проведенных в Чу-курджуме, подсказывал, что если я сделаю это, Фюсун ответит очень холодно и резко оттолкнет меня (будто я к ней пристаю) или тут же уйдет, а это причинит мне невероятную боль. Потом мы некоторое время будем изображать взаимную обиду (игра, в которой мы все больше совершенствовались), и я, может быть, на некоторое время даже перестану приходить на ужин. Я сознавал все это, но что-то в глубине души все равно толкало меня прикоснуться к ней, поцеловать ее, хотя бы прижаться к ней. Выпитое тоже действовало. Но даже если бы я и не пил, это противоречие непременно ощущалось бы.

Если я сдержусь и сумею не дотрагиваться до нее — а я быстро учился сдерживаться, Фюсун встанет ко мне еще ближе или даже слегка и «случайно» сама ко мне прикоснется, а может быть, скажет что-нибудь нежное. Например, как несколько дней назад: «Дорогой, тебя что-то беспокоит?» В тот вечер Фюсун произнесла: «Очень люблю эту ночную тишину и смотреть на кошек, которые бродят по крышам», и я опять с болью не мог решить, как поступать. Мог ли я сейчас коснуться ее, взять ее за руку, поцеловать? Мне очень этого хотелось. Наверное, в первые недели, в первые месяцы моих визитов — как я потом, увы, думал много лет — она не имела в виду ничего подобного, а просто вежливо обращалась со мной, как положено вети себя с богатым влюбленным дальним родственником образованной, воспитанной и умной девушке.

Я, конечно, очень мучился, пока размышлял об этом восемь лет. А в тот вечер мы смотрели из окна на ночную улицу, вид которой сейчас перед вами, недолго, самое большее, две — две с половиной минуты.

— Так красиво. Это потому, что ты рядом со мной, — сказал я в конце концов.

— Ладно. Родители уже беспокоятся, — ответила Фюсун.

— Пока ты со мной, я бы мог смотреть на эту улицу годами, — признался я.

— Ужин стынет, — нахмурилась она и вернулась за стол.

Она прекрасно понимала, ж холодны ее слова. И через некоторое время, когда я тоже сел за стол, Фю-сун перестала хмуриться. Наоборот: два раза нежно, искренне улыбнулась мне и, передавая солонку, которая впоследствии войдет в мою коллекцию, позволила моим пальцам надолго задержаться на ее руке. И в тот вечер все завершилось благополучно.

56 Кинокомпания «Лимон-фильм»

Три года назад, когда Тарык-бей узнал, что Фюсун при поддержке и с одобрения матери будет принимать участие в конкурсе красоты, разразился скандал. Но так как он очень любил дочь, то не устоял перед ее слезами и мольбами, хотя впоследствии, услышав разговоры окружающих, раскаялся, что потворствовал позору. Ему казалось, что конкурсы красоты, проводившиеся во времена Ататюрка — в первые годы Республики, — во время которых девушки в черных купальниках выходили на подиум и доказывали всему миру не только свою связь с турецкой культурой и историей, но и то, какими современными они стали, — вещь хорошая. Однако в 1970-е годы в этих конкурсах начали участвовать всякие вульгарные девицы без образования и воспитания — певички или будущие манекенщицы, и конкурсы совершенно изменились. Прежде ведущий аккуратно и вежливо спрашивал у какой-нибудь из участниц, за кого она мечтает в будущем выйти замуж, таким образом осторожно намекая, что девушка целомудренна. А теперь ведущие, спрашивая девушек, что те ищут в мужчинах (следовало отвечать: характер), гаденько хихикали, что было и на том конкурсе, в котором участвовала Фюсун. После этого Тарык-бей твердил зятю, жившему в его доме, что не желает, чтобы его дочь опять попала в сомнительную авантюру.

Фюсун боялась, что отец будет против ее съемок в кино и попытается им препятствовать, поэтому говорила о будущем фильме мужа так, чтобы Тарык-бей ничего не слышал. Во всяком случае, нам казалось, что он ничего не слышит, когда мы шептались о делах. Полагаю, Та-рык-бей просто делал вид, будто ничего не слышит, поскольку ему нравилось, что я проявляю такое внимание к его семье, и он любил выпивать и беседовать со мной вечерами. Этот самый художественный фильм поначалу служил мне весьма убедительным предлогом и помогал скрывать основную причину моих многочисленных визитов, хорошо знакомую тете Несибе. Глядя в доброе милое лицо Феридуна, я надеялся, что он ни о чем не подозревает, но потом стал думать, что он знает обо всем, однако доверяет жене, а меня не воспринимает всерьез и даже за спиной смеется, и я, конечно же, важен для его карьеры, так как без моей поддержки ему не снять фильм.

В конце ноября Феридун придал наконец сценарию законченную форму и однажды после ужина, на лестнице, под строгими взглядами Фюсун, торжественно вручил мне написанный от руки текст, чтобы я как будущий продюсер прочитал и сообщил свое окончательное решение.

— Кемаль, я хочу, чтобы ты прочитал это внимательно, — сказала Фюсун. — Я верю в этот сценарий и верю тебе. Не обижай меня.

— Никогда не обижу, дорогая. Это, — тут я указал на палку в руке, — так важно потому, что ты хочешь сниматься, или потому, что фильм будет настоящим произведением искусства, как в Европе?

— И то, и другое.

— Тогда знай, что фильм снят.

Признаться, в сценарии под названием «Синий дождь» не было ничего, что сообщило бы кому-то нечто новое, добавило что-то в историю нашей любви с Фюсун: почему-то Феридун, разумные рассуждения которого я с таким удовольствиям слушал прошлым летом, в своем сценарии повторил все ошибки турецких кинематографистов (подражание, наигранность, морализм, грубость, сентиментальность, коммерческий популизм и т. д.), достигших определенного уровня культуры и стремящихся создать произведение искусства, как на Западе,— в общем всех тех, кого он столь яростно ругал. Читая скучный результат его творчества, я подумал, что страсть к искусству—это болезнь, которая, как любовь, слепит наш разум и скрывает от нас реальность, заставляя забыть обо всем. В трех сценах

Фюсун должна была сняться обнаженной — один раз, занимаясь любовью, второй раз — в ванне с пеной на манер фильмов французской «новой волны» и третий раз — прогуливаясь во сне по райскому саду. Их Феридун вставил явно из коммерческих соображений, и все три были совершенно безвкусны и не нужны.

Именно из-за этих сцен я не принял фильм, в идею которого и так не верил. И был просто вне себя и настроен решительнее, чем даже Тарык-бей. Таким образом, окончательно убедившись, что замысел съемок нужно отложить в долгий ящик, я сразу сообщил Фюсун с мужем, что сценарий отличный, поздравил Феридуна и сказал, что со своей стороны готов теперь приступить к действиям, а для этого хотел бы начать, на правах продюсера (при этих словах я со смехом представил себя продюсером), с набора технического персонала и кандидатов на роли — на усмотрение Феридуна.

В начале зимы мы в сопровождении Фюсун начали регулярно бывать в различных киношных забегаловках Беойглу, в кабинетах директоров кинокомпаний, ходили по кофейням и пивным, где кутили до утра второсортные актеры и восходящие звезды, статисты, декораторы и костюмеры, где народ играл в турецкое домино, а продюсеры с режиссерами обсуждали планы на будущее. Все эти заведения были на расстоянии десяти минут ходьбы вниз по улице от Кескинов, и всякий раз, проходя по этой дороге, я вспоминал слова тети Несибе, которая говорила, что Феридун женился на Фюсун, лишь бы жить поближе к тем местам. Иногда я забирал их на машине от дверей дома, а иногда, после ужина с родителями, мы втроем, я, Феридун и взявшая его под руку Фюсун, отправлялись в Бейоглу.

Чаще всего мы ходили в бар «Копирка». Помимо всех прочих, туда еще заглядывали стамбульские нувориши в поисках кинозвезд или молоденьких актрис, мечтающих стать таковыми, отпрыски провинциальных толстосумов, попавшие в водоворот стамбульской деловой и ночной жизни, жадные до столичных развлечений, а также среднего пошиба газетчики: кинокритики да светские обозреватели. За зиму мы перезнакомились с огромным количеством людей, которых летом видели в кино во второстепенных ролях (в том числе с усатым приятелем Феридуна, который играл обманщика-бухгалтера), и стали частью этого общества, состоявшего из милых, немного озлобленных, но еще не утративших надежду людей, безжалостно сплетничавших друг о друге, готовых поведать историю своей жизни первому встречному, но не умевших прожить друг без друга ни дня.

Феридун, которого здесь очень любили, порой покидал нас и часами просиживал за другими столиками со знакомыми — одними он восхищался, с другими, кому когда-то ассистировал, продолжал дружить, поэтому мы с Фюсун часто оставались вдвоем. Не могу сказать, что такие моменты были особо счастливыми для меня. При муже Фюсун обращалась со мной довольно холодно и неискренне, называла меня только на «вы», «братец Кемаль», а если в ее словах и проскальзывала теплая нотка, то лишь из вежливости.

Однажды вечером, когда мы с Фюсун снова оказались за столиком одни, а я к тому времени успел перебрать ра-кы, мне вдруг стало невероятно тоскливо. Я прекрасно сознавал реальность, мелкие расчеты Фюсун, связанные с кино. И решил, что, если скажу ей об этом без утайки, это ей понравится и она воспримет спокойно мое желание быть искренним. «Дорогая, бери меня под руку, и давай поскорее уйдем из этого отвратительного места, — произнес я.—Поедем в Париж или на другой конец света, куда-нибудь в Патагонию, где забудем всех этих людей и мы будем счастливы до конца наших дней».

— Братец Кемаль, разве это возможно? Наши жизни теперь идут по разным дорогам, — ответила Фюсун.

Вечно пьяные завсегдатаи бара, приходившие туда каждый день как на работу, хорошо приняли Фюсун — красивую молодую жену Феридуна, меня же встретили с

подозрением и насмешкой, считая добрым богатым дурнем, который хочет снять европейский фильм. Все эти веселые выпивохи, кочевавшие из бара в бар, редко оставляли нас одних. С некоторыми мы были совершенно незнакомы, что не мешало им пробовать попытать удачу у Фюсун, другим страстно хотелось, чтобы весь мир узнал все их тайны. То была большая команда. Мне нравилось, когда подсевшие со стаканом за наш столик незнакомцы считали меня мужем Фюсун. Но она каждый раз специально громко, что особенно задевало меня, с улыбкой говорила, что ее муж — «вон тот толстяк», и вновь подошедший, не стесняясь моего присутствия, начинал отчаянно к ней приставать.

Каждый действовал по-своему. Одни говорили, что ищут «смуглую турецкую красавицу» для фотосессии. Другие сразу предлагали главную женскую роль в фильме о пророке Ибрагиме, съемки которого должны вот-вот начаться. Третьи молча смотрели в глаза. Четвертые заводили беседу о прекрасном, которого никто не замечает в мире денег. Пятые читали стихи про любовь или родину авторства какого-нибудь бедолаги-поэта, угодившего за решетку, а шестые в это время, сидя за дальним столом, оплачивали наш счет либо присылали вазу фруктов. Одна тучная дама, с которой мы каждый раз встречались в Бейоглу, куда в конце зимы стали ходить реже, так как я противился этим посещениям всеми способами, в свое время снимавшаяся в ролях бессердечных гувернанток или подруг злодеек, устраивала у себя вечеринки для таких, как она выражалась, «образованных и культурных молодых женщин», как Фюсун, куда всякий раз звала и ее. Один немолодой коротконогий и пузатый критик в штанах на подтяжках и с бабочкой клал свою уродливую, будто паук, руку Фюсун на плечо и говорил, что «ее ждет очень, очень большая слава», что она, может быть, станет первой турецкой звездой международного уровня, и советовал быть осмотрительной.

Все эти серьезные и несерьезные, настоящие и выдуманные предложения сниматься в кино или рекламе Фюсун слушала внимательно и серьезно, запоминала имя каждого, кто подходил к ней, и, осыпая неумеренными и весьма пошлыми похвалами любого мало-мальски известного актера, чему, полагаю, научилась в бытность продавщицей, старалась понравиться всем, с кем ей доводилось общаться. В то же время она пыталась делать и нечто противоположное—быть не похожей на других, интересной, и хотела бывать в эти заведениях как можно чаще. Я сказал ей не давать телефон каждому встречному, кто предлагает работу, потому что, если узнает отец, ей попадет, но она, разозлившись, посоветовала не лезть не в свое дело, потому что, если фильм Феридуна будет неудачен или вовсе не будет снят, она снимется у других. Я обиделся и ушел за другой стол, но через некоторое время она подошла ко мне с Фери-дуном и сказала: «Поехали поужинаем, как летом».

В этом пивном киносообществе, частью которого я постепенно, чуть стесняясь, становился, у меня появились два приятеля, от которых я узнавал последние сплетни. Первой была немолодая актриса по имени Сюхендан Йылдыз. В результате неудачных действий молодой турецкой пластической хирургии ее нос. разделенный пополам, стал странным и отталкивающим, однако она прославилась, так как ее начали приглашать на роли злодеек. Второго моего приятеля звали Салих Сары-лы. Он был характерным актером и всю жизнь играл бравых офицеров и честных полицейских, но сейчас зарабатывал на хлеб озвучкой полулегальных эротических фильмов местного производства и часто, задыхаясь от кашля, со смехом хриплым голосом рассказывал о комических эпизодах во время съемок.

За несколько лет я с изумлением узнал, что большинство актеров, с которыми мы знакомились в «Копирке», поработало в стамбульской эротической индустрии. Когда это открылось, я почувствовал себя человеком, обнаружившим, что большинство его друзей состоит в подпольной экстремистской группировке. Изысканные актрисы средних лет и актеры, которые, как Салих-бей, всю жизнь

играли героев, часто ради денег озвучивали довольно откровенные европейские фильмы и во время любовных сцен, которые показывали без подробностей, издавали преувеличенные крики и стоны, позволявшие вообразить плотские детали, оставшиеся за кадром. У большинства всех этих довольно известных людей были семьи и дети, но, скрывая свои заработки, прежде всего от домашних, они объясняли совершенное тем, что «не хотят терять связь с кино, пока в индустрии кризис». Однако поклонники, особенно из провинции, узнавали их по голосам и присылали письма, полные гнева либо комплиментов. Другие актеры, более смелые и жадные до денег, также завсегдатаи «Копирки», снимали фильмы, которым предстояло стать первым в истории мусульманским порно. В этих фильмах, на взгляд современного зрителя не столько эротических, сколько смешных, все так же звучали слишком громкие, стандартные любовные стоны, подробно исполнялись все позиции, почерпнутые из контрабандой ввезенных западных книг, но все актеры— и мужчины и женщины, — как осторожные девственницы, никогда не снимали с себя трусы.

Когда мы выбирались в Бейоглу, обычно в «Копирку», пока Фюсун с Феридуном перебирались от столика к столику, чтобы познакомиться с новыми людьми и узнать последние новости, я сидел с новыми приятелями, чаще с обходительной Сюхендан-ханым, и слушал ее предостережения. Например, тому рыжеусому человеку в аккуратно отглаженной рубашке с желтым галстуком, с виду благовоспитанному, вообще не стоит разрешать разговаривать с Фюсун: это известный продюсер, но стоит ему остаться в своем печально известном кабинете на последнем этаже «Атлас-фильма» наедине с любой женщиной моложе тридцати, как он тут же запирает дверь на ключ и насилует ее; потом, когда она рыдает, предлагает ей главную роль в каком-нибудь фильме, но когда съемки начинаются, роль оказывается третьеразрядной — например, немецкой няни в доме турецкого богача, которая плетет интриги и всех ссорит. Еще осторожнее следует быть с бывшим начальником Феридуна, продюсером Музаффером, к которому Феридун все время подходил и смеялся над каждой шуткой, в надежде, что тот поможет ему. Этот бесчестный человек не так давно, две недели назад, здесь же, в «Копирке», но тогда с ним не было Феридуна с Фюсун, поспорил с директорами двух средних конкурирующих кинокомпаний на бутылку французского шампанского, что уложит Фюсун в постель за месяц. (В те времена шампанское, попадавшее в Турцию контрабандой, которое пили почти в каждом европейском фильме, считалось неотъемлемым составляющим западного, христианского мира роскоши.) Сообщая мне все это, актриса, годами игравшая в кино дурных женщин, которую турецкая пресса окрестила Коварной Сюхендан, вязала длинными спицами по журналу «Вигйа» свитер из красной, зеленой и синей шерсти на зиму внуку. Некоторые смеялись над ней за то, что она сидит в баре с шерстью и спицами, но она всем отвечала: «Я, пока жду новой работы, времени попусту не трачу, а вы, тунеядцы, только и пьете!» — и, ненадолго позабыв о манерах, разражалась отборной бранью.

В таких местах, как «Копирка», после восьми вечера напивались все, и Салих Сарылы, видя, как мне действуют на нервы обиженные жизнью звезды, от которых невозможно сбежать, пряча от меня глаза, устремлял романтичный взгляд, напоминавший его идеальных полицейских, вдаль, на Фюсун, болтавшую с кем-то за дальним столиком, и как-то сказал мне, что, если бы он был богатым человеком, как я, никогда бы не привел красивую юную родственницу в такое место, пусть бы она и мечтала стать звездой. Это, конечно, задело меня. В ответ я мысленно причислил моего приятеля в список мужчин, которые неуважительно смотрят на Фюсун. Коварная Сюхендан однажды произнесла слова, которых я никогда не забуду: «Твоя родственница, эта красавица Фюсун,—сказала она,—милая, приятная и очень хорошая девушка, и как раз в таком возрасте, как и моя дочка, когда пора стать матерью. Но что вы забыли здесь?»

Дни шли, все это не давало мне покоя, и поэтому в начале 1977 года я сказал Феридуну, что он должен окончательно определиться с составом съемочной группы и техническим обеспечением нашего фильма. Каждую неделю Фюсун знакомилась в Бейоглу с новыми людьми. Новые знакомые засыпали ее словами восхищения, предложениями работы, съемок. В то же время я почти каждый день убеждал себя, что Фюсун бросит Феридуна совсем скоро, и всякий раз, когда она нежно улыбалась мне или, дотронувшись до меня, рассказывала на ухо забавные истории, я чувствовал, что этот день не за горами. Я считал, что Фюсун, на которой я собирался жениться, как только она бросит Феридуна, не стоит глубоко погружаться в мир кино. Актрису из нее можно было бы сделать и без всех этих людей. В те дни мы втроем решили, что теперь дела будем решать не в «Копирке», а в рабочей обстановке. Предварительные переговоры шли с удвоенной скоростью, пора было создавать кинокомпанию, которая бы занималась производством фильмов Феридуна.

Фюсун в шутку предложила, чтобы мы назвали новую кинокомпанию по имени ее кенара — Лимон. На визитную карточку мы поместили рисунок милой птички, офис кинокомпании «Лимон-фильм» находился по соседству с кинотеатром «Йени Мелек».

Я распорядился, чтобы в отделении Сельскохозяйственного банка Бейоглу, где у меня был открыт счет, в начале каждого месяца переводили на счет «Лимон-фильма» по 1200 лир. Эта сумма была немногим больше двух зарплат самых высокооплачиваемых сотрудников «Сат-Сата». Половину этой суммы Феридун получал в качестве жалованья, как директор кинокомпании, а остальное должен был тратить на аренду и съемки.

57 Когда невозможно уйти

Обеспечивая Феридуна деньгами еще до съемок фильма, в котором, как становилось все более понятно, не было никакой надобности, я почувствовал себя намного спокойней. Прошло чувство неловкости от моего пребывания у Фюсун. Если раньше меня грыз нестерпимый стыд от необоримого желания ее увидеть, то теперь мне казалось, что стесняться нечего, ведь я даю им деньги. Помню, как боролся с собой весенним вечером 1977 года, сидя в отцовском кресле и разговаривая с матерью перед телевизором.

Возвращаясь из конторы, я обычно слышал одно и то же:

— Хотя бы раз побыл дома, останься, поедим вместе...

— Нет. Пойду я, матушка.

— О Всевышний, сколько развлечений в этом городе! Везде-то тебе успеть надо!

— Друзья очень просили.

— Можно подумать, лучше бы я была твоим другом, а не матерью. Ведь я совсем одна... Послушай меня. Отправим Бекри прямо сейчас купить тебе у Ка-зыма отбивную, пусть поджарит. Поужинай со мной! Съешь мясо, а потом иди к своим друзьям...

— Я могу прямо сейчас сходить, эфендим, — отозвался из кухни повар Бекри, слышавший ее слова.

— Нет, матушка, важные люди пригласили. Сын Карахана, — соврал я.

— А почему я ничего не слышала? — справедливо засомневалась мать.

Кому и что было известно? Знала ли мать или Осман, что я часто хожу к Фюсун? Мне не хотелось думать об этом. Когда я ездил в Чукурджуму, то старался ужинать с матерью дома, чтобы не вызвать у нее подозрений, а потом еще ужинал у Кескинов. Тетя Несибе, правда, на взгляд определяла, что я сыт, хотя и интересовалась: «Кемаль, тебе что, овощи не понравились? У тебя сегодня совсем аппетита нет».

Иногда, ужиная с матерью, я надеялся, что смогу сдержаться и остаться дома,

если перетерплю тоску по Фюсун, ощущавшуюся вечером сильнее всего, но, стоило мне поесть и выпить пару стаканов ракы, тоска начинала одолевать меня с такой силой, что замечала даже мать.

— Опять стучишь ногой! Иди хоть прогуляйся, — говорила она. — Только далеко не уходи, на улицах нынче опасно.

В те годы в Стамбуле то и дело кого-нибудь убивали, по вечерам полиция устраивала облавы в кофейнях, студенты университетов постоянно устраивали бойкоты и стачки, повсюду подкладывали бомбы, вооруженные люди грабили банки. Все стены в городе были исписаны разноцветными политическими лозунгами один поверх другого. Как и большинство стамбульцев, я был далек от политики, считал, что пользы от противостояния враждующих сторон никому нет, и подозревал, что для многих бесчеловечных людей политика служит своего рода ремеслом. Но о ней трещали на всех углах, будто ничего более важного в жизни обычного человека тогда и не было.

Я уходил из дома почти каждый вечер, но к Кески-нам ездил не всегда. Иногда действительно встречался с друзьями, надеясь, что познакомлюсь с какой-нибудь симпатичной девушкой, которая поможет мне забыть Фюсун, а иногда просто сидел с приятелями и наслаждался их обществом. Бывало, когда на разных приемах, куда меня вытаскивал Заим, или в гостях у дальних родственников, либо где-нибудь в ночном клубе, куда меня приводили старинные друзья во главе с 'Тайфуном, я сталкивался с Мехмедом и Нурд-жихан. И, открывая новую бутылку виски под модные турецкие песни, большинство которых были переписаны с итальянских и французских шлягеров, я предавался обманчивой надежде, что медленно возвращаюсь к прежней, здоровой и благополучной, жизни.

Глубину своих страданий я постигал не в ту минуту, когда меня сковьюало стеснение от предстоящего визита к Фюсун, а когда, долго просидев у них за ужином, никак не решался уйти. Помимо стыда за свое положение в этом доме, какое сохранялось уже на протяжении восьми лет, я испытывал особое смущение потому, что нередко у меня не хватало духу попрощаться и пойти к себе.

Телевизионная программа каждый вечер заканчивалась примерно в одиннадцать тридцать или полночь видами мавзолея Ататюрка, турецкого флага и маршем почетного караула. После этого все некоторое время смотрели на мутный экран — будто программу отключили по ошибке, а потом Тарык-бей говорил Фюсун: «Дочка, выключай телевизор», или же она вставала сама. Мои особые страдания начинались именно тогда. Я чувствовал, что если немедленно не встану и не уйду, то помешаю им, и твердил себе: «Пора, давай же уходи». Кескины не раз колко отзывались о тех гостях, которые раскланивались сразу, как только завершались передачи, поскольку и приходили лишь потому, что у них не было своего телевизора. Мне не хотелось хотя бы в чем-то походить на них.

Конечно, родители Фюсун понимали, что я бываю у них не ради программ, но в качестве официального предлога называл очередную телепередачу, которую якобы хочу посмотреть вместе с ними. Поэтому, когда гас экран, я еще некоторое время сидел, а затем пытался отправиться восвояси, но никак не мог этого сделать. Меня словно приклеили к стулу или к дивану, и, пока я покрывался потом от стыда, .мгновения следовали одно за другим, тиканье настенных часов превращалось в назойливый шум, и я твердил свой выученный речитатив: «Встаю! Встаю!», однако не двигался с места.

Прошло много лет, и даже сейчас я не могу исчерпывающим образом объяснить истинную причину моей нерешительности — как и причину любви, которую я пережил. Мне, однако, вспоминаются различные поводы и отговорки, позволявшие побыть еще немного, которые сковывали мою волю:

1. Стоило мне сказать, что пора идти, как либо Та-рык-бей, либо тетя Несибе

принимались упрашивать меня побыть еще немного.

2. Если они ничего не говорили, то тогда Фюсун, нежно улыбаясь, загадочно смотрела на меня, окончательно лишая способности соображать.

3. Кто-то обязательно начинал рассказывать интересную историю или завязывалась очередная беседа. Я участвовал в ней, но сидел как на иголках еще минут двадцать, потому что невежливо встать и распрощаться во время разговора.

4. Наши с Фюсун взгляды встречались, и я напрочь забывал о времени. Вскоре, украдкой взглянув на часы, с тревогой замечал, что прошло не двадцать минут, а все сорок, опять пытался распрощаться, но снова не мог встать. Тогда я сердился на собственную слабость и безволие и чувствовал такой стыд, что положение становилось нестерпимо тяжелым.

5. Мой разум лихорадочно искал новый предлог, чтобы побыть еще немного, и на это уходило еще некоторое времени.

6. Тарык-бей иногда наливал себе очередной стакан ракы, и мне, видимо, в знак вежливости следовало пить с ним.

7. Иногда я ждал до полуночи. Мне было легче уйти, когда часы пробивали полночь.

8. Четин еще в кофейне, у них там беседа в самом разгаре, можно еще подождать.

9. А иногда я думал, что если выйду прямо сейчас, то меня увидят парни, которые курят и болтают на улице, и поползут сплетни. (Многие годы меня беспокоило, что, когда я шел мимо них к Кескинам и обратно, воцарялось молчание, но они видели, что мы с Фе-ридуном в хороших отношениях, и поэтому сказать о «чести квартала» им было нечего.)

Присутствие или отсутствие Феридуна подливало масло в огонь, усиливая мое беспокойство. Но больнее всего становилось, если сама Фюсун нежно смотрела на меня, взглядами даря надежду. Размышляя над тем, как Феридун доверяет своей жене, я приходил к выводу, что они счастливы в браке, и страдал от этого еще больше.

Безразличие Феридуна можно было объяснить его верой в существовавшие запреты и традиции. Живя в стране, где на замужнюю женщину при родителях не дозволялось даже краем глаза взглянуть, куда уж там заигрывать с ней, а любая попытка сблизиться вообще могла закончиться трагически, как это случалось в кварталах бедняков и в провинции, Феридун благоразумно полагал, что мне даже в голову не приходит выражать Фюсун какие-то нежные чувства. Жизнь турецкой семьи была до такой степени разграничена всяческими запретами и предписаниями, что даже если весь мой вид говорил о безумной любви, нам следовало притворяться, будто ничего не происходит. И все знали, что никто из нас ни за что не нарушит этих правил. Только благодаря таким запретам и традициям я мог часто видеть Фюсун.

В современном западном обществе другие отношения мужчины и женщины — открытые; в присутствии гостей женщина не закрывает лицо и не избегает общения с ними, не существует и правила, по которому на женскую половину дома может войти только близкий родственник. Если бы мы жили на Западе и я наведывался бы в дом к Кескинам по четыре-пять раз в неделю, то все, конечно же, признали, что я хожу к Фюсун. И тогда ревнивый муж постарался бы меня остановить. Поэтому в европейской стране у меня не получилось бы встречаться с ними так часто, а моя любовь к Фюсун не приобрела бы той формы, которую она впоследствии получила.

Когда Феридун бывал дома, покидать Кескинов удавалось с меньшими терзаниями. Если Феридун отсутствовал, то, когда ночью выключали телевизор, я не вставал с места, хотя «Выпейте чаю!» или «Посидите еще немного, Кемаль-бей!» могло быть сказано лишь из вежливости. Поначалу я рассчитывал время таким образом, чтобы уйти, пока Феридун не вернулся. Но за эти восемь лет не смог

окончательно решить для себя, правильно ли это и не стоит ли мне дожидаться его прихода.

В первые месяцы и годы я чувствовал, что лучше распрощаться со всеми до него, потому что испытывал ужасное стеснение, когда ловил его взгляд. После таких встреч мне, чтобы уснуть, требовалось пропустить не менее трех стаканчиков ракы. Но если откланяться, как только Феридун пришел, могли подумать, что он мне не нравится. Поэтому я отвел себе на общение еще полчаса, а это усиливало мою неловкость. Уходить, не повидавшись с ним, также не представлялось возможным. Мое поспешное расставание восприняли бы как проявление неловкости — оно походило бы на обычный побег. Мне это казалось непорядочным. Не мог же я вести себя как бесстыдный любовник из европейских романов, который сбегает из замка, от графини, перед приходом графа!

Я неподвижно сидел в кресле, точно судно, нарвавшееся на мель, воплощая всем своим видом смущение. Лихорадочно пытаясь исправить ситуацию, ловил взгляд Фюсун. Иногда, сознавая, что мне не уйти, находил еще один предлог остаться:

10. Я говорил себе, что жду Феридуна обсудить с ним кое-какие вопросы по сценарию, и несколько раз, по его возвращению, заводил с ним разговоры на эту тему.

— Феридун, говорят, есть способ быстро получить ответ от цензоров. Ты слышал что-нибудь? — спросил я как-то раз.

За столом тут же воцарилась леденящая кровь тишина.

— В кофейне «Панайот» на эту тему было собрание «Друзей кино», — ответил Феридун.

Потом он поцеловал Фюсун — наполовину искренне, наполовину заученно, как герои американских фильмов целуют жен, вернувшись с работы. Иногда, видя, как Фюсун обнимает его, я понимал, что их поцелуи не наигранные, и падал духом.

Бывало, Феридун ужинал с нами, но чаще по вечерам отсутствовал, засиживаясь в кофейнях со сценаристами, режиссерами, художниками, операторами — своими друзьями из мира кино, ходил к ним в гости — в общем, вел насыщенную жизнь того беспокойного и проблемного общества, где так любили злословить и ссориться. Ссорам и мечтам этих людей, с которыми он постоянно проводил время, Феридун придавал слишком большое значение и, как все его киношные знакомцы, обладал умением мгновенно радоваться любой мелочи и так же мгновенно расстраиваться по каждому пустяку. Мне порой даже казалось, хорошо, что Фюсун из-за меня не пошла куда-то с мужем. Но раз-два в неделю, когда меня не было в семействе Кескимов, она надевала нарядную блузку, прикрепляла одну из подаренных мной брошек с бабочками и направлялась с мужем в Бейоглу, где часами просиживала в заведениях вроде «Копирки» или «Занавеса». Подробности я впоследствии узнавал от Феридуна.

Он, я и тетя Несибе — все мы знали, что Фюсун мечтает сняться в каком-нибудь фильме — не важно, хорошем или плохом. При этом понимали, что такие темы не следует обсуждать при Тарык-бее. Негласно отец Фюсун был на нашей стороне, но мы должны были вести себя так, будто он ни о чем и не подозревает. Мне, правда, всегда хотелось, чтобы Тарык-бей знал, что я поддерживаю Феридуна. Однако лишь спустя год после основания «Лимон-фильма» мне стало известно, что он заметил мою помощь его зятю.

За год, прошедший с момента основания компании, у нас с Феридуном установилась крепкая профессиональная и даже человеческая дружба. Феридун был отзывчивым малым, рассудительным и искренним. Мы часто встречались у нас в бюро, где обсуждали сценарий фильма с Фюсун, препятствия, создаваемые комитетом по цензуре, и кандидатов на главную мужскую роль.

Два известных и красивых актера дали Феридуну согласие сняться в его картине, но оба они вызывали у нас сомнения. Мы совершенно не доверяли этим хвастливым бабникам, игравшим роли воинов, убивавших христианских священников в исторических фильмах про Византию и одной оплеухой сражавших наповал по сорок разбойников, потому что они оба сразу же начали бы приставать к Фюсун. Главным их профессиональным умением была способность делать после окончания съемок двусмысленные заявления в прессе, намекая на то, что исполнительница главной роли, будь она даже несовершеннолетней, оказалась в их постели. Газетные заголовки вроде «Поцелуи из кино стали настоящими» или «Запретная любовь среди декораций» привлекали в кинотеатры толпы зрителей, поэтому такие статьи были важной составляющей производства любого фильма; но мы с Феридуном твердо намеревались держать Фюсун подальше от подобной грязи. Когда мы с ним пришли к этому совместному решению, я. учитывая, что Феридун потеряет деньги, немного повысил бюджет «Лимон-фильма».

В те дни меня встревожил один поступок Фюсун. Как-то вечером, когда я приехал в Чукурджуму, тетя Не-сибе, извиняясь, сказала, что Фюсун и Феридун ушли в Беойглу. Не выдавая сожаления, я немного посидел с тетушкой и Тарык-беем. Через две недели снова застал только родителей, поэтому пригласил Феридуна на обед и сказал ему, что так часто водить Фюсун в пьяные компании не следует, что это не хорошо для нашего фильма. Феридуну следовало сделать так, чтобы Фюсун оставалась дома, когда я прихожу. Это было бы лучше для всех.

Он слушал меня рассеянно. Через некоторое время я снова не застал их дома. Они по-прежнему ходили в «Копирку» и тому подобные заведения, хотя уже не столь часто, как раньше. Тот вечер мне пришлось провести вместе с тетей Несибе и Тарык-беем за просмотром телепрограмм. Я просидел с ними до двух часов ночи, словно забыв о времени, пока не явились Фюсун с Феридуном, и заполнял гнетущие паузы рассказом об Америке, где провел университетские годы. Я говорил о том, что американцы трудолюбивые и очень простодушные и добрые люди, они рано ложатся спать и, даже если семья богата, отец заставляет детей работать, например каждое утро развозить на велосипеде по домам газеты или молоко. Они слушали меня внимательно, но недоверчиво, с улыбкой. Потом Тарык-бей спросил, почему в американских фильмах звонок телефона совсем другой, чем в турецких? И какой он на самом деле там? На мгновение я растерялся и понял, что забыл слышанную мной много раз мелодию. Поэтому в тот поздний час у меня впервые родилось ощущение, что молодость и чувство свободы, которыми я наслаждался в Америке, остались далеко позади. В это время Тарык-бей изобразил, как звонят телефоны в американских фильмах. В детективах звонок был резче. Его он тоже сымитировал. Шел уже третий час ночи, а мы пили чай, курили и болтали.

Даже сейчас не могу сказать точно, почему сидел в тот вечер допоздна—то ли, чтобы Фюсун поняла, что не может исчезать, когда я прихожу, то ли потому, что чувствовал тогда: если не увижу ее, буду страдать. После ночного сидения я еще раз серьезно поговорил с Феридуном и подчеркнул, что нам следует вместе беречь Фюсун от сомнительных компаний. С тех пор они больше никогда не уходили вместе, когда в гости наведывался я.

В те дни мы с Феридуном задумались, не снять ли нам коммерческий фильм, который послужил бы поддержкой картины с Фюсун. Может быть, именно это решение убедило ее не уходить из дома и дожидаться моего визита. Но в отместку она иногда поднималась в свою комнату и ложилась спать, не попрощавшись со мной. Было ясно, что она обижена на меня. Но так как Фюсун продолжала лелеять надежду стать кинозвездой, в другой раз она обращалась со мной теплее, ни с того ни с сего справляясь о моей матери или подкладывая мне плов, после чего уйти было вообще немыслимо.

Установившиеся дружеские отношения с Фериду-ном совершенно не мешали мне страдать, когда не получалось покинуть дом Кескинов до его прихода. Как только он переступал порог, я чувствовал себя лишним. У меня возникало чувство, будто я во сне, когда словно не принадлежишь миру, который видишь, но упрямо хочешь, чтобы тебя заметили. Однажды в марте 1977 года шел последний выпуск новостей, показывали митинги и взорванные кофейни, застреленных на улице деятелей оппозиции: было очень поздно (от стыда я теперь даже боялся посмотреть на часы), вошел Феридун и увидел, что я все еще сижу. У него на лице промелькнуло такое выражение, которого мне не забыть никогда, — искренняя жалость сочувствующего человека. В то же время его приветливые взгляды убеждали, что он все воспринимает нормально, а поэтому я терялся в догадках, как его понимать.

После военного переворота 12 сентября 1980 года был введен комендантский час, и поздно вечером выходить на улицу запретили — времени на возвращение домой оставалось мало. Но страдания мои не окончились, а, кажется, только усилились оттого, что попали в жесткие тиски обстоятельств. В годы военной диктатуры я продолжал мучиться по-прежнему, каждый раз злобно и яростно говоря себе: «Немедленно вставай!», и все равно не мог подняться. А так как постепенно истекавшее время не оставляло мне возможности чем-то отвлечься, примерно без двадцати десять волнение делалось неослабным.

Когда наконец я влетал в «шевроле», мы с Четином переживали, что не успеем домой до начала комендантского часа, и всякий раз на три-пять минут непременно опаздывали. В начале одиннадцатого (потом комендантский час сдвинули на одиннадцать часов) машины, на полной скорости, чтобы не опоздать домой, проносившиеся по улицам, никто не останавливал. На обратном пути, на Таксиме, в Харбие и Долмабахче, мы видели много аварий и наблюдали вспыхивающие то тут то там драки водителей. Помню, как-то раз за мостом Долмабахче из горевшего «плимута» едва выбрался вдребезги пьяный господин с собачкой. В другую ночь, на Таксиме, от лобового удара у одной машины взорвался радиатор, и все заволокло дымом, как в бане «Чагал-оглу». На обратном пути темнота улиц и пустота полуосвещенных проспектов настораживала и пугала. Добравшись в очередной раз на всех парах до дома, я пил перед сном последний стаканчик ракы и молил Аллаха, чтобы он помог мне вернуться к нормальной жизни. Но даже сейчас, по прошествии стольких лет, не знаю, хотелось ли мне на самом деле избавиться от этой любви, от сжигающей меня страсти.

Я ловил каждое доброе слово Фюсун, обращенное ко мне перед уходом, которое давало бы пусть смутную, но надежду добиться взаимности, рождало веру, что все усилия не будут напрасными, и только поэтому у меня получалось поднять себя и уехать домой.

Меня делали счастливым любая неожиданная похвала от Фюсун — «Ты был у парикмахера? Подстригли коротковато, но тебе идет!» (16 мая 1977 года), или ее слова обо мне, с нежностью сказанные матери: «Смотри, он любит котлеты, как маленький мальчик!» (17 февраля 1980 года), или произнесенное в один заснеженный вечер, как только я появился: «Мы не садились за стол, Ке-маль. Ждали тебя. Думали, вот было бы здорово, если б ты сегодня пришел!» И тогда, каким бы мрачным я ни являлся к ним, какие бы несчастливые знаки ни видел по телевизору, когда пробивали часы, вставал, хватал пальто с вешалки у стены и, не промешкав ни минуты, выходил на улицу. Если я покидал их рано, на обратном пути чувствовал себя очень хорошо и думал не о Фюсун, а о делах на предстоящий день.

Вновь навещая Кескинов и едва войдя и увидев Фюсун, я сразу понимал, что прихожу туда по двум причинам:

1. Вдали от нее мир раздражал меня, как перепутанные части головоломки. Стоило увидеть Фюсун — и все в мгновение ока становилось на свои места, я

успокаивался, осознавая, что мир прекрасен, гармоничен и полон смысла.

2. Когда я входил в их дом и наши взгляды встречались, во мне всякий раз торжествовало чувство победителя, потому что я смог прийти снова, хотя все происходящее было для меня унизительным. И обычно меня ждала награда: радость, светившаяся в глазах Фюсун. Может быть, мне только так казалось, но я чувствовал, что мое упрямство и настойчивость производят на нее впечатление, и верил в то, что веду прекрасную жизнь.

58 Лото

Ночь, связавшую 1976-й с 1977 годом, я провел у Кескинов за игрой в лото. Сам факт встречи Нового года у них показывает, насколько изменилась моя жизнь. Я расстался с Сибель; мне пришлось отдалиться от друзей, отказаться от многих других привычек — и все лишь затем, чтобы четыре-пять раз в неделю бывать у Кескинов. Однако вплоть до той новогодней ночи я еще пытался убедить себя и близких, что смогу вернуться к прежней жизни.

Я избегал друзей и знакомых, чтобы не столкнуться с Сибель, никого не огорчать грустными воспоминаниями и ничего не объяснять, а известия получал от Заима. Мы встречались с ним где-нибудь в дорогом ресторане вроде «Фойе» или «Гаража» и, как два деловых партнера, которые страстно обсуждают совместное предприятие, подолгу и с удовольствием беседовали обо всем, что произошло.

Заим успел разочароваться в Айше, своей молоденькой подруге, ровеснице Фюсун. Он говорил, что она оказалась слишком молоденькой и что как ему были чужды ее проблемы, так и у нее не получилось вписаться в нашу компанию. Но на мои расспросы, нет ли у него новой подруги, Заим отнекивался. По его рассказам я понял, что они с Айше не продвинулись дальше поцелуев, так как девушка, будучи осторожной, сомневалась в Заиме и берегла свою честь.

— Чего ты смеешься? — разозлился он, открывая мне сокровенное.

— Я не смеюсь.

— Нет, смеешься. Но мне все равно. Даже скажу тебе сейчас что-то такое, от чего ты будешь смеяться еще больше. Нурджихан с Мехмедом встречаются чуть ли не каждый день, ходят по ресторанам, по клубам. Мех-мед водит ее по заведениям, где поют старинные песни, фасыл. Отыскивают семидесятилетних, восьмидесятилетних певцов, которые когда-то записывались на радио. Дружат с ними.

— Да ты что?! Не знал, что Нурджихан так увлекается этим...

— Представь себе. Влюбилась в Мехмеда и стала вдруг увлекаться. Мехмед ведь и раньше немного знал старые песни, теперь же асом станет, чтобы произвести впечатление на Нурджихан. Они вместе ездят на Книжный базар Сахафлар за книгами, ищут старые пластинки на блошиных рынках... А по вечерам ходят в «Максим» или в казино «Бебек» послушать Мюзейен Сенар... Пластинки, правда, вдвоем не слушают.

— В смысле?

— Они видятся каждый вечер. Но никогда нигде не остаются наедине, — объяснил Заим осторожно.

— Откуда ты знаешь?

— А где им встречаться? Мехмед ведь так и живет с родителями.

— У него же была квартира где-то в Мачке, он туда еще разных девушек водил...

— Был я как-то на той квартире... Он меня приглашал выпить, — сказал Заим. — Там настоящий притон. Отвратительное место. Если Нурджихан умная девушка, она никогда в жизни шагу туда не сделает, а если только сделает, Мехмед никогда на ней не женится. Даже я чувствовал себя неловко: соседи в замочную скважину

подглядьшают, не привел ли жилец очередную проститутку.

— Ну и что ж ему делать? Разве холостому мужчине так просто снять в этом городе квартиру?

— Поехали бы в «Хилтон». — рассудил Заим. — Или купил бы Мехмед себе квартиру в хорошем районе.

— Ему нравится жить в семье.

— Тебе тоже, — заметил Заим. — Сейчас скажу что-то как друг, только ты пообещай не обижаться.

— Говори, не обижусь.

— Если бы вы с Сибель, вместо того чтобы тайком встречаться у тебя в кабинете, ходили в ту квартиру, куда ты водил Фюсун, поверь — сегодня были бы вместе.

— Это тебе Сибель сказала?

— Нет, дорогой друг. Сибель ни с кем о таких вещах не разговаривает. Не беспокойся.

Мы немного помолчали. У меня испортилось настроение. Приятные сплетни вдруг превратились в обсуждение моих переживаний, будто со мной случилось несчастье. Заим заметил это и, чтобы сгладить неловкость, рассказал, как они недавно встречались всей компанией — Мехмед, Нурджихан, Тайфун и Крыса Фарук — и допоздна сидели в одной закусочной на Бейоглу, где ели хаш. А потом вместе поехали кататься на двух машинах вдоль Босфора. Потом однажды вечером они с Айше пили в Эмиргане чай и слушали музыку и вдруг случайно встретили Хильми и остальных и на четырех машинах поехали сначала в недавно открывшийся «Па-ризьен» в Бебеке, а оттуда в клуб «Лалезар», где выступали «Серебряные листья».

Слушая увлеченный и слегка приукрашенный рассказ Заима, пытавшегося расшевелить меня и вернуть к былой беззаботности и легкости, я не завидовал ему, но, когда вечерами просиживал у Кескинов, ловил себя на мысли, что вспоминаю о прежней веселой жизни. Не стоит думать, будто я страдал от невозможности вернуться к старым друзьям, к безмятежным, а иногда и разгульным радостям. Только иногда, у Кескинов за столом, у меня возникало чувство, что в мире не существует ничего особенного, а если и есть, то точно где-то далеко от нас.

В первую ночь 1977 года я вдруг задумался, что сейчас делают Заим, Сибель, Мехмед. Тайфун, Крыса Фа-рук и другие. (Заим говорил, что установил у себя на даче электрическую систему отопления, отправлял туда привратника разжечь камин и устраивал большие приемы «для всех».)

— Кемаль, смотри, выпало двадцать семь! У тебя есть! — перебила мои мысли Фюсун.

Увидев, что я отвлекся от игры, она сама положила на мою карту бочонок номер 27 и улыбнулась: «Хватит витать в облаках!», а потом внимательно, с тревогой и даже с нежностью заглянула мне в глаза.

Конечно, я ходил к Кескинам за этим вниманием. А потому тут же почувствовал себя невероятно счастливым. Но счастье в тот вечер далось мне нелегко. Чтобы не огорчать мать и брата и скрыть свои планы на новогоднюю ночь, я сел за праздничный стол дома. Потом сыновья Османа, мои племянники, принялись просить отца поиграть в лото, я даже сыграл партию со всей семьей. Помню, в какой-то момент мы с Беррин переглянулись: та насмешливо вскинула бровь, видимо усомнившись в искренности семейной идиллии.

— Да ладно тебе, мы же просто играем, — шепнул я ей.

А прежде чем выбежать из дома, сославшись на прием у Заима, поймал на себе ее взгляд. Беррин просто так не провести, но мне были безразличны ее догадки.

Быстро двигаясь на машине с Четином в сторону Чукурджумы, я был

взволнован и счастлив. Они ждали меня к ужину. Я первым сказал тете Несибе, что хочу встретить Новый год с ними. Мои слова означали: «Пусть Фюсун останется дома в эту ночь». Тетушка считала, что дочь поступает неприлично и по-детски, уходя перед моим появлением у них, хотя я в качестве близкого друга семьи всячески поддерживаю ее мечту сняться в кино. Да и Феридун тоже не прав, что проводит время где-то в кофейнях. Но поскольку никто ни на кого не таил обиду, мы решили не обращать на это внимания: сама тетя Несибе не раз называла Феридуна за глаза «наш мальчик».

В ту новогоднюю ночь я прихватил с собой несколько подарков, которые мать заготовила для игры лото. Приехав к Кескинам, я взбежал по лестнице к двери их квартиры и получил первую порцию счастья, когда увидел глаза Фюсун. Точно фокусник, вытащил подарки из пакета и расставил на столе: «Это для тех, кто выиграет в лото!» Как и мама, тетя Несибе тоже всегда готовила разные вознаграждения победителям в игре, традиционной для новогодних праздников. Мы смешали ее подарки с принесенными мною. В ту ночь нам так понравилось играть вместе, что последующие восемь лет лото стало для нас обязательной новогодней традицией.

В моем музее радости хранится тот самый набор для игры в лото, к которому прикасалась Фюсун. Дома у нас имелся точно такой же. Сорок лет подряд, до конца 1990-х годов, в новогоднюю ночь мать развлекала сначала меня с братом и двоюродными племянниками, а потом внуков. В завершение праздника, когда подводились итоги игры и раздавались подарки, а дети и соседи начинали зевать и клевать носом, мать, как и тетя Несибе, аккуратно собирала деревянные бочонки в бархатную сумочку, пересчитав их (всего 90 штук), складывала игровые карты, перевязав ленточкой, и, положив все в сумочку, прятала куда-нибудь до следующего Нового года.

Сейчас, прилагая такие усилия, чтобы совершенно искренне поведать пережитую мной историю любви и собрать предметы, которые бы воссоздали ее во всей полноте, уверен, что наша новогодняя забава послужит прекрасным символом тех волшебных, но странных лет. Лото, неаполитанская игра, за которой в канун Рождества проводят время в семейном кругу, была заимствована турками у левантинцев и итальянцев и, как и многие другие европейские традиции и привычки, приобрела популярность после календарной реформы Ататюрка, превратившись в неотъемлемую часть домашних развлечений в новогоднюю ночь. В 1980-е годы перед каждым Новым годом газеты дарили своим подписчикам дешевые наборы лото из картона с пластмассовыми фишками. В те годы на улицах появилось множество лотошников. Они носили фишки в черных сумках, а в подарок победителю дарили контрабандные американские сигареты или виски. Упростив лото до мини-игры, эти уличные зазывалы обирали граждан, всегда готовых попытать удачу, с помощью особо сшитых сумочек. Именно в те дни, когда я несколько раз в неделю бывал у Фюсун, слово «лото» начало приобретать в турецком языке значение «испытать судьбу».

Я рад, что благодаря вещицам, которые потом тщательно отобрал для своего музея из призов, заготовленных в свое время мамой или тетей Несибе для победителей, могу рассказывать свою историю как жизнь вещей, которые просматриваю сейчас с волнением истинного коллекционера.

Каждый год среди подарков тети Несибе был маленький детский носовой платочек — моя мать тоже дарила такой. Может, смысл его и заключался в том, что игра в новогоднюю ночь — это развлечение для маленьких, но мы, взрослые, в ту ночь тоже веселились словно дети. Если кто-нибудь из нас выигрывал детский подарок, он обязательно восклицал: «Вот как раз то, что мне нужно!» Отец с друзьями после этих слов двусмысленно переглядывались, как обычно делают

взрослые при ребенке.

Мне от их взглядов всегда становилось неловко; казалось, взрослые играют в лото, чтобы посмеяться. Годы спустя, когда в дождливую новогоднюю ночь 1982 года у Кескинов, заполнив раньше всех первый ряд своей карты, я крикнул точно маленький: «Лото-о!», тетя Неси-бе чинно сказала: «Поздравляем, Кемаль-бей»—и вручила мне этот носовой платок. А я ответил: «Мне как раз нужен был такой!»

— Это детский платок Фюсун, — серьезно произнесла тетя Несибе.

И я понял, что в тот вечер у Кескинов я играл в лото так же серьезно, со всей искренностью и простодушием, какие присущи детям. Чувствовалось, что и Фюсун, и тете Несибе, и даже Тарык-бею пусть немножко, но смешно, в их репликах и жестах ощущалась какая-то легкая ирония, я же был искренен до конца.

Моя мать каждый год помещала несколько пар детских носков среди таких подарков, состоявших обычно из полезных в хозяйстве вещей. Это немного умаляло нашу радость, но и приводило к тому, что нам, пусть ненадолго, все эти носки, носовые платки, ступки для толчения грецких орехов или расчески, купленные по дешевке в лавке Алааддина, и в самом деле казались чем-то ценным. Ау Кескинов даже соседские дети радовались, и только потому, что им удалось сыграть. Теперь, спустя десятилетия, думаю, причина этой радости крылась в том, что у Кескинов вещи принадлежали не каждому члену семьи в отдельности, а всем вместе — сообща. Но и это верно только отчасти: мне не давало покоя, что на верхнем этаже была комната, где стоял шкаф, который Фюсун делила с мужем. Я часто с болью думал об этой комнате и вещах в ней и представлял себе одежду Фюсун. В новогоднюю ночь мы для того и играли, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Иногда за столом у Кескинов после двух стаканов ракы мне становилось ясно еще одно: мы и телевизор смотрим лишь для того, чтобы вновь испытать легкость и радость, которая охватывала нас за игрой в лото.

Я терял на какое-то время ощущение чистоты и невинности, когда за игрой или глядя в телевизор опускал в карман какую-либо вещь (например, чайную ложку, которую держала Фюсун, — их за несколько лет накопилось великое множество), но тогда я у меня возникало чувство свободы, позволявшее мне в любой момент уйти.

Старинный стакан, сохранившийся со времен моего деда Этхема Кемаля, из которого мы с Фюсун пили виски во время нашей последней встречи в день моей помолвки, я принес Кескинам для лото в канун нового, 1980 года. Из их дома за те несколько лет, что мы встречали вместе Новый год, я унес множество разных вещей, но взамен приносил гораздо более ценные подарки. Поэтому никто не удивился, когда среди приятных мелочей вроде ручек, носков и мыла появился стакан, напоминающий предмет из дорогого антикварного магазина «Рафи Портакал». Единственное, меня огорчило, что в лото выиграл Тарык-бей и тетя Несибе вытащила ему приз — стакан, запечатлевший на себе следы самых печальных дней моей любви. Фюсун не обратила на него совершенно никакого внимания; или, возможно, она растерялась от моей дерзости (в ту новогоднюю ночь Феридун тоже был с нами), сделав вид. будто не узнает.

В последующие три с половиной года всякий раз, глядя на этот стакан, из которого Тарык-бей пил ракы, я пытался восстановить в памяти все дорогие мне детали нашего последнего свидания с Фюсун, но, сколь ни старался, за столом у Кескинов перед Тарык-беем сделать этого по понятным причинам не мог.

Воздействие вещей, конечно же. зависит от силы воспоминаний, сохранившихся в них, и от нашего воображения. В любое другое время я бы никогда не заинтересовался кусочками мыла из Эдирне в виде винограда, айвы, абрикосов и клубники в корзинке и даже счел бы их пошлыми. Но так как они напоминают мне о глубоком покое и счастье новогодних ночей и о смиренной неспешной музыке нашей жизни, то являются знаком, что волшебные часы за столом в доме у Кескинов были

лучшими в моей жизни. Я наивно и искренне верю, что эти чувства разделят со мной и посетители моего музея. Еще один фрагмент воспоминаний — новогодний билет «Национальной лотереи» тех лет. И тетя Несибе, и моя мать каждый год покупали его в преддверии розыгрыша, который проводился в ночь на 1 января, и оставляли среди подарков. ТЪму, кто становился обладателем этого билета, гости за столом, будь то у нас дома или у Кескинов, всегда в один голос пророчили одно и то же:

— О, сегодня ночью тебе везет! Вот увидишь, выиграешь и в лотерею!

По странной случайности с 1977-го по 1985 год лотерейный билет шесть раз подряд доставался Фюсун. Но, по столь же непонятным причинам, ни в одном из розыгрышей, которые транслировались в новогоднюю ночь по радио и телевизору, она не выиграла никакого приза, даже самого мелкого — возврата денег за билет.

И у нас, и у Кескинов (особенно когда Тарык-бей играл с гостями в карты) в таких случаях вспоминали одну поговорку, которая вполне могла служить утешением проигравшим: «Не везет вам в карты — повезет в любви!» Эти слова, звучавшие часто — по делу и без дела, — я. выпив, бездумно произнес во время встречи нового, 1982 года, после розыгрыша с участием главного нотариуса Анкары в прямом эфире, когда Фюсун опять ничего не досталось.

— Раз вы проиграли в карты, Фюсун-ханым, — сказал я, изображая благовоспитанного английского джентльмена из кино, — значит, вам повезет в любви!

— Совершенно в этом не сомневаюсь. Кемаль-бей! — ответила Фюсун, не растерявшись, как находчивая благовоспитанная английская леди.

Так как в конце 1981 года я верил, что почти преодолел препятствия, мешающие нашей любви, ее ответ поначалу показался мне милой шуткой, но на утро, в первый день нового года, протрезвев от выпитого ночью, за завтраком, я подумал, нет ли в словах Фюсун двойного смысла. По ее насмешливому тону можно было догадаться, что слово «повезти» имело для нее иной смысл, нежели тот, который в нем заключался, если бы она собиралась в будущем развестись с мужем и уйти ко мне. Позднее я решил, что ошибаюсь из-за чрезмерной подозрительности. На двусмысленные разговоры Фюсун и меня толкали пустые слова.

Из-за лото и карточных игр, розыгрыша «Национальной лотереи» и огромных афиш, возвещавших о праздничных вечеринках в ресторанах и клубах, новогодняя ночь постепенно превращалась в часы беспутства и распития спиртных напитков, о чем с гневом писали такие консервативные издания, как «Милли газете», «Терджуман» и «Хергюн». Помню, даже моей матери не нравилось, что в некоторых богатых мусульманских семьях из Шишли и Нишанташи ставили наряженную елку, подражая христианам на Рождество, и за это она называла некоторых наших знакомых пусть и не «безродными» или «неверными», как в консервативной прессе, но «безголовыми». Однажды все сидели за столом, и вдруг младший сьш Османа сказал, что хочет нарядить елку, на что моя мать ответила ему: «У нас не так много лесов и зелени, чтобы елки рубить! Деревья нужно беречь!»

Некоторые из уличных торговцев, бродивших перед Новым годом в великом множестве по Стамбулу, в богатые кварталы приходили в костюме Санта-Клауса. Декабрьским вечером 1980 года, выбирая подарки для семьи Фюсун, я стал свидетелем того, как несколько школьников — мальчишек и девчонок — смеются над Санта-Клаусом, продававшим лотерейные билеты у нашего дома, и дергают его за ватную бороду. Подойдя ближе, я узнал привратника из дома напротив: пока школьники обижали беднягу, Хайдар-эфенди беззвучно смотрел перед собой, сжимая в руке билеты. Прошло несколько лет, и в кондитерской гостиницы «Мармара» на площади Таксим, где стояла новогодняя елка, взорвалась бомба, подложенная исламистами. Тогда-то и стало очевидно, какой гнев у радикалов вызывает празднование Нового года с выпивкой и азартными играми. У Кески-нов за

столом тот взрыв обсуждали с такой же важностью, как и танцовщиц, показанных по государственному каналу в праздничную ночь. В 1981 году, несмотря на протесты консервативных кругов, на телевидение пригласили популярную тогда танцовщицу Сертаб, и мы, с большим любопытством ожидавшие ее появления, были несказанно удивлены — впрочем, наверное, как и вся страна. Дирекция ТРТ так закутала гибкое, красивое тело Сертаб, что не только известных на всю страну живота и груди, но даже ног не было видно.

— Вы бы ей уж чаршаф надели! Может, хоть самим стыдно не будет! — сказал Тарык-бей.

Он редко сердился, когда смотрел телевизор, и, сколько бы ни пил, никогда не злился, как мы, и старался не комментировать то, что на экране.

Иногда под Новый год я покупал в лавке Алааддина календарь для чтения с расписанием намазов. В первую ночь 1981 года Фюсун выиграла этот календарь и по моему настоянию повесила его на стену, между кухней и телевизором, но, когда меня не бывало, он никого не интересовал. Между тем на каждом листке приводились специальное стихотворение на тот или иной день, важные события, связанные с ним, часы намаза с рисунками циферблата для неграмотных, рецепты разных блюд, исторические рассказы, анекдоты и афоризмы о жизни.

— Тетя Несибе, вы опять забыли оторвать листок на календаре, — укорял я ее в конце вечера.

Было выпито много ракы, последняя передача закончилась, солдаты, чеканя шаг, поднимали флаг.

— Еще день прошел, — говорил Тарык-бей. — Хвала Аллаху, мы сыты, не голодаем, у нас теплый дом, а что еще для счастья надо?

Слова отца Фюсун почему-то так мне нравились, что я специально откладывал вопрос о календаре на финал, хотя замечал, что листки не оторваны, как только приходил.

А тетя Несибе добавляла: «К тому же мы вместе с вами, с близкими и любимыми людьми». Сказав это, она тянулась поцеловать Фюсун, а если той рядом не было, звала ее: «Иди-ка сюда, моя вредная дочка! Иди, мама поцелует, приласкает...»

Фюсун, услышав эти слова, садилась к матери на колени, как маленькая, и тетя Несибе долго гладила и целовала ей руки, щеки, спину. Это проявление любви, повторявшееся неизменно все восемь лет, производило на меня особое впечатление. Фюсун знала, что я неотрывно смотрю на них, когда они, смеясь, обнимали и целовали друг друга, но сама в тот момент никогда не поворачивала в мою сторону голову. Глядя на их нежности, я чувствовал себя невероятно хорошо и с легкостью покидал их дом.

Иногда после слов «с близкими и любимыми людьми» не Фюсун садилась на колени к матери, а к самой Фюсун усаживался соседский мальчик Али. Она гладила и целовала его, а потом прибавляла: «Давай, пора домой, а то твои мама с папой рассердятся на нас, что мы тебя не отпускаем!» Иногда Фюсун дулась после утренней ссоры с тетей Несибе и, когда та звала ее за порций ласк, отвечала: «О Всевышний! Мама, перестань!» И тетя Несибе вздыхала: «Ну тогда оторви хотя бы лист на календаре, чтобы нам дни не спутать!» Плохое настроение Фюсун мигом улетучивалось, и она, оторвав листок календаря, громко со смехом читала стихотворение или рецепт блюда дня. а тетушка поддакивала: «Точно, давай сварим компот из айвы и изюма, давно ведь не варили!» или: «Да, артишоки уже появились, но только из таких крошечных ничего не выйдет». А иногда задавала вопрос, который заставлял меня нервничать:

— Если я завтра испеку пирожки со шпинатом, будете есть?

Тарык-бей обычно в таких случаях молчал, так как или не слышал, о чем шла

речь, или хандрил, и, если Фюсун, словно испытывая меня, тоже ничего не отвечала, тетушка невольно обращалась ко мне.

— Фюсун очень любит такие пирожки, тетя Неси-бе! Обязательно испеките! — соглашался я, пытаясь выкрутиться из положения, ведь, не будучи членом семьи, не мог говорить о себе.

Иногда Тарык-бей просил дочь оторвать лист календаря и прочитать вслух о знаменательных событиях, пришедшихся в истории на эту дату, и Фюсун читала:

— 3 сентября 1658 года османские войска начали осаду крепости Допио.

Или:

— 26 августа 1071 года после победы при Малаз-гирте туркам открылись двери в Анатолию.

— Хм-м... — останавливал ее Тарык-бей. — Ну-ка дай сюда. Доппио написали с ошибкой. Забери. Прочитай-ка нам афоризм дня...

— Дом человека — там, где он ест и где его сердце, — произнесла Фюсун.

Она прочитала это весело и насмешливо, но вдруг встретилась взглядом со мной и посерьезнела.

Все мы на мгновение погрузились в молчание, будто задумались над тайным смыслом этих слов. Мне пришло в голову, что за столом у Кескинов я пережил немало волшебных мгновений тишины и что мысли о смысле жизни, масштабах нашего существования в этом мире и о том, зачем мы являемся на свет, которые вряд ли возникли бы у меня в другом месте, пришли мне в голову именно здесь, когда я задумчиво смотрел в телевизор, краем глаза наблюдая за Фюсун и болтая о всякой всячине с Тарык-беем. Я любил ту волшебную тишину, с течением месяцев и лет все более понимая, что ее мгновения, приближавшие нас к тайне жизни, были для меня такими важными и глубокими из-за любви к Фюсун, и аккуратно сохранял вещи, которые потом напоминали мне о них. В тот день я под каким-то предлогом — наверное, почитать—взял листок, который отложила Фюсун, и, пока никто не видел, спрятал его в кармане.

Конечно, мне не всегда было так спокойно. Так, ранним утром 1 января 1982 года — в день, когда я выиграл в лото тот самый маленький носовой платок и уже собирался уходить, — ко мне подскочил соседский мальчик Али, который восхищенно смотрел на Фюсун и с загадочным видом произнес:

— Кемаль-бей, вы только что выиграли платок? -Да.

— Тетя Несибе сказала, это детский платок Фюсун. Можно я еще раз на него посмотрю?

— Али, малыш, я не помню, куда его положил.

— А я помню, — ответил мальчуган. — Вон в этот карман, здесь должен быть...

Он был готов засунуть руку. Я отступил на шаг. На улице лил проливной дождь, все столпились у окна, и нас никто не слышал.

— Али, уже очень поздно, а ты еще здесь, — попытался я отвлечь мальчишку. — Потом твои мама с папой на нас рассердятся.

— Я уже ухожу, Кемаль-бей. Так вы дадите мне платок Фюсун?

— Нет, — прошептал я, нахмурившись. — Он мне нужен.

59 Как провести сценарий через цензуру

Получение разрешения от комитета по цензуре для картины Феридуна требовало много усилий. За много лет до этого я знал по рассказам и из газет, что любой фильм, который крутят в кинотеатрах, будь то турецкий или иностранный, проходит через цензурный комитет. Но только после создания «Лимон-фильма» я узнал, какой важной частью кинопроизводства является одобрение комитета по цензуре. В газетах о его власти писали, когда какой-нибудь очень известный

европейский фильм, о котором знали все, в Турции оказывался запрещен. Например, не допустили к показу «Лоуренса Аравийского», потому что в нем содержалось оскорбление турецкой нации, а когда из фильма «Последнее танго в Париже» вырезали все эротические сцены, он стал скучным, совершенно не похожим на оригинал.

Один из совладельцев бара «Копирка», Хайяль Хайя-ти-бей, много лет проработавший в цензурном комитете, и один из завсегдатаев нашего столика, однажды признался нам, что лично он верит в свободу слова и демократию больше любого европейца, но никогда не позволял (и не позволит) никому пользоваться искусством кинематографа для обмана наивного и простодушного турецкого зрителя. Одновременно Хайяль Хайяти был режиссером и продюсером, а работать в комитете по цензуре согласился лишь затем, чтобы все, кто бывал в «Копирке», «сошли с ума от зависти». После этих слов он всегда подмигивал Фюсун. В этом подмигивании выражалось нечто отеческое и фривольное одновременно. Зная, что я дальний родственник Фюсун, Хайяль Хайяти никогда не преступал с ней границ приличия. Обитатели «Копирки» стали называть его Мечтатель Хайяти потому, что он постоянно употреблял слово «мечтать», когда рассказывал о фильмах, которые собирался снимать. Всякий раз, когда мы приходили, он садился за наш столик к Фюсун и, неотрывно глядя ей в глаза, делился очередным замыслом, каждый раз прося ее «не раздумывая и искренне» сказать, нравится ли ей идея.

— Идея очень хорошая, — всякий раз отвечала Фюсун.

— Когда начнем снимать, обязательно пригласим вас на главную роль, — обещал ей Мечтатель Хайяти.

Он изображал искреннего человека, но в конце неизменно добавлял: «Я ведь, знаете ли, ужасный реалист». Сидя с нами, он иногда заглядывал в глаза и мне, но лишь потому, что смотреть беспрерывно на Фюсун было бы невежливо, и я не упускал случая по-дружески улыбнуться ему в ответ.

Со временем мы начинали понимать, что так быстро, как хочется, нам начать съемки не удастся.

По мнению Хайяля Хайяти, в турецком кинематографе, в принципе, не было проблем со свободой слова, если не затрагивать таких тем, как ислам, Ататюрк, турецкая армия, привычки верующих; президента Республики, курдов, армян, евреев, греков и не показывать неприличных любовных сцен. Перечислял он это улыбаясь. На протяжении полувека комитет по цензуре имел привычку запрещать не только то, что раздражало властей предержащих, но и многое другое, что по каким-либо причинам не нравилось лично цензорам, которые любили пользоваться своей властью, иногда даже для развлечения.

Хайяль Хайяти, посмеиваясь, посвящал в детали, как обычно накладывают запрет на фильм, и действительно смешил нас своими рассказами. Например, если в картине шла речь о приключениях сторожа на фабрике, ее запрещали под предлогом того, что в ней «унижают турецких сторожей». Фильм о любви замужней женщины с детьми к другому не пропускали из-за того, что он «наносит ущерб институту материнства», а веселые приключения мальчишки, сбежавшего из школы, — за то, что «провоцирует детей не посещать уроки». И если мы любим кино, если нам важно дойти до турецкого зрителя, следует дружить с цензорами, некоторые из которых бывают в «Копирке». Я понимал, что он говорил все это, чтобы произвести впечатление на Фюсун.

Мы терялись в догадках, можно ли положиться на Хайяти-бея, чтобы получить одобрение цензурного комитета, ведь его первый фильм, который он снял после того, как перестал быть цензором, оказался, увы, запрещен «по причинам личного характера». Разговор на эту тему всегда раздражал Хайяти-бея. Съемки того фильма потребовали от него огромных затрат, а не выпустили его за «нанесение ущерба

институту семьи», который усмотрели в сцене, когда отец за ужином, слегка выпив, кричит на жену и детей, что в салате нет уксуса.

Хайяль Хайяти с искренним возмущением рассказывал, что вставил в фильм сцену семейной ссоры, произошедшей реально — в его семье. Больше всего его сердило, что фильм запретили его старинные друзья. Как поговаривали злые языки, однажды он пил с приятелями из комитета, а потом подрался на улице с кем-то из них из-за какой-то девушки. В драке оба повалились в грязь, откуда их поднимали полицейские участка в Бейоглу; хотя оба претензий друг к другу не имели и расцеловались при свидетелях, потом и случилось то, что случилось. После оглашения запрета Хайяль Хайяти тщательно вырезал из фильма все сцены семейных ссор, которые могли пошатнуть институт семьи, получив-таки разрешение на демонстрацию своей картины. Дабы избежать банкротства, он с позволения комитета по цензуре оставил только один эпизод, в котором толстяк брат колотит младшую сестру по наущению богомольной матери.

По мнению Хайяля Хайяти, его фильм все равно получился хорошим, пусть многое и не попало в подцензурный вариант. Зато его можно показывать в кинотеатрах и он вернул вложенные деньги. Самой худшей из зол был бы полный запрет. Чтобы этого не происходило, благодушное государство, вняв просьбам смышленых турецких кинематографистов, в ряды которых я имел честь со временем вступить, разделило процесс прохода через цензуру на два этапа.

Сначала сценарий фильма направляли в цензурный комитет, где одобряли сюжет и замысел. Как и во всех прочих подобных ситуациях в Турции, когда гражданину требовалось получить на что-либо разрешение государства, он сталкивался с бюрократией и коррупцией, и для борьбы с препонами появилось множество частных посредников и фирм, помогавших провести заявку по инстанциям. Помню, как весной 1977 года, сидя в кабинете кинокомпании «Лимон-фильм», мы с Фери-дуном подолгу, дымя сигаретами, обсуждали, кто поможет нашему «Синему дождю» пройти цензуру.

Тогда славился грек по имени Переписчик Демир. Его прозвали так потому, что его метод подготовки рукописи к цензурному одобрению заключался в том, что каждый сценарий он самолично переписывал на известной всему городу печатной машинке. Бывший боксер-любитель, всегда одетый в форму Армии освобождения, был человеком крупного телосложения, однако с тонкой, деликатной душой. В каждом сценарии, который он брал в обработку, Демир-бей сглаживал все острые края, стараясь помирить богатого с бедным, работника с хозяином, насильника с жертвой, злого с добрым, и никто лучше него не умел добавить в конец фильма красный турецкий флаг и несколько патетических фраз о Родине, Ататюрке и Аллахе. Такие слова обычно очень нравились цензорам. Зрители, правда, больше ждали гневных, резких и критических слов главного героя, но после славословий те уже казались не столь важными. Главное его умение заключалось в том, что каждый грубый и преувеличенный эпизод сценария он с юмором, легкостью и нежностью превращал в сказочную деталь жизни. Крупные кинокомпании, постоянно плативше взятки цензорам, давали Переписчику Демиру даже те сценарии, с которыми проблем не возникало, лишь бы он добавил наивных, сказочных и романтичных деталей.

Узнав, что бесподобной поэзией турецкого кинематографа, так влиявшей на наши души летними вечерами, все обязаны именно ему. Врачу Сценариев, мы, по предложению Феридуна, как-то раз взяли Фюсун и направились к нему домой в Куртулуш. В доме, где царила та же особенная и чарующая атмосфера, что и в турецких фильмах, мы увидели огромные настенные часы и легендарную старинную печатную машинку «ремингтон». Демир-бей принял нас любезно, попросил оставить сценарий, обещал переписать его, если он ему понравится, но, указывая на кучи

папок, добавил, что это требует времени — слишком много у него работы. За огромным обеденным столом к нам присоединились две двадцатилетние двойняшки-дочери радушного хозяина, обе близорукие и в огромных совиных очках. Дочки доделывали сценарии, которые не успевал обработать их отец. «Переписывают даже лучше меня», — похвалил он их. Одна из девушек—та, что пополнее,—обрадовала Фюсун, когда узнала ее по финалу городского конкурса красоты. К сожалению, об этом уже почти все забыли.

Та же девушка через три месяца принесла переписанный и местами переделанный специально под Фюсун сценарий, вручив его с похвалами и словами восхищения: «Отец сказал, что это настоящий европейский фильм!» Но по кислому лицу Фюсун и иногда проскальзывавшим у нее злобным словечкам, стало понятно, что ее не устраивают такие сроки.

Нам с Фюсун редко удавалось остаться наедине и поговорить. В конце каждого вечера мы подходили к клетке Лимона, чтобы проверить корм и воду. Я покупал ему на Египетском базаре вкусных семечек и «кость каракатицы», которую он очень любил грызть. Но клетка стояла близко к столу, и обменяться парой фраз, чтобы никто не слышал, было трудно. Приходилось или шептаться, или говорить, не смущаясь присутствием других.

Но появился еще один способ побыть с ней наедине. Время, остававшееся от общения с подругами по кварталу (большинство из них были не замужем либо недавно вышли замуж), от редких походов с ними в кино, от встреч с компанией Феридуна, домашних дел и помощи матери в шитье (та до сих пор принимала заказы), Фюсун посвящала рисованию птиц. «Рисую сама для себя» — так она говорила. Но я чувствовал, что за любительскими попытками развлечься кроется настоящее увлечение, и любил ее за те рисунки еще больше.

Увлечение началось с того, что однажды на решетку балкона села ворона, совсем как когда-то в «Доме милосердия», и хотя Фюсун подошла совсем близко, птица не испугалась. Потом ворона прилетала еще несколько раз и, косясь на Фюсун блестящими серьезными глазами, не улетала—наоборот, даже напугала ее. Феридун сфотографировал ворону, Фюсун перерисовала маленькую черно-белую фотографию, которая теперь на своем месте в музее любви, и, увеличив ворону, раскрасила ее акварельными красками. Позднее она нарисовала голубя, а потом воробья, прилетавшего на ту же решетку. Когда Феридуна не было дома, я, обычно перед ужином или во время длинных перерывов на рекламу, спрашивал Фюсун: «Как продвигается рисование?» А она обычно весело предлагала: «Хочешь, пойдем посмотрим вместе?» Мы уходили во вторую комнату с разбросанными швейными принадлежностями тети Несибе и обрезками ткани, где подолгу рассматривали рисунок в бледном свете маленькой люстры.

— Очень красиво, Фюсун. Действительно красиво, — искренне восхищался я, ощущая нестерпимое желание прикоснуться к ней, к ее спине или руке.

В магазине заграничных канцелярских принадлежностей в Сиркеджи я покупал отличную бумагу для рисования, тетради и наборы акварельных красок европейского производства.

— Я нарисую всех птиц Стамбула, — воодушевлялась Фюсун. — Недавно Феридун сфотографировал воробья. Его нарисую следующим. Меня это забавляет. Как думаешь, сова когда-нибудь на балкон сядет?

— Ты обязательно должна открыть выставку, — сказал я ей, посмотрев очередной рисунок.

— Знаешь, мне очень хочется побывать в Париже и увидеть все картины в музеях, — задумчиво произнесла Фюсун.

Когда она сердилась и нервничала, то говорила: «Я ничего не нарисовала за последние дни». Я понимал, что приступ дурного настроения вызван нашей

совершенной неготовностью приступить к съемкам фильма, в котором она будет играть главную роль. Даже сценарий мы не привели в должный вид, чтобы по нему можно было снимать. Фюсун часто уходила со мной во вторую комнату, чтобы поговорить наедине о фильме:

— Феридуну не понравились исправления Демира, опять переделывает, — пожаловалась она как-то раз. — Я попросила его больше не затягивать. Ты тоже скажи ему, пожалуйста. Пора уже снимать мой фильм.

— Скажу.

Прошло еще три месяца. Как-то вечером мы снова ушли в дальнюю комнату. Фюсун закончила рисунок вороны и сейчас неторопливо рисовала воробья.

Я долго смотрел на него:

— У тебя прекрасно получается.

— Кемаль, мне теперь все понятно. Много месяцев пройдет, прежде чем мы начнем съемки фильма Феридуна, — начала Фюсун. — Цензура такие вещи так просто не пропускает. Они сомневаются. А позавчера в «Копирке» ко мне подошел Музаффер-бей и предложил роль в своем фильме. Феридун тебе сообщил?

— Нет. Вы что, ходили в «Копирку»? Фюсун, будь осторожна с этими людьми!

— Не беспокойся. И Феридун, и я — мы оба осторожны. Ты, конечно, прав, но это очень серьезное предложение.

— Ты читала сценарий? Он тебе нравится?

— Сценарий я, конечно, не читала. Его нет. Но если соглашусь, они его напишут. Они хотят со мной встретиться, чтобы все обсудить.

— О чем будет фильм?

— Какая разница, о чем фильм, Кемаль? Обычная мелодрама, как всегда у Музаффер-бея. Я намерена согласиться.

— Не торопись, Фюсун. Они плохие люди. Пусть лучше вместо тебя Феридун с ними поговорит. У них могут быть дурные намерения.

— Какие такие дурные? — спросила Фюсун.

Но разговор продолжать не хотелось, у меня испортилось настроение, и я вернулся к столу.

Разумеется, если столь известный режиссер, как Музаффер-бей, снимет мелодраму с Фюсун в главной роли, то сразу прославит ее на всю Турцию — от Диярбакыра до Эдирне. Зрители, битком набивавшие душные, вонючие кинотеатры, отапливаемые угольными печурками, сбежавшие с уроков школьники, безработные, мечтательные домохозяйки и злые неудовлетворенные мужчины—все они были бы очарованы красотой и нежностью Фюсун. Я ловил себя на мысли, что меня пугает, не бросит ли Фюсун и меня, и Феридуна, как только Фюсун станет звездой, к чему она стремилась. Конечно, у меня и в мыслях не было, будто она способна на все ради денег и славы — например, на свободные отношения с влиятельными журналистами, но по взглядам посетителей «Копирки» понимал: многие готовы на все, чтобы отобрать ее у меня, — употребляю именно это слово, поскольку именно оно первым пришло мне в голову. Если бы Фюсун стала известной, я любил бы ее сильнее, но и страх потерять ее стал бы огромным.

Тем вечером, ловя на себе гневные взгляды Фюсун, я понял, что все мысли моей красавицы не обо мне и даже не о муже, а только о том, чтобы стать кинозвездой, и я помню, как забеспокоился, даже испугался. Мне давно стало понятно, стоит Фюсун бросить меня — и мужа, сбежав с каким-нибудь продюсером или известным актером (из тех, что бывали в актерских пивных), страдать я буду куда мучительнее, чем летом 1975 года.

Насколько Феридун сознавал грядущую для нас двоих опасность? Он, естественно, замечал, как прощелыги хотят втянуть его жену в отвратительный мир, подальше от него, но я считал необходимым напомнить ему лишний раз об

опасности. Намекал, что, если Фюсун начнет сниматься в отвратительных мелодрамах, смысла в художественном фильме для меня не останется; а дома, поздней ночью, сидя в кресле отца и выпивая в одиночестве, переживал, не слишком ли откровенничал перед мужем Фюсун.

В начале мая, в преддверии съемочного сезона, Хай-яль Хайяти, пришел в «Лимон-фильм» и сказал, что малоизвестная молодая актриса из-за побоев ревнивого любовника попала в больницу и что было бы хорошо, если бы ее роль досталась Фюсун, так как это прекрасная возможность для такой красивой и образованной девушки, как она, начать карьеру. Однако Феридун вспомнил о моих сомнениях и вежливо отказался от его предложения; полагаю, Фюсун он ни о чем не сказал...

60 Вечера на Босфоре в ресторане «Хузур»

Все, что мы предпринимали, чтобы оберегать Фюсун от коварных мужчин, всякий раз слетавшихся к ней как пчелы на мед, когда она приходила в «Копирку», порой веселило нас и даже доставляло удовольствие. Однажды мы узнали, что журналист Белая Гвоздика, ведущий рубрики светских новостей, тот самый, кто был среди гостей на помолвке в «Хилтоне», хочет написать статью о Фюсун, представив ее восходящей звездой. Но мы сказали ей, что ему нельзя доверять, и сбежали от него. В другой раз некий журналист-поэт, подсевший за столик к Фюсун, тут же испытав вдохновение, написал на салфетке стихи, посвященные ей; стихи были незамедлительно отправлены в мусор по моему наущению пожилым официантом «Копирки», Тайяром, так и не найдя ни одного читателя. Оставшись втроем, мы часто рассказывали друг другу подобные истории (конечно, не все!) и смеялись над ними.

Когда в «Копирке» или других подобных местах Фюсун выпивала пару рюмок, она, в отличие от всех прочих деятелей искусства, которые принимались жаловаться друг другу на жизнь, начинала веселиться и вести себя бесшабашно и превращалась в веселую, непоседливую хулиганистую девчонку. Я чувствовал ее радость, если мы опять, точно во время напшх былых совместных поездок, ходили куда-то втроем. Но меня раздражали колкие намеки и сплетни, и теперь я гораздо реже бывал в «Копирке», а если и оказывался там, не давал покоя воздыхателям, подходящим к Фюсун, и чаще всего увозил ее с мужем ужинать на Босфор. Поначалу она дулась, что мы ушли рано, однако потом, болтая по дороге с Четином, делалась веселой, и я решил — лучше, если мы будем чаще посещать рестораны, как летом 1976 года. Чтобы выполнить задуманное, мне нужно было уговорить Феридуна. Ведь мы с Фюсун не могли никуда пойти вдвоем. А так как Феридун с трудом вырывался из круга своих приятелей-киношников, однажды я убедил пойти с нами тетю Несибе.

Летом 1977 года к нам без долгих уговоров, охотно присоединился Тарык-бей, и вся наша честная компания, обычно проводившая время перед телевизором в доме Кескинов, отправилась по босфорским ресторанам. Я вспоминаю эти поездки и застолья с ощущением подлинного счастья. Да разве цель любого романа и музея не в том, чтобы искренне поведать о счастливых воспоминаниях, сделав тем самым пережитое одним человеком достоянием других?

Тем летом совместные походы по тавернам и ресторанчикам на Босфоре стали для нас приятной привычкой. Потом, вне зависимости от времени года, мы не реже раза в месяц садились в машину и весело, будто на свадьбу, ехали в какой-нибудь ресторан или в известный клуб, где можно было послушать старинные песни и певцов, которых очень любил Тарык-бей. Иногда наши с Фюсун ссоры, недомолвки, напряженность, ее обиды за то, что съемки никак не начнутся, отравляли все удовольствие. Но когда мы с шумом рассаживались в автомобиле, особенно после долгих зимних месяцев, я видел, как нам радостно вместе, как хорошо — мы

привыкли к нашей маленьком компании и любим друг друга.

В те времена Тарабья, утыканная ресторанчиками, всегда заполненными беззаботной толпой, с лотошниками, уличными торговцами, предлагавшими мидии, миндаль и мороженое, сновавшими между столиков по тротуарам, с фотографами, которые, не успев щелкнув, через час приносили готовый снимок, с маленькими группами исполнителей фасыла и старых турецких песен, была излюбленным местом отдыха стамбульцев. (В те годы там не было ни одного туриста.) Помню, как тетя Несибе каждый раз, когда мы туда приезжали, восхищалась скоростью и ловкостью официантов, которые обслуживали клиентов на бегу, разнося заставленные горой тарелок тяжеленные подносы, перебегая между машин, медленно продвигавшихся по узкой улочке между столиков по обеим сторонам.

Нам очень нравился ничем не примечательный ресторан «Хузур». Впервые мы попали в него случайно — там оказались свободные места. Но Тарык-бей полюбил его за то, что там можно было «бесплатно и издалека» слушать народные турецкие песни, которые доносились из соседнего клуба «Мюджевхер». Всякий раз, когда я предлагал нам пойти в «Мюджевхер», чтобы лучше слышать певцов, Тарык-бей возражал: «Кемаль-бей, давайте не будем тратить лишние деньги на этих отвратительных горлодеров!», но сам за едой с большим вниманием, удовольствием и часто гневом внимал мелодиям, доносившимся со стороны. «У нее голоса нет, у него нет слуха», — то и дело комментировал он и громко исправлял ошибки певцов, демонстрируя, что знает слова и концовку песни, пропевая ее раньше исполнителя, а после третьего стаканчика ракы начинал с закрытыми глазами, в глубокой задумчивости, покачивать головой в такт музыке.

Когда мы отправлялись из Чукурджумы кататься на машине по берегам Босфора, все мы будто забывали, пусть и ненадолго, о тех ролях, к которым привыкли. А я так полюбил прогулки по Босфору и поездки рестораны еще и потому, что, в отличие от домашних посиделок, Фюсун всегда садилась рядом со мной. Никто за соседними столиками не замечал, как сильно ее рука прижата к моей и что, пока ее отец слушает музыпсу, а мать смотрит на дрожащие в тумане огни Босфора, мы, будто недавно знакомые и стеснительные молодые люди, только-только осваивающие европейскую разновидность дружбы — между мужчиной и женщиной, — в шуме переговариваемся обо всем подряд: о том, что едим, о том, как красива ночь, о том, какой милый ее отец...

Фюсун при родителях курила напоказ, глубоко затягиваясь, с видом европейской эмансипе, которая сама зарабатывает себе на хлеб. Помню, мы покупали у бойких лотошников в неизменных черных очках билетики лотерей и, не выиграв ничего, переглядывались друг с другом и посмеивались: «Ну вот, в карты нам не повезло», а потом смущались—оттого, что счастливы.

Нельзя сказать, что я, подобно герою поэзии Дивана[21], был опьянен счастьем лишь потому, что сидел рядом с возлюбленной; меня оно наполняло даже тогда, когда мы шли вместе с ней по улице, оказывались среди людей, в толпе. По вечерам спускавшаяся к Босфору улочка, сжатая с обеих сторон ресторанами, быстро заполнялась автомобилями, и нередко между пассажирами машин и сидевшими за столиками разгорались ссоры: «Ты почему на мою девушку смотришь?», «Ты почему в меня сигарету бросил?». Когда темнело, успевшие поднабраться клиенты затягивали песни, их задорные словечки вместе с аплодисментами, раздававшиеся то за одним столом, то за другим, еще больше оживляли все вокруг. Между тем в свет

---

[21] Поэзия Дивана — в Османской империи собрание падишаха и государственных чиновников самого высокого ранга. Формировалась с XIII по XIX век под воздействием арабских и персидских литературных традиций.

автомобильных фар попадала какая-нибудь «восточная» танцовщица с загорелой кожей в расшитом монетами и блестками костюме, перебегающая с представления на представление, из ресторана в ресторан, и тогда автомобильные гудки ревели во всю мочь, как у болельщиков после победы «Бе-шикташа». Вдруг посреди жаркого вечера ветер менял направление, в одно мгновение взметая в воздух тонкий слой песка, пыли и грязи, покрывавший брошенные на выложенную брусчаткой пристань скорлупки орехов, шелуху арбузных и подсолнечных семечек, обрывки газет и оберток, крышки от бутылок с лимонадом, помет голубей и чаек, пакеты; деревья, стоявшие в стороне от дороги, тут же начинали громко шелестеть листьями, и тетя Несибе говорила: «Ой, ребята, пыль поднялась, смотрите, чтобы в тарелки не попала!» — и рукой прикрывала свою тарелку. А потом ветер внезапно опять менял направление, и пойраз доносил до нас с Черного моря пахшую йодом прохладу.

Под конец вечера обычно то там, то здесь кто-нибудь возмущался, почему такой большой счет; песни за столами звучали громче, наши с Фюсун руки и ноги прижимались сильнее и иногда даже так запутывались, что мне казалось, я вот-вот лишусь чувств от счастья. Иногда его было столько, что я останавливал шедшего мимо уличного фотографа и просил его сфотографировать нас или звал цыганку погадать нам по руке. Сидя рядом с Фюсун, рука об руку, нога к ноге, я испытывал такую радость, будто мы едва познакомились, и пытался высчитать, когда мы поженимся; глядя на луну, погружался в счастливые мечты; и между делом выпивал еще стакан ракы со льдом, а потом, будто в замедленной съемке, с леденящим кровь удовольствием наблюдал, как передняя часть моего тела твердела и поднималась, но, ничуть не поддаваясь панике, чувствовал, что пребываю в таком состоянии, когда я достаточно далек, мы оба достаточно далеки от греха и преступления, словно прародители человека в раю, и предавался счастливым фантазиям и удовольствию пребывания рядом с Фюсун.

Не знаю, почему вне дома, на людях, под носом ее родителей мы могли быть близки так, как никогда не бывали дома. Но в те вечера я понял, что в будущем мы станем счастливой парой, что «мы подходим друг другу», говоря фразами из глянцевых журналах. И мы оба это чувствовали. С большим удовольствием вспоминаю теперь, как между делом она спрашивала меня: «Хочешь попробовать?», а я в ответ брал своей вилкой маленький кусочек бараньей котлеты с ее тарелки или оливки, косточки от которых бережет мой музей. Как-то вечером мы обернулись и долго болтали с другой парой, чем-то напоминающей нас (мужчина, шатен, за тридцать, и светлокожая девушка с темно-каштановыми волосами, примерно лет двадцати).

Тогда же случайно столкнулись с Мехмедом и Нурд-жихан, они выходили из «Мюджевхера», и, словом не обмолвившись о наших общих друзьях, принялись спорить, какое из лучших кафе-мороженых на Босфоре открыто в такой час. Расставаясь с ними, я, издалека указав на Фюсун и ее родителей, уже забравшихся в «шевроле», дверь которого придерживал перед ними Четин, сказал, что привез на Босфор своих родственников. В 1950-е и 1960-е годы в Стамбуле было очень мало легковых автомобилей, и богачи, привозившие себе машины из Америки или Европы, часто вывозили знакомых и родственников покататься по городу. (В детстве я много раз слышал, как мать говорила отцу: «Саадет-ханым с мужем и детьми хотят покататься. Ты не поедешь с ними? Давай тогда я поеду с Четином!» — мать иногда говорила «с водителем», на что отец почти всегда отвечал: «Ради бога, езжай сама, я занят».)

На обратном пути мы пели песни. Подначивал нас всегда Тарык-бей. Сначала он что-то мурлыкал, пытаясь вспомнить старую мелодию, потом просил включить радио, найти какую-нибудь известную песню или же, когда мы искали то, что слышали тем вечером в «Мюджевхере», начинал петь сам. Пока мы крутили ручку

приемника, раздавались странные голоса на далеких, чужих языках, и мы на мгновение затихали. «Радио Москвы», — шептал тогда Тарык-бей. А потом понемногу расслаблялся, напевал первые слова вспомнившейся песни, и вскоре к нему присоединялись Фюсун с тетей Несибе. Так мы ехали под высокими чинарами, бросавшими темные тени, вдоль Босфора домой, а я поворачивался с переднего сиденья назад и пытался исполнить «Старые друзья» Польтекина Чеки, но стеснялся, так как почти не помнил слов.

Когда мы хором пели в машине, смеясь, болтали за ужином, самым счастливым из нас человеком была Фюсун. Однако, когда она уходила из дома, ей очень нравилось проводить время в «Копирке». Поэтому, если мне хотелось отправиться кататься по Босфору, я приглашал сначала тетю Несибе. А уж она никогда не упускала случая устроить нашу встречу с Фюсун. Другим способом было позвать Феридуна. Для этого как-то вечером мы прихватили с собой и одного его приятеля, кинооператора Йани, с которым тот никак не мог расстаться. Феридун от имени «Лимон-фильма» снимал с Йани рекламные ролики, я в эти дела не вмешивался, мне нравилось, что они сами зарабатывают немного денег. Иногда я спрашивал себя, как смогу видеть Фюсун, если Феридун вдруг разбогатеет и они переедут из дома тестя в свой собственный. И со стыдом понимал, что именно поэтому стремлюсь дружить с Феридуном.

В одну из вылазок тетя Несибе и Тарык-бей поехать с нами в Тарабью не смогли, и мы не слушали песни, доносившиеся из соседних ресторанов, и в машине никто не пел. Фюсун всю дорогу сидела не рядом со мной, а с мужем и внимательно слушала последние сплетни из мира кино.

В тот вечер мне было невесело, и поэтому в следующий раз, когда мы вышли из «Копирки» и за нами увязался какой-то приятель Феридуна, я сказал, что в машине не хватает мест, потому что нам нужно забрать родителей Фюсун и поехать на Босфор. Кажется, слова мои прозвучали довольно грубо. Я заметил, как широко раскрылись от растерянности и даже гнева темно-зеленые глаза человека с широким, красивым лбом, но постарался немедленно об этом забыть. Потом мы поехали в Чукурджуму и нежно, но не без помощи Фюсун, уговорив Тарык-бея и тетю Несибе составить нам компанию, все вместе направились в «Хузур».

Помню, когда мы сели за стол, у меня через некоторое время испортилось настроение, потому что Фюсун вела себя как-то странно и напряженно. Я обернулся в поисках какого-нибудь продавца лотерейных билетов, который бы мог нас развлечь, или торговца очищенными грецкими орехами, как вдруг за два столика от нас заметил того же человека с темно-зелеными глазами. Он сидел со своим приятелем в сторонке и пил, то и дело поглядывая на нас. Феридун их видел тоже.

— Твой приятель приехал следом за нами, — показал я ему.

— Тахир Тан мне не приятель, — буркнул Феридун.

— Разве это не тот человек, который хотел было поехать с нами, когда мы выходили из «Копирки»?

— Да, но он мне не приятель. Он снимается в мелодрамах, во всяких боевиках. Я не люблю его.

— Почему они поехали за нами?

Какое-то время мы молчали. Сидевшая рядом с Фери-дуном Фюсун услышала наш разговор и еще больше напряглась. Тарык-бей слушал музыку, но тетя Несибе пыталась понять, о чем мы говорим. По взглядам Фюсун и Феридуна я понял, что человек идет к нам, и обернулся.

— Извините, Кемаль-бей, — обратился ко мне Тахир Тан. — Я вовсе не собирался вас беспокоить. Просто хочу поговорить с родителями Фюсун.

Он принял вид вежливого симпатичного юноши, который, как на офицерской свадьбе, прежде чем пригласить на танец приглянувшуюся девушку, просит

разрешения у ее родителей, что требовалось по этикету.

— Извините, господа, хотел вот о чем с вами поговорить... — произнес он, подходя к Тарык-бею. — Фильм Фюсун...

— Эй, Тарык, слышишь, к тебе обращаются, — сказала тетя Несибе.

— Я и вам это говорю, сударыня. Вы ведь мать Фюсун, не так ли? А вы, эфенди, ее отец. Знаете ли вы о том, что два самых известных турецких продюсера, Музаффер-бей и Хайяль Хайяти, предложили вашей дочери серьезную роль? Но вы, кажется, отвергли эти предложения потому, что в фильме есть сцена поцелуя.

— Ничего подобного, — хладнокровно возразил Феридун.

В Тарабье разговоры посетителей, звон посуды сливались в ровный, мерный шум. Тарык-бей либо услышал его слова, но не подал виду, либо притворился, что не расслышал, как принято поступать в подобных ситуациях в Турции.

— Как так? — задиристо спросил Тахир Тан.

Мы все поняли, что он слишком много выпил и ищет ссоры.

— Тахир-бей, мы здесь сидим всей семьей и совершенно не хотим говорить о кино, — осторожно, но жестко ответил Феридун.

— А я хочу... Фюсун-ханым, чего вы боитесь? Ну-ка, скажите им, что хотите сниматься в том фильме.

Фюсун опустила глаза. Она спокойно и неторопливо курила сигарету. Я поднялся. Одновременно встал и Феридун. Мы с Тахиром Таном стояли друг перед другом между столами. Несколько человек с соседних столиков повернулись в нашу сторону. Должно быть, они поняли по нам, что сейчас начнется драка. Вокруг, не желая пропустить развлечение, начали собираться любопытные. Приятель Тахира подошел к нам.

Тут вмешался пожилой, опытный официант, знавший, как вести себя в пивной перед дракой. «Хватит, хватит, господа! Расходимся!—громко разгонял он собравшихся. — Все мы выпили, случаются всякие недоразумения. Кемаль-бей, я на ваш стол принес жареные мидии и скумбрию».

Должен сказать, что в те времена самым большим позором для турецкого мужчины считалось, когда он, по малейшему поводу затеяв где-нибудь—скажем, в кофейне, в больничной очереди, в автомобильной пробке, на футбольном матче—драку, в последний момент трусил и отступал.

Друг Тахира подошел сзади, положил ему руку на плечо и увел: «Хоть ты веди себя благородно». А Феридун, тоже взяв меня за плечо, усадил за стол: «Да разве он того стоит?» Я почувствовал благодарность к нему за это.

В ночи прожектор какого-то корабля бороздил волны Босфора, чуть усилившиеся от ветра. Фюсун как ни в чем не бывало курила. Я внимательно посмотрел ей в глаза, и она не отвела их. Ее взгляд выражал почти надменность, в нем читался вызов мне, и я на мгновение почувствовал, что пережитое ею за последние три года и то, чего она со страхом ждала от жизни, было гораздо страшнее и опаснее, чем эта маленькая ссора, которую устроил пьяный актер.

А потом Тарык-бей начал медленно покачивать стаканом ракы и головой в такт песне, доносившейся из клуба «Мюджевхер». Грустно пел Селяхаттин Пынар: «Как я мог полюбить такую бессердечную женщину». И мы присоединились к нему—чтобы разделить с ним грусть. Позднее, за полночь, на обратном пути, распевая в машине хором, кажется, забыли о случившемся.

61 Взгляды

Между тем я предательства Фюсун не забыл. Совершенно ясно, что Тахир Тан положил на нее глаз в «Копирке» и сделал так, чтобы Хайяль Хайяти и Музаффер-бей позвали ее на роль. Еще легче было предположить, что Хайяль

Хайяти с Музаффером заметили интерес Тахира к Фюсун и решили дать эту роль ей. Судя по тому, что Фюсун после его ухода вела себя как нашкодившая кошка, она по меньшей мере подговорила их.

После того происшествия в «Хузуре», случившегося летом 1977 года, Фюсун запретили ходить в Бейоглу, а в особенности бывать в «Копирке». Я понял это по ее заплаканным и сердитым глазам. Мы встречались с Феридуном в нашей кинокомпании, и он сказал мне, что после того случая тетя Несибе с Тарык-беем испугались за дочь. Ограничили даже ее встречи с подругами по кварталу. Теперь, прежде чем выйти на улицу, она, как незамужняя девушка, должна была спрашивать разрешения у родителей. Помню, что эти меры, применявшиеся, правда, весьма недолго, делали Фюсун совершенно несчастной. Феридун всячески пытался успокоить ее, говорил, что теперь сам редко ходит в «Копирку», и утешал ее как мог. Мы оба слишком хорошо знали, что, только приступив к съемкам нашего фильма, увидим Фюсун счастливой.

Но сценарий фильма так и не прошел цензуру, да и Феридун, как я чувствовал, не был готов начать съемки. По нашим с ней разговорам в дальней комнате перед незаконченным рисунком чайки я видел, что она с болью понимает это. Так как мне не нравилось, когда она сердилась и с возмущением говорила о съемках, которые никак не начнутся, я теперь гораздо реже спрашивал ее о новых рисунках. И только когда Фюсун бьшала в хорошем настроении, мы шли в другую комнату посмотреть нарисованных птиц.

Фюсун все чаще грустила. Я обычно молча садился за стол. Она смотрела на меня особенным взглядом—мы с ней часто общались глазами. За этим занятием и проходила большая часть вечера, даже если мы на несколько минут уходили в другую комнату посмотреть ее акварели. Я пытался прочитать по ее взгляду, что она думает обо мне, о своей жизни, что она чувствует. И так быстро привык к этому занятию, которое раньше презирал, что вскоре в совершенстве овладел им как искусством.

В юности, когда мы с друзьями ходили в кино, сидели компанией в ресторане или весной на верхней палубе парохода отправлялись на острова, кто-нибудь из нас обязательно говорил: «Друзья, вон девочки на нас смотрят!» Это был своеобразный сигнал к действию, но я воспринимал подобные слова с сомнением. Ведь на самом деле вне дома девушки редко смотрели на окружающих мужчин, а если случайно и пересекались с ними взглядами, тут же в страхе опускали глаза и больше не смели даже взглянуть. В первые месяцы моих визитов Фюсун именно так и поступала — испуганно отводила глаза, стоило нам только посмотреть друг на друга. Это напоминало мне типичное поведение турчанки, и мне оно не нравилось. Однако позднее я пришел к выводу, что Фюсун вела себя таким образом лишь для того, чтобы раззадорить меня. Я только начинал постигать искусство переглядываться.

Раньше, когда я бродил по улицам Стамбула или по воскресному рынку, мне редко доводилось видеть, чтобы женщина, в платке или без платка, не только переглядывалась с незнакомым мужчиной, но и просто смотрела на него — даже в таком «свободном» районе, как Бейоглу. В то же время от многих, кто женился при посредстве свахи, я слышал, что они сначала понравились друг другу на расстоянии, а лишь потом их познакомили. Такую историю, правда со своими нюансами, рассказывали даже мои родители. Мать утверждала, что они с отцом впервые увидели друг друга на одном балу, где присутствовал сам Ататюрк, между ними возникла симпатия, хотя тогда они даже не поговорили. Отец же, который в этом вопросе никогда не спорил с матерью, как-то сказал мне, что они действительно оба были на том балу с Ататюрком, но, к сожалению, тем вечером он ни разу не видел и совершенно не помнит нарядную, в белых перчатках, мою будущую, тогда шестнадцатилетнюю, красавицу мать.

Я достаточно поздно — наверное, потому что несколько лет провел в Америке, — после тридцати лет и благодаря Фюсун понял смысл обмена взглядами в восточном мире, когда мужчина и женщина часто не имели возможности познакомиться вне семьи и встречаться. Но мне стала ясна вся важность этого. Фюсун смотрела на меня как героини персидских миниатюр или современных кинофильмов. Когда я сидел за столом, по диагонали от нее, когда мы собирались вечерами, то ловил и читал взгляды моей красавицы. Но через некоторое время переглядывания прекращались, Фюсун прятала глаза, как стыдливая девочка, должно быть потому, что замечала, какое удовольствие я получаю, и хотела меня наказать за это.

Ей, вероятно, не хотелось в присутствии всей семьи ни думать, ни вспоминать, что мы пережили; к тому же она сердилась, что мы до сих пор не сделали ее кинозвездой. И поначалу я соглашался с ней. Однако через некоторое время меня стало злить, что она, после всего произошедшего между нами, избегает даже смотреть на меня, ведет себя как стыдливая девственница с незнакомым мужчиной. На нас с ней никто не обращал внимания. За ужином, когда все задумчиво смотрели телевизор или когда от чувствительной сцены расставания в романтическом сериале слезы наворачивались нам на глаза, мгновенная встреча взглядов доставляла мне огромное счастье, и я с радостью понимал, что пришел только ради этого. Но Фюсун вела себя так, будто ничего не происходило, отводила глаза, и это меня очень обижало.

Разве она не знала, что я не мог забыть, как мы были когда-то счастливы? Я чувствовал, она замечает обиду в моих глазах. А может, мне только так казалось?

Загадочный мир эмоций и воображения стал для меня большим открытием. Благодаря Фюсун я постепенно учился тонкостям великого турецко-стамбульского искусства обмена взглядами. Это, конечно, был способ рассказать о себе без слов. Но то, о чем говорил красноречивый взор, являло собой чудесную, притягательную тайну. Вначале я не понимал сполна смысл послания, отправляемого мне Фюсун, но потом становилось понятно, что сам взгляд служит словом. Глаза ее мгновенно меняли выражение. Иногда я читал в них гнев, решимость; видел бури, бушевавшие в ее сердце. И от этого совершенно терялся. Когда по телевизору показывали какие-нибудь эпизоды, которые напоминали о наших счастливых днях, например целующуюся пару, мне хотелось заглянуть в ее глаза, но она все равно отворачивалась от меня, не соглашаясь ни на какие уступки, даже садилась ко мне боком, и это меня возмущало. Именно в такие мгновения я развил в себе привычку смотреть на нее настойчиво, упрямо, не отводя глаз.

Я долго не отводил взгляд. Конечно, при всей семье за столом он обычно длился не более десяти-двенадцати секунд; самый долгий, самый смелый — до половины минуты. Тем, кто живет в свободные и просвещенные времена, конечно, мои поступки покажутся навязчивой бестактностью. Ведь моими настойчивыми взглядами я выставлял на всеобщее обозрение нашу минувшую близость, нашу любовь, которую Фюсун хотела скрыть, а может быть, и вовсе забыть. И пусть даже все в тот момент пили или был пьян я, извинить это меня не сможет. В оправдание скажу лишь, что, не будь такой малости, давно сошел бы с ума.

Обычно Фюсун по моим взглядам и моей бесстыдной назойливости сразу опознавала, что я настроен решительно и не отведу от нее глаз. Однако это ее вовсе не беспокоило, и она, как все турецкие женщины, которые в совершенстве владели искусством делать вид, что не замечают назойливых, бесстыдных мужчин, сидела напротив, не глядя на меня. И тогда я окончательно лишался рассудка, еще сильнее сердился и пристальнее всматривался в нее. Известный колумнист газеты «Миллийет» Джеляль Салик в своей колонке часто советовал обозленным одиноким мужчинам, ходившим по улицам нашего города: «Увидев красивую женщину, не стоит

пристально смотреть ей в глаза, будто вы собираетесь ее убить». Меня выводило из себя то, что Фюсун воспринимала мои взгляды, будто я один из таких мужчин, о которых писал Джеляль Салик.

Сибель часто рассказывала мне, как раздражают женщин разные провинциалы, съехавшиеся в Стамбул, которые, раскрыв рот, рассматривают девушек, делающих макияж и идущих с непокрытой головой. В городе часто случалось, что некоторые из таких мужчин потом начинали преследовать женщину, на которую до этого долго смотрели, одни, назойливо напоминая о своем присутствии, другие — безмолвно, как приведение, часами, а иногда целыми днями наблюдая издалека.

Однажды вечером в октябре 1977 года Тарык-бей раньше всех ушел наверх спать, сославшись на то, что «неважно себя чувствует». Фюсун и тетя Несибе мило беседовали, а я задумчиво—так мне казалось — смотрел на них и вдруг поймал взгляд Фюсун, обращенный ко мне. Я не отвел глаза.

— Перестань! — резко остановила она меня. Я даже вздрогнул. От стыда растерялся.

— Что ты хочешь сказать? — пробормотал я.

— Перестань так на меня смотреть, — ответила Фюсун и показала, каков мой взгляд.

Если верить ей, он был точь-в-точь как у героя слезливой мелодрамы. Даже тетя Несибе рассмеялась. Затем испугалась за меня:

— Дочка, перестань передразнивать всех подряд, ну право ребенок! — всполошилась она. — А ведь ты уже взрослая!

— Нет, тетя Несибе, — вежливо возразил я, собравшись с духом. — Мне понятны слова Фюсун.

Действительно ли это было так? Конечно, понимать человека, которого любишь, очень важно. Но если не получается, остается думать, будто можешь понять. Признаюсь, за восемь лет я редко испытьшал радость такого осознания.

После слов Фюсун встать и уйти оказалось выше моих сил. Наконец, пробормотав, что уже поздно, я вышел на улицу. Дома пил, пока не заснул, и думал, что больше никогда не пойду к ним. В соседней комнате со стонами, будто от тяжкой боли, мерно храпела мать.

Но обида оказалась недолгой. Через десять дней, как ни в чем не бывало, я снова позвонил в дверь Кес-кинов. По заблестевшим глазам Фюсун сразу понял, что она счастлива меня видеть. И в тот же миг превратился в самого счастливого человека на земле. Потом мы опять сели за стол и продолжили переглядываться.

По мере того как шли месяцы и годы, я познавал неизведанное доселе удовольствие — располагаться за столом Кескинов, смотреть телевизор, вести неспешную беседу с тетей Несибе и Тарык-беем, в которой обычно участвовала и Фюсун. Я считал их своей второй семьей. В те вечера мною владела легкость, будущее представлялось каким-то удивительно радостным, но не только из-за Фюсун, а еще и потому, что я участвовал в семейном застолье и беседе.

Размышляя об этом, я неожиданно ловил взгляд Фюсун, и тут же вспоминал о нескончаемой любви к ней, о главной причине, приведшей меня туда, и мгновенно пробуждался от сладкого сна. Мне хотелось, чтобы Фюсун тоже такое почувствовала. Если она на миг, как и я, проснется от нашего непорочного сна, то вспомнит глубокий и истинный мир, где мы некогда были вместе, бросит своего мужа и выйдет за меня замуж. Но во взглядах Фюсун не мелькало ни подобных воспоминаний, ни проблесков пробуждения, и с болью и обидой я понимал, что мне опять будет трудно уйти.

Дело с нашим фильмом никак не сдвигалось с мертвой точки, поэтому Фюсун не удостаивала меня подтверждением того, что помнит о нашем счастье. Скорее наоборот: она делала вид, будто ее очень интересует демонстрируемое по телевизору или волнуют сплетни о соседях по кварталу, и давала понять, что смысл

ее жизни в том, чтобы сидеть за столом с родителями, болтать и смеяться. И тогда мне все тоже начинало казаться пустым и бессмысленным; будто у нас с Фюсун нет никакого будущего и она не расстанется с мужем.

Спустя много лет после тех событий обиженные взгляды Фюсун напомнили мне то, как смотрели актрисы в турецких мелодрамах. Впрочем, удивляться этому не приходилось, ведь турецкие женщины не могли искренне поведать о своих бедах перед другими мужчинами и передавали все свои чувства, гнев и желания лишь выражением глаз. И в подобном искусстве они достигли совершенства.

62 Лишь бы прошло время

Мои регулярные встречи с Фюсун упорядочили и мою деловую жизнь. Так как теперь я высыпался, то каждое утро приходил на работу рано. (Инге, все так же мило улыбавшаяся мне с боковой стены дома в Харбие, мимо которого я шел каждое утро в контору, продолжала пить «Мельтем», но, по словам Заима, продаже это не очень способствовало.) Теперь я был в состоянии думать еще о чем-то еще, а не только о Фюсун, однако вокруг меня тем временем плелись интриги.

Новая фирма Османа, «Тек-яй», управлять которой он поручил Кенану, неожиданно за короткое время превратилась в серьезного конкурента «Сат-Сата». Но это произошло не из-за успешной деятельности брата с Кена-ном, а потому, что Тургай-бей, при малейшем воспоминании о «мустанге» которого, его фабрике и любви к Фюсун у меня сразу отчего-то портилось настроение— хотя я уже не испытывал никакой ревности,—поручил распространение части своих товаров «Тек-яй». Со своей всегдашней обходительностью он забыл о том, что его не позвали на помолвку, и сейчас дружил с Османом домами. Зимой они вместе ездили на Улуг-даг кататься на лыжах, за покупками в Париж и Лондон и подписывались на одни и те же журналы о путешествиях.

Я был удивлен, как быстро и агрессивно растет «Текяй», но ничего не мог с этим поделать. Молодых и энергичных управляющих, приглашенных мною на работу, и двух управляющих средних лет, которые из-за своего трудолюбия и честности за многие годы стали опорой «Сат-Сата», бессовестно переманил Кенан, предложив им немыслимо высокие зарплаты.

Несколько раз я жаловался за ужином матери, что брат из страсти к деньгам и стремления обвести меня вокруг пальца строит козни против основанного отцом «Сат-Сата». Но она отказалась мне помогать. Думаю, не без помощи Османа мать решила, что я, расставшись с Сибель и начав постоянно бывать у Кескинов, веду странный образ жизни, пошел по кривой дорожке, а поэтому не смогу достойно распоряжаться отцовским наследством.

За два с половиной года визитов к Кескинам наши ужины, беседы, прогулки по Босфору, куда мы отправлялись теперь уже и зимой, переглядывания с Фю-сун, — все превратилось в повторяющуюся обыденность, но обыденность прекрасную, существующую вне времени. Мы никак не могли начать съемки фильма Феридуна, делая вид, будто вот-вот к ним приступим.

Фюсун поняла, что хороший художественный фильм требует еще некоторого времени, коммерческое же кино, снятое у посторонних, оставит ее в одиночку на опасном пути. Она не отводила смущенного взгляда, как раньше, а с гневом смотрела мне прямо в глаза, чтобы напомнить обо всех моих недостатках. И тогда я расстраивался и радовался одновременно, потому что понимал: раз она не сдерживает гнев, значит, считает меня близким человеком.

Теперь перед уходом я снова спрашивал ее: «Фюсун, как продвигаются рисунки?» Если Феридун бывал дома, все равно с моих уст срывался этот вопрос. (После истории в ресторане «Хузур» Феридун стал реже уходить из дома и ужинал с

нами. Правда, киноиндустрия в то время переживала трудные времена.) Как-то раз мы втроем встали из-за стола и долго смотрели на ее рисунок голубя.

— Мне очень нравится, что ты работаешь так медленно, терпеливо, Фюсун, — еле слышно сказал я.

— Я ей все время говорю, чтобы открыла выставку, — так же тихо проговорил Феридун. — Но она стесняется. ..

— Я рисую лишь за тем, чтобы прошло время, — всегда отвечала на такие слова Фюсун. — Самое сложное, чтобы перья на голове голубя получились блестящими. Видите?

— Да, видим, — кивнул я.

Воцарилось долгое молчание. Тем вечером Феридун остался дома—думаю, только для того, чтобы посмотреть выпуск спортивных новостей. Когда из телевизора раздалось: «Г-о-о-л!», он поспешил увидеть повтор. Мы с Фюсун продолжали молчать и смотреть на ее рисунки. Господи, как был я счастлив в такие минуты.

— Фюсун, давай как-нибудь съездим в Париж, вместе увидим все картины, все музеи. Мне очень хочется...

Эти смелые слова я произнес в наказание за ее кислую мину, нахмуренные брови, молчаливый и неприветливый вид, которым она встречала меня несколько вечеров подряд. Фюсун ответила очень мягко:

— Я тоже хочу поехать, Кемаль.

Как многие в детстве, школьником я увлекался рисованием, и в годы учебы в средней школе и лицее подолгу рисовал для себя в «Доме милосердия», мечтая в будущем стать художником. В те годы у меня была наивная мечта поехать в Париж, чтобы посмотреть картины. В 1950-е и в начале 1960-х годов в Турции не было ни одного музея живописи, ни одной книги по живописи, ни одного альбома с репродукциями. Но мы с Фюсун живопись никогда не обсуждали. Нам просто нравился процесс раскрашивания птицы с черно-белой фотографии.

По мере того как странные удовольствия этого непорочного, простодушного счастья, которыми я все больше наслаждался в доме Кескинов, овладевали мною, жизнь за дверями дома Кескинов, на улицах Стамбула представала все более отталкивающей. Смотреть на рисунки, сделанные Фюсун, наблюдать за ее медленной работой, обсуждать, какую из стамбульских птиц, снятых для нее Феридуном. нарисовать следующей — горлицу, коршуна или ласточку, — раз или два в неделю, по нескольку минут в дальней комнате тихим голосом, доставляло мне невыразимое счастье.

Однако слова «счастье» здесь недостаточно. Попытаюсь иначе описать поэзию и глубокое удовлетворение, которое дарили мне те мгновения, которые мы проводили с ней в дальней комнате: у меня появлялось чувство, что время остановилось и все таким и останется навсегда. Вместе с этим я испытывал приятное чувство защищенности, постоянства и домашнего очага. Рядом с ней мне верилось, что все в мире просто и хорошо, и от этого становилось легче на сердце. Ощущение покоя мне дарили созерцание лица Фюсун, ее изящная красота и любовь к ней. Разговаривать с ней в дальней комнате само по *себе было* блаженством. *Но* оно оказывалось таким благодаря небольшому пространству, в котором мы находились. (Мера счастья стала бы другой, поужинай мы в «Фойе».) Столь неизбывный покой, которым я проникался, накладывал отпечаток на все, что окружало меня: ее медленно продвигавшиеся рисунки птиц, плетеную дорожку черепичного цвета на полу, обрезки ткани, пуговицы, старые газеты, очки для чтения Тарык-бея, пепельницы, спицы тети Несибе. И даже запах комнаты служил ему. А какой-нибудь наперсток, пуговица, катушка, которую я незаметно опускал себе в карман, позднее напоминали мне обо всем этом в квартире «Дома милосердия», и я вновь окунался в испытанную глубину счастья.

После каждого ужина тетя Несибе, убрав все кастрюли и обеденные тарелки, поставив оставшуюся еду в холодильник (он всегда казался мне волшебным), брала вязание, лежавшее в большом потертом пакете, или просила Фюсун принести его. Часто это совпадало с тем моментом, когда мы уходили в дальнюю комнату, поэтому она говорила дочери: «Кто пойдет в ту комнату, пусть принесет мне спицы!» Ей нравилось вязать перед телевизором. Тетя Несибе не возражала, чтобы мы оставались наедине, но, полагаю, из-за Тарык-бея через некоторое время сама входила к нам под каким-либо предлогом: «Сама возьму вязание. „Осенний ветер любви" начинается. Будете смотреть?»

И мы шли с ней. За восемь лет я, должно быть, пересмотрел у Кескинов сотни фильмов и сериалов; но, запомнив мельчайшие, даже самые незначительные детали, любую мелочь, связанную с Фюсун и с ее домом, совершенно не сохранил в воспоминаниях целиком какой-нибудь фильм, сериал или теледебаты по случаю государственных праздников, да и вообще хотя бы одну из тысяч программ, которые мы видели. В памяти оставались лишь отдельные фрагменты, мгновения. (Это явно понравилось бы теоретику времени Аристотелю.)

Фрагмент объединялся с определенной картинкой и только так попадал в кладовую сознания. Например, движения ног американского детектива, когда он бежит вниз по лестнице; труба какого-то старого дома, которая не нужна была оператору, но все равно попала в кадр; ухо и волосы женщины во время поцелуя (за столом в этот момент воцарялась тишина); прижавшаяся к отцу испуганная девочка среди тысячной толпы мужчин на футбольном матче (должно быть, ее не с кем было оставить дома); нога в носке совершающего поклоны прихожанина рядом с оператором в мечети в ночь откровения; пароход на Босфоре на заднем плане турецкого фильма; консервная банка от долмы, оставленная злодеем, и множество других образов соединялись с выражением лица Фюсун, которое я замечал. Мне был виден видел край ее губ, поднятые брови, положение руки; иногда она клала вилку на край тарелки, внезапно хмурилась или, нетерпеливо затянувшись, тушила сигарету — такие фрагменты надолго запечатлевались, как сны, которые невозможно забыть. Я много рассказывал об этих картинках разным художникам, чтобы нарисовать их для Музея Невинности, но ни от кого не смог получить исчерпывающего образа. Мне хотелось о многом спросить Фюсун. Почему так расчувствовалась на том эпизоде? Что заставило ее с таким вниманием слушать эту историю? Или смотреть фильм? Мне хотелось расспросить ее обо всем, но Кескины всегда обсуждали скорее не воздействие фильма, а его мораль.

— Подлеца наказали по заслугам, но парня жаль, — например, подытоживала тетя Несибе.

— Перестань, о парне никто и не вспомнил. Эти типы только и верят, что в деньги. Выключи ты этот телевизор, Фюсун, — требовал Тарык-бей.

«Эти типы» — странные европейцы, американские гангстеры, опозорившаяся семья и даже горе-сценарист с режиссером, выдумавшие фильм, — все они мгновенно погружались в бесконечную тьму и исчезали от одного нажатия пальца Фюсун на кнопку. Как только экран телевизора гас, Тарык-бей иногда говорил: «Слава Аллаху! Наконец мы от всех них избавились!»

«Всеми» могли быть герои турецкого или европейского фильма, острослов-ведущий или глупые участники телевикторины. От этих слов на душе становилось еще спокойнее, потому что самое важное здесь и сейчас — сидеть с Фюсун и ее семьей. И тогда мне хотелось остаться подольше, не только ради удовольствия сидеть в одной комнате с Фюсун, но и ради блаженного осознания, что я в этом доме вместе с ее семьей. Переступающий порог моего музея входит в волшебное место. Любовь к Фюсун постепенно распространялась на весь ее мир, на все с ней связанное и ее касавшееся, на все, к чему прикоснулась она.

Чувство пребывания за рамками Времени, которое я испытывал, когда смотрел телевизор, то ощущение безмерного покоя, сделавшее возможным восемь лет визитов к Кескинам и сама любовь к Фюсун, нарушалось, только когда шли новости. Страна катилась к гражданской войне.

В 1978 году бомбы по ночам взрывались и в нашем квартале. Улицы, уходившие в сторону Топхане и Кара-кёя, были под контролем националистов и радикалов, а в газетах писали, что в здешних кофейнях планировалось немало убийств. На выложенных брусчаткой, покрытых ухабами извилистых улочках вверх от Чу-курджумы, в сторону Джихангира, обосновались курды, алевиты, рабочие, студенты и мелкие служащие, симпатизирующие различным левым группировкам. Они тоже любили оружие. Удальство этих двух враждующих лагерей часто перерастало в вооруженные столкновения ради контроля над какой-нибудь улицей, кафе или маленькой площадью: иногда обе стороны переходили в наступление после взрыва бомбы, подложенной секретными службами, либо боевиками, находившимися под тайным контролем властей. Четин-эфенди, который обычно оставался между двух огней, не зная, куда припарковать машину и в какой кофейне меня ждать, в то время намучился немало; но, когда я сказал ему, что вечером могу ездить к Кескинам сам, не позволил мне этого сделать. Улицы Чукурджумы, Топхане и Джихангира никогда не бывали пустыми в поздний час. Возвращаясь домой, мы всегда видели кого-то, кто вешал афиши, расклеивал объявления, писал лозунги на стенах.

В вечерних новостях постоянно рассказывали о бомбах, убийствах и массовых расстрелах, но Кескины не беспокоились, потому что, «Слава Аллаху!», находились у себя дома. Волновались они только по поводу своего будущего. Так как от новостей становилось невьшосимо тяжело, мы любили поговорить не о том, что слышали, а о красивой ведущей, читавшей их, Айтач Кардюз. В противоположность раскованным и спокойным западным телеведущим она сидела точно истукан, никогда не улыбалась и весь текст читала по бумажке, без выражения, без единого жеста и очень быстро.

— Остановись дочка, переведи дух, а то задохнешься, — то и дело твердил Тарык-бей.

Эту шутку он повторял, наверное, десятки раз, но мы все равно все смеялись, будто слышали ее впервые, потому что ведущая, по виду которой была ясно, как она дисциплинированна, как любит свою работу и как боится совершить какую-нибудь ошибку, иногда до конца предложения не останавливалась, чтобы вдохнуть воздуха; а если попадалась длинная фраза, читала быстрее, чтобы не задохнуться окончательно, и тогда лицо у нее краснело.

— Ай, Аллах! Опять краснеет, — сетовал Тарык-бей.

— Детка, постой, набери немного воздуха... — качала головой тетя Несибе.

Айтач Кардюз, словно вняв тетиным словам, на мгновение отрывала взгляд от бумаги в руках, поднимала глаза на нас, то ли с тревогой, то ли с интересом следивших за ней из-за стола, и глотала слюну, с большим усилием и трудом, напоминая ребенка, которому только что вырезали миндалины.

— Молодец, дочка! — одобряла тетушка.

От этой ведущей мы узнали о том, что Элвис Пресли умер у себя дома в Мемфисе; что боевики Красных бригад похитили и казнили бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро; что журналиста Джеляля Салика застрелили вместе с сестрой в Нишанташи прямо у лавки Алааддина.

Другим способом Кескинов оградить себя от внешнего мира, стучавшегося к ним в дом новостными сообщениями, были сравнения появлявшихся на экране людей с нашими близкими знакомыми и долгие обсуждения за ужином, насколько схожи эти люди. В тех спорах и я, и Фюсун принимали искреннее участие.

Помню, когда в конце 1979 года советские войска вторглись в Афганистан, мы

долго обсуждали, что временный президент Афганистана Бабрак Кармаль похож как две капли воды на кассира из пекарни в нашем квартале. Разговор начала тетя Несибе, которая любила находить общее во внешности людей; впрочем, Та-рык-бей воодушевлялся ничуть не меньше. Так как иногда мы с Четином заезжали в пекарню купить к ужину свежего горячего хлеба, я знал работавших там курдов в лицо. Поэтому сразу согласился с тетей Несибе. А Фюсун с Тарык-беем упрямо спорили, что кассир нисколечко не смахивает на нового президента.

Иногда мне казалось, что Фюсун спорит со мной только затем, чтобы поперечить. Например, когда я сказал, что президент Египта Анвар Садат, убитый во время военного парада на стадионе (в Турции генералы так же расправлялись с неугодными им политиками) — копия продавца газет на углу проспекта Богаз-Кесен и спуска Чукурджума, она отвергла мое предположение, как мне показалось, лишь потому, что я так сказал. Сообщение об убийстве Садата несколько дней не сходило с первых полос газет и из новостных программ, поэтому спор между нами перерос в напряженную баталию, которая мне очень не нравилась.

Если чье-то сходство не вызывало сомнений, то важного человека, чье лицо мелькало по телевизору, называли по имени его другого, похожего. И Анвар Садат стал бакалейщиком Бахри-эфенди. На пятый год наших ужинов у Кескинов я уже привык к тому, что одеяльщик Назиф-эфенди — это известный французский актер Жан Габен (мы пересмотрели с ним много фильмов); что Аила, жившая с матерью на первом этаже, который Ке-скины сдавали внаем, одна из подруг Фюсун по кварталу, которых она скрывала от меня,—пугливая ведущая, рассказывавшая иногда о погоде на завтра; что покойный Рахми-эфенди—пожилой председатель исламистской партии, каждый вечер выступавший по телевизору с резкими заявлениями; что электрик Эфе—известный спортивный обозреватель, каждый воскресный вечер рассказывавший о голах за неделю; а Четин-эфенди—новый американский президент Рейган (особенно из-за бровей).

Когда эти знаменитости появлялись на экране, каждому из нас хотелось пошутить. «Бегите, дети, посмотреть на американскую жену Бахри-эфенди, какая красивая!» — смеялась тетя Несибе.

Иногда сразу было не решить, кто на кого похож. Например, мы долго не могли решить, кого нам напоминает Генеральный секретарь ООН Курт Вальдхайм, пытавшийся остановить вооруженный конфликт в Палестине. Тетя Несибе часто спрашивала: «Как вы думаете, на кого он похож?», и пока мы терялись в догадках, за столом наступали долгие паузы. Потом знаменитость на экране исчезала, появлялись другие, шли новости, реклама, но молчание продолжалось.

Тем временем со стороны Топхане и Каракёя раздавался гудок парохода, он напоминал нам о шумном городе, полном людей, и когда я пытался представить, как пароход причаливает к пристани, сам того не желая замечал, как я влился в жизнь Кескинов, сколько времени провел за этим столом и как незаметно между гудками пароходов протекли месяцы и годы.

63 Колонка светских сплетен

Страна неуклонно подвигалась к гражданской войне. На улицах рвались бомбы, происходили перестрелки. Желающих ходить по вечерам в кино почти не стало, и это нанесло серьезный удар по индустрии грез. Бар «Копирка», как и другие киношные заведения, был по-прежнему полон народу, но, поскольку зрители теперь боялись высунуть нос по вечерам, все тамошние завсегдатаи сидели без хорошей работы и снимались либо в рекламе, либо в эротике, либо в боевиках, на которые возник спрос. Крупные продюсеры не вкладывали деньги в такие фильмы, которые мы с удовольствием смотрели в летних кинотеатрах два года назад, поэтому я чувствовал,

как растет мой вес в глазах компании из «Копирки», где я в те дни старался бывать крайне редко, — ведь я, богатый любитель кино, вкладывал деньги в «Лимон-фильм». Как-то вечером, придя по настоятельной просьбе Феридуна, я заметил, что народу там больше обычного, и, как сказал мне кто-то, теперь «весь Йешильчам пьет здесь», а от застоя кинопроизводства выигрывают только такие вот кинобары.

Тем вечером я сам пил с понурыми киношниками до утра. Помню, в конце ночи мы мило беседовали с Тахи-ром Таном, приехавшим тогда ради Фюсун в Тарабью. Еще я познакомился с молодой симпатичной актрисой по имени Папатья, и под утро мы с ней, по ее же словам, «окончательно подружились». Папатья, несколько лет назад игравшая маленьких девочек, которых все несправедливо обижали и которые торговали симита-ми, чтобы ухаживать за слепой матерью, или терпели издевательства мачех (в исполнении моей приятельницы Коварной Сюхендан), сейчас, как и все, жаловалась, что не может осуществить мечты, почти не снимается и вынуждена озвучивать эротику. Ей, конечно, хотелось заручиться моей поддержкой. Якобы был какой-то сценарий, который нравился и Феридуну, и, чтобы сняться в фильме, требовалось вмешательство влиятельного человека. С пьяных глаз мне показалось, что Феридун к ней неравнодушен и между ними, как тогда выражались в глянцевых журналах, «духовная близость»; более того, я с изумлением заметил, что Феридун ревнует Папатью ко мне. Под утро мы втроем вышли из «Копирки» и направились по темным переулкам, мимо темных домов, на стены которых мочились пьяницы, к дому Папатьи в Джихангире, где та жила со своей матерью, дешевой ресторанной певичкой. За нами по холоду неотступно следовали грозные собаки, я предоставил провожать Папатью до дома Феридуну, а сам вернулся в Нишанташи.

В те пьяные ночи на грани реальности я с болью думал, что молодость давно прошла и, хотя мне еще и не исполнилось тридцати пяти лет, жизнь приобрела окончательную форму и у меня не будет больше счастья. Наверное, так рассуждает любой турецкий мужчина. Я пытался утешать себя, полагая, будто причина грустных мыслей и того, что каждый новый день кажется мне все хуже и мрачнее, хотя во мне жила сильная потребность любить и быть любимым,—в окружающей меня жизни: постоянно транслировали новости о заказных убийствах, бесконечных перестрелках, о дороговизне и банкротствах.

А иногда мне казалось, что несчастье минует, потому что, бывая по вечерам в Чукурджуме, я видел Фю-сун, говорил с ней, забирал с обеденного стола и из дома Кескинов вещи, которые потом, в Нишанташи, напоминали о ней. На ложки и вилки, которые я брал у Кескинов, которыми пользовалась Фюсун, я смотрел как на картину. Или как на фотографию незабываемо прекрасного события.

Бывало, у меня появлялось чувство, что мне лучше жить где-нибудь в другом месте, но от этой мысли делалось вновь нестерпимо больно, и я всеми силами пытался отвлечься. Однако, встречаясь с Заимом и узнавая от него последние сплетни, приходил к выводу, что, отдалившись от скучной жизни богатых друзей, не слишком много потерял.

Заиму все не давало покоя, что Мехмед с Нурджихан после года встреч так еще и не «пошли до конца». Они говорили, что хотят пожениться. Эта новость была главной. Хотя все, включая Мехмеда, знали, что в Париже Нурджихан крутила романы с французами, она, по словам Заима, была преисполнена решимости не отдаваться ему до свадьбы. Сама Нурджихан шутила по этому поводу и говорила, что в мусульманской стране залогом долгого, счастливого и спокойного супружества служит не богатство, а отсутствие физической близости до свадьбы. Похоже, это нравилось и Мехмеду. Оба наперебой говорили о мудрых изречениях предков, рассуждали о красоте османской музыки, о тонком и простом мастерстве старинных мастеров из дервишей. Однако, по словам Заима, высший свет не считал Мехмеда с Нурджихан ни набожными, ни традиционными за их увлечение османской культурой,

а все потому, что они напивались чуть ли не на каждом приеме. Подчас оба едва стояли на ногах, но ни один из них не переставал обращаться с другим вежливо и заботливо, о чем с уважением отметил Заим. Пьяный Мехмед воодушевленно говорил, что пьет не то вино, которое известно по старинным стихам, и не винный нектар, воспетый в поэзии, а самое обычное и обязательно читал строки из Недима[22] и Физули[23], — никто, правда, не знал, точно ли он их воспроизводил; затем, пристально глядя на Нурджихан, поднимал бокал за любовь Аллаха. Окружающие воспринимали столь дерзкие выходки без недовольства, нередко даже с уважением, потому что, как уверял Заим, после расторжения нашей помолвки с Сибель девушек из высшего общества не на шутку встревожил ветер изменчивости. Было понятно, что наша история стала поучительным примером для всех и назиданием не слишком доверять мужчинам. Поговаривали, будто матери, у которых были на выданье дочери, советовали им в те годы быть очень осторожными, и виной тому оказалась моя с Сибель несостоявшаяся свадьба. Стамбульский свет — такой хрупкий мирок, где, как в маленькой семье, все смотрят друг на друга и о каждом знают почти все.

С 1979 года я привык к своему образу жизни и установленному мной равновесию между своим домом, работой, визитами к Кескинам и возвращением в «Дом милосердия» . Я часто ходил туда смотреть на свою постоянно росшую коллекцию вещей Фюсун, которая вызывала во мне смешанное чувство восхищения и растерянности, и вспоминал о счастливых часах, проведенных там с ней. Вещи, которых становилось все больше, постепенно оборачивались символами моей непреходящей любви. Иногда они служили не утешением, напоминавшем о пережитом счастье, а отзвуками огромной бури, бушевавшей у меня в душе, и их можно было потрогать руками. Иногда я стеснялся этих вещей, мне совершенно не хотелось, чтобы их когда-нибудь увидел посторонний человек; но меня пугала мысль, что если так дело пойдет и дальше, то через несколько лет все комнаты квартиры заполнятся принесенными мною вещами-воспоминаниями сверху донизу. Я брал их из дома Кескинов не думая о будущем, а лишь для того, чтобы они не давали забыть прошлое. Кто же знал, что с годами эти вещи заполнят собой пространства. Ведь почти все восемь лет я представлял, что вот, еще несколько месяцев, самое большее полгода, и Фюсун бросит мужа, а потом мы поженимся.

8 ноября 1979 года в колонке светских новостей газеты «Актам» под заголовком «Общество» была опубликована статья, вырезку которой я сохранил:

> **КИНО И ВЫСШИЙ СВЕТ: СКРОМНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ**
>
> Всем нам нравится говорить, что Турция занимает третье место в мире после Голливуда и Болливуда по производству фильмов. Но, к сожалению, ситуация меняется: политическая смута и террор отучили граждан выходить по вечерам из дома, а порнографический кинематограф отдалил от кинозалов семьи. Многоуважаемые кинопроизводители теперь не могут найти ни средства для съемок, ни зрителя. Поэтому нынче у турецкой кинопромышленности потребность в богатых предпринимателях, готовых вложить деньги в «высокохудожественный фильм», даже больше, чем была. Прежде любители искусства и кино появлялись из среды провинциальных нуворишей, жаждущих общения с красивыми актрисами. Ни один из наших так называемых «высокохудожественных фильмов», потонувших в похвалах отечественных критиков, на деле не может быть показан образованным

---

[22] Недим, Ахмед Недим — османский придворный поэт XVIII века.

[23] Физули — османский и азербайджанский поэт и мыслитель XVI века, один из классиков литературы Дивана.

людям на Западе и недотягивает до утешительного приза любого, самого захудалого, европейского кинофестиваля. Однако благодаря этим фильмам многие состоятельные господа знакомились с красавицами актрисами и переживали прекрасную любовь. Так бывало раньше. А теперь начинается новая мода... Теперь наши богатые любители искусства приходят на «Йешильчам» не в поисках любви красавиц актрис, а затем, чтобы сделать актрис из девушек, в которых они влюблены. Последний такой случай произошел с отпрыском одной очень богатой стамбульской семьи, с одним из самых завидных молодых холостяков Стамбула господином К. (имя мы сохраним в тайне). Он так влюбился в замужнюю молодую женщину, которую называет своей «дальней родственницей», и так ее ревнует, что теперь никак не может дать согласие на съемки настоящего «художественного фильма», сценарий которого он сам же заказал написать ее мужу-режиссеру. Ходят слухи, что он говорит: «Не выдержу, если она будет целоваться с другим!» Кроме того, как тень, он преследует свою возлюбленную и ее мужа, бывает в барах, где встречаются все, кто близок к кино. Ревнует сильно и даже требует, чтобы красивая замужняя женщина, у которой все шансы стать в будущем прекрасной актрисой, не выходила из дома. Несколько лет назад этот молодой богач обручился в «Хилтоне» с прелестной дочерью одного отставного дипломата, об их шикарной помолвке мы рассказывали в наших публикациях. На помолвке тогда присутствовал весь высший свет Стамбула. Однако затем он безответственно расторг помолвку ради той самой своей красивой «родственницы», которую сейчас якобы собирается сделать актрисой. Мы против того, чтобы безответственный богач, испортив жизнь благородной, обучавшейся в Сорбонне дочери дипломата, испортил будущее еще и начинающей актрисе, красавице Ф., от внешности которой у благородных, неравнодушных к дамам господ текут слюнки уже сейчас. Поэтому, извинившись перед читателями, которым, конечно же, уже наскучили наши наставления, нам хочется дать благородному господину К. совет: сударь, в современном мире, в котором американцы слетали на Луну, «высокохудожественный фильм» без поцелуев больше невозможен! Вы прежде определитесь, что вам нужно. Найдите себе девушку из деревни, в платке, о западном кино и искусстве забудьте; а от мечты делать актрис из городских женщин, которых вы ревнуете даже к взглядам других, лучше откажитесь. Конечно, если ваше намерение — сделать из них только актрис...

БГ

Эту статью я прочитал утром в газете «Акшам», завтракая вместе с матерью. Мать прочитывала обе приходившие каждое утро домой газеты от начала до конца, никогда не пропуская колонку светских новостей. Я вырвал страницу со статьей, сложил и спрятал в карман, когда она за чем-то пошла на кухню. «Что с тобой опять? — спросила она, когда я отправился на работу. —У тебя такой расстроенный вид!»

Придя в контору, я пытался вести себя как ни в чем ни бывало, даже веселее обычного. Рассказал Зейнеб-ханым забавный анекдот; посвистывая, прошелся по коридорам; обменялся шутками с пожилыми сотрудниками «Сат-Сата», у которых с каждым днем от бездействия портилось настроение—не занятые делом, они разгадывали кроссворд в газете «Акшам».

Однако после обеденного перерыва по выражениям лиц, по слишком нежным — и немного испуганным — взглядам Зейнеб-ханым я понял, что статью прочитал весь «Сат-Сат». Потом я сказал себе: может быть, мне только так кажется. После обеда позвонила мать: она ждала меня на обед и расстроилась, что я не пришел. «Как ты, сынок?» — задала она стандартный вопрос, но в голосе звучали особенные ноты нежности. Мне стало понятно, что ей рассказали о статье или она сама раздобыла

пропавшую страницу и прочитала ее, поплакала (голос у нее был чуть глуховатым от слез). «Сынок, в мире очень много людей с черной душой, — сказала мать. — Не обращай ни на кого внимания».

— О чем вы, матушка? Не понимаю, — сделал я вид, будто и не подозревая, о чем идет речь.

— Просто так, сынок, — ответила все с той же особенной нежностью мать.

Если бы я поддался своему чувству и поделился бы с ней своим переживанием, уверен, после первых слов любви и сочувствия мать принялась бы твердить мне, что я сам во всем виноват, и захотела бы узнать подробности нашей истории с Фюсун. А может быть, со слезами уверяла бы, что меня приворожили: «Сынок, тебе подложили заговоренный амулет! Он где-то в доме, в коробке из-под риса или муки или в ящике стола у тебя в кабинете. От него ты и влюбился! Немедленно найди и сожги его!» Но желание делиться с ней у меня пропало, потому что я знал: она не смогла бы разделить со мной грусть и, что важнее, не стала бы говорить со мной об этом. Правда, уважение к моему состоянию мать проявляла. Неужели все это лишь следствие того, насколько серьезным и запущенным было мое положение?

Насколько сейчас презирали меня те, кто прочитал «Акшам»? Кто смеялся над моей глупой и страстной любовью? Насколько все поверили подробностям статьи? Я все время крутил это в голове и в то же время пытался представить, как прореагирует Фюсун. После звонка матери я хотел позвонить Феридуну и посоветовать спрятать сегодняшний выпуск «Акшама». Но не решился. Во-первых, боялся, что не смогу убедить его. А во-вторых (и это самое главное!), несмотря на унизительный тон статьи и то, что меня выставили идиотом, я был ею доволен. И даже радовался: раз детали наших отношений с Фюсун попали в газеты, они в определенном смысле приняты обществом! Весь стамбульский высший свет внимательно следил за колонкой «Общество», особое впечатление производили такие скандальные, колкие статьи — потом все это обсуждали месяцами. Я попытался убедить себя, что сплетни — признак предстоящего моего скорейшего возвращения к обычной жизни, знак того, что я, женившись на Фюсун, под руку введу ее в свой прежний мир. Мне хотелось в это верить.

Но все это были лишь мечты, выдуманные в утешение от безысходности. Я чувствовал, что из-за дурацких сплетен превращаюсь в другого человека. Помню, мне казалось, будто не я сам испортил себе жизнь из-за своей страсти, а меня изгнали из общества после этой статьи.

Подпись «БГ», конечно, означала «Белая Гвоздика». Я сердился на мать, которая пригласила его на помолвку, и злился на Тахира Тана, который, видимо, и попросил Белую Гвоздику написать обо мне. Мне хотелось поговорить обо всем этом наедине с Фюсун, вместе излить проклятия на головы наших врагов, посидеть с ней, утешить ее и чтобы она утешила меня. Нам с ней следовало сделать одно — немедленно, не обращая ни на кого внимания, отправиться в «Копирку». И Феридун должен был пойти с нами! Только так можно доказать, какой подлой ложью пропитана эта статья, чтобы заткнуть не только пьяных сплетников из «Копирки», но и моих «друзей» по стамбульскому свету, которые сейчас смаковали ее.

В тот вечер пойти к Кескинам я так и не смог, хотя пытался себя заставить. Несомненно, тетя Несибе принялась бы меня успокаивать, Тарык-бей сделал бы вид, что ни о чем не знает, но как повела бы себя Фюсун — вот в чем вопрос. Скорее всего, увидев друг друга, мы бы по взгляду сразу поняли, какую боль нам обоим причинила эта статья, какую бурю в душе подняла. А это почему-то пугало меня. Кроме того, стоило только нашим взглядам встретиться, мы признали бы оба — в статье написана правда!

Конечно, многие детали были неверными, я расторг помолвку с Сибель не для того, чтобы сделать Фюсун известной актрисой... И не заказывал сценарий Феридуну.

Но то частности. Сплетники подхватили бы лишь одно: я опозорился из-за любви и из-за Фюсун! Теперь, наверное, все надо мной смеялись, над моим положением шутили, и даже самые благожелательные люди жалели меня. Стамбульский высший свет был тесен, и, хотя у этих людей, не имевших больших состояний и не владевших по-настоящему крупными фирмами, идеалы и принципы менялись, легче мне от этой мысли не становилось. Как раз напротив: я видел себя еще более неудачливым и безголовым. Из-за собственной глупости упустил удачу, дарованную мне от рождения в богатой семье, возможность вести честную, безбедную, благородную и счастливую жизнь в бедной стране. А ведь Аллах так редко ниспосылает это тем, кто живет здесь! Я понимал, что единственный способ выбраться — жениться на Фюсун, навести порядок в делах, заработать много денег и с победой вернуться в общество; но теперь у меня больше не было сил на воплощение счастливого плана, и к тому же я теперь ненавидел людей, которые составляли «высший свет». Да и атмосфера у Кескинов, в чем я нисколько не сомневался, после злополучной статьи совершенно не соответствует моим представлениям.

В итоге я нашел только один выход: замкнуться и замереть недвижно и безмолвно там, куда завели меня любовь и стыд. Каждый вечер неделю подряд я ходил в кинотеатры «Конак», «Сите» и «Кент» на американские фильмы. Кино, особенно в таком мире несчастных людей, как наш, не должно рисовать печальную картину реальности и страданий, а должно создавать другой, новый мир, который будет отвлекать нас и сделает счастливыми. Воображая себя на месте героя какого-нибудь фильма, я думал, что преувеличиваю собственные терзания. Убеждал себя в слишком сильных переживаниях из-за жалкой статьи, ведь мало кто догадается, что в статье высмеивают меня, — скоро о ней вообще забудут Гъраздо труднее мне было избавиться от навязчивой идеи оспорить неправду. Постоянно думая о проросших зернах лжи, я казался себе слабым и, представляя, что все развлекаются этой статьей, обсуждая ее, а некоторые, изображая жалость, рассказывают о моей истории тем, кто ничего не знал, искажая ее еще сильнее, я не находил себе места. Мне представлялось, что все радостно и охотно поверят в написанное, например в то, что я расторг помолвку с Сибель, так как обещал Фюсун сделать ее актрисой. Я ругал себя, что оказался таким неудачником, что умудрился стать объектом газетных насмешек, и сам начинал верить в написанное в статье. Больше всего мне не давала покоя фраза, что я якобы был против поцелуя Фюсун с другим актером. Наверное, именно это место вызвало бы наибольшее количество насмешек, и мне хотелось исправить именно его; от этих мыслей настроение портилось окончательно. Меня раздражало и утверждение, будто я — безответственный молодой богач, бездумно расторгший помолвку, но в это-то хорошо меня знавшие не поверили бы. Скорее они согласились бы с тем, что я не соглашался на сцену поцелуя Фюсун, потому что, несмотря на мой европейский образ жизни, придерживался принятых правил, тем более я брякнул нечто подобное, всерьез или в шутку, когда был пьян. Ведь мне действительно не хотелось, чтобы — будь то ради денег или ради искусства—Фюсун целовалась с кем-то другим.

64 Пожар на Босфоре

Под утро 15 ноября 1979 года мы с матерью проснулись от громкого взрыва в Нишанташи и, в страхе вскочив с кроватей, обнялись в коридоре. Весь дом закачался, как от сильного землетрясения. Мы решили, что где-то недалеко от проспекта Тешвикие взорвалась бомба из тех, какие в те дни подкладывали в кофейнях, книжных магазинах, на площадях и во многих других местах, но тут увидели со стороны Босфора, у противоположного берега, Ускюдара, поднимавшееся пламя. Некоторое время мы смотрели на пожар и краснеющее небо вдали, а потом вновь

легли и уснули, так как уже привыкли к взрывам и политическим акциям такого рода.

Румынский нефтяной танкер столкнулся напротив вокзала Хайдарпаша с маленьким греческим судном, танкер и пролившаяся в Босфор нефть загорелись. На следующий день об этом поспешно написали все газеты, весь город только и обсуждал несчастье, все говорили, что горит Босфор, показывая на облака дыма, висевшие над Стамбулом в виде черного зонтика. В «Сат-Сате» я переживал тот пожар весь день вместе со всеми пожилыми сотрудниками и скучающими управляющими и обдумывал, что пожар—хороший повод, чтобы пойти к Кескинам на ужин. Я мог бы сидеть за столом и говорить только о случившемся, не вспоминая о статье. Но, как и для всех стамбульцев, пожар на Босфоре соединился в моих мыслях с заказными убийствами, огромной инфляцией, очередями, бедственным положением страны и прочими неурядицами, от которых страдали все, и стал своего рода их символом и иллюстрацией. Читая в газетах о пожаре, я чувствовал, что на самом деле думаю о беде, которая произошла с моей жизнью, а пожаром интересуюсь именно только поэтому.

Вечером я пошел в Бейоглу и долго брел по проспекту Истикляль, поражаясь его непривычной пустоте. Кроме одного — двух беспокойных мужчин перед большими кинотеатрами вроде «Сарая» или «Фиташа», где крутили дешевые эротические фильмы, на улице не было больше ни души. На площади перед лицеем «Галатасарай» я подумал о том, как отсюда близко до дома Фюсун. Они могли бы вечером отправиться всей семьей в Бейоглу, есть мороженое, что часто делали летом. И тогда бы я их встретил. Но на улице не было ни женщин, ни семей.

У площади Тюнель я испугался, что опять приближаюсь к дому Фюсун и не смогу устоять перед его притяжением, и потому пошел в противоположную сторону. Пройдя мимо Галатской башни, я спустился по проспекту Юксек-кадцырым. На перекрестке улицы Публичных домов с Юксек-калдырым оказалось многолюднее, там топтались редкие из осмелившихся выбраться, растерянные и обеспокоенные мужчины. Они, как и весь город, смотрели на черные, озаренные оранжевым светом облака.

Вместе с наблюдавшими за пожаром я перешел мост Каракёй. Ловившие рыбу тоже не отрывали глаз от пугающего зарева. Ноги сами несли меня за прибавлявшимися людьми, к парку Польхане. Фонари в парке, как и большинство на улицах Стамбула, были разбиты камнями или не горели из-за отсутствия электричества, но тем вечером не только огромный парк Польхане, но и Дворец Топкапы, устье Босфора, Ускюдар, Саладжак и Девичья Башня — в общем, все вокруг освещали отблески огня от полыхавшего танкера. Свет с неба, отражаясь от облаков, распространял свое приятное мягкое сияние, словно включили абажур в какой-нибудь гостиной, и от этого столпившиеся люди казались счастливее и спокойнее, чем они были. Или только выглядели такими, ведь наблюдать за чем-то всегда приятно. Постепенно публики прибавилось: богатые, бедные, любопытные, испуганные—люди стекались со всех сторон города на машинах, на автобусах, пешком. Я видел старушек в платках, молодых матерей, обнявших мужей с детьми на руках, безработных, словно зачарованных, любовавшихся пламенем, носившихся в толпе детей. Некоторые, глядя на огонь, слушали музыку, сидя в своих автомобилях и грузовиках; со всех концов города собрались уличные разносчики симитов, халвы, долмы с мидиями, жареной печени, лахмаджуна и чая на подносах. Вокруг памятника Агатюрку торговцы котлетами и колбасками с хлебом разожгли на тележках со стеклянными витринами печки, и вокруг приятно запахло жареным мясом. Мальчишки торговали айраном и лимонадом («Мельтема» не было), и от их криков парк стал похож на рынок. Я купил у одного стаканчик чая, сел на скамейку, где освободилось место рядом со старым беззубым бедняком, и, посматривая на огонь, подумал, что счастлив.

Потом я ходил в парк целую неделю, каждый вечер, пока огонь не прекратился.

Иногда, казалось, он гас, но внезапно вспыхивал с новой силой, и тогда на лицах всех, кто с восхищением и ужасом смотрел на пламя, бродили рыжеватые отблески, и оранжевым, а иногда желтоватым, как звезды, светилось не только устье Босфора, но и вокзал Хайдарпаша, Казармы Селимие и бухта Кадыкёя. И я вместе со всеми стоял очарованный, затаив дыхание, и любовался этой картиной. Через некоторое время раздавался новый взрыв, а потом огонь постепенно смирялся и затихал. И тогда зрители отвлекались едой и разговорами.

Однажды вечером среди гуляющих в парке Польхане я встретил Мехмеда с Нурджихан, но сбежал от них, прежде чем они меня увидели. В другой раз увидел семью, девушка со спины походила на Фюсун, а сопровождавшие ее на тетю Несибе и Тарык-бея; и тогда я понял, что мне очень хочется случайно встретить в парке семейство Кескинов, может быть, именно поэтому я каждый вечер прихожу туда. Мое сердце заколотилось быстрей, как летом 1975 года—с тех пор прошло четыре года, — с момента встречи на пароходе с девушкой, похожей на Фюсун. Кескины, убеждал я себя, сознают, что беды сближают людей. Мне надо сходить к ним, разделить с ними сплотившую всех общую беду, прежде чем огонь на румынском танкере «Индепендента» погаснет, и забыть обо всем плохом, что произошло. Мог ли пожар стать для меня началом новой жизни?

Как-то вечером, бродя по парку в поисках пустующей скамейки, я встретил Тайфуна и Фиген. Сбежать от них не удалось, потому что мы буквально столкнулись. Они ни слова не сказали ни о статье в «Акшаме», ни о том, что происходило в нашем обществе, и, что самое важное, оба вели себя так, будто ничего не слышали обо мне. Это меня несказанно обрадовало, и я ушел из парка вместе с ними — огонь уже почти прекратился, сел к ним в машину, и мы поехали в один из новых баров, открывшихся на окраинах Таксима, где пили до утра.

Вечером следующего дня — в воскресенье — я отправился к Кескинам. До этого весь провалялся в кровати и пообедал дома с матерью. Настроение мое улучшилось, меня поддерживала надежда на лучшее и ощущение счастья. Но, как только я вошел к Кескинам и увидел глаза Фюсун, все мечты погибли: она выглядела печальной, рассерженной, обиженной.

— Как дела, Кемаль? — спросила она, пытаясь изобразить веселье и радость. Но моя красавица сама не верила собственным словам.

— Ничего, слава богу, — ответил я бесцеремонно, как ни в чем не бывало. — Столько было дел на фабрике, в конторе, что не мог выбраться.

Когда в турецких фильмах герои начинают с симпатией относиться друг к другу, какая-нибудь тетушка бросает многозначительный взгляд на зрителя, чтобы даже самые невнимательные заметили происходящее и прониклись. Именно так посмотрела на нас тетя Не-сибе. Но почти сразу отвела глаза, а я понял, что после статьи в доме было пережито немало и, совсем как после помолвки, Фюсун страдала.

— Дочка, ну-ка налей гостю ракы,—велел Тарык-бей.

Я всегда уважал Тарык-бея за то, что он три года подряд делал вид, будто не знает о происходящем, и всегда с искренней любовью встречал меня только как родственника, который приходит по вечерам в гости. Но теперь я внезапно рассердился на него: как же он мог столько лет оставаться безразличным к беде дочери, к моему безысходному положению, к тому, что сделала с нами жизнь. Конечно, Тарык-бей знал, почему я прихожу к ним, но под давлением супруги решил делать вид, будто ничего не происходит.

— Да, Фюсун-ханым, — произнес я, не скрывая досады. — Налейте мне ракы, чтобы почувствовать радость возвращения домой.

Даже сейчас не понимаю, зачем все это было сказано. Наверное, от безысходности. Но Фюсун в моих словах расслышала чувство, скрывавшееся за ними, и на мгновение показалось, что она вот-вот расплачется. Я посмотрел на кенара в

клетке. Чередой предстали картины прошлого, вся моя жизнь, образы времени, которое никогда не течет вспять.

Именно в те годы мы переживали самые трудные наши времена. Фюсун не превратилась в кинозвезду, ау меня не получилось стать ближе к ней. И в этом трудном положении заключалось и нечто унизительное для нас. Я понимал, выбраться из него почти невозможно, как порой мне не удавалось вовремя уйти домой. Пока я видел Фюсун четыре-пять раз в неделю, ни она, ни я не имели возможности создать другую жизнь, мы оба знали это.

Тем вечером под конец ужина я по привычке, но искренне, сказал:

— Фюсун, столько дней прошло. Интересно, как там твой рисунок горлицы?

— Рисунок горлицы давно закончен, — почти отрезала она. — Феридун нашел хорошую фотографию ласточки. Сейчас я начала рисовать ее.

— Самой красивой будет именно она, — улыбнулась тетя Несибе.

Мы пошли в дальнюю комнату. Ласточка на картине изящно и успешно была посажена художницей на окно эркера нашей гостиной, выходившего на спуск, как и другие стамбульские птицы, сидевшие на балконных решетках, водостоках, печных трубах. За спиной ласточки в странной, неумелой перспективе виднелся выложенный брусчаткой спуск Чукурджума. Меня восхитил рисунок:

— Я горжусь тобой.

Но несмотря на всю искренность в голосе звучала безысходность. «Все это однажды должен увидеть весь Париж!» На самом деле мне хотелось сказать другое:

«Милая, я тебя очень люблю, я очень соскучился, оказывается, быть далеко от тебя — очень больно, какое счастье — быть рядом, вместе!» Казалось, то, чего не хватало миру с картины, недоставало и нашему, — я осознал это, с грустью замечая легкость, простоту и наивность ласточки.

— Очень красивая картина получилась, Фюсун, — произнес я осторожно, чувствуя сильную боль.

Ее рисунок чем-то напоминал индийские миниатюры, создававшиеся под влиянием английской живописи, японские рисунки птиц, картины американского орнитолога Одюбона с его любовью к деталям и даже вкладыши с рисунками птиц из вафельных шоколадок, которые продавались в стамбульских бакалеях.

На фоне птиц Фюсун всегда рисовала виды города. Мне почему-то было грустно, когда я смотрел на них. Мы любили нарисованный мир, принадлежали ему, и поэтому словно бы продолжали сохранять то простодушие, которое было и на рисунке.

— Сделай потом как-нибудь поярче дома сзади...

— Да ладно, дорогой, я же просто так рисую, — вздохнула Фюсун. — Лишь бы прошло время.

Она отложила рисунок, который показывала, в сторонку. Вокруг, в полном порядке, лежали наборы красок, кисти, банки и разноцветные тряпки, такие притягательные для меня. Поодаль по-прежнему виднелись тетины обрезки ткани, наперстки. Я тайком опустил в карман цветной фарфоровый наперсток и оранжевый пастельный мелок, который только что вертела в руках Фюсун. В те мрачные месяцы, самые тяжелые из которых выпали на конец 1979 года, я украл у Кескинов больше всего вещей. Теперь каждая из них стала для меня не столько знаком прекрасного мгновения, которое я пережил, но и частью этого мгновения. Например, спичечные коробки... Они теперь хранятся в Музее Невинности... Каждого касалась рука Фюсун, на них сохранился запах ее кожи, легкий аромат розовой воды. Когда в квартире «Дома милосердия» я брал коробок в руки, переживал заново удовольствие, какое испытывал, когда сидел рядом с ней, ловил ее взгляд. Но, взяв спичечный коробок со стола и словно невзначай опустив себе в карман, я постигал другую составляющую счастья. Оно, оказывается, связано и с тем, чтобы оторвать, взять себе кусочек существа, которого любишь страстной, навязчивой любовью, но которым не можешь

обладать.

Слово «оторвать», конечно же, намекает на возможность заполучить частичку тела возлюбленного, которому мы поклоняемся. За три года ее мать, отец, стол, за которым мы ужинали, печь, ведро с углем, фарфоровые статуэтки собачек, спящих на телевизоре, бутылки из-под одеколона, сигареты, стаканы для ракы, сахарницы, — все, что было в их доме, постепенно стало для меня частью Фюсун. Насколько я был счастлив, насколько мог быть счастливым, видя Фюсун, настолько же радовался, когда забирал что-то (слово «воровал» здесь неуместно) из дома Кескинов — то есть из жизни Фюсун. Обычно—по три-четыре предмета, иногда побольше — по пять или шесть, а в самые грустные дни по десять— пятнадцать. Я уносил их в «Дом милосердия». Мне доставляло огромное наслаждение быстро положить в карман какую-нибудь вещицу, например солонку, которую она только что изящно держала в руке, задумчиво глядя в телевизор; а за беседой, глотая ракы, сознавать, что солонка у меня в кармане и теперь я «ею обладаю». В такие вечера я уходил от Кескинов без особых трудностей.

То были самые несчастливые годы не только для меня, но и для Фюсун. Много лет спустя, когда жизнь столкнула меня со странными, часто одинокими и одержимыми стамбульскими коллекционерами и когда я посещал их дома, забитые бумагами, мусором, коробками и фотографиями, я пытался понять, что чувствуют эти люди, когда собирают крышки из-под лимонада или портреты актеров; что означает для них каждый новый предмет; и вспоминал, что чувствовал я, когда собирал вещи из дома Фюсун.

65 Собаки

Прошло много лет, и я отправился путешествовать по миру. Целью моей было осмотреть все музеи мира, и, повидав за день в Перу, Индии, Германии, Египте или какой-нибудь другой стране десятки тысяч маленьких и странных вещей, по вечерам я выпивал стаканчик-другой, потом часами бродил в одиночестве по улицам чужих городов. В Лиме, Калькутте, Гамбурге, Каире — повсюду я заглядывал в окна домов и через занавески видел, как люди ужинают всей семьей перед телевизором. Иногда даже под различными предлогами заходил к людям, фотографировался с хозяевами дома. Именно так я заметил, что почти везде на телевизоре, перед которым по вечерам собиралась вся семья, стоит фарфоровая собачка. Почему миллионы семей в разных уголках земного шара стремились поставить именно ее?

Интересоваться этим вопросом я начал у Кескинов. Фарфоровая собачка, которая попалась мне на глаза во время первого прихода в дом Фюсун, как позднее выяснится, до появления телевизора стояла на радиоприемнике. Под ней была постелена вышитая салфетка. То же самое я видел в Тебризе, в Тегеране, на Балканах, на Востоке, в Лахоре и в Бомбее. Иногда рядом с собачкой помещали маленькую вазочку или морскую раковину (однажды Фюсун со смехом прижала мне ее к уху, чтобы я послушал шум океана, спрятанного в ней), часто собачку (или даже несколько) ставят рядом с пепельницей, чтобы она ее охраняла. Иногда казалось, что какая-нибудь собачка сейчас качнет головой или прыгнет на пепельницу. Я полагал, что тетя Несибе знает этот секрет, но в декабре 1983 года оказался невольным свидетелем того, как Фюсун переставила собачку на телевизоре, пока я с восхищением смотрел на нее. В тот раз она передвинула ее от нетерпения — мы все сидели за столом и ждали ужин, который готовила ее мать. Но почему все-таки на телевизор ставили собачек, это не объясняло. В последующие годы там расположилась еще одна фигурка, также рядом с пепельницей. Появились, но почти сразу исчезли две пластмассовые собачки, которые умели качать головами и в те годы были популярным украшением на лобовом стекле в такси и на рейсовых

автобусах. Способность собачек быстро появляться и столь же стремительно исчезать, о которой никто ничего не говорил, была связана с моим уже откровенным интересом к вещам Кескинов. Собачки исчезали, а Фюсун с тетей Несибе чувствовали либо знали, что их, как и другие вещи, «брал» я.

Признаться, мне совершенно не хотелось показывать свою коллекцию либо рассказывать о моей ставшей навязчивой привычке кому-то постороннему, потому что я чувствовал стыд. Некоторые предметы — такие как спичечные коробки, окурки от сигарет Фюсун, солонки, кофейные чашки, шпильки и заколки — забирать получалось почти незаметно. Исчезновение же пепельницы, чашки или тапки вызывало переполох, поэтому со временем я начал покупать и приносить взамен унесенных вещей новые.

— Тетя Несибе, помните, мы на днях говорили о собачке с телевизора! Так вот: она у меня. Она случайно разбилась. Взамен я принес эту, тетя. Покупал на Египетском базаре зерно и тыквенные семечки для Лимона, там и увидел в одной лавке...

— А этот черноухий хорош! Настоящий уличный пес... Ах ты, черноухий! Ну-ка садись вот сюда. Такие штучки ведь людей успокаивают, бедный мой мальчик....

Она брала фарфоровую собачку у меня из рук и ставила снова на телевизор. Некоторые из этих молчаливых существ действительно дарили нам ощущение покоя. Другие смотрелись угрожающе, третьи были откровенно уродливы, неприятны, но благодаря им мы чувствовали, что пространство, где мы находимся, охраняется собаками, и поэтому мы в безопасности. По вечерам на улицах квартала, отдаваясь эхом, гремели выстрелы, и мир за порогом казался все тревожнее. Черноухий пес, по мнению Кескинов, был самым симпатичным из всех, сменившихся на телевизоре за восемь лет.

В сентябре 1980 года произошел новый военный переворот. Утром я отчего-то встал раньше матери и, увидев абсолютно безлюдный проспект Тешвикие и столь же пустынные улицы, прилегающие к нему, угадал, что происходит, ибо с детства повидал несколько военных переворотов, случавшихся раз в десять лет. Потом услышал гул едущих военных грузовиков с солдатами, напевавшими военные марши. Я включил телевизор, посмотрел на торжественный парад, послушал речи захвативших власть генералов, а затем вышел на балкон. Неожиданно установившаяся тишина и шелест каштанов от легкого ветра во дворе мечети обратили мои мысли в прошлое. Ровно пять лет назад в столь же ранний час мы с Сибель вышли на этот балкон после вечеринки в честь окончания лета и увидели, как замер мир.

— Хорошо, что переворот! Государство стояло на грани гибели, — радовалась мать, слушая по телевизору патриотические народные песни в исполнении военного певца с большими густыми усами. — Но зачем они этого мужлана на телевидение пустили?! Фатьма, приготовь поесть! Что в холодильнике? Бекри сегодня не сможет прийти.

В тот день из домов выходить запретили. Глядя на военные грузовики, то и дело проносившиеся по проспекту, мы понимали, что в эту минуту арестовывают и увозят многих политиков, журналистов и обычных людей, и радовались, что никогда не вмешивались в политику. Все газеты в срочном порядке подготовляли новые выпуски, где восторженно прославляли переворот. Я просидел дома с мамой перед телевизором до вечера, читая газеты и глядя из окна на открывающуюся красоту города; по телевизору без конца крутили объяснения генералов причин переворота и кинохронику с Ататюрком. Я думал о Фюсун, о ее родителях, пытался представить, что сейчас происходит в Чукурджуме. Ходили слухи, что в некоторых кварталах обыскивали каждый дом, как во время событий 1971 года.

— Теперь можно будет спокойно ходить по улицам! — радовалась мать.

Но, так как по вечерам после десяти вечера начинался комендантский час, военный переворот испортил удовольствие от ужинов у Фюсун. В новостях единственного канала, который смотрела вся страна, генералы ругали за старое не только политиков, но и весь народ. Многие люди, активно участвовавшие в радикальных группировках, были поспешно казнены в назидание другим. За столом у Кескинов мы смолкали, слушая такие новости. И тогда я чувствовал, что еще больше приблизился к Фюсун, стал частью ее семьи. В тюрьму бросали не только политиков, оппозиционеров из интеллигенции, но и аферистов, тех, кто нарушал правила дорожного движения, писал на стенах политические лозунги, владельцев домов свиданий, тех, кто снимал эротические фильмы и показывал их, всех уличных лотошников и игроков, торговцев контрабандными сигаретами... Правда, в отличие от предыдущих военных переворотов солдаты не ловили длинноволосых молодых людей, похожих на хиппи, и не брили их, зато во многих университетах уволили многих преподавателей. «Копирка» тоже опустела. Я после тоже решил навести порядок в своей жизни — поменьше пить и унижаться из-за любви, упорядочить способ забирать вещи у Кескинов.

Однажды вечером, когда после военного переворота прошло меньше двух месяцев, мы с тетей Несибе очутились перед ужином на кухне вдвоем. Чтобы дольше побыть у Фюсун, в те дни я приезжал пораньше.

— Милый Кемаль-бей, помните, вы приносили собачку на телевизор, черноухий бродяга пес... Он пропал... К вещам когда привыкнешь, сразу замечаешь. Мне-то все равно, что с ним, может, сам убежал, но Тарык-бей не унимается, все время спрашивает: что с ним случилось? — сказала она и сначала улыбнулась, но потом, заметив суровое выражение на моем лице, посерьезнела: — Что нам делать? — переспросила она.

— Я что-нибудь придумаю.

За ужином у меня пропала охота говорить. Несмотря на это молчание — или же из-за него — я не мог встать и уйти. Когда уже вот-вот начинался комендантский час, я почувствовал, что мне вообще не уйти, это напоминало приступ какой-то серьезной болезни. Полагаю, этот приступ заметили даже Фюсун с тетей Несибе. Тетушке пришлось несколько раз повторить: «Господи, Ке-маль-бей, вы только смотрите, не опоздайте!» В тот вечер я ушел от них только в пять минут одиннадцатого.

На обратном пути нас никто не задержал. Дома я долго размышлял о собачках и их роли в доме, о том, что сначала я их приношу, а потом забираю и их там больше нет. Отсутствие черноухого пса Кескины заметили только через одиннадцать месяцев, после того как я его унес, да и то, по-моему, из-за стремления навести во всем порядок, которое сейчас, с переворотом, владело всеми. Сама тетя Несибе, конечно, полагала, что они заметили это «сейчас». Ведь, ставя собачек на радиоприемники, семья, собиравшаяся по вечерам послушать что-нибудь интересное, поворачивалась к приемнику, а там хотелось увидеть что-нибудь отвлекающее, успокаивающее. Но, когда семейным «михрабом»[24] стал телевизор и фарфоровые существа тоже перебрались на новый постамент, никто крохотных животных уже не замечал — глаза теперь всегда смотрели на экран. И потому я уносил их незаметно.

Через два дня, придя к Кескинам, я прихватил двух фарфоровых собачек:

— Шел сегодня по Бейоглу, увидел в витрине «Японского базара». Решил, что они самое то для нашего телевизора.

---

[24] Михраб — ниша в стене мечети, к которой обращаются мусульмане во время молитвы, указывающая кыблу, то есть направление, где находится Мекка с главной мусульманской святыней — Каабой.

— Ах, какие миленькие, — обрадовалась тетя Не-сибе. — Не стоило утруждаться, Кемаль-бей!

— Я расстроился, что черноухий исчез, — соврал я. — Но видеть его в одиночестве на телевизоре было еще грустней. Парочка точно будет лучше — псы явно веселые и счастливые...

— Неужели вам и в самом деле было жаль черноухого, Кемаль-бей?—улыбнулась тетя. — Ведь вы такой веселый. Но мы вас очень любим за это.

Фюсун тоже мне улыбнулась.

— Я очень расстраиваюсь, когда выбрасывают или забывают какие-то вещи, — продолжал я объяснять. — Китайцы верят, что у вещей есть душа.

— Тут по телевизору недавно показывали, что мы, турки, до того как пришли в Малую Азию, много дел с китайцами имели, — заметила тетя Несибе. — Вас тем вечером не было. Фюсун, как та передача называлась? Ой, как вы удачно собачек поставили! Пусть стоят лицом друг к другу. Или повернуть их к нам? Не могу решить.

— Пусть левая будет повернута к нам, а вторая — к ней, — внезапно подал голос Тарык-бей.

Иногда, в самый неожиданный момент, когда мы были уверены, что Тарык-бей нас не слушает, он внезапно вмешивался в разговор и советовал что-то мудрое, из чего явствовало, что он следил за разговором, и очень внимательно:

— Тогда они и скучать не будут и нас будут видеть, станут членами семьи, — добавил он.

Я больше года не мог прикоснуться к этим собачкам, хотя мне очень хотелось. А когда забрал их в 1982 году, вместо унесенных вещей уже не раз оставлял некоторую сумму денег или же взамен унесенной вещи приносил на следующий день новую и очень дорогую. За те последние годы на телевизоре сменились странные пары: игольница с собачкой или собачка с сантиметром.

66 Что это?

Однажды вечером, через четыре месяца после военного переворота, когда до начала комендантского часа оставалось пятнадцать минут и мы с Четином возвращались домой, на проспекте Сырасельвилер нас остановил военный патруль, проверявший у всех проезжавших документы. Я, развалившись, сидел на заднем сиденье, бояться мне было нечего. Однако, пока я искал паспорт, взгляд солдата задержался на терке для айвы, лежавшей рядом со мной, и мне стало неспокойно.

Войдя к Кескинам в дом, я сразу почувствовал запах айвового варенья. Тетя Несибе рассказала, как после обеда варила его вместе с Фюсун на медленном огне. Я представил Фюсун помешивающей вязкую массу деревянной ложкой, пока мать хлопотала над чем-то другим. Стоило мне взять терку в руки, счастье захватило меня сполна, так что в тот вечер я ушел рано, без особых усилий, а в машине, довольный, как охотник, который только что подбил вальдшнепа, достал терку из-под полы пальто и положил ее рядом с собой.

Проверив документы, солдаты обычно отпускали проезжавших. Иногда заставляли всех выйти и внимательно обыскивали машину и пассажиров. Нам тоже было велено так сделать.

Мы с Четином вышли. Солдаты внимательно смотрели в наши паспорта. Нам приказали поднять руки вверх, и мы, точно преступники в кино, подняв руки, положили их на крышу «шевроле». Двое солдат обыскивали в машине каждый угол, бардачок, под креслами. Помню, тротуары на проспекте Сырасельвилер, зажатом высокими жилыми домами, в тот момент были влажными, а несколько прохожих обернулись, глазея на продолжавших обыск солдат и на нас. Приближалось начало

комендантского часа, на улицах виднелись редкие прохожие. Впереди темнели окна известного дома свиданий «Шестьдесят шесть» (по номеру дома), куда в свое время ходил почти весь наш класс и где Мехмед знал многих девушек.

— Это чье? — спросил один из солдат, указывая на терку.

— Мое...

— Что это?

Я мгновенно понял, что не смогу сказать правду. Если признаюсь, они сразу поймут, что я страстно влюблен и ради возможности видеть женщину, которая замужем много лет, несколько раз в неделю приезжаю в ее дом; им станут ясны весь позор и безнадежность моего положения, и они решат, что человек я странный и плохой. Голова моя затуманилась от ракы, которую мы, чокаясь, пили с Тарык-беем. Но мне не нравилось, что терка для айвы, недавно бывшая на кухне Фюсун, сейчас в руках добродушного сержанта из Трабзона — так мне показалось, что он оттуда. Однако проблема была иного свойства: она касалась жизни в нашем мире и того, чтобы ощущать себя человеком.

— Бейэфенди, это ваша вещь? -Да.

— Что это такое?

Я опять погрузился в молчание. Мной овладевало ощущение поражения и безысходности, похожее на то, когда не получалось уйти от Кескинов, и хотелось, чтобы солдат понял меня без слов, но ничего не выходило.

В начальных классах школы с нами учился один странный и глуповатый мальчик. Когда учитель по математике вызывал его к доске и спрашивал, сделал ли тот домашнее задание, он все время молчал, как и я сейчас, — не говорил ни «нет», ни «да», и так, переминаясь с ноги на ногу, словно виноватый или бестолковый, стоял перед нами до тех пор, пока учитель не выходил из себя. Всякий раз растерянно наблюдая эту сцену, я не мог понять: если однажды человек замолкал, может ли кто-нибудь заставить его заговорить или здесь все бессильно и он может молчать годами, столетиями. Но в детстве я был веселым, счастливым и раскованным. Той ночью, на проспекте Сырасельвилер, я понял, что значит молчание, как бывает, когда не можешь произнести ни слова. Ведь и моя любовь к Фюсун, в конечном счете, есть не что иное, как история подобного упорства и ухода в себя. Любовь, страсть к ней никак не позволяла делить этот мир с кем-либо другим. Я давно, еще в самом начале, понял, что в мире, где я живу, это невозможно, а поэтому решил погрузиться в себя и искать Фюсун там. И, по-моему, она поняла, что я обязательно найду ее — в самом себе. В конце концов все должно закончиться хорошо.

— Командир, это терка... — не выдержал Четин-эфенди. — Обычная терка для айвы.

Как это он успел разглядеть, что это терка?

— А почему он сам не может сказать? — Сержант повернулся ко мне. — Знаешь, сейчас диктатура... Ты глухой?

— Командир, Кемаль-бей очень расстроен.

— С чего это? — сержант явно не желал закончить дело полюбовно. — Ждите в машине! — приказал он резко и удалился с нашими паспортами и теркой.

Я увидел, как она блеснула в свете автомобильных фар стоявшей следом за нами машины, а потом ее бросили в маленький военный грузовик.

Мы с Четином принялись ждать в «шевроле». Машины проносились с большой скоростью мимо нас. Мы видели, как они быстро разворачиваются на площади Таксим. И оба ничего не говорил — так виновато и испуганно молчат люди перед полицейскими, во время обыска, на паспортном контроле. Было слышно, как тикают автомобильные часы, мы сидели не двигаясь, стараясь не издать ни звука.

Я подумал о том, что терка сейчас в руках какого-нибудь капитана, и забеспокоился. Беспокойство все усиливалось, и, ожидая в тишине, я почувствовал,

что, если военные заберут терку, мне будет очень больно. Четин включил радио. До нас донеслись директивы военного командования. Список тех, кто находится в розыске, и тех, кого уже поймали, запреты, приказы. Я попросил Четина переключить канал. После долгого треска послышалось что-то из далекой страны, что соответствовало моему душевному состоянию. Пока мы слушали радио, капли мелкого дождя стекали по лобовому стеклу.

Через двадцать минут после начала комендантского часа подошел один из солдат. Отдал нам наши паспорта.

— Все в порядке, можете ехать, — разрешил он.

— А нас не остановят за то, что мы до сих пор на улице? — уточнил Четин.

— Скажите, что мы вас задержали, — буркнул солдат.

Четин завел мотор. Подняли шлагбаум. Но я вышел из машины и направился к военному грузовику.

— Командир, у вас, кажется, осталась терка. Это терка моей матери...

— Смотри-ка! То молчал, как немой, а тут заговорил!

— Бейэфенди, твоя терка относится к колющим и режущим предметам, ее нельзя с собой носить! — сказал другой военный, кажется, в более высоком чине. — Ну да ладно, бери. Но больше с собой не носи. Ну-ка, скажи, чем ты занимаешься?

— Я предприниматель.

— Налоги платишь?

— Плачу.

Больше они не спросили ничего. Я был немного раздосадован, но и счастлив одновременно, так как вернул терку себе. Машина медленно ехала по ночному Стамбулу, и я чувствовал себя счастливы человеком. Пустые и темные улицы, отданные стаям бродячих собак, проспекты, сжатые бетонными многоэтажками, невзрачный вид и уродство которых днем портили мне настроение, сейчас казались мне поэтичными и волшебными.

67 Одеколон

В январе 1980 года мы встретились с Феридуном за обедом, чтобы обсудить наши киношные дела. Ели луфаря и пили ракы. Феридун занимался съемками рекламных роликов с одним знакомым из «Копирки», оператором по имени Йани. Я не возражал, но Феридун уверял, что занимается рекламой только ради денег и что такая работа раздражает его. Меня удивляло, почему он, всегда сдержанный, спокойный, с юного возраста овладевший мастерством без усилий, легко получать удовольствия от жизни, терзается моральными проблемами, но пережитое научило меня понимать, что большинство людей на самом деле не такие, какими кажутся.

— Есть один готовый сценарий, — рассказывал за обедом Феридун. — Если что-то снимать за деньги, то лучше взять его. Сюжет немного банальный, но возможность хорошая.

Про «готовые» сценарии я часто слышал в «Копирке». Это означало, что они прошли цензуру и получены все официальные разрешения на съемки. В те годы цензурный комитет пропускал очень мало сценариев, которые могли бы понравиться зрителям, так что продюсеры и режиссеры иногда снимали все подряд, лишь бы не простаивать. Так как цензурный комитет делал все фильмы похожими, заставляя сглаживать острые углы, интересные и необычные мысли, большинству режиссеров было все равно, чем заняться и о чем их будущая картина.

— Сюжет подходит для Фюсун? — спросил я Феридуна.

— Совершенно не подходит. Даже для Папатьи весьма легковесная роль. Актрисе нужно будет раздеться. А главного персонажа сыграет Тахир Тан.

— Тахир Тан играть не будет, — отрезал я.

И мы долго спорили о выборе мужчины-актера, будто тот факт, что в нашем первом фильме мы снимаем Папатью, а не Фюсун, вообще ничего не значил. По уверениям Феридуна нам не стоило поддаваться эмоциям и следовало бы забыть о происшествии с Тахиром Таном в ресторане «Хузур». Мгновение мы пристально посмотрели друг другу в глаза. Насколько он беспокоился о Фюсун? Я спросил, о чем будет фильм.

— Богатый человек совращает дальнюю и красивую родственницу, а потом бросает ее. Девушка, лишившись чести, становится певицей... Песни написаны специально для Папатьи. Фильм должен был снимать Хайяль Хайяти, но Папатья с ним рассорилась, потому что не хочет от него зависеть. А сценарий теперь ничей. Для нас отличная возможность.

Сценарий, песни — весь фильм казался настолько отвратительным, что не подходил не то что Фюсун, но даже Феридуну. За ужином, пока красавица моя с кислым лицом метала глазами молнии и бросала на меня яростные взгляды, я размышлял, что Феридуна не помешает ублажить, и поэтому, не без воздействия ра-кы, решил вложить деньги в производство картины.

В мае 1981 года Феридун приступил к съемкам. Он назвал фильм «Разбитые жизни», по одному старому се-мейно-любовному роману известного турецкого писателя Халида Зии Ушаклыгиля, но действие романа, происходившее в последние годы Османской империи, в особняках, в кругу европеизированной аристократии и высшего общества, было перенесено на грязные стамбульские улицы окраин образца 1970-х и в ночные клубы с восточным колоритом. Певичка, которую с наслаждением играла Папатья, в отличие от героини романа была несчастлива не из-за мужа, а из-за того, что никак не могла выйти замуж; исполняя любовные песни, она становилась знаменитой и, годами храня ненависть к человеку, обесчестившему ее, настойчиво и терпеливо готовилась к мести.

Съемки начались в старом кинотеатре «Пери», служившем одно время павильоном для фильмов с эпизодами восточных танцев и песен. Из зала уносили кресла, на их место ставили столы и превращали его в кабаре. Широкая сцена кинотеатра была довольно просторной, хотя и не такой, как в самых больших тогдашних кабаре — в «Максиме» или в казино «Чакыл», расположенном в Йеникапы. В стамбульских кабаре, приспособленных к местным условиям, клиенты ели, пили и смотрели представление с певцами, юмористами, гимнастами, фокусниками и жонглерами по образцу французских программ, музыка звучала самая разная: и типично восточная, и европейская, а с начала 1950-хдо конца 1970-х там обычно снимали музыкальные фильмы. Герои турецких картин в красочных выражениях рассказывали о себе и своих страданиях, обращаясь к зрителям с подмостков кабаре, а потом, ближе к концу, на том же месте одерживали верх над судьбой и обстоятельствами, свидетельством чему были неизменно бурные аплодисменты и слезы клиентов из массовки.

Феридун рассказал, к каким способам прибегают продюсеры «Йешильчама», чтобы сэкономить на статистах, изображавших богачей, которые аплодируют искренним страданиям героев. Раньше, когда в музыкальных фильмах играли настоящие музыканты, такие звезды как Зеки Мюрен или Эмель Сайын, на съемки пускали всех, кто подобающе одет: в пиджаке и при галстуке, и мог прилично вести себя. Столики быстро заполнялись желающими бесплатно посмотреть на представление, так что проблема массовки решалась сама собой, задаром. В последние годы вместо певцов начали снимать таких малоизвестных актеров и актрис, как Па-патья. (Обычно они, изображая певцов более известных, чем сами, через пару-тройку фильмов забывали о разнице славы в кино и в жизни, и тогда их приглашали на роли неизвестных и нищих исполнителей. Однажды Му-заффер-бей признался мне, что турецкий зритель устает от актера богатого и знаменитого и в

жизни, и в кино. По его мнению, сила воздействия фильма заключалась в разнице между положением звезды на самом деле и в фильме.) Так как никто не желал томиться в пиджаке и галстуке в душном и пыльном кинотеатре «Пери», лишь бы услышать никому не известную и не интересную певицу, то сниматься зазывали всех прилично одетых мужчин и женщин с непокрытыми головами, а за съемки угощали порцией кебаба. Тайфун любил на наших вечеринках со смехом рассказывать о турецких фильмах, которые он видел в летних кинотеатрах, и изображать напыщенных и неловких бедняков в галстуках, которые ради сытого желудка изображали богачей, и при этом искренне возмущался, потому что богатые люди в Турции себя так совсем не ведут.

Феридун поведал немало забавных эпизодов тех лет, когда он работал ассистентом, о дешевых статистах. Некоторые, доев кебаб, желали сразу уйти со съемочной площадки, и им было наплевать на съемки, другие читали за столом газеты, третьи болтали и смеялись (в жизни именно так и бывает) как раз в тот момент, когда звезда — певица — произносит самые важные и проникновенные слова, четвертые засыпали от скуки прямо за столиком.

И вот съемки «Разбитых жизней» начались. Ответственный за массовку с красным от злости лицом ругал статистов, смотревших в камеру. За всем происходящим я наблюдал молча, издалека, как настоящий кинопродюсер, владелец крупной кинокомпании. Тем временем раздался голос Феридуна, и все вокруг в одно мгновение превратилось в полусказочный-полуфалыпивый мир турецкого фильма, а Папатья пошла с микрофоном в руке по мосту, перекинутому между зрителей.

Когда мы с Феридуном и Фюсун видели Папатью пять лет назад, в одном летнем кинотеатре рядом с павильоном Ыхламур, она играла маленькую смышленую девчушку с золотым сердцем, которая помирила родителей, расставшихся по недоразумению. А сейчас Папатья превратилась в усталую от жизни, много страдавшую и полную гнева жертву (скорость превращения свидетельствовала о горькой судьбе всех турецких детей). Трагичный образ несчастной женщины, потерявшей невинность, а потому с печатью смерти на челе Папатье шел как отлично скроенное платье. Я вспоминал ее юным созданием и понимал причину столь легкого преображения: за сценическим образом усталой и разгневанной женщины легко узнавалось ее простодушное детство. Под аккомпанемент невидимого оркестра—этот недочет Фе-ридун планировал устранить с помощью специально написанных к фильму мелодий—она шла, напоминая манекенщицу на подиуме, всем своим видом являя готовность мстить и от безысходности взроптать на Аллаха, и расстраивала нас, зрителей, демонстрируя глубину своих страданий. Во время съемок этой сцены мы все почувствовали, что, даже если Папатья и заурядна, эта сцена станет бриллиантом. Когда заработал мотор, дремавшие статисты оживились, а официанты, разносившие кебабы, замерли, не отрывая от Папатьи глаз.

Микрофон она держала несколькими пальцами, словно пинцетом. В те годы по манере держать микрофон узнавался индивидуальный стиль каждой звезды, и совершенно новые жесты Папатьи были доказательством того, что ей в скором времени предстояло взлететь высоко, о чем мне говорил как-то знакомый журналист из «Копирки». В те годы только-только отказались от микрофонов, закрепленных на высоком штативе, которые нельзя было трогать, и начали использовать микрофоны на длинном проводе, что давало возможность певцам подходить к зрителям. В новом положении возникала другая проблема: певица пела проникновенную песню и подчеркивала смысл ее слов жестами, а иногда слезами, но в то же время ей приходилось тянуть длинный провод, как шнур от пылесоса, чтобы он ни за что не зацепился. Хотя Папатья на самом деле не пела, а лишь открывала рот и делала вид, будто поправляет микрофонный провод, хотя он не был прикреплен и ни за что не

зацепился, ее жесты отличались мягкостью и изяществом. Позднее тот же журналист с восхищением признался, что это напоминает движения маленькой девочки, которая крутит скакалку для подруг.

Объявили перерыв, я поздравил Феридуна с Папать-ей, сказав, что съемки идут быстро и великолепно. Произнося похвалу, я сам себе напомнил кинопродюсеров, о которых читал в глянцевых журналах и газетах. Может, потому, что рядом стояли записывавшие мои слова журналисты. Но Феридун тоже держал себя как известный режиссер: такое впечатление, будто скорость съемок и суматоха на площадке лишили его оставшихся черт детства и за пару дней он повзрослел на десять лет. Феридун превратился в решительного, сильного и немного жестокого человека, который умеет доводить начатое дело до конца.

Именно в тот день я почувствовал, что Папатья и Феридун любят друг друга или что у них по крайней мере довольно серьезные отношения. Полностью я не был в этом уверен. Все кинозвезды при журналистах делали вид, что у них с кем-то тайный роман. Может, во взглядах журналистов, ведущих колонки в газетах и журналах, было нечто такое, что толкало на тайные грехи, раз актеры и режиссеры эти грехи постоянно совершали под неусыпным репортерским оком. Когда фотографировали, я отошел подальше от камер. Фюсун каждую неделю покупала такие журналы, как «Сес» и «Хафта Сону», где много писали о новостях из мира кино. Я предчувствовал, что она узнаёт оттуда, что происходит между Фе-ридуном и Папатьей. Там могли и намекнуть, что у Па-патьи тайный роман с исполнителем главной роли, Та-хиром Таном, или даже со мной — «с продюсером!». Правда, обычно намеки не требовались. Писавшие о кино заранее знали, какая новость продастся лучше всего, поэтому продвигали именно ее, часто преувеличивая и приукрашивая. Иногда журналисты рассказывали актерам, какую утку собираются пустить, а те помогали им, позируя в необходимых для сенсации позах.

Я и радовался, что Фюсун далека от этой жизни и от этих людей, и расстраивался, что она не участвует в здешней суматохе, в завораживающем веселье. Ведь многие известнейшие актрисы, сыграв в кино и в жизни — что для зрителя было одно и то же — падших женщин и испытав превратности судьбы, внезапно становились благообразными домохозяйками и продолжали жизнь в мире кино, играя приличные роли. Может, Фю-сун тоже мечтала об этом? Ддя этого нужен был тайный покровитель, смелый богач, который будет оберегать ее. Как только такие любители искусства заводили отношения с кинозвездами, они запрещали им целоваться в фильмах и надевать «откровенные наряды». Откровенным тогда считалось платье с открытыми плечами, длиной до щиколоток, не короче. Публикации позорных, скандальных либо насмешливых статей о звезде, взятой под покровительство подобным «папашей», также немедленно им пресекались. Как-то раз молодой журналист по незнанию написал про одну звезду с пышными формами, у которой имелся такой вот покровитель, что она подрабатывала танцовщицей, когда училась в лицее, и была на содержании одного известного фабриканта, и за это в него стреляли, ранив в ногу.

Сидя на съемочной площадке, я с интересом наблюдал за процессом, с болью думая, что Фюсун сейчас проводит время без дела в Чукурджуме, в десяти минутах ходьбы от кинотеатра «Пери». Съемки продолжались допоздна, вплоть до комендантского часа. Меня тревожила мысль, что, если по вечерам мое место за столом Кескинов будет пустовать, Фюсун решит, будто я предпочел кино ей. Так что каждый вечер, не дожидаясь завершения съемочного дня, я шел из кинотеатра «Пери» к Кескинам, пробегая по резко уходившим вниз, к Чукурджуме, покрытым брусчаткой улицам. Я чувствовал себя виноватым, но предвкушал ощущение счастья. Фюсун станет моей. И правильно, что я удержал ее от кинематографа.

Теперь мне казалось, что у нас возникла новая связь: мы попутчики в жизни,

испытавшие поражение; и это осознание иногда доставляло мне большее счастье, чем даже любовь. В такие минуты меня радовало все: вечернее солнце, осветившее улицы, пыльная влага и запах старости из брошенных греческих домов, разносчики плова с нутом и жареной печени, футбольный мяч, который гоняли уличные мальчишки и который подкатывался ко мне, их насмешливые аплодисменты, когда я с силой делал пас.

В те дни повсюду—от съемочной площадки до кабинетов «Сат-Сата», от стамбульских кофеен до дома Кескинов — судачили только об одном: стамбульские ростовщики, часто однодневки, принимали деньги в рост под очень высокие проценты. Так как инфляция доходила до сотен процентов, все хотели свои деньги вложить во что-нибудь надежное. Об этом мы постоянно говорили и у Кескинов, прежде чем сесть за стол. Тарык-бей рассказывал, что некоторые завсегдатаи квартальной кофейни, куда он временами ходил, чтобы спасти деньги, покупали на Капалы-Чарши золото, а другие отдавали деньги в рост под сто пятьдесят процентов, третьи зачем-то обменивали скопленное золото на деньги, а банковские счета закрывали. Немного смущаясь, он спрашивал у меня, как у делового человека, совета.

Феридун теперь, под предлогом съемок и комендантского часа, приходил домой редко и ничего Фюсун из денег, которые я платил за «Лимон-фильм», не давал. Поэтому через некоторое время на месте вещей, какие оказывались в моем кармане, я стал оставлять деньги. За месяц до этого я. не особо скрываясь, унес колоду старых игральных карт Тарык-бея.

Фюсун гадала себе на этих картах, чтобы не томиться от ожидания. Поэтому для игры в безик ее родители пользовались другой колодой. В той же, которую я «украл», у некоторых карт углы были сильно потерты или оторваны, «рубашки» запачканы; несколько карт вообще оказались согнуты. Фюсун однажды со смехом сказала, что из-за этих пятен и знаков помнит, какая масть и картинка где скрывается, и поэтому знает, как гадать, чтобы все предсказанное произошло в жизни. Колоду я положил в карман нарочито, не скрываясь, так как тетя заметила, что я кручу ее в руках и нюхаю. Помимо запаха старой бумаги, чьих-то духов и влаги, свойственной картам, от них пахло кожей рук Фюсун. От этого запаха у меня закружилась голова.

— Мать тоже гадает на картах, но ничего не сбывается, — заметил я. — Говорят, тем, кто гадает на этих картах, начинает везти. Пусть матушке немного повезет, когда она запомнит пятна и царапины. А то ей невесело в последнее время.

— Передавай привет сестрице Веджихе, — произнесла тетя Несибе.

Я пообещал, что куплю в Нишанташи, в лавке Алааддина, новую колоду, тетя Несибе долго просила меня не утруждаться. Я настоял. Тогда она рассказала, что видела в Бейоглу очень красивые карты.

Фюсун была в дальней комнате. Я вытащил из кармана несколько купюр и смущенно положил их куда-то в сторонку.

— Тетя Несибе, купите, пожалуйста, новую колоду себе и одну — моей матери. Мать будет рада картам из этого дома.

— Обязательно, — согласилась тетя Несибе. Десять дней спустя, вновь терзаемый смутным

стыдом, я оставил пачку денег на месте взятой мной бутылочки одеколона «Пе-ре-жа». Уверен, что в первые месяцы Фюсун не замечала, как вещи заменяются деньгами.

Бутылочки из-под одеколона я уносил из дома Ке-скинов не впервой, за много лет их собралось немало в «Доме милосердия». Но те были либо пустыми, либо почти заканчивались, и их все равно скоро бы выбросили. А пустыми склянками, кроме уличных детей, игравших с ними, никто не интересовался.

Как и в каждой турецкой семье, в доме Кескинов некоторое время после ужина

все протирали руки одеколоном. Для меня эта жидкость была почти священной, и я всякий раз жадно, с какой-то надеждой, обтирал ею руки, лоб, щеки. Всегда, будто зачарованный, смотрел на движения матери и отца Фюсун, на нее. Тарык-бей медленно, не отрывая глаз от телевизора, с треском откручивал большую крышку огромной бутылки «Пе-ре-жа», а мы знали, что, когда он откроет, во время первой рекламы отдаст бутылку Фюсун и скажет: «Спроси, кому нужен одеколон». Фюсун лила ароматную жидкость сначала на руки отцу, Тарык-бей размазывал одеколон по кистям и запястьям, как мазь, глубоко и жадно вдыхая его запах, а потом принюхивался время от времени к кончикам пальцев. Тетя Несибе брала очень мало одеколона и изящными круговыми движениями, почти как моя мать, будто держит невидимый кусок мыла, начинала растирать его по рукам. Феридун, если бывал дома, одеколона у жены брал больше всех, раскрывая обе ладони, и с жадностью плескал себе в лицо, как человек, умирающий от жажды, — воду. Мне казалось, что в этом ежевечернем ритуале, в этих движениях, приятном запахе и ощущении прохлады (холодными зимними вечерами церемония проводилась столь же неизменно) скрывался иной смысл.

В начале каждого автобусного путешествия по Турции стюард всегда поливает одеколоном руки пассажирам. Так и наш одеколон ежевечерне напоминал нам, как приятно быть вместе, что-то делать сообща, заставляя нас, собравшихся у телевизора, чувствовать, что мы — одна семья, одна община, что у нас одна судьба (подобное вызывали и телевизионные новости) и что, пусть каждый вечер мы встречаемся и смотрим телевизор, жизнь—это приключение.

Когда очередь доходила до меня и я, раскрыв ладони, с нетерпением ждал, что вот-вот Фюсун польет мне руки одеколоном, мы пристально смотрели друг другу в глаза — будто влюбились с первого взгляда. Вдыхая аромат, я не мог отвести глаз от Фюсун. Иногда воля, решимость и любовь, которые выражал мой взгляд, вызывали ее улыбку, замиравшую надолго в уголках губ. В той улыбке сочетались нежность и насмешка над моим положением, над тем, что я влюблен и прихожу каждый вечер, над жизнью. Но я не обижался. Как раз наоборот: еще больше любил ее; мне хотелось забрать с собой флакон с одеколоном «Золотая капля» и в один из следующих визитов, когда он и так почти пустел, в мгновение ока прятал его в карман своего пальто, висевшего на вешалке.

Когда шли съемки «Разбитых жизней», я около семи часов вечера, незадолго перед наступлением темноты, уходил из «Пери» в Чукурджуму, и в тот момент мне казалось, будто раньше со мной это уже случалось. В той первой жизни, которую мне предстояло в точности прожить еще раз, не было ни страданий, ни большого счастья. Только грусть, которая давила на меня и от которой мрачнело на душе. Наверное, потому, что я знал, чем кончится история, знал, что меня не ждет ни великая победа, ни блаженство. За те шесть лет, что не угасала моя любовь к Фюсун, я из человека, считавшего, что жизнь—развлекательное и интересное приключение, превратился в обиженного на судьбу, замкнутого и печального. Мне все чаще казалось, что больше у меня не будет ничего хорошего.

— Фюсун, давай посмотрим на аиста? — предлагал я той весной.

— Нет. Я не сделала ничего нового, — тоскливо отвечала Фюсун.

Однажды в разговор вмешалась тетя Несибе: «Ну зачем ты так говоришь? Аист улетел с нашей трубы, а оттуда виден весь Стамбул».

— Очень хотелось бы посмотреть.

— Сегодня у меня нет настроения, — честно призналась Фюсун.

И было видно, что эти слова расстраивают Тарык-бея, у которого сжималось сердце за свою дочь. Слова Фюсун относились не только к этому вечеру, они выражали ее безысходное положение, и я решил не ходить более на съемки «Разбитых жизней». (Вскоре это решение мне удалось воплотить.) Где-то в глубине

сознания меня сверлила мысль, что слова Фюсун—часть войны, которую она вела со мной долгие годы. Тетя Несибе не могла утаить во взгляде, что расстроена из-за нас с Фюсун. Едва начинало терзать чувство, что жизненные сложности заставляют нас мрачнеть, как от черных дождевых облаков темнеет небо над Топхане, мы на некоторое время замолкали, а потом возвращались к обычным занятиям:

1. Смотрели телевизор.
2. Наливали себе еще по стаканчику ракы.
3. Закуривали по сигарете.

68 4213 окурков

За восемь лет моих ужинов у Кескинов я собрал и сохранил 4213 окурков Фюсун. Каждый из них, к которому прикасались прекрасные как роза губы Фюсун, побывал у нее во рту, дотрагивался до ее языка, намокал от ее слюны и в большинстве случаев окрашивался в приятный красноватый цвет ее помады. Каждый из них— особый, глубоко личный предмет, хранящий память о глубокой боли и о мгновениях счастья. На протяжении всех этих лет Фюсун курила сигареты «Самсун». Начав бывать у Кескинов, я бросил «Мальборо» и под влиянием Фюсун тоже перешел на «Самсун». «Мальборо лайте» в Стамбуле можно было купить у торговцев контрабандными товарами в закоулках или у лотошников. Помню, однажды вечером мы сравнивали «Мальборо» с «Самсу-ном» и решили, что эти сигареты похожи по вкусу, так как после них возникает ощущение сытости. Фюсун сказала, что «Самсун» вызывает сильный кашель, а я заметил, что американцы, видимо, стали класть в «Мальборо» никому не известные ядовитые вещества и сигареты эти теперь вредны. Тарык-бея еще не было за столом, поэтому мы предложили друг другу попробовать сигареты из своих пачек. Так и получилось, что впоследствии все восемь лет я дымил «Самсуном».

Поддельные «Мальборо» производили в Болгарии и привозили в Турцию контрабандой по морю, на кораблях или на рыбачьих лодках. Как и настоящие американские, контрафактные сигареты сгорали до фильтра. А «Самсун» никогда до конца не догорал. Табак был влажным и грубым. Внутри иногда попадались неперетертые твердые стебельки, толстые прожилки табачного листа и влажный табачный порошок, поэтому Фюсун, прежде чем закурить сигарету, крутила ее пальцами, чтобы сделать мягче. Я заимствовал у нее этот жест и, прежде чем закурить, как она, крутил сигарету, часто не замечая того. Если Фюсун одновременно со мной делала то же самое, мне очень нравилось пересекаться с ней взглядом.

В первые годы она курила, демонстрируя своим видом неловкость оттого, что ей нельзя курить при отце. Она держала сигарету, согнув пальцы, как бы скрывая ее в ладони, а пепел стряхивала не в пепельницу из Кютахьи, которой пользовались мы с Тарык-беем, а на маленькое блюдце кофейной чашки, якобы чтобы никто не видел. Ее отец, я и тетя Несибе выдыхали дым куда попало, не думая ни о чем, а Фюсун, повернув голову вправо, будто шепча какой-то секрет на ухо однокласснице, быстро выпускала ярко-синий дым из легких куда-то подальше от стола. Я очень любил это ее движение, напоминавшее мне о наших уроках математики, ее ложное смущение и взволнованный, виноватый вид и думал, что буду любить ее до конца дней своих.

Все знаки мнимого уважения к отцу — не курить и не пить при нем, сидеть ровно и не класть ногу на ногу — делались из стремления соответствовать традиционным правилам поведения в семье и с годами постепенно исчезли. Тарык-бей, конечно, видел, что дочь курит, но не реагировал, как должен бы поступать строгий отец, а удовлетворялся проявлениями уважения со стороны Фюсун. Я был невероятно счастлив наблюдать за ней, следить за тонкостями и сложной игрой, которую вряд ли понял бы сторонний наблюдатель; милые, чарующие, притягательные жесты Фюсун

напоминали мне, что я могу бывать у Кескинов каждый вечер только потому, что мы все что-то изображаем. Я, например, что не влюблен, а просто дальний родственник, который пришел навестить семью. И только потому мог постоянно видеть Фюсун.

Когда меня не бывало, она докуривала сигареты почти до фильтра. Об этом я узнавал по окуркам, оставленным в пепельницах перед моим приходом. И сразу отличал, где ее сигарета. Это было видно не по марке, а по тому, как она потушена, с какими чувствами. В моем присутствии Фюсун, совсем как Сибель и ее подруги (предпочитавшие изящные, тонкие «сверхлегкие» американские сигареты), оставляла недокуренной половину.

Иногда она тушила сигарету о пепельницу нервным жестом. А иногда — нетерпеливо. Много раз едва сдерживая гнев, и от этого я всегда нервничал сам. Иногда она гасила сигарету, постукивая о край пепельницы. Порой, когда никто не смотрел, — с большой силой и медленно, будто давила голову змеи. И тогда я думал, что она вымещает на сигарете накопившуюся в себе злобу на жизнь. Бывало, она гасила сигарету задумчиво, глядя в телевизор либо слушая беседу, совершенно не обращая внимания на сморщенный окурок. Нередко торопливыми жестами, чтобы высвободить руку, когда надо было взять ложку или большой кувшин. Когда она была в хорошем настроении, тушила сигарету одним движением, легко прижимая ее к пепельнице концом указательного пальца, словно убивала какое-то насекомое. Когда она делала что-нибудь на кухне, подобно тете Несибе, тушила сигарету в раковине, а потом бросала в мусор.

Столь различные методы придавали каждому окурку, прошедшему через ее руки, неповторимую форму, особый дух. Я извлекал их из кармана в «Доме милосердия», внимательно разглядывал, и каждый из них казался мне особенным. Бывало, они представлялись мне крохотными человечками с черными лицами, которых долго кто-то мучил и у которых раздавлена голова, шея и выступил горб; иногда—странными и пугающими вопросительными знаками. Иногда ее окурки походили на трубы городских пассажирских пароходов, а иногда— на морских червяков. Иногда оборачивались восклицательными знаками, которые предупреждают меня о чем-то, знаками какой-то будущей опасности, дурно пахшим мусором. Иногда—предметами, которые выражают душу Фюсун, и даже частью ее души, и, легонько пробуя на вкус помаду, оставшуюся на фильтре, я снова и снова думал о ней.

Для посетителей моего музея жизни я подписал под каждым из 4213 окурков, когда и при каких обстоятельствах он был выкурен и мною взят у Кескинов. Не стоит думать, будто я заполнил витрины бесполезным мусором: ведь форма каждого окурка—сильное чувство Фюсун, вырвавшееся наружу, когда она тушила сигарету. Например, 17 мая 1981 года—в тот день в кинотеатре «Пери» начались съемки «Разбитых жизней»—я взял из пепельницы Фюсун три резко смятых пополам сигареты; своим видом они напоминают мне не только о тех ужасных месяцах, но и о поведении молчаливой Фюсун, которая о съемках старалась не говорить вообще и делала вид, будто ничего не происходит.

Одну из сигарет она потушила, когда по телевизору шел фильм «Ложное счастье». Известный Экрем Гючлю, хорошо знакомый нам по «Копирке», сыгравший некогда пророка Ибрагима, исполнял главную мужскую роль. Его бедную возлюбленную играла Нуртен. и, когда Экрем обратился к ней со словами: «Самая большая ошибка в жизни — просить больше, чем имеешь, Нуртен!», Фюсун потушила сигарету. А следующую примяла ровно через двенадцать минут после первой.

Помню, что на нескольких довольно аккуратных окурках остались пятна от вишневого мороженого, которое как-то летним вечером ела Фюсун. Мороженщик Камиль-эфенди, гремевший своей трехколесной тележкой по улочкам Топхане и Чукурджумы, кричал: «Мороженое! Кому мороженое!», позванивая колокольчиком в

руке, а зимой на той же тележке продавал халву. Однажды Фюсун сказала, что Камиль-эфенди ремонтировал свою тележку у мастера Бешира, которому она в детстве носила свой велосипед.

Глядя на пару других окурков и подписи под ними, я вспоминаю, как жаркими летними вечерами мы ели вкуснейшие баклажаны со сметаной, а потом долго смотрели с Фюсун из раскрытого окна. В такие моменты она брала в руку маленькую пепельницу и часто стряхивала в нее пепел, а я представлял ее знатной дамой на великосветском приеме. Может, Фюсун сама изображала такую даму, когда стояла со мной у окна. Она вполне могла бы стряхивать пепел в окно, тушить сигарету о карниз и бросать на улицу, как делал я и все турецкие мужчины, или отбросить непотушенную сигарету щелчком вниз и смотреть за ее падением в темноте. Но нет, Фюсун во всем была другой, особой, а своим изяществом и хорошими манерами служила мне примером. Если бы кто-то смотрел на нас издалека, он бы решил, что мы ведем себя словно в западной стране, где нет традиции закрывать перед мужчинами лицо и избегать общения с ними; как на какой-нибудь вечеринке—отошли в уголок, чтобы познакомиться поближе, и любезно беседуем. Не глядя в глаза друг другу, мы, посмеиваясь, обсуждали только что увиденный нами фильм, то, как тяжела летняя жара, детей, игравших на улице в прятки. Тем временем со стороны Босфора поднимался легкий ветерок, который в дурманящем запахе водорослей и жимолости доносил до меня аромат волос и кожи Фюсун и приятный дым ее сигареты.

Иногда мы встречались взглядами именно в то мгновение, когда Фюсун тушила сигарету. Если шел грустный фильм про любовь, или на нас действовала печальная музыка, либо же поражали ужасающие кадры из документального фильма о Второй мировой войне, Фюсун тушила сигарету машинально. Но стоило нашим взглядам случайно встретиться, будто электрический разряд проходил между нами, мы вспоминали вдруг, зачем я сижу за этим столом, и потому ее сигарета, затушенная под воздействием душевного смятения, приобретала очень странную форму. Затем раздавался гудок какого-нибудь большого корабля, доносившийся издалека—из глубины, и я представлял, каким выглядит мой мир и моя жизнь глазами пассажиров того корабля.

Впоследствии, рассматривая каждый из ее окурков, принесенный в «Дом милосердия», по одному или по нескольку штук, я прокручивал в голове картины прошлого. Именно эти замершие вмиг сигареты помогли мне осознать, что каждая из собранных мною вещей соответствует мгновениям настоящего, о которых писал Аристотель.

Теперь наше с Фюсун прошлое, наши посиделки я мог вспоминать, не касаясь вещей, собранных в «Милосердии», теперь мне достаточно было взглянуть на них. Отдельные мгновения, которые я соединил вещами: фарфоровой солонкой, сантиметром в коробочке в виде собачки, устрашающим консервным ножом, пустой бутылкой из-под подсолнечного масла «Батанай», которое всегда имелось на кухне Кескинов, — с годами слились в моем сознании в непрерывное Время. И всякий раз, когда я смотрел на скопившиеся предметы, как и на окурки, я вспоминал все, что пережил за обеденным столом в доме Фюсун.

69 Иногда

Иногда мы ничего не делали и сидели молча. Иногда Тарык-бею, да и всем нам, передача казалась скучной, и он принимался читать газету. Иногда вниз по улице с шумом, гудя, ехал автомобиль, а мы замолкали. Иногда шел дождь, и мы прислушивались к ударам капель по стеклу. Иногда тетя Несибе забывала, что в пепельнице — недокуренная сигарета, и закуривала на кухне еще одну. Иногда я по нескольку секунд любовался рукой Фюсун, так чтобы этого никто не видел. Иногда в

рекламе по телевизору показывалась женщина, которая расхваливала именно то, что мы ели за ужином. Иногда вдали раздавался взрыв. Иногда тетя Несибе, а иногда Фюсун вставали из-за стола и подбрасывали в печь несколько угольков. Иногда я думал, что бы принести в следующий раз, выбирая не заколку, а браслет. Иногда забывал, о чем этот фильм, который мы смотрим, и, глядя в телевизор, вспоминал дни, когда ходил в начальную школу в Нишанташи. Иногда тетя Несибе предлагала заварить липовый цвет. Иногда Фюсун так изящно зевала, и все на свете для меня прекращало существовать, я представлял, что во вздохе из глубин ее души исходит покой, как прохладная вода из колодца в летний день. Иногда я говорил себе, что больше не могу сидеть и пора уходить. Иногда парикмахер в первом этаже дома напротив, обслужив последнего клиента, с шумом опускал шторку на витрине, и ее лязг разносился эхом по всему кварталу в ночной тьме. Иногда отключали воду, и два дня ее не было. Иногда Тарык-бей ворчал: «Опять та же реклама, хватит уже!» Иногда мы слышали, что в печке, помимо огня, шумит еще что-то. Иногда тетя Несибе предлагала: «Раз вам моя фасоль на оливковом масле понравилась, так, пока не кончилась, завтра вечером приходите есть опять!», и поэтому на следующий день я снова шел к ним. Иногда мы обсуждали конфликт Америки с Россией, холодную войну, военные корабли русских, которые по ночам проходили Босфор, и американские подлодки в Мраморном море. Иногда тетя Несибе говорила: «Сегодня вечером очень жарко!» Иногда я по лицу Фюсун видел, что она о чем-то мечтает, и мне хотелось отправиться за ней в ее воображаемую страну, но я сам, моя жизнь, моя плоть, то, что я сижу за этим столом, казались мне безнадежными. Иногда предметы на столе представлялись мне горами, равнинами, холмами, нагорьями, оврагами. Иногда мы вместе смеялись над чем-то забавным по телевизору. Иногда, когда нас увлекало показанное, это казалось мне унизительным. Иногда меня раздражало, что соседский мальчик Али забирался к Фюсун на колени или садился рядом с ней. Иногда мы тихо вели с Тарык-беем мужской разговор о плачевном положении экономики. Иногда Фюсун поднималась наверх, некоторое время не спускалась обратно, а я чувствовал себя несчастным. Иногда звонил телефон, кто-то ошибался номером. Иногда тетя Несибе обещала: «В следующий вторник сделаю вам засахаренную тыкву». Иногда компания из троих-четверых парней, горланя футбольные речов-ки, спускалась по улице в сторону Топхане. Иногда я помогал Фюсун побрасывать в печку уголь. Иногда я видел, как по полу кухни торопливо семенит таракан. Иногда я чувствовал, что Фюсун под столом сняла тапок. Иногда сторож свистел в свисток прямо перед нашей дверью. Иногда Фюсун, а иногда я вставали оторвать забытые листки перекидного календаря. Иногда, когда никто не видел, я подкладывал себе еще ложку халвы. Иногда изображение в телевизоре теряло четкость, Тарык-бей говорил: «Дочка, настрой-ка его», Фюсун крутила ручку на задней панели, а я смотрел и говорил ей, куда поворачивать. Иногда твердил себе: «Выкурю еще сигарету и пойду домой». Иногда совершенно забывал о времени и расслаблялся, словно лежал на мягкой кровати. Иногда мне казалось, что я вижу микробов, жучков и прочих паразитов, которые живут в дорожке. Иногда в перерыве между программами Фюсун вытаскивала из холодильника воду, и Тарык-бей уходил наверх в уборную. Иногда у Кескинов готовили долму из кабачков, помидоров, баклажанов и перца на масле, и нам хватало ее на два вечера. Иногда Фюсун после еды вставала из-за стола, подходила к клетке Лимона, нежно разговаривала с ним, а я представлял, что она говорит со мной. Иногда летними вечерами мотылек, залетевший в окно эркера, ускоряясь, кружился, как безумный, вокруг лампы. Иногда тетя Несибе передавала новую квартальную сплетню, которую слышала недавно: например, электрик Эфе сказал, что его отец — известный грабитель. Иногда я забывал, что нахожусь за столом, мне представлялось, будто мы наедине, и долго, с любовью смотрел на Фюсун. Иногда по улице проезжала машина, но так тихо, что мы

замечали ее только по дрожанию стекол. Иногда со стороны мечети Фи-рюз-ага доносился азан. Иногда Фюсун вставала и долго смотрела из окна на улицу, будто ждала кого-то, по кому очень соскучилась, и это меня задевало. Иногда я смотрел телевизор, но думал совершенно о другом, например о том, что мы — пассажиры парохода, которые встретились в кают-компании. Иногда тетя Неси-бе «чуть-чуть, на всякий случай» поливала в гостиной той же отравой от комаров, которой она пользовалась в верхних комнатах, и комары погибали. Иногда тетя Несибе говорила о бывшей жене шаха Ирана Сорае Ас-фандияри, рассказывала нам о ее страданиях: шах с ней развелся, так как она не могла родить детей, и о ее жизни в Европе. Иногда Тарык-бей, глядя в телевизор, сетовал: «Опять это позорище показывают!» Иногда тетя Несибе спрашивала: «Кто-нибудь хочет мороженого?» Иногда Фюсун два дня подряд носила одну и ту же одежду, но мне она все равно казалась разной. Иногда я видел, как в доме напротив какой-то человек подходит к окну покурить. Иногда мы ели хамсу. Иногда я видел, что Кескины искренне верят в справедливость и что виновные обязательно будут наказаны — в этом мире или на том. Иногда мы подолгу молчали. Иногда казалось, что молчали не только мы, а весь город погружался в тишину. Иногда Фюсун говорила отцу: «Папа, пожалуйста, хватит кусочничать!», и я чувствовал, что из-за меня даже за столом всем неловко. Иногда я думал совершенно противоположное и решал, что всем очень хорошо. Иногда тетя Несибе, закурив сигарету, не могла оторвать глаз от экрана и забывала потушить спичку, которую держала, до тех пор пока не обжигала пальцы. Иногда мы ели в кафе макароны. Иногда над нами в темноте в сторону аэропорта и Иешилькёя с шумом пролетал снижающийся самолет. Иногда Фюсун надевала блузку, подчеркивавпгую ее длинную шею и верхнюю часть груди, а я, не отрываясь от телевизора, старался не смотреть на белизну ее прекрасного тела. Иногда я спрашивал Фюсун: «Как продвигается рисунок?» Иногда по телевизору обещали, что пойдет снег, но снега не было. Иногда слышался тревожный гудок огромного нефтяного танкера. Иногда издалека раздавались звуки выстрелов. Иногда в дверь соседнего дома кто-то так громко случал кулаком, что дрожали чашки в буфете у меня за спиной. Иногда звонил телефон. Лимон принимал звонок за пение канарейки и начинал свои трели в ответ, а мы смеялись. Иногда в гости к Кески-нам приходила какая-нибудь супружеская пара, а я чувствовал себя неловко. Иногда Тарык-бей подпевал старой песне в исполнении женского хора музыкального общества Ускюдара. Иногда на узкой улице не могли разъехаться две машины, стояли носом друг к другу, а упрямые водители не желали освободить дорогу, начиналась перебранка, ругань, и под конец они бросались друг на друга с кулаками. Иногда в доме, на улице, во всем квартале наступала волшебная тишина. Иногда помимо пирожков я приносил еще куски соленого тунца и вяленую скумбрию. Иногда мы сетовали: «Как холодно сегодня, правда?» Иногда после еды Тарык-бей, улыбаясь, доставал из кармана освежающие пастилки и угощал нас. Иногда перед дверью два кота принимались отчаянно орать, а потом с криками драться. Иногда Фюсун сразу надевала серьги или брошку, которую я приносил в тот день, и за едой я шептал, как ей все идет. Иногда сцена поцелуя или примирения из фильма по телевизору оказывала на нас такое действие, что мы забывали, где находимся. Иногда тетя Несибе говорила: «Я сегодня мало солила, пусть кто сколько хочет, столько и солит». Иногда вдалеке сверкали молнии, гремел гром. Иногда старый пароход на Босфоре издавал жалобный, печальный стон. Иногда какой-нибудь актер, знакомый нам по «Копирке», над которым мы посмеивались, появлялся по телевизору в фильме, сериале или рекламе, и тогда мне хотелось поймать взгляд Фюсун, но она прятала глаза. Иногда отключалось электричество, и в темноте мы видели лишь краснеющие огоньки наших сигарет. Иногда мимо дома шел прохожий, который насвистывал какую-нибудь старую песню. Иногда тетя Несибе восклицала: «Ай, сегодня я выкурила слишком много!» Иногда я

не мог оторвать взгляд от шеи Фю-сун и весь вечер сдерживал себя, чтобы больше на нее не смотреть. Иногда на миг наступала полная тишина, и тетя Несибе говорила: «Кто-то где-то умер». Иногда одна из новых зажигалок Тарык-бея никак не высекала огонь и я решал, что самое время подарить новую. Иногда тетя Несибе приносила что-нибудь из холодильника и спрашивала, что произошло в кино, пока она ходила. Иногда в доме напротив по улице Далгыч Чыкмаз ссорились супруги, муж бил жену, слышались крики, и мы, слушая все это, мрачнели. Иногда зимними вечерами мимо дома проходил торговец бузой[25] и, звоня в колокольчик, кричал: «Буууузааа! Кому буууузааа!» Иногда тетя Несибе замечала: «Сегодня вы очень веселый!» Иногда я с трудом сдерживался, чтобы не потянуться и не дотронуться до Фюсун. Иногда, особенно летом, поднимался ветер и хлопали двери. Иногда я вспоминал Заима, Сибель и всех старых друзей. Иногда на еду садились мухи, и тетушка сердилась. Иногда тетя Несибе доставала из холодильника минеральную воду для Тарык-бея и обращалась ко мне: «А вы хотите?» Иногда, до одиннадцати, мимо проходил сторож и свистел в свисток. Иногда я чувствовал нестерпимое желание сказать Фюсун: «Я тебя люблю!», но сил хватало только на то, чтобы помочь прикурить зажигалкой сигарету. Иногда я замечал, что цветы, которые я приносил в позапрошлый раз, до сих пор стояли в вазе. Иногда опять наступала тишина, где-то в соседнем доме открывалось окно и кто-то бросал мусор на улицу. Иногда тетя Несибе спрашивала: «Кто съест последнюю котлету?» Иногда, глядя на генералов по телевизору, я вспоминал службу в армии. Иногда чувствовал, что не важен не только я сам, но и мы все. Иногда тетя Несибе загадочно шептала: «Ну-ка, догадайтесь, что сегодня на сладкое?» Иногда у Тарык-бея начинался приступ кашля, и Фюсун вставала подать отцу стакан воды. Иногда она надевала брошь, которую я дарил ей много лет назад. Иногда мне начинало казаться, что по телевизору показывают совсем не то, что я вижу. Иногда Фюсун что-то спрашивала у меня об актере, писателе или профессоре, которого показывали. Иногда я относил на кухню грязные тарелки. Иногда за столом наступало молчание, потому что все были заняты едой. Иногда кто-нибудь из нас начинал зевать, другие это видели и тоже начинали зевать, — потом мы смеялись над нашей зевотой. Иногда Фюсун так увлекалась фильмом, так была поглощена им, что мне хотелось стать его героем. Иногда запах жареного мяса не выветривался до конца вечера. Иногда я думал, что счастлив только потому, что сижу рядом с Фюсун. Иногда я предлагал: «Давайте поедем ужинать на Босфор». Иногда мне казалось, что жизнь не где-то далеко, а прямо здесь, перед нами, за этим столом. Иногда мы спорили о чем-то совершенно неизвестном, например о затерянных городах инков в Перу, о законе притяжения на Марсе, о том, сколько может человек без воздуха находиться под водой, почему ездить на мотоцикле в Стамбуле опасно, откуда появились «дымоходы фей» в Юргюпе, — в общем, о том, что показывали по телевизору. Иногда дул резкий ветер, гудел в окнах, и из печной трубы тоже доносились странные звуки. Иногда Тарык-бей вспоминал, что, когда пятьсот лет назад Фатих[26] вел вниз, к Золотому Рогу, через то место, где сейчас Богаз-Кесен, свои войска, ему было всего восемнадцать лет. Иногда Фюсун после ужина вставала из-за стола, подходила к клетке Лимона, и через некоторое время я тоже подходил к ней. Иногда я говорил себе: «Хорошо, что я сегодня пришел!» Иногда Тарык-бей просил Фюсун принести ему сверху очки, газету или лотерейный билет, а тетя Несибе кричала ей снизу, из-за стола: «Не забудь выключить свет!» Иногда тетушка

---

[25] Буза — безалкогольный напиток из проса.

[26] Султан Мехмед Фатих (1432-1481) — Мехмед II Завоеватель, завоеватель Константинополя (29 мая 1453 года).

заговаривала о свадьбе ее дальних родственников в Париже. Иногда Тарык-бей говорил: «Замолчите!», чтобы прислушаться к незнакомому звуку, указывал глазами на потолок, и тогда мы все пытались понять, откуда доносится странный шорох, гадая, крыса там или вор. Иногда тетя Несибе спрашивала мужа: «Увеличить громкость, дорогой?», потому что Тарык-бей с возрастом стал плохо слышать. Иногда мы подолгу молчали. Иногда шел снег, засыпал окна и мостовые. Иногда кто-то устраивал салют, мы все вставали из-за стола посмотреть на цветные вспышки в небе, а потом из открытого окна вдыхали запах пороха. Иногда тетя Несибе предлагала: «Налить вам еще, Кемаль-бей?» Иногда я просил: «Пойдем посмотрим на рисунок, Фюсун!» и, глядя вместе с ней на ее картину, понимал, что всегда был счастлив.

70 Разбитые жизни

Через неделю после того, как комендантский час перенесли на одиннадцать вечера, за тридцать минут до его наступления домой вернулся Феридун. Он уже долгое время не приходил ночевать под предлогом съемок, говорил, что спит на площадке. Когда он вошел, совершенно пьяный, то еле стоял на ногах, и было заметно, что он страдает. Увидев нас за столом, Феридун сделал над собой усилие и пробормотал пару вежливых слов, но надолго его не хватило. Взглянув на Фюсун, он, как солдат, вернувшийся побежденным с долгой, изнурительной войны, молча ушел к себе. Фюсун следовало немедленно встать из-за стола и подняться вслед за мужем, но она этого не сделала.

Я внимательно наблюдал за происходящим. Она заметила мой пристальный взгляд. Она медленно выкурила сигарету, будто все в порядке. (Теперь она не выдыхала дым в сторону, как раньше, когда делала вид, что стесняется Тарык-бея.) Потом быстро погасила окурок. А я почувствовал, что мне опять не уйти.

Без девяти одиннадцать Фюсун, взяв очередную сигарету «Самсун», медленно поднесла ее ко рту и внимательно посмотрела на меня. Наши взгляды сказали друг другу так много, что мне показалось, будто мы проговорили целую ночь. Поэтому рука моя потянулась сама собой, протягивая зажигалку. А Фюсун на мгновение подержала меня за руку, что обычно турецкие мужчины могли видеть только в европейских фильмах.

Я тоже закурил. И курил очень-очень медленно, всем видом подчеркивая, что ничего не произошло. С каждой минутой близилось начало комендантского часа. Тетя Несибе почувствовала неладное, но испугалась серьезности момента и молчала. Тарык-бей тоже, конечно, заметил нечто странное, однако явно не понимал, откуда ветер дует Я вышел от них в десять минут двенадцатого. В тот вечер меня радовала мысль, что теперь мы с Фюсун точно поженимся. И так как я понял, что она предпочтет меня, то был несказанно счастлив, забыв, какой опасности подвергаю себя и Четина-эфенди, оказавшись на улице после одиннадцати. Обычно после того, как он высаживал меня в Тешвикие перед домом, он уезжал ставить машину в гараж, находившийся в минуте езды, на улице Поэта Нигяра, и по переулкам, не попадаясь никому на глаза, шел к себе домой, в расположенный поблизости бывший квартал бедняков. Той ночью я, как ребенок, не мог уснуть от блаженных мечтаний, превращающихся в явь.

Семь недель спустя в кинотеатре «Сарай» в Бейоглу был прием в честь премьеры «Разбитых жизней», а я тот вечер провел в Чукурджуме с Кескинами. Признаться, Фюсун, жене режиссера, а мне, продюсеру фильма (более половины «Лимон-фильма» принадлежало мне), следовало пойти на премьеру, но мы не проигнорировали ее. Фюсун не требовалось оправданий, они с Феридуном поссорились. Муж стал появляться дома редко, всякий раз ссылаясь на

загруженность. По всей вероятности, он жил с Папатьей. В Чукурджуме Феридун бывал раз в две недели, чтобы взять из верхней комнаты пару-тройку вещей, например рубашку и какую-нибудь книгу. О его визитах я узнавал по обмолвкам тети Несибе, она якобы случайно проговаривалась, но на столь запретные темы мы ни разу не беседовали, хотя меня раздирало от любопытства. По виду Фюсун я понял, что она запретила говорить обо всем этом при мне. Но от тети Несибе мне стало известно о ссоре Феридуна с Фюсун.

Я подозревал, что, если пойду на прием, Фюсун узнает об этом из газет, расстроится и обязательно меня накажет. Но и как продюсер фильма не быть там не мог. Тогда я попросил свою секретаршу Зейнеб-ханым позвонить после обеда в «Лимон-фильм» и сказать, что у меня внезапно заболела мать и я остаюсь дома.

Вечером, когда «Разбитые жизни» демонстрировались кинокритикам, журналистам и простым стамбульским зрителям, шел дождь. Я сказал Четину, чтобы он вез меня к Кескинам не через Топхане, а через Так-сим и Галатасарай. В Бейоглу, проезжая мимо кинотеатра «Сарай», я через мокрые стекла автомобиля видел несколько нарядных людей с зонтиками, пришедших на премьеру, яркие афиши и анонсы, выпущенные на деньги «Лимон-фильма», но все это не было ни капельки похоже на то, как я представлял себе премьеру картины, в которой будет сниматься Фюсун.

За ужином у Кескинов о событии, которое вершилось совсем рядом, никто не говорил. Тарык-бей, тетя Несибе, Фюсун и я, смачно и глубоко затягиваясь, курили, ели макароны с фаршем, салат из свежих огурцов, заправленных сметаной, салат из помидоров, белую брынзу и мороженое «Жизнь», которое я привез из Ни-шанташи. Часто вставая из-за стола, мы подходили к окну посмотреть на дождь и на потоки воды, стекавшие по улочкам. За весь вечер я несколько раз собирался спросить у Фюсун, как продвигаются рисунки птиц, но по суровому выражению ее лица и нахмуренным бровям понимал, что мой вопрос будет неуместен.

Несмотря на плохие, насмешливые отзывы критиков, зрителями фильм был встречен очень хорошо, а сборы «Разбитых жизней» побили все рекорды. Во время последней сцены, когда Папатья в двух гневных и грустных песнях сетует на судьбу, многие плакали, и старые, и молодые, особенно часто слезы лились у женщин в провинции, и зрители выходили из сырых душных кинотеатров с покрасневшими и распухшими глазами. Восторженно встретили и предпоследний эпизод, в котором Папатья убивает умоляющего о пощаде богатого подлеца, который запятнал ее честь, когда она была почти ребенком. Эта сцена оказывала такое воздействие, что наш друг из «Копирки», Экрем-бей, исполнивший роль злодея — обычно он играл византийских священников и членов армянских тайных политических организаций, — вскоре устал от граждан, пытавшихся плюнуть ему в лицо или дать пощечину, и некоторое время не выходил из дома. Фильм стал популярным еще и потому, что вернул в кинотеатры зрителей, которые за «годы террора», как теперь называли этот период, отучились смотреть фильмы на больших экранах. Новой жизнью наполнились не только кинотеатры, ожила и «Копирка»: увидев, что производство возродилось, многие приезжали в бар, который превратился в своего рода биржу всех стамбульских киношников, и каждый стремился там себя продемонстрировать. В конце октября, ветреным дождливым вечером, в девять часов я по настоянию Феридуна отправился в «Копирку» и увидел, что мой авторитет там невероятно возрос и, как выражались в те дни, у меня «появился вес». Коммерческий успех «Разбитых жизней» превратил меня в успешного—даже смекалистого и оборотистого — продюсера, а это многократно увеличило количество желающих посидеть со мной за одним столом и подружиться.

Помню, в тот вечер голова кружилась от лести, внимания и ракы, и в какой-то момент мы оказались за столом вместе—Хайяль Хайяти, Феридун, я, Папатья и

Тахир Тан. Экрем-бей, пьяный не меньше моего, отпускал Папатье непристойные шутки, напоминая о сцене изнасилования, фотографии которой были бессчетно растиражированы газетами. А Папатья со смехом парировала, что «дело уж сделано» и что «бедные» мужчины ее теперь не интересуют. Феридун в какой-то момент вспылил, потому что Папатья влепила хорошую затрещину одному снобу-критику за соседним столиком, который смеялся над ней и ругал фильм—заурядную, по его словам, мелодраму, но вскоре об этом все забыли.

Экрем-бей похвалился, что после картины получает больше предложений сняться в рекламе финансовых компаний, между тем как обычно актеров, сыгравших отрицательных героев, снимать в рекламе не любили, и что он вообще теперь ничего не понимает. Разговор сам собой вращался вокруг финансовых компаний и ростовщиков, бравших деньги в управление под двести процентов годовых. Так как эти конторы давали множество рекламы в газетах и по телевидению, используя знаменитостей «Йешильчама», ее в обществе воспринимали хорошо. И поскольку пьяные завсегдатаи «Копирки» считали меня успешным, современным деловым человеком («Предприниматель, который любит искусство, идет в ногу со временем», — говорил Хайяль Хайяти), то когда разговор заходил о деньгах, все уважительно замолкали и слушали меня. После кассового успеха «Разбитых жизней» во мне разглядели дальновидного, безжалостного капиталиста, и вместе с тем все забыли, что я пришел в «Копирку» много лет назад, чтобы сделать актрису из Фюсун. Стоило же задуматься над тем, как быстро они забыли Фюсун, любовь к ней вспыхивала во мне с новой силой, обжигая изнутри, мне хотелось немедленно увидеть ее, и я чувствовал, что еще больше люблю ее за то, что она сумела не запачкаться в убогом и постыдном обществе, не запятнать свою честь, и в очередной раз понял, что был прав, держа ее подальше от всех этих людей.

Песни, которые по фильму пела Папатья, на самом деле исполняла подруга ее матери, одна неизвестная пожилая певица. После успешной премьеры Папатья сама решила выпустить их на пластинке. Тем вечером мы договорились, что кинокомпания «Лимон-фильм» это начинание поддерживает и что будет снято продолжение «Разбитыхжизней». Предложение сделать второй фильм исходило не от нас, а от кинопрокатчиков и владельцев кинотеатров из Анатолии. Об этом же просили и другие, поэтому Феридун решил, что «отказ будет противоречить природе вещей» (модный речевой штамп тех лет). Неважно, была ли героиня доброй или нет, в конце фильма она, как и все девушки, лишившиеся чести, непременно умирала, не обретя семейного счастья. Героиню Папатьи постигла та же участь, и, чтобы сюжет казался правдоподобным, предполагалось, что она в конце первого фильма не умерла, а лишь была ранена и сделала вид, будто погибла, чтобы спрятаться от злодеев. Действие должно было начаться в больнице.

О том, что скоро в производство запускается вторая картина, Папатья известила общественность три дня спустя в интервью газете «Миллийет». Теперь она каждый день давала интервью какой-нибудь газете. После премьеры пресса намекала, что у Папатьи и Тахира Тана тайный и бурный роман, но теперь эта тема исчерпала себя и Папатья все отрицала. В те дни Феридун говорил мне по телефону, что самые известные актеры просятся сниматься с Папатьей и что Тахир Тан смотрелся на ее фоне слабо. Она же уверяла в беседах с журналистами, что, кроме поцелуев, у нее не было близких отношений с мужчинами. Самый важный эпизод ее жизни, который она не забудет никогда, произошел, когда она впервые целовалась со своей первой любовью — летним днем, в саду, где жужжали пчелы. Парень, к сожалению, пал смертью храбрых во время войны с греками на Кипре. После него Папатья не встретила еще того, кого бы так же полюбила, да и любовные страдания ее мог бы заставить забыть только какой-нибудь лейтенант. Когда Феридун высказал ей, что ему не нравится столь откровенная ложь, Папатья, не моргнув глазом, стала уверять,

будто делает так, чтобы сценарий второго фильма пропустила цензура. От меня свои отношения с Папатьей Феридун даже не пытался скрывать. Я в глубине души ужасно завидовал ему за то, что он жил в мире с собой и с другими, не думал о бедах и не был несчастным, что всегда умел остаться простодушным и выглядел искренним.

Первый альбом Папатьи под названием «Разбитые жизни» вышел в начале января 1982 года и тоже стал популярным, пусть и не таким, как фильм. Альбом рекламировали на стенах домов, закрашенных после переворота известкой, повсюду публиковались небольшие анонсы. Увы, комитет по музыкальной цензуре (который на самом деле назывался более изящно—«Общество музыкального контроля») при ТРТ счел диск довольно легкомысленным, поэтому песни Папатьи не попали ни в теле-, ни в радиопрограммы. После выхода пластинки она опять дала серию интервью, и заявления, наполовину правдивые, наполовину придуманные по уговору с журналистами, прославили ее еще больше. Папатья рассуждала на такие темы, как «О чем должна думать прежде современная девушка, сторонница реформ Ата-тюрка,—о своем муже или о работе?», а на съемках у себя в спальне, стоя перед зеркалом с плюшевым медведем (она купила мебельный комплект в восточном стиле), говорила, что, к сожалению, еще не встретила мужчину своей мечты. Папатья пекла перед камерой у себя на кухне вместе с матерью, изображавшей скромную домохозяйку, пирожки со шпинатом — такая же эмалированная кастрюля, мелькнувшая в кадре, была и у Фюсун, чтобы показать, сколь она аккуратней, чище и счастливее, чем измученная жизнью героиня «Разбитых жизней», Лерзан. (При этом, глядя в камеру, не преминула сказать: «Все мы, конечно, в чем-то как Лерзан».)

Однажды Феридун с гордостью сказал мне, что Папатья на самом деле настоящая профессионалка и не принимает всерьез все свои интервью, ей не важно, что в газетах и журналах о ней пишут неправду. Папатью не трогал ее обман, как обычно переживали все безголовые начинающие звездочки, которых мы знали по «Копирке» и которые дальше третьесортных мелодрам не пошли, а наоборот, сама выдумывала о себе ложь и сама все держала под контролем.

71 Вы к нам теперь совсем не приходите, Кемаль-бей

Когда для летней рекламной кампании первого турецкого лимонада «Мельтем», переживавшего в те дни тяжелую схватку с «Кока-колой» и похожими иностранными марками, было решено пригласить Папатью — режиссером рекламного ролика тоже выбрали Фериду-на, и я, не выдержав, воспротивился. Борьба со старыми друзьями, от которых я отдалился, хотя не держал на них зла, разбивала мне сердце.

Заим прекрасно знал, что Папатья работает на «Лимон-фильм». Мы договорились с ним пообедать в «Фойе», чтобы все обсудить.

— «Кока-кола» дает своим торговым представителям кредит, дарит пластиковые рекламные панно, рассылает календари, подарки. Нам за ними не угнаться, — жаловался Заим. — А подростки как обезьяны. Стоит им увидеть Марадону с «Кока-колой», то им уже все равно, что «Мельтем» дешевле, полезнее, что его делают в Турции. Они предпочтут колу.

— Не сердись, и я теперь пью кока-колу.

— Я тоже... — вздохнул Заим. — Да какая разница, что мы пьем? А Папатья укрепит наши позиции в провинции. Но что она за человек? Ей можно доверять?

— Не знаю. Жадная, нищая девочка. Мать — бывшая ресторанная певичка. Отец неизвестен. Что еще тебя интересует?

— Мы же вкладываем такие деньги. Если она потом засветится где-нибудь с танцем живота, или снимется в эротической картине, или еще что-нибудь... Например, станет известно, что у нее богатый женатый любовник... В провинции такого не потерпят. Говорят, она встречается с мужем твоей Фюсун...

Мне не понравилось, с каким выражением лица он произнес «твоей Фюсун». Он будто говорил: «Уж ты-то этот сброд хорошо знаешь».

— «Мельтем» в провинции больше любят? — я желал обойти все намеки.

Заима, который стремился вести европейский образ жизни, беспокоило, что «Мельтем», появившийся на рынке с рекламой, в которой участвовала немецкая модель Инге, не смог завоевать популярность в кругу состоятельных стамбульцев и у жителей больших городов.

— Да, в провинции нас любят, — подтвердил За-им. — У людей там вкус не испорчен, поэтому они больше турки, чем мы! Но ты не обижайся и не отговаривай меня... Я хорошо понимаю, что ты испытываешь к Фюсун. В наше время любовь, длящаяся долгие годы, вызывает огромное уважение, кто бы что ни говорил.

— А кто что говорит?

— Никто и ничего, — Заим явно не желал продолжать тему.

Эти слова означали: «В обществе о тебе все забыли». Разговор не клеился, Заим скрывал правду, потому что не хотел меня обижать, и я был ему за это признателен. Он улыбнулся—открыто, по-дружески; его улыбка вселяла уверенность. Но мне почему-то стало больно, что меня забыли в моем прежнем кругу, в кругу друзей. На его вопрос о делах я ответил:

— Все хорошо. Мы с Фюсун поженимся. Я вернусь с ней в общество... Конечно, если эти отвратительные сплетники смогут меня простить.

— Друг мой, не обращай на них внимания, — утешал меня Заим. — За три дня обо всем забудут. По твоему лицу, по твоим глазам видно, что у тебя все в порядке. Когда я услышал о Феридуне, то подумал, что Фюсун наконец возьмется за ум.

— Откуда ты узнал о Феридуне?

— Да какая разница!

— Ладно! А твоя свадьба не намечается? — сменил я тему разговора. — Есть кандидатура на примете?

— Смотри, Хильми с Неслихан... — Заим посмотрел на вход.

— О-о-о, какие люди! — Хильми подошел к нашему столу.

Неслихан выглядела отлично. Да и Хильми тоже. Он не доверял портным из Бейоглу и всегда одевался в лучших магазинах Италии. У них был такой ухоженный, шикарный, благополучный вид, что любо-дорого посмотреть. Они улыбались, но в улыбке сквозила насмешка над всем, и я понял, что у меня так вести себя уже не получится. На мгновение мне показалось, что Неслихан смотрит на меня с испугом. Я пожал им руки, но был сдержан, потом занервничал из-за этого и почувствовал неловкость. А ведь я только что сказал Заиму, что вот-вот вернусь в то общество, которое глянцевые журналы претенциозно называли «большим светом». Мне захотелось попасть обратно в тот мир, где я жил с Фюсун, в Чукурджуму.

В «Фойе», как всегда, было много посетителей. Я рассматривал цветы в горшках, гладкие стены, роскошные лампы, словно припоминая старую фотографию приятного события. «Фойе» тоже постарел. Смогли бы ли мы когда-нибудь сидеть здесь с Фюсун, ни о чем не беспокоясь, наслаждаясь жизнью и тем, что мы вместе? «По всей вероятности, да», —уверял я себя.

— О чем-то ты замечтался, — прервал мои мысли Заим.

— Да просто перебираю все, что знаю о Папатье.

— Раз она этим летом станет лицом «Мельтема», ей надо будет бывать на наших вечеринках, на приемах. Что скажешь?

— О чем ты спрашиваешь?

— Нормальная ли она? Будет ли прилично себя вести?

— С чего бы ей вести себя неприлично? Она ведь актриса. К тому же звезда.

— И я как раз об этом. Знаешь, бывают такие кривляки, которые играют богачек в турецких фильмах... Чтобы нам не оказаться, как они.

Заим перенял это выражение от своей матери — «чтобы нам не оказаться, как они». Он, конечно, имел в виду обратное: «чтобы она не оказалась, как они». Подобным образом он относился ко всем, кто был ниже происхождением, и Папатья исключением не стала. Но я рассуждал разумно и решил, что сидеть с Заимом в «Фойе» и сердиться на узость его взглядов глупо.

Подошел метрдотель Сади, которого я знал много лет. Я спросил, какую рыбу он нам посоветует.

— Вы к нам теперь совсем не приходите, Кемаль-бей, —укоризненно покачал он головой. — И матушка ваша тоже не бывает.

— У матери после смерти отца пропало всякое желание ходить по ресторанам.

— А вы все же приводите госпожу, Кемаль-бей. Мы ее повеселим. Когда у Караханов умер отец, они привозили мать на обед три раза в неделю и сажали за стол у окна. Госпожа и обедала, и отвлекалась, разглядывая прохожих.

— Знаю я эту женщину... Она старинных порядков, как из гарема... — пояснил Заим. — Черкешенка, зеленоглазая, все еще красивая, хотя ей за семьдесят. Так какую ты нам рыбу дашь?

Иногда Сади изображал нерешительность; «Пагр, барабулька, рыба-меч, морской язык»,—перечисляя названия, он умудрялся, бровями и усами, шевелящимися вверх-вниз, сообщать подробные сведения о вкусе и качестве рыбы. Иногда сокращал свой доклад:

— Я подам вам сегодня жареного морского окуня, Заим-бей. Ничего другого не советую.

— А что на гарнир?

— Что желаете. Вареный картофель, руккола.

— А на закуску?

— Соленый тунец этого года.

— Еще красного лука принеси, — попросил Заим, не поднимая головы от меню.

Он открыл последнюю страницу, где было написано «Напитки».

— Ну вот, прекрасно! «Пепси», «Анкарская содовая», даже «Эльван» есть, а «Мельтема» опять нет! — возмутился Заим.

— Да ведь ваши раз завозят, а больше не приезжают. Пустые бутылки неделями за кассой стоят, — посетовал Сади.

— Ты прав. Развозка по Стамбулу у нас никудышная, — согласился Заим. Он повернулся ко мне: —Ты же знаешь, как все происходит. Как дела у «Сат-Са-та»? Может, поможешь нам с транспортом?

— О «Сат-Сате» забудь, — сказал я. — Осман с Тур-гаем открыли новую компанию, нас обходят. Как отец умер, братом завладела жадность.

Заиму не понравилось, что мы говорим о наших проблемах при Сади. «Ты нам лучше по двойной порции ракы „Клуб" со льдом принеси», — велел он ему. Когда Сади удалился, Заим нахмурился:

— Твой дорогой Осман тоже хочет с нами работать.

— Я мешать не буду, — сказал я. — Не собираюсь обижаться на тебя за то, что ты работаешь с Османом. Делай как знаешь. Какие еще новости?

Заим сразу понял, что под словом «новости» я подразумеваю «общество», и, желая повеселить меня, рассказал несколько забавных историй. Кораблестроитель Повен посадил на мель ржавый сухогруз у берега между Тузлой и Байрамоглу. Надо сказать, что Повен скупал за границей ржавые, давно списанные и опасные для окружающей среды суда как металлолом; пользуясь связями во власти, он регистрировал их как настоящие дорогие корабли и, благодаря друзьям в правительстве, получал со взяткой беспроцентный кредит от «Фонда развития турецкого кораблестроения»; затем затапливал судно, и в качестве возмещения ему выплачивали огромные деньги от государственной страховой компании «Башак»;

после продавал севшее на мель ржавое судно знакомым, занимавшимся торговлей железом, и таким образом, не вставая из-за стола, зарабатывал миллионы. После пары стаканчиков ракы Повен обычно принимался хвастаться: «Я — самый большой дилетант по части кораблей, никогда в жизни даже на корабле не был».

— Его махинации, конечно, вышли наружу. Очередное судно он затопил, чтобы далеко не ездить, прямо у дачи, которую подарил любовнице. На этот раз на него все нажаловались, потому что произошло это рядом с садами и пляжами и море он испоганил. Любовница, говорят, ревела в три ручья.

— А еще?

— Авундуки и Менгерли потеряли все деньги, доверившись некоему ростовщику Денизу. Поэтому, говорят, Авундуки забирают дочь из лицея «Нотр Дам де Сион» и поспешно выдают замуж.

— Девушка-то у них некрасивая, деньги не помогут, — живо отреагировал я, потому что мне было интересно узнать все слухи. — К тому же кто доверяет ростовщику Денизу? Он, наверное, самый убогий из всех. Я и имя-то всего пару раз слышал.

— Ты кому-нибудь давал деньги в рост? — поинтересовался Заим. — Если слышал имя ростовщика, будешь ему доверять?

Все знали, что некоторые начали заниматься вложениями денег, бросив закусочные, торговлю шинами для грузовиков, и даже билетами Государственной лотереи. И мало кто выплачивал большие проценты. Но некоторые управляющие компании давали много рекламы, дело их быстро росло, так что им удавалось какое-то время держаться на плаву. ГЬворили, что даже профессора по экономике, которые презрительно морщили нос и вовсю критиковали их в газетах, не устояв перед обещанными высокими процентами, отдавали им деньги в рост, оправдываясь — «всего на пару месяцев».

— Я никуда деньги не вкладывал, — то было правдой. — И ни одна из наших компаний тоже.

— Там дают такой высокий процент, что заниматься обычным делом просто глупо. Если бы я отдал деньги, которые вложил в «Мельтем», в рост Кастелли, сегодня бы они увеличились в два раза.

Я почувствовал при этих словах пустоту и бессмысленность существования. Но объяснял это не глупостью мира, к которому принадлежал, или, если выразиться мягче, не отсутствием логичности в нем, а некоторой невьшосимои легкостью. Однако меня это не слишком огорчало, я воспринимал это даже со смехом и отчасти с гордостью.

— Что, «Мельтем» и в самом деле доходов не приносит? Я сказал не подумав, но Заим обиделся.

— Ладно, что делать? Мы доверяем Папатье, — снова вернулся он к началу разговора. — Надеюсь, она нас не опозорит. Я хочу, чтобы она исполнила рекламную песню «Мельтема» с «Серебряными листьями» на свадьбе Мехмеда и Нурджихан. Вся пресса будет там, в «Хилтоне».

Я растерянно молчал, потому что слышал впервые о свадьбе Мехмеда и Нурджихан.

— Знаю, тебя не пригласили, — пояснил Заим. — Но думал, ты уже слышал.

— Почему меня не зовут? »

— Об этом долго спорили, обсуждали. Как ты догадываешься, Сибель не хочет тебя видеть, заявляет категорично: «Если он придет, не приду я». Сибель—лучшая подруга Нурджихан. К тому же это она ее с Мехме-дом познакомила.

— Но Мехмед и мой близкий друг, — мне становилось нехорошо. — Можно сказать, что это и я их познакомил.

— Не делай из мухи слона и не расстраивайся.

— Почему все происходит так, как хочет Сибель? — возмутился я. Но, когда говорил, чувствовал, что не прав.

— В глазах общественности Сибель — жертва несправедливости, — сказал Заим. — Ты бросил ее после того, как жил с ней в доме на Босфоре и спал в одной кровати. Все только об этом и сплетничали потом. Матери приводили в пример дочерям. В назидание. Сибель держится стойко. А на тебя, конечно, она рассердилась. Сейчас все на стороне Сибель, только ты не бери в голову...

— Да и пусть, — выдохнул я, но не мог не думать об этом.

В молчании мы принялись за рыбу и ракы. Я прислушался к шагам хлопотавших официантов. Стоял ровный гул из смеха, голосов, звона приборов. «Никогда больше не приду сюда», — злоба не давала мне покоя. Но, даже уговаривая себя так поступить, знал, что люблю это место и что мир этот мой.

Заим рассказывал, что хочет купить этим летом скоростной катер, но прежде приобретет особый мотор, который можно крепить на корму, что обошел все магазины в Каракёе и не смог найти ничего стоящего.

— Ну все, перестань, хватит дуться, — сказал он внезапно. — Нельзя так расстраиваться из-за того, что не идешь на свадьбу в «Хилтоне». Будто не случалось так, что тебя не приглашали?

— Мне не нравится, что мои друзья избегают меня из-за Сибель.

— Никто тебя не избегает.

— Хорошо, а как бы ты поступил в этом случае?

— А как я должен был поступить? — наигранно спросил Заим. — Я, конечно же, хочу, чтобы ты пришел. Мы с тобой обычно прекрасно веселимся на свадьбах.

— Дело не в веселье, а в чем-то более важном.

— Сибель замечательная девушка, не такая, как все, — еще раз пытался вразумить меня Заим. — Ты ее обидел. К тому же выставил перед людьми в странном свете. Вместо того чтобы дуться и смотреть с яростью на меня, согласись с тем, что ты сделал, Кемаль. Поверь, что тогда вернуться к твоей прежней жизни будет гораздо легче.

— То есть ты считаешь, что я виноват, так? — вспылил я. Я продолжал этот разговор, зная, что вскоре пожалею: — Если девственность у нас до сих пор столь важна, то почему мы изображаем европейцев? Давай будем честными!

— Все честны... Единственное, в чем ты ошибаешься, это в том, что считаешь девственность частным вопросом. Какими бы европеизированными и современными мы ни были, для девушки в нашей стране эта тема по-прежнему важна.

— Ты сказал, что Сибель все равно...

— Даже если и так, обществу не безразлично, — сказал Заим. — Когда Белая Гвоздика написал про тебя гадкую статью, о тебе все заговорили. И ты из-за этого расстраиваешься, хотя тебе вроде все по барабану. Разве не так?

Уверен, Заим специально делал так, чтобы меня разозлить. Ну если он хочет, получит сполна. Разум подсказывал мне сдержаться, что я пожалею, но мне было уже не остановиться.

— Знаешь, Заим, дружище? — начал я. — Мне кажется, если Папатья споет рекламную песню в «Хилтоне» с «Серебряными листьями», это будет очень пошло, дешево и глупо.

— Но она же будет нас рекламировать... Ладно-ладно, хватит сердиться на меня...

— Будет заурядно...

— Э-э, да мы ведь и выбрали Папатью именно поэтому, — уверенно признался Заим.

Я приготовился к тому, что он попрекнет меня фильмом, который и вытащил эту заурядность наверх, но Заим был порядочным человеком, у него даже в мыслях не

было подобного.

— Скажу тебе, как друг... — внезапно серьезно произнес он. — Милый Кемаль, не люди тебя избегают это ты начал избегать людей.

— И что я такого сделал?

— Ушел в себя. Наш мир показался тебе недостаточно интересным, недостаточно хорошим. Ты сделал какое-то важное открытие. Твоя любовь стала целью, которую необходимо достичь. Не сердись на нас...

— А ничего попроще быть не может? Мы занимались любовью, было приятно и здорово, а потом я влюбился... Любовь — такая штука. С ней чувствуешь смысл, чувствуешь связь с этим миром. Это никак не касается вас!

Слово «вас» само вырвалось у меня. На мгновение мне показалось, что Заим смотрит на меня откуда-то издалека. Теперь мы не могли быть близки, как раньше. Слушая меня, он слышал себя, свои слова. Я замечал это по выражению его лица. А ведь Заим умный человек, даже проницательный. Значит, он тоже на меня сердился. По его глазам видно было, что он от меня отдаляется, и я попрощался и со своим прошлым, и с Заимом.

— Ты слишком чувствительный, — он пытался быть помягче со мной. — За это я тебя и люблю.

— А что Мехмед говорит?

— Ты знаешь, что и он тебя любит. Но они с Нурд-жихан счастливы так, что ни ты, ни я понять не можем. Мехмед парит от счастья и хочет, чтобы его ничто, никакая проблема не запятнала.

— Понятно, — сухо процедил я и решил сменить тему. Заим сразу все понял.

— Не будь обидчивым, будь благоразумным, — посоветовал он.

— Ладно, ладно! — согласился я, и до конца обеда ни о чем важном мы больше не разговаривали.

Когда уходили Хильми с Неслихан, Заим, прощаясь с ними, пытался смягчить атмосферу шутками, но ничего не получалось. Роскошный вид Хильми и его жены сейчас казался мне немного ненатуральным, даже фальшивым. Я потерял связь со своей прошлой жизнью, со своим прежним кругом, со своими друзьями. Может, это меня и огорчало, но в тот момент душу огорчали месть и ярость.

Счет оплатил я. Мы с Заимом выходили из «Фойе» и внезапно искренне обнялись и расцеловались, как два старых друга, которые знают, что отправляются в долгое путешествие и не увидятся много лет. А потом разошлись.

Две недели спустя Мехмед позвонил мне в «Сат-Сат», долго извинялся, объясняя, почему не приглашает меня на свадьбу, и обмолвился, что Заим встречается с Сибель. Конечно, я был последним, кто об этом узнал.

72 Жизнь как любовь

Однажды вечером, когда мы собирались сесть за стол, я почувствовал, что в гостиной какая-то перемена, будто чего-то не хватало, и внимательно осмотрелся. Но все стояло на своих местах: кресла, телевизор, те же собачки. Стены комнаты почему-то показались мне чужими, словно их выкрасили в мрачный цвет. В те дни во мне крепло чувство, что жизнь не подчиняется сознанию и воле, а течет как любовь: что-то происходит с тобой и со мной, и это не зависит от разума, точно пребываешь в царстве грез. Я старался не будить себя, чтобы не сражаться с этими черными мыслями, не поддаться им. И решил не обращать внимание на все, что бы там ни происходило, — пусть все идет своим чередом. Беспокойство, которое вызывала во мне гостиная, я отогнал от себя.

Начавший тогда вещание турецкий канал культуры, подгадав к годовщине гибели Грейс Келли, показывал фильмы с ее участием. По четвергам, вечером, наш

друг из «Копирки», известный актер Экрем, вел программу о кино. Он прятал листки со своими репликами за вазой, полной роз, чтобы не было видно, как у него трясутся от алкоголя руки. Экрем-бей читал витиеватые интеллектуальные тексты, сочиненные одним молодым кинокритиком, не особо в них разбираясь, но иногда, оторвавшись от бумажки, перед самым началом фильма, как под большим секретом, сообщал, что на каком-то фестивале имел счастье познакомиться «с американской красавицей, актрисой-княгиней» и что она очень любит турок. Он говорил все это с таким загадочным видом, будто у них с Грейс Келли был роман. Фюсун, которая в первые годы замужества немало наслышалась от Феридуна и его друзей о Грейс Келли, никогда не пропускала эти фильмы. А так как мне хотелось увидеть, как Фюсун смотрит на хрупкую, но цветущую и здоровую на вид кинодиву, каждый четверг я занимал свое место за столом.

В тот вечер мы смотрели «Окно во двор» Хичкока. Фильм, вместо того чтобы успокоить меня, произвел прямо противоположное действие. Эту картину я уже видел много лет назад, когда только и думал что о поцелуях Фюсун. Теперь ничто не утешало меня: ни впечатлительность моей красавицы, ни изящество и простодушие Грейс Келли... Меня мучило ощущение, какое бывает, когда не можешь вырваться из кошмарного сна, в котором тебе кажется, что комната, где ты находишься, постепенно сужается. Будто само Время начало давить на тебя.

Я приложил немало усилий, чтобы продемонстрировать это в Музее Невинности. Это чувство состоит из двух компонентов: переживаемое душевное состояние и мир, который ты видишь искаженным из-за него.

Ощущение нереальности происходящего немного похоже на состояние, испытываемое от спиртного или курения марихуаны. Но одновременно и какое-то другое. Будто до конца никак не можешь исчерпать этот, сейчас длящийся, отрезок времени. За ужином у Фюсун у меня не раз возникало чувство, будто мгновение настоящего перенесено куда-то за пределы этого дня. Мы часто смотрели фильмы с Грейс Келли, которые уже видели; наши застольные беседы повторяли одна другую, но причина загадочного чувства все же была иной. Мне казалось, будто я наблюдаю за настоящим издалека. Пока мое тело жило настоящим, я видел себя и Фюсун точно на сцене, словно мы актеры. Тело мое существовало здесь и сейчас, а душа смотрела на все издалека. Момент времени, где мы пребывали, я словно бы припоминал. И все собранное в Музее Невинности — это и есть мои воспоминания.

Переживать настоящее как восстановление сбывшегося — иллюзия, связанная с понятием времени. Это можно сравнить с детским восприятием, когда ребенок впервые сталкивается с рисунками на внимательность: например, надо найти семь отличий или одно небольшое. Такие игры вызывали у меня беспокойство, но и развлекали одновременно. В другой раз от меня требовалось «найти для короля выход из лабиринта, в котором он прячется», или показать, «в какую нору пролезть зайцу, чтобы выбраться из леса». Между тем на шестой год визитов к Фюсун застолья в их семье становились для меня все более тягостными. И Фюсун тем вечером это почувствовала.

— Что случилось, Кемаль? Тебе фильм не понравился?

— Нет, понравился.

— Тебе такие фильмы обычно не нравятся, — заметила она осторожно.

— Как раз наоборот, — возразил я и замолчал.

Внимание с ее стороны к моей грусти, к моему плохому настроению и к тому, что меня беспокоит, сам факт что она проявила участие за столом, при родителях, было особенным событием, и я смягчился, проронив пару слов одобрения о фильме и Грейс Келли.

— Все же у тебя сегодня очень плохое настроение. Не скрывай, пожалуйста, Кемаль, — просила Фюсун.

— Ладно... В этом доме что-то изменилось, чего-то не хватает, но никак не могу понять чего.

Все тут же переглянулись и рассмеялись.

— Лимон переехал в другую комнату, Кемаль-бей, — добродушно сказала тетя Несибе. — Мы все время удивлялись, как это вы до сих пор не заметили.

— И в самом деле, как я не заметил! А ведь я его очень люблю...

— Мы тоже его любим, — с гордостью произнесла Фюсун. — Я решила его нарисовать, вот клетку и забрала в другую комнату.

— Ты уже начала рисовать? Пожалуйста, покажи.

— Конечно.

Фюсун уже давно не делала рисунки птиц. Она бросила это занятие от хандры.

Мы вошли в дальнюю комнату, и я, раньше, чем самого Лимона, заметил недавно начатый рисунок.

— Феридун больше не приносит фотографий, — призналась Фюсун. —А я решила, чем рисовать с фотографии, лучше брать из жизни.

Ее спокойствие и то, что она говорила о Феридуне, словно их отношения остались в невозвратном прошлом, мгновенно вскружило мне голову. Однако я сдержался.

— Хорошо, что ты начала рисунок, Фюсун, красиво выходит, — задумчиво сказал я. — Лимон будет лучшей твоей работой. Говорят, если человек рассказывает о том, что хорошо знает, он добивается больших успехов в искусстве.

— Но реалистичной картинки не выйдет.

— То есть?

— Я не стану рисовать клетку. Лимон будет сидеть перед окном как свободная птица, только что сама прилетевшая.

В ту неделю я был на ужине у Кескинов еще три раза. После еды мы уходили в дальнюю комнату и обсуждали детали рисунка. Лимон без клетки казался счастливее, веселей. Потом говорили о том, чтобы поехать в Париж, в музеи.

Во вторник вечером я, глядя на свободного Лимона, произнес слова, которые заготовил заранее, хотя и волновался, как школьник:

— Милая, пора нам вместе уйти из этого дома, бросить эту жизнь,—прошептал я. — Жизнь коротка, годы проходят, а мы все упрямимся. Теперь пора нам быть вдвоем, уехать отсюда и стать счастливыми. — Фюсун делала вид, будто не слышит меня, но Лимон коротенько просвистел что-то в ответ. — Больше нам нечего бояться, нечего стесняться. Давай мы, ты и я, уйдем из этого дома и будем счастливы где-нибудь в другом месте, в нашем собственном доме, до конца наших дней. Тебе двадцать пять лет, у нас еще полвека жизни, Фюсун. За последние шесть лет мы немало вынесли, чтобы заслужить счастье на предстоящие пятьдесят! Теперь пойдем по жизни вдвоем. Хватит противиться, мы оба долго упрямились.

— Разве мы упрямились, Кемаль? А я и не знала. Не клади туда руку, птица пугается.

— Ничего он не пугается, смотри, ест у меня с руки. В нашем доме его место будет самым почетным.

— Папа сейчас забеспокоится, — сказала она, но как-то по-дружески, точно делилась со мной тайной.

В следующий четверг мы опять смотрели Хичкока— «Поймать вора». Но меня не интересовала Грейс Келли, я наблюдал за тем, как смотрит на нее Фюсун. Во всем — как билась у нее на шее синяя жилка, как шевелилась ее рука, лежавшая на столе, как она поправляла волосы и держала сигарету «Самсун»—я читал восторг от княгини-звезды.

Наедине Фюсун призналась: «Знаешь, Кемаль, говорят, у Грейс Келли тоже было плохо с математикой. И актрисой она стала после того, как была манекенщицей.

Я только завидую ей, что она водила машину».

Рассказывая о фильме, Экрем-бей доверительно сообщил турецкому зрителю, будто речь шла о близком родственнике, что актриса погибла в автокатастрофе именно на той дороге и на том же самом углу, где ехала в злополучном фильме.

— Почему ты ей завидуешь?

— Не знаю. Когда она ведет машину, то кажется такой сильной, такой свободной. Наверное, поэтому.

— Если хочешь, я тебя немедленно научу.

— Нет-нет, не хочу.

— Фюсун, ты очень способная, я смогу научить тебя водить машину так, что ты получишь права за две недели и будешь спокойно ездить по Стамбулу. Стесняться тут нечего. Четин научил меня водить машину, когда мне было столько лет, сколько тебе. — Это было неправдой. —Тебе нужно только быть терпеливой и не нервничать, вот и все.

— Я терпеливая, — уверенно сказала Фюсун.

73 Фюсун учится водить машину

В апреле 1983 года мы с Фюсун начали готовиться к экзамену на получение водительских прав. После первого разговора о вождении—полусерьезного, полушутливого —на сомнения, капризы и недомолвки ушло еще пять недель. И я, и Фюсун сознавали, что наши занятия будут не только подготовкой к экзамену на водительские права, но и испытанием на прочность наших близких отношений. По крайней мере, так думал я. Это был бы наш второй экзамен, и меня обуял страх, что третьей возможности Аллах нам не даст.

Вместе с тем я понимал, что занятия позволят быть еще ближе к Фюсун, и радовался, что она сознательно делает такой шаг. С осознанием этой возможности мне становилось спокойнее, веселее и оптимистичнее. Солнце начало медленно проступать из-за облаков после долгой и темной зимы.

В один ясный весенний день, около полудня (была пятница, 15 апреля 1983 года, три дня после ее двадцать шестого дня рождения, которое мы отпраздновали шоколадными пирожными, заказанными мной в кондитерской «Диван»), я забрал Фюсун на «шевроле» от мечети Фирюз-ага, чтобы отправиться на наш первый урок. Машину я вел сам, Фюсун сидела рядом со мной. Она попросила меня встретить ее не у дома в Чукурджуме, а в пяти минутах ходьбы, подальше от любопытных взглядов обитателей квартала, на перекрестке вверху, на холме.

Впервые за восемь лет мы направлялись куда-то вдвоем. Я, конечно же, был счастлив, но в то же время взволнован и напряжен так, что счастья своего не замечал. Будто не встречаюсь в очередной раз с девушкой, ради которой восемь лет предпринимал невероятные усилия, многое пережив и перестрадав, а шел на первое свидание с прекрасной, подходящей мне претенденткой на роль жены, с которой кто-то решил меня познакомить.

Фюсун надела платье, которое ей очень шло, — белое с рисунком из оранжевых роз и зеленых листьев, длиной до колен, с треугольным вырезом. В нем она всегда бывала на наших уроках, совсем как спортсмен, который предпочитает одну и ту же форму для тренировок. Через три года после тех первых дней и ночей я увидел это платье в шкафу Фюсун, и перед моими глазами предстали те напряженные и головокружительные часы счастья, которое мы пережили в Парке Йылдыз, неподалеку от дворца Абдул-Хамида, и, вдыхая бесподобный аромат Фюсун, исходивший от рукавов и груди платья, вновь переживал мгновения былого.

Поначалу ее платье увлажнялось от пота под мышками, затем влага красиво расходилась по груди, рукавам и животу. Иногда машина глохла где-нибудь на

солнцепеке, приятное весеннее солнце освещало нас, совсем как восемь лет назад, когда мы встречались в «Доме милосердия», и нам обоим делалось жарко. Этому еще более способствовали наше смущение, напряженность и волнение. Когда Фюсун совершала какую-нибудь ошибку, например, правым колесом машины заезжая на бордюр или недожимая сцепление, о чем нам тут же напоминал скрежет шестеренок, или когда у нее глох мотор, она сердилась, краснела и лоб покрывался еще большим потом.

Правила дорожного движения Фюсун выучила дома по книгам, можно сказать, вызубрила наизусть; она неплохо рулила, но освоить сцепление—как и многим ученикам-автомобилистам — ей никак не удавалось. Она внимательно и медленно вела машину по учебной трассе вперед, у перекрестка притормаживала, старательно подъезжала к тротуару, как корабль, который осторожный капитан подводит к пристани, и одновременно с моими словами: «Молодец!», «Ты очень способная», она слишком быстро убирала ногу с педали сцепления, и машина, словно задыхающийся от кашля старик, начинала подпрыгивать и дрожать. Я же кричал: «Сцепление, сцепление, сцепление!» Но Фюсун жала либо на газ, либо на тормоз. Когда она давила на газ, кашляющие рывки машины усиливались, делаясь опасными, а потом мгновенно стихали. И по раскрасневшемуся лицу Фюсун со лба, с кончика носа и с висков лил ручьями пот.

«Все, хватит, — смущенно говорила она, вытираясь. — Мне этому никогда не научиться. Бросаю! Я не создана для вождения!» Она быстро выходила из машины. Иногда делала в сторону сорок-пятьдесят шагов, обтирая платком пот, и нервно курила. (Как-то раз рядом стали кружить двое мужчин, решивших, что девушка в парке одна.) Иногда закуривала свой «Самсун», еще сидя в машине, яростно тушила в пепельнице промокший от пота окурок и твердила, что права получать не будет, что этого ей совсем даже не нужно.

И я не на шутку пугался, будто от ее прав зависело наше будущее счастье, чуть не умоляя потерпеть и успокоиться.

Ее мокрое от пота платье, бывало, прилипало к плечам. Я подолгу смотрел на прекрасные руки Фюсун, на ее взволнованное лицо, нахмуренные брови, на красивое, напряженное тело, влажное от пота, как в те весенние дни, когда мы были близки. Расположившись в водительском кресле, она начинала волноваться, и ее лицо краснело от напряжения; когда ей делалось жарко, она расстегивала верхние пуговицы платья, но потела еще больше. Глядя на ее влажную шею, виски, мочку уха, я пытался увидеть, угадать, вспомнить изящную форму ее прекрасной груди, которую восемь лет назад брал в рот, словно сочные, желтые груши. (Дома тем же вечером я после нескольких стаканчиков ракы представлял, что видел ее соски клубничного цвета.) Иногда, чувствуя, что Фюсун замечает мой ненасытный взгляд, но не обращает на это внимания и он ей даже нравится, я изрядно распалялся. Показывая, как нужно, плавно нажав на сцепление, переключить передачу, я касался ее руки, ее прекрасной изящной кисти, ее бедра, и мне казалось, что наши души соединились прежде наших тел. А потом Фюсун опять рано убирала ногу с педали сцепления, и бедный «шевроле» трясся, словно старый конь, пока не глох окончательно. Тогда мы внезапно замечали, насколько тихо в парке, в султанском дворце и во всем мире. Зачарованные, слушали мы жужжание жука, проснувшегося до срока от весеннего солнца, и понимали, как прекрасно быть весенним днем в саду, как прекрасно жить.

Огромный сад с комплексом особняков, откуда некогда султан Абдул-Хамид, скрывшись от всего мира, управлял Османской империей, с огромным бассейном, где он, как маленький, возился со своим игрушечным кораблем (младотурки планировали взорвать его вместе с ним), после провозглашения Республики превратился в обычный парк, где стали кататься на машинах богачи с семьями и ездить те, кто учился водить. От друзей, вроде Хильми, Тайфуна и даже Заима, я

знал, что смелые и страстные пары, которым негде было встречаться, часто прячутся здесь в укромных местечках за столетними платанами и каштанами. Всякий раз, когда отважные влюбленные попадались нам на глаза, мы с Фюсун подолгу молчали.

Наш урок обычно продолжался не более двух часов, хотя мне казалось, длится он как наши свидания в «Доме милосердия»; потом между нами воцарялась тишина, точно после бури.

— Поедем в Эмирган попить чаю? — спрашивал я, когда мы выезжали из ворот парка.

— Хорошо, — смущенно шептала Фюсун.

Я волновался, будто впервые встретился с девушкой, которую мне сосватали в жены родственники. Но когда мы ехали вдоль Босфора и затем, припарковавшись на бетонной пристани Эмиргана, пили чай, я был так счастлив, что лишался слов. Фюсун, усталая от нервного напряжения, либо молчала, либо говорила о машине и наших уроках.

Во время этих чаепитий за запотевшими стеклами «шевроле» я несколько раз пытался дотронуться до нее. поцеловать, но она, как порядочная девушка, которая не хочет до замужества пятнать честь никакими прикосновениями, мягко меня отстраняла. Но совершенно не сердилась и не грустнела, что меня радовало. Думаю, в такие мгновения я походил на провинциального жениха, который узнал, что девушка, на которой он собирается жениться, — строгих принципов и девственно чиста.

В июне 1983 года мы начали собирать документы, необходимые для экзамена на водительские права, и объехали с Фюсун почти весь Стамбул. Как-то, прождав полдня в очереди к невропатологу и в регистратуру Военной больницы Касымпаша, где в тот день по необъяснимым, сверхъестественным причинам собралась огромная очередь из будущих водителей, мы, получив справку, что нервная система Фюсун и ее рефлексы в норме, отправились гулять по окрестным улочкам и добрели до мечети Пияле-паша. На следующий день прождали четыре часа приема в Больнице первой помощи на Таксиме, а врач ушел домой, и мы, чтобы усмирить ярость, рано поужинали в маленьком русском ресторанчике в Гюмюшсую. По пути в другую больницу, куда нас направили, так как в нашей лор-врач взял отпуск, мы кормили симитами чаек с кормы парохода, следовавшего в Кадыкёй. Помню, однажды, отдав в регистратуру Больницы медицинского факультета Чапа документы и ожидая, пока их нам вернут, долго бродили по соседним узким улочкам и прошли мимо гостиницы «Фатих». Мне показалось, что гостиница, в одной из комнат которой я семь лет назад так страдал из-за Фюсун и где получил известие о смерти отца, будто призрак другого города.

Изготовив очередной документ, мы клали его в папку, испачканную пятнами от чая, кофе, чернил и масла, которую все время носили с собой, радостно уходили из больницы и направлялись в какую-нибудь маленькую закусочную, чтобы отметить свершившуюся победу. Мы смеялись, весело болтали, Фюсун курила, совершенно никого не стесняясь, не пытаясь прятаться, и иногда, не спрашивая разрешения, брала из пепельницы мою сигарету и, наподобие одного моего армейского приятеля, прикуривала от нее, радостно, с надеждой глядя на окружающий мир. Увидев, как светлеет моя несвободная, часто печальная возлюбленная, когда мы гуляем, как она засматривается на жизнь других людей, на уличную суету, заново открывает для себя чудеса города, я любил ее еще крепче.

«Смотри: человек несет зеркало больше него самого», — показывала Фюсун. С тем же любопытством наблюдала вместе со мной за мальчишками, играющими в футбол, и радовалась этому искренне, беззаботно. Покупала в бакалее «Карадениз» две бутылки лимонада (не «Мельтема»!). Живо рассматривала чистильщика труб, который с огромными железными прутьями и насосами ходил по улицам, выкрикивая,

обращаясь к зарешеченным окнам старинных деревянных особняков, бетонным балконам, верхним этажам домов: «Чищу трубы! Кому почистить трубы!» Перед пароходом на Кадыкёй она долго изучала какой-нибудь жестяной кухонный прибор, который демонстрировал уличный продавец, чтобы и кабачки чистить, и лимон отжимать, и в качестве ножа для мяса использовать. Когда на улице дрались мальчишки, она спрашивала: «Видел? Он сейчас задушит маленького!» Если на перекрестке, перед какой-нибудь грязной детской площадкой или на площади собиралась толпа, она сразу направлялась туда: «Что происходит? Что продают?» И мы застывали, глядя на цыган с танцующим медведем, или на драку школьников, катавшихся в грязи посреди улицы, или на грустные глаза собак, которым было не разойтись (прохожие отпускали по случаю что-нибудь скабрезное). Мы с нескрываемым интересом наблюдали вместе со всеми перепалку двух водителей столкнувшихся машин, которая чуть не переросла в драку. В другой раз следили за красиво летевшим по улице оранжевым полиэтиленовым пакетом для обуви, выпорхнувшим со двора какой-нибудь мечети.

Я получал наслаждение от того, что мы вдвоем открывали для себя Стамбул, словно заново узнавали друг друга, и был счастлив видеть каждый день какое-то новое состояние Фюсун. Мы повидали хаос и бедность больниц, убогих нищих стариков, стоявших с раннего утра в очереди перед дверью в университетскую клинику на прием к врачу; повидали встревоженных мясников, совершавших незаконный забой скота на безлюдных пустырях, и темные стороны жизни сближали нас. В сравнении с этими пугающими фрагментами жизни города и его людей странная, даже отталкивающая составляющая нашей истории, возможно, не казалась важной. Стамбул заставлял нас почувствовать, что наши жизни заурядны, и учил смиряться, не поддаваясь угрызениям совести. На улицах, в маршрутных такси и автобусах я чувствовал утешительную силу толпы и с восхищением смотрел на Фюсун, которая в тот момент по-приятельски разговаривала на боковой палубе парохода с какой-нибудь тетушкой в платке, держащей на руках спящего внука.

Благодаря Фюсун в те дни я испытал все удовольствия и все сложности прогулок по Стамбулу с красивой женщиной, не покрывающей голову. Едва мы входили в регистратуру какой-нибудь больницы или в канцелярию, все поворачивались в нашу сторону. Вместо обычного презрительного взгляда, которым чиновники удостаивали убогих больных и стариков, они делали вид старательных и любезных, сообразно своей должности и правилам, сотрудников и, несмотря на возраст Фю-сун, обращались к ней: «Ханымэфенди! Госпожа!» Многие почтительно говорили ей «вы», в то время как другим больным раздраженно «тыкали», иные вообще стеснялись посмотреть ей прямо в глаза. Молодые врачи, словно благовоспитанные джентльмены из европейских фильмов, подходили к Фюсун с дежурным вопросом: «Могу я чем-то вам помочь?», бывалые профессора в возрасте слегка заигрывали с ней, шутя и рассьшаясь в любезностях, пока не замечали меня... Все это было следствием мгновенного шока, даже паники, которую переживали люди при виде красивой женщины с непокрытой головой. Некоторые чиновники совершенно теряли дар речи перед Фюсун, другие начинали заикаться и что-то лепетать. Завидев меня и решив, что я муж, они явно испытывали облегчение, впрочем, как и (от безысходности!) я.

— Фюсун-ханым хотела бы получить справку от лор-врача для подачи заявления на экзамен по получению водительских прав, — растолковывал я. — Нас к вам направили из Бешикташа.

— Доктор-бей еще не пришел, — говорил мне мед-брат, в чьи обязанности входило следить за толпой в коридоре. Он открывал нашу папку и бросал взгляд на страницу: — Зарегистрируйтесь, что вас перенаправили, а потом возьмите номерок и ждите в очереди. — В ответ мы замечали, что очередь очень длинная, а он пожимал

плечами: — Все ждут. Без очереди нельзя.

Однажды я попытался под каким-то предлогом всунуть в руку санитару пару курушей, но Фюсун это не понравилось: «Не надо. Постоим, как все».

Мне нравилось, что в очереди нас считали мужем и женой. Я объяснял это не только тем, что ни одна женщина не пришла бы в больницу с чужим мужчиной, но еще тем, что мы действительно подходим друг другу.

Однажды я ненадолго потерял Фюсун на переулках Джеррах-паши, где мы гуляли, ожидая, пока подойдет очередь в клинике медицинского факультета. Тогда открылось окно какого-то деревянного полуразвалившегося особняка, и женщина в платке сказала, что «моя жена» вошла в бакалейную лавку на соседней улице. Даже если мы и привлекали внимание где-нибудь в окраинном квартале, то не вызывали никаких подозрений. Иногда за нами бежали дети, нередко обитатели узких улочек думали, что мы заблудились, или принимали нас за туристов. Бывало, какой-нибудь парень, пораженный красотой Фюсун, шел неотступно за ней, чтобы, пусть издалека, налюбоваться чудным видением, но, встречаясь взглядом со мной, вежливо отставал. Женщины, высовывавшие головы из двери или окна, часто спрашивали у Фюсун, а мужчины—у меня, кого мы ищем, какой адрес нам нужен. Подчас какая-нибудь добродушная тетушка, которая видела, что Фюсун собирается есть сливу, купленную у уличного торговца, говорила: «Подожди, дочка, помой, так не ешь!» и, выскочив из дома, забирала у нас кулек, мыла сливы в кухне на первом этаже своего дома, а потом, сварив нам кофе, спрашивала, кто мы, что ищем. И когда я говорил, что мы — муж и жена, хотим купить в этом квартале красивый деревянный дом для себя, тут же сообщала об этом всей округе.

Вместе с этим мы, обливаясь потом, продолжали утомительные и внушающие боязнь уроки в Парке Йылдыз, а также готовились к письменному экзамену. Коротая время в чайной, Фюсун всякий раз доставала из сумочки брошюрки вроде «Учимся водить за 5 минут!» или «Готовимся к экзамену на получение водительских прав» и со смехом зачитывала мне вопросы и ответы к ним.

— Что такое дорога?

— И что?

— Обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного покрытия, — без запинки повторяла Фюсун, что-то выучив наизусть, иногда подсматривая в брошюру. — Хорошо. А что такое движение?

Я, запинаясь, пытался вспомнить: «Движение, это когда люди и грузы...»

— Не так, — поправляла она меня. — Движение — это совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.

Я очень любил эти вопросы и ответы, они напоминали мне школу, наши уроки, которые почти все мы заучивали, дневники, где были записи о «поведении и прилежании», и, развеселившись, задавал Фюсун свой вопрос:

— А что такое любовь?

— И что же?

— Любовь—это чувство привязанности, которое испытывает Кемаль, когда смотрит на Фюсун, когда она гуляет по дорогам, тротуарам, домам, садам и комнатам или когда сидит за столом в чайных, столовых и дома за ужином.

— Хм... Хороший ответ! — подтверждала Фюсун. —А когда ты меня не видишь, любовь проходит?

— Тогда начинается ужасная тяжелая болезнь.

— Вот уж не знаю, поможет ли это сдать экзамен! — Фюсун улыбнулась.

Обычно после таких слов она делала вид, будто не может позволить себе слушать до свадьбы такие фривольности, и в тот день я больше таких шуток не

допускал.

Письменный экзамен проходил в маленьком особняке в Бешикташе, где некогда сумасшедший сын Абдул-Хамида Нуман-эфенди коротал время, слушая, как наложницы играют на уде[27], и рисуя пейзажи Босфора в стиле импрессионистов. Пока я ожидал Фюсун на пороге этого особняка, превратившегося со времен провозглашения Республики в государственное учреждение, ни разу за все это время толком не протопленное, с горечью подумал, что восемь лет назад, когда она мучилась, сдавая вступительный экзамен, мне тоже следовало ждать ее у дверей Ташкышла. Если бы я отменил прошедшую в «Хилтоне» помолвку с Сибель, если бы послал мать к родителям Фюсун, посватался бы к ней, за эти восемь лет у нас бы уже родилось трое детей! Хорошо, что у нас еще будет время родить троих и даже больше, если мы скоро поженимся. Я был так в этом уверен, что, когда Фюсун весело выбежала с экзамена со словами: «Я все сделала!», чуть было не проговорился, сколько у нас родится детей, но сдержался. По вечерам мы все еще ужинали всей семьей, правда, уже не так веселясь, как раньше, и по-прежнему часами просиживали перед телевизором.

Фюсун сдала письменный экзамен на «отлично», а вот экзамен по вождению с треском провалила. Всех, кто приходил сдавать его впервые, «заваливали», чтобы новички осознали, насколько вождение дело серьезное. Мы к этому оказались не готовы. Экзамен кончился очень быстро. Фюсун села в наш «шевроле» с тремя членами экзаменационной комиссии, успешно завела машину и тронулась с места, но, когда она проехала некоторое расстояние, один из сидевших тут же сделал ей замечание: «Вы не посмотрели в зеркало заднего вида!» И, когда Фюсун повернулась к нему, переспросив: «Что?», ей сказали немедленно остановить машину и выйти. Ведь водитель за рулем не имел права оборачиваться. Потом члены комиссии изобразили крайнее недовольство таким плохим водителем, а Фюсун от этого унижения расстроилась.

Следующий экзамен по вождению назначили через четыре недели, в конце июля. Те, кто был знаком с процедурой получения прав и знал бюрократическую систему курсов, экзаменов и взяток, со смехом смотрели на нас, грустных и униженных, и в обшарпанной чайной (на стенах висело четыре портрета Ататюрка и огромные часы) по-дружески советовали нам разные способы, чтобы добиться желаемого. Если бы мы записались в одну дорогую частную автошколу, где занятия вели отставные полицейские (ходить туда вовсе не требовалось), экзамен сдали бы быстрее быстрого, потому что члены экзаменационной комиссии были и совладельцами школы. Учившиеся там могли сдавать вождение на стареньком «форде», специально оборудованном для экзамена. В днище машины рядом с водительским креслом зияла огромная дыра, через которую дорога просматривалась как на ладони. Когда экзаменуемого просили припарковаться в узком месте, он отчетливо видел цветные знаки, специально нарисованные на асфальте. К зеркалу заднего вида прикреплялась особая инструкция, в которой значилось, на каком цвете поворачивать руль до конца вправо, а на каком — включать заднюю передачу, и таким образом припарковаться не составляло труда. Но это поддела. За экзамен можно было и просто заплатить, без всяких курсов. Я, как предприниматель, прекрасно знал, насколько неизбежны иногда взятки. Но так как Фюсун самоуверенно говорила, что не собирается ни у кого идти на поводу, мы продолжали уроки в Парке Йылдыз.

Учебник предписывал сотни мелких правил, которые следовало выполнять во время вождения. Экзаменационной комиссии недостаточно было только умения

---

[27] Уд — с арабского буквально «дерево».

управлять машиной и аккуратно выполнять предписанное, они хотели видеть что-то особенное. Обо всем этом Фюсун абсолютно откровенно рассказал один пожилой добродушный полицейский, поседевший на курсах по вождению и экзаменах по правам: «Дочка, на экзамене ты должна и машину вести, и показывать, как ты ее ведешь. Первое—для тебя, второе—для властей».

После наших уроков в парке, когда солнце начинало терять силу, я отправлялся с Фюсун в Эмирган. где, припарковав машину на пристани, думал, что все хлопоты по сравнению с удовольствием пить с ней кофе или лимонад или где-нибудь в кофейне около Европейской крепости чай из самовара — ничто. Однако мы не ворковали, по углам, как счастливые влюбленные.

— Нам в этих уроках везет больше, чем в математике! — сказал я однажды.

— Посмотрим... — осторожно произнесла Фюсун. Иногда за чаем мы подолгу сидели молча, будто

были женаты много лет и все темы для разговора давно исчерпаны, и с восхищением смотрели на русские танкеры или на пассажирский пароход «Самсун», отправлявшийся на Принцевы острова, словно на страдальцев, которые мечтают о других жизнях, об иных мирах.

Второй экзамен Фюсун тоже не сдала. На этот раз ее попросили сделать кое-что сложное: припарковаться на подъеме, задним ходом. Когда «шевроле» затрясся и заглох, ее опять оскорбительным тоном заставили выйти из машины.

Какой-то человек из числа праздных прохожих, разносчиков чая, отставных полицейских или тех, кому тоже предстояло сдавать экзамен, увидев, что машина едет обратно, а на водительском кресле опять сидит экзаменатор-очкарик, вздохнул: «Завалили девчонку!», и несколько стоявших рядом мужчин рассмеялись.

На пути домой Фюсун молчала словно в рот воды набрав. Ни о чем не спрашивая, я доехал до рынка Ортакёй. Мы посидели в небольшой пивной, и я заказал по стаканчику ракы со льдом.

— Фюсун, жизнь коротка и прекрасна, — после нескольких глотков я попытался ее успокоить. — Хватит сражаться с этими извергами.

— Почему они такие мерзкие?

— Хотят денег. Давай заплатим.

— По-твоему, женщины не могут хорошо водить машину?

— Не я так думаю, они...

— Все, все так думают...

— Милая, хоть в этом не упрямься! Выбрось все из головы.

Я тут же пожалел о сказанном и подумал, что мне бы хотелось, чтобы последние мои слова она не услышала.

— Я никогда в жизни ни в чем не упрямилась, Ке-маль, — ответила строго Фюсун. — Просто когда тебя унижают, когда пятнают твою честь, нельзя склонять голову. Я тебя сейчас кое о чем попрошу, а ты, пожалуйста, выслушай меня серьезно. Потому что я настроена решительно. Права я получу без всякой взятки, и ты смотри не вмешивайся. И у меня за спиной платить не пытайся, знакомых не ищи, я все равно узнаю и очень обижусь.

— Хорошо, — согласился я.

Мало разговаривая, мы выпили еще по стаканчику ракы. Пивная под вечер была пустой. На жареные мидии, на маленькие котлетки с тимьяном и тмином садились нетерпеливые мухи. Через много лет я отправился в Ортакёй, чтобы вновь увидеть то заведение, воспоминания о котором были столь дороги для меня, но здание, в котором находилась эта пивная, снесли, а на его месте открылись туристические лавочки с сувенирами...

Тем вечером, когда мы шли к машине, я взял Фюсун за руку.

— Ты знаешь, дорогая моя, мы ведь впервые за восемь лет ужинали в

ресторане вдвоем.

— Да. — Свет, мгновение сиявший в ее глазах, сделал меня невероятно счастливым. — Я тебе еще кое-что скажу. Дай ключи, я сама поведу машину.

— Конечно.

Она немного помучилась на перекрестках Бешикта-ша и Долмабахче, на спусках и подъемах, но, хотя до этого выпила, без особого труда с успехом довела машину до мечети Фирюз-ага. Три дня спустя я забирал ее с того же места, и она опять захотела сама вести машину, но на улицах в тот день было много полиции, и я ее отговорил. А наш урок, несмотря на жаркую погоду, прошел отлично.

На обратном пути, глядя на рябь волн Босфора, мы пожалели, что не взяли с собой ничего для купания.

В следующий раз Фюсун надела под платье голубой купальник, который теперь хранится в моем музее потаенной радости. Она разделась только перед тем, как прыгнуть в воду с пристани на пляже в Ткра-бье, куда мы направились после урока. Я смог наконец, не без смущения, окинуть взглядом тело моей красавицы. Фюсун быстро поплыла, будто хотела спрятаться от меня. Когда она прыгнула, всплески воды у нее за спиной, пена, яркий солнечный свет, синева Босфора, ее купальник—вся эта картина счастья навсегда запечатлелась у меня в голове. Потом я буду долго искать повторение чудесного чувства, высматривать тот же цвет жизни и покоя на старых фотографиях, на почтовых открытках у мрачных стамбульских коллекционеров.

Я прыгнул в воду вслед за Фюсун. Странный голос шептал мне, что под волной на нее напало злое чудовище. И надо успеть доплыть до нее, спасти ее в морской тьме. Помню, плыл изо всех сил, сходя с ума от чрезмерного счастья и в то же время боясь потерять его, и в какой-то момент от волнения чуть не захлебнулся. Фюсун пропала в водах Босфора! В тот миг мне захотелось умереть вместе с ней, умереть немедленно. Между тем шутливый Босфор на мгновение расступился, и я увидел ее перед собой. Мы едва переводили дыхание и улыбались друг другу как счастливые влюбленные. Но всякий раз, когда я пытался приблизиться, чтобы коснуться ее, чтобы поцеловать, она сразу дулась и без тени кокетства по-лягушачьи уплывала от меня прочь. А я таким же образом плыл следом. В воде отражались движения ее стройных ног, приятная округлость бедер. Тут я заметил, что мы довольно далеко от берега.

— Хватит! — окликнул ее я. — Не уплывай от меня, здесь начинается сильное течение, унесет нас, оба погибнем.

Когда я осмотрелся, то понял, куда мы заплыли, и мне стало страшно. Мы были посреди города. Тарабья, ресторан «Хузур», гостиница «Тарабья», машины, маршрутные такси, красные автобусы, ехавшие по изгибающемуся берегу, за ними — холмы, усеянные домами, кварталы трущоб на изножиях Буюк-дере — весь город представал перед нами, но вдали от нас.

Словно на огромную миниатюру, смотрел я не только на Босфор и на Стамбул, но и на всю свою жизнь, оставленную позади, и видел себя точно во сне. Мы были вдвоем, далеко от всех, и это пугало, как смерть. Довольно большая волна подтолкнула Фюсун, та слегка испугалась и вскрикнула, а потом, чтобы не отнесло течением, обхватила меня одной рукой за шею, другой за плечо. Теперь я хорошо знал, что до смерти не расстанусь с ней.

После этого обжигающего прикосновения — почти объятий — Фюсун сразу отплыла от меня, сказав, что на нас движется большая баржа. Фюсун плавала хорошо и очень быстро, мне было трудно поспевать за ней. Когда мы вышли на берег, она сразу ушла в раздевалку. Мы стеснялись друг друга совершенно не как влюбленные. Наоборот: вели себя точно молодые люди, которых познакомили родители с целью поженить, смущались своей наготы и избегали смотреть друг на

друга.

В результате наших уроков и поездок по городу Фюсун хорошо научилась водить машину. Но экзамен в начале августа опять сдать не смогла.

— Опять провалила. Но это ерунда, надо забыть об этом поскорее. Поедем на море? — предложила она торопливо.

— Поедем.

С экзамена мы уехали на машине, которую, с сигаретой во рту и отчаянно сигналя, вела Фюсун. {Годами позже я вернулся туда, где проходил экзамен, но на месте пустых, голых и замусоренных холмов высились роскошные жилые комплексы с бассейнами.) До конца лета наши уроки вождения продолжались, но права теперь стали предлогом для встреч, чтобы пойти вместе на море или в бар. Несколько раз мы даже брали в аренду лодку от пристани в Бебеке, гребли вместе, сражаясь с течением, и уплывали далеко, туда, где в воде не было медуз и мазутных пятен, и там купались. Чтобы нас не унесло течением, один из нас хватался за лодку, а другой держал его за руку.

Прошло восемь лет, и наша любовь расцвела опять, но то была уже не страсть, а глубокое, искреннее чувство зрелых людей. Даже если мы забывали о нем, любовь все равно дарила нам ощущение покоя, но я видел, что Фюсун не хочет без свадьбы идти на большее сближение, подвергая себя опасности, а я боролся со своими постоянными желаниями, в которых никогда не было недостатка. Уговаривал себя, что физические отношения до свадьбы не приносят супружеского счастья, а наоборот, доставляют разочарование и скуку, что и бывало у пар, предававшихся, забыв обо всем, бурной любви до брака. Друзья, которых я периодически где-то встречал, — Хильми, Тайфун и Мехмед, посещавшие публичные дома и хваставшиеся подвигами, мне казались теперь циниками. Я мечтал, что, женившись на Фюсун, забуду о навязчивой страсти и счастливым, зрелым человеком вернусь в свой прежний круг.

В конце лета Фюсун опять попыталась сдать экзамен той же комиссии, и снова все окончилось ничем. После этого она поворчала о мужских предрассудках по поводу женщин за рулем. На ее лице при этих словах появлялось то же выражение, как много лет назад, когда она рассказывала мне о мужчинах, пристававших к ней, еще ребенку.

Однажды вечером после уроков мы поехали на пляж Сарыйер, и когда пили на берегу «Мельтем» (он везде продавался—значит, реклама с Папатьей оказалась успешной), встретили друга Мехмеда, Фарука, с невестой, и мне на мгновение почему-то стало стыдно. В сентябре 1975 года Фарук часто бывал у нас с Сибель на даче у Азиатской крепости и был свидетелем наших отношений, но причина моего смущения крылась не в этом. Я смутился потому, что мы с Фюсун пили «Мельтем» молча и не выглядели довольными жизнью и счастливыми. Нас угнетало предчувствие, что мы приехали вместе на море в последний раз. Как раз накануне над городом пролетела первая стая аистов, напомнив, что прекрасное лето подходит к концу. Неделю спустя после первых дождей пляжи закрылись, и ни мне, ни Фюсун не захотелось больше кататься в Парке Йылдыз.

Провалившись на экзамене еще три раза, Фюсун сдала его в начале 1984 года. Она надоела всем экзаменаторам, которые поняли, что не дождутся от нее взятки. Тем вечером, чтобы отметить получение прав, я отвез ее, тетю Несибе и Тарык-бея в кабаре «Максим» в Бе-беке послушать старые песни Мюзейен Сенар.

74 Тарык-бей

В «Максиме», куда мы отправились тем вечером, мы все много выпили. Когда на сцене запела Мюзейен Сенар, мы хором иногда подпевали ей. При этом смотрели

друг на друга и улыбались. Сейчас мне кажется, что в тот вечер мы как-будто прощались. Фюсун была счастлива, что отец веселится, распевая песни. Другая не забываемая для меня особенность того вечера заключалась в том, что теперь никого не смущало отсутствие Фе-ридуна. Меня осенила радостная мысль о том, как много времени я провел с Фюсун, ее матерью и отцом.

Иногда я замечал, сколько утекло лет, когда видел, что снесли какое-либо здание, или что какая-нибудь девочка превратилась в веселую молодую женщину с большой грудью и детьми, или когда закрывалась лавка, к которой все привыкли за долгие годы, и это меня пугало.

В те дни закрылся бутик «Шанзелизе», отчего мне стало больно; не только из-за воспоминаний, но и томящего чувства, что жизнь прошла мимо меня. В витрине, где я когда-то увидел сумку, сейчас красовались кольца итальянских салями, головки овечьего сыра, салатные соусы европейских марок, привезенные в страну впервые, а также макароны и газированные напитки.

Новости о последних свадьбах, молодых семьях и родившихся детях, которые я регулярно выслушивал от матери за ужином, начали особенно раздражать меня, хотя я всегда не любил слушать такие рассказы. Когда мать похвасталась, что у моего друга детства. Крысы Фарука, который недавно женился (прошло уже три года!) родился второй ребенок, к тому же еще и сын, мысль, что мы с Фюсун впустую потратили время, отравляла мою радость.

Шазимент в конце концов выдал старшую дочь за сына Караханов, и с тех пор кататься на лыжах ездил каждый февраль не в Улудаг, а с младшей дочерью и Караханами на месяц в Швейцарию. Младшая дочь познакомилась в каком-то отеле с богатым арабским принцем, и как раз, когда Шазимент собирался благополучно вьщать ее за него замуж, выяснилось, что в его стране у него уже есть жена и даже гарем. Старшего сына семейства Халисов из Айвалыка — «Помнишь, того, с длинным подбородком?»—спросила мать, хохотнув, я тоже рассмеялся вместе с ней, — однажды зимним днем застали на даче в Эренкее с их немецкой няней; об этом мать слышала от соседа по Суадие, Эсат-бея. Мать удивилась, как это я не знаю, что младший сын табачного магната Маруфа, с которым мы некогда вдвоем играли в песочнице, был похищен бандитами, а когда семья заплатила выкуп, его отпустили. Этот случай, правда, скрыли, в газеты он не попал, но, так как семья поначалу жалела денег и платить не хотела, об этом много месяцев говорили «все». Как это я не слышал?

Я огорчался, размышляя, кроется ли в словах матери укор за то, что провожу время не дома; она ведь пыталась выпытать у меня тем летом, когда я приносил домой мокрые плавки, куда и с кем хожу купаться, или подсылала Фатьму-ханым за тем же, а я ловко избегал разговора, ссылаясь на то, что «очень много работаю» (а ведь мать, должно быть, знала о плачевном положении «Сат-Сата»). Мне было грустно, что девять лет спустя я не только не мог поделиться с матерью, открыв ей мою страсть к Фюсун, но даже просто заговорить на эту тему, пусть намеками, и, чтобы забыть о бедах, просил рассказать какую-нибудь очередную забавную историю.

Однажды вечером она долго и в красках передавала мне, как Джемиле-ханым, которую мы однажды встретили с Фюсун и Феридуном в летнем кинотеатре «Ма-жестик», по примеру другой подруги матери, Мюкер-рем-ханым, сдала в аренду для съемок исторического фильма свой деревянный особняк. Его построили восемьдесят лет назад, и содержать дом семье с каждым днем становилось все сложнее. Однако во время съемок произошло короткое замыкание, и огромный красавец дом сгорел до тла, но все только и перешептывались, что хозяева специально подожгли его, чтобы взамен построить новый, доходный, дом, и, по словам матери, не осталось сомнений, что она хорошо знает, насколько мне знаком

мир кино. Сведения обо мне, должно быть, исправно поставлял Осман.

Мать никогда, даже намеком, не возвращалась к истории с Сибель и помолвкой. Так, только из газет я узнал, что бывший дипломат Меликхан-бей на каком-то балу споткнулся о ковер и упал, а через два дня умер от кровоизлияния в мозг. Те известия, которые мать не хотела сообщать мне, передавал наш парикмахер из Нишанташи, Басри. Он рассказывал, что приятель моего отца Фасир Фахир с женой Зарифе купили в Бодру-ме дом, что Айи Сабих очень хороший малый, что сейчас никуда нельзя вкладывать деньги, что цены упадут, что весной на скачках будет много сговоров, что хотя у известного богача Тургай-бея не осталось на голове ни одного волоска, он все равно регулярно ходит к нему по неизменной привычке, что два года назад ему, Басри, поступило предложение работать парикмахером в «Хилтоне», но так как он человек с принципами (в чем они заключались, принципы, Басри не уточнил), от этого предложения он отказался. Потом он пытался расспрашивать меня. Я с раздражением чувствовал, что Басри и его богатые клиенты из Нишанташи знают о моей страсти к Фюсун, и, чтобы не давать им повода для сплетен, иногда ходил в Бейоглу к бывшему парикмахеру отца. Болтливому Джевату, а от него слышал только то, кого в Бейоглу недавно ограбили (грабителей называли новомодным словом «мафия»), и о публике из мира кино. Например, он передал сплетню, что Папатья встречается с известным продюсером Музаффер-беем. Но я ни разу не слышал ничего о Сибель или Заиме, о свадьбе Мехмеда и Нурджихан. Из этого следовало, что все наслышаны о моих бедах, о моих страданиях, но я такого вывода не делал и воспринимал проявление сочувствия со стороны клеветников как нечто естественное, вроде как постоянные попытки окружающих повеселить меня, ради чего все любили рассказывать, кто вдруг обанкротился и чьи еще деньги пропали, что меня немало забавляло.

Разговоры о чужих банкротствах, о которых я слышал повсюду, в различных конторах и от приятелей, мне очень нравились, так как все это демонстрировало глупость и недальновидность стамбульских богачей и зависимой от них, как раб, Анкары. Мать подчеркивала: «Ваш отец часто повторял: созданным из пустоты инвестиционным бюро доверять не стоит» и тоже любила поговорить на эту тему, потому что мы пусть и испытывали трудности, но в отличие от остальных глупцов денег не потеряли. (Я, правда, подозревал, что Осман куда-то вложил некоторую часть прибыли своей новой фирмы и остался ни с чем, а теперь скрывает это ото всех.) Матери было жаль своих знакомых, с кем она дружила долгие годы, оставивших деньги именно в таких инвестиционных конторах. Пострадали семейства Ковы Кадри, на красивой дочке которого она некогда мечтала меня женить, Джунейт-бея и Фейзан-ха-ным, Джевдет-бея и Памуков, однако она делала вид, будто поражена, что Лерзаны доверили почти все состояние какому-то «с позволения сказать, финансисту» только потому, что он доводился сыном бухгалтеру с их фабрики (который раньше был сторожем), и потому, что «у того шикарный офис, он дает рекламу по телевизору и пользуется чековой книжкой надежного банка». Мать искренне недоумевала, как можно было доверить почта все деньги семьи человеку, который до недавнего времени жил в трущобах (тут она возмущенно закатывала глаза и качала головой), а потом со смехом добавляла: «Выбрали бы уж кого-нибудь вроде Кастелли, которого хоть твои актеры знают». Про «твоих актеров» она говорила вскользь, невзначай, не придавая этим словам особенного значения; и мне нравилось каждый раз с любопытством и радостью за себя возмущаться с матерью, как «столь разумные, столь порядочные люди», среди которых оказался даже Заим, могут быть откровенными «дурнями».

Но одним из них оказался Тарык-бей. В 1982 году он вложил свои деньги именно в компанию Кастелли, которого рекламировали по телевизору многие наши знакомые из «Копирки». Я, правда, предполагал, что денег у него сгорело крайне мало, однако

мог только гадать сколько именно.

Через два месяца после того, как Фюсун получила права, 9 марта 1984 года, Четин привез меня на ужин в Чукурджуму, и, подойдя к дому, я увидел, что все занавески раздвинуты, а окна дома открыты. На обоих этажах горел свет. (А ведь тетя Несибе всегда сердилась, когда кто-то уходил вниз, забыв погасить наверху лампу: «Фюсун, дочка, у вас в спальне остался гореть свет», тогда Фюсун сразу вставала и шла его выключать.)

Решив, что мне предстоит стать свидетелем семейной ссоры Феридуна и Фюсун, я поднялся наверх. Стол, за которым мы ужинали много лет, был непривычно пуст. С экрана телевизора наш друг, актер Экрем-бей, в костюме садразама[28] держал гневную речь о неверных, и ему внимали соседи Кескинов, электрик Эфе с супругой, которые явно не знали, чем еще сейчас заняться.

— Кемаль-бей, — скорбно произнес электрик. — Тарык-бей умер. Мы вам соболезнуем!

Я взбежал наверх, но вошел не в комнату к Тарык-бею и тете Несибе, а к Фюсун, в ту самую, переступить порог которой я мечтал столько лет.

Красавица моя лежала на кровати, сжавшись в комочек, и плакала. Увидев меня, попыталась успокоиться. Я сел рядом. Внезапно мы обнялись изо всех сил. Она прижалась головой мне к груди и, дрожа, заплакала навзрыд.

О Всевышний, какое это было счастье обнимать ее! В тот момент я ощутил глубину, красоту и безграничность мира. Грудь ее прижималась к моей, голова — к моему плечу. Мне было больно видеть, как она дрожит, но блаженство быть рядом не знало границ! Я нежно, заботливо, почти как маленькую девочку, погладил ее по волосам. Когда моя рука дотронулась до ее лба, до того места, где начинали расти волосы, Фюсун зарыдала с новой силой.

Чтобы разделить с ней боль, я подумал о смерти отца. Но, хотя я очень любил его, между мной и отцом всегда существовала некая напряженность, даже соперничество. А Фюсун любила Тарык-бея спокойно, сильно, подобно тому, как можно любить мир, солнце, улицы, свой дом. Мне показалось, что плачет она и по отцу, и от боли за весь мир, из-за того, что жизнь так горька.

— Успокойся, милая, — шептал я ей на ухо. — Теперь все будет хорошо. Теперь все наладится. Мы будем очень-очень счастливы.

— Не хочу я больше ничего! — воскликнула она и зарыдала.

Чувствуя, как она дрожит в моих объятиях, я внимательно рассматривал ее комнату, ее шкаф, маленький комод, книги Феридуна о кино — все вокруг. Целых восемь лет я мечтал попасть в эту комнату, и вот...

Когда рыдания Фюсун стали громче, вошла тетя Несибе: «Ах, Кемаль, — вздохнула она. — Что мы теперь делать будем? Как я буду жить без него?» И, сев на кровать, тоже заплакала.

Я провел в Чукурджуме всю ночь. Иногда спускался вниз побыть с соседями и знакомыми, пришедшими выразить соболезнования. Потом поднимался наверх, утешал рыдавшую Фюсун, гладил ее по волосам, вкладывал ей в руку чистый платок. Пока в соседней комнате лежал ее мертвый отец, а внизу знакомые и соседи в молчании пили чай, курили и смотрели телевизор, мы с Фюсун впервые за восемь лет легли на кровать, крепко обняв друг друга. Я вдыхал запах ее шеи, волос, вспотевшей кожи. Потом снова пошел вниз сделать гостям чаю.

Феридун, не зная о произошедшем, тем вечером домой не пришел. Сейчас мне понятно, насколько тактично вели себя соседи, не только естественно воспринимавшие мое присутствие, но и обращавшиеся со мной как с мужем Фюсун.

---

[28] Садразам — высшее должностное лицо в Османской империи.

Мы с тетей Несибе немного отвлекались, когда угощали всех этих людей, каждого из которых я прекрасно знал и встречал на улице в Чу-курджуме, чаем или кофе, высыпали окурки из пепельниц, давали пирожки, поспешно доставленные из пирожковой на углу.

Ко мне подошли три человека, один из них—столяр, мастерская которого располагалась по соседству, на спуске, другой — старший сын Рахми-эфенди, носивший протез руки, а третий — старинный приятель Тарык-бея, с которым тот каждый день после обеда играл в карты; в дальней комнате они по очереди обняли меня, и каждый напомнил, что с мертвым в могилу не прыгнешь, а жизнь продолжается. Меня огорчила смерть Тарык-бея, но в глубине души я был несказанно счастлив, что живу, что стою теперь на пороге новой жизни, и мне стало стыдно.

В июне 1982 года финансист, в фирму которого Та-рык-бей вложил деньги, обанкротился и бежал за границу, и тогда отец Фюсун начал ходить в одно общество по защите прав вкладчиков, созданное такими же обманутыми людьми. Целью общества было добиться от обанкротившихся финансистов юридическим путем возврата денег пенсионеров и мелких служащих, но на юридическом поприще им никак не везло. Вечерами Тарык-бей иногда со смехом рассказывал, будто речь шла о пустяке, об «идиотах», как он выражался, столпившихся в помещении общества, которые иной раз не то что не могли прийти к единому решению, но и ссорились между собой. Ссоры перерастали в перепалки, ругань, драки... Иногда какое-нибудь заявление, которое они с трудом дописывали до конца, предварительно поругавшись, группа инициаторов оставляла у входа в министерство или здание газеты, хотя журналистам не было особого дела до чужих финансовых проблем, или какого-нибудь банка. Некоторые при этом бросали в двери камни, кричали о своих бедах, осыпали всех проклятиями и иногда колотили попавшегося под руку бедолагу-клерка. После ряда таких эпизодов, когда в нескольких неудачливых инвестиционных конторах протестующие разбили двери, а то и разграбили сами конторы и дома финансистов, Тарык-бей от общества отдалился, поучаствовав, кажется, в одном конфликте; однако летом, когда мы с Фюсун бились над получением прав и плавали в Босфоре, он опять начал туда ходить. В тот день он отправился в общество после полудня, отчего-то там понервничал, вернулся домой с резкой болью в груди и умер-от сердечного приступа, который диагностировал прибывший позднее врач.

Фюсун страдала еще и потому, что, когда отец умирал, ее не бьшо дома. Тарык-бей, должно быть, долго ждал, лежа на кровати, жену с дочерью. Фюсун с тетей Несибе были срочно вызваны в один дом в Моду, где требовалось быстро сшить платье. Я знал, что, несмотря на мою финансовую поддержку, тетушка то и дело, захватив свою швейную коробку с классическими видами Стамбула, ходила шить по домам, как много лет назад. Меня ее работа нисколько не коробила, так же относилось к ремеслу швеи большинство людей моего круга; более того, я одобрял ее занятия шитьем, хотя в нем совершенно не было никакой нужды. Но всякий раз, когда я слышал, что Фюсун, пусть и редко, тоже ходит вместе с ней, мне становилось неприятно. Меня беспокоило, чем там занимается моя красавица, единственная моя, но для Фюсун ее походы с тетей Несибе выглядели веселой прогулкой, развлечением; она с такой радостью рассказывала, как с матерью пила на пароходе из Кадыкёя айран, как кормила симитом чаек, что у меня язык не поворачивался сказать ей: скоро мы поженимся и будем вхожи в круг этих людей, тогда нам обоим станет неловко, если мы кого-то из них встретим.

Далеко за полночь, когда все ушли, я лег внизу на диван в дальней комнате, свернулся калачом и заснул. Впервые в жизни я спал с Фюсун в ее доме... То было огромным счастьем. Прежде чем заснуть, я услышал, как в клетке заливается Лимон,

а потом услышал гудок парохода.

В моем сне Фюсун плыла на пароходе из Кадыкёя и вдалеке стоял умерший Тарык-бей. Я проснулся под утро, когда раздался азан, а гудки пароходов с Босфора стали намного громче.

Весь дом был залит странным перламутровым светом. Я беззвучно, как в молочно-туманном видении, поднялся по лестнице. Фюсун с тетей Несибе спали, обнявшись, на кровати, где она с Феридуном провела первые счастливые ночи своего замужества. Потом мне показалось, что тетя Несибе смотрит на меня. Я пригляделся: Фюсун действительно спала, а тетя Несибе только делала вид.

В соседней комнате, подняв простыню, прикрывавшую мертвого, я впервые внимательно посмотрел на Тарык-бея. На нем был тот же пиджак, который он надевал, когда куда-то выходил. Лицо его приобрело бледный оттенок. Пятна, родинки, морщины на лице после смерти, казалось, увеличились, их вроде бы даже стало больше. Изменилось ли так тело потому, что ушла душа, или потому, что уже начало разлагаться, меняться?

Присутствие умершего, страх смерти пересиливали теплоту, которую я питал к Тарык-бею. Мне хотелось убежать, но все равно не вышел из комнаты.

Я любил его за то, что он отец Фюсун, что мы с ним провели много лет за одним столом, пили ракы и смотрели телевизор. Но так как Тарык-бей никогда не был до конца искренен со мной, я тоже так и не смог привыкнуть к нему. Мы оба в каком-то смысле недолюбливали друг друга, хотя и дружили.

Как только я об этом подумал, то понял, что ведь и Та-рык-бей, как и тетя Несибе, знал с самого начала о моей любви. Надо бы произнести не слово «понял», а фактически «признался» себе в этом. По всей вероятности, он с первых месяцев был в курсе, что я безответственно обесчестил его восемнадцатилетнюю дочь, и наверняка считал меня циничным богачом, неуемным бабником. Из-за меня ему пришлось выдать свою дочь за нищего, пустого человека. Конечно, он меня ненавидел! Но ни разу этого не показал. А может, я просто не хотел этого замечать. Может, он и ненавидел меня, однако простил. Мы с ним вели себя как разбойники, воры, которые дружат, не замечая преступлений друг друга. По прошествии стольких лет это превращало нас с Тарык-беем из гостя и хозяина в сообщников.

Его застывшее лицо пробудило во мне воспоминание, хранившееся в глубине моей души, о том изумлении и страхе, которые застыли на лице у мертвого отца. Та-рык-бей мучался от приступа довольно долго; должно быть, успел взглянуть в глаза смерти, боролся с нею—на его лице не видно было никакого изумления. Один уголок его рта от боли опустился вниз, а с другой стороны рот чуть-чуть приоткрылся, будто он слегка прикусил губу. Та прикушенная губа долгие годы сжимала сигарету за столом, а перед ней часто бывал стаканчик ракы. Но сила пережитого теперь не ощущалась; в комнате чувствовалось только дыхание смерти и пустоты.

Белый свет заполнял комнату, проникая через левое боковое окно эркера. Я выглянул на улицу. Узкий проспект Чукурджума был пуст. Так как эркер выступал до середины улицы, я представил, будто парю в воздухе, посреди улицы. Из-за тумана было видно только угол, где Чукурджума пересекалась с проспектом Богаз-Кесен. Весь квартал спал, кошка уверенно вышагивала по улице.

У изголовья Тарык-бея висела в рамке фотография, на которой он был снят, когда работал в лицее Кар-са, со своими учениками, после школьной постановки спектакля в городском театре, сохранившемся там со времен русских. Верхний ящик комода полуоткрыт, что тоже странным образом напомнило мне отца. Оттуда распространялся приятный запах — смесь лекарств, сиропа от кашля и старых пожелтевших газет. На комоде в стакане лежал зубной протез и книга Ре-шата Экрема Кочу, которого любил читать Тарык-бей. В ящике лежали старые баночки, зубочистки, мундштуки, телеграммы, сложенные врачебные справки, счета за газ и

электричество, старые коробки от таблеток и еще много всякой всячины.

Утром, прежде чем собрались соседи и знакомые, я ушел в Нишанташи. Мать проснулась и завтракала в постели, куда Фатьма-ханым принесла ей и поставила на подушку поднос с поджаренным хлебом, яйцами, вареньем и черными маслинами. Увидев меня, она обрадовалась. Но, узнав, что Тарык-бей умер, расстроилась. По ее лицу было видно, что ей больно за Несибе. И еще одно сильное чувство — гнев — отразилось в ее глазах.

— Я иду на похороны, мама, — сказал я. — Пусть Четин отвезет тебя туда.

— Я не пойду, сынок.

— Почему?

Сначала она привела какие-то пустые отговорки. «Почему в газетах нет некролога? Почему они торопятся? Почему похороны начинаются не из мечети Тешви-кие? Это неправильно,—говорила она. — Все похороны наших знакомых всегда проходили в Тешвикие». Она искренно переживала из-за Несибе, с которой они некогда дружили и вместе шили, смеялись, болтали, проводили время. Но, поняв, что я настаиваю и занервничал, мать рассердилась.

— Знаешь, почему я не пойду на эти похороны, сынок? — сердито спросила она. — Потому что если я пойду туда, ты женишься на этой девушке.

— Откуда ты знаешь? Она замужем.

— Знаю. Я обижу Несибе. Но, сынок, я смотрю на то, что происходит, уже много лет. Если ты будешь упорствовать, если собираешься жениться на ней, все кончится плохо. Неприлично.

— Матушка, какая разница, что болтают?

— Нет-нет, не пойми меня неправильно, — твердо сказала мать. С серьезным видом она отложила на поднос нож в сливочном масле и поджаренный хлеб, внимательно посмотрев мне в глаза: — Конечно же, в конце концов совершенно неважно, что говорят другие. Важно, чтобы наши чувства были настоящими, истинными. Вот я против чего, сынок. Ты полюбил эту женщину. .. Это хорошо. Но любит ли она тебя? Что изменилось за восемь лет? Почему она до сих пор не бросила мужа?

— Теперь бросит, знаю, —упрямился я.

— Знаешь, твой покойный отец тоже питал страсть к женщине, по возрасту годившейся ему в дочери. Он тоже увлекся... Квартиры ей покупал. Но все скрывал, никогда не позорил себя так, как ты. Даже самые близкие его друзья ни о чем не знали... — В это время в комнату вошла Фатьма-ханым. — Фатьма, мы тут разговариваем. —Та тут же вышла и закрыла за собой дверь. — Ваш покойный отец был сильным, умным, порядочным и благовоспитанным человеком, но даже ему были свойственны страсти и слабости, — продолжала мать. — Много лет назад ты попросил у меня ключи от «Дома милосердия» , и я тебе дала их, хотя, зная, что у тебя есть отцовские черты, предупреждала: «Будь осторожен». Предупреждала? Предупреждала. Сынок, ты меня, разумеется, не послушал. Скажешь, все это твоя вина, Несибе тут ни при чем? Но я никогда не прощу Несибе за то, что они с дочкой уже десять лет заставляют тебя терпеть эту пытку.

Я не стал ее поправлять — не десять, а восемь. «Хорошо, мама. Я скажу им что-нибудь».

— Сынок, ты не будешь счастлив с этой девушкой. Если бы мог быть с ней счастливым, уже бы это случилось. Я и против того, чтобы ты ходил на эти похороны.

Однако слова матери убеждали как раз в обратном: не в том, что я погубил свою жизнь, а в том, что скоро буду счастлив с Фюсун. Поэтому нисколько не рассердился на мать, слушал ее даже с улыбкой и хотел как можно скорее вернуться к Кескинам.

Мать, заметив, что ее слова никак не влияют на меня, окончательно рассердилась. «В стране, где мужчины и женщины не могут свободно встречаться,

разговаривать и дружить, никакой любви быть не может,— она говорила почти гневно. — И знаешь почему? Потому что как только мужчина видит свободную женщину, он не смотрит, плохая ли она или хорошая, красивая или нет, а сразу набрасывается на нее, как дикое голодное животное. Здесь все привыкли так жить. А потом называют это любовью. Разве в таком месте может существовать любовь? Не обманывай себя».

Матери все же удалось меня разозлить. «Все понятно, мама, — отрезал я. — Мне пора».

— На похоронный намаз в квартальную мечеть женщинам ходить не принято, — сказала она, будто это было главным.

Два часа спустя туман рассеялся, община расходилась с намаза из мечети Фирюз-ага, среди выражавших соболезнования тете Несибе были и женщины. Среди них хозяйка закрывшегося бутика «Шанзе-лизе» Шенай-ханым и Джеида. Со мной в тот момент стоял Феридун в вычурных черных очках.

В последующие дни я приходил в Чукурджуму рано вечером. Но теперь в доме, за столом, испытывал крайнее неудобство. Казалось, со смертью Тарык-бея проявилась надуманность наших отношений и тяжесть ситуации. Тарык-бею лучше нас всех удавалось не замечать, что происходит, именно он искуснее всех притворялся. А сейчас, когда его не стало, у нас не получалось быть естественными, мы не могли вернуться к тому полунаигранному, полуискреннему покою, который держался восемь лет.

75 Кондитерская «Жемчужина»

В апрельский дождливый день я, поболтав дома с матерью, около полудня пришел в «Сат-Сат». Там меня застал звонок тети Несибе. Ока сказала, чтобы я пока перестал у них бывать, потому что в квартале поползли неприятные сплетни; обо всем по телефону не расскажешь, но у нее для меня есть хорошая новость. Моя секретарша Зейнеб-ханым слушала наш разговор из соседней комнаты. Мне не хотелось показывать, что слова тети взбудоражили мое любопытство, и я не спросил, что случилось.

Через день, тоже утром, тетя Несибе пришла в «Сат-Сат». Хотя за восемь лет я провел с ней много времени, настолько было непривычно видеть ее у себя в кабинете, что я сначала даже не узнал ее, приняв за покупательницу продукции компании с окраин или из глухой провинции, прибывшую в Стамбул, чтобы поменять бракованный товар или получить в подарок фирменный календарь или пепельницу, но по ошибке попавшую в офис руководства.

Зато Зейнеб-ханым сразу поняла, что за посетительница пришла ко мне. Она спросила, налить ли нам растворимого кофе, но тетя Несибе попросила: «Если можешь, свари мне по-турецки, дочка».

Я закрыл дверь, разделявшую наши комнаты. Тетя Несибе, сев в кресло перед моим столом, пристально посмотрела мне в глаза.

— Все разрешилось, — произнесла она с таким видом, будто не сообщала радостную новость, а говорила о какой-то повседневной проблеме. — Фюсун с Фериду-ном разводятся. Если ты оставишь «Лимон-фильм» ему, то дело разрешится по-мирному. Фюсун этого тоже хочет. Но сначала вы должны поговорить.

— Я с Феридуном?

— Нет, ты с Фюсун.

Понаблюдав, как мое лицо светлеет от радости, она закурила, села, закинув ногу на ногу, и с удовольствием обо всем мне рассказала. Два дня назад, вечером, Фери-дун явился домой, он был немного пьян, с Папатьей они расстались, он просился обратно к Фюсун, но та его, конечно, видеть не захотела. Разгорелась ссора,

к сожалению дошедшая до криков, которые слышали все соседи. Было очень стыдно. Тетя Несибе именно поэтому и просила меня не приходить... Потом Феридун позвонил, они с тетей встретились в Бейоглу. Супруги решили развестись.

— Я сменила замок на нижней двери, — сказала тетя. —Теперь наш дом — больше не дом для Феридуна.

Воцарилось молчание. Мне казалось, пропал не только шум автобусов, проезжающих мимо «Сат-Сата», целый мир погрузился в тишину. Увидев, что я застыл, как зачарованный, с сигаретой в руке, тетя Несибе заново повторила всю историю, теперь уже с подробностями.

— Я, правда, этого парня никогда не осуждала,—она произнесла это с таким видом, будто и не сомневалась, что рано или поздно дело окончится именно так. — Он, конечно, добрый, но слабовольный... Какая мать пожелает своей дочери этакого мужа... — Она немного помолчала. Я ждал, что следующая фраза будет: «У нас, правда, не было выбора», но она сказала совершенно другое:—Мне ведь это все хорошо знакомо. В этой стране очень сложно быть красивой женщиной, сложнее даже, чем быть красивой девушкой... Ты, Кемаль, сам знаешь, что мужчины обычно делают гадости женщинам, которых не смогли заполучить, а Феридун от всех гадостей Фюсун защитил.

Я задумался, был ли я сам одной из этих гадостей. Она прервала мою мысль:

— Конечно, все это не должно было столько тянуться.

Я молчал — спокойно, но в то же время удивленно, будто впервые стало заметно, какую странную форму приобрела моя жизнь.

— Конечно, пусть «Лимон-фильм» останется Фери-дуну! Он принадлежит ему по праву! — решил я. — Феридун на меня сердится?

— Нет, — тетя Несибе нахмурилась. — А вот Фюсун... Ей надо с тобой серьезно поговорить. Она, конечно, долгие годы держала все в себе...

Мы условились, что я встречусь с Фюсун через три дня в кондитерской «Жемчужина», в Бейоглу, после обеда. Потом тетя Несибе, решив не засиживаться, ушла, будто ей было неспокойно в чужой обстановке, но и не скрывая радости.

9 апреля 1984 года, в понедельник, я вышел в Бейоглу, чтобы прибыть на место к двум часам. Волновался, точно школьник, торопящийся на свидание с девочкой, о которой мечтал много месяцев. Ночью от нетерпения я не мог сомкнуть глаз, в «Сат-Сате» с трудом дождался обеденного перерыва и попросил Четина отвезти меня на Таксим пораньше. Площадь Таксим заливало своим светом солнце, но на проспекте Истикляль, постоянно пребывающем в тени, было прохладно. Витрины, кинотеатры, влажный и пыльный запах из пассажей, куда мы ходили в детстве с мамой, вселили в меня уверенность. От предвкушения счастливого будущего кружилась голова, и я был таким же веселым, как все прохожие, каждый из которых пришел в Бейоглу либо вкусно поесть, либо посмотреть кино, либо за покупками.

Я заглянул в пару магазинов вроде «Вакко» и «Бейме-на», чтобы купить Фюсун подарок, но не придумал, что именно выбрать. Пытаясь успокоиться, зашагал было в сторону площади Тюнель, как вдруг заметил Фюсун перед «Египетским домом». Часы показывали половину второго. Она была одета в красивое белое весеннее платье с рисунком в крупный горох; в ушах—отцовские сережки, а на глазах—интригующие черные очки. Она не заметила меня, так как смотрела на какую-то витрину.

— Какая случайная встреча, не так ли? — подошел я к ней.

— Ах, здравствуй, Кемаль! Как дела?

— Отлично, я сбежал пораньше с работы, — ответил я, будто мы и не должны встречаться через полчаса. — Пройдемся?

— Мне надо сначала купить матери деревянные пуговицы, — сказала Фюсун. — Ее попросили срочно сшить одно платье, после встречи с тобой пойду помогать ей. Давай посмотрим в «Зеркальном пассаже»?

Мы зашли не только в «Зеркальный», но и во множество других магазинов. Как приятно было на нее смотреть, пока она разговаривала с продавцами и рассматривала разноцветные образцы. Она остановилась на комплекте старых деревянных пуговиц, показала мне: «Как тебе, что скажешь?»

— Красивые.

— Хорошо.

Фюсун заплатила за пуговицы, пакет с которыми я найду в ее шкафу девять месяцев спустя даже нераспечатанным.

— Теперь немного пройдемся, — предложил я ей. —Так здорово идти вдвоем по Бейоглу.

— В самом деле? -Да.

Какое-то время мы шли молча. Я посматривал на витрины, как и она, но не на их содержимое, а на отражение в них Фюсун. В толпе на нее обращали внимание не только мужчины, но и женщины, и Фюсун это нравилось.

— Давай сядем где-нибудь и съедим по пирожному, — сказал я.

Фюсун, не ответив, вскрикнула и кинулась кому-то на шею. Это оказалась Джейда, а с ней два ее сына, один лет восьми-девяти, второй младше. Пока Фюсун и Джейда разговаривали, два полных жизни и крепких на вид мальчугана в коротких штанишках и белых носочках, с большими, как у их матери, глазами, внимательно рассматривали меня.

— Как здорово видеть вас вместе! — воскликнула Джейда, обращаясь и ко мне.

— Мы только что встретились, — Фюсун явно не хотела уточнять почему.

— А вы друг другу подходите, — Джейда не унималась.

Они что-то тихо обсудили между собой.

— Мама, скучно уже, пойдем, — заныл старший мальчик.

Я вспомнил, что восемь лет назад, когда она была им беременна, мы сидели в парке Ташлык, смотрели на Долмабахче и говорили о моих любовных страданиях. Но это воспоминание меня не тронуло и не расстроило.

Распрощавшись с Джейдой, мы пошагали дальше и дошли до кинотеатра «Сарай». Там шел фильм с Папа-тьей «Мелодия страданий». За последний год Папатья снялась не в одном десятке фильмов и, если верить газетам, установила мировой рекорд. В журналах врали, что ей предлагают главные роли в Голливуде, а Папатья эту ложь приукрашивала, позируя с учебником начального английского «Longman», и говорила, что сделает все от нее зависящее, чтобы как можно лучше представить Турцию. Фюсун рассматривала фотографии в фойе и в это время заметила, что я внимательно слежу за ее выражением лица.

— Пойдем отсюда, дорогая, — настаивал я.

— Не беспокойся, я Папатье не завидую, — сказала она спокойно.

Мы молча отправились дальше, глядя в витрины.

— Тебе очень идут темные очки. — Мне не хотелось погружаться в размышления о том, какой разговор нас ждет впереди.

Мы оказались перед кондитерской «Жемчужина» ровно в то время, на какое договорились с ее матерью. В глубине зала был пустой столик, такой, как я себе представлял эти три дня. Мы сели за него и заказали профитролей, которыми славилась та кондитерская.

— Я ношу очки не потому, что они мне идут, — сказала Фюсун. — Просто часто вспоминаю отца и плачу. Не хочу, чтобы кто-нибудь видел мои слезы. Но ты понял, что я не завидую Папатье?

— Понял.

— Но она молодец, — продолжала Фюсун. — Поставила себе цель, настояла на своем, как герои американских фильмов, добилась успеха. Я расстраиваюсь не потому, что не смогла стать актрисой, а потому, что не настояла на том, чего хотела.

За это я себя виню.

— Я настаиваю уже почти девять лет, но одной настойчивостью всего не добьешься.

— Может быть, — невозмутимо отвела она мой упрек. — Значит, ты поговорил с мамой. А теперь давай мы поговорим.

Она решительным движением достала сигарету. Когда я помогал ей прикурить, то посмотрел в глаза и еще раз тихонько, чтобы никто в маленькой кондитерской не слышал, сказал, что крепко люблю ее, что теперь все плохое изгнано прочь, а у нас, несмотря на потерянное время, впереди большое счастье.

— Я тоже так думаю, — произнесла Фюсун осторожно.

Ее напряженное лицо и неестественные движения выдавали внутреннюю борьбу, но, употребив всю силу воли, она взяла себя в руки. За эту волю, чтобы соблюсти максимум приличий, я любил ее еще больше, боясь бушевавших в ней бурь.

— После того как официально разведусь с Фериду-ном, я хочу познакомиться с твоей семьей, со всеми твоими друзьями, подружиться со всеми, бывать с тобой везде, — решительно начала она, с видом отличника, который уверенно рассказьшает, кем собирается стать в будущем.—Я не тороплюсь. Все будет постепенно. Конечно, после моего развода твоя мать должна прийти к нам и попросить моей руки. Они с моей матерью прекрасно договорятся. Но сначала пусть твоя позвонит моей и извинится за то, что не была на похоронах.

— Она очень плохо себя чувствовала.

— Конечно, я знаю.

Принесли профитроли. Я с любовью — не с вожделением, а именно с любовью — смотрел, как она их ест, на ее прекрасный, полный шоколада и крема рот.

— Еще я хочу, чтобы ты узнал об одной вещи и поверил в нее. Между мной и Феридуном никогда не было супружеских отношений. Ты обязан в это верить! В этом смысле я девственница. И отныне буду близка только с тобой. Нам не нужно никому рассказывать о тех двух месяцах, когда мы встречались девять лет назад. — (На самом деле мы встречались без двух дней полтора месяца.) —Мы с тобой будто недавно знакомы. Как в кино. Я была замужем, однако до сих пор девственница.

Два последних предложения она произнесла с легкой улыбкой, но, поскольку видел, насколько серьезно она говорила, то, насупившись, ответил: «Понятно».

— Так будет лучше, — Фюсун не меняла свой серьезный тон. — Еще у меня есть одно желание. Вообще-то это была твоя мысль. Я хочу, чтобы мы все вместе поехали в Европу на машине. Моя мать поедет в Париж с нами. Мы будем ходить по музеям, смотреть картины. И купим там до свадьбы всю утварь для нашего дома.

Я слегка улыбнулся тому, как она произнесла «для нашего дома». Фюсун говорила с легкой улыбкой, что совершенно противоречило приказному тону ее слов. Она чем-то была похожа на добродушного офицера, который после долгой войны, закончившейся победой, перечисляет свои требования. Потом, нахмурившись, уточнила:

— Еще у нас будет большая свадьба, как у всех. В «Хилтоне»! Все должно быть как полагается. Правильно и прилично.

Вряд ли «Хилтон» запал ей в душу из-за моей помолвки, видимо, ей просто хотелось красивое свадебное торжество.

— Да, — согласился я.

Маленькая кондитерская, важный адрес моих детских прогулок с мамой по Бейоглу, за тридцать лет совершенно не изменилась. Теперь там лишь было больше народу, и говорить от этого было трудно.

Когда в маленьком зальчике на мгновение стих шум. я прошептал Фюсун, как я ее люблю и сделаю все. чего бы она ни захотела, и нет у меня в этом мире никаких

других желаний, кроме как провести оставшуюся часть жизни с ней.

— В самом деле? — спросила она с наивным видом. Она держалась так решительно, так уверенно в себе,

что, казалось, сама готова рассмеяться. Уверенным движением она закурила очередную сигарету и перечислила свои требования. Я не должен ничего скрывать от нее, должен доверять ей все секреты и честно отвечать на все вопросы о моем прошлом.

У меня запечатлелась в памяти картина того дня: решительное и суровое лицо Фюсун, как у Ататюрка на портрете в рамке, висевшем в кондитерской, и старый аппарат для мороженого. Мы решили устроить помолвку до поездки в Париж, в кругу семьи. Пару раз вспомнили Феридуна, но говорили о нем с уважением.

Мы условились, что до свадьбы у нас не будет физических отношений.

— Не заставляй меня, ладно? Все равно ничего не добьешься, — подчеркнула Фюсун.

— Знаю, — ответил я. — Признаться, я сам хотел жениться с соблюдением всех традиций.

— Так и будет! — в ее голосе звучала непреклонная уверенность.

Еще она сказала, что теперь они с матерью живут без мужчин и соседи неверно поймут, если я стану бывать у них каждый вечер. «Сплетни, конечно, только предлог, — призналась она потом. — Отца нет, и милой беседы, как раньше, не получается. А я до сих пор очень переживаю».

На миг мне показалось, что она вот-вот расплачется, однако Фюсун сдержалась. От наплыва посетителей дверь кондитерской не закрывалась. Ввалилась группа школьников в синих пиджаках и криво повязанных тоненьких галстуках. Они хохотали, толкались. Нам не хотелось больше сидеть там. Идя с Фюсун по проспекту, я наслаждался тем, что меня видят рядом с ней, и проводил ее до Чукурджумы.

76 Кинотеатры Бейоглу

Нам удалось начать воплощать то, о чем мы говорили с Фюсун в кондитерской «Жемчужина». Один мой армейский приятель из Фатиха, далекий от круга друзей из Нишанташи, сразу согласился стать адвокатом Фюсун. Дело, в общем-то, и так оказалось простым, поскольку супруги обо всем договорились. Фюсун со смехом сказала, что Феридун даже хотел посоветоваться со мной по поводу адвоката. Теперь я не мог бывать по вечерам в Чукурджуме, но раз в два дня, после обеда, мы встречались с Фюсун в Бейоглу и ходили в кино.

Я любил кинотеатры Бейоглу еще с детства за их прохладу весной, когда на улицах делалось душно. Встречались мы около лицея «Галатасарай», сначала, глядя на афиши, выбирали фильм, потом покупали билеты и входили в темный, прохладный и пустой зал кинотеатра, садились куда-нибудь подальше, при этом держались за руки, и беспечно смотрели фильм, как люди, у которых бесконечно много времени.

В начале лета по одному билету начали показывать два или даже три фильма. Однажды я, расправив брюки, сел, повернулся, чтобы положить газету на соседнее пустое кресло, и не успел взять за руку Фюсун. Тогда ее прекрасная рука, как смелый воробей, оказалась у меня на коленях, словно спрашивая: «Где ты?», и в тот же момент моя рука страстно схватила ее, еще быстрее, чем я успел об этом подумать.

Там, где летом шло по два фильма (в кинотеатрах «Эмек», «Фиташ», «Атлас») или даже три («Рюйя», «Алька-зар», «Ляле»), между сеансами загорался свет, и было видно, кто сидит вокруг нас. В перерывах мы разглядывали ссутулившихся, скривившихся одиноких мужчин в помятой одежде со скомканными газетами в руках, которые откидывались на спинку больших кресел бледно освещенного кинозала,

пахнувшего плесенью; задремавших стариков, мечтательных зрительниц, которым было трудно вернуться в обычный мир из мира грез; обсуждали последние новости и шептались. (В перерывах за руки мы не держались.) Именно в ложе кинотеатра «Сарай» в один из таких перерывов Фюсун шепотом сообщила мне. что официально свершилось то, о чем я мечтал столько лет: она официально развелась с Феридуном.

— Адвокат забрал судебное решение, — радовалась она. — Теперь я официально свободна.

В тот момент мне навсегда, до конца жизни, врезались в память покрытый позолотой потолок кинотеатра «Сарай», его стены с осыпавшейся местами краской, утративший былое великолепие зал, занавес на сцене, сонные зрители в креслах. В таких кинотеатрах, как «Атлас» и «Сарай», в зале сохранились ложи, и еще десять лет назад туда ходили парочки, которым негде было встречаться, как и в Парк Йыддыз. Правда, Фюсун не позволяла никаких с собой вольностей, а лишь не возражала, когда я клал ей руку на коленку.

Наша последняя встреча с Феридуном прошла хорошо, но почему-то от нее у меня остались плохие воспоминания. Меня потрясли откровения Фюсун в кондитерской «Жемчужина». Втайне от себя я все эти восемь лет краешком сознания верил в то, что они не были близки эти годы, но это свойственно многим мужчинам, влюбленным в замужнюю женщину. Без такой веры, которая является скрытым средоточием моей истории, любовь вряд ли бы смогла жить так долго.

Если бы я все это время сознавал, что Фюсун с Феридуном — настоящие, физически счастливые муж и жена (об этом я пару раз попытался с болью подумать), моя любовь неизбежно умерла бы. Но стоило Фюсун признать-сяь мне в том, во что я, обманывая себя, верил многие годы, сомнение, словно червь, не давало покоя, и я почувствовал себя обманутым. Правда, Феридун бросил Фюсун на пятом году их супружества. Едва мне приходила в голову мысль об их отношениях, я начинал испытывать к нему нестерпимую ревность, ярость, мне хотелось унизить его. Такого со мной не бывало в течение восьми лет, что и помогло нам просуществовать рядом без каких-либо осложнений. И вот теперь выяснялось, что причина терпимости Феридуна, особенно в первые годы, заключалась в том, что они с женой были счастливы. Ну а он, как любой счастливый мужчина, встречался с друзьями, проводил с ними вечера, занимался делом или, наоборот, бездельничал... Нельзя было теперь скрыть от себя самого, что их счастливую жизнь с Фюсун испортил именно я. Однако чувства вины у меня не возникло, когда я встретился с Феридуном.

Ревность, беззвучно дремавшая, будто таинственное морское чудовище в самой глубокой части океана, во время этой нашей с Феридуном краткой беседы начала подымать голову; и тут мне стало ясно, что с ним тоже стоит расстаться навсегда, как с некоторыми моими друзьями. Странно, что я начал ненавидеть Феридуна. многие годы испытывая к нему братские, дружеские чувства, видя в нем товарища по несчастью, именно сейчас, когда дело разрешалось. Но нет смысла копаться во всех «почему»; Феридун, остававшийся для меня загадкой, теперь стал мне более понятен.

А в глазах прочитывалась легкая зависть ко мне и нашему общему с Фюсун счастью. Во время того последнего ужина в гостинице «Диван», мы оба, выпив много ракы, расслабились; обсудив детали передачи «Лимон-фильма», мы заговорили о чем-то нейтральном и веселом, что нас успокоило. Феридун наконец собирался приступать к съемкам своего фильма «Синий дождь».

Как-то вечером, когда вдалеке за Стамбулом гремел гром и сверкали молнии, мы с Четином отвезли в Чу-курджуму мою мать. Как всегда, когда она нервничала, мать всю дорогу болтала без умолку. «Ах, как красиво выложили здесь мостовую! — говорила она, когда мы ехали к дому Фюсун.—Мне всегда так хотелось увидеть этот район! Ах, какой красивый спуск! Ах, как здесь все красиво!» Когда мы входили в дом,

прохладный резкий ветер, предвестник дождя, поднял в воздух пыль с уличных камней.

За несколько дней до поездки мать позвонила тете Несибе выразить соболезнования, потом они еще несколько раз созванивались. И все-таки наше сватовство превратилось в поминальный визит. Правда, во всем этом чувствовалось нечто более глубокое, нежели поминки. После первых теплых слов вежливости тетя Несибе с матерью обнялись и заплакали. Фюсун при этом убежала наверх.

Где-то поблизости ударила молния, и две обнявшиеся немолодые женщины разомкнули объятия. «Ничего! Что ни делается, все к лучшему!» — смирилась моя мать. Вскоре полил проливной дождь, продолжал греметь гром, а двадцатисемилетняя Фюсун, разведенная жена, словно восемнадцатилетняя девица на выданье, к которой пришли сваты, изящно разносила нам на подносе кофе.

— Несибе, посмотри: Фюсун стала совсем как ты! — воскликнула мать. — Ну просто вылитая... Как улыбается умно и какая красавица!

— Нет, Фюсун гораздо умнее меня, — скромно заметила тетя Несибе.

— Покойный Мюмтаз тоже всегда говорил, что Ке-маль с Османом умнее него, но не знаю, сам верил ли своим словам? Можно подумать, новые поколения умнее нас! — ответила мать, посмотрев в мою сторону.

— Девочки точно умнее мальчиков, — заметила тетя. — Знаешь, Веджихе, — почему-то на этот раз она сказала не «сестра», как обычно, — о чем я больше всего жалею в жизни? Когда-то давно я мечтала открыть свой магазин, где бы продавала то, что шью, под своим именем. Но так и не решилась, побоялась. А теперь те, кто и ножниц-то в руках держать не умеет, наметку сделать не может, стали хозяевами известных модных домов.

Мы подошли к окну. Дождь лил как из ведра, и потоки воды стекали вниз по улице.

— Покойный Тарык-бей очень любил Кемаля, — сказала тетя Несибе, возвращаясь за стол. — Каждый вечер говорил: «Давайте еще подождем, может, Ке-маль-бей приедет».

Я почувствовал, что матери эти слова не понравились.

— Кемаль знает, чего хочет, — сухо заметила она.

— Фюсун тоже все решила, — поддержала ее тетя Несибе.

— Они оба все решили, — слова матери прозвучали как одобрение.

Дальнейшего «сватовства» не последовало.

Я, тетя Несибе и Фюсун выпили по стаканчику ра-кы; мать пила редко, но сейчас тоже попросила себе налить и после двух глотков сразу развеселилась — как говорил отец, не столько от ракы, сколько от запаха. Она вспомнила, что когда-то они с Несибе ночами напролет до утра шили матери вечерние платья. Эти воспоминания пришлись им обеим по душе, и они принялись вспоминать свадьбы и все сшитые к ним вечерние платья тех лет

— То плиссированное платье, которое я тебе сшила, Веджихе, стало таким популярным, что многие другие дамы из Нишанташи просили меня и им сделать точно такое же, даже находили в Париже ткань, привозили мне, но я отказывалась, — вспоминала тетушка.

Фюсун встала из-за стола и подошла к клетке Лимона, я поднялся за ней.

— Ради Аллаха, не занимайтесь птицей во время еды! — сказала нам мать. — Не беспокойтесь, у вас теперь будет очень много времени видеть друг друга... А теперь стойте! Пока руки не вымоете, за стол не пущу.

Я пошел мыть руки наверх. Фюсун могла бы помыть руки внизу, на кухне, но она тоже пошла за мной. Наверху лестницы я взял Фюсун за руку, привлек к себе, заглянул ей в глаза и страстно поцеловал в губы. ТЪ был глубокий, зрелый, потрясающий поцелуй, длившийся десять-двенадцать секунд. Фюсун первой

сбежала вниз.

Поужинали мы в тот вечер без особого веселья, следя за каждым сказанным словом, и, когда дождь кончился, встали прощаться, чтобы не засиживаться. На обратном пути в машине я сказал матери: «Ты забыла посвататься».

— Сколько ты за эти годы раз бывал у них?— взамен спросила мать. Увидев, что я смущенно молчу, она продолжала: — Сколько бы ни ходил—ладно... Но это меня задело. Может быть, я обиделась потому, что ты многие годы очень мало ужинал со мной, твоей матерью, — тут она погладила меня по руке,—но не беспокойся, сынок. Я уже не обижаюсь. Правда, сделать вид, будто мы школьницу сватаем, тоже не смогла. Она была замужем, развелась, совершенно взрослая женщина. Все прекрасно понимает. Умная, прекрасно знает, что делает. Вы уже обо всем договорились, все сами решили. Зачем теперь всякие церемонии, торжественные слова? Мне-то кажется, и помолвки никакой не надо... Поженитесь себе сразу, не затягивая, чтобы не было повода для сплетен... И в Европу не езжайте. Теперь в магазинах Ни-шанташи все есть, зачем вам в Париж до свадьбы ехать?

Увидев, что я продолжаю молчать, она сменила тему.

Дома, прежде чем уйти к себе спать, мать сказала мне: «Ты прав. Она красивая, умная женщина. Она станет тебе хорошей женой. Но будь осторожен. Видно, что она много страдала. Я, конечно, не знаю... Но лишь бы гнев, ненависть, которую она держит в себе, или что там еще, не отравила вам жизнь».

— Не отравит.

Как раз наоборот: наше в те дни сближение с Фюсун становилось все глубже, и наши чувства привязывали нас к жизни, к Стамбулу, к улицам, к людям, ко всему. Когда мы сидели в кино, держась за руки, я иногда чувствовал, что рука Фюсун слегка дрожит. Теперь она иногда касалась меня плечом или клала голову мне на плечо. Чтобы ей было удобнее, я садился в кресло поглубже, брал в ладони ее руку, а иногда легонько гладил ее по ноге. Фюсун теперь не противилась, когда я предлагал сесть в ложе, которое ей не очень понравилось в первые дни. Держа ее за руку, я следил за разными реакциями Фюсун на кино, словно врач, который меряет пульс, ощущая на кончиках пальцев самые скрытые страдания больного, и поэтому получал огромное удовольствие смотреть фильм с ее эмоциональным его толкованием.

В перерывах между фильмами мы подробно обсуждали подготовку путешествия в Европу, говорили, что нужно постепенно начать бывать на людях. Но я ни разу не передал ей слова моей матери о помолвке. Чем дальше, тем мне становилось яснее, что помолвка пройдет неудачно, пойдут сплетни, что даже домой позвать гостей неудобно, но если мы никого не пригласим, поползут очередные слухи, и судя по всему, Фюсун постепенно приходила к тому же мнению. Так мы, не сговариваясь, решили обойтись без помолвки, а пожениться сразу по возвращении из Европы. Позже, помимо фильмов, мы начали ходить по кондитерским Бейоглу и, куря на пару, обсуждать, чем займемся в поездке. Фюсун даже купила путеводитель «На автомобиле по Европе» и часто приносила его с собой. Помню, она листала страницы, а мы решали, по какой дороге поедем. Мы договорились провести первую ночь в Эдирне, а затем поехать через Югославию и Австрию. Я приносил свой путеводитель, и Фюсун любила разглядывать в нем фотографии Парижа. Еще ей хотелось в Вену. Иногда, глядя на виды Европы в книге, она странно и печально смолкала.

— Что случилось, милая, о чем ты думаешь? — тревожился я.

— Не знаю, — признавалась Фюсун.

Она, тетя Несибе и Четин получали в те дни свои первые заграничные паспорта, так как выехать из Турции им предстояло в первый раз. Чтобы избавить их от мытарств в госучреждениях и очередей, я привлек к этому процессу комиссара Селями, занимавшегося подобными вопросами в «Сат-Сате». (Когда-то именно он

разыскивал Кескинов и пропавшую Фюсун.) Так я заметил, что из-за любви девять лет не выезжал за пределы Турции и даже не хотел этого. А раньше часто путешествовал и, если раз в три-четыре месяца под каким-нибудь предлогом не отправлялся за рубеж, чувствовал себя ужасно.

Таким образом, однажды жарким летним днем мы отправились в Управление безопасности в Бабыали, чтобы лично расписаться в получении паспорта.

Старинное здание, где в последние годы Османской империи заседали великие визири и военные генералы, ставшее сценой баталий, политических убийств, заговоров и прочих ужасов, описанных в учебниках по истории, сейчас, как и многие другие особняки, доставшиеся Республике от империи, утратило былое великолепие и превратилось в подлинный махшер[29], а в его коридорах и на лестницах в бесконечных очередях за документами, печатью или подписью стояли сотни вяло переругивавшихся людей. От чрезмерной духоты и влаги бумаги у нас в руках сразу размякли.

Под вечер ради другого документа нас направили в деловой центр «Сансарян», в Сиркеджи. Когда мы шли по спуску Бабыали, не доходя старой кофейни «Месер-рет», Фюсун, ничего никому не сказав, завернула в оказавшуюся рядом маленькую чайную й села за столик.

— Что это с ней опять? — недоуменно спросила тетя Несибе.

Они с Четином остались ждать на улице, а я вошел внутрь.

— Что случилось, милая? Ты устала?

— Все, я передумала. В Европу я ехать не хочу, — Фюсун закурила и глубоко затянулась. — Вы идите, получайте паспорта, а я не в состоянии.

— Дорогая, потерпи! Мы так долго мучились, совсем немного осталось.

Она поупрямилась, покапризничала, моя красавица, но потом нехотя пошла с нами. Похожую маленькую истерику мы пережили, когда получали австрийскую визу. Я сделал Четину, тете и Фюсун справки о том, что они — высокооплачиваемые специалисты «Сат-Сата». Всем нам без проблем дали визы, но юный возраст Фю-сун вызвал сомнения, и ее пригласили на собеседование. Я пошел с ней.

Полгода назад один разгневанный гражданин, которому много лет отказывали в визе, убил сотрудника швейцарского консульства четырьмя выстрелами в голову, и с тех пор в визовых отделах стамбульских консульств были предприняты чрезвычайные меры безопасности. Теперь подававшие документы граждане говорили с европейским чиновником не с глазу на глаз, а, как в тюрьмах в американских фильмах, через пуленепробиваемое стекло и по телефону, проведенному через стекло. Перед консульствами всегда толпились люди, чтобы войти в визовый отдел. Турецкие сотрудники консульств (о таких, особенно о тех, кто работал у немцев, говорили: «За два дня стал немцем больше, чем сами немцы») ругали толпившихся за то, что те не могут дисциплинированно стоять в очереди, а иных вообще выгоняли за неподобающий внешний вид, таким образом производя первичный отсев неблагонадежных. Получив приглашение на собеседование, кандидаты на получение виз радовались как дети и дрожали перед пуленепробиваемыми и звуконепроницаемыми стеклами, словно студенты перед экзаменом.

Нас принимали по знакомству, и Фюсун прошла без очереди, гордо улыбаясь, но через некоторое время вернулась раскрасневшаяся и, не глядя на меня, стремительно направилась к выходу. Я догнал ее только на улице, когда она остановилась, чтобы закурить. На мой вопрос, что случилось, она не отвечала. Когда

---

[29] Махшер — согласно исламским поверьям, место, где будут собраны все люди в день Страшного суда.

мы вошли в какую-то закусочную — «Ватан: напитки и сандвичи», — Фюсун сказала:

— Не хочу я ехать ни в какую Европу. Я передумала.

— Что случилось? Тебе не дали визу?

— Он выспросил у меня всю мою жизнь. Даже то, почему я развелась. Не поеду в Европу. Не нужна мне ничья виза.

— Я как-нибудь все улажу. Или поедем на пароходе, через Италию.

— Кемаль, поверь мне, я передумала. И языка я не знаю, мне неловко.

— Милая, нужно посмотреть мир... В других странах другие люди, они иначе. Мы пройдем по их улицам, взявшись за руки. В мире ведь есть не только Турция.

— Мне нужно увидеть Европу и стать достойной тебя, ты это хочешь сказать? Но я и замуж за тебя выходить передумала.

— Мы будем очень счастливы в Париже, Фюсун.

— Ты знаешь, какая я упрямая. Не настаивай, Кемаль. Тогда я буду только больше упрямиться.

Но я все-таки настоял и, когда много лет спустя с болью вспоминал об этом, признался себе, что втайне мечтал во время путешествия уединяться с Фюсун в гостиничных номерах. С помощью Задавалы Селима, который импортировал из Австрии бумагу, визу для Фюсун мы получили через неделю. В те же дни закончили и подготовку документов для машины. Я торжественно вручил Фюсун ее паспорт, пестревший разноцветными визами стран, которые мы собирались проехать по пути в Париж, в ложе кинотеатра «Сарай», и в тот момент испытывал странную гордость, будто я уже был ее мужем. Память подсказала, что много лет назад, когда призрак Фюсун являлся мне в разных уголках Стамбула, однажды я видел ее и в кинотеатре «Сарай». Фюсун, взяв у меня паспорт, сначала рассмеялась, а потом, сосредоточенно нахмурившись, стала листать страницы и рассматривать каждую визу.

Через одну туристическую фирму я забронировал три больших номера в парижской гостинице «Отель дю Норд». Мне, Четину-эфенди и Фюсун с матерью. Когда я ездил в Париж к Сибель, учившейся в Сорбонне, то останавливался в других гостиницах, но всегда мечтал, что когда-нибудь обязательно поселюсь в этой известной всему миру по фильмам и книгам гостинице, как студент, который мечтает, куда поедет, разбогатев.

— Все это напрасно, — говорила мать. — Поженитесь, потом езжайте. Ты будешь наслаждаться путешествием с любимой девушкой... Но зачем вам тетя Несибе с Четином-эфенди? Что им делать рядом с вами? Поженитесь, а потом отправляйтесь в Париж вдвоем на самолете, на медовый месяц. Я поговорю с Белой Гвоздикой, он напишет обо всей этой истории пару милых колонок в романтическом духе, это понравится всему обществу, и все обо всем в два счета забудут Старый мир и так изменился. Повсюду нувориши из провинции. А потом, как я буду без Четина? Кто меня возить будет?

— Матушка, вы ведь за все лето только два раза и выезжали из Суадие. Не беспокойтесь! Мы вернемся не позднее сентября. А в начале октября, даю вам слово, Четин-эфенди перевезет вас в Нишанташи... И платье для свадьбы вам сошьет тетя Несибе!

77 Гостиница «Семирамида»

27 августа 1984 года в четверть первого дня мы с Че-тином приехали в Чукурджуму, чтобы отправиться в путешествие по Европе. С момента нашей встречи с Фю-сун в бутике «Шанзелизе» прошло ровно девять лет и четыре месяца, но я не задумался ни об этом, ни о том, как изменилась моя жизнь и я сам. Из-за бесконечных советов и слез матери во время прощания и из-за пробок на улицах мы

приехали в Чукурджуму поздно. Мне не терпелось начать путешествие, чтобы как можно скорее закончился этот период моей жизни. Но мы задержались и в Чукурджуме. Когда Четин-эфенди складывал в багажник чемоданы тети и Фюсун, на нас смотрел весь квартал; я приветливо всем улыбался, дети обступили нашу машину, все это и смущало меня, и одновременно вызывало чувство гордости, которую я скрывал даже от себя. Когда машина ехала вниз по улице к Топхане, мы увидели соседского мальчика Али, возвращавшегося с футбола, и Фюсун помахала ему. Я подумал, что скоро у меня от Фюсун родится сын, совсем как Али.

На Галатском мосту мы открыли в машине окна и с удовольствием вдохнули запах Стамбула, который создавали ароматы водорослей, морской воды, к чему примешивались резкие ноты голубиного помета, угольного дыма и автомобильных выхлопов, чуть смягченные запахом липового цвета. Фюсун с тетей Несибе сидели сзади, а я рядом с Четином, как давно представлял себе, и, пока машина проезжала по Аксараю, мимо крепостных стен, по окраинным кварталам вверх и вниз, и, трясясь, продвигалась по вымощенным брусчаткой переулкам, закинув руку назад, то и дело радостно поглядывал на Фюсун.

Машина устремилась по окраинам Бакыркёя, между фабрик, складов, новых жилых бетонных домов и мотелей. Мне на глаза попалась текстильная фабрика Тургай-бея, где я был девять лет назад, но я даже толком не смог вспомнить, почему именно в тот день я так страдал. Как только машина выехала за город, все мои многолетние усилия и страдания превратились в любовную историю со счастливым концом, которую можно было бы рассказать одним предложением. Ведь все любовные истории со счастливым концом заслуживают не более чем одного—двух предложений! Наверное, поэтому, по мере того как мы удалялись от Стамбула, в машине все чаще устанавливалась тишина. Тетя Несибе. которая в первые минуты поездки весело болтала обо всем, что видела в окно, — даже о старых костлявых кобылах, пасшихся на пыльных лугах, — и то и дело беспокоилась, не забыли ли мы чего, заснула, прежде чем мы успели доехать до моста Буюк-Чекмедже.

На выезде из Чаталджи Четин-эфенди остановился заправить автомобиль, и Фюсун с матерью вышли из машины. У стоявшей неподалеку крестьянки они купили деревенского сыра, сели в чайной на открытом воздухе рядом с заправкой и с наслаждением съели свой сыр с чаем и симитом. Я подумал, что с такой скоростью наше путешествие по Европе затянется не то что на недели, а на целые месяцы, и тоже сел с ними за стол. Был ли я этим недоволен? Нет! Я сидел перед Фюсун и молча смотрел на нее, а сладкая боль, вроде той, какую я чувствовал, когда в юности знакомился с красивыми девушками на танцевальных вечеринках, постепенно разливалась у меня по животу и груди. То была не глубокая, разрушительная любовная боль, а сладкая, трепетная.

В семь сорок солнце, последний раз сверкнув мне в глаза, спряталось за лугами подсолнечников. Через некоторое время Четин-эфенди зажег фары, а тетя Несибе сказала: «Ребята, давайте не поедем по такой темноте! Упаси Аллах!»

На двухрядной дороге водители грузовиков ехали навстречу, даже не пытаясь гасить фары дальнего света. Вскоре после того, как мы миновали Бабаэски, вдалеке показались мигавшие в темноте лиловые неоновые огни гостиницы «Семирамида». Я попросил Четина сбавить скорость, машина свернула перед заправкой, расположенной рядом (залаяла какая-то собака), и остановилась перед гостиницей. Сердце мое учащенно забилось, так как я втайне решил: то, о чем я мечтал восемь лет, осуществится именно здесь.

Трехэтажной, чистой, но ничем, кроме своего названия, не примечательной гостиницей ведал отставной сержант (на стене красовался его портрет при всем параде и оружии). Мы взяли по номеру для меня и Четина-эфенди и еще тете с Фюсун. Поднявшись к себе, я лег на кровать и почувствовал, что мне трудно заснуть,

сознавая, что рядом в номере находится Фюсун.

На первом этаже располагался маленький ресторан, и когда я спустился в него, увидел, что его зал, украшенный бархатными занавесками, как нельзя лучше подходит для маленького сюрприза, который я подготовил Фюсун. Она, словно в дорогой гостинице конца XIX века, на каком-нибудь престижном морском курорте в Европе, спустилась на ужин в ярко-красном платье: подправила макияж, подкрасила губы светло-розовой помадой, брызнула несколько капель подаренной мной туалетной воды «Le soleil noir», бутылочку от которой я потом сохранил в моем музее счастья. Яркий цвет платья подчеркивал ее красоту и блеск каштановых волос. Любопытные мальчишки и похотливые отцы семейств, которые возвращались с заработков из Германии, при ее появлении мгновенно замолчали и уставились на нее.

— Доченька, тебе так идет это платье! — сказала тетя. — Будет отлично в Париже. Но в дороге каждый вечер его не надевай.

Тетя Несибе посмотрела на меня, ища моей поддержки, но я не смог найти слова поддержки. Не только потому, что я сам хотел, чтобы Фюсун каждый вечер была в этом платье, которое делало столь неотразимой. .. Я вдруг почувствовал, счастье — совсем близко, но получить его невероятно трудно. Мне стало страшно, и слова не шли. По взгляду Фюсун, севшей напротив меня, было понятно, что она испытывает то же самое. Она неловко, как недавно пристрастившаяся школьница, закурила сигарету и по старой привычке выдыхала дым в сторону.

Пока мы рассматривали незатейливое меню ресторанчика, одобренное муниципалитетом Бабаэски, за нашим столиком воцарилась долгая, странная тишина, будто мы просматривали девять лет наших жизней, оставшиеся позади.

Потом подошел официант, я попросил большую бутылку «Новой ракы».

— Четин-эфенди, сегодня вечером ты тоже выпей с нами! — попросил я. — Тебе ведь не надо теперь везти меня после ужина домой.

— Хвала Всемилостивому! Долго вы ждали, Четин-бей, — улыбнулась тетя Несибе. Она бросила на меня взгляд: — Ведь любое сердце можно завоевать покорностью; нет крепости, которая бы не сдалась терпеливому, правда, Кемаль-бей?

Принесли ракы. Я налил Фюсун, как и всем, очень много и, пока наливал, смотрел ей в глаза. Мне нравилось, как она курила в тот момент. Всегда, когда она нервничала, она смотрела на кончик сигареты. Мы все, включая тетю, принялись пить ракы со льдом так жадно, будто поглощали целительный эликсир. Через некоторое время я наконец успокоился.

Мир ведь был прекрасен, а я точно сейчас это заметил. Теперь я хорошо знал, что до конца дней своих буду ласкать изящное тело Фюсун, что буду спать много лет на ее прекрасной груди, вдыхая ее прекрасный запах.

Я смотрел на мир другими глазами, и все вокруг казалось мне прекрасным, как всегда, когда я был счастлив в детстве, когда «нарочно» забывал о том, что делало меня счастливым: на стене висела красивая фотография Ататюрка, где он был изображен в шикарном фраке, рядом с ней — вид швейцарских Альп, дальше — пейзаж с мостом через Босфор и фотография Инге с милой улыбкой, которая пила свой лимонад девять лет назад. Настенные часы показывали двадцать минут десятого, а рядом с ними красовалась табличка с надписью: «Пары заселяются по предъявлении свидетельства о регистрации брака».

— Сегодня идут «Ветреные ложбины», — вспомнила о любимом сериале тетя Несибе. — Давай попросим, пусть включат телевизор...

— Еще есть время, мама.

В ресторан вошла пара иностранцев лет тридцати на вид. Все обернулись посмотреть на них: а они вежливо поздоровались только с нами. Кажется, это были

французы. В те годы в Турцию из Европы приезжало немного туристов — и большинство на машинах.

Когда настало время сериала, хозяин гостиницы с женой в платке и двумя дочерьми с непокрытыми головами — я видел, что одна из них работает на кухне, — включили телевизор и, сев к посетителям ресторана спиной, погрузились в молчаливое созерцание сериала.

— Кемаль-бей, вам с вашего места не видно, — заботливо сказала тетя Несибе.—Садитесь рядом с нами.

Я передвинул стул, сел в узком пространстве между Фюсун и тетушкой и тоже стал смотреть сериал «Ветреные ложбины», действие которого происходило на стамбульских улицах. Но не могу сказать, что понимал увиденное. Ведь обнаженная рука Фюсун с силой прижалась к моей! Верхняя часть моей левой руки, приклеившаяся к ее руке, казалось, горела. Глаза мои были обращены к экрану, но душа словно вошла в Фюсун.

Каким-то внутренним взглядом я видел ее шею, ее грудь, клубничного цвета соски, белизну живота. Фюсун все сильнее прижималась ко мне рукой. Я больше не интересовался, как она затушила сигарету в пепельнице с надписью «Подсолнечное масло „Батанай"», ни ее окурками, кончики которых окрасились в розовый от губной помады цвет.

Когда серия закончилась, телевизор выключили. Старшая дочь хозяина нашла по радио приятную, легкую музыку, которая, кажется, понравилась французам. Когда я переставлял стул на прежнее место, то чуть не упал. Выпил я немало. Фюсун тоже пропустила уже три стаканчика ракы.

— Мы забыли чокнуться, — заметил Четин-зфенди.

— Да, давайте чокнемся, — согласился я, поднимая стакан. — На самом деле пора устроить маленький праздник. Четин-эфенди, сейчас ты наденешь нам обручальные кольца.

Я вытащил коробочку с кольцами, которые купил за неделю до поездки, чтобы устроить сюрприз, и открыл ее.

— Вот это правильно, эфенди, — обрадовался Че-тин. — Без помолвки жениться нельзя. Ну-ка, протягивайте ваши пальцы.

Фюсун со смехом, но и с волнением вытянула свой.

— Обратного пути нет, — строго заметил Четин. — Я знаю, вы будете очень счастливы... Протягивай левую руку, Кемаль-бей.

Он мгновенно, не мешкая, надел нам кольца. Раздались аплодисменты. Французы за соседним столиком наблюдали за нами, и к ним присоединились еще несколько сонных посетителей. Фюсун мило улыбнулась всем вокруг и принялась рассматривать кольцо на пальце, будто только что выбрала его у ювелира.

— Подошло тебе, милая? — спросил я.

— Подошло, — она не скрывала радость.

— И очень тебе идет. -Да.

— Танец, танец! — потребовали французы.

— Да, ну-ка давайте! — поддержала их тетя Несибе. Приятная музыка по радио была то, что надо. Но мог

ли я устоять на ногах?

Мы с Фюсун одновременно встали. Я обнял ее за талию. От нее приятно пахло духами; я почувствовал у себя под пальцами ее талию и бедра.

Фюсун была трезвее меня, но не намного. Она смотрела с особенным чувством, и я хотел прошептать ей на ухо, как люблю ее, но почему-то не смог вымолвить ни слова. Через некоторое время мы сели на свои места. Французы опять нам похлопали.

— Я ухожу, — сказал Четин-эфенди. — Утром хочу проверить мотор. Мы ведь

рано уезжаем?

Вместе с Четином поднялась и тетя; если бы он не встал, она, может быть, посидела бы еще.

— Четин-эфенди, дай мне ключи от машины. — попросил я.

— Кемаль-бей, мы все сегодня вечером очень много выпили. Смотрите не вздумайте садиться за руль.

— Я забыл сумку в багажнике, у меня книги нет.

Он протянул мне ключи, а потом мгновенно подтянулся и отвесил мне чрезмерно уважительный поклон, как когда-то отцу.

— Мама, как мне забрать ключи от комнаты? — спохватилась Фюсун.

— Я не буду запирать дверь, — сказала тетя. — Откроешь и войдешь.

— Сейчас поднимусь за тобой и возьму.

— Не торопись. Ключ будет в двери, — успокоила ее тетя. — Я оставлю его в замке, а запирать не буду. Сможешь прийти, когда захочешь.

Тетя с Четином наконец ушли. Фюсун прятала от меня глаза, как невеста, которая осталась наедине с женихом, с которым ей предстоит провести вместе всю жизнь. Но я чувствовал, что это не обычная стыдливость. Мне захотелось коснуться Фюсун. Я протянул руку, чтобы дать ей прикурить сигарету.

— Ты собирался подняться к себе и читать книгу? — переспросила Фюсун.

Она сделала вид, что собирается вставать.

— Нет, дорогая, просто подумал, что мы можем покататься.

— Мы слишком много выпили, Кемаль, нельзя.

— Давай покатаемся.

— Иди наверх и ложись спать.

— Ты боишься, что я устрою аварию?

— Не боюсь.

— Тогда я возьму машину, мы скроемся на глухих дорогах и исчезнем за холмами, в лесах.

— Нет, иди наверх, ложись. Я встаю.

— Ты бросаешь меня одного за столом, в вечер нашей помолвки?

— Нет. Хорошо, еще немного посижу. На самом деле мне очень нравится здесь быть.

Французы из-за своего стола посматривали на нас. Не разговаривая, мы, должно быть, просидели около получаса. Иногда наши взгляды встречались, но мыслями мы были обращены в глубь нас самих. В кинотеатре моей памяти шел странный фильм, составленный из воспоминаний, страхов, желаний и многих других картинок, смысл которых я сам не очень хорошо понимал. Через некоторое время в кадр попала огромная муха, которая быстро ползла между нашими стаканами. Еще попадала моя рука и рука Фюсун с сигаретой, потом опять стаканы и французы. Я был сильно пьян и влюблен, но сознавал, как логичен этот фильм, и думал, как важно сказать миру, что у нас с Фюсун есть только любовь и счастье. Надо было очень быстро, пока муха ползла между стаканами, придумать, каким образом сообщить об этом всему миру. Я улыбнулся французам, и моя улыбка должна была свидетельствовать о том, как мы счастливы. Они улыбнулись нам в ответ.

— Ты тоже улыбнись им, — сказал я Фюсун.

— Хорошо, — она посмотрела на меня: — Что еще сделать? Танец живота станцевать?

Я забыл, что Фюсун тоже пьяна, и расстроился, приняв ее грубый тон всерьез. Но мое счастье не так-то просто было испортить. Я погрузился в такую глубину чувства, на которой пребывают очень пьяные люди, ощущая единство мира. Эту-то мысль и нес в себе фильм с мухой и воспоминаниями, крутившийся у меня в голове. Все, что я долгие годы чувствовал к Фюсун, все страдания, которые претерпел из-за

нее, вся хаотичность мира и его красота слились у меня в голове в единое целое, и это ощущение целостности и полноты казалось мне невероятно прекрасным и дарило глубокий покой. Между тем я никак не мог отделаться от во-проса, как мухе удается не запутываться с таким количеством ног. Затем она исчезла.

Я держал руку Фюсун в своей руке и понимал, что мое ощущение покоя и красоты передается от меня и ей. Как уставшее, покорившееся животное, ее прекрасная левая рука лежала под моей правой, поймавшей ее, накрывшей, грубо навалившившейся, словно пленившей. Целым мир, вся вселенная вместились в меня. В нас.

— Давай еще потанцуем! — предложил я.

— Нет...

— Почему?

— Мне не хочется! — сказала Фюсун. — Мне нравится просто сидеть, как сейчас.

Я улыбнулся, поняв, что она имеет в виду наши руки. Время словно остановилось, и мне казалось, будто мы сидим так уже много часов, хотя будто только что пришли. На мгновение я даже забыл, зачем мы здесь находимся. Потом, когда осмотрелся, увидел, что в ресторане никого, кроме нас, не осталось.

— Французы ушли.

— Они не французы, — возразила Фюсун.

— Откуда ты знаешь?

— По номерам их автомобиля. Они из Афин.

— Где ты видела их машину?

— Сейчас ресторан закроют, пойдем отсюда.

— Мы так хорошо сидим!

— Ты прав, — сказала она серьезно.

Мы еще какое-то время просидели, держась за руки.

Она правой рукой вытащила из пачки сигарету, ловко прикурила ее одной рукой и, улыбаясь мне, медленно выкурила до конца. Мне показалось, что это тоже длилось много часов. У меня в голове уже начался новый фильм, как вдруг Фюсун высвободила руку и встала. Я пошел за ней. Глядя на ее спину в красном платье, я очень аккуратно, ни разу не споткнувшись, поднялся по лестнице.

— Твой номер в другой стороне, — напомнила мне Фюсун.

— Сначала я доведу тебя до твоего номера. Передам матери.

— Нет, иди к себе, — прошептала она.

— Я расстроен. Ты мне не доверяешь. Как ты собираешься провести со мной всю жизнь?

— Не знаю, — шепнула она. — Давай, иди к себе.

— Какой прекрасный вечер, — мне не хотелось расставаться. — Я так счастлив. Поверь мне, отныне каждая минута нашей жизни будет такой.

Она увидела, что я приблизился к ней, чтобы поцеловать, и, опередив, обняла меня. Я поцеловал ее так крепко, как мог. Почти насильно. Мы целовались долго. На мгновение я открыл глаза и увидел в конце узкого темного коридора с низким потолком портрет Ата-тюрка. Помню, что между поцелуями умолял Фюсун прийти ко мне.

В одном из номеров раздался предупредительный кашель. Послышался шум ключа в замке. Фюсун вырвалась из моих рук и исчезла.

Я безнадежно смотрел туда, где только что была она. Потом пошел к себе в номер и, не раздеваясь, рухнул на постель.

78 Летняя гроза

В номере было не очень темно, свет от огней дороги на Эдирне и заправки попадал через окна. Кажется, вдалеке виднелся лес. Мне показалось, что где-то сверкнула молния. Мой разум был открыт всему миру, всему на свете.

Прошло много времени. В дверь постучали. Я встал открыть. Это была Фюсун.

— Мать заперла дверь, — сказала она.

Она пыталась разглядеть меня в темноте. Взяв за руку, я втянул ее в комнату. Мы легли в одежде на кровать, и. обняв, я прижал ее к себе. Она прильнула, как испуганный котенок, уткнувшись лицом. И обняла с такой силой, будто от этого зависело, будем ли мы счастливы. Казалось, что если я ее немедленно не поцелую, как сказочную принцессу, мы оба умрем. Мы долго и страстно целовались, пытались стащить с нее измятое красное платье и вдруг, застеснявшись скрипучего пружинного матраса, остановились; меня сильно возбудили ее волосы, упавшие мне на грудь и на лицо.

От большого количества выпитого, от волнения и напряжения я замечал лишь отдельные мгновения, и не сразу, а лишь только много времени спустя после того, как их проживал. То, чего я ждал столько лет, стремление отныне начать жить, не теряя ни секунды, невероятность самого счастья в этом мире, удовольствие, которое мне полагалось получать от физического соития, все то неповторимое, что, блеснув, тут же исчезало, — перемешалось и сложилось в одну картину. Казалось, происходившее со мной было вне моего контроля, но, будто во сне, я полагал, что могу все это проживать так, как мне хочется, и управлять этим.

Помню, мы оказались под простыней, а моя кожа пылала, касаясь ее. Я очарованно заметил, что сейчас переживаю многие воспоминания о наших ласках девятилетней давности, о которых я забыл и даже не знал, что забыл. Желание счастья, на много лет задавленное во мне, соединилось с чувством победы и радостью—я добился, чего хотел (даже обхватил ее соски своими губами!), — и придало четкость всему, что я переживал, смешав мгновения и удовольствия. Размышляя о том, что я ее наконец заполучил, с восхищением и нежностью воспринимал все, что Фюсун делала: каждый ее любовный стон, то, как по-детски она обняла меня, как на мгновение блеснула ее бархатистая кожа. Хорошо помню один бесподобный момент: Фюсун села ко мне на колени, и в свете от фар приближавшегося с грохотом грузовика (глубокий и сильный гул его усталого мотора вторил нам) мы радостно заглянули друг другу в глаза. Потом на улице неожиданно поднялся сильный ветер, все задрожало, послышалось, что где-то поблизости хлопнула дверь, листья деревьев за окном зашелестели, будто хотели прошептать нам свои тайны. Фиолетовая молния, сверкнувшая вдалеке, на мгновение озарила комнату.

Пока мы все с большей страстью любили друг друга, наше прошлое, наше будущее, наши воспоминания и быстро нараставшее удовольствие сливались в одно целое. Пытаясь сдерживать крики, мы, обливаясь потом, «дошли до конца». Я был доволен всем: миром, своей жизнью. Все было прекрасно и наполнено смыслом. Фюсун сильно обняла меня, положила голову мне на плечо, и, вдыхая ее прекрасный аромат, я заснул.

Много времени спустя во сне я увидел несколько картин счастья. Во сне я видел море, оно было, как в детстве, ярко-синего цвета. Воспоминания о счастливом времени... Я катаюсь на лодке, несусь куда-то на водных лыжах, мы отправляемся на рыбалку летним вечером, лето в Суадие. Предвкушение нового счастья наполнило меня приятным нетерпением. Морские волны в моем сне будто бы подстегивали его, напоминая о предвкушении счастья, как в начале каждого лета. Между тем над нами поплыли ватные белые облака, одно из них почему-то оказалось похоже на моего отца; потом я увидел корабль в океане, тонувший во время бури, несколько черно-белых картинок, словно из детских комиксов, какие-то еще неясные фрагменты

прошлого и воспоминания — темные, пугающие. Они были приятны, словно забытые, вновь найденные фотографии. Перед глазами проплыли виды Стамбула, как в старых турецких фильмах, его улицы под снегом, запечатлевшиеся на черно-белых открытках.

Сон учил меня никогда не забывать о счастье и жить с удовольствием, наслаждаясь этим миром.

Затем задул сильный ветер, и все картины исчезли. У меня замерзла мокрая от пота спина. От листьев акаций с улицы, казалось, струился свет, они продолжали шелестеть на ветру. Ветер усилился, и шорох листьев превратился в угрожающий гул. Затем долго гремел гром. Он был таким сильным, что я проснулся.

— Я так хорошо спала, — Фюсун поцеловала меня.

— Долго я спал?

— Не знаю, я тоже недавно проснулась от грома.

— Ты испугалась? — спросил я, обнял ее и притянул к себе.

— Нет, не испугалась.

— Сейчас пойдет дождь...

Она положила голову мне на грудь. В темноте мы долго смотрели в окно. Покрытое тучами небо то и дело освещалось розовато-лиловыми вспышками молний. Автобусы и грузовики продолжали ехать по дороге Стамбул-Эдирне как ни в чем не бывало, не замечая бушующей бури, но мы ее прекрасно видели.

Прежде чем шум проезжавших автомобилей становился слышен, в комнату попадал свет их фар и, беззвучно увеличиваясь на стене справа от нас, ярко освещал все предметы и нас, а когда слышался шум самой машины, свет менял форму и исчезал.

Мы не двигались, лишь иногда целовались. А потом опять смотрели на игры света и теней. Наши ноги под простыней лежали рядом, как привыкшие друг к другу супружеские пары.

Потом начали ласкать друг друга — сначала нежно, внимательно, как бы заново открывая друг друга для себя. Теперь мы были далеки от первой пьянящей страсти и любовное действо было прекрасней и осмысленней. Я долго целовал ее грудь, ее ароматную шею. Помню, в годы ранней молодости, заметив, как трудно противиться физическому желанию, я с некоторым изумлением и очарованием подумал, что, если человек женат на красивой женщине, он с утра до вечера будет заниматься с ней любовью и больше ни на что у него времени не хватит. Та же наивная, ребяческая мысль пришла мне в голову и теперь. Перед нами простиралось безграничное Время. Мир был, оказывается, совсем близко от рая, но в сумраке жизни это сразу не заметишь.

В сильном свете фар очередного автобуса я увидел роскошные, манящие губы Фюсун, а по ее лицу было видно, как она сейчас далека от обычного мира. Когда огни исчезли, я долгое время вспоминал это ее выражение. Потом целовал живот Фюсун. На дороге то и дело воцарялась тишина. И тогда мы слышали где-то очень близко стрекот цикад. А еще, кажется, квакали лягушки, а может, я просто слышал скрытые голоса мира всякий раз, когда прикасался к Фюсун, — шорох от корней травы, глубокий неясный гул, идущий из недр земли, неясное дыхание природы, которого раньше никогда не замечал. Я долго целовал ее живот, бродил губами по ее бархатистому телу. Иногда подымал голову, как морская рыба, которая ныряет в глубины и радостно выныривает обратно, и в постоянно меняющемся свете старался поймать взгляд Фюсун. Помню, еще был комар, который сел мне на спину и кусал меня, иногда мы слышали его писк.

Мы долго занимались любовью, наслаждаясь открытием друг друга. Радостные находки нового знакомства навсегда записывались и систематизировалась где-то у меня в сознании:

1. Огромное удовольствие заключалось в том, что я с удивлением лицезрел некоторые свойственные Фю-сун привычки, о которых узнал девять лет назад, когда мы с ней встречались в течение сорока двух дней. В течение девяти лет я часто вспоминал, воображал и очень хотел вновь увидеть: ее стоны, выражение невинности на ее лице и нежный взгляд — а бывало, что она тревожно хмурила брови, — и, когда крепко сжимал ее, пока наши тела совершали механические движения, ту особую гармонию, что составляли разные части наших тел, например губы, раскрывавшиеся друг другу во время поцелуя, словно распускающийся цветок.

2. О многих мелких деталях я, оказывается, забыл и поэтому не фантазировал, а теперь, вновь увидев их, вспомнил обо всем и был поражен, например, тем, как она держала меня за запястье. Я забыл о родинке в верхней части спины, почти на плече (остальные были там, где я помнил); о том, как туманится ее взгляд в самый приятный момент, или как она, подходя к пику, сосредоточенно и в то же время отстраненно смотрит на какой-нибудь маленький предмет (например, на часы на тумбочке или на трубу под потолком); о том, что сначала она крепко обнимала меня, но потом постепенно ослабляла хватку, а я начинал думать, что она отдаляется от меня, но потом обхватывала меня еще сильнее. Я вспомнил обо всем этом за одну ночь. Все, что я забыл, все ее движения и привычки, наши любовные объятия, превратившиеся для меня в годы пребывания порознь в далекую от реальности фантазию, теперь мгновенно обрели реальные черты, свойственные этому миру.

3. У Фюсун появились некоторые новые движения, которых раньше я у нее не наблюдал. Они удивляли меня, волновали и вызывали ревность. Например, она впивалась мне ногтями в спину; иногда неожиданно останавливалась, получая удовольствие от паузы; была погружена в собственные мысли, будто оценивала, как она наслаждается; внезапно замирала, будто засыпала; решительно кусала меня за плечо или за руку, словно хотела сделать мне больно. Все это напоминало мне, что нынешняя Фюсун — другая, не та, что прежде. Правда, за наши сорок два дня она ни разу не оставалась со мною на ночь; нынешняя ситуация была совершенно новой для нас, и, может быть, поэтому я и находил столь много нового. Однако иногда она совершала резкие движения, как бы внезапно отступая в своих мыслях, и в этом чувствовалась какая-то раздражительность, которая беспокоила и пугала меня.

4. Теперь она стала совершенно другой. Внутри этого нового человека жила прежняя Фюсун, с которой я познакомился, когда ей было восемнадцать лет, но прошедшие годы, как кора дерева, скрыли ее под собой. Но я больше любил эту новую Фюсун, лежавшую теперь рядом со мной, чем ту юную девушку, которую узнал много лет назад. Я был доволен, что прошли все эти годы, что мы оба стали взрослее, мудрее и опытнее.

Прогремел гром, и полил дождь. Стук огромных капель дождя доносился как будто из глубины. Слушая летнюю грозу, мы обняли друг друга. Я, наверное, заснул. Когда проснулся, гроза уже прошла. Фюсун рядом не было. Она стояла у кровати, надевая красное платье.

— Ты идешь к себе? — спросил я. — Не уходи, пожалуйста.

— Я пойду поищу бутылку воды, — сказала она. — Мы слишком много выпили. Ужасно хочется пить.

— Мне тоже. Сядь, я схожу вниз, возьму там, в ресторане.

Но пока я вставал, она беззвучно открыла дверь и ушла. Я лег, ожидая, что скоро Фюсун вернется, и опять заснул.

79 Дорога в другой мир

Прошло много времени, но Фюсун так и не вернулась. Решив, что она ушла к матери, я встал, открыл окно и закурил. Еще не рассвело, и только откуда-то лился

неясный свет. Из окна доносился запах намокшей земли. Неоновые огни заправки и свет вывески гостиницы отражались в лужах у бетонных бордюров асфальтовой дороги и в бампере нашего «шевроле», припаркованного рядом.

Я увидел, что перед рестораном, в котором мы вечером ужинали и где состоялась наша помолвка, разбит маленький сад, выходивший на дорогу. В нем стояли скамейки с подушками, все их намочил дождь. На одной из скамеек, в свете гирлянды, обмотанной вокруг смоковницы, сидела Фюсун — вполоборота ко мне, курила и ждала восхода.

Я тут же оделся и спустился во двор.

— Доброе утро, моя красавица, — прошептал я.

Она ничего не ответила, погруженная в свои мысли, а только очень грустно покачала головой. На стуле рядом со скамейкой я увидел стакан ракы.

— Я увидела недопитую бутылку, когда брала воду, — сказала она.

На ее лице на мгновение появилось выражение, как у покойного Тарыка-бея.

— Что делать, как не пить в самое прекрасное утро на земле? — улыбнулся я ей. — В дороге будет жарко, в машине будем целый день спать. Могу ли сесть рядом с вами, маленькая ханым?

— Я больше не маленькая ханым.

Ничего не ответив, я тихонько сел рядом с ней и, глядя на пейзаж перед нами, взял ее за руку, будто мы были в кинотеатре «Сарай».

Мы долго смотрели, как постепенно освещается земля. Вдалеке еще сверкали лиловые молнии; рыжеватые облака где-то поливали дождем Балканы. С шумом мимо нас промчался междугородний автобус. Мы проводили взглядом задние красные габаритные огни, пока он не скрылся из виду.

Бездомный пес, приветливо виляя хвостом, медленно подошел к нам от заправки. В нем не было ничего примечательного. Он обнюхал сначала меня, потом Фюсун и прислонился носом к ее коленям.

— Ты ему понравилась, — заметил я. Но Фюсун никак не отреагировала.

— Когда мы вчера сюда подъехали, он лаял, — продолжал я. — Ты не заметила? Когда-то у вас на телевизоре стоял точно такой же пес. Только фарфоровый.

— Ты и его украл.

— Нельзя так говорить, что украл. Ведь об этом знали мы все, и твоя мать, и отец, с первого года.

— Да.

— И что они говорили?

— Ничего. Отец расстраивался. Мать вела себя так, будто ничего не происходит. А я мечтала стать кинозвездой.

— Станешь.

— Кемаль, эти последние слова — ложь, и ты сам прекрасно это знаешь, — остановила она меня. — На это я действительно обижаюсь. Ты так легко врешь.

— Почему?

— Ты знаешь, что никогда не позволишь мне стать актрисой. Да это теперь и не нужно.

— Почему? Если ты действительно этого хочешь, то можно.

— Я хотела много лет, Кемаль. И ты это прекрасно знаешь.

Собака попыталась встать лапами на колени Фюсун.

— Совсем как тот фарфоровый пес. И с такими же черными ушами, — заметил я.

— Что ты делал со всеми статуэтками, расческами, часами, сигаретами, со всем?

Я слегка разозлился:

— Они мне помогали. Сейчас вся эта большая коллекция хранится в «Доме

милосердия». И так как тебя я совершенно не стесняюсь, красавица моя, то, когда мы вернемся в Стамбул, покажу ее тебе.

Она улыбнулась. Мне показалось, что с нежностью, но и чуть насмешливо, чего моя история вполне заслуживала.

— Ты опять хочешь водить меня на холостяцкую квартиру? — спросила она потом.

— Теперь это не нужно, — повторил я ее слова, еще больше разозлившись.

— И то правда. Вчера вечером ты меня обманул. Взял самое большое мое богатство до свадьбы. Овладел мной. После этого такие как ты не женятся.

— Да уж, — сказал я наполовину зло, наполовину в шутку. — Я ждал этого девять лет, страдал. Зачем мне теперь жениться?

Но мы еще продолжали держаться за руки. Я решил мило закончить эту игру, пока она не перестала быть забавной, и изо всех сил поцеловал ее в губы. Фюсун сначала отвечала мне, а потом отвернулась и встала.

— На самом деле мне хотелось тебя убить, — произнесла она.

— Конечно! Ты же знаешь, как я тебя люблю.

Я не понял, услышала она эти мои слова или нет. Рассерженная, обиженная, тяжело ступая в своих туфлях на высоких каблуках, моя пьяная красавица уходила от меня прочь.

В гостиницу она не пошла. Пес направился за ней. Они вышли на шоссе и отправились в сторону Эдирне: Фюсун впереди, пес сзади. Я допил ракы, оставшуюся на дне (о чем я мечтал много лет). Долго смотрел им вслед. Дорога на Эдирне была, казалось, совершенно прямой и уходила в бесконечность, и так как, по мере того как светало, красное платье Фюсун делалось лучше видно, я решил, что не потеряю ее из виду.

Но через некоторое время до меня перестал доноситься звук ее шагов, а вскоре скрылось из виду красное пятнышко Фюсун, шагавшей по дороге к горизонту, чем часто кончались фильмы киностудии «Йешильчам», я забеспокоился.

Через некоторое время красное пятнышко показалось опять. Она продолжала идти прочь, моя сердитая красавица. Во мне поднялась невероятная нежность. Оставшуюся часть жизни нам предстояло провести, предаваясь нежностям и ссорясь, как только что. И все-таки мне хотелось поменьше ссориться с ней, попросить у нее сейчас прощения, сделать ее счастливой.

Поток транспорта на шоссе Стамбул-Эдирне увеличивался. К красивой женщине в красном платье, которая идет по обочине, будут приставать все. Я сел в «шевроле» и поехал за ней, пока дело не приняло серьезный оборот.

Через полтора километра под платаном я увидел пса. Он был один. Сердце у меня екнуло. Я притормозил.

Вокруг дороги были сады, поля подсолнухов, дома маленьких ферм. На огромном рекламном щите красовалась надпись: «Помидоры „Царство вкуса"». Центр одной из букв «о» стал мишенью, по которой, видимо, на ходу, палили заскучавшие водители, понаделав в нем дырок.

Через минуту я увидел на горизонте красное пятно и рассмеялся от облегчения. Приблизившись к ней, я сбавил скорость. Она шла по правой обочине шоссе, все еще сердитая и обиженная. Увидев меня, не остановилась. Я потянулся и на ходу открыл правое окно машины.

— Дорогая, хватит уже! Садись в машину, вернемся в гостиницу, мы опаздываем.

Но она не ответила.

— Фюсун, поверь, сегодня нам очень далеко ехать.

— Я никуда не еду, а вы пожалуйста, — сказала она, как капризный ребенок, и не замедлила шаг.

Я старался ехать с той же скоростью, с какой она шла, и обращался к ней с водительского сиденья.

— Фюсун, дорогая, посмотри, как прекрасна земля, как прекрасен мир вокруг, — взывал я к ее чувству. — Совершенно незачем сердиться, ссориться и отравлять жизнь.

— Ты ничего не понимаешь.

— Чего это я не понимаю?

— Из-за тебя я не смогла жить так, как хотела, Ке-маль, — лицо ее помрачнело. — Я ведь очень хотела стать актрисой.

— Прости меня.

— Что значит «Прости меня?»?! — зло крикнула Фюсун.

Иногда я ехал быстрее, чем она шла, и было плохо слышно.

— Прости меня, — прокричал я еще раз, решив, что она меня не поняла.

— Вы с Феридуном специально не давали мне сняться в кино. За это ты просишь прощения?

— Ты хотела стать такой, как Папатья? Как все эти пьяные дамы из «Копирки»? Ты в самом деле этого хотела?

— А мы и так все время пьяные, — кричала она. — К тому же я бы никогда не превратилась в таких, как они. Но вы оба все время держали меня дома, потому что ревновали и думали, что я стану известной и брошу вас.

— Знаешь, Фюсун... Ты сама всегда боялась вступить на тот путь без поддержки сильного мужчины...

— Что?! — Я почувствовал, что эти слова ее взбесили не на шутку.

— Дорогая, хватит. Садись в машину. Вечером, когда выпьем, будем ссориться опять, — поспешил я сгладить ситуацию. — Я очень, очень тебя люблю. Нас ждет прекрасная жизнь. Садись скорей в машину.

— У меня одно условие! — произнесла она с видом капризной маленькой девочки, совсем как много лет назад, когда попросила, чтобы я принес ее детский велосипед.

— Да?

— Машину поведу я.

— В Болгарии дорожная полиция берет еще больше взяток, чем наша. У них много приемов, говорят.

— Нет-нет, — сказала она. — Я хочу только сейчас, до гостиницы.

Я сразу остановил машину, открыл дверь и вышел. Поймав ее у капота машины, я крепко поцеловал Фюсун. Она тоже изо всех сил обняла меня, так что я почувствовал ее упругую грудь и потерял голову.

Она села на водительское сиденье. Внимательно завела машину, что напомнило мне наши уроки в Парке Йылдыз, и, сняв с ручного тормоза, прекрасно тронулась с места. Локтем левой руки она оперлась об открытое окно, совсем как Грейс Келли в фильме «Поймать вора».

В поисках места, чтобы развернуться, мы медленно ехали вперед. Она собралась в один прием повернуть на перекрестке грязной деревенской улицы и шоссе, но не справилась, и машина, вздрогнув, заглохла.

— Следи за сцеплением! — посоветовал я.

— Ты даже мои сережки не заметил, — парировала она.

— Какие сережки?

Она завела машину, мы возвращались.

— Не надо так быстро! — попросил я. — Какие сережки?

— У меня в ушах, — глухо пробормотала она, будто после наркоза.

Я увидел на ней те самые сережки, одна из которых потерялась, когда я впервые пришел в Чукурджу-му. Были ли они на ней, когда мы занимались любовью?

Почему я этого не заметил?

Машина ехала очень быстро.

— Сбавь газ! — крикнул я, но она нажала на педаль до конца.

Вдалеке на дорогу вышел тот самый пес. Он словно бы узнал Фюсун и машину. Мне хотелось, чтобы пес заметил, что скорость увеличивается, и отошел, но он этого не сделал.

Мы неслись на бешеной скорости, которая с каждым мигом росла. Фюсун стала отчаянно сигналить псу.

Мы вильнули вправо, потом влево, но собака по-прежнему стояла посредине вдалеке. Ускоряясь, машина помчалась по идеально прямой траектории, как парусник, который несется по волнам, когда дует попутный ветер. Только наша линия слегка выходила за пределы дороги, и мы на полной скорости приближались не к гостинице, а к платану, стоящему впереди у обочины. Я понял, что аварии не избежать.

И тогда всем сердцем ощутил, что обретенное мною счастье сейчас закончится, что наступило время покинуть этот прекрасный мир. Мы мчались к платану. Именно Фюсун обрекла нас на такой финал. И я не видел другого возможного для себя будущего, кроме такого, как и у нее. Куда бы мы ни шли, мы должны быть вместе, пусть счастье в этом мире мы и упустили. Мне было нестерпимо жаль, но теперь казалось, что такой финал предрешен.

И все равно у меня автоматически вырвалось: «Осто-рожно-о-о!», будто Фюсун сама не понимала того, что происходит. Она была, конечно, пьяна, но не настолько, чтобы не справиться с управлением. А я кричал, словно в кошмарном сне, когда ХОТят проснуться, вернуться в обычную прекрасную жизнь. На скорости сто пять километров в час она направила машину к сто-Пятилетнему платану, прекрасно сознавая, что делает. Я понял—это конец.

Старенький отцовский «шевроле» 56-й модели, прослуживший четверть века, на полной скорости влетел в дерево, росшее у дороги. По случайности поле с подсолнухами и дом посреди него, расположенные за платаном, оказались той самой крохотной фабрикой «Ба-танай», масло которой Кескины употребляли много лет. Мы с Фюсун заметили это лишь за мгновение до удара.

Много месяцев спустя, когда я разыскал «шевроле» на свалке и касался каждой из его частей, и сны, мучившие меня после катастрофы, впоследствии напомнили мне, что сразу после удара мы с Фюсун посмотрели друг другу в глаза.

Понимая, что умирает, она этим взглядом, длившимся две-три секунды, умоляла меня спасти ее, взывала, что не хочет умирать, что привязана к жизни до последней минуты. А так как я тоже считал, что умираю, только улыбнулся моей прекрасной невесте, моей единственной любви, радуясь, что мы вместе отправляемся в другой мир.

О том, что произошло, я узнал потом, много месяцев проведя в больнице, со слов знакомых, из полицейских отчетов, от свидетелей аварии, которых разыскал.

Фюсун умерла через шесть или семь минут после удара, ее зажало обломками автомобиля, а руль вошел ей в грудь. Она сильно ударилась головой о лобовое стекло. (В те годы в Турции еще не существовало привычки пристегиваться ремнем безопасности в машинах.) Согласно полицейскому отчету, который хранится в Музее Невинности, у нее был размозжен череп, задет мозг, чудесными способностями которого я всегда восхищался, и тяжело травмирована шея. Кроме сломанной грудины и осколков стекла в голове, ни в ее прекрасном теле, ни в ее грустных глазах, ни в чудесных губах, ни в розовом язычке, ни в бархатистых щеках, ни в крепких плечах, ни в шее, ни в подбородке, ни в шелковистом животе, ни в длинных ногах, ни в стопах, которые почему-то всегда меня смешили, ни в длинных, тоненьких медового цвета руках, ни в родинках и крохотных каштановых волосках по всему телу, ни в

округлых ягодицах, ни в душе, рядом с которой мне хотелось быть всегда, никаких повреждений не было.

80 После

О прошедших после этого двадцати с лишним годах мне хочется рассказать не затягивая и закончить мою историю. Сидя за рулем, я открыл окно, чтобы разговаривать с Фюсун, и перед столкновением случайно высунул в него руку, поэтому меня быстро вытащили из машины. От удара в мозгу случилось кровоизлияние, в мозговой ткани были прорывы, я впал в кому. «Скорая помощь» привезла меня в Стамбул, в больницу медицинского факультета Чала, на аппарат искусственного дыхания.

Первый месяц я пролежал с трубкой во рту в отделении интенсивной терапии. Совершенно не мог говорить, слова не приходили в голову, мир застыл. Никогда не забуду, как меня навещали мама и Беррин с заплаканными глазами. Даже Осман проявлял нежность, но все равно на его лице было написано: «Я тебе говорил!» Сотрудники «Сат-Сата» вели себя очень уважительно и даже сочувственно.

Друзья—Заим, Тайфун, Мехмед—тоже приходили, но, как Осман, смотрели на меня с укором и грустью, ведь в полицейском отчете написали, что авария произошла по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения (о собаке никто не знал), а газеты аварию раздули, осудив во всем нас.

Через полгода мне прописали восстановительную терапию: я должен был учиться ходить. Это точно начать жить заново. И все время думал о Фюсун. Но теперь мои мысли касались не будущего и не прежних желаний. Фюсун постепенно превращалась в мечту из прошлого и воспоминаний. Это меня очень расстраивало, но теперь я не страдал из-за нее, а вызывал жалость сам. Именно в то время, размышляя о воспоминаниях, о боли и смысле утраты, я решил создать музей.

В качестве утешения прочитал книги Пруста и Мон-теня. Ужинали мы теперь вдвоем с матерью, и я, сидя перед желтым кувшином, который купил после встречи с Фюсун много лет назад, задумчиво смотрел в телевизор. Мать считала гибель Фюсун чем-то схожей со смертью моего отца. Так как мы оба потеряли любимых людей, то позволяли себе грустить вдвоем. К тому же причиной обеих смертей в известном смысле стали стаканы с мутной ракы, а еще—иные миры, которые живут в душе человека, и то, что иногда, не удержавшись, эти миры вырываются наружу. Второе матери не нравилось, а мне хотелось говорить об этом постоянно.

В первые месяцы после выписки из больницы это желание просыпалось во мне, когда я приходил в «Дом милосердия» и, сев на кровать, на которой мы с Фюсун любили друг друга, курил, глядя на окружавшие меня вещи. Я чувствовал, что, если смогу рассказать о своей истории, боль станет легче. Для этого надо показать коллекцию людям.

Мне очень хотелось увидеть Заима, мне не хватало его дружбы. Но в январе 1985 года я услышал от Хиль-ми, что Заим с Сибель очень счастливы и у них скоро родится ребенок. Хильми рассказал мне и о том, что Сибель из-за какого-то пустяка порвала дружбу с Нурджи-хан. Я не ходил в новые рестораны и клубы, где бывали люди, которые собирались в «Фойе» и «Гараже», ведь пережитое было очень важным и не хотелось, чтобы все смотрели на меня, как на сломавшегося неудачника, как я читал по взглядам знакомых и близких. Когда я в первый и последний раз пошел в новый «Подсвечник», то, чтобы казаться благополучным, вел себя нарочито весело, хохотал, шутил, долго беседовал с официантом Тай-яром, перешедшим туда из «Копирки», чем дал всем повод к сплетням на тему «наконец он избавился от этой девицы».

Однажды в Нишанташи я встретил Мехмеда, и мы договорились как-нибудь

поужинать вдвоем на Босфоре. Босфорские рестораны теперь перестали быть особыми местами, куда ходили по случаю, и превратились в повседневные заведения. Мехмед, угадав мое любопытство, сообщил, что делают мои старые друзья. Он рассказал, как вместе с Нурджихан, Тайфуном и его женой Фиген они ездили на Улудаг; что Фарук, у которого были валютные долги (тот самый, кого мы с Фюсун встретили на пляже в Сарыйер) после инфляции вовсе обанкротился, но так как набрал в банках денег, его банкротство отсрочили; что с Заимом и Сибель они не видятся только потому, что Сибель разругалась с Нурджихан, хотя они с Заимом не ссорились. Я не стал спрашивать, почему это произошло, но он сам сказал мне, что Сибель начала считать Нурджихан слишком строгой, смеялась над ней, что та ходит слушать старинную турецкую музыку, исполнителей вроде Мюзейен Сенар и Зеки Мюрена, что она постится («Нурджихан постится?» — с улыбкой переспросил я). Я сразу почувствовал, что главная причина размолвки двух давних подруг была в другом. Мехмед решил, что я хочу вернуться в свой прежний мир, но оказался не совсем прав. Ведь через полгода после гибели Фюсун я четко понял, что вступить еще раз в бегущую воду былого не смогу.

Выпив, Мехмед признался мне, что теперь, после рождения ребенка, не находит Нурджихан такой привлекательной, как раньше, хотя по-прежнему крепко любит и уважает ее (при этом сейчас второе чувство стало важнее). Да, он пережил с ней бурную страсть, женился, но, когда родился ребенок, все вернулось на свои места, а Мехмед вспомнил о старых привычках. Иногда он ходил в увеселительные заведения один. Порой они бывали где-нибудь вместе с Нурджихан, оставив ребенка свекрови. Чтобы развлечь, Мехмед водил меня в новые районы города, стараясь показать мне все новые заведения для богачей.

Как-то раз вечером к нам присоединилась Нурджихан, и мы отправились в большой район, появившийся за год на окраинах Этилер. где ели какую-то непонятную еду, подаваемую под видом американской кухни. Нурджихан не говорила о Сибель и не стала спрашивать о том, как я себя чувствую после гибели Фюсун. Она сказала только одно, задев меня за живое: что чувствует, однажды я буду очень счастливым. Ее слова с большей силой заставили меня почувствовать, что теперь возможность счастья закрыта для меня навсегда. Мехмед был прежним Мехмедом, а Нурджихан изменилась, я видел ее будто впервые, словно и не было у нас общих воспоминаний о молодости. Однако списал впечатление на атмосферу странного ресторана, где мы ужинали, и на новый район, который мне совершенно не нравился.

Эти странные новые улицы и бетонные кварталы Стамбула, возникавшие каждый день, усиливали чувство, возникшее у меня, как только я вышел из больницы,— что после смерти Фюсун Стамбул стал другим. Наверное, именно больше всего благодаря этому чувству я впоследствии много лет посвятил длительным путешествиям.

Старый, любимый мной город возвращался, когда я навещал тетю Несибе. Во время первых моих визитов мы все время плакали, но однажды она прямо сказала мне, что я могу подняться и посмотреть комнату Фюсун, взять все, что мне хочется.

Прежде чем пойти наверх, я подошел к клетке Лимона и поменял ему водичку, подсыпал зерна (так мы поступали вместе с Фюсун). А тетушка начинала плакать всякий раз, когда вспоминала, что мы делали вечерами за ужином, о чем говорили, когда смотрели телевизор, что делили, что пережили восемь лет за этим столом.

Слезы... Долгие паузы... Так как нам обоим было очень тяжело, я старался как можно быстрее подняться в комнату Фюсун. Я ходил пешком из Бейоглу в Чу-курджуму раз в две недели; мы с тетей Несибе ужинали, молча смотрели телевизор, стараясь не говорить о Фюсун, я занимался Лимоном, который старел и все меньше пел, каждый раз разглядывал рисунки птиц; ходил наверх в ее комнату под предлогом того, что мне нужно в ванную помыть руки; с бьющимся сердцем

переступал порог заветного мира, открывал шкафы, выдвигал ящики, рассматривал лежащие там вещи.

Расчески, щетки для волос, зеркальца, брошки в форме бабочек, сережки — все, что я много лет дарил ей, Фюсун хранила в ящиках маленького шкафа. Когда я находил в ящиках носовые платки, о которых уже забыл, чулки, выигранные в лото, деревянные пуговицы, которые, как я считал, мы тогда купили для ее матери, заколки (и игрушечный «мустанг» Тургай-бея), все мои любовные письма, которые я передавал ей через Джейду, то чувствовал невероятную душевную усталость и не мог находиться там, перед ящиками Фюсун, где жил ее запах, больше получаса. Иногда садился на кровать и переводил дух за сигаретой, иногда, чтобы не заплакать, смотрел на улицу с одного из балконов, откуда она рисовала птиц, а иногда уносил с собой пару чулок или одну из заколок.

Теперь я понимал, что нужно собрать все вещи, связанные с Фюсун, включая те, которые у меня уже хранились в «Доме милосердия», и те, что лежали в комнате Фюсун и вообще в ее доме, где-нибудь в одном месте, но не знал, где именно. Исчерпывающий ответ на свой вопрос я получил только в путешествиях по всему миру, когда начал бывать в маленьких музеях.

Снежным вечером зимой 1986 года, после ужина, опять рассматривая все украшения и заколки Фюсун, в маленькой коробочке я заметил сережки с бабочками, в виде буквы «Ф», которые были на ней в момент аварии. Я взял их и спустился вниз.

— Тетя Несибе, этих сережек среди украшений Фюсун раньше не было, — сказал я.

— Милый Кемаль, я спрятала от тебя все, что в тот день было на ней, ее красное платье, туфли и сережки, чтобы ты не расстраивался. А теперь решила положить на место, а ты сразу и заметил.

— На ней были обе сережки?

— В тот вечер, прежде чем пойти к тебе, девочка моя пришла к нам в номер и, наверное, собиралась лечь спать. Но внезапно достала их и надела. Я делала вид, что сплю, и следила за ней. Когда она выходила из номера, я голоса не подала. Хотела, чтобы вы были счастливы.

Я не стал уточнять, что Фюсун тогда сказала мне другое. И как я не заметил на ней сережки, когда она пришла ко мне? Я спросил еще:

— Тетя Несибе, много лет назад я рассказывал вам, что оставил одну из этих сережек наверху в ванной перед зеркалом, когда в первый раз пришел к вам. И тогда спросил вас: «Знаете ли вы о ней?»

— И ведать не ведала, сынок. Не напоминай мне об этом, а то опять заплачу. Она только хотела надеть какие-то серьги в Париже, говорила о том, что хочет сделать тебе сюрприз, но какие именно, не знаю. И в Париж так хотела поехать моя девочка...

Тетя Несибе опять заплакала. Потом извинилась за слезы.

На следующий день я забронировал номер в парижской гостинице «Отель дю Норд». Вечером сообщил об этом матери, сказал, что путешествие пойдет мне на пользу.

— Вот и хорошо, — обрадовалась мать. — Займись немного делами, «Сат-Сатом». Чтобы Осман вообще не прибрал все к рукам.

81 Музей Невинности

Я не сказал матери, что отправляюсь в Париже не по работе. Ведь если бы она спросила меня, зачем мне туда ехать, дать точный ответ я не смог бы. Да и сам не хотел знать, зачем это все. По пути в аэропорт мне казалось, что мое путешествие — навязчивая идея, вызванная тем, что я не заметил сережки Фюсун и хочу искупить

свой грех.

Но в самолете мне стало понятно: я отправился в путь и для того, чтобы забыть, и для того, чтобы помечтать. Каждый уголок Стамбула был полон знаков, напоминавших мне ее. Когда самолет еще только взлетал, я заметил, что за пределами города могу думать о Фюсун и о моей истории как о чем-то цельном. Оставаясь же в Стамбуле, видел его как бы изнутри своей неотступной страсти; а в самолете вся история представала как бы со стороны.

То же глубокое утешение я испытал, когда бродил по парижским музеям. Я говорю не о многолюдных и помпезных местах, вроде Лувра или Бобура, а о крохотных музейчиках, часто возникавших передо мной в Париже, о коллекциях, которые мало кто приходил смотреть. Когда я оказывался в таких местах, как Музей Эдит Пиаф, который создал один ее поклонник, куда можно было попасть только по предварительной записи (там я увидел щетки для волос, расчески, плюшевых медведей); Музей полиции, где я провел целый день, или Музей Жакмар-Андре, где красиво соединялись картины и предметы (я видел пустые стулья, огромные люстры, пугающие роскошные залы), то бродил в одиночестве, ощущая себя невероятно хорошо. В самой дальней комнате я прятался от взглядов музейных смотрителей, следивших, куда пошел посетитель; пока снаружи доносился шум большого города, машин и грохот стройки, меня не покидало чувство, что город с его людьми где-то очень близко, но от меня далек, словно в другом пространстве; и боль становилась слабее.

Иногда благодаря этому утешению я чувствовал, что тоже могу составить свою коллекцию из вещей, оставшихся от Фюсун, и создать рассказ о ней, который послужит назиданием всем, и с удовольствием воображал, как расскажу о своей жизни, которую, как все считали (а прежде всего мать с братом), я потратил впустую.

В Музей Ниссим-де-Камондо я пошел, так как знал, что граф де Камондо, создатель музея, по происхождению стамбульский левантинец. Я почувствовал себя свободным, поняв, что тоже могу с гордостью показать в своем музее столовые приборы Кескинов или собранную за семь лет коллекцию их солонок. В Музее почты мне стало ясно, что найдут свое место и письма, которые я писал Фюсун, и то самое, которое она написала мне в ответ, а в маленьком Музее Бюро находок я выяснил, что смогу показать у себя не только вещи Фюсун, но и все, что напоминало мне о ней, например вставную челюсть Тарык-бея, пустые бутылочки из-под его лекарств, счета за воду и свет. В Доме-музее Мориса Равеля, находившемся за городом, куда я час добирался на такси, я видел зубные щетки, кофейные чашки, курительные трубки, куклы и игрушки великого композитора, но, когда заметил клетку с механическим соловьем, распевавшим песни, который мгновенно напомнил мне Лимона, мне на глаза чуть не навернулись слезы. Приходя во все эти музеи, я переставал стесняться своей коллекции в «Доме милосердия». Из собирателя, который скрывал свою страсть, я постепенно превращался в гордого коллекционера.

И не задумывался о переменах, происходивших со мной, лишь только чувствовал себя счастливым в тех музеях, представляя, как однажды поведаю всем свою историю с помощью вещей. Однажды вечером я пил в одиночестве в баре «Отель дю Норд», глядя на окружавших меня иностранцев, и, как каждый турок, оказавшийся за границей (по крайней мере, немного образованный и небедный), поймал себя на мысли, что пытаюсь разгадать восприятие европейцев меня, всех нас.

Я подумал, что смогу рассказать кому-то, кто не знает Стамбула, о Нишанташи, Чукурджуме и о моем чувстве к Фюсун. Мне теперь казалось, что я много лет не бывал дома, провел в дальних странах: словно жил среди аборигенов в Новой Зеландии и, наблюдая за их привычками и традициями, за тем, как они работали, отдыхали, развлекали (и беседовали перед телевизором!), влюбился в местную

девушку. А мои наблюдения перемешались с пережитой любовью.

Я смогу придать смысл прожитым годам, только если, как антрополог, покажу в своем музее разные собранные мной предметы, ее одежду, ее рисунки.

В последние дни пребывания в Париже я отправился в Музей Постава Моро, так как об этом художнике с любовью отзывался Пруст и перед глазами все время стояли рисунки Фюсун. Классические, помпезные картины Моро на историческую тематику мне не понравились, но сам музей оказался хорош. Свой двухэтажньш дом, на первом этаже которого художник провел со своими родителями большую часть жизни, а на втором располагалась его мастерская, он за несколько лет до смерти решил превратить в музей, где после его смерти завещал выставить сотни его картин. Став музеем, дом превратился в в «музей чувств», каждое из которых освещалось той или иной вещью. Пока я бродил по скрипящим половицам его пустых комнат, все смотрители спали, а меня охватило странное чувство, близкое к какому-то религиозному трепету. (В последующие двадцать лет я бывал в том музее еще семь раз, и неизменно, медленно шагая по залам, испытывал то же самое.) Когда я вернулся в Стамбул, то сразу же направился к тете Несибе. Кратко рассказал ей о Париже и о музеях, потом мы поужинали, и я, не откладывая, поведал ей о своей идее.

— Вы знаете, тетя, что я уже много лет уношу из вашего дома вещи, — сказал я, спокойно, как больной, который наконец сумел избавиться от многолетней болезни. — А сейчас хочу забрать себе весь дом, само здание.

— Как это?

— Продайте мне весь дом вместе с вещами!

— А что будет со мной?

Мы обсудили мою идею, но она, кажется, не приняла ее всерьез. «Я хочу создать в этом доме кое-что в память о Фюсун», — пытался приукрасить свои мысли я. И напирал на то, что тете Несибе будет здесь одиноко. Но если ей хочется, она может даже вообще не выезжать отсюда. После моих слов об одиночестве тетушка всплакнула. Я сказал, что подыскал ей отличную квартиру в Нишанташи, на улице Куйулу Бостан, недалеко от того места, где они жили раньше.

— В каком доме? — поинтересовалась она. Месяц спустя мы купили ей большую квартиру

в самом лучшем доме на улице Куйулу Бостан, чуть дальше старого дома Фюсун (как раз напротив лавки старого развратника, к которому в детстве за газетами ходила Фюсун). А тетя отдала мне весь дом в Чу-курджуме вместе со всеми вещами. Мой знакомый адвокат, который разводил Фюсун, посоветовал изготовить нотариально заверенную опись всех вещей, что мы и сделали.

Тетя Несибе совершенно не торопилась переезжать в Нишанташи. С моей помощью постепенно она покупала новые вещи, как девушка — приданое, вешала лампы, но при каждой встрече с улыбкой говорила, что никогда не сможет уехать из Чукурджумы.

— Кемаль, сынок, я не могу бросить этот дом, эти воспоминания! Что будем делать? — охала она.

— Тогда мы превратим дом в место, где наши воспоминания будут сохранены, — отвечал я ей.

Так как все больше времени мне приходилось проводить в поездках, я стал видеть ее реже. Но пока сам толком не знал, что же делать с домом и вещами Кескинов и Фюсун, большинство которых я не решался даже толком рассмотреть.

Первая поездка в Париж послужила в дальнейшем образцом и для остальных. Отправляясь в очередной город, я бронировал из Стамбула номер в старом, но хорошем отеле в центре, а приехав, неторопливо, обстоятельно, как школьник, который безупречно выполняет домашнее задание, обходил главные музеи города,

вооружившись знаниями, полученными из книг и путеводителей, прогуливался по блошиным рынкам, лазил по лавочкам, торговавшим разным барахлом, заглядывал в некоторые антикварные магазины и обязательно покупал что-нибудь симпатичное: какую-нибудь солонку, пепельницу или открывалку для бутылок, точную копию которой я видел у Кескинов. В каком бы уголке земного шара я ни находился, будь то Рио-де-Жанейро, Гамбург, Баку или Лиссабон, вечером, когда все садились ужинать, я подолгу бродил по переулкам в надежде разглядеть через открытые окна, как живут в своих домах другие семьи, как они сидят за столом перед телевизором, как, пока на кухне, которая часто бывала и столовой, готовится еда, дети сидят с родителями, молодые красивые замужние женщины — со своими мужьями, лишая всякой надежды влюбленных богатых дальних родственников.

По утрам я не спеша завтракал в гостинице, потом убивал время до открытия маленького музея на улицах и в кофейнях, отправлял по открытке матери и тете Несибе, пытался узнать из местных газет, что происходит в мире и в Стамбуле, а когда наступало одиннадцать часов, с тетрадью в руке и с оптимизмом в сердце приступал к обходу музеев.

В залах городского музея Хельсинки, куда я пришел холодным дождливым утром, я увидел старые бутылочки из-под лекарств, какие были в ящиках Тарык-бея. В пахших плесенью залах бывшей шляпной фабрики в маленьком городке под Лионом (кроме меня там не было ни одного посетителя) я увидел такие же шляпы, какие носили мои родители. Глядя на игральные карты, кольца, ожерелья, шахматы и холсты в Государственном музее Вюртемберга, расположенном в башне старой крепости, я вдохновенно подумал, что вещи Ке-скинов и моя любовь к Фюсун заслуживают того, чтобы быть представленными так же торжественно, так же помпезно, как экспонаты этого музея. В Международном музее парфюмерии французского города Грасса, находящегося на отдалении от Средиземного моря, в «парфюмерной столице мира», я провел целый день, пытаясь вспомнить запах духов Фюсун. Картина Рембрандта «Жертвоприношение Авраама» в мюнхенской Старой Пинакотеке, лестницы которой я позднее взял за образец для своего музея, напомнила мне об истории, которую я рассказывал Фюсун много лет назад, и о том, что настоящая любовь есть способность отдать самое дорогое, не ожидая ничего взамен. В парижском Музее романтичной жизни при виде зажигалки, украшений и сережек Жорж Санд, прядки ее волос, приклеенной на бумагу, мне отчего-то стало жутко. В городском музее Гетеборга я долго сидел перед изразцами и тарелками, привезенными Восточно-Индийской компанией. Маленький городской музей города Бревика, куда я поехал в марте 1987 года, когда находился в Осло, по совету одного школьного приятеля, служившего в турецком посольстве в Норвегии, оказался закрыт, и я специально провел еще ночь в Осло, чтобы увидеть в этом музее почту, фотостудию и аптеку трехсотлетней давности, и на следующий день опять отправился в тот городок. В Морском музее в Триесте, расположенном в здании бывшей тюрьмы, я впервые подумал, что могу, помимо дотошно собранных вещей, представить в своем музее модель какого-нибудь стамбульского парохода (например, «Кален-дера»), который тоже напоминал мне о Фюсун. Оказавшись в Гондурасе, куда было не так просто получить визу, я приехал в город Ла-Сейба, расположенный на берегу Карибского моря, и вместе с туристами в шортах попал в Музей бабочек и насекомых, где подумал, что смогу показать у себя в музее как настоящую научную коллекцию заколки Фюсун с бабочками, которые я покупал ей годами, и представил, что сделал то же самое с комарами, мухами, клещами и тараканами, обитавшими в доме Фюсун. Я с гордостью убедился, что коллекция, собранная в недавно открывшемся парижском Музее табака, гораздо беднее моей, накопленной за восемь лет. Помню, как приятным весенним утром в Эксан-Провансе меня безгранично обрадовала и умилила кухонная утварь и прочие предметы на полках в светлых

залах музея-мастерской Поля Сезанна. В нарядном и убранном до блеска доме-музее бургомистра Антверпена Николаса Рококса я еще раз осознал, что прошлое может быть скрыто в вещах, как душа, и именно поэтому в тихих маленьких музеях я и обрел красоту, привязывающую меня к жизни, нашел утешение. Нужно ли мне было побывать в венском музее Фрейда и увидеть старые вещи и бюсты великого врача, чтобы принять и полюбить свою собственную коллекцию в «Доме милосердия» и чтобы суметь с гордостью всем ее показать? Не потому ли я каждый раз во время поездки в Лондон посещал старую парикмахерскую в Лондонском городском музее, что скучал по стамбульской парикмахерской Басри и по Болтливому Джевдету? В музей известной медсестры Флоренс Найтингейл я отправился, чтобы увидеть какую-нибудь стамбульскую вещь, сохранившуюся со времен ее поездки в Стамбул во время Крымской войны, но нашел там точно такую заколку, какая была у Фюсун. Слушая глубокую тишину в Музее времени, расположенном в старинном дворце французского города Безансона, среди часов, я задумался о памяти и времени. В музее Тайлера в голландском Хаар-леме, разглядывая минералы, окаменелости, медали, деньги, старинные приборы в больших старинных деревянных витринах, я с воодушевлением решил, что в этой тишине смогу назвать источник смысла своей жизни, который дарует мне глубокое утешение, но не сразу подобрал слова, чтобы выразить, что же привязывает меня к этим залам. То же самое я ощутил в Мадрасе, в музее Форта Святого Георгия, первой крепости англичан в Индии, среди писем, масляных картин, денег и обычных вещей, когда за окном стояла липкая жара, а надо мной кружил огромный мотылек. Посещение веронского городского музея Кастельвеккио, его лестницы и свет, которым, как шелком, скульптор Карло Скарпа окутал статуи, впервые навело меня на мысль о том, что радость, которую дарует музей, связана не только с его коллекцией, но и с равновесием в расположении картин и предметов. В берлинском Музее вещей, некогда расположенном в здании Мартина Гропиуса, впоследствии оставшемся без помещения, я научился относиться с юмором ко всему, что собираешь, и еще раз убедился в том, что нужно хранить все, что мы любим, и все то, что связано с людьми, которых мы любим, и даже если у нас нет ни своего дома, ни музея, поэзия собранной нами коллекции вещей послужит пристанищем для них. Слезы навернулись мне на глаза оттого, что я не могу показать Фюсун картину Караваджо «Жертвоприношение Авраама» в галерее Уффици, а потом напомнила, что иногда предоставляется возможность как-то возместить утрату тех, кого мы любим, и именно поэтому я так привязан к вещам Фюсун. В лондонском доме-музее сэра Джона Соуна, который я обожал за бессистемность и беспорядок в расстановке предметов и восхищался манерой развески картин, я любил часами сидеть в одиночестве, слушая шум города, и представлял, что однажды точно так же покажу всем вещи Фюсун, и тогда любимая моя улыбнется мне с небес. Лучшим примером для меня послужил музей Фредерика Мареса в Барселоне, на верхнем этаже которого хранилась коллекция заколок, сережек, игральных карт, ключей, вееров, флакончиков из-под духов, носовых платков, брошек, ожерелий, сумок и браслетов. Об этом романтичном собрании я вспомнил в Музее перчаток на Манхэттене во время моей первой поездки в Америку, длившейся более пяти месяцев, за время которой я посетил двести семьдесят три музея. В Лос-Анджелесе, в Юрском музее технологии, мне вспомнилось страшное чувство, раньше уже посещавшее меня, — будто пока все человечество живет в одном времени, а я застрял в другом. В музее Авы Гарднер в городке Смитфилд штата Северная Каролина, где я стащил симпатичную табличку-указатель с рекламой столовых приборов и портретом этой американской звезды, хранились школьные рисунки маленькой Авы, ее ночные рубашки, перчатки и сапожки, и я почувствовал такую тоску по Фюсун, что захотел вернуться в Стамбул немедленно. Я потратил два дня, чтобы повидать коллекцию

бутылок из-под лимонада и пива в Музее упаковки и рекламы напитков недалеко от городка Нэшвилл, который в те дни только открылся, а впоследствии перестал существовать, а потом, помню, опять захотел в Стамбул, но продолжил путешествие. В конце концов я решил вернуться в домой, когда пять недель спустя в другом музее, который тоже впоследствии закрылся, в Музее трагедии в американской истории, расположенном в городке Сент-Огастин штата Флорида, увидел искореженные части и начавшие ржаветь детали никелированной отделки автомобиля, «бьюик» 1966 года, на котором разбилась американская кинозвезда шестидесятых Джейн Мэнсфилд. Я постепенно понимал, что домом настоящего коллекционера должен быть его собственный музей.

В Стамбуле я пробыл недолго. Четин-эфенди помог мне разыскать наш «шевроле», и, увидев его на придорожном пустыре под смоковницей за мастерской механика Шевкета, специализировавшегося на ремонте машин этой марки, от избытка чувств я на мгновение лишился дара речи. Багажник был открыт, среди его ржавых частей прогуливались куры из соседнего курятника, вокруг играли дети. По словам Шевкета, некоторые детали, такие как крышка заправочного бака, коробка передач, остались неповрежденными, и он поставил их на другие «шевроле», большинство которых продолжали использоваться в Стамбуле в качестве такси. Я заглянул в салон, туда, где некогда находились стрелки, кнопки и руль, которые теперь были разбиты обломками водительского кресла, вдохнул старый запах слегка нагревшейся на солнце обивки и от обилия скрытых в машине воспоминаний едва не лишился чувств. Потом дотронулся до руля, помнившего мое детство. Потрясенный, почувствовал невероятную усталость.

— Кемаль-бей, что случилось? Посидите-ка немного, — забеспокоился Четин-эфенди. — Ребятки, ну-ка принесите воды.

Впервые после смерти Фюсун перед кем-то посторонним у меня навернулись слезы. Я сразу взял себя в руки. Попивая чай, принесенный на подносе с надписью «Турецкий Кипр» (этого подноса нет в музее) чумазым подмастерьем, руки которого при этом были идеально чистыми, мы, недолго поторговавшись, выкупили отцовскую машину обратно.

— И куда мы теперь ее денем, Кемаль-бей? — спросил Четин-эфенди.

— Буду до конца дней своих жить с этой машиной под одной крышей, — улыбнулся я.

Однако Четин-эфенди услышал искренность в моих словах, поэтому не сказал, как все: «С мертвым в могилу не прыгнешь, жизнь продолжается», а понимающе покачал головой. Но если бы он это произнес, я ему ответил бы, что хочу создать Музей Невинности, чтобы жить с человеком, которого больше нет. Но так как заготовленные слова мне не понадобились, я гордо сказал другое.

— В «Доме милосердия» лежит очень много вещей. Я хочу собрать их все под одной крышей и жить с ними.

Я знал о многих героях, которые, как Постав Моро, в последние годы жизни превращали дома, где хранили свои коллекции, в музеи, открывавшиеся после их смерти. Я любил то, что они создали, и продолжал ездить по миру, чтобы бывать в сотнях музеев, которые полюбил, и повидать сотни других, которых никогда не видел, но мечтал увидеть.

82 Коллекционеры

За долгие годы во время моих поездок по миру и стамбульских изысканий о коллекционерах я узнал следующее. Существует два их типа:

1. Одни гордятся своей коллекцией и жаждут демонстрировать ее всем подряд (такие обычно бывают на Западе).

2. Другие прячут свою коллекцию где-нибудь в укромном уголке (такие живут в обществах, далеких от современной культуры).

С точки зрения первых, музеи — естественное следствие их собрания. Они уверены, что любая коллекция, по какой бы причине они ни начали ее собирать, создана для того, чтобы в конце концов быть с гордостью представленной в музее. Я часто видел это в историях маленьких частных американских музеев: например, в путеводителе по Музею упаковки и рекламы напитков было написано, что однажды мальчик Том, возвращаясь из школы, поднял с земли первую бутылку из-под лимонада. Потом нашел вторую и третью, начал складировать их у себя, и через какое-то время у него появилась идея собрать все бутылки на свете и создать музей.

Коллекционеры второго типа ищут предметы только для того, чтобы хранить. Как и у первых, вначале это ответ, утешение и либо лекарство от некой тайной боли, жизненной проблемы, темного пятна — что было и у меня. Но так как общество, в котором живут такие коллекционеры, музеи и коллекции ценностью не считает, их страсть воспринимается не как часть науки, образования, а как позор, который необходимо скрывать. Ведь в традиционном обществе наличие у человека коллекции указывает не на ценные знания, которыми он обладает, а на душевные раны, какие тот пытается скрыть.

Стамбульские коллекционеры, с которыми я познакомился в начале 1992 года, когда искал для Музея Невинности афиши, фотографии из фойе кинотеатров и билеты на сеансы, на которые мы ходили летом 1976 года, сразу же научили меня чувству стыда за то, что ты собираешь.

Хыфзы-бей, продавший мне после ожесточенного торга плакаты к таким фильмам, как «Любовь пройдет, когда пройдут страдания» и «Меж двух огней», несколько раз отчего-то извиняющимся тоном повторил, что ему приятен мой интерес к его собранию.

— Мне грустно расставаться с этими вещами, Кемаль-бей, и жаль,что я вам их продал,—сказал он.— Но пусть те, кто смеется над моим увлечением, кто издевается надо мной, кто считает, что я мусором забил дом, увидят, сколь высоко ценят то, что я собрал, образованные люди из хороших семей, как вы. Я не пью, не курю, в карты не играю, не распутничаю... Единственное мое увлечение—фотографии актеров из фильмов... Хотите фотографии с корабля «Календер», где снимали фильм с маленькой Папатьей «Услышьте стон моего сердца»? Она в платье на бретельках, а плечи—голые. Не придете ли вы сегодня вечером в богадельню, где один человек хранит фотографии, снятые на съемках фильма «Черный дворец», который не был закончен, так как исполнитель главной роли Тахир Тан покончил с собой, и которых до настоящего времени никто не видел, кроме меня? А еще у меня есть фотография, где немецкая манекенщица Инге, которая снялась в рекламной кампании первого турецкого фруктового лимонада, целуется на премьере фильма в фойе кинотеатра в губы с Экремом Гючлю, в которого она влюблена по роли в фильме «Центральная станция», где она сыграла добродушную немецкую тетушку?

Когда я спросил, у кого еще могут быть нужные мне фотографии, Хыфзы-бей рассказал, что они есть у многих. В Стамбуле немало коллекционеров, дома которых битком забиты старыми фотографиями, пленками и афишами. Когда в них больше не оставалось места, такие собиратели часто покидали свой дом и близких (как правило, они никогда не женились) и принимались собирать все подряд. У некоторых непременно есть то, что я ищу, но в их захламленных домах трудно что-либо найти, да и войти к ним непросто.

Но все-таки я упросил Хыфзы-бея, и он сводил меня к некоторым легендарным стамбульским коллекционерам.

В их захламленных комнатах я сам разыскал немало того, что представил в своем музее: фотографии со съемок фильмов, с видами Стамбула, открытки, билеты

в кинотеатры, меню ресторанов, сохранить которые мне в свое время не приходило в голову; ржавые старые консервные банки, страницы старых газет, сумки с эмблемами разных фирм, коробочки из-под лекарств, бутылки, фотографии актеров и знаменитостей и обычные снимки, запечатлевшие повседневную жизнь Стамбула, которые лучше всего рассказывали о городе, в котором мы жили с Фюсун. Хозяин одного старого двухэтажного дома в Тарлабаши, возвышавшийся на пластмассовом стуле среди кучи вещей и бумаг, а с виду совершенно нормальный человек, сказал мне с гордостью, что у него сорок две тысячи семьсот сорок два предмета. Мне почему-то стало стыдно.

Похожий стыд я ощутил в доме газовщика-пенсионера, живущего с прикованной к постели матерью и печкой в одной комнате своего дома в Ускюдаре, куда я с трудом вошел. (В другие комнаты, где было невероятно холодно, пробраться было совершенно невозможно, так как они были битком забиты вещами: издалека я разглядел старые лампы, какие-то коробки и игрушки, бывшие в моем детстве.) Смутило меня не то, что мать газовщика постоянно осыпала его проклятиями со своей кровати. Я понимал, что все эти вещи, которые полнятся воспоминаниями людей, некогда ходивших по улицам Стамбула, живших в его домах и по большей части уже умерших, исчезнут, не попав ни в один музей, ни в одну витрину, ни под одно стекло и не будут никогда никем разобраны. В те дни я выслушал драматичную десятилетнюю историю одного греческого фотографа из Бейоглу, который сорок лет подряд снимал свадьбы, помолвки, дни рождения, рабочие собрания и посиделки в барах, а потом сжег всю коллекцию негативов, потому что для них не хватало места и они были уже не нужны. Негативы всех свадеб, прошедших в центре города, всех вечеринок и собраний никто не хотел брать даже бесплатно.

Коллекции становились поводом для насмешек над хозяевами дома в их квартале, таких людей начали бояться за их странные привычки, за их одиночество, за то, что они рылись в мусорных бачках и в тележках старьевщиков. Хыфзы-бей без особой грусти, как ни в чем не бывало, рассказал мне, что после смерти этих одиноких людей кучи собранных ими вещей либо сжигали на пустыре по соседству (где на праздник резали барана), притом с каким-то религиозным негодованием, либо отдавали мусорщику или старьевщику.

В декабре 1996 года одинокий собиратель по имени Недждет Адсыз (назвать его коллекционером было бы неверно) умер, задавленный горами предметов и бумаг, от которых ломился его маленький дом в Топхане, в семи минутах ходьбы от дома Кескинов, и это заметили только четыре месяца спустя, когда летом почувствовали нестерпимый запах. Поскольку входная дверь оказалась завалена вещами, бригада спасателей смогла попасть в дом только через окно. Эту историю подхватили газеты, описывая ее в полунасмешливом-полузловещем тоне, и тогда стамбульцы стали бояться коллекционеров еще больше.

Недждет Адсыз, погибший так трагично, был тем самым, о котором в конце моей помолвки в «Хилтоне» рассказывала Фюсун, когда шла речь о спиритических сеансах, и которого уже тогда считала умершим.

Чувство того, что они заняты постыдным делом, которое нужно скрывать, я замечал и во взглядах других коллекционеров, имена которых мне хочется вспомнить здесь с благодарностью за их вклад в мой музей и в дело памяти Фюсун. Раньше я рассказывал о самом известном стамбульском собирателе открыток, Хаста Халит-бее, с которым общался между 1995 и 1999 годами, когда мной владело жгучее желание обзавестись открытками каждого квартала и каждой улицы в Стамбуле, где мы ходили вместе с Фюсун.

Один коллекционер, чье собрание дверных ручек и ключей я с радостью сохранил в своем музее, который совершенно не хотел, чтобы его имя было упомянуто, сообщил мне доверительно, что каждый стамбулец за свою жизнь

прикасается примерно к двадцати тысячам дверных ручек, чем убедил меня, что рука моей любимой женщины непременно касалась многих из них.

Выражаю благодарность Сиями-бею, потратившему тридцать лет своей жизни на поиски фотографий судов при заходе в Босфор, за то, что он поделился со мною снимками, которых у него было по два, и позволил выставить у себя в музее фотографии пароходов, гудки которых я слышал, когда думал о Фюсун и когда гулял с ней, и за то, что он, как европеец, совершенно не стеснялся, что его коллекция будет показана людям.

Другой коллекционер, которого я должен поблагодарить за маленькие фотографии, которые прикрепляли на воротники на похоронах с 1975 по 1980 год, также не желавший упоминания своего имени, после отчаянного торга за каждый снимок задал мне главный вопрос, который я слышал от многих и в котором крылось презрение, а я наизусть знал ответ на него:

— Я создаю музей...

— Об этом я не спрашиваю. Зачем они тебе, вот о чем речь.

Этот вопрос означал, что каждый человек, одержимый страстью копить для самого себя вещи и прятать их, обязательно страдает какой-нибудь душевной болезнью, разочарован, имеет глубокую душевную рану, о которой трудно говорить. А в чем моя проблема? Оттого ли я страдал, что женщина, которую любил, умерла, а я даже не смог на ее похоронах прикрепить к воротнику ее фотографию? Или же причина моих страданий была чем-то непроизносимым, постыдным, таким же, как у человека, который меня о ней спрашивал? В Стамбуле 1990-х, где частных музеев не существовало, коллекционеры, втайне презирая себя за собственные слабости, никогда не упускали случая открыто унизить друг друга. К этому стремлению примешивалась зависть, и получалось еще хуже.

Переезд тети в Нишанташи, мои усилия с помощью архитектора Ихсана сделать из дома Кескинов настоящий музей, слухи, что я создаю «частный музей, как в Европе» и что разбогател, разнеслись по всему городу. Может, хотя бы за это стамбульские коллекционеры примут меня хорошо. Ведь я как бы собирал вещи не из-за глубокой душевной травмы, а только потому, что богат и хочу лишь ради любви к искусству, как на Западе, создать музей.

В те дни в Турции появилось Общество коллекционеров-любителей, и я пошел на одно из его собраний, вняв настойчивым просьбам Хыфзы-бея и, наверное еще потому, что надеялся найти пару-тройку вещей, которые напомнят мне о Фюсун и займут место в моей истории. Там, в маленьком свадебном зале, который общество арендовало на одно утро, я почувствовал себя так, будто нахожусь среди прокаженных, отвергнутых людьми. Члены общества, о некоторых из них я был наслышан (всего семь человек, в том числе и знаменитый Супхи, собиратель спичечных коробков), повели себя по отношению ко мне еще презрительнее, чем к любому стамбульскому старьевщику и друг к другу. Они почти не разговаривали со мной, обращались как с подозрительным человеком, стукачом, чужаком. Как позднее, извиняясь, объяснил Хыфзы-бей, их ярость вызвало то, что я искал выход для боли в вещах, хотя был богат. Они наивно полагали, что если однажды разбогатеют, то их мания собирать старые вещи пройдет за один день. Однако позднее, когда молва о моей любви к Фюсун разошлась по всему Стамбулу, они здорово помогли мне, а я стал свидетелем того, как их увлечение перестало быть подпольным занятием и вышло на свет.

Прежде чем перевезти все вещи из «Дома милосердия» в музей в Чукурджуме, я сфотографировал всю коллекцию, собранную в одной комнате, где мы занимались с Фюсун любовью двадцать лет назад. (Теперь вместо крика и ругани мальчишек, гонявших во дворе футбол, слышалось гудение кондиционеров.) Когда я соединил вещи из Чукурджумы с привезенными издалека и с найденными в захламленных

домах коллекционеров и знакомых, которые стали действующими лицами моей истории, у меня в голове составилась такая картина.

Вещи — солонки, фарфоровые статуэтки, наперстки, ручки, заколки, пепельницы, — как стаи аистов, которые два раза в год всегда пролетают над Стамбулом, беззвучно мигрируя, разлетаются по миру. Зажигалку Фюсун, похожую на ту, что хранится в музее моей боли, я видел на блошином рынке в Афинах, а также в лавках Парижа и Бейрута. Солонка, которая два года стояла у Кескинов на столе, была сделана в Турции, я находил такую же на окраинах Стамбула, а еще в одном мусульманском ресторане в Нью-Дели и в старых кварталах Каира, потом у старьевщиков Барселоны и в обычном магазине кухонной утвари в Риме. Видимо, кто-то создал такую солонку, а в других странах позаимствовали ее модель, и появилось много похожих, из сходных материалов, так что миллионы копий одной солонки стали на долгие годы частью повседневной жизни многих семей, в основном в Южном Средиземноморье и на Балканах. Непонятно было, как солонка добралась до отдаленных уголков земного шара — так же, как общаются перелетные птицы и как им всякий раз удается лететь по одному и тому же пути. Потом возникает вторая волна солонок, и вместо старых появляются новые, большинство людей забывает о прежних вещах, с которыми они провели важную часть своей жизни, даже не замечая духовной связи с ними.

Я отвез матрас, на котором мы с Фюсун занимались любовью в «Доме милосердия», пахнущую плесенью подушку и голубую простыню на чердак дома Кескинов. Темный, сырой, заросший грязью, где когда-то водились только крысы, пауки и тараканы, и стоял водонагреватель, он сейчас превратился в чистую, светлую, обращенную к звездам комнату. В тот вечер, когда я установил там кровать, а после выпил три стаканчика ракы, мне захотелось уснуть, обняв все вещи, напоминавшие мне Фюсун, погрузившись в атмосферу чувств, скрытых в них. А однажды весенним вечером, когда ремонт был завершен, я вошел в изменившийся дом, открыв новую дверь на улице Далгыч своим ключом, медленно, как привидение, поднялся по длинной и прямой лестнице и, упав на стоявшую в чердачной комнате кровать, тут же уснул.

Некоторые люди забивают свой дом вещами, а под конец жизни превращают его в музей. Я же своим присутствием в доме, своей комнатой на чердаке и кроватью, казалось, старался опять превратить музей в обычный дом. Как же бывает прекрасно спать в одном пространстве с вещами, наполненными глубокими чувствами и воспоминаниями.

Я часто ночевал в чердачной комнате музея, особенно весной и летом. Архитектор Ихсан создал в центре здания свободное пространство, и благодаря этому по ночам я мог чувствовать не только каждую вещь из моей коллекции, но и глубину самого пространства. Ведь в настоящих музеях Время превращается в Пространство.

Мой переезд на чердак встревожил мать; но так как я часто обедал с ней, возобновил дружбу с некоторыми из моих старых приятелей, кроме Сибель и Заима, а летом ездил кататься на яхте в Суадие и на острова, и так как она была уверена, что эти меры позволяют мне терпеть боль утраты, она ничего не говорила; и в отличие от всех моих знакомых положительно отнеслась к тому, что я создал в доме Кескинов музей, повествующий о моей любви к Фюсун и созданный из вещей нашей жизни.

— Конечно, коль Аллаху угодно, бери вещи из моего шкафа! И в ящиках все бери... Я те шляпы больше не собираюсь носить, сумки тоже, отцовские вон есть... Забирай себе мои вязальные наборы, пуговицы тоже, я в семьдесят лет точно ничего шить не буду, и не надо деньги на них тратить, — говорила она.

Тетю Несибе, которая, казалось, была довольна новым местом, я видел раз в

месяц, если бывал в Стамбуле. Как-то раз я с волнением рассказал ей, что власти Берлина разрешили Хайнцу Берггрюену, создателю берлинского Музея Берггрюен, всю жизнь собиравшему коллекцию для музея, жить на чердаке.

— Каждый в любом зале или на лестнице может встретиться с человеком, создавшим музей, пока он еще жив. Странно, правда, тетя Несибе?

— Дай вам Аллах долгих лет жизни, Кемаль-бей, — сказала тетушка, закуривая очередную сигарету. Затем опять немного поплакала по Фюсун и улыбнулась мне, с сигаретой во рту, не стирая текших по щекам слез.

83 Счастье

Однажды лунной ночью я проснулся в своей маленькой комнатке на чердаке от приятного света. Из окна лился серебристый свет луны. Через большой пролет, проделанный в полу, я посмотрел на музей, который, как мне иногда казалось, не закончу никогда. От этого таинственного света все здание становилось пугающим, как бесконечное пространство. Вся моя коллекция, собранная за тридцать лет, стояла в тенях на нижних этажах, каждый из которых выходил в пролет. Я видел все вещи, которыми в этом доме пользовалась Фюсун и ее семья, ржавые останки «шевроле», печку, холодильник, стол, за которым мы ужинали восемь лет, телевизор, я видел все, и, как шаман, который слышит душу вещей, чувствовал, как история этих предметов живет во мне.

Той ночью я понял, что моему музею требуется каталог, в котором будет подробно рассказано о каждой вещи. И, конечно, он должен быть историей моей любви.

Каждая из вещей, оказавшаяся из-за лунного света в тени и будто в пустоте, подобно неделимым атомам Аристотеля, указывала на неделимые мгновения времени. Я понимал, что предметы может объединять линия повествования, подобно тому, как у Аристотеля линия Времени объединяет мгновения. Значит, какой-нибудь писатель мог бы написать каталог к моему музею как роман. Пытаться создать такую книгу самому мне не хотелось даже пробовать. Кто бы мог сделать это для меня?

Так я разыскал господина Орхана Памука, который поведал вам историю от моего имени и с моего одобрения. Его отец и дядя одно время вели общее дело с нашей семьей, с моим отцом. Их семья давно жила в Ни-шанташи, но потеряла все состояние, и я подумал, что ему прекрасно знакома канва моей жизни. Также я слышал, что он очень любит рассказывать истории и предан своему делу.

К первой встрече с Орхан-беем я основательно подготовился. Прежде чем говорить о Фюсун, я открыл ему, что за последние пятнадцать лет посетил в мире тысячу семьсот сорок три музея и билеты к ним сохранил. Я рассказал ему о музеях писателей, надеясь, что это вызовет его интерес: возможно, он бы улыбнулся, узнав, что в петербургском музее Достоевского единственный подлинный экспонат — это шляпа писателя. Что бы он сказал, узнав, что в доме Набокова в том же городе в сталинские годы располагался Комитет по цензуре? В Музее Марселя Пруста в Иллье-Комбре хранились портреты людей, которые стали прототипами его героев, и я задумался о мире, в котором жил Пруст. Музеи писателей никогда не казались мне бессмыслицей. Например, в доме Спинозы, в голландском городке Рийнсбурге, мне очень понравилось, что все книги, упоминавшиеся в специальных реестрах, составленных в XVII веке, после смерти мыслителя, были приведены в алфавитном порядке, а позже так же и расставлены. В музее Тагора хранились сделанные тем акварельные рисунки, и я провел целый день в комнатах, похожих на лабиринт, вспоминая запах пыли и влаги в турецких музеях Ата-тюрка, созданных в период Республики, и слушая нескончаемый шум Калькутты. Я рассказал Орхан-бею, что в доме Пиранделло в сицилийском городе Агридженто видел фотографии, которые

напомнили мне мои; что из окна дома-музея Стриндберга в Стокгольме открывается прекрасный вид, а четырехэтажный грустный дом Эдгара По в Балтиморе, который он делил со своей тетей и десятилетней племянницей Вирджинией, на которой впоследствии женился, сразу показался мне знакомым. (Ведь этот четырехэтажный дом, расположенный ньше в бедном квартале Балтимора, своими размерами, унылым видом и расположением комнат сразу, больше всех музеев, которые я видел, напомнил мне дом Фюсун.) Я сказал Орхан-бею, что лучший музей писателя, который я видел в жизни, — это музей Марио Праца в Риме. Если он, как я, договорился о посещении и побывал в музее великого литературоведа, одинаково любившего и живопись, и литературу, то обязательно должен был бы прочесть прекрасную книгу, которая, комната за комнатой, предмет за предметом, повествует об истории чудесной коллекции автора... А в доме Флобера в Руане было так много книг по медицине, принадлежавших его отцу, что в Музей истории медицины, расположенный в том же городе, ходить было уже не надо. Сообщив все это, я внимательно посмотрел Орхану-бею в глаза:

— Вы наверняка знаете из писем Флобера, что он собирал вещи — прядки волос, носовой платок, туфельки —своей возлюбленной, Луизы Колетт, которая вдохновила его на написание «Мадам Бовари» и с которой он, как описано в романе, предавался любви в уездных гостиницах и каретах; он хранил их в ящике, иногда доставал посмотреть, а глядя на туфельки, представлял, как она ходит.

— Нет, этого я не знал, — ответил он.

— Я тоже сильно любил одну женщину, Орхан-бей. Настолько, чтобы собирать ее волосы, носовые платки, все еще вещи и годами находить в них утешение. Я могу вам искренне поведать свою историю жизни?

— Конечно, пожалуйста.

Во время той нашей первой встрече в ресторане «Хюн-кяр», открывшемся на месте закрывшегося «Фойе», я три часа рассказывал ему о себе, так, как получилось и хотелось, но беспорядочно, перескакивая с одного на другое. Меня охватило чрезвычайное волнение, я выпил три двойных порции ракы и, думаю, от переживаний изобразил все, произошедшее со мной, как нечто заурядное.

— Я был знаком с Фюсун, — сказал Орхан-бей. — И помолвку вашу в «Хилтоне» помню. Я очень расстроился, когда Фюсун погибла. Она работала тут в бутике неподалеку. На вашей помолвке мы тоже с ней танцевали.

— В самом деле? Какой она была необыкновенный человек, правда? Не из-за своей красоты, Орхан-бей... Я говорю о ее душе. О чем вы разговаривали тогда?

— Если у вас и в самом деле есть все вещи Фюсун, я бы хотел на них взглянуть.

Сначала, проявив искренний интерес к моей коллекции, он пришел в Чукурджуму и был потрясен, не пытаясь это даже скрывать. Брал какой-нибудь предмет в руку, например желтые туфли Фюсун, которые были на ней, когда я впервые увидел ее в бутике «Шанзелизе», интересовался его историей, а я рассказывал.

Позднее мы стали встречаться чаще. Когда я бывал в Стамбуле, он раз в неделю приходил ко мне на чердак, расспрашивал о вещах в музее, о том, почему они лежат в тех или иных коробках или витринах, а в романе должны описываться в той или иной главе, а я с удовольствием открывал ему их тайну. Мне нравилось видеть, что он внимательно ловит каждое мое слово, это тешило мою гордость.

— Заканчивайте ваш роман поскорее, чтобы любопытные приходили в мой музей с книгой. Когда они будут ходить от витрины к витрине, чтобы вблизи почувствовать мою любовь к Фюсун, я поприветствую их из моей чердачной комнаты прямо в пижаме.

— Вы же тоже не можете закончить ваш музей, Ке-маль-бей, — замечал мне Орхан-бей.

— В мире еще так много музеев, которых я не видел, — говорил я, улыбаясь. И кто знает, в который раз принимался рассказывать ему, какое воздействие оказывает на меня их тишина, старался объяснить, почему в каком-нибудь далеком городке, в каком-нибудь богом забытом музее на окраине города, я чувствую себя счастливым оттого, что, прячась от взглядов смотрителя, прогуливаюсь по пустым залам.

Теперь я сразу звонил Орхан-бею, как только возвращался из очередного путешествия, рассказывал об увиденном, показывал входные билеты, рекламные брошюры и какие-нибудь понравившиеся мне простенькие предметы, которые тайком опускал себе в карман — например, музейные таблички.

Однажды после такого путешествия я спросил его, как идет работа над романом.

— Я пишу книгу от первого лица, — признался Орхан-бей.

— Как это?

— В книге вы сами рассказываете вашу историю, Кемаль-бей. Я говорю от вашего имени. Как раз сейчас работаю над тем, чтобы представить себя на вашем месте, чтобы стать вами.

— Понимаю. А вы сами когда-нибудь испытывали такую любовь, Орхан-бей?

— Х-м... Речь идет не обо мне, — ответил он, потом какое-то время помолчал.

Мы долго сидели в моей комнате на чердаке, потом выпили ракы. Я устал рассказывать. Когда он ушел, я вытянулся на кровати, на которой мы некогда предавались любви с Фюсун (более четверти века назад), и подумал, какую странную форму придумал Орхан.

У меня не было сомнений, что история останется моей и я буду питать к ней уважение, но меня пугало, что он будет говорить от моего имени. Это напоминало бессилие, слабость. Мне казалось естественным, что я сам буду рассказывать о своей жизни посетителям музея, показывать вещи, и даже часто представлял, как вожу по музею посетителей после его открытия. Но меня беспокоило, что Орхан-бей поставит себя на мое место и зазвучит его голос, но не мой.

Обуреваемый сомнениями, два дня спустя я спросил его о Фюсун. В тот вечер мы вновь встретились на чердаке музея и даже пропустили по стаканчику ракы.

— Орхан-бей, расскажите, пожалуйста, как вы танцевали на моей помолвке с Фюсун.

Сначала он упирался, видно было, что чувствовал неловкость. Но когда мы пропустили еще по стаканчику, он так искренне открыл мне все, что я сразу доверился ему — он лучше всех расскажет мою историю посетителям музея.

Именно в тот вечер я решил, что моего голоса и так слишком много и будет гораздо уместнее, если я доверю дело завершения романа Орхан-бею. Что же, надо попрощаться. До свидания!

Здравствуйте, я — Орхан Памук! С позволения Ке-маль-бея начну с моего и Фюсун танца.

С самой красивой девушкой в тот вечер жаждали потанцевать многие мужчины. Хотя я был недурен собой, нарядно одет и, кажется, старше ее на пять лет—в общем, мог привлечь ее внимание, но в те времена не чувствовал себя достаточно взрослым и уверенным. Голову мою занимали книги, романы, в ней жили мысли о нравственности и чести, так что все это мешало мне наслаждаться тем вечером. А ее голова тоже была занята, чем — вы и так уже знаете.

И все-таки, когда она приняла мое приглашение на танец, улыбнувшись, и когда мы шли к танцевальной площадке, она впереди меня, я, глядя на ее длинную шею, обнаженные плечи и прекрасную спину, в какой-то момент замечтался. Ее рука была легкой, но очень теплой. Когда она положила мне на плечо другую руку, я на мгновение почувствовал гордость, потому что она положила ее так, будто не для танца, а словно хотела продемонстрировать мне особенное расположение. Мы легко

покачивались, медленно кружась, и от близости ее кожи, ее идеальной осанки, живой энергии ее плеч и груди у меня наступила сумятица в мыслях, а фантазии, которые я пытался удержать, по мере того как сопротивлялся ее притяжению, безостановочно проносились перед глазами. Мы уходим за руку с танцевальной площадки, поднимаемся наверх в бар; ужасно влюбляемся друг в друга; целуемся под деревьями в саду, женимся!

Первые слова я произнес, лишь бы что-нибудь сказать: «Когда я прохожу по улице в Нишанташи, то иногда вижу вас в магазине!» Но они были заурядными и лишь напоминали ей, что она красивая продавщица, так что она не проявила никакого интереса. Она сразу поняла, что толку от меня мало, и рассматривала из-за моего плеча гостей, сидящих за столами, смотрела, кто с кем танцует, кто с кем разговаривает и во что одеты нарядные женщин, видимо пытаясь решить, чем заняться потом.

Кончиками среднего и указательного пальцев правой руки, которую я уважительно и с удовольствием опустил чуть выше ее прекрасных ягодиц, я чувствовал все малейшие движения ее позвоночника. У нее была редкая, идеальная осанка, от которой у мужчин кружилась голова. Потом многие годы я не мог забыть этого. Иногда кончиками пальцев чувствовал ее изящные кости, кровь, с силой циркулировавшую по телу, мне передавалась ее живость, с которой она смотрела на все интересное, трепетание ее органов, и я с трудом сдерживал себя, чтобы не обнять ее изо всех сил.

На площадке собралось много танцующих, одна пара толкнула нас сзади, и на мгновение наши тела прислонились друг к другу. После этого потрясающего прикосновения я долго молчал. Глядя на ее шею, на ее волосы, чувствовал, что от счастья, которое она способна подарить мне, могу забыть о своих книгах, о желании стать писателем. Мне было двадцать три года, и я очень сердился, когда мои богатые приятели из Нишанташи, узнавшие, чем я хочу заняться, со смехом говорили, что в этом возрасте еще никто не знает жизни. Сейчас, тридцать лет спустя, хочу заметить, что они были очень правы. Если бы я тогда знал жизнь, то не мучился бы, как привлечь внимание Фюсун во время танца, верил бы, что она может мной заинтересоваться, и не смотрел бы так беспомощно, как она уплывает у меня из рук. «Я устала, — сказала она. — Могу я сесть после второго танца?» Я проводил ее до места — любезность, которой я научился из фильмов, и вдруг не сдержался:

«Как скучно здесь, — попытался схитрить я. — может, поднимемся наверх и спокойно поговорим?»

Она не полностью расслышала мои слова, но по выражению моего лица сразу поняла, чего я хочу. «Мне нужно быть с родителями», — вежливо сказала она и покинула меня.

Узнав, что на этом мой рассказ заканчивается, Кемаль-бей обрадовался: «Правильно! Узнаю Фюсун! Она именно так себя вела! Вы очень хорошо ее поняли! — повторял он. — Спасибо, что вы не постеснялись рассказать унизительные для вас детали. Да, Орхан-бей, весь вопрос в гордости. Своим музеем я хочу научить людей гордиться своей жизнью. Я много ездил, много повидал: пока только европейцы гордятся собой, большая часть мира себя стесняется. А если бы то, что вызывает у нас стыд, было выставлено в музеях, оно бы сразу стало предметом гордости».

Это была первая из наставительных речей, которые мне, как урок, преподал Кемаль-бей в маленькой комнатке на чердаке своего музея после нескольких стаканчиков ракы. Меня это не очень беспокоило, так как в Стамбуле каждый, кто видит перед собой романиста, принимается произносить поучительные речи, но и я сам никак не мог разобраться, что и куда поместить в книге.

— Знаете, Орхан-бей, кто лучше всех научил меня, что главная тема музеев —

гордость? — спросил Кемаль-бей как-то раз другой ночью. — Конечно, музейные смотрители... Что бы ни происходило, они всегда отвечали на все мои вопросы с гордостью и страстью. В музее Сталина в грузинском городе Гори пожилая смотрительница примерно час рассказывала мне, каким великим человеком был Сталин. В романтическом музее португальского городка Порту из рассказа музейного смотрителя я узнал, какое влияние на португальский романтизм оказал сосланный в Порту бывший король Сардинии Карло Альберто, который провел в 1849 году последние три месяца своей жизни в этом дворце. Ор-хан-бей, если кто-то и в нашем музее будет о чем-то спрашивать, смотрители должны всегда с искренней гордостью рассказывать историю коллекции Кемаля Басмаджи, о смысле любви к Фюсун и о смысле ее вещей. Об этом, пожалуйста, напишите в книге. Обязанность музейных смотрителей не в том, чтобы, как принято считать, охранять вещи (конечно, все связанное с Фюсун, должно храниться вечно!), заставлять вести себя потише тех, кто шумит, предупреждать тех, кто жует жвачку или целуется, а в том, чтобы дать почувствовать посетителям музея, что они находятся в храме, где надо испытывать смирение, уважение и благоговение, как в мечети. Смотрители Музея Невинности должны носить темно-бежевые бархатные костюмы, сообразные с духом коллекции и вкусом Фюсун, а под них надевать светло-розовые рубашки с фирменными галстуками нашего музея, на которых будут вышиты изображения сережек Фюсун, и, конечно же, они не должны будут никогда делать замечаний посетителям, которые жуют жвачку или целуются. Музей Невинности навсегда будет открыт для влюбленных, которым не найти в Стамбуле, где целоваться.

Иногда поучительный тон Кемаль-бея, появлявшийся после второго стаканчика, мне надоедал, потому что напоминал слова претенциозных политических писателей 1970-х годов. ТЪгда я переставал его воспринимать, а в последующие дни не хотел даже с ним встречаться. Но повороты судьбы в истории Фюсун, та особенная атмосфера, которую создавали вещи музея, притягивала меня, и через некоторое время мне опять хотелось на чердак, слушать речи усталого человека, который пил, всякий раз вспоминая Фюсун, а когда пил, начинал рассказывать с большим воодушевлением.

— Смотрите не забудьте, Орхан-бей. что логика моего музея в том, что вся коллекция видна с любой точки выставочного пространства, — уточнял Кемаль-бей. — Так как с каждого места одновременно видно все вещи и все витрины, то есть всю мою жизнь, посетители музея забудут о Времени. Это самое большое утешение. В удачных, поэтичных музеях, созданных под влиянием душевных сил, мы испытываем утешение не потому, что видим старые, любимые вещи, а потому, что исчезает само Время. И об этом напишите в вашей книге, пожалуйста. И давайте не будем скрывать то, что я попросил вас написать эту книгу и как вы ее пишете... А когда закончите работу, пожалуйста, отдайте мне ваши черновики и тетради, мы их тоже оставим в музее. Сколько вы еще будете писать? Те, кто прочитает книгу, сразу захотят прийти сюда, как вы, чтобы увидеть вещи Фюсун. В конце романа, пожалуйста, поместите карту, чтобы любопытные могли найти дорогу к музею на улицах Стамбула. Те, кто знает нашу историю, всякий раз шагая по улицам города, вспомнят о нас, как вспоминаю я. Пусть для читателей нашей книги одно посещение музея будет бесплатным. Для этого лучше всего вставить в книгу билет. А контролер на входе будет пускать посетителей с книгой, ставя в нее особую печать.

— А куда мы вставим билет?

— Да вот прямо сюда!

— Спасибо, Орхан-бей. А на последней странице давайте поместим список всех

героев нашей истории. Лишь благодаря вам я вспомнил, сколько людей знает о нас, как много людей были нашими свидетелями. А я даже их имена с трудом помню.

Я разыскивал и встречался с людьми, которые упоминаются в романе. Кемаль-бею это не нравилось, но он с пониманием относился к моему ремеслу. Иногда интересовался, что говорят те, с кем я встречался, что они сейчас делают, а иногда не проявлял к ним никакого интереса и не мог понять, почему его проявляю я.

Например, он совершенно не мог взять в толк, зачем я написал письмо Абдулькерим-бею, бывшему торговому представителю «Сат-Сата» в Кайсери, и зачем встречался с ним в один из его приездов в Стамбул. Аб-дулькерим-бей, который бросил «Сат-Сат» и стал торговым представителем «Тек-йяя», созданного Османом с Тургай-беем, сказал мне, что именно позорная любовная история Кемаль-бея стала причиной банкротства «Сат-Сата».

Я разыскал и поговорил с Сюхендан Йылдыз (с Коварной Сюхендан), актрисой, некогда игравшей злодеек, ставшей свидетельницей первых месяцев Кемаля и Фюсун в «Копирке», Она сказала, что Кемаль-бей был безнадежно одиноким человеком, что все знали, как он влюблен в Фюсун, но никто особенно не жалел, потому что в киношных кругах недолюбливали богачей, которые интересовались миром кино ради встреч с красивыми девушками. Коварная Сюхендан всегда жалела Фюсун, которой так не терпелось сниматься, стать звездой, что делалось за нее страшно. Ведь если бы она стала, как хотела, звездой, кончила бы все равно очень плохо. Она никогда не понимала, почему Фюсун вышла за того толстяка (за Феридуна). Ее внуку, которому она в те дни вязала в «Копирке» трехцветный свитер, сейчас тридцать лет, и он очень смеется, когда видит по телевизору фильмы с бабушкой, но поражается, каким бедным был тогда Стамбул.

А парикмахер Басри из Нишанташи одно время стриг и меня. Он продолжал стричь клиентов и с уважением и любовью говорил не столько о Кемале, сколько о его отце, Мюмтаз-бее. Покойный Мюмтаз-бей был веселым, щедрым и добрым человеком, любил пошутить. Я не узнал от Басри ничего нового, как и от Хиль-ми с его женой Неслихан, обитателей «Копирки» Хайя-ля Хайяти и Салиха Сарылы, а также Кенана. Соседка Фюсун с первого этажа Айла, дружбу с которой та скрывала от Кемаля, сейчас жила где-то в Бешикташе с мужем-инженером и четырьмя детьми, старший из которых только-только поступил в университет. Она рассказала мне, что ей очень нравилось дружить с Фюсун, что она очень любила ее жизненную силу, веселый нрав, все, что та говорила, и даже подражала ей, но Фюсун, к сожалению, не была ей очень близкой подругой. Девушки наряжались, вместе шли в Бейоглу, в кино. Одна их знакомая по кварталу работала в театре «Дормен» администратором зала, она иногда пускала их на репетиции. Потом они заходили куда-нибудь поесть сандвичей, выпить айрана и защищали друг дружку от пристававших мужчин. Иногда бывали в «Вакко» или в еще каком-нибудь дорогом магазине и мерили одежду, будто собирались что-нибудь купить, смотрелись в зеркала, развлекались. Порой, во время веселого разговора или на просмотре фильма, Фюсун внезапно о чем-то задумывалась, у нее мгновенно портилось настроение, но никогда не рассказывала Айле о том, что терзало ее. О том, что к ним ходит Кемаль-бей, что он очень богатый, но немного больной на голову человек, знал весь квартал, однако никто ни о какой любви не говорил. Айла, как и вся Чукурджума, ничего не знала о том, что произошло между Кемалем и Фюсун много лет назад, да и давно потеряла всякие связи с кварталом.

Белая Гвоздика после двадцати лет трудов на поприще светских сплетен дорос до должности редактора приложения одной из самых крупных ежедневных газет. К тому же он теперь был главным редактором одного ежемесячного журнала, писавшего о скандалах и любовных историях киноартистов. Как и большинство журналистов, которые расстраивают людей своим враньем и портят им жизнь, он

совершенно искренне забыл, что когда-то написал о Кемале, и передавал ему сердечный привет а его почтенной матери Веджихе-ханым, которой до недавнего времени всегда звонил, чтобы узнать последние новости, просил передать изъявления в глубочайшем почтении. Он решил, что я разыскал его, так как пишу книгу, действие которой проходит в актерской среде, и поэтому она будет прекрасно продаваться, и по-дружески пообещал мне любую поддержку: знал ли я, например, что сын от неудачного брака некогда популярной киноактрисы Папатьи и продюсера Музаффер-бея в юном возрасте стал владельцем одной из самых крупных туристических фирм в Германии?

Феридун полностью порвал связи с миром кино и создал очень успешную рекламную фирму. Когда я узнал, что он назвал ее «Синий дождь», то подумал, что он так и не смог до конца отказаться от юношеских мечтаний, но спрашивать о фильме, который не был снят, не стал. Феридун делал простые рекламные ролики с непременными флагами и футболистами, которые свидетельствовали о том, как весь мир боится успеха турецкого печенья, джинсов и бритвенных станков. Он слышал о замысле Кемаль-бея создать музей, но о «книге про Фюсун» узнал от меня: Феридун с поразившей меня откровенностью рассказал, что был влюблен всего раз в жизни — и именно в нее, но она совершенно не обращала на него внимания. Еще он осторожно добавил, что во время их супружества внимательно следил за тем, чтобы не влюбиться в нее снова и опять не пережить те же страдания. Ведь он знал, что Фюсун вышла за него по необходимости. Мне понравилась его прямота. Когда я уходил из его роскошного кабинета, он с той же осторожностью вежливо передал Кемаль-бею привет и, нахмурившись, предупредил меня: «Если напишете что-нибудь плохое про Фюсун, я вам спуску не дам, так и знайте, Орхан-бей!»

А потом принял свой обычный приветливый вид, который так ему подходил. Они должны провести рекламную кампанию нового продукта той же фирмы, которая раньше производила «Мельтем», он назывался «Бора».

Четин-эфенди, выйдя на пенсию, купил такси, сдавал его в аренду другому водителю, а иногда, несмотря на преклонный возраст, сам садился на руль и колесил в такси по улицам Стамбула. Когда мы встретились с ним на стоянке такси в Бешикташе, он сказал мне, что Кемаль остался таким же, каким был в детстве и молодости: он ведь всегда любил жизнь, был открыт миру и людям как ребенок, был добрым человеком. Поэтому, наверное, странно, что вся его жизнь пошла от этой черной страсти под откос. Но если бы я знал Фюсун, то понял бы, что Кемаль-бей так любил эту женщину потому, что очень любит жизнь. Они, Фюсун с Кемалем, оба были хорошими, простыми людьми и друг другу подходили, но Аллах им соединиться не дал, и у нас спрашивать Его об этом права нет. Когда мы встретились с Кемалем после очередного его долгого путешествия и я выслушал его рассказ о новых музеях, то передал ему, что сказал Четин-эфенди, и слово в слово повторил его слова о Фюсун.

— Те, кто однажды придет в наш музей, будут знать нашу историю, и тогда они сами поймут, каким человеком была Фюсун, — только и заметил он.

Мы сразу сели пить, теперь мне очень нравилось пропускать с ним стаканчик-другой ракы. «Когда посетители будут смотреть на все эти вещи, они почувствуют, как я целых восемь лет за ужином смотрел на Фюсун, как внимательно следил за движениями ее рук, улыбкой, завитками волос, тем, как она тушит сигарету, как хмурит брови, улыбается, за ее носовыми платками, заколками, туфлями, ложками, которые она держала, за всем, что было связано с ней (я не сказал ему: «Серьги-то вы тогда не заметили, Кемаль-бей!»), и поймут, что любовь — это большое внимание, большая нежность... Пожалуйста, закончите книгу и напишите, что нужно осветить мягким светом изнутри витрины каждую вещь в музее, так, чтобы чувствовалось мое внимание к этим вещам. По мере ознакомления с вещами

посетители почувствуют уважение к моей любви, будут сравнивать ее со своими воспоминаниями. Пусть в музее никогда не будет много людей, чтобы пришедший чувствовал каждую вещь Фюсун, всматривался в фотографии уголков Стамбула, где мы с ней гуляли за руку, прочувствовал всю коллекцию. Я запрещаю, чтобы в Музее Невинности одновременно находилось более пятидесяти посетителей. Туристические группы, школьников должны пускать по предварительной записи. На Западе, Орхан-бей, в музеях постепенно становится все больше народу. Подобно тому как мы некогда по воскресеньям всей семьей отправлялись на машинах на Босфор, европейцы семьями по воскресеньям идут в большие музеи. И подобно тому как мы по воскресеньям сидим в ресторанах на Босфоре, они всей семьей обедают в музейных ресторанах. Пруст в одной своей книге написал, что после смерти его тетки все вещи из ее дома были проданы в публичный дом, и каждый раз, когда он видел в том публичном доме теткины кресла и столы, чувствовал, что вещи плачут. Когда по воскресеньям в музеях ходят толпы посетителей, вещи плачут, Орхан-бей. А в моем музее они останутся у себя дома. Наши бескультурные, ненадежные богачи, которые замечают музейную моду на Западе, боюсь, в подражание начнут открывать современные музеи искусства с ресторанами. Между тем у наших людей нет ни знаний о живописи, ни вкуса, ни способности к ней. Турки должны в своих музеях выставлять не плохие копии западных картин, а свою собственную жизнь. Наши музеи не должны демонстрировать мечту наших богачей стать европейцами, а показывать налгу жизнь. Мой музей — это вся наша жизнь с Фюсун, все, что мы пережили. И все, что я вам рассказал, Орхан-бей, — правда. Может быть, некоторые вещи могут показаться посетителям недостаточно понятными, потому что я рассказал вам всю историю со всей искренностью, но насколько понял ее сам, не знаю. Пусть этим займутся ученые будущего и обсудят в журнале «Невинность», который будет выпускать наш музей. Давайте от них узнаем, какого типа связи существуют между заколками и щетками Фюсун и покойным кенаром Лимоном. Будущим поколениям, которым наша история покажется преувеличением и будут непонятны мои любовные страдания, мучения Фюсун, утешение, которое мы испытывали, когда мы встречались взглядом за ужином, как мы могли быть счастливы, когда на пляжах или в кино держались за руки, смотрители должны говорить: все, что мы пережили, правда. Но не беспокойтесь, я ни капли не сомневаюсь, что наша любовь будет понята. Уверен, что пятьдесят лет спустя веселые студенты, приехавшие на автобусе из Кайсери на экскурсию, японские туристы с фотоаппаратами в руках, создавшие очередь на входе, одинокие женщины, зашедшие в музей, так как заблудились, и счастливые влюбленные из Стамбула, глядя на платья Фюсун, солонки, часы, меню ресторанов, старые фотографии Стамбула и на наши детские игрушки, прочувствуют нашу любовь. Надеюсь в Музее Невинности будут и временные выставки, и тогда посетители увидят, что скопили в своих грязных домах мои одинокие собратья, стамбульские коллекционеры, увидят и оценят их фотографии кораблей, крышки от бутылок лимонада, спичечные коробки, прищепки, почтовые открытки, фотографии артистов и старые сережки. А истории новых выставок и коллекций пусть описываются в других каталогах, в других романах. Посетители, осмотрев музей, подумают о любви Кемаля и Фюсун с уважением и смирением и обязательно поймут, что она, подобно жизни Лейлы и Меджнуна, Хосрофа и Ширин, не только история влюбленных, но и история их мира, то есть Стамбула. Хотите еще ракы, Орхан-бей?

Главный герой нашего романа, основатель музея Кемаль Басмаджи умер от сердечного приступа во сне, под утро, 12 апреля 2007 года, на пятидесятый день рождения Фюсун, в возрасте шестидесяти двух лет, в миланском «Гранд-отеле», где всегда останавливался в большом номере с видом на виа Манцони. Кемаль-бей ездил в Милан при каждом удобном случае, чтобы, по его выражению, вновь

«пережить» музей Багатти-Вальсекки, который он называл одним из пяти самых главных музеев в своей жизни. (Всего до смерти посетил 5723 музея.)

Вот последние его важные мысли о музеях, которые я записал:

«1. Музеи созданы не для того, чтобы ходить по ним и смотреть на вещи, а для того, чтобы чувствовать и жить.

2. Коллекция создает душу вещей, которая должна ощущаться в музее.

3. Когда нет коллекции, то это не музей, а выставочный зал».

Дом, переделанный в XIX веке двумя братьями по образцу миланского дома эпохи Возрождения и XVI века, в XX веке был превращен в музей, и в его коллекции Кемаль-бея очаровало то, что она состояла из обычных повседневных вещей (то есть из старинных кроватей, ламп, зеркал и кухонной утвари Ренессанса).

На похороны в мечеть Тешвикие пришло большинство тех, чьи имена я перечислил в списке действующих лиц. Мать Кемаля, Веджихе-ханым, как всегда, была на своем балконе, откуда смотрела на похороны; она надела платок. Мы во дворе мечети со слезами на глазах видели, как она рыдает по сыну...

Почти все близкие знакомые Кемаль-бея, которые до этого не хотели меня видеть, в последующие после похорон месяцы в странной, но логической последовательности искали встреч со мной. Думаю, таким вниманием я обязан ложному слуху, прошедшему по Нишанташи, что в своей книге безжалостно всех критикую. Сплетни о том, что я очень плохо написал не только брате Кемаль-бея и обо всей его семье, но и об очень многих других уважаемых обитателях Нишанташи, например об известном Джевдет-бее и его сыновьях[30], о моем друге-поэте Ка[31] и даже об известном колумнисте Джеляле Салике, которым я всегда восхищался, и лавочнике Алааддине[32], и еще об очень многих крупных государственных и духовных деятелях, даже генералах, к сожалению, разошлись с большой скоростью. Сибель и Заим, не успев прочитать мою книгу, испугались. По сравнению с молодыми годами Заим стал намного богаче. Лимонад «Мельтем» исчез с рынка, но фирма под таким названием процветала. Они приняли меня очень радушно в своем роскошном доме с видом на Босфор на окраинах Бебека. Сказали, что гордятся тем, что я пишу о жизни Кемаль-бея (а близкие Фюсун считали, что я пишу именно о ней).

Но сначала им хотелось рассказать об одной странной случайности: они встретили Кемаль-бея на улице в Милане днем 11 апреля, то есть незадолго до его смерти. (Я сразу почувствовал, что они позвали меня именно поэтому.) Заим, Сибель и две их красивые и умные дочери, севшие с нами за стол, одна двадцати (Гюль), а другая восемнадцати лет (Эбру), чтобы отдохнуть и развлечься, отправились на три дня в Милан. Первым счастливое семейство, наслаждавшееся апельсиновым, клубничным, фисташковым и арбузным мороженым и глазевшее на витрины, заметил Кемаль-бей, да и то увидел сначала только Поль, потому, что та была невероятно похожа на свою мать, и растерянно подошел в девушке: «Сибель, Сибель! Здравствуй, я Кемаль», — сказал ей он.

— Поль очень похожа на меня в двадцать лет, а в тот день еще надела вязаную пелеринку, как я носила в молодости, — уточнила Сибель-ханым, гордо улыбаясь. — А Кемаль выглядел ужасно усталым, неопрятным, измученным и невероятно несчастным. Орхан-бей, я очень расстроилась, увидев его таким. Не только я, Заим тоже. Тот веселый, красивый, успешный, всегда довольный, обожавший жизнь

---

30 Герои романа О. Памука «Джевдет-бей и сыновья».

31 Главный герой романа О. Памука «Снег».

32 Герои романа О. Памука «Чёрная книга».

человек, с которым я когда-то обручилась в «Хилтоне», исчез, а вместо него появился старик, далекий от мира, от жизни, с хмурым лицом и сигаретой во рту. Если бы он не подошел к Гюль, мы бы сами никогда его не узнали. Он выглядел не то что пожилым, скорее сломавшимся, потерянным стариком. Я очень переживала. Даже не знаю, сколько лет мы с ним до этого не виделись.

— С момента вашего последнего ужина в «Фойе» тридцать один год, — заметил я.

Воцарилось леденящее молчание.

— Он все вам рассказал! — через мгновение охнула Сибель.

Пока длилась пауза, я понял, о чем именно они хотели мне сообщить: Заим и Сибель счастливы, и их жизнь прекрасна.

Но после того как дочери ушли спать, а мы стали пить коньяк, я понял, что есть еще одна тема, о которой супругам трудно говорить. Когда пили вторую рюмку коньяка, Сибель с обескураживающей прямотой, не заминаясь, как Заим, откровенно заговорила о том, что ее беспокоит:

— В конце лета 1975 года, когда Кемаль признался мне в своей болезни, то есть в том, что сильно влюблен в покойную Фюсун-ханым, я пожалела своего жениха и решила ему помочь. С самыми лучшими намерениями, чтобы вылечить его, я провела с ним месяц (читатели знают, что на самом деле три!) у нас на даче близ Азиатской крепости. Но это уже неважно, Орхан-бей... Современная молодежь теперь совершенно не обращает внимания на такие вещи, как девственность (и это было неверно!), но все равно очень прошу вас не писать в вашей книге о тех унизительных для меня днях... Эта тема может показаться не важной, но я рассталась со своей лучшей подругой Нурджихан только потому, что она сплетничала об этом... Если дочки узнают, они не придадут значения, но их друзья... Пойдут сплетни... Вы, пожалуйста, нас не обижайте...

Заим рассказал, что всегда очень любил Кемаля, что тот был искренним человеком, что ему всегда не хватало его дружбы и он всегда ее искал. Потом спросил — с удивлением и страхом:

— Неужели Кемаль-бей и в самом деле собрал все вещи Фюсун-ханым, неужели и в самом деле создавал музей?

— Да, — ответил я. — А я своей книгой буду этот музей рекламировать.

Когда я вышел от них, на какой-то момент представил на своем месте Кемаля. Если бы он был жив и возобновил бы дружбу с Заимом и Сибель (что было весьма возможно), то сейчас ощущал бы счастье, как я, что живет в одиночестве, и чувство вины.

— Орхан-бей, — остановил меня в дверях Заим. — Пожалуйста, прислушайтесь к просьбе Сибель. «Мель-тем» готов оказать помощь музею.

Той ночью я понял бессмысленность разговоров с другими свидетелями: Я хотел написать историю Кемаля не так, как ее видели другие, а так, как рассказывал ее он.

Только из-за этой уверенности я отправился в Милан и узнал, что расстроило Кемаля в тот день, незадолго до встречи с Сибель и Заимом. Музей Багатти-Вальсекки стоял запущенным, а часть была сдана в аренду известной фирме «Женни Колон», чтобы обеспечить ему доход. Глаза смотрительниц музея, всегда носивших черные платья, были мокрыми от слез: по мнению сотрудников, все это очень расстроило одного турецкого господина, который раз в несколько лет приезжал в музей.

Даже эти сведения напомнили мне, что больше не нужно никого слушать, чтобы закончить книгу. Мне только очень хотелось бы увидеть Фюсун, поговорить с ней. Но приглашения других людей, которые, опередив ее близких, настойчиво звали меня в гости, так как боялись моей книги, я принимал отныне только ради удовольствия

поужинать с ними.

Во время недолгого ужина Осман посоветовал мне вообще не писать об этой истории. Да, «Сат-Сат» из-за небрежения его покойного брата, конечно, обанкротился, но зато все другие компании, основанные покойным отцом, сейчас, во время экспортного бума в Турции, — настоящие короли рынка. У них очень много врагов, и такая книга поднимет волну слухов и многих обидит, и над холдингом «Басмаджи» будут все смеяться, а европейцы, конечно же, тоже посмеются над нами, турками, и осудят нас. Но от того вечера у меня осталось приятное впечатление: на кухне Беррин-ханым, чтобы муж не видел, отдала мне детские игрушечные шарики Кемаля.

Тетя Несибе, с которой Кемаль-бей познакомил меня гораздо раньше, ничего нового мне тоже не сообщила. Сейчас она постоянно плакала не только по Фюсун, но и по Кемалю, которого называла «своим единственным зятем». О музее она вспомнила только раз. У нее когда-то была старая терка для айвы, ей захотелось сварить варенья, но она никак не может ее найти. Может быть, она осталась в музее? Не мог бы я принести ее? Провожая меня, она сказала на пороге: «Орхан-бей, вы напоминаете мне Кемаля».

С Джейдой, которая была самым близким человеком Фюсун, знала все ее тайны, и, по-моему, лучше других понимала Кемаля, он познакомил меня за полгода до смерти. На это повлияло и то, что Джейда-ха-ным любила читать книги и захотела со мной познакомиться. Оба ее сына-инженера, каждый примерно тридцати лет, давно женились, и ее любимые невестки, фотографии которых она сразу показала, быстро подарили ей семерых внуков. Богатый муж Джейды, намного ее старше (сын самого Седирджи!), показавшийся мне тем вечером немного пьяным и несколько выжившим из ума, совершенно не интересовался ни нами, ни нашей историей, ни даже тем, что мы с Кемалем тем вечером пили много ракы.

Джейда со смехом рассказала, что сережку, которую Кемаль забыл в ванной, когда в первый раз пришел в Чу-курджуму, Фюсун нашла тем же вечером, сразу сообщила об этом Джейде, и они вместе решили, что Фюсун, в наказание Кемалю, скажет: «Никакой такой сережки не было». Кемаль-бей узнал эту историю от самой Джейды много лет назад, впрочем, как и иные тайны Фюсун. Когда она рассказывала об этом, он только с болью усмехнулся и налил всем нам еще по стаканчику ракы.

— Джейда, — обратился он потом. — Мы с вами всегда встречались в Мачке, в парке Ташлык. Когда вы говорили мне о Фюсун, я всегда смотрел на вид Долма-бахче из Мачки. Я недавно заметил, в моей коллекции собралось очень много фотографий с этим пейзажем.

Так как речь зашла о фотографиях и, думаю, в честь моего прихода Джейда-ханым сообщила, что на днях нашла один снимок с Фюсун, который Кемаль-бей никогда не видел. Это нас взволновало. Фотография была сделана в 1973 году во время финала конкурса красоты от газеты «Миллийет», когда за кулисами ведущий, Ха-кан Серинкан, шепотом сообщил Фюсун, какие вопросе о культуре он ей задаст. Известному певцу, ставшему ныне депутатом исламистской партии, Фюсун очень понравилась.

— К сожалению, мы обе, Орхан-бей, не смогли набрать нужное количество баллов, но, как школьницы, хохотали тем вечером до слез, — рассказывала Джейда. — Эту фотографию сделали в тот самый момент.

Как только Кемаль-бей взглянул на нее, его лицо побелело как мел, и он замолчал и поник.

Так как мужу Джейды история о конкурсе красоты не нравилась, мы не стали долго рассматривать старый снимок. Но, как всегда, понимающая Джейда в конце вечера подарила фотографию Кемалю.

Выйдя из дома Джейды, мы направились в ночной тишине в сторону Нишанташи.

«Я провожу вас, — сказал он мне. — Сегодня вечером я останусь с матерью, в Тешвикие».

Но рядом с «Домом милосердия» он остановился и улыбнулся.

— Орхан-бей, я прочитал ваш роман «Снег», — сказал он. — Не люблю я политику. Поэтому, не взыщите, мне было читать тяжело. Но конец понравился. Я тоже, как тот герой, хотел бы обратиться в конце к читателям. Есть у меня на это право? Когда заканчивается ваша книга?

— После вашего музея, — ответил я. Эти слова уже стали нашей общей шуткой:
— И что вы хотите сказать читателю?

— Не буду уверять, как ваш герой, что посторонние не смогут нас понять. Наоборот: те, кто побывает в моем музее, кто прочтет вашу книгу, поймут нас. Но мне хотелось бы сказать кое-что еще.

Он вытащил из кармана фотографию Фюсун и под бледным светом уличного фонаря, стоя перед «Домом милосердия», с любовью посмотрел на нее. Я подошел к нему.

Двое немолодых мужчин, мы внимательно смотрели на фотографию юной красавицы, на которой она была в черном купальнике с номером 9 на груди, на ее нежные руки, на грустное лицо, в котором не было и тени веселья, на ее прекрасное тело и зрелый взгляд ее глаз. С того момента прошло тридцать лет, но ее взгляд снова потряс нас. Мы смотрели на нее с удивлением, с любовью, с уважением.

— Поместите эту фотографию в музей, Кемаль-бей, — попросил я.

— Последние слова в книге будут такими... Не забудьте, Орхан-бей...

— Не забуду.

Он с нежностью поцеловал фотографию Фюсун и осторожно спрятал в нагрудный карман пиджака. Потом с победным видом улыбнулся мне.

— Пусть все знают: я прожил очень счастливую жизнь.

2001-2002, 2003-2008

СПИСОК ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ

Абдулькерим
Айи Сабих
Айла
Айше
Алааддин, лавочник
Али, маленький мальчик
Альптекин
Асена
Ахмед
Белая Гвоздика (Сюрейя Сабир)
Белькыс
Бекри, парикмахер
Беррин Басмаджи
Биллур Дагделен
Болтливый Джеват
Веджихе Басмаджи
Гювен, кораблестроитель
Демир (Демирбаг)
Демир, переписчик

Джейда
Джеляль Салик
Джемиле-ханым
Джунейт-бей
Доктор Барбут
Дядя Сефиль
Дядя Зекерия
Дядя Сюрейя
Задавала Селим
Заим
Зарифе
Зейнеб-ханым
Зюмрют-ханым
Ипек Исмет
Йани
Исхан (Бильгин), архитектор
Йешим
Изак-бей, счетовод
Инге, модель
Ка, писатель
Казым, мясник
Камиль-эфенди, мороженщик
Кенан
Кова Кадри
Красотка Шермин
Крыса Фарук
Латиф, пекарь
Левша Шермин
Леклерк
Мадам Муалла
Маджиде
Малика
Маруф
Меликхан
Мехмед
Мехмед Али, официант
Музаффер
Мюкеррем-ханым
Мюмтаз Басмаджи
Невзат, парикмахер
Недждет Адсыз
Неслихан
Неслишах
Нигян
Нурджихан
Омер, сын Джейды
Осман Басмаджи
Папатья
Перран
Рамиз, охранник
Рахми-эфенди
Резан

Рыфкы
Саадет-ханым
Сади
Саим-эфенди, привратник
Сакиль-бей
Салих Сарылы
Самим
Саффет
Селями-бей
Семейство Авундуков
Семейство Дагделенов
Семейство Демирбагов
Семейство Каптаноглу
Семейство Караханов
Семейство Лерзанов
Семейство Менгерли
Семейство Памуков (Айдын, Гюндюз, Орхан)
Семейство Седирджи
Семейство Халисов
Семейство Ышыкчи
«Серебряные листья»
Сертаб
Сибель
Сиями-бей
Сомташ Ионтунч, скульптор
Супхи, собиратель коробков
Сюхендан Йылдыз
Тайяр
Тайфун
Тарык-бей
Тахир Тан
Тетя Мераль
Тетя Михривер
Тетя Несибе
Тетя Несиме
Тургай-бей
Тюркян
Усатое Дерьмо, сосед
Фазыла-ханым
Фарис Каптаноглу
Фасих Фахир
Фатьма-ханым
Фейзан
Феридун
Фиген
Хайдар, официант
Хайдар-эфенди, швейцар
Хайяль Хайяти
Хакан Серинкан
Ханифе-ханым
Харун-бей
Хаста Халит-бей

Хиджаби-бей
Хиджри-бей
Хильми
Хыфзы-бей
Хюлья
Четин-эфенди
Шазие
Шазимент
Шевкет, мастер
Шенай-ханым
Шюкран
Шюкрю-Паша
Экрем Гючлю
Эсат-бей
Этхем Кемаль
Эфе, электрик